

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ЛАБОРАТОРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

СЕРИЯ
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



А К В И Л О Н

THE PAST FOR THE PRESENT
HISTORY / MEMORY AND NARRATIVES OF
NATIONAL IDENTITIES

General Editor – Lorina Repina

AUTHORS

Alexey Vasiliev
Veronika Vyssokova
Olga Zaichenko
Igor Ionov
Maxim Kirchanov
Sergey Malovichko
Lorina Repina
Andrey Schelchkov



А К В И Л О Н

ПРОШЛОЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
ИСТОРИЯ-ПАМЯТЬ И НАРРАТИВЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Под общей редакцией Л. П. Репиной

АВТОРЫ

А.Г. Васильев
В.В. Высокова
О.В. Заиченко
И.Н. Ионов
М.В. Кирчанов
С.И. Маловичко
Л.П. Репина
А.А. Щелчков



А К В И Л О Н

ББК 63.3
УДК 9 / 94
П 84

Рецензенты

*доктор исторических наук А.Ю. Дворниченко
доктор исторических наук Е.Н. Кириллова*

Прошлое для настоящего: История-память и нарративы национальной идентичности: коллективная монография. Под общ. ред. Л.П. Репиной. — М.: Аквилон, 2020. — 464 с.

Коллективная монография посвящена проблемам, связанным с соотношением истории, памяти и идентичности. В ней представлены некоторые результаты исследований, ориентированных на сравнительный анализ процессов и механизмов конструирования национальной и национально-государственной идентичности. В поддержании и «переформатировании» коллективной памяти и идентичности велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции: они задают канонизированный образ прошлого в форме национального или национально-государственного нарратива, демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы». Авторы монографии рассматривают основные аспекты темы на материале истории и историографии России, отдельных стран Европы и Латинской Америки с существенно различающимися условиями и траекториями формирования национальной идентичности.

The Past for the Present: History / Memory and Narratives of National Identity. Ed. by Lorina Repina. — Moscow: Aquilo, 2020. — 464 p.

The collective monograph is devoted to problems related to the correlation of history, memory and identity. It presents some research results aimed at a comparative analysis of the processes and mechanisms of constructing national and national-state identities. In maintaining and “reformatting” collective memory and identity, the important role belongs to the deep-rooted national historiographic traditions, which define a canonized image of the past in the form of a national or national-state narrative demonstrating main “places of memory” and symbols of “common fate”. The authors of the monograph examine key aspects of the topic on the basis of the history and historiography of Russia, individual countries of Europe and Latin America with significantly different conditions and trajectories of the national identity formation.

- © Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2020
- © Коллектив авторов, 2020
- © Институт всеобщей истории РАН, 2020
- © Издательство «Аквилон», 2020

ISBN 978–5–906578–63–1

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая читателю книга посвящена проблемам, занимающим центральное место в обширном поле “memory studies”. Идея основоположника этого междисциплинарного направления М. Хальбвакса о том, что образ прошлого социально конструируется, оказалась востребованной только в конце прошлого века, когда память превратилась в ценность, соответствующую современному плюралистическому видению прошлого¹, и был задан стимул к созданию новых теорий памяти (социальной, культурной, исторической). Рубеж XX–XXI вв. отмечен появлением “мемориальной парадигмы”, в рамках которой разделяемые образы прошлого в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в окружающем мире и в конкретных ситуациях настоящего.

За прошедшие несколько десятилетий в фокус внимания представителей социально-гуманитарных наук, в том числе многих историков оказались вопросы, связанные с соотношением истории и памяти, памяти и идентичности, с изучением форм сохранения и трансляции социально значимой информации и способов обращения с прошлым, типов исторического сознания, феномена “мест памяти”, ритуалов коммеморации, “политики памяти”, “исторической политики”.

Возник вопрос и о специфике практик историописания, структурирующих серии фрагментарных событий в упорядоченные нарративы (разномасштабные и по-разному организованные), в которых отобранные “факты” прошлого изображаются в соответствии с господствующей в обществе или в социальной группе оптикой. Формирование идентичности – непрерывный процесс. Диахронная идентичность строится на основе интерпретации и репрезентации значимых *исторических* событий как последовательности, ведущей от «общего прошлого» к переживаемому настоящему и ожидаемому будущему. Вместе с тем, подразумевается, что восприятие и репрезентация прошлого зависят не только от условий историко-культурного пространства, но также от ситуации, статуса и целеполагания историописателя.

Современная историография, все чаще обращаясь к изучению “политики памяти” и “исторической политики”, в основном сосредоточена на разработке различных аспектов “использования прошло-

¹ «Когда идентичность становится сомнительной, повышается ценность памяти». – Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 138.

го”, делая акцент на злоупотребления им и на “войнах памяти” (точнее сказать – “войнах *памятей*”), в то время как проблемы сохранения, распространения и реконструкции в памяти разных поколений опыта *переживания* народами и отдельными группами исторических событий и процессов в сравнительно-исторической и кросс-культурной перспективах остаются недостаточно изученными, как и роль “культурной амнезии” в стереотипизации и мифологизации представлений о *недавно пережитом* опыте (включая радикальную смену идейно-ценностных ориентиров социума), а также противостоящая ей стратегия активации эмоционально-окрашенных воспоминаний.

Концептуальная связка “память–идентичность–травма” – востребованный инструмент социально-гуманитарного анализа, который фокусирует внимание на коллективном, нормативном и культурно-семиотическом аспектах памяти о прошлом в его «минуты роковые». Именно в таком ракурсе используется концепт травмы для анализа нарративов национальной историографии. Согласно теории Йорна Рюзена, сознательный либо неосознанный выбор той или иной культурной стратегии детравматизации (преодоления разрушительных последствий травматического опыта)² выражается в соответствующем типе исторического повествования. Так, в частности, модель, сфокусированная на стратегии историзации, придающей событию исторический смысл и значение путем соединения ситуации сегодняшнего дня с опытом прошлого, может адекватно описать процесс преодоления кризиса исторического сознания путем создания позитивной картины прошлого. И в целом, (ре-)историзация, в разных ее формах, реализует социальный заказ (в широком смысле этого слова) на восстановление идентичности. Память об общем прошлом и сознание ценности “своей истории” формируют национальное сознание и связь поколений, а масштабы пересмотра концепций национальной /национально-государственной истории, захватывая не только “живую” социальную память, но также глубинные пласты культурной памяти общества, сохраняемой традицией и обращенной к отдаленному прошлому, зависят от степени радикальности общественных трансформаций. Социальная память – это еще и источник знания, она не только обеспечивает набор категорий, посредством которых группа неосознанно ориентируется во времени и пространстве, но также

² Речь идет нередко о противостоящих друг другу схемах, каждая из которых призвана объяснять противоречия проживаемого настоящего и соединять «вспоминаемое» прошлое с ожидаемым и конструируемым будущим. – Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Цепь времен: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л.П. Репина. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 49, 56–60.

предоставляет материал для сознательной рефлексии, и одна из задач историка – объяснить, как и почему транслировалась, воспроизводилась, деформировалась или разрушалась та или иная традиция памяти – и это можно назвать *историей памяти*. Уже два века культивируемая социумом и властью “народная память” и различные версии групповой памяти сосуществуют с другими образами прошлого, создаваемыми профессиональной, *научной историографией*, которая опирается на обладающее критической функцией историческое исследование и рационально-доказательные модели презентации получаемого *исторического знания*. Обычно предполагается, что, критически оценивая, сопоставляя и интерпретируя многочисленные “следы”, оставленные исчезнувшим прошлым в исторических памятниках, исследователь преобразует *опыт* и *память* в «чистое» знание. По сути, речь идет о памяти, прошедшей проверку и фильтрацию, о памяти, подвергнутой коррекции и «преобразованной в историю»³.

Вводя в современное социогуманитарное знание понятие “места памяти”, Пьер Нора утверждал, что как форма воспоминания о прошлом история в виде упорядоченного исторического знания приходит на смену памяти: «история убивает память» или «память убивает историю»⁴. Однако, на наш взгляд, здесь нет такого взаимоуничтожающего эффекта, между историей и памятью нет даже никакого разрыва. История и память сколь неслиянны, столь и нераздельны, скорее, они существуют в режиме сообщающихся сосудов. С одной стороны, нельзя забывать ни о живучести не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов у самих историков, ни о социально-политических стимулах их деятельности в сфере нового мифостроительства. С другой стороны, можно проследить процессы интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были. Профессиональные историки XIX–XX вв., которые, претендовали на самую строгую научность и объективность, как и многие их коллеги в эпоху постмодерна и постпостмодерна, неизбежно сопричастны “повседневному знанию”: все мы, каждый на свой лад, вовлечены в современную нам культуру.

История историографии демонстрирует двойственную роль историков в формировании, трансляции и трансформации коллективной памяти о прошлом, которое постоянно «интерпретируется, переосмысливается, усваивается, отторгается, отдалается, приближает-

³ О концепте «памяти–истории», подлинность которой «заверена», см.: Арт-ог Ф. Время и история // *Анналы на рубеже веков: антология*. М., 2002. С. 157–159.

⁴ Nora P. *Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux / Les lieux de mémoire*. T. 1. Paris, 1984. P. XV–XLII.

ся, боготворится, предстает в черном свете, овеществляется <...> представляется в настоящем – часто против нашей воли»⁵. Было бы ошибкой представлять, что, выудив из исторической памяти «достоверные» факты, проверив ее аргументы и реконструировав закодированный в ней опыт, – то есть, превратив ее в *историю*, – мы покончили с памятью. История от памяти неотделима, и именно эту позицию мы хотим подчеркнуть, обозначив основной предмет нашего исследования в виде двойного концепта «история-память», то есть история в одном из ее модусов, или как одна из форм памяти. В другом модусе истории важнейшее ее отличие неоспоримо – историк может открыть то, чего нет в сознании людей, то, что касалось “незапамятных времен”, просто полностью забылось или намеренно было предано забвению, но все же оставило свой почти неразличимый след. Это – одна из главных функций исторического исследования⁶.

В поддержании и «переформатировании» коллективной идентичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции. Отсюда – необходимость в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, но также способов их использования и идеологической переоценки в доминирующих, сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «великую сагу национальной истории». Историками той или иной страны на разных этапах ее развития создается обновленный, но непременно имеющий тенденцию к канонизации образ прошлого в форме национально-государственного нарратива⁷, демонстрирующего ключевые “места памяти” и символы “общей судьбы”. В этой идеологически мотивированной и политически санкционированной версии *отечественной* истории, события, нарушающие идею единства, “собирания земель”, логику государственной централизации и национальной консолидации, исключаются из исторического повествования (работает “стратегия умолчаний”) или же подаются как случайные недоразумения. В определенной версии национальной истории, предьявляемой обществу инстанцией, обладающей достаточным авторитетом или силой, формируется идеологический конструкт, трактующий события прошлого в интересах властной элиты: речь идет об исторической ле-

⁵ Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше? О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем. Вып. 10. М., 2003. С. 48.

⁶ Об этом размышлял в своей «Идее истории» Р.Дж. Коллингвуд. См.: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 227.

⁷ Ср.: Тишков В. А. Новая историческая культура. М., 2011. С. 24, 46.

гитимации власти и использовании исторических мифов для решения политических проблем. Санкционированный властью и активно навязываемый аудитории образ прошлого становится нормой ее собственного представления о себе и формирует ее реальное поведение.

Обозначенные выше проблемы составили предмет исследования в ряде проектов, выполненных в Центре интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН с 2000 г.⁸ Продолжая работу в этом направлении под эгидой сетевой лаборатории «Исследования исторической памяти и интеллектуальной культуры», реализующей программу многостороннего анализа “истории-памяти” как культурного и интеллектуального конструкта, коллектив авторов сосредоточил свои усилия на исследованиях, в которых проблематика памяти и идентичности переплетается с комплексом ключевых вопросов истории исторического знания и способов его репрезентации, включая типологию исторических нарративов. Проблема трансформации механизмов формирования коллективной идентичности при смене типов рациональности / моделей науки рассматривается также в контексте источниковедения историографии и типологии нарратива.

Авторы монографии стремились разработать важнейшие аспекты темы на материале России, отдельных стран Европы и Латинской Америки с существенно различающимися траекториями формирования национальной идентичности, выявить различные модели исторического проектирования будущего через формирование национально-государственной идентичности в ее конкуренции с другими формами коллективной идентичности (региональной, этнической, конфессиональной, партийной и др.). Вполне естественно, что в большинстве глав книги перечисленные проблемы наиболее полно рассматриваются на материале истории и историографии императорской, советской и постсоветской России, в хронологии – от XVIII в. до дня сегодняшнего (главы 2–6). Значительное место отведено анализу поисков национальной идентичности в английской раннемодерной историографии и на разных этапах истории доминирующих, конкурирующих и сменяющих друг друга национально-государственных нарративов Британской Империи (главы 7–9). В главе 10 речь идет о стратегиях актуализации национальной памяти в сравнении: об английской и рус-

⁸ Их научные результаты нашли отражение в серии коллективных трудов. См., в частности: История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006; Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010; Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2012; Событие в истории, памяти и нарративах идентичности / Под общ. ред. Л.П. Репиной. М., 2017.

ской исторической памяти как форме воображения нации, ее изобретения как гражданского сообщества. Сложные процессы формирования, функционирования и трансляции «германского мифа» и последовавшего за ним «имперского мифа» как инструментов конструирования немецкой идентичности рассмотрены в книге в режиме большой длительности – от Античности до XIX века (главы 11–12). Специального анализа в жанре *case studies*, значение которых состоит отнюдь не в типичности и сравнимости, а как раз напротив – в уникальности и даже экзотичности, «заслужили» два отдельных сюжета: во-первых, о роли «сарматского мифа» и дискурса сарматизма в истории конструирования польской национальной идентичности в условиях утраты государственности (глава 13) и, во-вторых, об идеологии индеанизма и о неудачах «индеанистского проекта» формирования национально-государственной идентичности в современной мультикультурной, мультиэтнической и мультирасовой Боливии (глава 14).

Для изучения роли исторической памяти в конкретных ситуациях принятия важных социально-политических решений, потребуется полноценная идеальная модель взаимодействия общекультурных и групповых представлений о прошлом, настоящем и будущем, способная охватить: а) долговременные процессы конкуренции политических проектов с использованием исторической аргументации; б) смену образов “триумфов”/“катастроф”, “героев”/“предателей” в общественном сознании, истории политической мысли и профессиональной историографии; в) условия и механизмы формирования и фиксации представлений об опыте недавнего и отдаленного прошлого; г) варианты воздействия образов прошлого в культурной памяти и социально-ориентированном историописании на мотивацию индивидуального и группового поведения; д) приемы национализации и инструментализации исторической памяти (“политики памяти” сообществ и партийно-государственной “исторической политики”); е) оценку конфликтного потенциала псевдоисторических построений.

В настоящей книге мы представляем лишь некоторые результаты исследований, проведенных коллективом авторов в последние годы и ориентированных на сравнительный анализ процессов конструирования национальной и национально-государственной идентичности.

Полномасштабное компаративное исследование исторических траекторий формирования национальных идентичностей, с учетом изменчивости как констелляции «внешних» обстоятельств, так и «субъективной реальности», все еще впереди, и оно, несомненно, требует усилий гораздо более широкого круга специалистов.

Л.П. Ретина

ГЛАВА 1

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ «ПРАКТИКА ИСТОРИИ НА СЛУЖБЕ ПАМЯТИ»

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями в структуре и содержании социального и гуманитарного знания. В быстро трансформировавшемся интеллектуальном контексте на первый план выдвинулась «новая социокультурная история», интерпретирующая социальные процессы разных уровней сквозь призму культурных представлений, символических практик и ценностных ориентаций. Социокультурная история предполагает конструирование социального бытия посредством культурной практики, возможности которой, в свою очередь, определяются практикой повседневных отношений. Главная задача исследователя состоит в том, чтобы показать, каким образом субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов действуют в пространстве возможностей, ограниченном созданными предшествовавшей культурной практикой коллективными структурами.

Исследователи, споря по многим вопросам, проявляют поразительное единодушие в определении базовых характеристик исторической памяти, которые включают избирательность, символичность, мифологичность. Действительно, память неизбежно избирательна, она сохраняет лишь наиболее яркие и важные события, великие деяния, триумфы и катастрофы, и, как правило, системы коллективных представлений о прошлом различаются не только своей интерпретацией данных исторических событий, но и тем, какие именно события они рассматривают как *памятные*, как исторически значимые. Согласно классификации Йорна Рюзена, эти события, репрезентация которых очерчивает групповую идентичность, подразделяются на несколько типов: 1) события с позитивным основанием, создающие идентичность *путем утверждения*; 2) события с негативным основанием, создающие идентичность *путем отрицания*; 3) события или цепь событий, которые обновляют старую идентичность. Среди этих последних различаются: а) поворотные события; б) события, делающие несостоятельными действовавшие до этого времени модели

коллективной идентичности; в) события, которые обновляют действующие модели коллективной идентичности¹.

То, что люди помнят о прошлом – а также то, что они о нем забывают – является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии. При этом центральные события истории, выдающиеся личности ее героев и антигероев, сохраняемые исторической памятью, приобретают *символическое* значение. Но историческая память не только избирательна, не только носит символический характер, но еще и *мифологична*, хотя бы потому, что она определяется не отдельными элементами, входящими в ее состав, а тем способом, которым эти элементы комбинируются в целостный образ прошлого.

В переработку, отбор и систематизацию опыта прошлого включены два взаимосвязанных, комплементарных и неразделимых процесса, или же две стороны одного процесса памяти – *вспоминание* и *забывание*, а также ключевой процесс непосредственного переживания реальной ситуации настоящего и «проектирования» будущего. Таким образом, в этой перспективе сила самой памяти «делает прошлое проекцией будущего»². Ж.-К. Шмитт, в своей известной статье «Овладение будущим» так очерчивает этот сложный процесс с очевидной обратной связью, который можно также с уверенностью назвать интерактивным: «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее – голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики – они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности»³. Создавая свои мифологические образы, память отсылает к целому ряду прошедших событий, но они включаются в нередко противостоящие друг другу схемы, каждая из которых призвана объяснять противоречия проживаемого настоящего и соединять «вспоминаемое» прошлое с ожидаемым и конструируемым будущим.

¹ Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Цепь времен: проблемы исторического сознания / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2005. С. 52-54. См., например, анализ мифологизации событий различных этапов и перипетий польской истории в национальной памяти и в историографии: Domanska E. (Re)creative Myths and Constructed History. The Case of Poland // Myth and Memory in the Construction of Community: Historical Patterns in Europe and Beyond / Ed. by Bo Stråth. Brussels, 2000. P. 249–262.

² Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 49.

³ Шмитт Ж.-К. Овладение будущим // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008. С. 132.

Заметную роль играют исследовательские и интерпретационные модели, которые базируются на признании определяющей, или точнее – обуславливающей – роли социального контекста в отношении всех видов деятельности, и следуют общенаучным принципам интердисциплинарности, дополнительности и интеграции макро- и микро-подходов в своем стремлении уйти от жесткой дихотомии «индивида и общества», «структур и событий», отказываясь от бинарного мышления вообще и, в том числе, от традиционного противопоставления рационального и иррационального⁴. Индивидуальный опыт и смысловая деятельность понимаются в контексте межличностных и межгрупповых отношений внутри изучаемого социума, с учетом наличия множества так называемых конкурентных общностей, каждая из которых может задавать индивиду свою «программу поведения». Приоритет отдается анализу символических систем, и, прежде всего, лингвистических структур, посредством которых люди прошлого воспринимали реальный мир, познавали и истолковывали окружающую их действительность, осмыслили пережитое и рисовали в своем воображении желаемое будущее.

«Культурный», «прагматический», «мемориальный», «визуальный», «пространственный» и другие «повороты» открыли перед исторической наукой новые перспективы, новые объекты и методы. Ключевым в одной из предлагаемых интегративных исследовательских моделей стал концепт «опыт», который фокусирует внимание на коллективном, нормативном и культурно-семиотическом аспектах памяти о событиях прошлого, фиксируя тесную связь восприятия прошлого и отношения к нему в исторической памяти с социокультурным контекстом актуального настоящего.

В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, с одной стороны, как один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой стороны – как важнейшая составляющая самоидентификации индивида и как фактор, обеспечивающий идентификацию и консолидацию политических, этнических, национальных, конфессиональных, профессиональных и

⁴ Подробно об интегративных моделях исторического исследования, получивших обобщающее наименование «пост-неклассические», или «неоклассические», см.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. См. также: Репина Л.П. / Теоретические основания исторического знания после «постмодерна» // Методологические и историографические вопросы исторической науки / Ред. Б.Г. Могильницкий, И.Ю. Николаева. Вып. 28. Томск: Изд-во ТГУ, 2007; Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011; Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2012.

других социальных групп, формирующегося у них чувства общности, принадлежности, лояльности и/или эмоциональной приверженности к той или иной группе, способствующего ее консолидации. Процедура любой групповой идентификации (в том числе этнической, конфессиональной и национальной) в синхронном измерении включает разграничение «своих» и «не-своих» («других», «чужих»), а в диахронном – признание непрерывной тождественности различающихся и изменяющихся во времени «мы»-образов».

В современных социокультурных исследованиях особое внимание обращается на роль представлений о прошлом как элементов социальной идентичности, предполагающей принятие и усвоение совокупности ориентаций, идеалов, норм, ценностей, форм поведения той общности, с которой данный индивид себя отождествляет. При этом учитывается субъективная природа идентичности и ее подвижный характер. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие человеку или социальной группе ориентироваться в окружающем мире и в конкретных ситуациях, в которых индивид или коллектив должен и может делать свой осознанный или вынужденный выбор. В рассуждении Карла Ясперса лаконично представлена роль исторического опыта как «знания» в «схватывании» и реализации ситуации выбора: «Все историческое показывает человеку различные возможности. То, что когда-то было действительным, теперь, *в качестве того, что он знает* [курсив мой – Л. Р.], является для него разнообразием путей, имеющих место порядков, основных подходов»⁵.

Память о событиях, людях и явлениях прошлого, которую мы называем исторической, не только социально дифференцирована и избирательна, она, по самой своей природе, изменчива и к тому же нередко подвергается существенным, если не сказать – радикальным, изменениям. История самых разных культурно-исторических общностей знает множество различающихся по своим последствиям ярких примеров «актуализации прошлого», *обращения к историческому опыту с целью его переосмысления с позиций и в интересах настоящего*. Согласно глубокой и точной по формулировке мысли М.М. Бахтина, «нельзя изменить фактическую вещную сторону прошлого, но смысловая, выразительная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она *незавершима и не совпадает сама с собой (она свободна)* [курсив мой – Л. Р.]»⁶.

⁵ Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 115.

⁶ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 430.

Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: переупорядочивание или изменение коллективной памяти означает постоянное «изобретение прошлого», которое бы «подходило» для *настоящего*. В гуманитарной литературе стал употребляться и специальный составной термин – «прошлое-для-настоящего». Именно такая направленность памяти, имеющая для нас принципиальное значение, отражена в заголовке настоящей монографии. Подчеркивая этот аспект связи настоящего с прошлым в своей книге о профессии историка, Рольф Тоштендаль, выразил его метафорически: «Человечество не движется в сторону будущего единым и целенаправленным порывом к ясным целям вне зависимости от того, что говорят политики. Вместо этого оно пьтается в будущее, глядя в прошлое»⁷.

Образы, воспринимаемые как достоверные «воспоминания», как сама «история», и составляющие значимую часть данной картины мира, играют важную роль в ориентации, самоидентификации и формировании реального поведения индивидов и групп, в поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей. В этой связи для понимания поведения действующих лиц истории в тех или иных исторических ситуациях становится необходимым научный анализ процесса формирования отдельных, составляющих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, их конкретных функций, коммуникативной среды их бытования, маргинализации или (ре-)актуализации в обыденном историческом сознании и воспроизведения в авторитетных текстах и нарративах идентичности. Здесь представляется уместным вспомнить слова Ю.М. Лотмана о том, что даже если «такого рода текст расходится с очевидной и известной аудитории жизненной реальностью, то сомнению подвергается не он, а сама эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей»⁸. Как представляется, психологический фактор облегчает процедуру интериоризации индивидом «национальных ценностей»: «Из всех сверхличных ценностей, легче всего человек соглашается подчинить себя ценности национального, он легче всего чувствует себя частью национального целого»⁹.

Итак, именно исходя из заложенных в памяти схем и ранее накопленных знаний, человек ориентируется, сталкиваясь с новыми

⁷ Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание. М., 2014. С. 336.

⁸ Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 368.

⁹ Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. 2-е изд. Париж, 1972. С. 137.

явлениями, которые ему предстоит осознать. Содержание представлений о прошлом у индивидов и групп меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: переупорядочивание или изменение коллективной памяти означает постоянное конструирование (“изобретение”) прошлого. Пьер Бурдьё относил к самым типичным стратегиям конструирования «те, которые нацелены на *ретроспективное реконструирование* прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего»¹⁰. Тезис о «реконструктивном характере» исторической памяти, подчеркивающий роль имплицитных в ней ценностных идей и связь транслируемого ею «знания о прошлом» с ситуацией настоящего момента, получил развитие в теории культурной памяти Яна Ассманна¹¹. Однако, роль «культурной амнезии» в стереотипизации и мифологизации представлений о *недавно пережитом* опыте при радикальной смене идейно-ценностных ориентиров социума, как и противостоящую ей стратегию активации эмоционально-окрашенных индивидуальных и коллективных воспоминаний, историкам еще предстоит исследовать.

Все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в отдаленное прошлое, хотя глубина этой ретроспективы в разных странах и культурах существенно различается¹². В ходе «естественного» и «рукотворного» отбора событий «общего прошлого» некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают смыслами и превращаются в национальные символы. Разделяемые или оспариваемые смыслы и ценности *прошлого* «вплетаются» в понимание *настоящего* нации, а также в массовые ожидания и социально-политические проекты *будущего*.

Как показывают многочисленные конкретные исследования последнего двадцатилетия, осуществленные на материале широкого спектра культур и эпох, образы прошлого, составляющие важную часть коллективной идентичности, могут служить легитимации существующего порядка, выполняя функцию позитивной социальной ориентации, или же, наоборот, противопоставлять ему утопический

¹⁰ Бурдьё П. Социальное пространство и символическая власть (1986) // Начала. М., 1994. С. 199.

¹¹ Ассманн Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

¹² Подробно об этом см. в кн.: Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010.

идеал утраченного «золотого века» и ностальгический образ «другой страны»¹³ (страны, «которую мы потеряли»), формируя таким образом специфическую матрицу негативного восприятия актуального настоящего. Посредством временной фиксации и трансляции накопленного социумом опыта обеспечивается связь между поколениями.

Историческая память, связанная с осмыслением исторических событий и социально-исторического опыта (реального и/или воображаемого) может выступать одновременно как объект и продукт манипуляций массовым сознанием со стороны отдельных доминантных групп (или партий), располагающих соответствующими технологиями и средствами информации, или же государственными институтами – в конкретных политических целях. Одна из важнейших исследовательских проблем, решение которой приобретает в настоящее время все большую актуальность, касается изучения представлений о происходивших в прошлом глубоких социальных сдвигах, кризисах и конфликтах, поскольку эти представления обычно играют ключевую роль в идейной полемике и политической практике. Общеизвестно, что тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее: помимо исторической легитимации как источнике власти, речь идет об использовании как унаследованных от предшествующих поколений, так и о создании новых исторических мифов в публичной сфере для решения политических проблем. Борьба за власть и политическое лидерство, используя помимо всего прочего, важный эмоционально-психологический ресурс, проявляется как соперничество символов величия нации или ее позора в разных версиях исторической памяти и как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться или, напротив, стыдиться.

Крупные события и перемены в условиях жизни сообщества, накопление и осмысление нового опыта стимулируют переоценку прошлого¹⁴. Чем значительнее происходящие в обществе перемены, тем радикальнее может изменяться картина прошлого в историче-

¹³ В этой связи, напрашиваются неоднозначные ассоциации с заголовком замечательной книги Дэвида Лоуэнтала «Прошлое – чужая страна», ставшим для историков своеобразным «мемом», смысл которого в осознании того, что прошлое отлично от настоящего, оно – не столько чужое, сколько другое. И не случайно, что в начале первой главы автор заводит речь о ностальгии. Выйдя впервые в свет в 1985 г. (Lowenthal, David. *The Past is a Foreign Country*. Cambridge, 1985), книга только в издательстве Cambridge University Press выдержала более десяти переизданий, не говоря уже о многочисленных переводах, в числе которых перевод на русский язык: Лоуэнталь Д. *Прошлое – чужая страна*. СПб., 2004.

¹⁴ При этом сами мемориальные клише, на которые опирается память, не изменяются, а замещаются другими, столь же устойчивыми стереотипами.

ском сознании и в историописании. Поэтому несомненно важной исследовательской задачей становится изучение всех форм и методов использования, идеологической переоценки сложившегося комплекса культурно-исторических символов в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «национальную историю» как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах развития общества (пере)создается образ единого национального прошлого¹⁵, соответствующий запросам своего времени. В комплексе признанных и разделяемых представлений, в официальных и других востребованных сообществом версиях «национальной истории» есть место и для *старых исторических мифов* (актуализированных архетипов или продуктов сознательного мифотворчества), и – на определенном этапе – для элементов научного исторического знания, преобразуемого в доступные для восприятия и усвоения *новые образы общезначимого прошлого* (эпох, событий, героев и пр.

Сегодня одним из ключевых предметов анализа является категория исторического сознания. Под историческим сознанием понимается совокупность продуктов духовной активности (знаний и оценок) субъекта современной практики по овладению прошлым, что является необходимым условием установления связей между историческими периодами развивающейся действительности. Историческое сознание рассматривается в контексте познавательной и оценочной деятельности субъекта, направленной в прошлое, и выражается в различных явлениях духовной сферы. Отсюда также вытекает и подход к историческому сознанию как противоречивой совокупности исторических *знаний* и *оценок* прошлого.

Хотя в функционировании исторического сознания знание о прошлом занимает важное место, оно характеризует лишь одну из его сторон, а вторая проявляется в субъективно-эмоциональном отношении к прошлому. Воображая прошлое в соответствии с существующей системой ценностных установок, историческое сознание выступает предпосылкой использования приобретенного опыта, но четкая корреляция между историческим опытом и характером практической деятельности отсутствует.

Историческое сознание любой эпохи выступает как одна из важнейших и сущностных характеристик ее культуры памяти и соответственно определяет присущий ей тип историописания и схему организации накопленного исторического опыта в их неразрывном

¹⁵ Особый интерес представляет исследование возможностей сознательного конструирования / деконструкции исторической памяти и изучение опыта «преодоления прошлого».

единстве. Так, архаическому типу памяти соответствует миф, традиционной памяти – утопия, современной памяти – историческая наука, или «научная история», включающая «национальную», или «отечественную» историю как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах модернизации общества создается новый образ «общего прошлого».

Сочетание, пусть проблематичное, познавательного-критического и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Механизм преобразования группы индивидов в коллективную личность под пером историка очень точно подметил Антуан Про: «Соотнесенность коллективной единицы с составляющими ее индивидами основывается на обратимости *мы* действующих лиц в коллективное единственное число, которым оперирует историк: она позволяет обращаться с национальной или социальной общностью так, как если бы та была неким лицом...»¹⁶, «лицом», которое обретает свое «жизнеописание» в историческом нарративе.

Законы жанра «биографии нации» требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда, который, последовательно репрезентируя ключевые «места памяти», «национальные ценности» и «культурные символы», неуклонно и судьбоносно продвигается в линейной перспективе к актуальной действительности коллективного героя и сходится к субъекту идентификации в настоящий момент его существования. В таком повествовании, указывает В. Вжосек, идея «мы», подвергнутая «спонтанной антропоморфизации», приобретает вид действующего субъекта и, становясь главным героем исторического нарратива, «легитимирует, распространяет и укрепляет в коллективном сознании *националистическую* идею [курсив мой. – Л. Р.]». Национальная история, представляемая как «биография» нации или государства, «чаще всего является фактически автобиографией народа. Другие участники истории оказываются для нее лишь фоном, контекстом... В результате национальные историографии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте) этноцентризм»¹⁷. В новейшей истории Европы этот конфликт неоднократно обострялся, что в равной мере относится и к текущему моменту, который в скором времени тоже неизбежно станет историей, в том числе в ее «национальной» форме. Определяя ситуацию в Европе на рубеже XX–XXI вв., известный

¹⁶ Про, Антуан. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 142.

¹⁷ Вжосек, Войцех. Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 5-13.

историк-медиевист Патрик Гири, в предисловии к своей книге, посвященной «национальным мифам» Средневековья, с горечью писал: «Национализм, этноцентризм, расизм – призраки, казалось бы, давно исторгнутые из европейской души – вернулись с возросшей силой после полувекового сна... И как результат – глубокий кризис идентичности, который поставил вопрос о том, как европейцы видят себя, свои общества и своих соседей»¹⁸.

Для европейского сознания в его историческом развитии чрезвычайно характерны довольно жесткие, повторяющиеся схемы повествований. Представляя читателю развернутый анализ этих разнородных нарративов, С. Кизюков определяет одну из «жестких схем» как «фиксированную личную биографию», в которой содержится набор одинаковых для всех событий, а вторую – как «мегабиографию», описывающую движение некой «вечной» (или имеющей завершение в неопределенном будущем) общности во времени (здесь стоит уточнить – в Большом времени истории), с переживанием моментов-событий своей «мегабиографии» – побед, поражений, предательства, угнетения, торжества, освобождения и др.¹⁹

Исторический нарратив обычно организован не просто как цепь памятных событий, но и как история перехода общества из одного состояния в другое, от одного исторического периода к следующему, причем, как правило, каждый значимый период обрамляется «великими», «переломными» историческими событиями, которые маркируют конец одного периода и начало следующего²⁰. Каждый такой период обладает в общественном сознании своим неповторимым обликом: одни исторические этапы воспринимаются как «золотой век», другие – как «темные века», или же «смутные времена», третьи – как периоды «возрождения» или «время пробуждения»²¹.

И даже несмотря на то, что в нынешнем веке некоторые исследователи связывают рост интереса современной публики к истории с отказом от «мифов о судьбе нации»²², тем не менее, наиболее успеш-

¹⁸ Geary P.J. *The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe*. Princeton: Oxford, 2003. P. 3.

¹⁹ Кизюков С. *Типы и структура исторического повествования*. М.: «Мануфактура», 2000. С. 51.

²⁰ Нора П. (ред.). *Франция-память / Пьер Нора и др.* СПб., 1999. С. 46.

²¹ Леонтьева О.Б., Репина Л.П., Чеканцева З.А. *История и теория на XXII Конгрессе МКИН: Круглый стол «Событие и время в исторических перспективах» // Диалог со временем. 2015. Вып. 52. С. 8-32; Событие и время в европейской исторической культуре XVI – начала XX в.: коллективная монография / Под ред. Л.П. Репиной. М.: «Аквилон», 2018.*

²² Mandler P. *History and National Life*. L., 2002. P. 94.

ные версии «национальных историй», предлагаемые профессиональными историками широкой аудитории (в популярной литературе и телевизионных сериях), представляют собой все тот же линейный, однонаправленный (из «тогда» в «теперь») «большой нарратив», плотно «упакованный» подвергнутыми неизбежному отбору и даже сознательной селекции «фактами» (событиями, лицами, высказываниями), не оставляющий места для конкурентных версий и критического разбирательства, для выбора между правдой и вымыслом.

Другой путь предлагают сегодня некоторые макроисторические модели, входящие в поле транснациональных исследований, прежде всего модели перекрестной и связанной истории: противопоставив национальной и традиционной (классической) универсальной истории историю процессов, объединяющих различные связанные друг с другом общества, культуры, цивилизации, они ставят во главу угла принцип равной субъектности, активности и самооценности всех сторон – участников взаимодействия²³.

В свое время, Бенедикт Андерсон писал, рассуждая о сконструированных «биографиях наций»: «Сознание помещенности в мирской, последовательно поступательный поток времени, со всей вытекающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с “забвением” переживания этой непрерывности – продуктом разрывов, произошедших на исходе XVIII века, – рождает потребность в нарративе “идентичности”»²⁴. Такого рода потребности в историческом нарративе протонациональной или этнонациональной идентичности, как, впрочем, и яркие свидетельства точек забвения, вытеснения, разрыва в исторической памяти, обнаруживаются и на значительно более ранних этапах всемирной истории, включая ее «седую древность», в которой ответственность за ликвидацию чрезвычайной ситуации могла быть возложена только на носителей устной мемориальной традиции²⁵. Тем не менее, и в весьма отдаленные эпохи, даже без

²³ Подробнее об этом см.: Репина Л.П. Память о событиях в контекстах национальной, перекрестной и глобальной истории // Запад – Восток. 2017. № 10. С. 13-19; а также в книге: Реконструкции мировой и региональной истории: от универсализма к моделям межкультурного диалога: коллективная монография / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2017.

²⁴ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 222. В иной перспективе тема идентичностей в их темпоральном преломлении рассматривается в книге: Friese H. Identities: Time, Difference and Boundaries. N.Y.; Oxford, 2002.

²⁵ Подробно об этом на материале разных стран средневековой и ранне-модерной Европы см.: История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. См. также: Smith A.D. Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity. Oxford, 2003.

новых эффективных инструментов и информационных технологий, целостность мифологического полотна памяти с течением времени (разумеется, в случае отсутствия всеобъемлющих катастроф), как правило, восстанавливалась посредством связывания распавшихся фрагментов достаточно прочной нитью преемственности во вновь «изобретенных» исторических повествованиях.

Йорн Рюзен в рамках теории исторического сознания, рассматривая изменения идентичности в результате *кризисов*, в том числе так называемого *катастрофического кризиса*, который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений²⁶. При этом основным способом преодоления кризисов исторического сознания является создание нового нарратива, посредством которого прошлый и недавно приобретенный опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, оформляется в определенную целостность, в рамках которой эти события приобретают смысл.

Социальная функция «национальных историй» давно известна: ведь «без осознания общего прошлого люди вряд ли бы согласились проявлять лояльность к всеобъемлющим абстракциям»²⁷. Практически общепринятыми в современной исторической науке стали суждения об идеологизированности, избирательности, тенденциозности, ангажированности, мифологичности и прагматической ориентации «национальных историй». Однако нам представляется важным обратить внимание не только на базовые характеристики самой этой формы исторического повествования, но также на ее положение в пространстве историографии как академической дисциплины.

Молодая историческая наука XIX века, с одной стороны, декларировала принципы строгой научности, верность критическому методу и приверженность исторической истине, а с другой – фактически выступила важнейшим структурным компонентом национально-государственной идеологии, поставив перед собой задачу создать «сознание непрерывности», «выразительно изложить своему государству, народу в своем исследовании и интерпретации то, что народ пережил и совершил, его самую подлинную сущность, его идею, как бы дать ему образ самого себя» (то есть выполнить задачу кон-

²⁶ См.: Rösen J. *Studies in Metahistory*. Pretoria, 1993; Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 8–26.

²⁷ Тош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 13.

струирования воображаемого сообщества), которая считалась «тем выше и плодотворнее, чем бесформеннее и безвольнее еще государственное и национальное сознание»²⁸. Это сочетание познавательной-критической и национально-патриотической функций не было абсолютно комфортным и порождало у историков, теоретически мыслящих и осознававших риск националистического уклона, вопрос: «не перестаем ли мы при этом быть объективными и беспристрастными?». Тем не менее, отвергнув ранкеанский идеал личной беспристрастности историка, И.Г. Дройзен склонялся перед интересами коллективной идентичности: «Естественно, я буду решать большие задачи исторического изложения, исходя не из моей малой и мелочной личности. Рассматривая прошлое с точки зрения идеи моего народа и государства, моей религии, я возвышаюсь над своим собственным Я. Я как бы думаю из более высокого Я...»²⁹.

Это надличностное Я, «возвышенное» чувство принадлежности, во многом формировало историческую повестку и стойкую приверженность классической (традиционной) историографии национальному / национально-государственному нарративу. Историки творили «великие нарративы национальной истории» вокруг «фактов», подтверждающих древность нации, территориальные завоевания и процесс государственной централизации.

Национальная идея более полутора веков определяла тематику сочинений в жанре «отечественной истории», но даже когда национальное самосознание в странах Европы уже нельзя было назвать «бесформенным и безвольным», оно не перестало нуждаться в постоянной «подпитке», которую ему практически обеспечивали авторитетные профессиональные версии национального прошлого³⁰.

²⁸ Дройзен И.Г. Историка. СПб., 2004. С. 411.

²⁹ Там же. С. 412.

³⁰ О современном содержании понятия «национальная история» см.: Добровольский Д.А. Национальная история // Теория и методология исторической науки: Терминологический словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. М., 2016. С. 316-317. Как объект изучения концепции национальной истории занимают важное место в учебниках и учебных пособиях по истории исторической науки, а работы такого рода непременно фигурируют в обширных библиографиях обобщающих изданий по истории европейских стран. Другое дело – конкретный анализ процесса формирования образно-символической структуры национально-исторического дискурса. Ограничусь здесь лишь двумя яркими примерами: Тогоева О.И. Жанна д'Арк в исторической культуре Франции XIX века: рождение «народной героини» // Диалог со временем. 2016. Вып. 55. С. 20-40; Васильев А.Г., Васильева В.О. Образ «истоков Польши» в романтическом мемориальном нарративе: формирование события // Диалог со временем. 2016. Вып. 56. С. 151-171.

Академическая историография XIX–XX вв., претендуя на статус официального института, а также на государственную поддержку, предоставляла «научное» обоснование исторической укорененности нации / государства. Хотя, конечно, не только в Новое, но и в Новейшее время преимущественную роль в формировании обыденного исторического сознания продолжают играть литература, искусство, религия. Обыденное сознание питается главным образом старыми и новыми мифами, сохраняет склонность к традиционализму, ностальгической идеализации прошлого (особенно в уязвимой, драматической или даже катастрофической экзистенциальной ситуации настоящего³¹) или утопической вере в «светлое будущее»³².

Определяющей оказалась роль транслируемых в учебную литературу интеллектуальных конструкторов исторической науки Нового и Новейшего времени в формировании гражданской идентичности и идеологии национализма, мобилизации национальных движений и бума нациестроительства эпохи Модерна³³. Марк Ферро убедительно показал, как учебные тексты, используемые в разных странах для обучения молодежи, по-разному трактовали одни и те же исторические факты в зависимости от национальных интересов³⁴. И здесь важно не только педалировать триумфального прошлого или ситуаций исторических трагедий национального унижения, но также и

³¹ Обширное наследие русской эмиграции XX в. предоставляет историкам богатый материал для анализа. См., в частности: Антощенко А.В. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003; Ковалев М.В. Исторические праздники русской эмиграции как способ сохранения коллективной культурной памяти // Диалог со временем. 2008. Вып. 25/2. С. 119–138; Алеврас Н.Н. Революция в диалогах эмигрантов о прошлом и будущем России // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2008. С. 711–733 и др.

³² См., напр.: Артемьева Т.В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб., 2005; Фокин А.А. «Коммунизм не за горами»: образы «светлого будущего» в СССР на рубеже 1950–60-х годов // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад. С. 332–366.

³³ См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. Впрочем, идея нации владела умами и гораздо раньше конца XVII в. (см., напр.: Armstrong J.A. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982). Богатейший материал о развитии национального сознания и разных вариантов идеологии национализма в Западной Европе, представлен в книге: Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. ред. В.С. Бондарчук. М., 2005.

³⁴ Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.

блокада пластов памяти о позорном прошлом, использование значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины прошлого в жанре национальной истории.

Господствовавшая в европейской историографии XIX – первой половины XX в. идея прогресса обосновывала позитивное освещение стратегии «присоединения» и «причисления» небольших народов к более крупным нациям с точки зрения перспектив общего развития³⁵. В полиэтничных странах, не говоря уже об империях, этноцентрическая история и национально-государственная (с разной степенью «национализма») история, выступающие в логике традиционных «мастер-нарративов», могли вступать в диссонанс, акцентируя негативные различия («образ врага»), противостояние, напряженность и открытый конфликт. Впрочем, и на рубеже XX–XXI вв. следы жесткого взаимного неприятия (особенно в отношении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем» и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в национальных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гражданах чувство патриотизма, вызывали у историков и педагогов ощущение серьезной угрозы, в частности, процессу европейской интеграции³⁶, не говоря уже о версиях школьной (и не только) истории в постсоветских и других странах, недавно ступивших на ниву нацистской истории³⁷.

Символы исторического нарратива, как и общие культурные символы, вызывают глубокий эмоциональный резонанс. В этом свете выглядят особенно показательными многочисленными оправдательными и обличительными мифы территориальных агрессий и завоеваний³⁸. В экспрессивной формулировке П. Рикёра, «не существует исторической общности, которая была бы порождена чем-то иным, нежели так называемое изначальное отношение к войне. <...> Одни и те же события для одних означают славу, для других – унижение.

³⁵ Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. С. 54–62.

³⁶ Однако, наряду с этим, признается, что в новообразованных государствах национальная история должна иметь приоритет, чтобы восстановить национальную идентичность. Approaches to European Historical Consciousness – Reflections and Provocations / Ed. by Sharon MacDonald. Hamburg, 2000; Phillips P. History Teaching, Nationhood and the State. L., 2000. См. также: Lowenthal D. Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge, 1998.

³⁷ См., в частности: Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. Изд. 2-е. М., 2003.

³⁸ См. сравнительный анализ различных версий «мифологии завоевателей» в монографии: Day, David. Conquest: How Societies Overwhelm Others. Oxford, 2008. Подробнее о практиках мемориализации кризисов национальной идентичности («памяти о катастрофах») см. в книге: The Memory of Catastrophe / Ed. by Peter Gray and Kendrick Oliver. Manchester, 2004.

С одной стороны – восславление, с другой – проклятие. Именно таким образом в архивах коллективной памяти накапливаются реальные и символические обиды»³⁹.

В центре многочисленных теоретических исследований и бурных научных дискуссий конца XX – начала XXI века стоял вопрос о роли национальных историй в формировании националистических идеологий и мобилизации национального сознания. В работах по истории историографии рассматривались проблемы, связанные с этногенетическими мифами и с жанром «истории народа», а также широкое использование «остаточных» мифологем в процессе последующего нациестроительства. Проводился анализ эссенциалистских представлений о «вечном» характере национальных идентичностей, взвешивался баланс этноцентрических и территориально-государственных компонентов в национально-исторических нарративах Нового времени, как в «протонациональных» историях XVI–XVII вв. и «государственно-исторических» проектах XVIII в., так и в романтической историографии первой половины XIX в. и в историографии европейских наций /государств, которая во второй половине XIX – XX веке становилась все более этноцентричной⁴⁰, а также последующие волны националистической историографии постколониальной эпохи в странах «третьего мира» и рецидивы профессионального этнонационализма на всем постсоветском пространстве.

В постмодернистской парадигме ключевой момент, создающий преимущество коллективной памяти над Историей, видится в множественности первой и нормативно-унитарном характере второй, но именно мифы коллективной памяти, поддерживающие претензии той или иной общности на высокий статус, материальные, территориальные, политические и иные преимущества в настоящем, нетерпимы к каким-либо альтернативам и, тем более, к плюрализму мнений. Стремление этнической общности⁴¹ укрепить свою идентичность в ответ на вызов процессов глобализации и культурной уни-

³⁹ Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 120.

⁴⁰ См. об этом: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 2: Образы прошлого. СПб., 2006. С. 563-571; Writing National Histories: Western Europe since 1800 / Ed. by S. Berger, M. Donovan and K. Passmore. L., 1999.

⁴¹ Существуют различные определения «этнической общности». Приведем лишь одно из них, которое представляется наиболее приемлемым: «группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обладают как бы общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой географической территорией, а также демонстрировать чувство групповой солидарности». – Тишков В.А. Этнология и политика. М., 2001. С. 230.

фикации может лишь усилить стратегию негативных различий в репрезентациях «национальной истории»⁴². Следует, конечно, иметь в виду, что национальная идея воплощалась в моноэтнических и полиэтнических нациях-государствах по-разному⁴³.

Память неотъемлема от исторического знания вообще, тем более от такой его формы как национальная история. Анализируя концепцию Филиппа Ариеса по вопросу о связи между коллективной памятью и историческим познанием, изложенную в его книге «Время истории»⁴⁴, Патрик Хаттон писал: «С обратной стороны горизонта прошлое всегда будет окутано тайной памяти, так как коллективная память является той средой стереотипов мышления, в которой и рождается история. В этом смысле память является основанием истории»⁴⁵. Речь шла об исследованиях по истории Франции, «истории, считавшейся научной», признаваемой «научной» сообществом профессиональных историков. Но в таком формате «научная история», конституированная как национальный институт выполняла свою социальную функцию «на службе памяти», поскольку ее цель состояла в укреплении и обогащении памяти государства-нации⁴⁶.

В кризисных ситуациях, требующих упрочения национальной консолидации, идеологемы «большого нарратива» использовали не только политики, но и историки, хотя и прославившиеся своей критикой презентизма, однако не пренебрегавшие теми «ресурсами прошлого, которые могут быть привлечены, чтобы сплотить нацию в военное время... и черпать силу из непрерывной преемственности нашей истории»⁴⁷. Именно так, в тяжелые годы Второй мировой войны, Герберт Баттерфилд, знаменитый критик принципов прогресса и континуитета в «вигской интерпретации истории»⁴⁸, обращаясь к соотечественникам в своей небольшой книге «Англичанин и его история», писал: «Всегда, даже погружаясь в море перемен и нововведений, Англия не прерывала связи со своими традициями. <...> Мы были благоразумны, ибо были внимательны ко всему, что связывает прошлое и настоящее воедино, и когда случались великие

⁴² Rüsen J. How to overcome ethnocentrism: Approaches to a culture of recognition by history in the twenty-first century // *History and Theory*. 2004. V. 43. P. 118-129.

⁴³ Об этой актуальной проблеме в современных многосоставных государствах см., в частности, главу 10 настоящей монографии.

⁴⁴ Aries Ph. *Le Temp de l'Histoire*. Monaco, 1954.

⁴⁵ Хаттон П. *История как искусство памяти*. СПб., 2003. С. 238.

⁴⁶ Ср.: Рикёр П. *Память, история, забвение*. М., 2004. С. 132.

⁴⁷ Butterfield H. *The Englishman and His History*. Cambridge, 1944. P. V-VI.

⁴⁸ Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. 1931. Подробнее об этом см. ниже, в главе 9.

переломы – например, во время Реформации или Гражданских войн – последующее поколение делало все возможное, чтобы устранить дыры и прорехи, сделанные ими в ткани нашей истории. Англичане, жившие сразу же после этого, как бы возвращались с иголкой назад и тысячью мелких стежков вновь пришивали настоящее к прошлому. Вот почему мы стали страной традиций, и живая преемственность постоянно сохраняется в нашей истории»⁴⁹.

В условиях динамичных общественных сдвигов настойчивые апелляции к «корням» (нередко обращение к «корням» представляет собой форму отказа от доминирующего исторического нарратива) или концепции «неизменной идентичности» оказываются способны укрепить представления о «древности нации», «национальной самобытности», «особом пути» и «особой миссии», о «моральном превосходстве», лидерстве и даже исключительности, в том числе по линии противопоставления «цивилизация–варварство»⁵⁰. Востребованность такого рода «исторических» идеологем неизбежно возрастает в условиях кризисного состояния общества и ускоренного государственного нацистроительства в новых политических образованиях, стремящихся к максимальному удревнению своей генеалогии и изобретающих «престижных предков»⁵¹.

В современную эпоху гораздо более «мягкого» определения научности, нельзя не согласиться с тем, что «история представляет собой не только научную, но в равной мере социальную практику, и та история, которую пишут историки, как и их теория истории, зависят от занимаемого ими места в этом двойном – социальном и профессиональном пространстве»⁵². Между тем, когда в конце XX века

⁴⁹ Butterfield H. *Englishman and his history*. P. 5. Американский рецензент этой книги четко определил ее главную идею: «Английская история как Провидение». См.: *The Review of Politics*. Vol. 7. Issue 2. April 1945. P. 261-263.

⁵⁰ Яркий пример многовековой «работы» историографической традиции по формированию и поддержанию национальной идентичности предоставляют исследователям китайские официальные «династийные истории». Подробнее об этом см.: Доронин Б.Г. Национальная идентичность и китайская национальная историографическая традиция // *Диалог со временем*. 2007. Вып. 21. С. 119-148.

⁵¹ По этой проблематике см., например, исследования В.А. Шнирельмана, в том числе на конкретном материале таких сильных инструментов формирования коллективной идентичности, как школьные учебники истории, в частности: Шнирельман В.А. В поисках престижных предков: этнонационализм и школьные учебники // *Ответственность историка: Преподавание истории в глобализирующемся обществе*. М., 2000. С. 151-166; Шнирельман В.А. Очарование седой древности: Мифы о происхождении в современных школьных учебниках // *Неприкосновенный запас*. 2004. № 5 (37). С. 79-87.

⁵² Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 55

проблематика памяти и идентичности выдвинулась на передовые позиции (как в общественном сознании, так и в научных дискуссиях), многие профессионалы были склонны подчеркивать классическую оппозицию между *памятью*, обладающей силой формировать идентичности, и *историей*, призвание которой – объективно анализировать и обобщать, а ее критическая функция диктует необходимость для историка дистанцироваться от политических, общественных и личностных пристрастий, которые скрываются за понятием «долга памяти».

В этой связи и возникает вопрос: какова роль в формировании исторических представлений гражданской нации интеллектуалов-историков, испытывающих на себе не только воздействие академической традиции, профессиональных норм и конвенций, но и мощное влияние социальной среды, общественных запросов и настроений? Ведь и обвинения современной академической историографии в грехе этноцентризма, хотя бы в специфической форме европоцентризма, отнюдь не беспочвенны⁵³. Когда и как в подобных ситуациях реализуется критическая функция исторической науки?

По этому поводу предельно ясно высказался Пьер Бурдьё в известном интервью 1995 года: «[История] колеблется... между неизбежно критическим исследованием, коль скоро оно применено к объектам, *воссоздаваемым вопреки* (курсив мой. – Л. Р.) обыденным представлениям и потому совершенно неведомым истории мемориальной, и официальной или полуофициальной историей, предназначенной для управления коллективной памятью через участие последней в торжествах по случаю памятных дат...»⁵⁴.

Собственно, этот процесс мы и наблюдаем сегодня, прежде всего в средствах массовой информации. Не менее показательны то значение, которое в плане конструирования национальной идентичности, придают преподаванию истории современные политики и штатные идеологи.

Национальные движения и государственные структуры в разных регионах мира использовали чувство коллективной принадлежности (так называемые «протонациональные связи»), «чувство, которое уже существовало и обладало, так сказать, потенциальной способностью действовать на новом, макрополитическом уровне, соот-

⁵³ Об этноцентризме в историописании см.: Fuglestad F. *The Ambiguities of History: The Problem of Ethnocentrism in Historical Writing*. Oslo, 2005.

⁵⁴ Цит. по: Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 52.

ветствующем современным нациям и государствам»⁵⁵. Формирование национального сознания, очевидно, может происходить разными путями, но конструирование общего исторического прошлого играет в этом процессе центральную роль. «На самом глубинном уровне – на уровне символических опосредований действия – память включается в конституирование идентичности с помощью нарративной функции. <...> [На уровне идеологии] навязанная память подкрепляется самой “дозволенной” историей – историей официальной, историей прирученной и публично восславленной»⁵⁶.

Сегодня имеется тенденция рассматривать исторический нарратив, основанный на научном исследовании, в одном ряду с такими формами исторической памяти как исторический миф, культурно-исторический символ («место памяти», по Пьеру Нора), традиционное историописание, и как вариант нового исторического мифа. Как бы то ни было научное историческое знание может выступать основой для формирования исторических символов с различным ценностно-смысловым содержанием, выполняющих важные социальные функции (интегрирующую, познавательную, объяснительную, мотивирующую, нормативную, воспитательную, идеологическую, развлекательную) и образующих определенную систему (на разных уровнях – общенациональном, региональном, локальном). Важную роль в этом «превращении» играет, помимо прочего, практика коммемораций, и прежде всего юбилейных.

В конце XX – начале XXI в. в связи с рядом юбилеев крупнейших исторических событий в российской историографии были предприняты исследования практик использования и злоупотребления символическими ресурсами «юбилейной памяти»⁵⁷. Изучение коммеморативных практик, связанных с юбилейными датами ключевых исторических событий⁵⁸, позволяет лучше понять отношения между

⁵⁵ Хобсбаум, Эрик. Нации и национализм после 1770 года. С. 224.

⁵⁶ Рикёр П. Память, история, забвение. С. 224.

⁵⁷ В этой связи можно также отметить многократно цитируемый в научной литературе сборник «Коммеморации: Политика национальной идентичности», в котором в компаративном ключе впервые рассматривались отношения между коллективной памятью и национальной идентичностью в разных культурах и национальных государствах, борьбе групп и индивидов за создание нужного им прошлого (рецензенты в свое время назвали это издание «жизненно важной книгой», «лучшим введением в исследования исторической памяти»). – *Commemorations. The Politics of National Identity* / Ed. J.R. Gillis. Princeton, 1996.

⁵⁸ См.: Румянцева М.Ф. Проблема коммеморации: метанарратив – места памяти – ренарративизация // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 16-31; Поршнева О.С. От юбилея к юбилею: интерпретация российского военно-

историей и памятью, а также роль политики памяти в деле формирования исторического сознания социума.

Как выразились авторы известного европейского коллективного проекта «Репрезентации прошлого: Национальные истории в Европе»⁵⁹ в преамбуле к своему изданию: «Национальная история – ключевой фактор национальной идентичности. Систематическое исследование конструирования, размывания и реконструкции национальных историй в широком разнообразии европейских государств является в высшей степени важным и актуальным по двум причинам: во-первых, из-за долгой и успешной истории национальной парадигмы историописания, и, во-вторых, из-за ее реактуализации как мощного политического инструмента в 1990-е гг. в контексте ускоренных процессов европеизации и глобализации»⁶⁰. В рамках этой исследовательской программы было предложено понимать национальные истории XIX века «как презентацию истории с целью сформировать прошлое национального государства»⁶¹. Впрочем, будучи действительно мощным политическим инструментом формирования идентичности, «национальная парадигма историописания» не уступает своих позиций – прежде всего в школьном образовании и государственных институтах памяти – даже под «напором» новых, транснациональных, региональных, «глобальных» историй.

Национально-государственная схема истории, абсолютизирующая политический опыт стран Западной Европы, опыт создания централизованных государств и формирования современных политических наций была и до сих пор остается наиболее распространенной моделью историописания в жанре легитимирующего метанарратива. Национально-государственная парадигма придает историописанию унифицирующий характер в формате биографии особого субъекта – нации-государства, судьба которого становится основным сюжетом исторического нарратива.

Ситуация рубежа веков и тысячелетий, подогревшая интерес современного общества к данной проблематике, многими интеллек-

революционного кризиса 1914–1922 гг. в контексте двух знаменательных дат // Диалог со временем. 2018. Вып. 64. С. 248-261; Поршнева О.С. Наполеоновские войны и Первая мировая война в политике памяти и исторической памяти народов // Диалог со временем. 2018. Вып. 65. С. 353-359; и мн. др.

⁵⁹ «Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe».

⁶⁰ Writing national histories: Western Europe Since 1800 / Ed. by S Berger, M. Donovan, K. Passmore. London, 1999. См. также: Berger S., Lorenz Ch. (eds.) Nationalizing the past: historians as nation builders in modern Europe. London, 2010.

⁶¹ Berger S. National historiographies in transnational perspective...: Europe in the nineteenth and twentieth centuries // Storia della storiografia. 2006. N 50. P. 14.

туалами описывается в терминах *конфликта, кризиса и транзита*, что, естественно, стимулирует изучение исторических ситуаций и процессов исторической памяти переломных эпох, характеризующихся аналогичной констелляцией кризисных тенденций, социальными конфликтами, переживанием радикальных трансформаций, влекущих за собой ломку сложившейся системы базовых структур общественной жизни, социальных норм, идеалов и ценностей. И даже не выходя за пределы европейской истории, мы найдем множество примеров, когда проблемы настоящего времени диктовали необходимость не просто обращения к прошлому, но его кардинальной переоценки. При этом, говоря о кризисах переходных эпох, исследователи все больше обращают внимание не столько на их непосредственную роль в процессе исторических преобразований, сколько на восприятие событий современниками, на трансляцию и рецепцию опыта их переживания в историческом сознании последующих поколений, на фиксацию и мифологизацию исторической памяти в так называемых нарративах идентичности.

Когда в конце XX века проблематика памяти и идентичности выдвинулась на передовые позиции как в общественном сознании, так и в научных дискуссиях, рационально мыслящими профессионалами охвативший общество «мемориальный бум» был осознан как вызов. Многие были склонны подчеркивать классическую оппозицию между *памятью*, обладающей силой формировать идентичности, и *историей*, призвание которой – объективно анализировать и обобщать. Вспомним хотя бы следующие афористичные высказывания: «Память о прошлом не имеет ничего общего с научной историей»; память «черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает, история же требует доводов и доказательств»; «смешение прошлого с настоящим... — суть памяти и антитеза истории»⁶².

При анализе процесса конструирования прошлого как отбора и выстраивания событийного ряда, сходящегося к субъекту идентификации, возникает вопрос – насколько эта выборка произвольна? Все авторы отмечают весьма значимый аспект этнической/национальной идентичности – эмоционально-аффективный, но что пробуждает эти чувства сопричастности, приверженности, разделяемой гордости, самозабвенной преданности, жертвенной любви и пр., как рождается

⁶² Ассманн Я. Культурная память... С. 81; Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 319; Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005. С. 119.

эмоциональный отклик на идеологический конструкт? Большинство теоретиков исторической памяти упускает из виду стихийную деятельность по ее производству и роль унаследованных культурных традиций, уже имеющих нарративов национальной идентичности.

Безусловно, представления о «вечном» характере национальных идентичностей, не проходят проверку научным исследованием. И все же историческая мифология (и национальный миф как таковой) – это не только продукт идеологических манипуляций и умелой пропаганды интеллектуальных и политических элит или властных структур, стремящихся обосновать (в символической форме) или «закрепить» безальтернативной официальной версией истории свое господство. «Изобретатели» традиций, этносов и наций действуют в столетиями складывавшейся и разнородной этнокультурной среде, оперируют наличествующими в ней символическими ресурсами и вынуждены считаться как с ее ограничениями, так и с подспудно происходящими в ней переменами.

За пределами круга добровольных или наемных «этнополиттехнологов», осознанно и намеренно делающих свою «конструктивную» работу («по зову сердца» или по щедро оплачиваемому заказу), остаются такие *невольные*, но весьма действенные «участники» процесса этнической/национальной идентификации, как социокультурные факторы длительной временной протяженности (например, культурно означенное, обжитое предками пространство, общий язык, символы, обычаи и ценности, верования/религия, многовековая устная традиция или же так называемая *историзация мифов* в устойчивой письменной традиции) и краткосрочные исторические ситуации, образующие подвижный контекст, в котором социальное конструирование идентичности выступает как сложный процесс, подверженный воздействию разнонаправленных сил и многочисленных случайностей. В этом динамичном контексте образы уходящей реальности проходят процедуру стереотипизации, взаимодействуют с уже, казалось бы, обветшавшими, но удивительно живучими старыми мифологемами, способными актуализироваться в новых исторических обстоятельствах и трансформироваться сообразно возникающим общественным потребностям⁶³.

⁶³ Центральными структурообразующими элементами этнической идентификации в мощном силовом поле культурной традиции, имеющей коммуникативную природу, являются миф об общем происхождении (общем предке), представление об особой территории, признаваемой «исторической родиной», и общем *групповом* прошлом (неважно – реальном, или же предполагаемом) *составляющих осознаваемую общность индивидов* (живых и ушедших в Лету).

В эпоху Модерна представления о прошлом (и часто об очень далеком прошлом), подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают как важный фактор национальной идентичности, которая складывается из этнокультурной и территориально-государственной составляющих. При этом речь может идти не только о воспроизведении или переозначивании старых мифов, но и о рождении новых образов далекого прошлого, призванных очертить границы «своей» общности, выделив ее из более широкого территориально-политического образования либо присоединив к нему дополнительные территориально-административные единицы, или же объединив несколько таких образований. При этом в публичной полемике формируются соперничающие модели национальной идентичности, соотносимые с разными типами мировоззрения и ценностными ориентациями, с разными картинками прошлого и проектами будущего, с разными политическими целями.

Активно обращаясь к проблемам исторической памяти в политическом контексте, историки сегодня в основном сосредоточены на изучении различных аспектов «использования прошлого» (включая технологии политического манипулирования) и «риторики памяти» (как риторики «прогресса и модернизации», так и риторики «упадка и ностальгии»), а также конкурирующих мемориальных практик. Однако, рассматривая в прагматическом ключе механизмы формирования, фиксации, сохранения, преобразования и передачи исторической памяти, социальное бытование представлений о прошлом в профессиональной и массовой культуре и их роль в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп, нельзя забывать о когнитивной роли исторической памяти, что предполагает принципиальную исследовательскую установку на синтез прагматического и когнитивного подходов к ее изучению.

Данное направление исследований опирается на анализ исторического сознания, которое конструирует образ прошлого, соотносясь с запросами современности: происходящие в современном обществе перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, и чем значительнее эти перемены, тем радикальнее изменяется образ прошлого, складывающийся в общественном сознании. При этом социальная память не только обеспечивает набор категорий, посредством которых члены данной группы неосознанно ориентируются в своем окружении, она является также источником знания, дающим материал для сознательной рефлексии и интерпретации транслируемых образов прошлого в исторической мысли и профессиональном историческом знании. В этой связи и возникает вопрос: какова роль

профессионалов-историков, испытывающих на себе мощное влияние не только академической традиции, но и социальной среды, в формировании исторических представлений? Когда и как в подобных ситуациях реализуется критическая функция исторической науки?

Вопрос о соотношении памяти, знания о прошлом и истории как науки трактуется неоднозначно. Даже самые убежденные сторонники научного историзма признают, что историю и память не всегда можно полностью отделить друг от друга. Связь истории с памятью неустраима. Одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, но все же историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений: существует немало средств социального контроля над «историей историков» – не только прямое давление или запреты, но и более мягкие, скрытые ограничения и особые механизмы поощрения, которые, так или иначе, воздействуют на формирование различных историографических традиций. С одной стороны, нельзя забывать о живучести не до конца отрефлексированных ментальных стереотипов у самих историков и социальных стимулах их деятельности, с другой, о присутствии и трансляции элементов знания о прошлом в самой памяти, а также о процессах интеллектуализации обыденного исторического сознания, сколь бы неоднозначны и противоречивы они ни были. Ведь организуя события в новый исторический нарратив, историк, в конечном счете, предъявляет обществу свою историю, которая претендует на то, чтобы стать общей памятью, или, по меньшей мере, ее авторитетной версией.

Позиция ученого в отношении коллективной памяти не всегда последовательна, и профессиональные историки активно участвуют в процессе ее преобразования, отвечая общественным потребностям. С одной стороны, ставятся вопросы о важнейших этических проблемах исторической профессии, преодолении европоцентризма, «ориентализма» и мифов о национальной исключительности, подчеркивается недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и инструментализации в политических и в каких-либо иных целях, а с другой – активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием «травматического исторического опыта».

И все же – в чем отличие «истории историков» от других репрезентаций прошлого? С XIX века, когда научная практика историков превратилась в критический метод изучения прошлого, она основывалась на принципах историзма, контекстуальности и процессуальности, противоположных базовым характеристикам памяти.

История как наука стремится к достоверности представления о прошлом, к тому, чтобы *знания* о нем не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент настоящего. Для исторической науки прошлое ценно само по себе, и ученый-историк должен, насколько возможно, быть выше соображений политической целесообразности и следовать логике доводов и доказательств. Действительно, «история – это не просто память человечества, а коррекция этой памяти»⁶⁴.

История не в состоянии упразднить память, но «есть некая привилегия, которой у нее не отнять, – не только распространять коллективную память за пределы любого реального воспоминания, но и подправлять ее, критиковать, даже изобличать во лжи память определенного сообщества, когда оно сосредоточивается на себе и погружается в собственные страдания до такой степени, что становится слепым и глухим по отношению к страданиям иных сообществ»⁶⁵. Именно дистанцируясь от памяти, делая ее объектом критического анализа, исторического знания обретает научный статус.

⁶⁴ Krieger L. The Horizons of History // American Historical Review. 1957. Vol. 63. N 1. P. 73.

⁶⁵ Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 689, 693.

ГЛАВА 2

ИМПЕРСКИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗЫ РОССИИ XIX–XXI вв.: Память и идентичность в имперской России

Связь проблемы национальной идентичности и исторической памяти очевидна. Автор понятия идентичности, психолог и психолог-историк Э. Эриксон писал: «Идентичность содержит взаимодополнительность прошлого и будущего: как в индивиде, так и в обществе она связывает актуальность уходящего прошлого с актуальностью открывающегося будущего»¹. Эта тема применительно к России и связанные с ней аспекты особенностей исторического сознания, национальной консолидации и национализма, имперского, цивилизационного и формационного сознания, с одной стороны, выделяют Россию на общем фоне европейских стран, а с другой – вводят в ряд европейских и неевропейских «полупериферийных» стран. Очевиден и значительный разрыв в формах исторического сознания. Р. Козеллек и Ф. Артог проследили еще на рубеже XVIII и XIX вв. переход на Западе от циклического восприятия времени и модели истории как «учительницы жизни», связанных с пассивным режимом историчности, к линейной модели времени, футуристскому режиму историчности и сосредоточенности не на дискурсе о прошлом, а на опыте прошлого². В России дискурс о прошлом до сих пор доминирует над опытом, как и пассивизм над футуристским режимом историчности. Отсюда разница в понимании памяти как преемственности: преемственности движения или преемственности дискурса. Для нас эти вопросы не решены, и ситуация «войн памяти» порождает запросы на вмешательство государства в осмысление «уроков прошлого» и создание нормативного дискурса об истории. Тема национальной идентичности и «империи-нации» (Ф. Купер) актуализирует стратегии сплочения всего общества «на основе позитивных образов

¹ Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. М., 1996. С. 323.

² Koselleck R. Futures Past. On the Semantics of Historical Time. N.Y., 2004; Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 2008. № 3 (59). С. 19-38.

и исторических дискурсов», «императивов верности "героическому" прошлому»³. Основное внимание уделяется вертикальному доверию общества к власти (государственной идентичности), а не горизонтальному доверию и солидарности между группами общества (гражданской идентичности). Если о последних и пишут, то стирают границы между ними, говоря о государственно-гражданской идентичности и сосредоточившись не на позитивной (выражающейся в доверии, солидарности и сопереживании), а на негативной идентичности (по отношению к иным странам и народам) и провозглашаемой, а не реализуемой идентичности⁴. Между тем именно горизонтальное доверие и основанный на нем диалог придают приоритет внутренним потокам информации (самого разного рода, вплоть до генетической) над внешними, что характерно для национальной коммуникации. Местные национальные истории, как и процесс глобализации, рассматриваются прежде всего в связи с фальсификациями истории и угрозами идентичности⁵. Темы памяти, идентичности, как и нации в России все еще пытаются исследовать если не прямо субстанционалистски, то по меньшей мере парадигмально, предлагая единственный «оптимальный» взгляд на вещи, а не сумму подходов, меняющихся в зависимости от описываемой эпохи и познавательных перспектив (перекрестная история)⁶.

Между тем зависимость образа России от западного дискурса (имперского, цивилизационного, национального) порождает, как и в Центральной и Восточной Европе, мусульманском мире, в Латин-

³ Бадмаев В.А., Хутыз З.А. Историческая память и конструирование национальной идентичности // Новые технологии. 2009. № 4. С. 75-76.

⁴ Горшков М.К. Роль государства в сохранении и развитии национальной идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных процессов // Гуманитарий Юга России. 2013. С. 11-25; Дробижева Л.М. Теоретические проблемы изучения гражданской идентичности и социальная практика (http://www.perspektivy.info/book/teoreticheskiye_problemy_izuchenija_grazhdanskoj_identichnosti_i_socialnaja_praktika_2014-09-10.htm); Гараев О.М. Сила власти в доверии народа // Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 2. С. 677-680.

⁵ Фальсификации источников и национальные истории. Материалы науч. конф. М., 2007; Конфликтогенный потенциал национальных историй / Отв. ред. А.В. Овчинников. Казань, 2015; Жукова Н.Г. Глобализация и сохранение национальной идентичности (<https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-sohranenie-natsionalnoy-identichnosti>); Вызовы этничности и тенденции проявления идентичности / Под ред. Ф.Г. Сафина. СПб., 2015.

⁶ Бадмаев В.А., Хутыз З.А. Историческая память... С. 75-76; Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 192; Вернер М., Циммерманн Б. После компаратива: *histoire croisée* и вызов рефлексивности // *Ab Imperio*. 2007. № 2. С. 59-90.

ской Америке, специфические для периферии, исторически изменяемые проявления зависимого сознания («боваризм») и его альтернативных форм, западничества и славянофильства. Эти тенденции можно связать с «процессом цивилизации» в смысле фигуративной социологии школы Н. Элиаса, характеризующимся сменой стратегий социальной интеграции, а также с процессом периферийной модернизации, как его описывал С. Хантингтон⁷. И если актуальные проблемы исторической памяти, национальной самоидентификации в историческом разрезе и историография темы изучаются отечественными историками⁸, то их глобальные предпосылки и варианты, сравнительно-исторические и теоретические их преломления остались в стороне от внимания большинства исследователей⁹. Понятно, что в этих условиях внимание к глобальному контексту, сравнительно-исторический подход, дополненный перекрестным теоретическим анализом, могут быть весьма полезны.

На рубеже XIX в. западные авторы зафиксировали циклические ритмы в истории Европы, смену революционных тенденций контрреволюционными. В 1795 г. женевец Ш. Пикте де Рошмон, позже представлявший Швейцарию на Венском конгрессе, назвал Европу (в отличие от Америки) обреченной колебаться «между унылым спокойствием тирании и бурной яростью анархии»¹⁰. В России эти

⁷ Melegh A. On the East–West Slope: Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Eastern Europe. Budapest, 2006; Wouters C. Informalisation: Manners and Emotions since 1890. L., 2007; Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 2. М.–СПб., 2001. С. 309, 311; Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М., 2004.

⁸ Тишков В.А. Историческая культура и идентичность // Уральский исторический вестник. 2011. № 2. С. 4-16; Он же. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М., 2013; Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 2. Вып. 2. С. 106-126; Бадмаев В.А., Хутыз З.А. Историческая память... С. 75-79; Дмитриева О.О. Историческая память и механизмы ее формирования: анализ историографических концепций в отечественной науке // Вестник Челябинского гос. университета. 2015. № 6 (361). История. Вып. 63. С. 132-137.

⁹ Хотя соответствующие проблемы ставятся и частично решаются некоторыми историками: Шадже А.Ю. Российская идентичность в контексте постнеклассической науки // Идентичность как предмет анализа / Отв. ред. И.С. Семеновко, Л.А. Фадеева. М., 2011. С. 42-47; Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Глебов С.В., Семенов А.М. Новая имперская история современной Евразии. Казань, 2017.

¹⁰ Цит. по: Литературная история Соединенных Штатов Америки / под ред. Р. Спиллера, У. Торпа, Т.Н. Джонсона и Г.С. Кэнби. Т. 1. М., 1977. С. 259. В конце XX в. сходные идеи на основе российской истории развивал А.С. Ахиезер. См.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. В 2 т. М., 1997.

циклические процессы проявлялись то мягко, в форме смены реформистских тенденций контрреформами (как в XIX в.), то мощно (как в XX в.). Поскольку внешняя легитимность самодержавной власти гарантировалась ее просвещенным европейским статусом, для укрепления которого так много сделала Екатерина II, минимизацией различий России и Европы¹¹, соответствием цивилизованным европейским нормам, речь шла о циклической смене тенденции к универсалистским, западническим реформам – тенденцией к борьбе за суверенитет и идеологическую самоизоляцию. Они в значительной мере определили формы исторической памяти и формы самоидентификации в России на протяжении XIX – начала XX века. В сущности, речь шла о стремлении сделать упор то на внешней легитимации власти, то на внутренней ее легитимации.

Внешняя легитимация была связана также с европейским и просвещенным статусом российского дворянства, стремившегося быть цивилизованным (т.е. получить европейское образование, знать западные языки и манеры), жившего в мире иностранных персонажей и символов благодаря чтению западных книг по истории и философии, а также романов. Как писал А.И. Герцен, до 1812 г. «быть образованным значило быть наименее русским». Цивилизационная (европейская) идентичность отчасти или полностью вытесняла местную идентичность и историческую память. «Русским иностранцам» была свойственна «равнодушная чуждость» к родине. Отец Герцена И.А. Яковлев, имевший одни корни с династией Романовых, никогда не читал русских книг и полагал, что русская история не может быть никому интересна. Герцен отмечал, что это делало «русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью» культурно бесплодными¹². Цивилизационное самосознание стимулировало сильную психологическую зависимость дворянства от Запада, стремление к дистанцированию от крестьянского «варварства», к сословной обособленности от образа крепостного как неприятного и опасного Иного. Дворянина учили «не быть подобным деревенскому мужику, что на солнце валяется», не надевать деревенскую одежду даже на карнавалах, носить ее разве что в наказание¹³. Все это мешало скла-

¹¹ Различия подчеркивали западные путешественники. – Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.

¹² Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Соч. В 9 т. Т. 4. М., 1956. С. 87; Т. 5. М., 1956. С. 33.

¹³ Шипилов А.В. Благодество против подлости: Специфика формирования сословной культуры русского дворянства // Общественные науки и современность. 2007. № 1. С. 137, 142-143.

дыванию единой нации, выделяло в России европеизированную и рационализированную «нацию салонов».

Еще Жан де Лабрюйер писал, что следование придворной моде делает провинциальных французских дворян ее рабами¹⁴. В XX в. социолог Н. Элиас проследил подобное состояние в отношениях дворянства и буржуазии Запада с элитами других стран. «Цивилизованность выступает как дающее превосходство отличие людей Запада», – писал Элиас. Подражание «цивилизованным людям» придавало смысл жизни русских дворян так же, как ранее жизни французских дворян и буржуа. Сходство с ними, отторжение от всего, что считается «социально низким... могло позволить им сохранить свое отличие от прочих и поддержать престиж, ценимый ими чуть ли не так же, как спасение души». Они тоже «оказались в ситуации монополюльно регулируемой конкуренции, они борются за шансы, раздаваемые монополистом». Сеть зависимостей от этого монополиста – западной аристократии – оказывает «постоянное давление», требует «самопринуждения», как положение ученика в школе. Результатом оказывается «внутренний раскол личности: человек словно противостоит самому себе». В итоге русский дворянин «признает себя низким. Он боится утраты любви и уважения тех, чью любовь и уважение он не хотел бы потерять. Их установки стали его собственной установкой, и она автоматически начинает действовать против него самого... делает его... столь беззащитным». Такая ситуация деформировала самоидентификацию, породила зависимое сознание и то, что Элиас называл «левантизмом» – связанные с ним деформации поведения. Стыд и напряжение зависимого сознания воспроизводят самоидентификацию с другой культурой, русский дворянин оказывается «колонизируемым» при помощи идеалов цивилизованности¹⁵. Исследования подобных нетривиальных форм сознания, памяти и идентичности развивались на широком междисциплинарном поле в течение всего периода с конца XIX до начала XXI в. Они анализировались в глобальном контексте, с разных сторон, в рамках разных концепций, на примерах различных народов и возрастов человека¹⁶.

¹⁴ Цит. по: Элиас Н. Указ. соч. С. 273.

¹⁵ Там же. С. 260, 271, 273, 276, 293, 309. См. подробнее: Ионов И.Н. Глобальная история и изучение прошлого России. Ст. 3, 4 // Общественные науки и современность. 2013 № 5. С. 138-153; 2014. № 6. С. 124-126. А.В. Шипилов писал применительно к XVIII в.: «Сознательно русский фендрик мог ненавидеть немецкого лейтенанта, но бессознательно все равно стремился ему подражать...». – Шипилов А.В. Указ. соч. С. 141.

¹⁶ Характерные для России «двойное сознание» (так его обозначил в начале XX в. социолог и историк У. Дьюбуа), спутанная или негативная идентич-

Цивилизационная идентичность русского дворянства, ее связь с западноевропейской культурой и исторической памятью породила то, что антрополог Г. Бейтсон в середине XX века определил, как «шизофреногенную семью» (в данном случае дворянства Запада и России), в которой имеются запреты на воспоминания о непоследовательности или враждебности родителей, различие симулируемых ими и реальных чувств, а также запрет на метакоммуникацию, то есть на анализ контекста высказываний и поведения родителей. Запад усиливал напряжение, посылая русским то, что Бейтсон называл «двойными посланиями»¹⁷ – противоречивые сообщения о цивилизационном статусе России. Такое «парадоксальное предписание к действию, – писал исследователь коммуникации и системных отношений П. Вацлавик, – делает невозможным сам выбор: ни одна из альтернатив фактически не дана, и в ход запускается сам себя увековечивающий, колебательный процесс»¹⁸. «Изобретая» Восточную Европу как антитезу, Запад, по словам Л. Вульфа решал собственную задачу по самоидентификации как лучшей части Европы. Так Запад проводил политику идентичности: «одновременно устанавливал собственную идентичность и подтверждал свое превосходство». Концепция цивилизации и варварства «позволяла приписать Восточной Европе подчеркнутую подчиненность и дополнительность по отношению к Европе Западной», ее «можно было назвать отсталой, поместив в двусмысленном промежутке на шкале относительной развитости». Ее «полуцивилизованный»/«полуварварский» статус постоянно менялся, что создавало невротизирующую ситуацию и провоцировало укрепление и развитие зависимого сознания. Это было, как писал Л. Вульф, «ненавязчивое приглашение» к завоеванию¹⁹.

ность (Э. Эриксон), первоначально были исследованы на афро-американском населении США и немецких подростках. – DuBois W.E.B. *The Soul of the Black Folk* (http://www.wwnorton.com/college/history/give-me-liberty4/docs/WEBDuBoisSouls_of_Black_Folk-1903.pdf); Эриксон Э. Указ. соч. С. 37, 202, 309-310, 326.

¹⁷ Double bind, другие переводы: двойная связка, двойное предписание. – Бейтсон Г. *Экология разума*. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000. С. 232–233, 239, 266–267, 275. Психологи Э. Эриксон и Ф. Перлз отмечали, что подобные влияния могут затруднять формирование автономной идентичности, порождает спутанность идентичности, конформизм и невротическое двоеное сознания. – Эриксон Э. Указ. соч. С. 183; Гештальт-терапия // Психотерапевтическая энциклопедия. СПб., 2000.

¹⁸ Цит. по: Поцелуев С.П. Double Binds или Двойные ловушки политической коммуникации // Полис. Политические исследования. 2008. № 1. С. 9.

¹⁹ Вульф Л. *Изобретая Восточную Европу...* С. 522. См. также: Нойманн И.Б. *Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей*. М., 2004.

В России последствия этой политики идентичности проявлялись как ощущение постоянной зависимости от цивилизованного Запада, которое порождало желание подражать и стыд за неумение быть европейцами. А.И. Герцен замечал, что «мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей, – с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застрашены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть – желание выказаться и похвастаться»²⁰. Ощущение русскими дворянами власти иностранцев над собственной самооценкой, над контекстом межкультурного диалога и являлось предпосылкой их невротизации и неустойчивой самоидентификации. Без чувства зависимости цивилизационный контекст легко мог быть оспорен при помощи метакоммуникации или смены контекста, но такой поворот событий оказывался невозможным, и все внутреннее напряжение дворянства обрушивалось на крестьян: в отношениях с ними не применялись цивилизованные нормы поведения, с их чувствами не считались, дистанция по отношению к ним, принадлежность к высшему сословию страны придавала смысл жизни дворян²¹. Все это увеличивало недоверие между дворянами и крестьянами. К началу XIX в. сложилась система правовой и бытовой сегрегации «благородных» от «подлых».

Тем не менее транскультурная позиция российского дворянства одновременно помогала обновлению внутренней легитимности и диалогу верхов империи, соответствовала транскультурности имперской ситуации России. С появлением в Европе идеалов цивилизации и нации актуализировались темы просвещения, либерализма, естественных гражданских прав, гуманного и рационального устройства общества, инклюзивного взаимодействия, диалога культур и локальных элит на этой основе. «Негласный комитет», в котором осмысливались перспективы превращения России в просвещенное государство, создания российской нации, планы реформ Александра I, ставшие заданием для государственной машины страны на весь XIX и начало XX века, собрал представителей элиты с разным культурным опытом и исторической памятью. Среди них были: сторонник госу-

²⁰ Герцен А.И. Былое и думы. С. 125. Г. Бейтсон находил ту же черту в отношениях американцев и англичан. – Бейтсон Г. Указ. соч. С. 135.

²¹ Элиас Н. Указ. соч. С. 271, 275.

дарственнического понимания нации, казак по крови и англоман по убеждениям В.П. Кочубей; сторонник республиканского идеала политической нации, потомок покорителей Урала и Сибири, член Якобинского клуба П.А. Строганов; сторонник идеи «шляхетской нации» и этнокультурного национализма, польский аристократ А. Чарторыйский. Они представляли разные группы имперской «нации салонов» – цивилизованной «вывески» России. Благодаря их диалогу проект создавал гармоническое, многоплановое представление о нации, «включал распространение просвещения на все слои населения (нация как единство культуры), отмену крепостного права (нация в смысле гражданского равенства), установление конституционного правления (создание политической нации)»²². С этим были согласны не все. Сторонники консервативной контрпамяти и идентичности, такие как Н.М. Карамзин, признавая государственническое понимание нации (и пользуясь понятиями «российский народ», «россияне»), возражали против гражданского понимания термина и считали, что «для твердости бытия государственного безопаснее поработать людей, нежели дать им не вовремя свободу»²³.

Результатом стремления к политической транскультурности и гражданскому диалогу были попытки ограничения самодержавия и сословного противостояния в России, выделения областей с разным уровнем просвещенности, самоуправления и свобод (Польша, Финляндия). Однако после победы над Наполеоном концепция цивилизационного сознания меняется. Идея просвещения как центральная заменяется у романтиков идеей религии, цивилизация переосмысливается как «дитя церкви», утопический идеал перемещается из будущего в прошлое. Влиятельный в Петербурге посланник сардинского короля и «пламенный реакционер» Ж. де Местр отрицал естественные гражданские права, либерализм и гуманизм, противился европеизации России. Средневековый имперский идеал утрашения соседей превратился у него в воплощение консервативных христианских и цивилизационных ценностей²⁴. Консолидирующая политика памяти проявилась прежде всего в конструировании из разнородных событий 1805–1814 гг. сакрального образа Отечественной войны

²² Герасимов И.В., Могильнер М.Б., Глебов С.В., Семенов А.М. Обсуждение: Исторический курс «Новая имперская история Северной Евразии». Гл. 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век. Ч. 1. Современная империя в поисках нации // *Ab Imperio*. 2015. № 2. С. 266–268.

²³ Карамзин Н.М. Записка о старой и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 74.

²⁴ Ионов И.Н. Цивилизационное сознание и историческое знание: проблемы взаимодействия. М., 2007. С. 219–221.

1812 г., описанной в апокалиптических терминах (Наполеон как Антихрист, нашествие «дванадцати языков» – варваров-революционеров, Священная война, Александр I как народный вождь, искупительная жертва народа)²⁵. Победа над Наполеоном рассматривалась как всемирно-историческое событие, низвержение разрушительных сил революции, обеспечившее существование порядка, легитимности власти, цивилизации и доминирование России в мире.

Но универсализм и диалогический идеал сохраняли свое значение. Планы консолидации российской нации и мирового сообщества в рамках религиозного мировоззрения были связаны с попытками вестернизации православного вероисповедания, преодоления «обрядоверия», развития диалога православия с католичеством, протестантизмом и масонством, распространения текстов Библии в рамках деятельности «Библейского общества» (1813–1826), создания трансевропейского христианского сообщества под руководством России («Священный союз»), интеграцией народных и дворянских сектантских верований²⁶. В этой среде сформировались крупнейшие религиозные мыслители и писатели, такие как святитель Филарет (Дроздов), известный своими протестантскими симпатиями, сторонник русского перевода Библии, директор «Библейского общества» (1814–1816) и автор «Пространного христианского катехизиса Православной кафолической восточной церкви» (1823), зафиксировавшего вероучительные истины православия, на которых и сейчас строится церковный дискурс²⁷. Именно в это время был воздвигнут памятник К. Минину и Д.М. Пожарскому в Москве как символ российской нации, а проект Храма Христа Спасителя масона А.Л. Витберга не случайно предполагал соединение функций национального памятника и музея, взрывающего сословные преграды. Там плани-

²⁵ См.: Парсамов В.С. Конструирование идеи народной войны в 1812 году // Новое литературное обозрение. 2012. № 6 (118). С. 69-95; Он же. Александр в 1812 году // Отечественная война 1812 года. Незвестные и малоизвестные факты / Под ред. И.А. Харичева. М., 2012; 1812 год в русской поэзии / Сост. А.В. Гулин. М., 2012. Так появился архетип отечественных войн, смысл которого проанализирован И.Г. Яковенко. См.: Яковенко И.Г. От Тильзитского мира до пакта Молотова-Риббентропа (Большой модернизационный цикл отечественной истории) // Общественные науки и современность. Ст. 1. 1998. № 3. С. 106-115; Ст. 2. 1998. № 4. С. 101-112.

²⁶ Милуков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 2. Ч. 1. Церковь. Религия. Культура. М., 1994. С. 128, 130-131.

²⁷ Филарет высоко ценил деятельность общества и считал, что ею начинается пришествие Царства Божия (Там же. С. 179). См. также: Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / [Сост.: свт. Филарет (Дроздов)]. М., 2006.

ровалось создание списка всех погибших воинов 1812 года, а не только офицеров, как это было реализовано позже К.А. Тоном²⁸. Это вообще было характерно для периодов реформ в России: поиск на перекрестке исторической памяти людей с разной культурной идентичностью, воплощение идеала единства в многообразии. Высшим проявлением этой тенденции в начале XIX в. было движение декабристов, идеи которых объединяли западные и древнерусские традиции (парламентаризм, Верховная дума, Народное вече из «Конституции» Н.М. Муравьева)²⁹.

Консерватизм наиболее ярко проявился во времена правления Николая I, когда охранительный идеал был дополнен стремлением к суверенизации. В Европе того времени укреплялась роль прогресса как центральной ценности цивилизации. В борьбе сил революции и контрреволюции, гражданского диалога регионов и групп населения развивалось осмысление национального прошлого, закладывались основы национальных консенсусов³⁰. В России же идея прогресса стала периферийной, память и идентичность все более односторонне регулировались интересами государства, зарождавшийся национализм в его государственно-этнических вариантах ограничивался формами, санкционирующими авторитет царской власти³¹. Он опирался на высокое самомнение царя, порожденное победой над Наполеоном и превращением России в «господина Европы», на укрепление политического и духовного суверенитета страны, охранительность по отношению к традициям, внутреннюю легитимность самодержавия, построенную на сакрализации социальной иерархии. Внимание к внешней легитимности, забота о восприятии России вовне были настолько незначительными, что Россия получила также прозвище «жандарма Европы»³². Страх перед идеями революции и «язвой пролетариата»³³ заставляли откладывать европеизацию

²⁸ Русская православная церковь. Кафедральный собор Патриарха Московского и всея Руси. История храма (<http://www.xxc.ru/history/vitberg/>).

²⁹ Дружинин Н. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.

³⁰ Ионов И.Н. Цивилизационное сознание... С. 233; Якимович Т. Французский реалистический очерк 1830–1848 гг. М., 1963.

³¹ Герасимов И.В. и др. Обсуждение: Исторический курс «Новая имперская история Северной Евразии». Гл. 8. Ч. 1. С. 315; Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М., 2010.

³² Всемирная история в 6 т. / Гл. ред. А.О. Чубарьян. Т. V. Мир в XIX веке: На пути к индустриальной цивилизации. Отв. ред. тома В.С. Мирзеханов. М., 2014. С. 469.

³³ Тенгоборский Л.В. О производительных силах России. В 3 т. Т. III. М., 1858. С. 18.

страны и промышленный переворот на отдаленное будущее. Протестная консервативная контрпамять и идентичность послепетровских времен, ориентированные на традицию, впервые смогли стать доминирующими. Николай I «попытался отгородиться от слишком быстро меняющегося внешнего мира, законсервировав имперские порядки (еще недавно считавшиеся образцово “современными”) и заморозив процессы самоорганизации в разных сегментах общества»³⁴. При этом, как замечал А.С. Пушкин, еще в 1836 г. внутри страны считалось, что «правительство – все еще единственный европеец в России»³⁵. Других источников европеизации и рационализации социальной жизни в стране не было, это поле было зачищено.

Для времен консервативного правления Николая I характерно противопоставление блестящего будущего России – катастрофическому будущему Европы, появление теории официальной народности. Президент Императорской академии наук С.С. Уваров выдвинул в качестве лозунга триаду «православие, самодержавие, народность», которой вводилось представление о нации как опоре царизма. Оно находило поддержку в трудах историка Н.Г. Устрялова, который впервые написал историю России как нации, а не государства или царской династии, расширительно толкуя понятие «русский народ» и вводя в него представление об истории украинцев и белорусов. С этого времени можно говорить о предписанных или назначенных идентичностях как проявлениях имперской политики идентичности. В понимании Устрялова только Россия закономерно включала в себя части русского народа, с пользой заимствуя у более просвещенных народов плоды их культуры, в то время как другие части русских оказались в составе Польши случайно, попав в ситуацию беспорядка, войн и угнетения³⁶.

Возникло нормативное историческое сознание, которое деформировало историческую память, разрушая ее критическую составляющую. Панегирический дискурс в ней явно доминировал над историческим опытом. Шеф жандармов и начальник III отделения А.Х. Бенкендорф в беседе с М.Ф. Орловым по поводу публикации первого «Философического письма» П.Я. Чаадаева так сформулировал свое видение истории страны: «Прошедшее России было удивив-

³⁴ Там же. С. 328.

³⁵ Пушкин А.С. Письмо к П.Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 года. Черновая редакция (https://www.skeptik.net/skeptiks/push_rel.htm).

³⁶ Миллер А.И. «Триада» графа С.С. Уварова и национализм // Исторические записки Т. 11 (129). М., 2008. С. 94. Устрялов Н. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836. С. 74.

тельно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот <...> точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана»³⁷. Для Ф.И. Тютчева, как имперского мыслителя, границы России заключали «Семь внутренних морей и семь великих рек... От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... Вот царство русское и не преидет вовек» (1848 или 1849 г.)³⁸. Этим путем самоупоение от побед 1812 года, породившее триумфалистские формы исторической памяти и имперский национализм, привело николаевскую Россию к системному кризису Крымской войны.

Средствами для вертикальной трансляции информации, в том числе исторической памяти, были разные формы централизации власти, законов, памяти и культуры. Разрозненные и противоречащие друг другу законы были сведены в хронологическом порядке в «Полное собрание законов Российской империи» (1830). Попытки диалогической имперской политики сменились имперской унификацией на основе православия (исключая староверов и униатов) и распространения русского языка среди инокультурных элит, не только поляков, но и украинцев и белорусов, а также поволжских народов. Был введен школьный учебник по истории Н.Г. Устрялова (1839), в котором критиковались идеи равенства и свободы, проводился идеал православного государства, разъяснялись его национальные особенности, описывался процесс формирования русской православной духовности³⁹. А.Д. Галаховым был создан национальный пантеон русской литературы, отраженный в «Полной русской хрестоматии» (1842) и «Русской хрестоматии для детей» (1843) которые закрепили в нем фигуры М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.В. Кольцова, Ф.И. Тютчева⁴⁰ и выдержали десятки переизданий. Образ истории, разорванной ранее на периоды по столицам и формам организации власти, все более замещался идеей цельности русской истории, которая стала центральной в масштабном труде

³⁷ Вестник Европы. 1871. Сентябрь. С. 37-38. Во второй половине XIX в. такой взгляд на историю воспринимался скорее сатирически. См.: Толстой А.К. Собр. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1969. С. 371-386; 397-398.

³⁸ Тютчев Ф.И. Русская география (<http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/bp/139.html>).

³⁹ Устрялов Н.Г. Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1839.

⁴⁰ Галахов А.Д. Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. В 2 ч. М., 1842; Галахов А.Д. Русская хрестоматия для детей. М., 1843.

С.М. Соловьева, начавшего ее со времен Геродота и призывавшего «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, а соединять их, следить за связью явлений, за непосредственной преемственностью форм»⁴¹. Формировался литературоцентризм и довольно узкая еще «нация русской книги». Но ответом на это было возникновение в инокультурных обществах империи, прежде всего в пережившей подавление восстания 1830–31 гг. Польше и на завоеванном Кавказе, исторических травм и альтернативных воспоминаний, контрпамяти жертвы, что в транскультурной имперской ситуации препятствовало созданию разделяемой всеми народами, входившими в империю, общей исторической памяти и идентичности⁴².

Появились такие символы империи, как комплекс Дворцовой площади в Петербурге, Исаакиевский собор, Большой кремлевский дворец, залы которого были названы по именам орденов Российской империи. Память об Отечественной войне 1812 года дополняла память о Смуте XVII века: в ряд с образами К. Минина, Д.М. Пожарского, И. Сусанина стали образы А.В. Суворова, М.И. Кутузова, казачьего атамана М.И. Платова. После подавления восстания в Польше был введен «Народный гимн», создателем которого был бывший адъютант А.Х. Бенкендорфа композитор А.Ф. Львов⁴³. Возникновение системы гимназического и университетского образования способствовало оформлению и распространению нормативных образов прошлого. Началось создание исторических картин, романов и опер из отечественной истории, строительство музеев античных и западных художественных образцов. Однако влияние дворянской интеллигенции было поверхностным. Сословный антагонизм разъедал общество, нетерпимость крепостничества в христианской цивилизованной стране признавалась значительной частью образованных людей. Это было основанием для осознания ущербности России как европейской страны, породившего либерализм.

Сословное деление общества требовало простых механизмов его сплочения, которое основывалось на традиционной православной культуре, поскольку она разделялась и дворянами⁴⁴, и простыми крестьянами. «Православная нация» составляла ядро российской нации и зиждилась на культурной памяти, обрядах, верованиях и

⁴¹ Соловьев С.М. История России в древнейших времен. Кн.1. Т. 1–2. М., 1962. С. 55.

⁴² Борисенко Е. Польша в Российской империи: упущенный шанс? // URL: историк.рф/journal/польша-в-российской-империи-упущенны/.

⁴³ Герцен И.А. Указ. соч. Т. 5. С. 136, 668.

⁴⁴ Там же. Т. 4. С. 314.

житиях святых, среди которых было множество правителей. Этот казавшийся незыблемым мир Святой Руси прекрасно описан у москвича, потомка староверов И.С. Шмелева в книге «Лето Господне». «В ней, – говорил он, – я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своём сердце... Россию, которая заглянула в мою детскую душу»⁴⁵. Содержание книги касается не только 1880-х гг., к которым относятся воспоминания Шмелева-мальчика, но и к предшествующей эпохе (на ее идеалы ориентировался его воспитатель М.П. Горкин). Она характерна выстроенностью вокруг религиозной утопии Царства Божьего, тотальной гипертотализацией и иерархизацией пространства и времени, локально и темпорально различающихся по мере приближения к моментам и местам коммемораций: религиозным праздникам, праздничным службам в церквях и дома, к могилам великих князей и царей в некрополе Архангельского собора Кремля – символа царской богоданной власти⁴⁶. Эта православная идентичность была настолько сильной, связанность с сакральным идеалом столь неразрывной, что утрату пронизанного святостью и праздниками мира автор считал инверсионным превращением православного мира как Рая в послереволюционный мир как Ад⁴⁷.

Механизм такой консолидации общества сильно отличался от намечавшегося во времена Александра I диалога: это была скорее персональная идентификация крестьянина или купца с царем как отцом народа (царь-батюшка), их объединение вокруг власти и веры как сакрального духовного центра. Крестьяне не сознавали, что крепостное право свидетельствует о том, что сам царь идентифицироваться с их интересами не может и не хочет. Эта крестьянская идентификация имела религиозно-эксклюзивистский характер и воспроизводилась при помощи института православной церкви. Не случайно, что отступление от православия, несоблюдение обрядов, богохульство или критика священнослужителей тяжело карались в рамках уголовного права⁴⁸.

Общая вера интегрировала политическую нацию, но не породила гражданского доверия между крестьянами (особенно крепост-

⁴⁵ Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII–XX вв. М., 2003. URL: <https://www.mpda.ru/data/268/629/1234/Vera%20v%20gornile%20smneniy.pdf>.

⁴⁶ Шмелев И.С. Богомолье. Лето Господне. М., 2013.

⁴⁷ Шмелев И.С. Солнце мертвых. М., 2000.

⁴⁸ Что полагалось за отступление от православия в царской России // URL: <http://theologian.msk.ru/history/194-cto-polagalos-za-otstuplenie-ot-pravoslaviya-v.html>; Гагина Г. Как в Российской империи охранялось Православие // URL: <https://workway.com/blog/2015/01/31/kak-v-rossijskoj-imperii-oxranjalos-pravoslavie/>

ными) и дворянами. В крестьянской картине мира, основанной на этике выживания, для дворян просто не оставалось места. Субъектом их фантастической истории был царь-батюшка, защитник Отечества, заступник перед Богом, который будто бы хочет раздать всю землю крестьянам. Еще в XVII в. его именовали равноапостольным или даже «земным богом», преступления против царя приравнивались к преступлениям против Бога⁴⁹. Даже временное присутствие царя сакрализовало то или иное место. Недаром в народной этимологии названия местностей связывались с присутствием прославленных правителей⁵⁰. Дворяне рассматривались как посредники между царем и народом, которым временно вверена народная земля и воля.

Таким образом, пассаистский режим историчности, который пытался ввести Николай I, мало чем напоминал радикальный крестьянский пассаизм⁵¹. Последний воплощался в этнической крестьянской культуре с ее песнями, сказками и былинами, ее героями (Илья Муромец, князь Владимир), народными праздниками (Масленица, Иванов день). Вместе с тем стремление к национальному единству при Николае I впервые за имперский период породило нормативное закрепление русского языка как придворного и литературного, а также стремление дворянской интеллигенции (А.С. Пушкин, А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, М.И. Глинка) к культурному диалогу, этнографическим исследованиям, собиранию и творческой переработке богатств русского языка, народного литературного и музыкального наследия. Это было проявлением тенденции к развитию инклюзивной гражданской идентичности⁵².

Однако в рамках народной культуры существовала не только национальная идентичность, но и партикуляристская, общинно-локальная, поддерживаемая памятью о давних конфликтах. Важнейшими актами народных праздников были «стенки» – ритуальные драки между селами, городскими концами, селами и деревнями, заводами и цехами заводов, в которых порой участвовали сотни людей и которые длились часами. В рамках этой формы сознания царистские настроения не противоречили народным бунтам и восстаниям,

⁴⁹ Андреева Л.А. «Цареславие» в России // *Общественные науки и современность*. 2013. № 1. С. 132-133.

⁵⁰ Замятин Д.Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, 1999.

⁵¹ Артог Ф. Мировое время, история и написание истории // *Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны*. Вып. 3 / Рэдкал.: У.Н. Сідарцоў, С.М. Ходзін. Мінск, 2007. С. 13-23.

⁵² В.И. Даль встречал сопротивление властей в своей деятельности и опубликовал свои основные труды уже в правление Александра II.

выступали как их проявления. Народная контрпамять в ответ на государственную политику нормативного забвения актов неповиновения крестьян создавала легенды о героях-защитниках народа (Ермак Тимофеевич, Степан Разин, Емельян Пугачев), царях из бедняков (среди которых числился Иван Грозный как искоренитель неправды, неистовый каратель грехов человеческих). Высоко ценилось трудолюбие Петра I и игнорирование им сословных предрассудков, его победы и свершения. Перспектива исторического сознания крестьянства выстраивалась вокруг ожидания освобождения от крепостной неволи, особенно после побед 1812 года, а также в связи с воззванием Священного синода во время Крымской войны в 1855 г.⁵³

Объединяющую роль в консолидации народа и дворянства более или менее успешно играла имперская экспансионистская политика, образы царей и их генералов как победителей врагов России, военная история (создавались военные музеи, стали выходить книги по истории полков), функционировавшие в рамках нормативной культурной памяти. Сформировался не только официальный, но и народный пантеон героев, в который входили те же лица: А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион. Их портреты висели в «красных углах» крестьянских изб наряду с иконами и портретами царей. Литература по истории полков и родов войск ориентировалась как на офицерство, так и (в упрощенном виде) на солдат. При этом память о свершениях воинов замыкалась на образы прославленных генералов, а в конечном счете – на образ царской власти. В то же время в памяти солдат николаевское правление осталось как время жестоких наказаний. А сам он – как «Николай Палкин»⁵⁴.

Зависимое сознание дворянства не перестало существовать. Русские дворяне и чиновники в западной одежде и в 1840-е гг. ощущали себя ряжеными. «Моды нигде не соблюдают с таким уважением, как в Петербурге, – писал А.И. Герцен, – это доказывает незрелость нашего образования: наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок... Если б показать эти батальоны одинаковых сертуков, плотно застегнутых, шеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за ряд полисменов»⁵⁵. К сожалению, это проявля-

⁵³ Буганов А.В. Историческая память русских крестьян: реальность и мифы // Новый исторический вестник. 2008. № 18. С. 40-49.

⁵⁴ Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., Наука, 1972; Толстой Л.Н. [Николай Палкин] // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. Т. 17. М., 1984. С. 219-227.

⁵⁵ Герцен А.И. Указ. соч. Т. 5. С. 49.

лось не только в одежде. Н. Элиас писал, что при левантинизме «отсутствие вкуса, проявления “китча” [встречаются] не только в случае мебели или платья, но и в человеческих душах»⁵⁶. Герцен замечал в связи с этим: «Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера – живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только *с истины*; не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями... это halte [остановка] меры, истины, красоты...»⁵⁷.

Наряду с общеевропейским полюсом у зависимого сознания в России образовались и другие – отдельные французский и немецкий, придворный, государственно-националистический и народный, граждански-националистический полюса. Зависимость от них была психологически не менее значима, а с ростом роли нормативных ориентаций выросло воздействие каждого. Это создавало невротическую ситуацию, раскалывавшую сознание и пробуждавшую агрессию, причину которой Н. Элиас видел в низведении взрослого человека в цивилизованном обществе к позиции беззащитного ребенка, «уступающего воле лиц, моделирующих его поведение. У взрослого человека такая беззащитность связана с тем, – писал Элиас, – что люди, чьего превосходства он опасается, соотносятся с его собственным “Сверх-Я”, с его собственным аппаратом самопринуждения. Этот аппарат является результатом дрессировки индивида теми, от кого он зависим, и кто обладал известной властью над ним...»⁵⁸.

В данном случае положение отягощалось тем, что это были разные силы и люди. Там, где в начале века появлялись зачатки диалога культур, возникло противостояние культур, исторических памятей и сознаний, приводившее к их расколу⁵⁹. В крайних формах

⁵⁶ Элиас Н. Указ. соч. С. 309.

⁵⁷ Герцен А.И. Указ. соч. Т. 5. С. 580-581. Это отсутствие меры, стремление так или иначе компенсировать ощущение собственной неполноценности проявляется также в латиноамериканской и балканских культурах. См.: Шемякин И.Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М.: Наука, 2001. С. 221-232, 246-261.

⁵⁸ Элиас Н. Указ. соч. С. 292-293.

⁵⁹ Подобное явление фиксируется и на Востоке. «Неся на себе отпечаток этого [западного] мышления и имея двойное сознание, мусульманин, таким

ориентация на французское или немецкое образование и культуру, на народную культуру или на жизнь царского двора могли выродиться в поглощенность миром заимствованных идеалов, чувств и мыслей, которую философ Ш. де Готье на рубеже XX в. обозначил как «коллективный боваризм» (примерно то же, что Элиас называл «левантинизмом»). Типична в этих условиях тотальная непримиримость с реальностью, когда мечта деформирует память и восприятие, замещая реальность воображаемыми образами. Жизнь такого персонажа проходит в повторяющихся попытках сконструировать все новые фиктивные образы самого себя, порожденные восхищением идеалом, на который он ориентируется. Возникает недовольство сделанным, стремление разрушить созданное, как только оно начинает обретать форму, которая выглядит смешной и пародийной, не сопоставимой с идеалом. При этом разрыв между мечтой и реальностью растет, отчуждение от реальности приводит к катастрофе⁶⁰.

В ситуации боваризма «раскол личности», о котором писал Н. Элиас, мог проявляться в описанном А.И. Герценом экстремизме убеждений и переполюсовке ценностей, при которых коренным образом менялась самоидентификация, а история и будущее России виделись в совершенно разных перспективах. Если ориентирующаяся на взгляды двора знать придерживалась антиевропейских и контрреволюционных взглядов, то в противовес ей стали образовываться революционные кружки, распространявшие западные идеи, такие как кружок фурьериста М.В. Буташевича-Петрашевского, который оказал влияние на таких разных, но по-своему замечательных людей, как Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Я. Данилевский. Образ России то демонизировался, как в первом «Философии

образом, состоит из двух отдельных конфликтующих частей, которые находятся в непримиримом противоречии друг с другом, ибо одна часть напоминает другой об отсутствии единства». – Базиан Х. Душа мусульманского народа // *Islam Review*. 2013. 13.11. URL: <http://islamreview.ru/community/dusa-musulmanskogo-naroda/>. См. также: Lewis B. *The Multiple Identities of the Middle East*. N.Y., 1999.

⁶⁰ Впервые понятие «боваризм» было введено писателем Ж.А. Барбе д'Оревилю в 1865 г. См.: Jenson D. *Bovarysme and Exotisme* // *The Columbia History of Twentieth-Century French Thought* / Ed. Lawrence D. Kritzman. Columbia University Press, 2007. P. 167; Gaultier J. de. *Le Bovarysme. La psychologie dans l'oeuvre de Flaubert, suivie d'une série d'études réunies et coordonnée par Per Buvik*. Éditions du Sandre, 2007. P. 112-115. В настоящее время это понятие успешно применяется к феноменам истории Латинской Америки и Восточной Европы. – Sea J. *Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки*. М., 1984. С. 20, 22; Antohi S. *Romania and the Balkans. From Geo-cultural Bovarism to Ethnic Ontology* // *Transit–Europäische Revue*. 2002. Vol. 21. URL: http://archiv.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=411.

ческом письме» П.Я. Чаадаева, то превозносился, как в его же «Записках сумасшедшего» или в письме А.С. Хомякову от 26 сентября 1849 г., где будущее мира отдано «молодецкому племени» русских защитников Европы от революции⁶¹. Раскол проявлялся и в образованных либеральных слоях, группы которых все более противостояли друг другу. Характерно размежевание в 1840–1850-е гг. либералов – западников и славянофилов, изначально представлявших сходные антикрепостнические взгляды, но искавших идеала в петровских реформах и современном им Западе или в антиавторитарных традициях средневековой Руси. По словам Герцена, «вначале были только оттенки», а раскололи либералов разные западные идентичности – французская и немецкая. «Они нас считали фрондерами и французами, мы их – сентименталистами и немцами». Славянофилы окончательно отделились, начиная «с войны против Белинского: он их додразнил до ермолок и зипунов»⁶².

Идеи славянофилов были ближе господствующим формам исторического сознания. И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин идеализировали прошлое и будущее России. Хомяков считал, что славяне – потаенный источник всякой культуры, скрытый злоумышлением германцев, а также создатель «самого христианского из всех человеческих обществ», где милосердие и справедливость выше права. Именно в истории славян он искал разрешения противоречий современного мира, видя будущее в преображении России, ее превращении в истинную Европу, в центр цивилизации. Он приписывал русским духовный идеал целостности (в противоположность рационализму и материализму) и общинный идеал соборности (в противоположность разделению труда, властей и т.п.)⁶³. Именно в российской истории славянофилы находили истоки либерально-

⁶¹ Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 16-29, 152, 480.

⁶² Герцен А.И. Указ. соч. Т. 5. С. 14, 26. Это явление характерно для Южной, Восточной и Центральной Европы, афро-американского населения США, мусульманских стран и диаспор. См.: Antohi S. *Op. cit.*; Melegh A. *On the East-West Slope: Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Eastern Europe*. Budapest, 2006. У афроамериканцев У. Дюбуа прослеживал три противостоящих варианта: «Желание мстят и мести, попытка приспособить все мысли и действия к воле большей группы и, наконец, целенаправленное усилие на самореализацию и саморазвитие». – Dubois W.E.B. *Op. cit.* У мусульман также прослеживаются эти же три варианта. – Базиан Х. Указ. соч.

⁶³ Морозов В.Е. *Россия и Другие: идентичность и границы политического сообщества*. М., 2009. С. 280. Эти мысли очень близки идеям И.Г. Гердера и Г. Рюккерта, также видевших в славянах цивилизационного наследника германцев. См.: Ионов И.Н. *Цивилизационное сознание...* 206-213, 245-252.

демократических идей и практик, но также – идеал патриархального отношения власти и народа. Они считали, что Петр I расколол русскую культуру, пустив страну по европейскому пути распада и революций⁶⁴. В противовес этому западники видели в петровских реформах переломный момент в истории страны, поставивший ее на рельсы прогресса. Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, ранний М.Н. Катков рассматривали как Европу, так и Россию сквозь призму рационалистических западных ценностей (государственнических, либеральных, социалистических). Они полагали, что единство исторического развития допетровской России было не органическим, а синкретическим, сводилось к череде разнородных заимствований. Органическим оно стало лишь с реформами Петра I. Они считали, что у отсталой России один исторический путь с Европой, который она проходит с опозданием – догоняющий путь ликвидации крепостничества, парламентаризма, промышленного переворота и развития научного знания. Они выступали против общинного жизнеустройства, за правовой порядок. При этом надо подчеркнуть, что оба направления по-боваристски создавали утопический идеал: славянофилы – идеал Древней Руси и крестьянской общины как соединения индивидуального и коллективного начала, мира без вражды, живущего по совести и традициям, западники – идеал Западной Европы как центра цивилизации, мира свободы и прогресса⁶⁵.

Во второй половине XIX в. историческое сознание в Европе развивалось под воздействием позитивистского цивилизационного идеала, центральными ценностями которого были развитие научного знания, прогресс, эволюция, дифференциация. Время стало рассматриваться как линейное, поступательное, необратимое⁶⁶. В результате ликвидации в процессе Великих реформ 1860–1870-х гг. крепостничества, развития местного самоуправления, образования, литературы и научной истории создавались основы для национального диалога народа и интеллигенции, народов империи, общества и власти. Недовольство монологом власти к концу правления Николая I было так

⁶⁴ Неслучайно именно эти идеи заимствовал и транслировал ярый западник А.Л. Янов, считавший исконную русскую традицию европейской по природе. См.: Янов А.Л. Тень Грозного царя. М., 1997; Он же. История России в 3 кн. Кн. 1. Европейское столетие России. 1480–1560. М., 2007.

⁶⁵ Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. 1997. № 9. С. 157-162; Всемирная история в 6 т. Т. V. С. 464-465.

⁶⁶ Артог Ф. Мировое время, история и написание истории. С. 14; Ионов И.Н. Цивилизационное сознание... С. 257-259.

сильно, что разрушало государственническую идентичность даже у консерваторов. К.Н. Леонтьев писал о всеобщем сочувствии идеалу либерализма как популизма в 1860-х: «Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, предоставят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод, даже русского хорошего хозяйства, наконец!.. Верили, кроме того, в знаменитый, какой-то особый "здравый смысл", в могучую религиозность. Мы думали, что, погрузившись в это "народное море", мы его еще более сгустим и сами окрасимся его оригинальными, яркими неевропейскими красками»⁶⁷. Подобные надежды питали и демократы-разночинцы, стремившиеся учиться у народа, «понять тайны его жизни и силы, тайны... недостижимые для всех живущих в так называемом образованном обществе» и опереться на «русский разбой» как антитезу российского государства, видевшие в разбойниках «нераздельный, крепко связанный мир – мир русской революции»⁶⁸.

Политические представления о нации были дополнены гражданскими, делались шаги по преодолению сословности: в праве, местном самоуправлении, образовании. Возникла земская интеллигенция как зародыш гражданской нации, проводник нового исторического сознания, а также университетская автономия, музеи национальной культуры, в том числе на местах (в Сибири). Закрепляется представление о литературоцентрическом характере русской культуры⁶⁹. Вместе с тем преподавание литературы сдвигается к ее воспитательной составляющей у видевшего в этом особенность России В.Я. Стоюнина⁷⁰. Революционеры считали литературоцентричность России слабостью, связывали ее с невозможностью для народа жить насыщенной общественной и политической жизнью⁷¹. Моральные проблемы личности, раскол личности и культуры, сущность двоемыслия, проблемы диалога ценностей ставятся в центр творчества крупнейших писателей России – Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, определивших пути размышлений многих последующих поколений. Общество обращается к государству с обличениями. М.Е. Салтыков-Щедрин, как человек, знавший систему имперской власти

⁶⁷ Леонтьев К. Цветущая сложность. М., 1992. С. 261.

⁶⁸ Бакунин М.А. Постановка революционного вопроса (1869) // Он же. Речь и воззвания. М., 1906. С. 238-240.

⁶⁹ Галахов А.Д. История русской словесности. М., 1879.

⁷⁰ Стоюнин В.Я. О преподавании русской литературы. СПб., 1864.

⁷¹ Могильнер М.С. Мифология подпольного человека. Радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. С. 20.

изнутри, создавал классические образы абсурда русской провинциальной жизни. Возникают сатирические журналы «Искра» и «Будильник», в которых восприятие событий обществом (особенно положения в деревне, несправедливости судов, ужасов эксплуатации детей) противопоставлено позиции власти. Но главную роль в духовной жизни страны играют «толстые журналы», создающие интеллигентский образ мира – «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Нива» и др. Возникает «журнальная нация», охватывающая значительную часть образованного населения.

Недостаточность и незавершенность реформ создавали предпосылки для новых расколов. Последствия конфликта с Польшей ука­зывали на политические, правовые, культурные границы горизонтальной солидарности.

Стремление Александра II к национальному диалогу не было однозначным. С 1870-х гг. растущее влияние на создание российской идентичности и памяти играл пример Германии, где взлет национального самосознания был достигнут не на основе диалога государства и общества, а в результате «революции сверху», агрессивной внешней политики и этнокультурного единства. На этом фоне австро-венгерская стратегия культурной автономии этнических групп и правового равенства граждан, особенно после польского восстания 1863–1864 гг., оказалась на периферии внимания власти⁷². Недостаточность и незавершенность реформ создавали недовольство ситуацией и предпосылки для новых расколов. Интеллигенции все труднее было ассоциировать себя с властью. «Бывали хуже времена, но не было подлей», – писал в середине 1870-х гг. Н.А. Некрасов⁷³. Вместе с тем в рамках цивилизационных представлений получает оправдание идея самодостаточности локальной цивилизации⁷⁴. Все большую роль в России играют идеи национализма этнокультурной нации, трансформируемые в разных идеологических проекциях (национальное единство, национальные традиции, национальные интересы, национальный вопрос, этнонационализм).

Народность трактовалась все чаще как принадлежность к славянам, возникла все­славянская солидарность, в том числе в просве-

⁷² Всемирная история в 6 т. Т. V. С. 250-251; Рогожин А.А. Проблема становления немецкого национального самосознания в контексте международных отношений: история и современность // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. 2011. № 1 (19). С. 98-103.

⁷³ Некрасов Н.А. Современники // Он же. Полное собрание сочинений и писем в 15 т. Т. 4. Л., 1982. С. 187.

⁷⁴ Ионов И.Н. Цивилизационное сознание... С. 245-252.

шенном гражданском обществе, что сказалось на патриотическом и солидаристском поведении разночинской интеллигенции в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Результатом стала идея все-славянской цивилизации и националистическая теория Н.Я. Данилевского о России как особенном социальном организме, возвышающемся культурно-историческом типе, истинной Европе, противостоящей угасающему романо-германскому типу как Европе ложной⁷⁵. Он представил все локальные цивилизации мира как пассивный субстрат, на котором может развиваться российская культура. Ее преимущество – богоизбранность русского народа, его «дисциплинированный энтузиазм» и «умение и привычка повиноваться», так что цивилизация оказывается «сосредоточенной в государе». К.Н. Леонтьев высоко оценил книгу Данилевского как обоснование нового исторического сознания, позволяющего представить Россию как противочентр модернизации⁷⁶.

Развитие национализма, который приобрел значение интегрирующей силы ядра империи, породило дифференцированное отношение к инородцам: различались потенциально православные и погрязшие в иноверии, учитывалась разная степень их возможной интеграции. Тем не менее еще в 1880-е гг. диалог культур развивался, возникло обновленческое направление в российском исламе (джадидизм) во главе с И. Гаспринским, распространившееся в Казани и Средней Азии и выступавшее за обновление мусульманского образования и модернизацию Востока при содействии русских⁷⁷.

В атмосфере национального диалога 1860–1880-х гг. интеллигентские разногласия затушевывались: в процессе реформ западник-либерал К.Д. Кавелин прошел путь сближения западнических и славянофильских идей, от индивидуализма к коллективизму. Он писал: «Воззрения западников и славянофилов – анахронизмы. Теперь возможно только одно воззрение – национальное, русское, основанное на изучении реальных явлений в жизни русской земли, русского народа, прошлой и настоящей, без всякой предпосылки...»⁷⁸. В идеологии таких революционеров-демократов, как А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и М.А. Бакунин, соединились западнические и славянофильские идеи, идеалы социализма и общинности. В работах А.Н. Пыпина объединялся интерес к истории народной культуры и культуры об-

⁷⁵ Морозов В.Б. Указ. соч. С. 280.

⁷⁶ Ионов И.Н. Цивилизационное сознание... С. 274–281.

⁷⁷ Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М., 1995. С. 142.

⁷⁸ Корсаков Д.А. К.Д. Кавелин. Материалы для биографии. Из семейной переписки и воспоминаний // Вестник Европы. 1886. № 11. С. 189.

разованного общества, в частности к сектам, масонству и общественным движениям начала XIX века. Возникли исторические обоснования демократической идеологии: в работах историков закреплялось и анализировалось наследие народной контрпамяти: народник И.Г. Прыжов написал историю юродивых, нищих, пьяниц в их отношении с политикой государства (история кабаков); панславист и сторонник федерализма Н.И. Костомаров поставил острые вопросы о многообразии политического и духовного развития Руси и России (народоправство, народные восстания и самодержавие, традиционность православия и прогрессивность староверчества), деконструировал предписанную идентичность украинцев, писал о полиэтничности русского народа⁷⁹.

Но диалог государства и частей общества складывался плохо. Официально поддерживался гимназический учебник консерватора и националиста И.Д. Иловайского, беззастенчиво фальсифицировавший историю формирования империи (в частности, присоединения Польши). Этот учебник, отражавший экспансионистские взгляды на историю России, до 1917 г. выдержал 150 изданий⁸⁰. Надежды революционеров-разночинцев на возможность доверия и диалога с крестьянами не оправдались: «хождение в народ» революционеров-пропагандистов окончилось многочисленными арестами по доносам крестьян. Осознание слабости гражданского общества привело часть революционеров к попыткам манипуляции судьбой своих сторонников и этическому нигилизму («Народная расправа» С.Г. Нечаева), пропаганде диктатуры революционного меньшинства (П.Н. Ткачев), «генеральству» и терроризму («Народная воля»). Между тем среди крестьянства распространяются идеальный образ «белого генерала» М.Д. Скобелева, осуждение народников и народолюбцев как предполагаемых противников освобождения крестьян. С ростом грамотности все большую роль в развитии мировоззрения народа играли лубочные легенды и сказания о Бове-королевиче, Царе Салтане, Милитриссе-Кирбитьевне. Под влиянием демографического взрыва⁸¹ и растущего малоземелья рос авторитет уравнилельных идей «слушного (или срочного) часа» и «черного передела» – полной воли (без выкупных платежей и отрезков), а также передела земли по числу работников или по едо-

⁷⁹ Цамутали А.Н. Очерки демократического направления в русской историографии 60–70-х гг. XIX в. Л., 1971.

⁸⁰ Иловайский Д.И. Сокращенное руководство ко всеобщей и русской истории: Курс младшего возраста. СПб., 1869.

⁸¹ За 1863–1913 гг. население в европейской части России увеличилось вдвое. См.: Рашин А.Г. Население России за сто лет (1811-1913 гг.). М., 1956.

кам. Как правило, крестьяне не понимали значения сельского предпринимательства и искали путь к выживанию в справедливом разделе имущества, в уравнительной организации землепользования⁸².

Политика идентичности, пассеизм и великорусский шовинизм как формы легитимации власти получили развитие при Александре III и при Николае II. Ими двигала негативная память о реформах и либерализме как угрозе империи и всему русскому. У власти не было ни стратегии развития, ни институтов, чтобы такую стратегию реализовать. У идеологов проявлялась ярко выраженная негативная антизападная идентичность. Обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев не верил в победу над революцией, а стремился только на время «подморозить» Россию, «чтобы она не протухла»⁸³. Вдохновитель контрреформ и проводивших их министров В.П. Мещерский, внук Н.М. Карамзина и личный друг Александра III, опирался на государственную идентичность, был сторонником веротерпимости и равноправия российских народов, но противником гражданской идентичности. Он полагал что, «как нужна соль русскому человеку, так ему нужны розги», ставил «охранительные боевые задачи» защиты заветов Николая I, привилегий высшего дворянства, чистоты русских православных традиций, ощущая себя при этом атакуемым и презируемым высшим обществом (за гомосексуализм)⁸⁴. Другой идеолог реакции К.Н. Леонтьев, ярый противник идей демократии и прогресса, пытаясь оправдать свой идеал «цветущей сложности» социального неравенства (он считал главной заслугой Петра I и Екатерины II расслоение общества, усиление неравенства, сохранение и распространение крепостничества) изобретал альтернативные идентичности, такие как византизм, связанный с идеями православной культуры, тысячелетнего порядка и покоя. Он считал, что Европа «создана феодализмом» и рисовал фантастические картины краха Запада и эмиграции европейцев в Африку⁸⁵. Характерна инверсионная смена идентично-

⁸² Федоров В.А. Падение крепостного права в России. Документы и материалы. Вып. 1–3. М., 1966–1968; Ахиезер А.С. Указ. соч. Т. 1. С. 291–292; Вениаминов П. Крестьянская община (что она такое, к чему идет, что дает и что может дать России?). [Б. м.], 1908.

⁸³ Цит. по: Липатов И. История Русской Церкви. М., 2015. С. 74.

⁸⁴ Глинский П. Князь Владимир Петрович Мещерский. Некролог // Исторический вестник. 1914. Август. URL: http://az.lib.ru/m/mesherskij_w_p/text_1914_nekrolog.shtml; Дронов И.Е. Князь Владимир Петрович Мещерский // Вопросы истории. 2001. № 10. С. 57–84; Леонов М.М. Салон В.П. Мещерского: Патронат и посредничество в России рубежа XIX–XX веков. Самара, 2009.

⁸⁵ Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 2007. С. 149, 157, 167–168, 301, 567.

сти Л.А. Тихомирова, бывшего сначала идеологом «Народной воли», а затем полицейского социализма⁸⁶. Слабость государственнической идентичности доказывало и недоверие власти к народу, особенно к интеллигенции и населению окраин. С 1881 по 1917 г. в стране существовало чрезвычайное (а кое-где и военное) положение.

Поддержку приобрели империалистические идеи. На историческую память оказывала растущее влияние теория «Москва – третий Рим», которая у В.С. Соловьева, В.С. Иконникова, И.А. Кириллова стала рассматриваться как обоснование господства России над всем православным и даже христианским миром⁸⁷. Реакция обозначила отход от политики национального диалога в форме повышения роли дворян в земствах, ограничения прав крестьян на получение среднего образования, уничтожения автономии университетов, русификации окраин, запретов на инородческие языки и культуру. Распространилось православное миссионерство, жестче стали законы в защиту церкви и православия. Символами эпохи были монументальные, выполненные в византийском и псевдорусском стиле Храм Христа Спасителя, здание Исторического музея и Московской городской думы. Контрреформы породили большое число «лишних» людей, как среди интеллигенции, так и среди национальных меньшинств, посеяли семена национальной розни, заложили мину под единство Российской империи. Для поляков даже отличное знание русского языка и переход в православие не изменяли положения: им категорически не доверяли, подозревая в скрываеваемой инокультурной идентичности: «...поляки, впитавшие в себя ценности российской цивилизации и лояльные России, так и не были ею востребованы»⁸⁸.

Как ответ контрреформам шел процесс институционализации недоверия интеллигенции по отношению к власти. Пассеизму был противопоставлен футуристский режим историчности, идеал прогресса, секуляризовавший религиозный смысл времени Спасения. Историческое сознание формировалось вокруг образа светлого будущего революционной, демократической России. Возникли политические партии социал-демократов и социалистов-революционеров, «Союз освобождения». Большое влияние имели движения за национальное (этнокультурное) возрождение. Этнокультурные идентичности формировались в условиях русификации как протестные, оппозиционные по отношению к государственной имперской и русской

⁸⁶ Репников А.В., Милевский О.А. Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011.

⁸⁷ Кром М. Москва – Третий Рим. История спекуляции // URL: <http://stos.ru/viewtopic.php?id=91>.

⁸⁸ Борисенко Е. Польша в Российской империи: упущенный шанс?..

этнокультурной идентичности. Большую роль в революционном движении играли либералы, национал-демократы, социалисты и социал-демократы Армении, Финляндии, Польши и Литвы, Украины, а также Еврейский рабочий союз (Бунд). Формировалась контрпамять разночинской интеллигенции – разные варианты демократической и революционной истории, основанные на секулярной социалистической утопии, противопоставляющие культурно-гражданскую (протестную) идентичность – подданнически-сословной, утверждающие аскетический идеал сближения с народом, позволяющие категоризировать опыт травмы, полученной от царской власти, понятийно освоить традицию борьбы с царизмом в том или ином регионе, и закрепляющие тем самым результаты идентификационной революции, которая шла в это время в умах интеллигенции.

Наиболее радикальной была эмигрантская новейшая история страны, представленная книгами очерков С.П. Степняка-Кравчинского «Россия под властью царей» и «Подпольная Россия». К 1905 г. они стали бестселлерами, настольными книгами молодежи России⁸⁹. В них описаны общественный и политический строй России, принципиальные различия России и Европы, путь формирования и отстаивания революционных идей в борьбе с государством, жестокость и несправедливость власти; приведены биографии деятелей революционного движения. Впоследствии именно эти персонажи составили пантеон и основу мифологии революционных партий, на их примерах воспитывали молодежь⁹⁰. Внутри страны ее подлинную жизнь раскрывали очерки Г.И. Успенского, замечательно описавшего беспробудные будни крестьянства и проблемы «тружеников мысли», стихийность процесса переосмысления ими прошлого и своего места, заботы того «народа, который загнан на этот путь неожиданно ставшими необходимостью идеями простоты и правды... В появлении их на свет нет никакой случайности... напротив, это – продукт самый чистый... явившийся именно там, где прошлое особенно блистало своими наименее привлекательнейшими сторонами»⁹¹.

Конечно, в формировании исторической памяти массы интеллигенции участвовали и другие, научные книги по истории, тематика которых тоже претерпела изменения под воздействием споров

⁸⁹ Могильнер М.С. Указ. соч. С. 61.

⁹⁰ Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. М., 1964; Он же. Подпольная Россия. Очерки // Он же. Сочинения в 2 т. Т. 1. С. 365-618. На этой основе была создана мифология Подпольной России как основа протестной идентичности. – См.: Могильнер М.С. Указ. соч.

⁹¹ Успенский Г.И. Хочешь-не-хочешь // Он же. Собрание сочинений в 9 т. Т. 3. М., 1956. С. 66, 68.

западников и славянофилов, националистов и народников. Большое место заняли исторические и краеведческие исследования И.Е. Забелина, движимые любовью к «крепкому и здоровому нравственно, народу-сироте, народу-кормильцу». На первом месте в них – русская личность и русское общество. Он рассматривал историю Москвы как символа, выражающего народную идею политического единства. Его памяти посвящена роскошно иллюстрированная книга «Москва в ее прошлом и настоящем» (12 т., 1909–1912), собравшая сотни очерков историков и археологов, отрывков из мемуаров современников, рисующая быт и самосознание народа⁹². У государственника В.О. Ключевского появляются представления о колонизации как стержне развития страны и русском народе как его движущей силе, либерал П.Н. Милюков писал о европейском пути развития России и приспособляемости русского «национального типа» к культурным и институциональным заимствованиям.

Русские крестьяне долгое время не воспринимали революционную пропаганду интеллигенции, противоречившую их традиционному отношению к царю как защитнику. Но по мере развития капитализма и нарастания кризиса сословного общества позитивная православная идентичность крестьянства стала уступать место негативной, подавленной или протестной идентичности. Эриксон связывал это с приспособлением к жизни в условиях, когда позитивная идентичность систематически подрывается (например когда крестьянская семья разорвана необходимостью отходных промыслов или работы в городе, права крестьян на получение образования ограничены, социальные лифты слабы или отсутствуют, так что стремление к получению образования дает меньшие преимущества, чем навык жизни в общине). По этой логике «надо уберечь детей, особенно способных и любознательных, от бессмысленной и опасной конкуренции, то есть ради их выживания удержать их в рамках, указанных равнодушным и злобным “сплоченным большинством”»⁹³. Во время голода 1891–1892 гг., когда погибло около 1 млн. человек, позитивный образ царя и властей стал размываться. Крестьяне впервые встретились с интеллигентской благотворительностью, с книгами, «не толь-

⁹² Формозов А.А. Историк Москвы И.Е. Забелин. М., 1984.

⁹³ Эриксон Э. Указ. соч. С. 315. Он указывает далее на парадоксальное «обстоятельство: угнетатели заинтересованы в том, чтобы у угнетаемых была негативная идентичность, потому что их негативная идентичность – отражение бессознательной негативной идентичности самих угнетателей – отражение, которое до определенного предела позволяет ощущать свое превосходство, а также дает хотя и хрупкое, но все же ощущение цельности». Там же. С. 317.

ко не противоречащими вековой, крестьянской правде, но и содержащими и доказывающими именно ее, эту мужицкую, а не господскую, не казенную правду»⁹⁴.

В начале XX века идея «черного передела» земельной собственности распространилась настолько, что даже отмена выкупных платежей в результате революции 1905–1907 гг. не смогла примирить крестьянство и власть. После пальбы царских войск по православным иконам в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года идентифицировать себя с царем крестьяне затруднились. Многим стало ясно, что и царь не готов идентифицироваться с их интересами. Родилась гражданская идентичность крестьян, предполагавшая диалог крестьянства и революционной интеллигенции. В.И. Ленин писал о временах первой революции, что тогда «демократическая книжка стала базарным продуктом»⁹⁵. Так аутсайдеры послепетровского общества интегрировались в национальное единство, память и идентичность которого расширялись⁹⁶. Новая идентичность подкреплялась распространением в деревне песен, сочиненных городскими авторами, а также принесенных с фабрик и из артелей частушек, в которых поносились кулаки-мироеды, помещики, буржуи, царские министры и царь. Именно в частушках наиболее точно отражались зигзаги отношения народа к тем или иным политическим явлениям прошлого и настоящего, внутри и вне России. Они стали эффективным средством агитации для революционеров⁹⁷.

Деградация государственной, царистской памяти и идентичности привела к формированию Трудовой группы в созданной в ходе революции Государственной думе (второй по численности после кадетов), объединявшей крестьян, рабочих и интеллигентов и отставившей социалистические идеалы: передачу земли в собственность по трудовой норме, 8-часового рабочего дня, всеобщего и равного избирательного права. Это породило шок среди придворных политиков, консерваторов и реакционеров, ожидавших увидеть в лице депутатов от крестьян защитников самодержавия и противников либералов и революционеров. Их историческая память оказалась воображаемой. В результате власть резко сменила политический вектор, ограничила представительство крестьян в III Государственной думе

⁹⁴ Рубакин Н.А. Среди борцов. Очерки и наброски публициста. СПб., 1906. С. 183-184.

⁹⁵ Могильнер М.С. Указ. соч. С. 62.

⁹⁶ Wouters C. Op. cit. P. 192.

⁹⁷ Иванова Т.Г. Частушки и советская цензура. URL: <http://maxpark.com/community/129/content/2031335>.

и стала проводить столыпинскую антиобщинную политику, что еще больше подорвало веру крестьян в царя и его министров. Недоверие к власти переносилось и на церковь, священники которой оглашали новые антиобщинные законы. Царь не захотел слышать голос народа, а потому его фигура стала приобретать все более негативную окраску. Однако Николай II не понимал этого, идентифицируя личность Г.И. Распутина с образом русского крестьянства, что было его роковой ошибкой.

Чиновники царя пытались исправить эту ошибку. Не доверяя народу, они превратили внутреннюю политику и особенно борьбу за собственную власть в непрекращающуюся провокацию. Боясь эсеров-террористов, они во имя безопасности царя добились того, что во главе Боевой организации эсеров стал их агент Е.Ф. Азеф (агент Раскин, с 1903 до 1908 года). Многие революционеры погибли, а теракты против царя были сорваны. Но одновременно в период руководства Азефа были реализованы 30 терактов, в том числе казни министра внутренних дел В.К. Плеве, дяди царя московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, петербургского градоначальника В.Ф. фон дер Лауница, и, наконец, стали готовить покушение на самого царя⁹⁸. Формально департамент полиции во «Временном положении об охранных отделениях» отказался от подобного рода деятельности еще в 1904 г. Но безопасность царя обеспечивали самые разные службы, и фактически именно после этого были совершены самые резонансные теракты. Правда вышла на поверхность случайно, при содействии бывшего начальника департамента полиции А.А. Лопухина, который был осужден за это на ссылку⁹⁹. Интересно, что оба героя этой истории, Азеф и Лопухин, обладали двойным сознанием, двойной памятью, двойной идентичностью – соответственно, агента и революционера, руководителя полиции и либерала. Они путались в своих идентичностях – государственной (верноподданнической) и гражданской (оппозиционной), что было не исключением, а скорее правилом, карикатурно проявившимся в описанном случае¹⁰⁰. Власть сама не желала идентифицироваться с собственной деятельностью, пыталась обойти законы и собственные постановления, не оставляя следов – и на каждом шагу разоблачала себя. Это было началом ее конца.

⁹⁸ Николаевский Б. История одного предателя (Азеф). М., 1991.

⁹⁹ Васильева Л. Дело статского советника Алексея Лопухина. URL: <http://www.oryol.ru/material.php?id=5506>.

¹⁰⁰ Соловьев К.А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. М., 2017.

Еще более активным, чем с крестьянством, был диалог интеллигенции и городских рабочих. В этом растущем слое населения были заинтересованы и многие другие группы. Капиталисты пытались организовать рабочих по типу крестьянских общин, на земляческой основе, стравливая их группы между собой. Полиция в лице начальника Московского охранного отделения С.В. Зубатова пыталась натравить рабочих на капиталистов, чтобы не дать развиваться революционному рабочему движению. Для проведения лекций в созданные полицией общества взаимопомощи привлекали либеральную профессуру, которая пользовалась гораздо большим успехом, чем консервативные священнослужители. Но эти попытки потерпели крах. В формировании профессиональных союзов во время революции 1905–1907 гг. решающую роль играл либеральный Союз союзов, во главе которого летом 1905 года стоял П.Н. Милюков. Профсоюзы помогали гражданскому диалогу рабочих, капиталистов и Городской думы. Хозяева все охотнее (даже без забастовки) шли на выполнение экономических требований, участвовали в работе примирительных камер, в 1905 г. вооружали на свои деньги рабочие дружины¹⁰¹.

Однако рабочие не останавливались на либеральной программе. Они не понимали значимость предпринимательства, конкуренции, хозяйственных рисков, рыночных отношений. Рабочие, как и крестьяне, считали, что хозяйство можно вести традиционными методами, думали, что капиталисты только грабят народ. Поэтому они двигались в сторону социал-демократов, которые заняли ведущие места в городских центральных бюро профсоюзов¹⁰². Социал-демократы формировали протестную память и идентичность рабочих, распространяли марксистское, формационное историческое сознание, классовую идентичность, противопоставлявшую рабочих государству и капиталистам, историческую память, включающую воспоминания о классовой борьбе (от С. Разина до Морозовской стачки), международный опыт классовой солидарности и профсоюзной самоорганизации рабочих, первые успехи социалистов в парламентах и исполнительной власти. Страшной реальности раннего капитализма был противопоставлены светлые идеалы социализма и демократии.

Понять корни возникновения протестной идентичности среди российских интеллигенции, рабочих и крестьян помогает исследование Э. Эриксоном генезиса такого типа идентичности в разных обществах (в том числе США и Веймарской Германии). Он возводит

¹⁰¹ Ионов И.Н. Профсоюзы рабочих Москвы в революции 1905–1907 гг. М., 1986. С. 69–70, 80, 149.

¹⁰² Там же. С. 18–27, 37–50.

протестную идентичность разного рода к факту отсутствия взаимной самоидентификации, нарушения обмена информацией, к отсутствию обратной связи между господствующими и подчиненными группами общества (вплоть до сегрегации). «Существует классическое высказывание Дюбуа о неслышанности негров... – писал Эриксон, – “...Это все равно что, выглядывая из темной пещеры в склоне нависшей над ней горы, смотреть на идущих мимо людей и пытаться заговорить с ними. Вы говорите вежливо и убедительно, объясняя, что эти заживо погребенные лишены возможности двигаться, выражать себя и развиваться, что освобождение их из тюрьмы – не просто вопрос любезности, сочувствия или помощи им; оно для всех явилось бы благом. Вы говорите спокойно и логично, но замечаете, что идущие мимо даже не оборачиваются, а если и обернутся, то лишь взглянут с любопытством и продолжают идти дальше. Постепенно узники начинают понимать, что эти люди их не слышат, что между ними и остальным миром какая-то невидимая стеклянная стена. Они начинают волноваться, говорить громче, жестикулировать. Некоторые прохожие из любопытства останавливаются; эти жесты кажутся им бессмысленными, они смеются и идут дальше. Они все еще не слышат или слышат плохо, но не понимают, чего от них хотят. Тогда узники начинают выходить из себя: кричать, бросаться на стены, вряд ли понимая, что кричат в пустоту и что их гримасы снаружи кажутся смешными. Некоторым удастся выбраться наружу ценой невероятных усилий и страшных увечий. Здесь они оказываются лицом к лицу с огромной, испуганной и безжалостной толпой людей, дрожащих за свою жизнь”»¹⁰³.

В другом случае при дискриминации возникает ощущение невидимости, экзистенциального не-присутствия в жизни. По этому поводу Эриксон замечает: «Я бы скорее объяснил отчаянную и упорную поглощенность этих авторов идеей невидимости как чрезвычайно энергичное и мощное требование быть услышанными и увиденными, быть признанными индивидуальностью, имеющей возможность выбора. Они упорно отстаивают существующую, но непроявленную, в каком-то смысле безгласную идентичность, которая не может пробиться сквозь заслоняющие ее стереотипы. Они хотят снова отвоевать... то, что [К.] Ванн Вудворд называет “утраченной идентичностью”. Этот термин нравится мне тем, что подразумевает не пустоту, как у многих современных авторов, а нечто, что нужно искать и можно найти, что может быть пожаловано или дано, созда-

¹⁰³ Эриксон Э. Указ. соч. С. 309-310.

но или изготовлено, – нечто обретаемое заново. Я подчеркиваю это потому, что существующее латентно может стать реальностью, а значит, и мостом от прошлого к настоящему... распространенная поглощенность идеями идентичности может пониматься не только как свидетельство “отчуждения”, но и как корректив исторического развития... следует проявлять терпимость к болезненной идентичности, которая играет в сознании человечества роль критика, точка зрения писателя и его идеи нужны, чтобы избавиться от того, что более всего угрожает идентичности, а именно от разделения людей...»¹⁰⁴.

В Европе 1890-х, с ослаблением волн революция – контрреволюция появился новый вид циклических изменений в обществе и культуре, связанный с усилением и ослаблением новых элит, которые сопровождалась изменением норм поведения, ослаблением и усилением внешнего контроля за манерами. Если XIX век как целое был отмечен формализацией поведения господствующих классов, то конец его – обратным процессом информализации поведения (*Fin de siècle*). Возникло «скептическое поколение», разрушавшее привычные представления авторитарных личностей викторианской эпохи. Нигилисты, декаденты, профсоюзные лидеры наряду с нуворишами вошли в моду. Возник новый код чувствования и поведения. «Конец века» приветствовал захватывающие и самоубийственные эксперименты с образами, памятью и идентичностью. Границы самоидентификации расширились, перестали быть нормативными. Стали известны альтернативные картины прошлого других цивилизаций, множественные темпоральности больше не удивляли. На этом фоне в общественных науках зародился исторический релятивизм¹⁰⁵.

В России проявлением этих тенденций был Серебряный век русской литературы, новые явления в живописи, театре, музыке, которые принесли с собой идеалы модернизма и авангардизма. Игра с реальностью преобразовывала образ мира и человека, общества и государства. В этом проявлялась усталость от запретов власти, желание найти альтернативную идентичность. Подобные тенденции особенно усилились в ходе революции 1905–1907 гг., уже после Кровавого воскресенья спровоцировавшей стремление идентифицироваться с возникшими стихийными силами или по крайней мере с их жертвами. В стихотворении В.Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1904–1905)¹⁰⁶, как и в стихотворении В.С. Соловьева «Панмонголизм» (1894, полностью опубликовано в 1905 г.) ярко проявляется

¹⁰⁴ Там же. С. 310-311.

¹⁰⁵ Wouters C. Op. cit. P. 167-170, 174-175, 187.

¹⁰⁶ Брюсов В.Я. Стихотворения и поэмы. Л., 1961. С. 278-279.

ожидание катастрофы, уничтожающей империю, цивилизацию и интеллигенцию, и – самое главное – готовность идентифицировать себя с жертвой, принять катастрофу как собственную судьбу. Эти стихи стали символом прощания с империей, старой цивилизацией и готовности к переменам в мировоззрении и идентичности интеллигенции. Важнейшей силой стали массовые юмористические и сатирические газеты и журналы, публиковавшие карикатуры и фельетоны, с 1905 г. – унизительные для власти. К царю и бюрократии в них относились не как к людям или хотя бы к домашним животным, а как к промысловой дичи. Идентифицировать себя с властью и царем под их влиянием стало совсем затруднительно. Возникли массовые газеты, а с ними и массовая «газетная нация». В юмористических журналах и массовых газетах начинал публиковаться А.П. Чехов, гениально показавший трагикомизм российской жизни. Королем русского фельетона был В.М. Дорошевич, фактически возглавлявший газету «Русское слово», которая первой достигла в 1917 г. тиража в миллион экземпляров. В его сочинениях государственная система России описывалась как царство абсурда¹⁰⁷. Столь же значимым было футуристическое стремление перестроить культуру с фундамента, «сбросить Пушкина с корабля современности» (1912), очистить русскую национальную культуру и язык до слогов (1913), упростить изобразительную форму до «Черного квадрата» (1915). Для периодов информализации вообще свойственна игра, поиск предела, беззаботность по поводу последствий. Их герой – это, по определению Ф. Фукуямы, локковский человек, для которого право на жизнь и собственность естественно; человек, привыкший к порядку и не осознающий подлинную опасность хаоса¹⁰⁸.

Для сплочения населения власти понадобились войны, причем неэффективность управления подталкивала идти по нарастающей: проиграв вчистую Русско-японскую войну, Россия под предлогом панславистских идеалов вязалась в Первую мировую. Начало казалось обнадеживающим: немецкие погромы и военная истерия создали иллюзию классового мира. Но царизм старался выжать из этих обстоятельств максимум: представить войну за интересы на Балканах и Черноморские проливы как Вторую Отечественную войну¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Дорошевич В.М. Дело о людоедстве // Он же. Рассказы и очерки. М., 1966. С. 271-287.

¹⁰⁸ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010. С. 251.

¹⁰⁹ Сперанский А.В. Вторая Отечественная война. Мифы. Реалии. Исторические параллели // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Общественные науки. 2014. № 4 (134). С. 20-25.

Это накручивание энтузиазма раскачало маятник народных настроений, и поражения на западном фронте привели к обратному движению, порожденному сословными противоречиями солдат и офицеров, которые вели себя с «нижними чинами» по-хамски. Этим воспользовались большевики, актуализировавшие память революционных лет. Попытка царя взять на себя командование привела к тому, что была дискредитирована власть как целое.

Государственническая, подданическая идентичность в условиях авторитарной власти, чрезвычайного положения, националистической политики и нарастающего недовольства тяготами Первой мировой войны не могла сопротивляться влиянию демократической гражданской идентичности и этнокультурных идентичностей, принимавших в этих условиях антигосударственный, революционный характер и актуализировавших историческую контрпамять о страданиях народов, традициях борьбы против самодержавия, за национальное возрождение и суверенитет. Поэтому в ходе Первой мировой войны нарастали центробежные тенденции, которые приобрели значительную силу в 1915–1916 гг., когда начались массовые выступления узбеков, киргизов, туркмен, казахов против трудовых мобилизаций, которые должна была подавлять целая армия. В условиях немецкой оккупации Польши и немцы, и Николай II обещали ей восстановление суверенитета. После Февральской революции начался распад Российской империи, победили сепаратистские или автономистские настроения в Финляндии, Прибалтике, Польше, на Украине. Временное правительство должно было отменить все ограничения периода русификации Финляндии, признать суверенитет Польши, формировать планы передачи Украине Черноморского флота и раздела с ней Балтийского флота. Маятник истории, раз качнувшись в сторону самодержавной гиперцентрализации, теперь, как и после смерти Андрея Боголюбского или Ивана Грозного, набирая скорость, уносился в сторону дробления, распада и хаоса.

ГЛАВА 3

ИМПЕРСКИЕ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗЫ РОССИИ XIX–XXI вв.:

Память и идентичность в советской и постсоветской России

Русская революция 1917 года связана с глубокими изменениями в осознании человеком своей идентичности, с преодолением ее проблематизации. Э. Эриксон отмечал, что «осознание идентичности снимается в чувстве своей идентичности, возникающем в процессе активной деятельности. Только тот, кто “знает, куда идет и кто идет с ним”, являет собой безошибочно узнаваемое, если и не всегда легко определяемое светлое единство внешнего облика и внутреннего содержания. И все же именно тогда, когда человек, как ему кажется, “нашел себя”, о нем можно сказать, что он “теряет себя”, в новых целях и во взаимодействии с другими: он преодолевает рамки осознания идентичности. Это, несомненно, верно для ранних этапов любой революции... Обостренное сознание идентичности растворилось в действительности». Однако легитимизация дореволюционной негативной идентичности чревата опасными искажениями. При отсутствии «реалистической идентичности» в разных странах может происходить «внутренняя перегруппировка образов, почти негативная конверсия, при которой элементы прежде негативной идентичности становятся абсолютно господствующими, в то время как позитивны совершенно устраниаются», что чревато аморальностью и экстремизмом¹.

1. Память и идентичность в советской России

Вместе с новой, революционной идентичностью активизировались и старые ее формы. Процесс распада России по этнонациональным, региональным и просто административным границам не прекратился с приходом к власти осенью 1917 года большевиков, которым пришлось издать «Декларацию прав народов России», признававшую за народами право на самоопределение. Это было техническое условие удержания власти, такое же необходимое, как прекра-

¹ Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис. М., 1996. С. 314, 326.

шение империалистической войны или передача земли крестьянским общинам. Старая государственническая идентичность разлетелась в прах. Возникшая в ответ на волну русификации волна дерусификации привела к отделению всех крупных национальных регионов, недоверию к центральной власти любого рода. Собрание страны надо было начинать сначала. Чтобы создать новую, «революционную нацию», большевики с легкостью шли на самоопределение этнокультурных наций: в рамках их марксистской теории это был необходимый этап развития общества, связанный с капитализмом и государственностью. Они и позже, в 1920-х и в 1930-х гг. равно легко шли на «коренизацию» элит – фиксирование прав местных этнокультурных групп в системе власти и партийного образования, поскольку полагали, что преодоление государственности при полном коммунизме навсегда покончит и с национальной дифференциацией, и с границами между государствами. На первое место они выдвигали не национальную, а универсальную, классовую идентичность, нашедшую выражение в гербе СССР (1923 г.), включавшем образ Земного шара и в гимне – Интернационале. Интегрирующими механизмами в созданном на основе марксистских представлений СССР выступали не национальные чувства, а руководящая роль Коммунистической партии, ее политика «дружбы народов», создание советского человека, в котором государственная и гражданская идентичность доминирует над этнокультурной².

Особенность Русской революции 1917 года состоит в том, что она выстроена по боваристскому типу, предполагающему ложную самоидентификацию с идеализированным миром (мировой революции, рабочего контроля и коммунизма или Учредительного собрания, демократии и общинного социализма) и созданную под нее ложную историческую память. Большевики, как и эсеры, унаследовали от славянофилов образ «ложной», буржуазной, эксплуататорской Европы, с которой они не хотели иметь дело, и прошлое которой затенялось в их исторической памяти образом «истинной» Европы борющегося и побеждающего пролетариата. И.Б. Нойманн писал: «Большевики хотели спасти Россию из когтей ложной, буржуазной Европы и нырнуть прямо в завершающий этап исторического развития – той истинной Европы, частью которой была Россия – в социа-

² Лурье С.В. В поисках новых форм самоидентификации русского городского населения: методология Grounded theory в практическом исследовании // Общественные науки и современность. 2012. № 1. С. 88-105; Она же. Российский национальный проект: культурные «скрепы» и «сценарии» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 1. С. 44-50.

лизм»³. Именно исходя из этой картины они планировали внутренние преобразования в России. Это противопоставление идеальной Европы реальной сохранило значение и при советской власти, расширилось и глобализировалось, породив метафоры типа «люди доброй воли», «борцы за мир во всем мире» и т.п.

О проблеме преобразований в условиях «национального боваризма» писал мексиканец Л. Сеа, характеризуя воображаемый мир, в котором пытались действовать латиноамериканские реформаторы и революционеры. Из их образа мира, как у западников и славянофилов, большевиков и эсеров, избирательно вытеснялся то индейский исторический опыт, то европейский опыт. Исторический дискурс не мог вобрать в себя все наследие, а потому оказывался ложным. Отсутствовала иерархия решения проблем и стратегия минимизации цены преобразований. «Следствием позиции, занятой мадам Бовари, – писал Сеа, – явилось ее поражение; мы потерпели поражение по той же причине... Нашей позицией было отрицание, игнорирование собственной реальности принятием чужой реальности, которая как таковая исключала наше самоосуществление... Боваризм не разрешает проблем – он их только накапливает. Начало этому положила Конкиста, которая, смешав народы, создала для них проблемы, не дав их решений. Еще не решив проблем, порожденных Конкистой, мы уже ставили вопрос о либерализме, который не решал предыдущих проблем, а создавал новые, и так продолжалось далее, накапливались проблемы, а не их решения. Таковой видится история нашей Америки, – история, отличная от западноевропейской и выражающаяся в постоянной ассимиляции импортированных идей, боваристских идеалов...»⁴. Наиболее ярким случаем коллективного боваризма элиты в Латинской Америке служит Гаитянская революция рабов 1791–1803 гг., как продолжение Великой Французской революции в колонии Сан-Доминго, которую не удалось подавить даже Наполеону. Она явилась следствием стремления образованной элиты идентифицировать себя с Францией, подражать ей во что бы то ни стало. Она превратила Гаити в первую республику освободившихся рабов, оказала сильнейшее влияние на освободительное движение афроамериканского населения и его успехи – и во многом предопределила последующую историю страны: историю двухсотлетнего кризиса, оккупации и сменяющих друг друга диктатур. Таков был результат боваристской убежденности элит в том, что местные традиции нуж-

³ Цит. по: Морозов В.Е. Указ соч. С. 280-287.

⁴ Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М., 1984. С. 22-23.

даются не в постепенном реформировании и общественном диалоге, а в решительном преодолении, а нация может идентифицировать себя либо с белыми и современной цивилизацией, либо с африканской сельской идиллией и властью черных⁵.

В России тоже пытались по-боваристски, одним махом разрешить нагромоздившиеся за XIX век противоречия традиционализма и модернизации, города и деревни, предпринимателей и рабочих, государственничества и либерализма, великорусского шовинизма и периферийного национализма, демократии и социализма, предлагая большевистский вариант коммунизма как один единственно верный путь решения всех проблем. Политические программы принимали формы лозунгов («Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны!»). Предпосылкой служило тотальное изменение идентичности и коммуникации. Уже в ходе Гражданской войны прошла реконцептуализация и реконтекстуализация основных социально значимых дискурсов, прежде всего языков самоописания и самоидентификации. Было обновлено семантическое пространство культуры. Маргинальное самосознание простого народа было преобразовано в триумфалистское, всемирно-историческое, которое выражалось в революционных песнях, стихах, памятниках, а самосознание прежде правивших классов было маргинализировано. Дистанцированию от церковно-славянского языка и цикла православных праздников способствовали переход на новую орфографию и новый григорианской календарь.

С приходом к власти большевиков, стремившихся обеспечить марксистскому мировоззрению монополию в России, старые формы исторического сознания, такие как имперское и цивилизационное, утратили свою роль в качестве основ идентичности: имперское – как связанное с царским режимом и империализмом, а цивилизационное – как производное от буржуазной, эксплуататорской цивилизации⁶. В рамках марксизма их критиковали как формы ложного сознания, надстройку над военно-феодальным и капиталистическим базисом. Марксистское мировоззрение, внедряемое большевиками как единственно научное, а потому единственно верное, вводило историче-

⁵ Pris-Mars J. Ainsi parla l'oncle suivi de Revisiter l'Oncle. Montréal: Mémoire d'encrier, 2009; Simeon-Jones K. Literary and Sociopolitical Writings of the Black Diaspora in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Lanham: Lexington Books, 2013; Dash J.M. Neither France nor Senegal: Bovarysme and Haitian Hemispheric Identity // Haiti and the Americas / Ed. C. Calarge et al. Jackson, 2013.

⁶ Асоян Ю.А. Исчезнувшая цивилизация: цивилизационные категории в советском идеологическом дискурсе 1920–1930-х гг. // Общественные науки и современность. 2012. № 4. С. 112-119.

скую память в новые, формационные рамки, которые резко расширили историческое поле, категоризируя весь исторический процесс от возникновения человечества в прошлом (первобытнообщинный строй) до коммунизма в будущем. Соответственно и история России рассматривалась как линейно-стадиальное движение от формации к формации. Импульсами ее развития служили материальные факторы – прогресс производительных сил и производственных отношений, а также классовая борьба. Однако расширение поля исторического сознания было связано с его обеднением.

Исторический материализм был приспособлен к анализу парадигмальных исторических примеров, таких как Римская империя, феодалная Франция, капиталистическая Англия – и плохо подходил к российской фактуре. В.И. Ленину приходилось для доказательства своих идей завышать численность пролетариата в России. Его примеру следовали советские историки⁷. М.Н. Покровский «подтянул» Россию к стандартам европейского Нового времени при помощи спекулятивного термина «торговый капитализм». Известные историки, такие как А.С. Лаппо-Данилевский, Л.П. Карсавин, С.Ф. Платонов придерживались теории о ведущей роли государства, а не экономики в истории России, теории, которая считалась историками-марксистами идеалистической и антинаучной. Вместе с тем в первое время научные дискуссии историков оставались возможными: Н.И. Кареев призывал к диалогу научных школ, Р.Ю. Виппер, А.Е. Пресняков, Е.В. Тарле, Б.Д. Греков пытались переосмыслить свои взгляды, учитывая как экономические, так и культурные процессы⁸. Однако такой диалог был возможен в довольно узких рамках: марксизм отстаивал принцип партийности исторической науки, так что она представляла «политикой, опрокинутой в прошлое»⁹ (М.Н. Покровский), а критерием истины становилась политическая целесообразность тех или иных концепций. Это означало отступление от футуристического к презентистскому режиму историчности. В целях придания партийности социальному знанию вскоре после революции были организованы Коммунистическая академия, Институт истории, Институт красной профессуры, Общество историков-марксистов, журналы «Красный архив», «Историк-

⁷ Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. М., 2012. С. 430.

⁸ Тихонов В.В. Историческая наука в 1920-е гг.: историографические заметки // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2013. № 30 (321). История. Вып. 57. С. 101-108; Камынин В.Д. Место историков «старой школы» 1920-х гг. в развитии отечественной историографии в XX в. // Imagines Mundi. № 7. Сер.: Интеллектуальная история. Вып. 4 Екатеринбург, 2010. С. 254-258.

⁹ Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. М.-Л., 1933. С. 360.

марксист», «Борьба классов». Старые учебники по истории России были признаны непригодными, а отечественная история в школе до 1934 года была заменена историей социалистических учений и историей мировой революции¹⁰. Школа воспитывала прежде всего интернационализм, преданность партии и революции как делу трудящихся.

Особенностью исторического сознания в советской России было то, что большевики рассматривали исторический материализм не только как научную, но и как морально оправданную теорию, связанную в революционным движением, а значит с самоотречением и аскезой, а себя, как выразителей интересов бедных и страдающих, заслужившими право быть выразителями Правды – и в смысле истины, и в смысле справедливости. Они полагали себя нравственными по преимуществу – в силу причастности к делу революции как высшему проявлению справедливости. В их отношении к исторической памяти ярко проявился описанный Ф. Ницше христианский аскетический идеал и рессантимент (злопамятство) по отношению к старой власти. Философ показал, что этот идеал «беспощадно налегает на все времена, народы, людей, подчиняя их единой цели, он не допускает любого другого толкования, никакой другой цели, он бракует, отрицает, подтверждает исключительно в смысле *своей* интерпретации... наука... выступает не антиподом аскетического идеала, а напротив, *новейшей и преимущественной формой его*»¹¹.

В этом смысле историческая память марксизма наследовала культурной памяти православия, была связана с одним из вариантов эсхатологического представления о Конце света и Царстве Божием на Земле – мировой революции и коммунизме. В него входило также определение народа Божьего – в данном случае это был пролетариат и революционеры как сила, вносящая в него революционное сознание (святой дух). Поэтому в центре исторической памяти и самоидентификации формационного типа – память о революционерах, о своем трудовом социальном происхождении и классовой идентичности. Недаром улицы городов, названные по близлежащим церквям, были переименованы по фамилиям революционеров¹². Существовало и представление о силах зла, относительно которых формировалась

¹⁰ Огоновская И.С. Школьный учебник по отечественной истории // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 12. Екатеринбург, 2011. С. 265.

¹¹ Ницше Ф. К генеалогии морали // Он же. Сочинения в 2 т. Т. 2. С. 513.

¹² Жукоцкий В.Д. Русская Реформация XX века: логика исторической трансформации атеистического протестантизма большевиков // Общественные науки и современность. 2004. № 3. С. 89-101. В этом можно видеть проявление периферийности или пограничности культуры. См.: Шемякин И.Г. Европа и Латинская Америка... С. 246-261.

негативная идентичность советского человека: дворянах, буржуях, кулаках, царских полицейских и офицерах, а также “дармоедах-священниках”, которые были лишены избирательных прав (“лиценцы”), ограничены в праве на образование, обречены на принудительные работы, роль заложников во время Гражданской войны и периодические «чистки» после ее окончания. Эта группа подозрительных Иных быстро расширялась за счет социал-предателей, раскольников, троцкистов, фашистов, а позже – безродных космополитов и т.п.¹³ Во избежание репрессий документы о принадлежности к этой группе большей частью населения уничтожались или фальсифицировались, сословная идентичность и память размывались, принадлежность к этим группам скрывалась даже от детей¹⁴. Но параллельно в условиях нарастающего классового геноцида формировались контрпамять и протестная идентичность «бывших», которые подпитывались связями с эмиграцией (пока они существовали), соблюдением старых праздников, религиозных обрядов¹⁵.

У большевиков была культурная память, воплощенная в «священном писании» – трудах классиков марксизма, состав которых периодически пересматривался руководством партии. Появилась система воспроизводства исторической памяти, во главе которой стояли институты, сохраняющие память о марксистских идеях и революционном движении: Институт Маркса и Энгельса (1921), Институт Ленина (1923), занимавшиеся изданием трудов классиков марксизма-ленинизма, которые полагалось цитировать в любой книге и установочной статье, общества старых большевиков, политкаторжан и ссыльнопоселенцев, комиссии по истории партии и профессиональных союзов, которые собирали и обрабатывали воспоминания о прошлом таким образом, чтобы они воспроизводили не дореволюционный, а советский дискурс. На местах создавались краеведческие музеи, демонстрировавшие прежде всего развитие экономики региона и этапы развития классовой борьбы. Важнейшую роль в институционализации памяти о революции играли могилы революционеров. Они были виртуальным хранилищем «заветов прошлого». Повсеместно взамен снесенных памятников царям и генералам были установлены памятники героям революции, разработанные в рамках «Плана монументальной пропаганды» (на месте памятника генералу

¹³ Гудков Л. К проблеме негативной идентификации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 5. С. 35-44.

¹⁴ Эткинд А.М. Кривое горе. Память о непогребенных. М., 2016.

¹⁵ Ковалев М.В. Историческая память и идентичность российской эмиграции. Очерки. Саратов, 2013.

Скобелеву появился монумент Советской конституции, на памятном обелиске по поводу 300-летия дома Романовых были выбиты имена мыслителей и революционеров и т.п.). Большевики и комсомольцы распространяли обряды, связанные с коммеморацией революционных событий – Великой Октябрьской социалистической революции, которой придали смысл перелома в истории человечества, Парижской коммуны как первой попытки прихода к власти пролетариата, 1 мая как дня солидарности трудящихся и т.п. В 1920-е гг. постепенно эти праздники как нерабочие дни заменили Рождество, Пасху, Покров и другие религиозные праздники. Появились коллективные действия по приобщению к революционному прошлому – праздничные демонстрации у могил героев революции (на Красной площади, на Марсовом поле, Дворцовой площади и т.п.). Подобные же ритуалы проводились на семейном уровне во время свадеб, рождения ребенка («красные крестины») и похорон. В идеале эта новая культурная память должна была полностью вытеснить имперскую и православную культурную память. Однако этого не произошло.

Причиной было то, что большевики ставили перед собой цель разрешения противоречий раннего капитализма с его пережитками традиционного общества и полагали, что рост жизненного уровня трудящихся ограничен потолком «зажиточности», а творческие силы капитализма с его загниванием в конце XIX – начале XX в. уменьшаются. Они недооценивали роль конкуренции и предпринимательства, их способность поднимать жизненный уровень трудящихся, перспективу возникновения общества потребления, связывали эти тенденции с преходящей эпохой колониализма и попытками буржуазии «подкормить» рабочую аристократию в эпоху пролетарских революций. Отсюда дистанцирование от некоторых форм рабочего движения (тред-юнионизм, синдикализм) и даже от правой социал-демократии, с которой у большевиков были общие корни. Они недооценивали и демократию, введя в историю Гражданской войны понятие «демократическая контрреволюция»¹⁶. Рабочие рассматривались как авангард трудящихся, но одновременно критиковались за стремление к улучшению жизни, не связанное с увеличением производительности труда. В результате подлинными носителями пролетарской идеологии фактически считались бывшие рабочие, ставшие партийными и советскими чиновниками (и высшие среди них – номенклатура ЦК). Стремление к уравнительности потребления делало марксистов терпимыми к традиционному крестьянству и беднякам,

¹⁶ Майский И. Демократическая контрреволюция. М.- Пг., 1923.

но вело к существенной недооценке роли мелкой и средней сельской буржуазии. В результате, хотя большевики формально идентифицировали себя с трудящимися всего мира, на деле эта идентификация замыкалась на довольно узкий (и все более сужающийся) круг групп, действовавших в их интересах. Многие позитивные тенденции в развитии народного хозяйства, связанные с прогрессивностью капитализма и становлением общества потребления, принимались исподволь, под влиянием восстаний в вооруженных силах и в деревне, а при возможности тормозились и истреблялись (НЭП). То же можно сказать о западной науке, причем не только общественной¹⁷.

Двойственное отношение к капитализму, крестьянству, интересам рабочих приводило к тому, что в диалоге с обществом большевики прибегали к противоречивым высказываниям и действиям, несовместимость которых оправдывалась ссылками на диалектическую логику и возможность разрешения противоречий в будущем. Например, еще в 1920-х гг. одновременно предлагалось усилить роль рабочих как правящего класса и ввести на производстве потогонную систему Тейлора¹⁸. Но классический пример такого противоречия дал, конечно, И.В. Сталин, приняв в 1936 г. Сталинскую конституцию, провозглашавшую демократические свободы, и развернув в 1937 г. Большой террор – широкую кампанию массовых репрессий против всех слоев общества. Такую коммуникацию можно характеризовать как сумму вербальных и невербальных двойных посланий, «за логической невменяемостью» которых, по словам политолога С.П. Поцелуева, «скрывается совершенно четкий прагматический смысл: консервация зависимого положения подвластного, его статуса “жертвы”, сужение его поведенческих альтернатив... Можно сказать, что парадоксальные побуждения к действию – это чистая формула власти, а парадоксальный выбор – неотъемлемая черта любой двойной ловушки как властно-коммуникативного отношения»¹⁹. Единственным противоядием против нее является метакоммуникация, позволяющая анализировать контексты высказываний, то есть обратная связь между сторонами диалога²⁰. Но ее возможность с годами уменьшалась. Ме-

¹⁷ Ко времени начала Научно-технической революции большевики успели репрессировать ученых двух направлений из трех, определявших ее содержание, но не имевших оборонного значения (генетика и кибернетика).

¹⁸ Фельдман М.А. Была ли Октябрьская революция пролетарской? // Ответственные науки и современность. 2012. № 5. С. 130.

¹⁹ Поцелуев С.П. Double Binds или Двойные ловушки политической коммуникации // Полис. Политические исследования. 2008. № 1. С. 10.

²⁰ Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М., 2000. Указ. соч. С. 232–233, 239, 266–267, 275.

сто родителей в СССР как шизофреногенной семье было уже занято. Пропагандой внедрялось выражение «Родина-мать», а за Сталиным закрепилось именование «отец народов». Право определять контекст коммуникации тем самым осталось за органами власти. Не случайно, что жертвы репрессий идентифицировали себя со своими палачами, оправдывали их и умирали с именем Сталина на устах.

Такой поворот поддерживался сменой тенденций в процессе цивилизации. Новая волна информализации, возникшая после перерыва на Первую мировую войну («Ревущие» 20-е гг.) слабо затронула революционную Россию. Наиболее ярко ее влияние проявилось в размывании семейной самоидентификации, в попытках в рамках фурыеристской традиции ввести «отмену частного владения женщинами», облегчить процесс заключения и расторжения браков, учредить общественное воспитание детей, в отрицании любви и в ранних формах сексуальной революции (теория «стакана воды»), стимулированных феминистскими работами А.М. Коллонтай (но у нее речь шла о подлинной любви без брака²¹. Здесь Россия шла впереди Запада²².

Ориентация на западную моду, западную музыку, западное кино на десятилетия стала неотъемлемой составляющей советской культуры, прежде всего для молодежи. Важнее всего было связанное с процессом информализации доброжелательное внимание к России западных интеллектуалов и производное от него сохранение большевиками после революции некоторых традиций «Серебряного века», модернистских и авангардистских тенденций в литературе и искусстве, которые использовались для облегчения диалога с Западом.

Но уже в 1930-х гг. под влиянием экономического кризиса Запад накрыла волна обратного процесса реформализации²³. Массы стали концентрироваться вокруг элиты, усилились автократические и тоталитарные явления в государственной жизни (вплоть до фашизма и нацизма), национальный код чувствования и поведения стал напоминать армейский, усилился внешний контроль за поведением, возродился идеал универсальной империи (Вторая Римская империя, Тысячелетний рейх). Реформализация породила эксклюзивистские тенденции: расизм, гонения на инакомыслящих, концентрационные лагеря. Инструментом интеграции нации в Германии впервые стало те-

²¹ Коллонтай А.М. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодежи) // Молодая гвардия. 1923. № 3. С.111-124; Коллонтай А.М. Скоро (через 48 лет). URL: http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0080.shtml.

²² Carleton G. Sexual Revolution in Bolshevik Russia. Pittsburgh, 2005.

²³ Wouters C. Informalisation: Manners and Emotions since 1890. L., 2007. P. 31, 106, 206, 213-214; 171-174, 176-197.

левидение, предназначенное для домохозяек, которое превратилось в часть воспринимаемой реальности, стало источником опыта («а по телевизору показывали...»). Эти тенденции связаны с новым поколением, пережившим ужасы Первой мировой войны и послевоенной разрухи, для которых упрощенное гоббсовское описание естественного состояния человека «война всех против всех»²⁴ было не теорией, а жизненной практикой. Эти гоббсовские индивиды, жизненные цели которых ограничены самосохранением (Э. Фромм называл их «авторитарными личностями»), готовы были принести в жертву свою свободу ради порядка. Любимое выражение Фридриха Великого «Ordnung muss sein»²⁵ (можно перевести как «Порядок превыше всего») было для них символом веры.

В СССР, где последствия Первой мировой и Гражданской войн были особенно катастрофичными, где все более очевидной становилась утопичность перспективы мировой революции, реформализация проявилась в разрастании карательного государственного аппарата, репрессиях против «врагов народа», ограничении партийной демократии, огосударствлении профсоюзного движения, укреплении семьи как детородной машины (вплоть до запрета абортов), устранении пережитков модернизма и авангардизма в искусстве, запретах на этническую память (изучение эпоса). «Вместо обмена культур в таких условиях могла существовать только принудительная замена, требовавшая от подвластных полного отказа от своей культуры... В самом крайнем – большевистском – варианте стремление к однозначности и однородности торжествовало в форме кровавого террора», пишет Й. Баберовски. Гонениям подвергалось все новое, что нельзя было «точно определить... или что противилось определению... Конструирование порядка... требует отрицания прав и оснований всего того, что не может быть ассимилировано – после делегитимации иного»²⁶. Началась эпоха запретов и гонений как внутри партии, так и вне нее, включая ненормативную историческую память, а также гражданскую и этнокультурную идентичность.

Гражданские идентичность и диалог в СССР были ограничены цензурой, введенной практически сразу после революции, запретом «контрреволюционных» газет и журналов, а потом и книг²⁷. Спло-

²⁴ Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010. 236-237.

²⁵ Dodd W.J. Jedes Wort wandelt die Welt: Dolf Sternbergers politische Sprachkritik. Wallstein, 2007. S. 143.

²⁶ Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010. С. 12.

²⁷ Блюм А.В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003.

ченность общества осуществлялась на основе лозунга «осажденного лагеря»²⁸, истерии по поводу надуманных угроз. Негативная идентичность по отношению к Западу и его «белогвардейским наймитам» подкрепляла позитивную идентичность по отношению к большевикам в тех случаях, когда последняя ослаблялась. Дискуссии в обществе были сведены сначала к спорам между революционными партиями (большевиками и левыми эсерами), потом – к дискуссиям большевистских фракций и уже с 1921 г., с принятием на X съезде РКП(б) резолюции, осуждающей групповщину и фракционность – к обсуждению генеральной линии партии, без возможности легальной институционализации альтернативной позиции. Принцип демократического централизма, провозглашенный при создании партии, размывался принципом директивности и политикой чрезвычайщины. Некоторое время оставалась возможность самоидентификации с вождями революции В.И. Лениным, Л.Д. Троцким, Г.Е. Зиновьевым и др., позиции которых расходились между собой, но с провозглашением после смерти Ленина его непогрешимости и усилением роли И.В. Сталина такая возможность стала сокращаться. С 1928–1930 гг. попытки всякой альтернативной памяти и самоидентификации стали рассматриваться как враждебные и караться. Возникла радикальная асимметрия частной и нормативной, государственной исторической памяти. Гражданская идентичность на десятилетия слилась с партийной и государственнической.

В то же время массовая коллективизация, падение уровня жизни и репрессии 1930-х гг. показали, что само государство не желает реально идентифицироваться с интересами граждан, в том числе рабочих и крестьян, с которыми оно официально себя идентифицировало, и помнить об их интересах, что его историческую память определяют воспоминания о сопротивлении большевикам в годы Гражданской войны со стороны практически всех групп населения, в том числе рабочих и крестьян, что оно боится их повторения. Абсолютным приоритетом стали обладать память и идентичность партийной номенклатуры, ассоциировавшей себя с абстрактными, идеальными рабочими и крестьянами из большевистских фантазий. Для этого было введено маскировочное понятие «социальное происхождение», позволявшее номенклатуре числиться среди рабочих по происхождению. Эти манипуляции с памятью скрывали эксплуататорскую сущность номенклатуры, антагонистический характер противоречия но-

²⁸ Сталин И.В. Об очередных задачах коммунизма в Грузии и Закавказье: Доклад общему собранию тифлисской организации коммунистической партии Грузии 6 июля 1921 г. // Сталин И.В. Соч. Т. 5. М., 1947. С. 89.

менклатуры и трудящихся, враждебность номенклатуры по отношению к «простому советскому человеку», от которого она была вынуждена скрывать свои привилегии²⁹.

Поэтому в советской пропаганде еще с 1920-х гг. диалог идентификаций, за который боролись дореволюционные демократы, стал сменяться монологом навязанной, нормативной идентичности, подавлявшей этнокультурные, профессиональные, семейные, соседские и другие, а также возможность выбора между ними. Человек сливался со своей ролью в государстве³⁰. Идентичность вырабатывалась на основе нормативной исторической памяти, основанной на однозначной трактовке событий прошлого, которая рассматривалась как единственно верная. С приходом к власти И.В. Сталина актуализировалась проблема его незначительной роли в революционном движении и Гражданской войне. Ее решению способствовали физическое устранение носителей неудобных форм памяти, массовые репрессии над членами партии (провозглашенный «Съездом победителей» XVII съезд называли «съездом расстрелянных»), а также процессы над «вождями», ведущими деятелями ВКП(б). Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, М.П. Томский и др. были выставлены виновниками всех проблем СССР, пособниками фашистов, платными агентами иностранных разведок, стремившимися восстановить власть помещиков и капиталистов. Вынужденные признания подсудимых выдавались за доказательство того, что никакой исторической памяти, кроме представленной в сталинской пропаганде, никакой самоидентификации, кроме как идентификации с линией Сталина у честного человека быть не может³¹.

Инструментом пассивного укоренения нормативных форм исторической памяти стали агитация по радио, газетные статьи, полиграфические материалы, партийные и профсоюзные собрания, на которых ста-

²⁹ Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. С. 138-141. У Восленского представитель номенклатуры в марксистской традиции ассоциируется с кулаком-миродом, но важно понимать, что сам такой представитель ассоциировал себя со сверхчеловеком. Именно поэтому дагестанский секретарь райкома велел именовать себя «ваше величество» (С. 143).

³⁰ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 149.

³¹ Судебный отчет по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра. М., 1936; Гинцберг А.И. Московские процессы 1936–1938 гг // Новая и новейшая история. 1991. № 6. С. 10-23; История сталинского ГУЛАГа. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верг, С.В. Мироненко. М., 2004; Shearer D.R. Policing Stalin's Socialism. Repression and Social Order in the Soviet Union, 1924–1953. New Haven, 2009.

линская версия истории путем бесконечных повторов внедрялась в живую память людей. Важными инструментами переформатирования памяти были школьные и вузовские учебники³², художественная и историческая литература.

Поэтому такой упорной борьбой и преследованиями историков была отмечена многократная переработка текста многотомной «Истории гражданской войны» (1935–1960), третий том которой вышел только после смерти Сталина, такое значение придавалось «Краткому курсу истории ВКП(б)» (1938), закрепившему сталинский образ марксизма, формационной картины истории, истории революции и СССР. Эта книга стала новым воплощением канона исторической памяти и идентичности (переиздавалась до 1953 г. 301 раз на 67 языках), ее заучивали наизусть. В ней дано тоталитарное видение мира, телеологический марксистский детерминизм доведен до крайности, а картина прошлого дана в презентистском режиме историчности. Точкой отсчета служил конечный триумф Сталина (*καίρως*, исполнение времен, как пришествие Христа), который придавал смысл истории. При характеристике политических и социальных сил допускалось только дихотомическое деление на соратников и врагов. Все остальные идентичности объявлялись еретическими. В тексте сосуществуют мифологическое и летописное повествование. Однозначно оцениваемое сакральное линейное время построения нового мира соседствует с дискретным временем отдельных этапов истории (волн революционного движения, съездов, этапов строительства социализма), которые поддаются переоценке, что дает основание для противоречивых высказываний, удвоения значений, а значит и «двойных посланий» в духе Г. Бейтсона³³. Эта книга, создавшая позитивный образ страны и ее руководства, императив верности героическому прошлому и т.п. полностью соответствует всем выдвигаемым сейчас политологами требованиям к исторической памяти и государственной национальной идентичности. Благодаря этому она не только на десятилетия определила государственную и гражданскую идентичность в СССР, но и породила массовую радикальную секту, суще-

³² Огоновская И.С. Указ. соч. С. 267; «Краткий курс истории СССР» для школьников издавался в 1937–1955 гг. 25 раз тиражом 7 млн экз. См.: Краткий курс истории СССР: учебник для 3-го и 4-го классов / Под ред. А.В. Шестакова. М., 1937.

³³ Гловинский М. «Не пускать прошлого на самотек»: «Краткий курс истории ВКП(б)» как мифическое сказание // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 142–160; Гусева А.В. «Краткий курс истории ВКП(б)»: история создания и воздействие на общественное сознание. Дисс... канд. ист. наук. М., 2003.

ствующую до сих пор, которая не ограничивается узкими рамками приверженцев «мистического сталинизма»³⁴.

Сталинский вариант национальной идентичности в основном воспроизводил царистские иллюзии русского крестьянства. Сталин одновременно воплощал в себе образы Петра I и Ивана Грозного³⁵. Это не была идентификация с определенными институтами. Дворец Советов как символ советской власти так и не достроили. Важнее была персональная идентичность советского человека с Лениным как предтечей Сталина и с самим Сталиным как «хозяином». Основными монументами эпохи остались мавзолей Ленина (а до 1961 г. – и Сталина), ВДНХ и московское метро, превращенные в мемориалы Сталина и оставшиеся такими до десталинизации. Подобная идентичность предполагала атомизацию общества, взаимодействие индивидов через властную «вертикаль». Массовые репрессии против «врагов народа» стимулировали массовые слежку, доноительство и недоверие между гражданами (как предпосылки активного овладения нормативной памятью и идентичностью), распад гражданской идентичности. Горизонтальная солидарность и чувство сопричастности сохранялись в виде элементов родственных, квазиобщинных профессиональных и соседских отношений³⁶. Именно поэтому так ценилось в СССР братство однополчан. Идентификация с вождем особенно характерна для номенклатуры, которая считала себя выразителем интересов трудящихся, но по возможности дистанцировала себя от них при помощи привилегий, внешнего облика и поведения. Такая идентичность пресекала возможность критики политики режима. Зато памятники Сталину и посвященные ему музеи росли как грибы³⁷.

Резкое несоответствие советской реальности марксистско-ленинских теорий, предполагавших отмену постоянной армии, государства, тюрем, передачу рабочим управления предприятиями, а затем трудная адаптация хозяйственников и населения к стремлению большевиков

³⁴ Создатель этого учения писатель А.А. Проханов предлагает причислить Сталина к лику святых как вождя сил Рая и победителя над силами Ада. Он пишет: «Иосиф Сталин – плод религиозного сознания русских. Соединение земной личности Сталина с её небесным проявлением делает эту личность непоругаемой. Икона Сталина... продолжает и сегодня сиять во всей своей восхитительной, божественной красоте». URL: <http://zavtra.ru/blogs/misticheskij-stalinizm>

³⁵ Копосов Н.Е. Память строгого режима. М., 2011. С. 118; Platt K.M.F. Terror as Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths. Ithaca, 2011.

³⁶ Дамье В. Атомизация общества и социальная самоорганизация: Российский контекст // Рабочие в России: исторический опыт и современное положение / Под ред. Д. Чуракова. М., 2004. С. 73-82.

³⁷ Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2012.

коллективизировать максимум крестьянской собственности, развивать тяжелую и особенно оборонную промышленность за счет легкой, невыполнять планы по репрессиям среди инженеров и командного состава армии привели к тому, что образ повседневной реальности необходимо было трансформировать не менее радикально, чем образ истории революционного движения. Для этого служил метод социалистического реализма. Все культурное наследие, которое невозможно было интерпретировать как его предпосылки, было объявлено реакционным. Он провозглашал принцип партийности всякой литературы, противопоставляя темным сторонам реальности светлый социалистический (потом коммунистический) идеал повседневно воплощаемого будущего. Это была литература, описывающая сильных, уверенных в себе людей, справедливое и хорошо управляемое общество, способное решить любые проблемы благодаря руководящей роли партии. Отдельные недостатки лишь подчеркивали его совершенство.

Виновниками всех бед были назначены капиталистическое окружение и буржуазные пережитки в сознании трудящихся. Тем самым, как и в христианстве, грех был отделен от верующего. Инструментом драматизации выступали борьба хорошего с лучшим, изображение производственных романов, борьба против бюрократов за рационализацию производства, впоследствии поддержанную партией. Критика недостатков не запрещалась, сатиру неоднократно пытались реанимировать, но одновременно преследовали писателей, недостаточно сильно лакировавших действительность, недооценивавших роль партии или проявлявших новаторство, в котором видели низкопоклонство перед буржуазией³⁸. Для обоснования преследований литераторов в условиях постоянно изменявшейся линии партии были созданы разнообразные ярлыки, которые позволяли негативно оценить практически любую стратегию изображения реальности. В итоге появились произведения, в которых действовали ходульные персонажи. Возникла симулируемая реальность, описываемая на «новоязе» или «канцелярите» – языке бюрократической номенклатуры, призванном забалтывать проблемы, скрывая противоречия жизни³⁹. Важной стратегией изображения реальности было нормативное забвение. Так, А.П. Гайдар в повести «Тимур и его команда» (1940) не пишет, почему сады в дачном поселке военных оказались запущенными,

³⁸ Иванов В. Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы. М., 1953. С. 16, 62, 196; Усиевич Е. Пути художественной правды. М., 1939.

³⁹ Медведев С. СССР: деконструкция текста (К 77-летию советского курса) // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 3. Россия как идея. М., 1996. С. 315–346.

а в романе П.А. Павленко «Счастье» (1947), изображающем жизнь переселенцев в послевоенном Крыму, ни слова не сказано о том, что крымско-татарское население было выслано⁴⁰. Так же трансформировалась реальность в советском кино, развивавшемся под воздействием голливудских образцов, в оптимистической и сентиментальной советской песне. «Нация партийных газет и кинофильмов» жила в боваристском мире грез, помогавших забыть тяжелую действительность с ее несправедливостью, эксплуатацией, дефицитом. Советская культура породила особый привлекательный, во многом фантастический мир, идентифицироваться с которым стремятся до сих пор.

Метод социалистического реализма оказал влияние на описание участия СССР во Второй мировой войне. Начальная ее часть, связанная с «Договором о ненападении» (август 1939 г.), с секретным протоколом о включении Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши в зону интересов СССР и «Договором о дружбе и границе» (сентябрь 1939 г.) с уточнением границ с гитлеровской Германией, захватом восточно-польских земель, выдачей бежавших с Запада евреев и антифашистов немецкой стороне, ограничением критики нацизма была частично засекречена, подвергнута нормативному забвению и никогда не упоминалась в связи с Великой Отечественной войной. Так стали именоваться только события, относящиеся к периоду после вторжения Германии на территорию СССР в 1941 г. Эта связь прослеживается лишь в наименовании на-падения Германии как «вероломного». Описание последующих событий Второй мировой войны связано у И.В. Сталина, создавшего концепцию истории Великой Отечественной войны с заметными колебаниями идентичности. Историческая память и возможности альтернативной идентичности были расширены до пределов идентичности с героями Древней Руси и Российской империи, но в противоречии с ней связаны с определением войны как оборонительной и освободительной (в отличие от Германии, которая ведет империалистическую войну и тем уподобляется дореволюционной России). В реабилитированном на время цивилизационном дискурсе история войны представляла как борьба против «возврата к дикости и средневековым зверствам», против сил, которые «поставили человечество и его цивилизацию на край гибели». В невозможном ранее панславистском дискурсе война трактовалась как завершающая страница «борьбы славянских народов за свое существование и свою независимость». Вслед за реабилитацией Русской православной церкви и дистанцированием от интернациональной про-

⁴⁰ Павленко П.А. Счастье. М., 1947.

летарской идентичности, после изменения государственного гимна возникла фантастическая в постреволюционную эпоху идентификация с «демократическими державами», в основе которой лежат «жизненно-важные и длительные интересы»⁴¹. Это можно определить как беспринципные презентистские игры с исторической памятью и идентичностью. Создается впечатление, что Сталину было важно лишь то, идентифицируется ли гражданин с ним лично. Другие формы идентичности (государственные, этнокультурные, цивилизационные, демократические) были для него расходным материалом.

По методу социалистического реализма создавались исторические произведения, целью которых было перестроить старую интернациональную государственную идентичность на этнокультурный лад. Так, А.М. Панкратова в книге «Великий русский народ» (1948) собрала все, что марксист может сказать хорошего о русских и их отношениях с другими народами. История русских несколько дистанцируется от формационной риторики, ассоциируется с «подлинной цивилизацией», «защитой передовых достижений мировой цивилизации» и противопоставляется «варварству» разного рода захватчиков. Провозглашается, что русскому народу «всегда были чужды великодержавные устремления», свойственны «беспредельная любовь к Родине», патриотизм и интернационализм⁴². Соответственно, на первый план выходит создание русского государства в борьбе с татаро-монголами и немецкими феодалами, развитие русской культуры и науки, их распространение на другие регионы империи, революционное движение и Октябрьская революция, строительство социализма в СССР, победа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем обойдена внешняя политика Российской империи, ее завоевательные войны (хотя войны, которые можно представить как оборонительные, и фигуры полководцев П.А. Румянцева, А.В. Суворова, М.И. Кутузова в ней присутствуют). На образы этих полководцев перенесена риторика, ранее относившаяся только к героям классовой борьбы; военные противопоставлены царю и дворянам-помещикам, противодействовавшим будто бы партизанской войне 1812 года⁴³.

После смерти И.В. Сталина в 1953 г. вдруг выяснилось, что установившиеся формы исторической памяти и политической идентичности не соответствуют задаче передачи власти в государстве. Они препятствовали преобразованиям во внешней и внутренней политике,

⁴¹ Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1948. С. 27-28, 40, 45, 72-73, 164-165, 193, 203.

⁴² Панкратова А.М. Великий русский народ. 2-е изд. М., 1952. С. 5, 7, 227.

⁴³ Там же. С. 29-35.

преодолению ошибок и преступлений предшествующего режима, не оставляли места для общественного диалога по актуальным вопросам, обостряли межнациональные отношения. Между тем недовольство уровнем жизни, последствиями плановой экономики и колхозного строя стали высказывать рабочие (в ГДР, 1953 г.; Венгрии, 1956 г.; на юге России, 1962 г.), которые считались опорой государственного строя. Это вынудило дистанцироваться от старых форм идентичности с персоной Сталина, осудить «культ личности», а также репрессии против коммунистов, разрушить его многочисленные памятники, вычеркнуть восхваления Сталина из учебников истории и подвергнуть цензуре учебники по истории и литературе, беллетристику, фильмы. Но все это касалось лишь «летописной» составляющей исторической памяти. «Мифологическая» ее составляющая осталась нетронутой и даже не развивалась. Базовые идеи мифологии «Краткого курса» воспроизводились и транслировались в вузовских учебниках по истории КПСС, несмотря на исчезновение восхвалений И.В. Сталина⁴⁴.

Попытки их ревизии молодыми историками, идентифицировавшими себя не с властью, а с мировым освободительным движением, породили «университетское дело» 1957–58 г., в результате которого члены подпольного «Союза патриотов»: секретарь комитета ВЛКСМ истфака МГУ Л.Н. Краснопевцев, Л.А. Рендель, Н.Г. Обушенков, М.А. Чешков, Н.Н. Покровский и др., пытавшиеся в рамках формационного подхода пересмотреть историю революционного движения в России, экономическую политику Сталина и роль партийно-хозяйственной номенклатуры, подверглись суду и репрессиям, были осуждены на длительные тюремные сроки⁴⁵. Эта тенденция продолжала существовать на протяжении всего советского периода: в 1968–1973 гг. попытки пересмотра догматических представлений о сущности исторического знания, соотношении формации и цивилизации, экономики и культуры, о социально-экономическом строе дореволюционной России, гегемонии пролетариата в революции, сущности коллективизации породили проблемы у крупнейших историков совет-

⁴⁴ История Коммунистической партии Советского Союза // Под ред. Б.Н. Пономарева. М., 1959–1985; Бухараев В.М. Вузовский учебник по истории КПСС как идеологический текст «третьего» большевизма // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2009. Т. 151. Кн. 2. Ч. 2. С. 219–220.

⁴⁵ «Дело» молодых историков (1957–1958 гг.) // Вопросы истории 1994. № 4. С. 118. С группой соприкасались также крупные историки А.В. Адо, Н.Я.Эйдельман, Л.А. Гордон и др. – Сергеев В.Н. «Университетское дело»: формирование оппозиционных взглядов группы Л. Краснопевцева – Л. Ренделя // URL: http://mkonf.iriran.ru/papers.php?id=69#_ednref18.

ского периода, таких как М.Я. Гефтер, А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, М.А. Барг, В.П. Данилов, П.В. Волобуев и др.⁴⁶

Механизм формирования идентичности оставался прежним, так как сохранялся персональный идеал или архетип идентичности, культ личности Ленина, который, как всем было известно «всегда с тобой... в тебе и во мне»⁴⁷. Поэтому у всех советских руководителей после Сталина рано или поздно также начинал формироваться культ личности, а история перекраивалась так, чтобы лучше оттенить их подвиги. Особенно ярок был культ Л.И. Брежнева просто потому, что он правил дольше всех. Поскольку руководители того времени так или иначе были связаны не с Гражданской, как Сталин, а с Великой Отечественной войной, именно из ее истории стали конструировать базу для исторической памяти. В этом приняли участие многие «игровисты» (создатели многотомной «Истории гражданской войны»), и она писалась по тем же принципам. В ее основе лежала сталинская концепция войны. История создавалась под надзором начальника ГлавПУРа СА и ВМФ А.А. Епишева, который был противником упоминания о неудачах РККА и вопрошал: «Кому нужна ваша правда, если она мешает нам жить?»⁴⁸. При этом каждой эпохе советских вождей соответствовал свой вариант интерпретации войны: во времена Н.С. Хрущева больше внимания уделялось неоправданному доверию Сталина к Гитлеру, катастрофическому началу войны и партизанскому движению, в печать проникали некоторые нестандартные воспоминания о войне⁴⁹, во времена Брежнева возникли запрет на «смакование недостатков», ориентация на частичную реабилитацию Сталина, создание мифа о войне, традиция празднования Дня Победы, прославление эпизода на Малой земле (южнее Новороссийска), в котором участвовал Брежнев, многочисленные эпопеи, мемориальные комплексы в память о войне, ставшие едва ли не главными символами эпохи. В условиях ослабления идейных опор брежневского режима история войны стала играть роль «мифа основания» для советского государства⁵⁰. Фильмы

⁴⁶ Бухараев В.М., Жигунин В.Д. «Замещённое» сознание: историческая мысль против моноидеологии (60–80-е годы XX века) // Россия в XX веке: Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 552–563.

⁴⁷ Слова Л. Ошанина, 1955. URL: http://levoshanin.ru/L/Lenin_vsegda_s_toboy/; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 95.

⁴⁸ Воронов В. Русские не сдаются // Совершенно секретно. 2009. № 8/243 (<http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2269>).

⁴⁹ Белов П.А. За нами Москва. М., 1963; Горбатов А.В. Годы и войны. М., 1965.

⁵⁰ Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015. С. 88; Gill G. Sym-

и телепередачи о Великой Отечественной войне сыграли большую роль в формировании «телевизионной нации», еще более манипулируемой, чем газетная. Официальной памяти о войне противостояла неофициальная контрпамять и движение поисковиков, ставившее целью опознание останков советских солдат, миллионы которых остались брошенными на территории страны.

Ослабление персональной идентификации с первым лицом, распространение анекдотов о руководителях, некоторое ослабление режима фальсификаций и цензуры, расширение круга доступных источников привели к тому, что гражданская, групповая и этнокультурная память и идентичности стали оживляться. Произошло «расширение идентичности», которое Э. Эриксон считал путем преодоления негативной и спутанной идентичности⁵¹. Сначала это сказало на поэзии, скульптуре, живописи, музыке, традициях модернизма и авангардизма. Возникли «крестьянская» и «городская» проза, эмоционально раскрывавшие трагедии раскулаченных и подневольных крестьян и интеллигенции в сталинскую эпоху, «лейтенантская», или «окопная» проза и поэзия, впервые показавшие войну с точки зрения солдата, а не генерала (что презрительно обозначалось горьковской цитатой «кочка зрения»). Национальная проза поставила вопрос об утрате этнокультурной памяти («манкуртах»)⁵². Появление магнитофонов и бардовской песни породило «магнитофонную нацию», отчасти сближавшуюся с дворовой и прибалтийской культурой и лагерной контрпамятью. Голосами эпохи стали А.А. Галич, Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, Ю.И. Визбор. Апофеозом были распространяемые через некоторые журналы и машинописный самиздат истории жизни ГУЛАГа. Поскольку партийная власть на диалог не шла, советская идентичность стала распадаться. Снижение темпов роста производства на фоне завышенных ожиданий от обещания построить коммунизм к 1980 году и последующих решений «исторических съездов КПСС» практически лишили власти возможности выноса решения проблем в будущее. Им мало кто верил. А. и Б. Стругацкие прошли путь от утопии до антиутопии за пять лет⁵³.

Появилось движение диссидентов, которые идентифицировали себя с демократическим содержанием Конституции СССР и требовали ее выполнения. В их отношении применялись карательные меры,

bols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge, 2011. P. 198-199; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 102-105.

⁵¹ Эриксон Э. Указ. соч. С. 327.

⁵² Айтматов Ч.Т. И дольше века длится день // Новый мир. 1980. № 11.

⁵³ Стругацкий Б. Комментарий к пройденному. СПб., 2003. С. 94, 99.

в разработке которых срабатывала логика «двойного послания». «Человек, пойманный в ситуацию *double bind*, рискует подвергнуться наказанию за правильное восприятие ситуации, – пишет С.П. Поцелуев, – и, сверх того, быть охарактеризованным как коварная или сумасшедшая личность, если он отважится утверждать, что между его фактическими восприятиями и тем, что он “должен” воспринимать, имеется существенное различие»⁵⁴. Именно в этой логике действовала карательная психиатрия, называвшая психической болезнью «извращенную» интерпретацию законов и конституции, протесты против всевластия государства. Сами диссиденты не идентифицировали себя с властью и, соответственно, не оправдывали своих палачей, как при Сталине, но для населения, идентифицировавшего себя с институтами власти⁵⁵, их характеристика как умалишенных казалась приемлемой.

На 1960–1970-е гг. пришелся новый период информализации поведения, теперь уже в глобальном масштабе, связанный с массовым студенческим движением и с настоящей революцией в культуре, особенно в музыке. Созданный тогда на волне формирования общества потребления глобальный мир оказался столь ярким и привлекательным, что движение стилиг в СССР, бывшее в 1950-е гг. маргинальным, стало массовым и к нему пришлось приспособляться даже органам КПСС. Однако пределы политике адаптации к современной культуре ставило распространение революционного движения на социалистический лагерь, в частности, Пражская весна, немногим уступавшая, по значению для СССР, судьбоносному Парижскому маю 1968 г.⁵⁶ Изменения в культуре были настолько мощными и долговременными и породили столь сильную инерцию, что западным социологам стало казаться, что периоды реформализации на Западе – лишь временные и незначительные зигзаги на восходящей спирали процесса информализации⁵⁷. Отчасти так и было даже в социалистическом лагере. Отзвуки Пражской весны в Восточной и Южной Европе не замолкали до 1980-х, вызывая страх у партийного начальства и впервые за советскую эпоху трансформировав молодежный код поведения и чувствования таким образом, что комсомольские активисты и карьеристы оказались изгоями. Это обрекало советскую про-

⁵⁴ Поцелуев С.П. Указ. соч. С. 10.

⁵⁵ Там же. С. 12.

⁵⁶ 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977 / Ed. by M. Klimke, J. Scharloth. N.Y., L., 2008; Marwick A. The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States. 1958–1974. N.Y., 1998.

⁵⁷ Wouters C. Op. cit. P. 181, 186, 217.

паганду на оборонительную позицию и сусловскую идеологическую невнятицу, полностью оторванную от реальности. Номенклатура заинтересовалась перспективами дележа государственной собственности еще до перестройки. «Неформальный лидер», «сильный неформал» стало в 1980-х гг. высокой оценкой даже в партийных комитетах. Молодежь увлекалась историей рок-музыки гораздо больше, чем историей революции и даже Великой Отечественной войны. Именно это прошлое формировало память и идентичность. И лекции по истории рок-музыки читали даже те, кто защищал докторские диссертации по истории ленинианы. Это было выгодно.

Последние тридцать лет развития исторической памяти и идентичности наименее изучены, а потому их анализ будет достаточно субъективным. Представляется убедительной интерпретация этих событий как «номенклатурной революции» («второй русской революции номенклатуры»), по определению социолога О.М. Крыштановской⁵⁸. Это ясно из того, кому перешла власть в результате горбачевских (1985–1991) преобразований. Победителем стала государственно-партийная бюрократия, разочаровавшаяся в возможностях коммунистической партии и советской власти как надежного социального лифта, гарантирующего безнаказанность, как инструмента обогащения, обеспечения привилегиями, передачи власти и собственности по наследству, гаранта высокого международного статуса, и желавшая реформировать или, при случае, сменить государственный и общественный строй на более эффективный и пригодный для ее целей. «Кадровая мясорубка» М.С. Горбачева ударила прежде всего по старой элите, породила среди номенклатурной молодежи революцию ожиданий, которые подорвало падение цен на нефть и экономический кризис⁵⁹.

На этапе движения к приватизации, превращения казарменного социализма в демократический и проведения либеральных реформ номенклатуре было выгодно максимально расшатать старые коммунистические представления, торпедировав сложившуюся историческую память и основы национального единства, и обосновав при помощи либеральных ценностей необходимость восстановления демократического государственного строя и частной собственности, а значит, и возможность конвертировать собственную власть в собственность. «Телевизионная нация» легко перестроилась с триумфалистской на критическую ориентацию передач. Уже в конце 1980-х – начале 1990-х гг. перестройка дала возможность номенклатуре выстро-

⁵⁸ Крыштановская О.М. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // *Общественные науки и современность*. 1995. № 1. С. 60.

⁵⁹ Там же. С. 53-54.

ить футуристский режим историчности, идентифицировать себя с западными элитами и давать обещания народу: появились лозунги ликвидации административно-командной системы, гуманизма и обращения к культурному наследию, перехода к демократическому социализму, восстановления роли советов, прогрессизма и универсализма («Европа от Атлантики до Урала») и т.п. Наделение советских символов новыми смыслами расшатало советский метанарратив⁶⁰. На его место выходили новые понятия, сформированные в рамках контрпамяти инакомыслящих. У религиозных и светских диссидентов оформилась уже альтернативная коммунистической протестная память и идентичности, которые стали транслироваться средствами массовой информации. Большое влияние оказало взаимодействие с исторической контрпамятью эмиграции в таких ее разновидностях как монархическая, либеральная, националистическая. Это подрывало не только власть коммунистической партии, но и целостность СССР.

Рост этноконфессионального единства в рамках союзных республик ставил границы на путях развития единой политической нации СССР. Этническая память и солидарность стали доминировать над государственной, особенно по мере того, как местная номенклатура почувствовала возможность опереться на экономические требования народа и выйти из-под власти слабеющей номенклатуры центра. Это проложило дорогу к распаду СССР и «параду суверенитетов» внутри России (как параду неприрученных памятей и идентичностей). Но эту цену номенклатуре пришлось заплатить «не глядя», как и большевикам в 1917 г. Это была цена удержания власти.

II. Память и идентичность в постсоветской России

Распад СССР означал серьезный кризис национальной идентичности в России. Надо было преодолеть аномию, усиленную экономическим кризисом, выстроить новый образ постсоветского человека. Возникла потребность в том, что Дж. Вертш и М. Сомерс назвали «национальным нарративом»⁶¹. На первый план стали выдвигаться презентизм и пассеизм, внимание к духовной традиции и эмиграции как ее законному носителю. В новый национальный пантеон вошли деятели Серебряного века, наименее скомпрометированные и наиболее пострадавшие коммунисты, а затем цари-реформаторы и

⁶⁰ Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 115-128, 264; Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 36.

⁶¹ Порус В.Н. Обжить катастрофу. Современные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии. 2005. № 11. С. 24-36; Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 6. О последствиях аномии см. также: Щербакова Е.М. Нарконашествие в России. О чем говорит статистика // Социологические исследования. 2004. № 1. С. 70-75.

либералы из контрреволюционного и эмигрантского лагеря, такие как Екатерина II, Александр II, Н.И. Бухарин, А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, А.И. Деникин, Н.А. Бердяев. Государство пыталось утвердить свое отличие от России дореволюционной и социалистической в качестве «новой России», занять собственную, либеральную и демократическую, правовую позицию по отношению к событиям прошлого («трудное тоталитарное прошлое», «традиции народоправства»). Появилось новое обращение, апеллирующее к гражданской нации: «дорогие россияне». Была проведена деидеологизация исторического образования, введен в практику преподавания истории в школе целый ряд учебников по истории России, рассматривавших альтернативы ее развития, анализировавших ее с разных позиций и способствовавшие развитию диалога учащихся по поводу исторической памяти и идентичности⁶². По этому поводу шутили, что «прошлое стало непредсказуемым». Развитие получили неправительственные организации в области исторической памяти и публичной истории, изучавшие историю политических репрессий в СССР и занимавшиеся правозащитной деятельностью («Мемориал»), новые демократические коммеморации. Так, важными датами пытались сделать День независимости (принятия Декларации о суверенитете) России 12 июня, День Государственного флага РФ 22 августа, День примирения и согласия 7 ноября. Наряду с этим возникли вопросы о выносе тела В.И. Ленина из Мавзолея, суде над КПСС. Но отношение населения к этим праздникам и мероприятиям было неоднозначным. Заменить лозунг «национальной славы» признанием «коллективной травмы» оказалось затруднительным⁶³.

В историческом знании появилась тема «белых пятен» истории и борьбы с ними, а также исторических альтернатив. Из-за открытия архивов взрывообразно увеличился корпус исторических источников: произошла «архивная революция». Это подхлестнуло журнальный бум конца 1980-х – начала 1990-х гг., теперь стало можно говорить о «журнальной и телевизионной нации». Формационное историческое сознание, ориентированное на детерминизм и познание законов истории, стало сочетаться с цивилизационным, тоже метафизическим, связанным с философией истории и ориентированным в то время прежде всего на либеральную критику исторического опыта страны, а также с историей ментальностей и микроисторией, понима-

⁶² Огоновская И.С. Указ. соч. С. 270; *Educational Reform in Post-Soviet Russia: Legacies and Prospects* / Ed. by B. Eklof, L.E. Holmes, V. Kaplan. L., N.Y. 2005.

⁶³ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 48-143. См. также: Mock S. *Symbols of Defeat in the Construction of National Identity*. N.Y., 2012.

емой как история неконформистов, способных противостоять норме, порождать новые нормы и тем самым создавать новое общество⁶⁴. Это было время осознания и обсуждения острых экономических, социальных, этнонациональных и религиозных проблем, порожденных властью коммунистов, возрождения памяти о забытых героях и мучениках, репрессированных народах и конфессиях. Эта память стала новой основой для горизонтальной солидарности. Возрождались семейная память и устная история о репрессированных предках.

Пик номенклатурной революции пришелся на начало 1990-х гг. Номенклатуре еще при М.С. Горбачеве была предоставлена привилегия на получение прибыли, что помогло оформиться этому «классу»⁶⁵ как сословию, имеющему скрытые, неправовые преимущества, и стать основой для российского и местного псевдокапитализма (или государственного капитализма)⁶⁶. Новая элита сформировалась при Б.Н. Ельцине, когда началось ее цементирование или оукливание («закрытие») в результате прекращения деятельности Верховного Совета РФ и введения новой конституции РФ. В результате «партия начальников», как бы она не называлась, стала побеждать на думских и местных выборах. К 1994 г. из состава новой российской правящей элиты около трети приходилось на тех, кто в 1988 г. состоял в номенклатуре ЦК КПСС, а две трети пришли в нее с должностей заместителей руководителей, начальников подразделений в советских министерствах, ведомствах, на предприятиях. Пребывание в «старой» номенклатуре для элиты времен Ельцина составляло в среднем 11,5 лет. Так произошла «революция заместителей или вторых лиц»⁶⁷. В этой системе либералы не чувствовали себя самостоятельной силой, они идентифицировали себя не с обществом, а с властью, превратившись в новую номенклатуру. «Молодые реформаторы» (из бывшей команды Е. Гайдара) воспринимали себя не как орган артикуляции или

⁶⁴ Ахиезер А.С. Указ. соч.; Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2-3. С. 21-36; Цивилизационная память и идентичность порождали разные оценки. См.: Зверева Г.И. Цивилизационная специфика России: дискурсивный анализ новой «историософии» // Общественные науки и современность. 2003. № 4. С. 98-112; Scherrer J. Kulturologie: Russland auf der Suche nach einer zivilisatorischen Identität. Göttingen, 2003; Russia: A Divided Civilization? / Ed. by J. Bradley // Russian Studies in History. 1997. Vol. 36. No 1.

⁶⁵ Джилас М. Новый класс. Нью-Йорк, 1961; [Восленский М.] Класс господствующий и обреченный // Посев. 1984. № 11. С. 28-33.

⁶⁶ Крыштановская О.М. Указ. соч. С. 55-59.

⁶⁷ Там же. С. 59, 64. Елисеева Н.В. Революция как реформаторская стратегия перестройки СССР: 1985–1991 годы // Гефтер. 27 февраля 2013 г. С. 51-65 (<http://gefeter.ru/archive/7823>); Самоидентификация российской элиты. 2007 // Никитский клуб (<http://www.nikitskyclub.ru/article.php?idpublication=4&idissue=36>).

представительства гражданского общества (последнего в России, можно сказать, и не было, во всяком случае как политического феномена), а в качестве кадрового ресурса или запаса для высшего руководства, которое выступало самостоятельной величиной», – писали Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин⁶⁸. Это была форма зависимой идентичности, превращавшая реформатора в объект манипуляций. Не случайно, что за приватизацией экономики в XXI веке последовало ее быстрое огосударствление. Элитой вновь стала чиновная номенклатура и менеджеры «естественных» государственных монополий.

Однако эту революцию государственники не без оснований называют также «криминальной»⁶⁹. Среди номенклатуры всегда были «мутанты», соединявшие официальную и нелегальную деятельность и пользовавшиеся неизбежными «прорехами» в плановой экономике. Привилегии номенклатуры 1990-х гг. открыли дорогу для прямого сращивания криминала с элитой. «Если в условиях общества со слабыми традициями самоорганизации, но в то же время с сильными традициями государственного патронажа возникает вакуум легитимной власти, то его заполняет власть криминальная и полукриминальная», – писал А.В. Кива⁷⁰. «В России коррупция уже давно стала не только своеобразной нормой, но и составной частью практик в политике, экономике и общественной жизни», – продолжает ту же мысль В.Л. Римский⁷¹. Это сходно с процессами в Латинской Америке, в частности, в Мексике. «Приватизация в России настолько связана с коррупцией, причем не только в качестве “первородного греха”, но и функционально, писала Т.М. Ворожейкина, – что любая реальная, а не показательная, попытка отделения власти от собственности будет таить смертельную угрозу для существующего режима... [что] закрепляет традиционную для России модель формально централизованной, но фактически частной власти»⁷². В этих условиях размывается граница между идентичностью преступника и полицейского, а то и судьи, мэра, губернатора. В 2001 г. 80% доходов полицейского приходилось на коррупцию. В ходе проведения

⁶⁸ Гудков Л., Дубин В. Российские выборы: время «серых» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 2. С. 18.

⁶⁹ Говорухин С.С. Великая криминальная революция. М., 1993. 126 с.

⁷⁰ Его тезис: «криминализация» демократической революции. Кива А.В. Криминальная революция: вымысел или реальность? // Общественные науки и современность. 1999. № 3. С. 25-37. С. 31, 34-35.

⁷¹ Римский В.Л. Бюрократия, клиентелизм и коррупция в России // Общественные науки и современность. 2004. № 6. С. 68-79. С. 69.

⁷² Ворожейкина Т.М. Государство и общество в России и Латинской Америке // Общественные науки и современность. 2001. № 6. С. 24.

судебной реформы, по словам В.Л. Римского, «российские судьи стали в большей степени ориентироваться на интересы и приоритеты тех, кто обеспечивает им высокий уровень благосостояния, а не на закон»⁷³. Формируются разнообразные спутанные формы идентичности, что можно считать отдаленным результатом интеграции «социально близких» легальных и нелегальных «силовики», начатого еще в 1946–1956 гг.⁷⁴ Не случайно экономические результаты деятельности такой элиты трудно было бы назвать положительными, если бы не подъем цен на нефть и газ.

Историк Н. Попов, анализируя данные опросов общественного мнения, отмечал в 1998 г.: «Разгул преступности... [и] всеобщая коррумпированность чиновников привели не только к девальвации демократических ценностей, но фактически создали в России новую массовую криминальную культуру»⁷⁵. Носители этой культуры тихо презируют литературный («правдивый и свободный») русский язык как язык «лохов», в котором отсутствует силовая составляющая, что качественно отличает его от блатной фени как инструмента столкновения реальных сил и выяснения материальных интересов. Она использует литературный язык как «отмазку», декоративное обрамление жаргонного ядра силовой коммуникации для организации «подстав», «разводок» и «наколок», а также «наездов», «разборок» и «перевода стрелок», во имя утверждения права и правды сильного⁷⁶. Она несет миру двойное послание, воплощенное в образе Данилы Багрова (из

⁷³ Дубова А.Е., Косалс Л.Я. Включенность российских полицейских в теневую экономику // Отечественные записки. 2012. № 2 (47). С. 177; Римский В.Л. Судебная власть и взятки // Там же. С. 162; Он же. Правосознание и профессиональное поведение российских судей. 2017. № 4. С. 45-59; Пастухов В.Б. Предчувствие гражданской войны. От «номенклатуры» к «клептоклатуре»: взлет и падение «внутреннего государства» в современной России // Полис. 2011. № 6. С. 143-159.

⁷⁴ Козлов В.А. Социум в неволе: конфликтная самоорганизация лагерного сообщества и кризис управления ГУЛАГом (кон. 1920-х – нач. 1950-х гг.) Ст. 1, 2 // Отечественные науки и современность. 2004. № 5. С. 95-109; № 6. С. 122-136.

⁷⁵ Цит. по: Кива А.В. Указ. соч. С. 35. (Независимая газета. 1998. 6 августа). См. также: Тайбаков А.А. Преступная субкультура // Социологические исследования. 2001. № 3. С. 90-93; Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002; Катин В.И. Криминальный романтизм как явление культуры современной России. Дисс... канд. культурологии. Саратов, 2007. 196 с.

⁷⁶ Этику криминального мира характеризует В.Т. Шаламов: «Ложь, обман, провокация по отношению к фраеру, хотя бы к человеку, который спас блатара от смерти, – все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон». Шаламов В. Несколько моих жизней: проза, поэзия, эссе. М., 1996. С. 191. См. также: Мильяненко Л.А. По ту сторону закона: Энциклопедия преступного мира. СПб., 1992; Анисимков В.М. Тюрьма и ее законы. Саратов, 1998; Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона. В 2-х т. М., 1997.

фильмов «Брат» и «Брат-2»), созданном в стремлении преодолеть постсоветский кризис идентичности. У Багрова «сила... – в правде», где правда – это то, носителями чего являемся исключительно «мы», а никак не «они», что существует вне правового поля и радикально противостоит чужим интересам⁷⁷. Стремление населения идентифицироваться с этой культурой как формой преодоления аномии сочетается в России с ростом чувства незащищенности и массовой тревожности, в частности, перед ростом преступности, с отчужденностью и криминализацией чиновничества, что представляет проблему для интеграции российской нации и обеспечения доверия к власти⁷⁸.

Дальнейшей трансформации исторической памяти способствовало возвращение тенденций к реформализации в мире в 1980-е гг. и оживление имперского синдрома. Они были усилены превращением США в единственную сверхдержаву⁷⁹. Крупные историки, политологи и экономисты Англии и США, как консерваторы, так и либертарианцы, такие как Н. Фергюсон, Р. Купер, С. Курц, Д. Лал, С. Маллаби, М. Бут, М. Игнатъевф, стали отстаивать мысль об особой миссии западных империй по поддержанию мирового порядка и воплощению идеи прогресса, если не по созданию современного мира как такового⁸⁰. Глобальное историческое сознание соединяется у них с национальным через «упрямую ностальгию» по империи и «индустрию наследия», утверждающую ценности национальной культуры перед лицом глобализации. В этом контексте исторический релятивизм теряет свое значение, уникальная национальная идентичность приобретает вневременной характер и помогает легитимизировать современную политику (что позволяет определить режим историчности эпохи как презентизм с налетом пессимизма), оправдывается идея сегрегации, а идеал колониализма как формы культуртрегерства все чаще кажется предпочтительнее идеала независимости⁸¹. Все большую поддержку населения стали получать ультраправые,

⁷⁷ Тимофеев М.Ю. Новый русский герой на randevу с Америкой (этнокультурная семантика стереотипов маскулинности в фильме А. Балабанова «Брат-2») // Женщина в российском обществе. 2002. № 2-3. С. 56-62. С. 57-59.

⁷⁸ Иванова В.А., Шубкин В.Н. Массовая тревожность россиян как препятствие интеграции общества // Социологические исследования. 2005. № 2. С. 22-28; Седова Н.Н. Массовые тревоги и личные страхи россиян // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 1(10). С. 135-155.

⁷⁹ Wouters C. Op. cit. P. 186.

⁸⁰ Saccarelli E., Varadarajan L. Imperialism Past and Present. N.Y., 2015. P. 12, 201; Фергюсон Н. Империя: Чем современный мир обязан Британии. М., 2013; Д'Суза Д. Америка: Каким мир был бы без нее? М., 2015.

⁸¹ Reynolds D. One World Divisible. A Global History since 1945. L., 2000. P. 217, 478, 656.

полуфашистские партии, появились президенты с антимигрантской, расистской, эксклюзивистской риторикой.

Россия сталкивается с похожими тенденциями со второй половины 1990-х гг. и особенно в 2010-х гг. Экономические трудности, вызванные разрушением промышленности и сельского хозяйства, борьбой с «парадом суверенитетов» в 1990-е гг., а также война в Чечне способствовали смене вектора общественной мысли. На первый план стали выходить проявления авторитарной личности, государственных и националистических версии исторической памяти, интерпретируемые как патриотические. Население идентифицировало себя с институтами, которые меньше всего были связаны с современными процессами и ценностями (церковь, армия), и не доверяло институтам, которые должны были обеспечивать функционирование гражданского общества⁸². Еще в конце правления Б.Н. Ельцина был фактически сорван суд над КПСС, возник запрос на создание новой «русской идеи», Россия была объявлена государством-преемником СССР, к 50-летию Победы возник постсоветский ритуал ее празднования (ежегодные парады, Красное Знамя Победы как символ)⁸³.

Реформализация, которая привела к реанимации имперских и линейно-иерархических моделей истории в Западной Европе и США, признанию превосходства человека Запада, как показал венгерский политолог А. Мелех, обострила в Центральной и Восточной Европе, а также в России раскол на противостоящие радикальные группы, одна из которых принимает подчиненное место по отношению к Западу, идентифицируя себя с ним («западники»), а другая, значительно большая, воспринимает эту ситуацию как роль жертвы, не соглашается с ней и планирует националистический или имперский реванш («патриоты»)⁸⁴. Ситуацию усложняет психологическая зависимость основной массы российских элит от мод, технологий, стандартов потребления Запада, их стремление соответствовать его нормам потребления и имитировать поведение его элит как слоя, с которым они хотели бы идентифицировать себя, создать «западную жизнь на русский манер», если не повезет – в России, если повезет – далеко за ее пределами. Это порождает зависимое, двойное сознание, спутанную идентичность и превращает признание и снисходительность Запада к «новым русским» в невротизирующее, разрушительное двойное послание⁸⁵.

⁸² Гудков Л., Дубин Б. Конец 90-х годов: затухание образцов // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 1. С. 22.

⁸³ Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 130-136; Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 179.

⁸⁴ Melegh A. Op. cit. P. 29-30, 168, 183, 187.

⁸⁵ Пастухов В.Б. От номенклатуры к буржуазии: новые русские (I) // Политические исследования. 1993. № 2. С. 49-56.

«Это двойное сознание, – писал У. Дюбуа, – своеобразное чувство, ощущение того, что постоянно смотришь на самого себя глазами других, измеряешь душу меркой мира, который смотрит на тебя с насмешливым презрением и жалостью... [что] направляет на ложные пути спасения, а порой... заставляет стыдиться самих себя»⁸⁶. На эту зависимость опирается боваристское, искаженное самосознание элиты, которую, как писал Н. Элиас, «никогда не отпускает чудовищное напряжение... имитация не удастся – чуждость дает себя знать». Вместо уверенности и гармонии элита обретает «специфические формы стыда и подчиненности... необоснованную претенциозность, неуверенность в своем поведении... [заметны] проявления “китча”.. в человеческих душах... фальшь и бесформенность поведения... за этими попытками стоят истинная нужда и подлинное стремление к выходу из подчиненного положения»⁸⁷.

Наблюдательный и остроумный актер С.Ю. Садалский в «Живом журнале» отмечает сочетание в «новых русских» чувств зависимости и агрессии по отношению к загранице: «Русский за границей хочет быть похожим на иностранца... Русский за границей очень любит словесно “пытаться опустить” страну, где он пребывает, так как очевидно замечает разницу, а признаваться в очевидном ни себе ни другим – не хочется... Страну пребывания русский всегда считает враждебной»⁸⁸. Психологические процессы в постсоветской России очень напоминают ситуацию в средних слоях афро-американцев США или среди умеренных исламистов, которым свойственны подобные сознание и идентичность⁸⁹.

Зависимое сознание открывает возможность для разрушительного воздействия на сознание новых российских элит западных двойных посланий. Во внешней политике исследователь этого феномена П.С. Поцелуев находит сходство положения Веймарской Германии и современной России «в ситуации *double bind*, в которой оказалась и Германия после 1918 г., и Россия после 1991-го. Германии в свое время был обещан “справедливый мир”, обернувшийся беспрецедентным национальным унижением. России тоже было обещано достойное “возвращение в цивилизацию”, а на деле с ней

⁸⁶ DuBois W.E.B. Op. cit.

⁸⁷ Элиас Н. Указ. соч. С. 309.

⁸⁸ Садалский С. Как отличить русского за границей (Из госдеповской газеты) // Живой журнал (<https://sadalskij.livejournal.com/2589071.html>)

⁸⁹ Lyubansky M., Eidelson R.J. Revisiting Du Bois: the Relationship Between African American Double Consciousness and Beliefs About Racial and National Group Experiences // Journal of Black Psychology. February 2005. Vol. 31. № 1. P. 5–7, 22; Цит. по: Базиян Х. Указ. соч.

обошлись как со страной, проигравшей (холодную) войну. Вместо нового “плана Маршалла” российское население пережило “шоковую терапию” и внешнее управление МВФ. Его руководство оговаривало выдачу кредитов такими социально-политическими условиями, которые в тенденции консервировали статус “новой России” как зависимой страны со слабой экономикой, низким интеллектуальным потенциалом, стратегически неконкурентоспособной. Это “участие” в судьбе побежденного противника сопровождалось примерно такими же деструктивными процессами, что и в Германии 20-х годов: массовой безработицей, гиперинфляцией, тотальной деморализацией, криминализацией и люмпенизацией общества, разрушением систем здравоохранения, образования и безопасности. Так же, как и Веймарская Германия, постсоветская Россия оказалась перед реальной угрозой распада государственности и прихода к власти радикальных сил ультралевого или ультраправого толка»⁹⁰.

Российская власть пытается перехватить у Запада инициативу, навязать ему собственные двойные послания («наши партнеры»), сделать его самого объектом манипуляций. В результате, в США и России рождаются сходные неоимперские модели мира⁹¹. Этот ответ С.П. Поцелуев считает наиболее рациональным и характеризует как «стратегическое позиционирование». «В рамках такой политики жертва двойной ловушки способна на многошаговые политические комбинации и серьезные интервенции, вплоть до “регулируемых катастроф”. Основная проблема стратегического позиционирования состоит в том, чтобы не сорваться в сферу авантюристической политики...» или «политики катастроф». Надо помнить, что *«double bind* – это естественная лаборатория по производству политических “Франкенштейнов”, т.е. акторов, которые не только не играют по традиционным правилам, но создают совершенно новые (и в тенденции самоубийственные) правила, которыми они буквально таранят невыносимые для себя рамки *double binds*»⁹². Об этом же писал Э. Эриксон, указывая на «опасное сочетание технологической специализации (в том числе вооружение), сознания собственной праведности и того, что можно назвать географической ограниченностью идентичности»⁹³.

Двойные послания проецируются и во внутреннюю политику, где опираются на государственную идентичность постсоветского че-

⁹⁰ Поцелуев С.П. Указ. соч. С. 27. См. также: Кива А.В. Указ. соч. С. 32.

⁹¹ Бейссингер М. Феномен воспроизводства империи в Евразии // *Ab Imperio*. 2008. № 1. С. 157-176. С. 162, 165, 167-169, 174.

⁹² Поцелуев С.П. Указ. соч. С. 22-24.

⁹³ Эриксон Э. Указ. соч. С. 309-310, 312, 326.

ловека. По мнению Л.Ф. Шевцовой, они типичны для внутренней политики РФ, отражают ее сущность (хотя ее примеры скорее напоминают противоречия в политике, а не попытки манипуляции). Это двойные связки между 1) проведением реформ (как «намеренной дестабилизацией») и сохранением статуса сверхдержавы, 2) монополизацией власти ради успешного проведения реформ и растущей зависимостью власти от бюрократии, 3) стремлением власти к порядку и «имитационной» стабильностью⁹⁴. Б.О. Майер и С.П. Поцелуев приводят более адекватные и конкретные примеры. Майер напоминает о лозунге «берите суверенитета, сколько можете», сопровождаемом оговоркой «но подчиняйтесь центральной власти»⁹⁵. Поцелуев анализирует механизм влияния и последствия двойных посланий, отмечая, что «“добрый” президент может, например, отсылать сигналы в духе социально ориентированной политики, а “злое” правительство или его министры – в духе либерально-монетаристской экономии на социальных программах». В этих условиях пенсионеры и другие «бюджетники» оказываются в ситуации зависимости и невротизации, что имеет результатом «примитивные и неадекватные», по мнению Поцелуева [зато действенные. – *И.И.*] политические реакции (как в 2005 г.)⁹⁶.

Инструментами выхода из ситуации зависимости элита сочла усиление роли государства и церкви, пропаганду патриотизма. Они превратились в ценностный стержень и основу идентичности. Элита нашла и виновника своих страданий в образе Иного⁹⁷. В который раз в истории России возродилась негативная идентификация, отталкивавшаяся от образа врага: сначала чеченцев, потом либералов и (главным образом) Запада, вновь ставшего, как и при советской власти, объектом рессантимента. Именно этот образ Другого «становится главным условием ориентации нашего человека в мире, задает поле и горизонт понимания других людей... – пишет Л.Д. Гудков, – само сообщество конституируется по отношению к негативному фактору, чужому или враждебному, который становится условием солидарности его членов, сознающих себя в рамках подобного значимого и ценного для них единства, где они противопоставлены чужим. Отношение к этому негативному компоненту (его история или возможная угроза, любой модальный план – вероятность, необходимость или прошлое, реальное или фиктивное, мифологическое) становится

⁹⁴ Shevtsova L. Imitation Russia // The American Interest. 2006. (November–December). (<https://www.the-american-interest.com/2006/11/01/imitation-russia/>)

⁹⁵ Майер Б.О. О паттерне «double bind» в современном обществе и образовании // Вестник Новосибирского гос. пед. ун-та. 2012. № 3 (7). С. 47.

⁹⁶ Поцелуев С.П. Указ. соч. С. 14, 23-24.

⁹⁷ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 180.

объясняющим обстоятельством групповой солидарности и символом самой группы»⁹⁸. Идея превосходства США породила попытки в ответ оспорить «подлинность» самого современного Запада. Обидой на Европу как воплощение общества потребления дышит мотив России как «подлинной Европы»⁹⁹. Это очень похоже на попытки мусульман вернуть Европе, как ее понимал еще Ибн-Хальдун, ее подлинную сущность (исламизация модернизации, ре-исламизация страны аль-Андалус, т.е. страны вандалов – Европы и т.п.)¹⁰⁰.

Стало ясно, что интегративный потенциал идеала гражданственности меньше, чем у идеала империи. В России не оказалось альтернативы имперской самоидентификации. Имперское сознание было во многом опорой и цивилизационного самосознания. Слабость национальной солидарности и демократии в России привела к тому, что стала развиваться церковная, имперская, эмигрантская и казачья контрпамяти. Другой источник – оформившаяся в брежневскую эпоху память о Великой Отечественной войне, вновь ставшая «мифом основания». Из них в основном и черпался запас новых «духовных скреп» для государства и общества. На фоне реабилитации идеалов суверенитета («суверенная демократия»), национальных гордости и достоинства, империи («империя-нация») происходит отход от идеи универсализма к идее партикуляризма, обращение к идеалу целостности российской истории («тысячелетняя история России»), локальной этноцивилизации («Русский мир»), переход от критического к апологетическому триумфалистскому нарративу о советском и дореволюционном прошлом, нормализация прежде оцениваемых негативно образов (Иван Грозный, Николай I, Александр III, святой Николай II, И.В. Сталин, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев), рутинизация памяти о сталинском терроре, разрыв с негативно оцениваемым насле-

⁹⁸ Гудков Л.Д. К проблеме негативной идентификации. С. 39, 44; Дубин Б.В. Запад, граница, особый путь: Символика “другого” в политической мифологии современной России // Мониторинг общественного мнения. 2000. № 6. С. 25-34; Гудков Л.Д. Идеологема врага. «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага / Сост. Л.Д. Гудков. М., 2005. С. 7-79.

⁹⁹ Т.е. без информализации, в отрыве от процесса цивилизации (в понимании школы Элиаса). Морозов В.Е. Указ. соч. С. 288, 580; Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 177. У Д. Рогозина: «Европа без господства голубых, без браков педерастов, без лжекультуры панков, без лакейства перед Америкой. Мы и есть истинные европейцы!». – Рогозин Д. Мы и есть настоящая Европа // Завтра. 2004. 19 января.

¹⁰⁰ Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. М., 2005. С. 18-19, 25-26, 217, 219, 223; Kepel G. The War for Muslim Minds: Islam and the West. Cambridge, 2004; Chtatou M. Some of the Salient Reasons behind Islamic Radicalism // Morocco World News 2016. 29.04. URL: <https://www.moroccoworldnews.com/2016/04/185321/some-of-the-salient-reasons-behind-islamic-radicalism/>

дием «лихих девяностых» (с 2007 г.), приватизация советских (День Победы, День космонавтики) и некоторых православных праздников¹⁰¹, подготовка нормативных учебников истории¹⁰².

Наиболее продуктивным из происшедшего было снятие границ между идентичностями постсоветских людей и российских эмигрантов. Это вполне соответствовало идеалу «более широкой идентичности» Эриксона, которая «появляется тогда, когда две группы, чья идентичность прежде отталкивалась от негативного образа другой группы (в обстановке постоянной вражды или эксплуатации), найдут способ слить их, чтобы тем самым дать толчок развитию обеих»¹⁰³. Однако это вызвало не только укрепление РПЦ и сплочение патриотически настроенного населения, но и попытки партикуляризации элиты и ее окружения. Новая постсоветская номенклатура стала пытаться идентифицировать себя прежде всего со старой, дореволюционной Россией, ее сословной и имущественной элитой. Возникли попытки закрепления новых границ в обществе, связанные с ограничением эффективности социальных лифтов и неприятием элитой попыток ставить вопрос о ее неспособности ощущать сопричастность проблемам простых людей, идентифицировать себя с народом. Это проявилось в формах массового стремления номенклатуры и богачей к получению орденов и переходу во дворянство, в идентификации с богатством как проявлением личных достоинств, в насмешках над условиями жизни бедных соотечественников и в попытках отрицания их человеческой полноценности¹⁰⁴. Это напоминает политику «социальной гигиены» как формы защиты от «немых» в позапрошлом и прошлом столетиях. Элита имущественная и политическая

¹⁰¹ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 75-77, 86, 152; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 139, 141-143, 163-168, 174-180.

¹⁰² Огоновская И.С. Указ. соч. С. 270-272.

¹⁰³ Эриксон Э. Указ. соч. С. 329.

¹⁰⁴ Тимесков А. Строем – во дворянство. Российская элита присягает самодержавию // Новые известия. 2017. 13.08 (<https://newizv.ru/news/society/13-08-2017/stroem-vo-dvoryanstvo-rossiyskaya-elita-prisyagaet-samoderzhaviyu>); Кажется смешным, но люди берут. Игорь Шувалов посмеялся над покупателями маленьких квартир // Медуза. 2016. 10.06 (<https://meduza.io/shapito/2016/06/10/kazhetsya-smeshnym-lyudi-berut>); Губернатор заявил, что содержать пенсионеров должны их дети, а не государство! // Kaluga.poisik.ru 2017. 08.02 (<http://www.kaluga-poisik.ru/novosti-kaluga/politika/gubernator-zayavil-chto-soderzhat-pensionerov-dolzhy-deti-a-ne-gosudarstvo>); Видео: свердловский депутат назвал не мужчинами тех, кто зарабатывает 30 тысяч рублей. По словам чиновника, людей с такими доходами стоит относить к лентяям // Рен ТВ. 2017. 24.10 (<http://ren.tv/novosti/2017-10-24/video-sverdlovskiy-deputat-nazval-ne-muzhchinami-teh-kto-zarabatyvaet-30-tysyach>); Медведева О., Арасланов А., Кочнева А. Мужчинам с зарплатой меньше 50 000 рублей нельзя размножаться // Комсомольская правда. 2016. 3.06. (<https://www.kp.ru/daily/26537/3554661/>).

стремится, как в XIX в., к «власти над ненормальным, к власти определения ненормальности, контролю над ней и ее исправлением»¹⁰⁵.

Господствующий презентистский режим историчности позволяет актуализироваться то футуристским, то пассаеистским тенденциям в рамках единой политической линии, правда, у разных властных персонажей. В 2000-х футуристский режим все еще преобладал, хотя речь шла о взаимодействии элементов прошлого «в технике коллажа»¹⁰⁶. Футуристский режим достиг максимума в период президентства Д.А. Медведева с его призывами к модернизации и инновациям и заверениями, что «свобода лучше несвободы»¹⁰⁷. Эта риторика сохранялась Медведевым как премьер-министром вплоть до 2017 г., даже в условиях утраты проекта будущего¹⁰⁸. Напротив, у В.В. Путина преобладает скорее пассаеистское восприятие времени¹⁰⁹. История выступает как «учительница жизни». Историческая специфика России приобретает статус фактора, определяющего политику, развал СССР провозглашен «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», советская и имперская ностальгия путем вымывания специфических для той или иной эпохи смыслов переформируется в российский патриотизм¹¹⁰.

Возникает место для инверсионной переполюсовки режимов историчности. Его определяют, словами Н.Е. Копосова, «избирательная амнезия» (в частности, «архивная контрреволюция») и «практический презентизм», в рамках которого распавшиеся фрагменты прошлого могут произвольно соединяться под влиянием разнородных идей, как

¹⁰⁵ Фуко М. Психиатрическая власть. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973–1974 году. СПб.: Наука, 2007. 450 с. С. 257. Это напоминает рассуждения нацистского ученого по поводу бомбардировок Испании: «Больше всего страдают от воздушных бомбардировок наиболее населенные районы городов. Так как эти районы и кварталы населены бедными людьми, не обеспеченными в жизни, то общество освобождается с помощью воздушных бомбардировок от этих людей... Кроме того, взрывы тяжелых снарядов весом в тонну и больше... вызывают неизбежно многочисленные случаи сумасшествия. Люди, нервная система которых недостаточно сильна, не смогут вынести такого удара. Таким образом, воздушные бомбардировки нам помогут обнаружить неврастеников и устранить их из социальной жизни... тем самым будет обеспечен отбор расы». – Фашизм и фальсификация исторической науки / Отв. ред. Ф.И. Нотович. М.-Л., 1939. 449 с. С. 12.

¹⁰⁶ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 144-145, 181.

¹⁰⁷ «Отлитые в граните»: 10 цитат президента Медведева (<https://ria.ru/politics/20120505/641550536.html>).

¹⁰⁸ Медведев: модернизация в России идет (<https://gisee.ru/articles/articles/19347/>); Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 259.

¹⁰⁹ Путин исключил «инновации и модернизацию» из бюджетной политики России (http://www.cnews.ru/news/top/putin_isklyuchil_innovatsii_i_modernizatsiyu).

¹¹⁰ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 73, 146-147.

это было во время дискуссии о «суверенной демократии»¹¹¹. Не случайно, что в условиях предлагаемого элитой разброса форм исторического сознания отрицается научность исторического знания и утверждается приоритетный статус исторического мифа, работающего во благо государства. Так как миф и знание – разные маркеры контекстов, это легитимизирует игру контекстами, двойные послания власти по поводу режима историчности и содержания исторической памяти¹¹². Большую роль в формировании имперского сознания в России играет неоевразийская теория А.Г. Дугина, призывающего к отказу от федерализма и сочетающего евразийство и постмодернизм, выражающийся в представлениях об «особой русской правде» или «постправде»¹¹³. Это обозначает конвергенцию российской и поздней западной реформализации: исторический релятивизм не только возвращается, но и достигает своих предельных, самопроверяющих форм¹¹⁴. В них исторический опыт теряет свое значение, имеет смысл не само прошлое, а только предложенный властью дискурс о прошлом.

Привилегия государства на создание мифов, исходя из своих интересов, сочетается с отказом исторической науке (даже архивистам с документами на руках) в праве критиковать созданные государством и, порой, уже раз отброшенные мифы¹¹⁵. Так в коммуникации государства и общества по поводу истории прослеживается стратегия невротизирующего двойного послания. В дополнение к пониманию истории как мифа, т.е. как одного из возможных описаний, предпринимаются попытки создать ее нормативный образ и нормативный дискурс, апологетический нарратив. Возникает стремление превратить непредсказуемое прошлое в прошлое управляемое, ведется борьба с «фальсификациями» мифологического дискурса и нормативной исторической памяти, которые нередко направлены не только против позиции сообщества профессиональных историков, но и против живой (ненор-

¹¹¹ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 181; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 142, 259.

¹¹² Бейтсон Г. Указ. соч. С. 310-312.

¹¹³ Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. М., 2007; Евразийство и постмодерн. Интервью с А. Дугиным / Завтра. 2011. 19.10 (<http://litresp.ru/chitat/ru/3/zavtra-gazeta-gazeta/gazeta-zavtra-935-42-2011/10>); Disorga L. «Post-Truth» and the Truth of the Political: Friedland vs Dugin // Eurasia (<https://www.eurasia-rivista.com/post-truth-and-the-truth-of-the-political-freedland-vs-dugin/>). Не случайно Л.Д. Гудков сближает негативную идентичность, мафиозную культуру и постмодернизм. См.: Гудков Л. К проблеме негативной идентификации. С. 42.

¹¹⁴ Бринкман Ж., Сокал А. Интермеццо: когнитивный релятивизм в философии науки // Бринкман Ж., Сокал А. Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна (https://scepisis.net/library/id_1107.html).

¹¹⁵ Мединский назвал сомневающих в подвиге панфиловцев «мразями конченными» // ТВЦ. 2016. 04.10 (<http://www.tvc.ru/news/show/id/102060>).

мативной) исторической памяти людей¹¹⁶. Возникают организации, контролирующие историческую память: Ассоциация школьных учителей истории и обществознания (2010), Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество (2012). Движение поисковиков огосударвляется, возникают фонды материальной поддержки нормативной памяти, такие как «Историческая память» (2008), растет движение по военно-исторической реконструкции, пропагандирующее и театрализирующее образы официальной исторической памяти (преимущественно о войнах, но не только)¹¹⁷.

Важнейшие из нормативных воспоминаний, парадигмальные для легитимации власти и для личных интересов высших представителей элиты, прямо или косвенно защищены законами РФ¹¹⁸. В этой связи можно говорить о введении государством представления о запрещенной, преступной, извращенной исторической памяти¹¹⁹. Таким образом право государства на формирование памяти нации сочетается с обязанностью общества забывать¹²⁰. Ее пассивному укоренению в сознании способствуют телевизионные дебаты по политическим вопросам, в смягченной форме воспроизводящие асимметричный дискурс сталинских процессов. При этом опыт истории как прошлого противопоставляется истории как нормативному описанию прошлого, а повествовательная идентичность (которая, как отмечал П. Рикер, может стать «средством либо самообмана, либо бегства от себя» и которую «герменевтика недоверия позволяет отвергнуть... как источник недоразумений и даже иллюзий») – основанной на живой памяти исторической идентичности¹²¹. Возникает такой

¹¹⁶ Малинова О.Ю. Указ. соч. С. 181, 184; Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 168. Характерно название сайта в Интернете: «Война за Великую Отечественную». (<https://www.yburlan.ru/biblioteka/falsifikacija-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojnny>); <https://bookmix.ru/groups/viewtopic.php?id=2663>).

¹¹⁷ Поисковое движение России. Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите отечества (<http://rf-poisk.ru/>).

¹¹⁸ УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации // Уголовный кодекс РФ (<https://coderf.ru/uk-rf/280.1>); Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 128-ФЗ. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // Российская газета. 2014. 7 мая; О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации // Российская газета. 2016. 01.01.

¹¹⁹ Историческое извращение // Аргументы и факты. 2017. № 29. 19.07.

¹²⁰ Н.Е. Копосов назвал это явление «памятью строгого режима». – Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 7-28.

¹²¹ Рикер П. Повествовательная идентичность // Он же. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. М., 1995. С. 19-37. В контексте

вариант «зависимости от традиции» (path dependence), как зависимость от образа, причем характерное для первого утверждение «история имеет значение» (history matters) переосмысливается как «образ истории имеет значение» (*image of history matters*)¹²².

При обосновании борьбы с «фальсификациями» исторической памяти авторы часто опираются на теории заговора (происки «мировой закулисы»), псевдонаучные объяснительные схемы, нормативно заданный или произвольно изменяемый контекст, линейную причинно-следственную логику. Между тем, еще в 1960-е гг. в рамках школы Пало-Альто (неофициальной столицы Кремниевой долины) исследователи систем и коммуникаций отмечали, что при анализе поведения систем (семьи, нации, мирового сообщества) причинно-следственная логика работает плохо. Механизм обратной связи описывается *циркулярной логикой*, в которой причины и следствия переплетены. Сосредоточенность на линейной причинно-следственной связи здесь – пример типичной *логической ошибки*, обычно используемой для манипуляций во взаимоотношениях. Смысл манипуляции заключается в том, что происходит «искажение хронологии» – круг взаимодействий в системе разрывается, и один из взаимодействующих факторов провозглашается причиной, а другой – следствием. Каждый считает, например, что он сам только *отвечает* на поступки другого, но не является *стимулом* для поступков другого. Этот простой механизм помогает мгновенно изменить трактовку событий на противоположную, в результате чего каждый из участников системы коммуникаций обзаводится собственным образом реальности и настаивает на объективности своего видения происшедшего. Параллельно растет взаимная агрессия. Причем при изменении интересов эту процедуру можно производить бесконечное количество раз: ведь круг взаимовлияний в системе можно разрывать в любом произвольно выбранном месте. Это характерно, например, для развития семейной ссоры или предпосылок мировой войны¹²³.

В высшей степени такие формы коммуникации проявляются в телевизионных передачах. Телевидение как бы задалось целью размыть границу между реальностью и мифом, дискредитировать само понятие диалога. Этому способствует и телеакадемия, сделав-

анализа исторической памяти боваризма замечу, что бегство от себя П. Рикер ассоциировал именно с образом мадам Бовари.

¹²² Hedlund S. Russian Path Dependence: A People with a Troubled History. L., N.Y., 2005; Margolis S.E., Liebowitz S.J. Path Dependence (<https://www.utdallas.edu/~liebowitz/palgrave/palpd.html>).

¹²³ Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Указ. соч. С. 23-24, 93.

шая лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Просветительская программа» И. Прокопенко за передачу о том, что земля плоская¹²⁴. Стремление консолидировать общественное мнение по политическим (и особенно внешнеполитическим) вопросам породило многочасовые дебаты, сопровождающиеся немотивированными взрывами агрессии и нарушением правил ведения цивилизованного диалога, которые стали вытеснять другие жанры с наиболее доступных и популярных телеканалов. Они находят поддержку среди массы населения, охочей до скандала, создают и воспроизводят массовые неврозы. Имперский синдром выливается в попытки доказать себе и другим собственную силу. Характерны индивидуальные мотивации национальной политики, такие как: «Зато нас боятся», «Если надо повторим», «У нас такой менталитет». И это происходит в постколониальную ядерную эпоху, в условиях глобализации, делающих диалог инвариантом межнациональных отношений.

Формально такая стратегия помогает интеграции населения и даже повышению доверия в рамках групп со сходными политическими взглядами, формированию политической национальной идентичности с Россией как империей, «поднимающейся с колен». Но при этом мифологический подход к фактам и манипуляции сознанием мешают развитию гражданского диалога, способствуют невротизации и росту агрессивности населения. «Общество потеряло суверенитет в проработке своего прошлого», как заявлял в совершенно другом контексте Г. Павловский. Точнее, оно уступило его государству как носителю «официальной памяти»¹²⁵. И в этом можно видеть угрозу национальной идентичности: на место сплывающей все население страны идее культурного наследия, в центре которой – уникальный опыт диалога, принадлежащий российской культуре, приходит сконструированный «на коленке» миф об инвариантной правоте государства, являющийся на деле проекцией идеала его термоядерной безнаказанности. Это заставляет буйных невротиков мечтать о насилии, провоцирует агрессию и разрушает диалог.

Глубже всех к объяснению подобных явлений подошел один из основоположников этологии К. Лоренц, который выдвинул идеал множественности идентичностей. По его мнению, энтузиазм и воодушевленность, верность национальным ценностям и знамени – чистый образец животного, инстинктивного поведения, провоцирования агрессии, то есть Зла. «Враг, или его муляж, могут быть выбра-

¹²⁴ См.: <https://meduza.io/news/2017/10/03/tefi-v-nominatsii-prosvetitelskaya-programma-poluchil-avtor-filma-o-ploskoy-zemle>.

¹²⁵ Цит. по: Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 228.

ны почти произвольно, и подобно угрожаемым ценностям – могут быть конкретными или абстрактными». В этих обстоятельствах антитезой инстинкту является диалог – братание между окопами»¹²⁶. В связи с этим вспоминается указание Г. Бейтсона на опасность перехода от стратегии комплементарности к стратегии симметричности поведения и от них – к «схизмогенезу», эскалации симметричности (вспомним о «симметричных мерах» правительств, в конце концов ведущих к войнам) и на продуктивность диалога – «негативной агрессии» как пути возврата к нормальной ситуации¹²⁷.

В центре большинства работ по российской идентичности находится проблема соотношения политической и этнокультурной идентичности. И это действительно важнейшая тема, так как на протяжении последнего века Россия дважды распалась по этнокультурным границам. В этом смысле важны все пути и возможности для создания общей памяти и идентичности, в том числе имперские, как отвечающие на вызовы транскультурной ситуации. Но все же средства достижения такого рода интеграции не надо путать, их эффективность различается как в смысле прочности, так и в смысле устойчивости образующейся национальной целостности. В конце концов нация – это прежде всего информационная система, машина коммуникаций, постоянно перерабатывающая свою память и использующая опыт прошлого для своего развития. В этом смысле пропагандистская модель сплочения на основе нормативной исторической памяти, линейная модель передачи информации сверху вниз сильно отличается от диалогической модели гражданской нации, построенной на многочисленных обратных связях. Она порождает в обществе не солидарность, а ситуацию, которая напоминает ситуацию в латиноамериканском цивилизационном сознании с его акцентом на «культуре насилия»¹²⁸. Полезно вспомнить здесь слова Э. Эриксона о том, что «общество, основанное на насилии, принимает ненасильственные методы решения проблем за слабость и провоцирует насилие»¹²⁹.

¹²⁶ Лоренц К. Агрессия. Так называемое Зло. М., 2008. С. 256-259.

¹²⁷ Бейтсон Г. Указ. соч. С. 153-168.

¹²⁸ Cruz J.M. Violencia, Democracia, y Cultura Política // Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina. 2000. Vol. 167. P. 132-146; Шелепова Ю.А. Ловушки исторической памяти: проблемы восприятия прошлого в Латинской Америке // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1 (18). Миры миров: В поисках идентичности. Россия и Латинская Америка в сравнительно-исторической перспективе / Под ред. Е.А. Бондаревой. М., 2016. С. 113-117; Шемякин Я.Г. Идентичность и тип цивилизации: особенности соотношения (Россия, Латинская Америка, Запад) // Звенья. Исторический альманах. 2016. Вып. 1 (18). С. 3-43.

¹²⁹ Эриксон Э. Указ. соч. С. 327.

Слабым местом в истории России за последние два века была именно гражданская горизонтальная коммуникация и идентичность, разорванная сословными и культурными противоречиями, классовыми интересами, манипуляциями власти, акцентирующей внимание на «оскорблении чувств»¹³⁰ одной группы населения со стороны другой и, тем самым, раздающей групповые привилегии, деформирующие структуру коммуникации. Это можно отчасти объяснить особенностями разрыва в формах исторического сознания (преодоление «перевала» режимов историчности), который Р. Козеллек проследил между 1750 и 1850 гг. Переход от множественных «историй» к единой «истории» в разных ее вариантах произошел в России, примерно, как в Европе. Но историческая память тут до конца XX в. так и не вышла из апокалиптического контекста Священной истории как истории спасения, неразрывной с историей КПСС как нового спасающего института; еще в XXI в. возможно объяснение настоящего при помощи прошлого. Сохраняется верность концепции «управляемого прошлого». В центре внимания оказалась не многообразная память населения, воплощающая его по-разному воспринятый и интерпретированный опыт, а апробированные государством нормативные нарративы по поводу этого прошлого, прежде всего по поводу государственной идеологии и политики. «Моя история обо мне» переоценивается, в то время как «чужая история обо мне» не просто недооценена, а подвергается разоблачению как инсинуация. Поэтому нам трудно понять слова Р. Козеллека о том, что «история, которая в результате сложилась и свидетелями которой мы сегодня являемся», это не продукт деятельности власти или народа, но и не предмет для персональной гордости или раскаяния. «Она свершилась наперекор многочисленным намерениям и поступкам, но также, конечно, – как их следствие»¹³¹. Поэтому самоидентификация с властью или персонально с ее носителем не дополняется самоидентификацией с другими группами населения, равноправным диалогом с ними, а значит отсутствует и устойчивость этнокультурных связей.

Крайнюю опасность представляет неспособность россиян идентифицировать себя с мировой цивилизацией и глобальными пробле-

¹³⁰ Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» (<https://rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html>).

¹³¹ Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (<http://www.strana-oz.ru/2004/5/mozhem-li-my-rasporyazhatsya-istoriey-iz-knigi-proshedsheebudushchee-k-voprosu-o-semantike-istoricheskogo-vremeni>).

мами, а также замещение представления о российской цивилизации этнокультурным образом «Русского мира». В условиях перехода к цивилизационному историческому сознанию это порождает тенденцию конструирования «этноцивилизаций» в национальных республиках¹³². Отсутствует осознание демографического взрыва XX–XXI вв. как главной, глобальной демографической проблемы, на фоне которой сокращение русского населения в результате демографического перехода вторично. Наиболее ярким следствием этого является практическое отсутствие коммуникации с мигрантами из Средней Азии, неприятие их как цивилизационных наследников, переосмысление которыми русской культуры во многом определит ее будущее. Обрубая себе связи с этой средой, Россия торпедирует собственное будущее. Это делает национальную самоидентификацию менее устойчивой в исторической перспективе, несмотря на целенаправленную государственную политику памяти и идентичности, так как навязываемые образы прошлого не порождают взаимного доверия, чувства сопричастности и солидарности между группами с разными идеологическими убеждениями и культурой.

¹³² Tatar History and Civilization / Ed. D. Ishaqov. Istanbul, 2010; Выступление президента Якутии М.Е. Николаева на Международной конференции ЮНЕСКО «Циркумпольная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра», 29 июля 2009 г., г. Якутск (<http://www.1sakhapresident.ru/index.php/ru/2008-11-03-08-01-16/411-300709>); Тафаев Г.И. Религиозно-тотемные символы новочувашской (национально-региональной) цивилизации. 2011 г. (http://tafaj.blogspot.com/2011/03/blog-post_5422.html).

ГЛАВА 4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА¹

Национальные истории были и являются неотъемлемой частью широкой исторической культуры, которая распространялась и поддерживалась разнообразными государственными, общественными и культурными учреждениями, конструирующими места национальной памяти или участвовавшими в согласованных актах коллективного воспоминания. Но в данной главе речь пойдет лишь о практиках презентации национальной истории, которые были оформлены в разные виды нарративов, представленные во второй половине XVIII века – в большей степени историописателями-любителями – и оказывавшие влияние на формирование национальной идентичности россиян.

Временные рамки локализуют объект исследования не только в историографическом процессе Нового времени, но, в первую очередь, в классической модели европейской исторической науки. Разные виды национальной истории – национально-государственный нарратив, учебная книга по национальной истории и др. – получили свою наибольшую популярность именно в этой модели историографии. Все еще присутствуя в структуре исторического знания в большей степени в виде учебных книг, они и сейчас повествуют о прошлом нации-государства в той классической форме, которая начала оформляться во второй половине XVIII столетия.

Большая исследовательская перспектива изучения национальной истории в международном или региональном (в рамках континента) масштабе открылась, когда исследователи актуализировали проблему компаративной историографии и начали реализацию проекта NHIST (National Histories in Europe in Nineteenth and Twentieth-Century Europe). Вопрос о сходствах и различиях национальных исто-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.).

рий в рамках европейской историографии сегодня обсуждается исследователями, как и то, сложилась ли на континенте, в целом единая историческая наука или в ней присутствовали лишь близкие между собой подходы². Здесь не ставится задача выявлять в национальном историописании отличительные типологические черты, свойственные практике конструирования национального прошлого разным регионам Европы, к чему в конце XX века призвал М. Хроч³. Ряд черт, отличавших центрально-восточноевропейское (немецкие земли и Россия) национальное историописание от западноевропейского в XVIII – первой половине XIX века, еще в середине XX столетия выявлял Г. Кон, указав на наличие политических и культурных комплексов в немецкой и российской националистически ориентированной исторической мысли⁴. Объектом внимания авторов коллективного труда «Написание национальных историй», стало национальное историописание только в Западной и Центральной Европе (Великобритания, Франция, Германия и Италия)⁵. Напротив, М. Баар уточнила и дополнила выводы Г. Кона анализом национального историописания в Центральной и Восточной Европе, метафорически заключив, что историки этой части континента, «возможно, играли на отличных от западноевропейских современников инструментах, но несомненно, они производили ту же самую музыку»⁶.

В настоящем исследовании основной задачей станет выявление системы видов национальной истории в России в контексте европейского историописания, ее трансформация в разных исторических культурах, обнаружение важнейших свойств присущих таким видам историописания как очерки по национальной истории, национально-государственный нарратив, учебная книга по национальной истории и др. Таким образом, из структуры исторического знания этого периода выбирается совокупность видов историографических источ-

² Middell M., Roura i Aulinas L. The Various Forms of Transcending the Horizon of National History Writing // *Transnational Challenges to National History Writing* (Series: Writing the Nation). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 1.

³ Hroch M. Historical Belles-Lettres as a Vehicle of the Image of National History // *National History and Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region, 19th and 20th Centuries* / ed. by M. Branch. Helsinki: Finnish Literature Society, 1999. P. 97.

⁴ Kohn H. Die Idee des Nationalismus: Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. Hamburg: S. Fisher, 1962. S. 309-554.

⁵ См.: *Writing National Histories: Western Europe since 1800* / eds by S. Berger, M. Donovan, K. Passmore. L.: Routledge, 1999.

⁶ Baar M. *Historians and Nationalism: East-Central Europe in the Nineteenth Century*. N.Y.: Oxford University Press, 2010. C. 304.

ников, позиционирующих национальную историю. Сразу стоит сделать оговорку относительно употребленного выше понятия «система видов» по отношению к формам историописания о национальном прошлом. Оно носит терминологический характер, так как проблема совокупности таких видов историописания еще детально не разработана в исторической науке.

Чтобы решить исследовательскую задачу необходимо последовательно: 1) обратиться к вопросу о функционировании понятия «национальная история» в истории истории; 2) рассмотреть формирование системы видов исторических нарративов о российской истории в XVIII в.; 3) проанализировать спор между социально ориентированным и зарождающимся научным типами исторического знания в XVIII веке; 4) обратить внимание на трансформацию национальной истории в XIX веке; 5) выявить основные черты национально-государственного нарратива XIX – начала XX века.

I. Функционирование понятия «национальная история» в истории истории

В современной историографии работы о национальном прошлом традиционно называют «*национальной историей*»⁷ или, немного реже – «*национальным нарративом*»⁸. Однако, как оказывается, такие понятия не обладают признаком строгости для проведения историографического анализа. Поэтому – концепт «национальная история», будет здесь рассматриваться как конструкция, состоящая из совокупности разных форм исторической рефлексии.

Практика использования данного понятия в истории истории демонстрирует довольно широкое понимание исследователями способов историописания, которые называют «национальной историей». Например, Д.Р. Келли предлагает вести линию развития национальной истории еще от прагматической истории Полибия, через Макиавелли к Новому времени⁹. Национальной историей именуют

⁷ Платонов [С.Ф.] Лекции по русской истории, профессора Платонова: Читанные в 1898-99 учебн. году на высших женских курсах, в Императорском С.-Петербургском университете и в Военно-юридической академии: в 3 вып. СПб.: Столичная скоропечатня, 1899. Вып. I. С. 4; Stephens H.M. Nationality and History // The American Historical Review. 1916. Vol. 21. N 2. P. 232.

⁸ Phillips M.S. Society and Sentiment: Genres of Historical Writing in Britain, 1740–1820. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 253; Berger S. The Invention of National Traditions in European Romanticism // The Oxford History of Historical Writing: in 5 vol. Vol. 4: 1800–1945 / eds by S. Macintyre, J. Manguerra, A. Pók. N.Y.: Oxford University Press, 2011. P. 30.

⁹ Kelley D.R. Versions of history from antiquity to the Enlightenment. New Haven, L.: Yale University Press, 1991. P. 8-9, 311-312.

работы европейских историков XVIII в. о национальном прошлом, но при этом отмечают, как например, С. Карвалье и Ф. Жеменн, что национальная история, повествующая об особой роли своего государства и народа, появляется как реакция на универсалистское Просвещение¹⁰. Тем самым, авторы дают понять, что национальная история после эпохи Просвещения уже несколько иная, чем национальная история XVIII века. Но это еще не всё. Национальной историей называют даже практики обращения к прошлому в совершенно иных восточных традициях историописания. В частности, это можно найти в третьем томе «Оксфордской истории историописания», где, например, некоторые китайские и вьетнамские исторические произведения XIII–XVI вв. названы национальной историей¹¹.

Думается, практике использования концептуального аппарата в последнем приведенном примере вполне подходит сделанное ранее замечание главного редактора «Оксфордской истории историописания» Д. Вульфа о том, что европейские и американские исследователи, «изучающие зарубежный ландшафт, просто колонизировали прошлое живущих там народов, а местные специалисты, исследующие свои национальные истории, часто принимают навязанную им практику западной историографии»¹².

В российской историографической культуре, несмотря на использование понятий «национальная история» (С.Ф. Платонов), «местная история» (В.О. Ключевский), «политическая история» (Н.Л. Рубинштейн) стало привычным называть комплекс исторических произведений, посвященных истории России и написанных соотечественниками в XVIII – XXI столетиях – «отечественной историей».

Историку, изучающему такой вид историописания как национальная история в кросс-культурной перспективе, сложно анализировать специфику практик использования прошлого в разных моделях историописания. Если обратить внимание на мысль историков о

¹⁰ См.: Carvalho S., Gemenne F. Introduction // Nations and their Histories: Constructions and Representations / ed. by S. Carvalho, F. Gemenne. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. P. 1.

¹¹ Mittag A. Chinese Official Historical Writing under the Ming and Qing // The Oxford History of Historical Writing 2012: in 5 vols. Vol.3: 1400–1800 / eds by J. Rabasa, M. Sato, E. Tortarolo, D. Woolf. N.Y.: Oxford University Press, 2012. P. 29, 35; Ng O. Private Historiography in Late Imperial China // Ibid. P. 65; Wade G. Southeast Asian Historical Writing // Ibid. P. 121, 123.

¹² Woolf D. Of Nations, Nationalism, and National Identity: Reflections on the Historiographic Organization of the Past // The Many Faces of Clio Cross-cultural Approaches to Historiography / ed. by Q.E. Wang, F. Fillafer. N.Y.: Berghahn Books, 2006. P. 75.

том, что расцвет национальной истории происходит в европейской модели историописания XIX века, что «современные национальные нарративы появились в Европе на рубеже восемнадцатого и начала девятнадцатого века»¹³, то становится не вполне понятно, как это согласовать с традицией написания «национальных историй», например, в средневековом Китае или Вьетнаме? Надо согласиться с тем, что такая форма историописания появляется в Европе в начале XIX в. в период расцвета как национальных государств, так и национальных историографий, что она будет лишь потом копироваться Восточной Азией у европейцев¹⁴, что национальную историю вообще «можно рассматривать как одну из самых успешных статей европейского экспорта во все четыре части мира»¹⁵. Однако, присоединяясь к такому выводу нужно признать, что в средневековом восточном историописании была иная традиция конструирования прошлого. Не могли же историописатели Востока с конца XIX в. «копировать» у европейцев то, что в их интеллектуальном пространстве давно было? Конечно, можно обратиться к конкретизации концепта «национальная история»: «средневековая национальная история», «восточная национальная история», «средневековая китайская национальная история», «национальная история Раннего Нового времени» и т.д., и вероятно, такая практика расширения и/или уточнения концептуального аппарата частично упорядочит историографический дискурс, но только в том случае, если использующий их историк в состоянии будет внятно объяснить, чем характеризуются выбранная им практика «национальной истории».

Исследователи уже давно обратили внимание на различие европейской национальной истории XVIII в. и национальной истории последующего – XIX в. Г. Кон одной из важнейших черт «национальной истории» XIX в. назвал ее националистический характер. В частности, он отметил разницу в российском историописании второй половины XVIII – начала XIX в. – в любительской истории М.М. Щербатова и в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, – заключив, что «История» Карамзина является примером перехода к «бездрушному национализму»¹⁶. Сегодня историки также пытаются

¹³ Berger S. National Historiographies in Transnational Perspective: Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries // *Storia della Storiografia*. 2006. N 50 (2). P. 3.

¹⁴ Woolf D. Of Nations, Nationalism, and National Identity... P. 75.

¹⁵ Berger S., Conrad C. *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe* (Series Writing the Nation). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. P. 17-18.

¹⁶ Kohn H. *Die Idee des Nationalismus...* S. 546-547.

различить национальную историю эпохи Просвещения и национальную историю первой половины XIX в., связанную со строительством национальных традиций в европейских обществах. Как отмечает С. Бергер: «Современные национальные мастер-нарративы в Европе появились с конца XVIII – начала XIX века, в большей степени, как прямой ответ на политические кризисы, вызванные Французской революцией»¹⁷. В научном исследовании «Прошлое как история: национальная идентичность и историческое сознание в современной Европе», С. Бергер и К. Конрад структурно разделили историографические традиции, связанные с написанием национальных историй XVIII и XIX вв.¹⁸ Современные исследователи замечают, что многие тропы, сюжетные линии и т.д., присущие национальным историям XIX века могут быть найдены в исторических произведениях, написанных еще в Средневековье¹⁹ и Раннее Новое время²⁰. Такие выводы правомочны, но это не снимает вопрос, связанный с уточнением понятия «национальная история», а просто оставляет его открытым. В этой связи представляется целесообразным актуализировать важные черты историописания, демонстрирующие складывание и трансформацию современной видовой структуры национальной истории.

Невнимание к различию национальной истории второй половины XVIII в. и национальной истории XIX в. не позволяет историкам делать важные уточнения. Например, в российской историографии роль М.Т. Каченовского и «скептической школы» традиционно определяется (кроме их нового отношения к историческим источникам) борьбой с устаревшими формами исторического знания («с историческими воззрениями XVIII в.»²¹ или разрушением «старого, отжившего в науке»²²). С этим нельзя не согласиться. Однако актуализация внимания на различии национальной истории первой половины XIX и второй половины XVIII века позволяет уточнить, что представители «скептической школы» выступили не только против «устаревшего», но и против того, чего еще не было в XVIII в. – против утверждающегося в классической европейской историографии нового вида историописания – национально-государственного нарратива.

¹⁷ Berger S. National historiographies in Transnational Perspective... P. 3.

¹⁸ Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 28-79, 80-139.

¹⁹ Ibid. P. 6.

²⁰ См.: Высокова В.В. Национальная история в британской традиции историописания эпохи Просвещения: Автореф. дис... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2015.

²¹ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.: Госполитиздат, 1941. С. 234.

²² Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ.: в 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 248

Не все историки согласны с расширительным толкованием понятия «национальная история», а значит – с отсутствием строгости в его употреблении. По крайней мере, Л.П. Репина проекты о национальном прошлом XVIII в. назвала «государственно-историческими»²³, а А. Лиакос дал им название «преднациональной истории», так как они отличаются от национальной истории XIX–XX вв. любительским характером²⁴. Выражая согласие с желанием историков разграничить виды историописания XVIII и XIX вв., следует принять во внимание трансформацию традиции обращения к национальному прошлому в этот период. В данном случае, под *трансформацией* понимается не простое обновление или постепенное изменение, а преобразование структуры, способа историописания и целевой направленности национальной истории. В следующем разделе будет рассмотрен вопрос, связанный с определением представляющегося наиболее корректным подхода к нарратологическому аспекту изучения форм историописания, а также проблема формирования системы видов основных историографических источников, позиционировавших российскую историю в контексте подобных видов в национальных историографиях Западной Европы второй половины XVIII в.

II. Формирование системы видов исторических нарративов о российской истории

В XVIII веке в России, как и во всей Европе начинает формироваться современная структура исторического знания, которая будет трансформироваться в исторических культурах XIX и XX вв. В это время в российской историографии появился широкий спектр произведений по национальной истории, написанных историками, писателями, чиновниками, учителями, священниками, императрицей и т.д. Современные исследователи, изучающие историографию, следуют по давно намеченному пути расширения и уточнения социокультурных факторов историописания, выявления и структурирования тематической специфики исторических произведений. Чаще всего историография изучается посредством канонических фигур, писавших о национальной истории авторов или с точки зрения их вклада в формирующийся национальный исторический мастер-

²³ Репина Л.П. «Национальные истории» и концепции «истории как науки»: проблема совместимости // Национальный / социальный характер: археология идей и современное наследство. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 77.

²⁴ Liakos A. The Canon of European History and the Conceptual Framework of National Historiographies // Transnational Challenges to National History Writing // eds by M. Middell, L. Roura. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 316.

нарратив. Например, Н.Л. Рубинштейн в «Русской историографии» (следует учитывать, что это учебное пособие), писал, что в историографии XVIII века нужно выделять, в первую очередь, В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера и М.М. Щербатова. У остальных «попытки исторического повествования переходят в чисто литературные упражнения. Их авторы – журналисты <...>, любители <...>, но не ученые, и их труды лишены научного значения»²⁵.

Исследователи историографии редко указывают виды нарративов, в которых было представлено историческое знание, следуя практике обозначения сочинений историописателей: «работа», «труд» или «произведение». Например, «das *Werk* [здесь и далее выделено мной – С.М.] Gibbons», «*Niebuhrs Werk*»²⁶, «*great work* Montfaucon», «*Schlozer's best-known work*»²⁷. Крупнейший специалист по русской историографии XVIII века С.Л. Пештич отмечал: «Вольтер, начиная *труд* о Петре», «*труд* Миллера “Краткое известие о начале Новгорода”», «*произведение* Ф. Эмина», «*произведение* Крестинина»²⁸ и т.д. В современном учебнике по историографии тоже встречаем: «большой *труд* “Ядро российской истории”», «*труд* Миллера», у «фундаментального *труда* “История Российская от древнейших времен”» и пр.²⁹ Вполне понятно, что употребляемые по отношению к историческим произведениям понятия, позволяют конструировать процесс расширения пространства исторического знания, но не дают возможности производить их историографический анализ.

В исторической науке в целом, а затем и в истории истории стало традиционным систематизировать исторические произведения по *жанрам*. Об этом свидетельствует статья «История» в издававшемся в Германии в последней четверти XX века «Словаре основных исторических понятий» (в 8 т.). Понятием «жанр» здесь называется сама история (в отличие от литературы) и исторические произведения, в зависимости от их структурно-композиционного построения³⁰.

²⁵ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.: ОГИЗ, 1941. С. 92.

²⁶ Ritter M., von. Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den Führenden Werken Betrachtet. München; Berlin: Verlag von R. Oldenbourg, 1919. S. 308, 342.

²⁷ Thompson J.W., Holm B.J. A History of Historical Writing: in 2 vols. N.Y.: The MacMillan Co, 1942. Vol. II [The Eighteenth and Nineteenth Centuries]. P. 25, 123.

²⁸ Пештич С.Л. Русская историография XVIII века: в 3 ч. Л.: ЛГУ, 1961-1971. Ч. II. С. 199, 220, 61, 320.

²⁹ Историография истории России до 1917 г.: учеб. для студ.: в 2 т. / под ред. М.Ю. Лачаевой. – М.: ВЛАДОС, 2003-2004. Т. 1. С. 92, 122, 162.

³⁰ Понтеру Х., Козеллек Р., Майер К., Энгельс О. История (Geschichte, Historie) // Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т.

Отечественные историки используют это понятие уже довольно давно. Жанровый подход применяли О.Л. Вайнштейн и М.В. Нечкина³¹, а в начале XXI века выделяют жанры исторических работ и некоторые соискатели научных степеней³².

Специалисты в области истории истории до сих пор четко не отрефлексовали смысл употребляемого по отношению к сочинениям историописателей понятия «жанр». Часто жанрами называют темы исторических произведений или исследование отдельной направленности (в том числе территориальной). М. Филлипс, выделяет такие жанры: «история коммерции» (напр.: Anderson A. *Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce* (1764)), «история женщин» (напр.: Alexander W. *The History of Women...* (1799)), «предположительная история» (напр.: Ferguson A. *Essay on the History of Civil Society* (1767))³³ и др. В современной «Оксфордской истории историописания» применительно к историографическому пространству XVIII века можно встретить жанры: «genre of universal history», «genre of Landesgeschichte», жанром названа династическая история³⁴ и т.д. Современные российские историки нередко употребляют понятие «особый жанр» без его четкого пояснения³⁵, даже в тех случаях, когда авторы изучаемых ими произведений четко рефлексовали о цели их создания. Например, современный исследователь отмечает: «Став историком церкви, митрополит Платон был вынужден <...> создать особый жанр»³⁶. Уместен вопрос, почему «Краткая церковная российская история» – это «особый жанр»? В «Истории» митрополита Платона имеется четкое целеполагание

Т. 1 / пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. М.: НЛЮ, 2014. С. 45-239.

³¹ См.: Вайнштейн О.Л. *Западноевропейская средневековая историография*. М; Л.: Наука, 1964. С.457; Нечкина М.В. *История истории (некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки. Историография истории СССР*. М.: Наука, 1965. С. 10.

³² См., напр., Игишева Е.А. *Политическое развитие Урала в 1920-е гг. в отечественной историографии: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2010. С. 18.*

³³ См.: Phillips M.S. *Society and Sentiment: Genres of Historical Writing in Britain, 1740–1820*. – Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 161, 164, 171.

³⁴ *The Oxford History of Historical Writing: in 5 vols. Vol.3: 1400–1800 / ed. by J. Rabasa, M. Sato, E. Tortarolo, D. Woolf. N.Y.: Oxford University Press, 2012. P. 373, 493, 307, 320.*

³⁵ См.: Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 242.

³⁶ Артемьева Т.В. *Идея истории в России XVIII века. Философский век: альманах. Вып. 4. СПб., 1998. С. 160.*

труда, он указал, что желает, чтобы его книга «послужила к пользе и наставлению юношества, в духовных училищах наших обучаемого»³⁷, т.е. автор позиционировал перед читателем форму своего произведения – *учебная книга*.

Надо заметить, что среди представителей литературной теории уже давно появилось сомнение в отношении категории «жанр»³⁸. Как отмечает современный историк А. Хауми, несмотря на существующую критику жанров, «в историографии этот вопрос вообще игнорируется». В номенклатуре жанров необходимо разобраться «так как выбор тем или иным исследователем одного из них «является результатом решения о способе, с помощью которого организуется знание о прошлом»³⁹. Пока же, жанровый подход к систематизации историографии оказывается очень неконкретизированным. Исследователи употребляют понятие «жанр»: 1) к темам исторических произведений, 2) к практикам историописания, 3) к формам исторического письма; но при этом, не задумываются, что форма и содержание историописания – разные вещи. Категория «жанр» не лучший помощник для анализа исторических произведений, а значит – для выполнения строгого историографического исследования.

Следует обратить внимание на нарратологическую проблему, связанную с формами историописания в XVIII веке. Интерес представляет не наше исследовательское желание присвоить тем или иным произведениям какие-либо номенклатуры жанров, а рефлексия самих авторов о выбранной форме повествования, их обращение к невидимому читателю, а затем уже – обнаружение нами в процессе анализа нарративных «меток», с помощью которых позиционировался вид произведения, а также его возможное влияние на национальную, государственную или локальную идентичность.

Манифестируемая авторами XVIII века цель историописания, а также экспликация исторического контекста позволяют в *предметном поле источниковедения историографии* проводить процедуру классификации историографических источников, свойственных исторической культуре второй половины XVIII века, выявлять трансформацию видов историографических источников в изменяющейся исторической культуре.

³⁷ Платон (Левшин), митр. Краткая церковная российская история. М.: Синод. тип., 1805. С. I, X.

³⁸ См., напр.: Derrida J. The Law of Genre / Jacques Derrida // Critical Inquiry. 1980. Vol. 7. No. 1. P. 55-81.

³⁹ Jaume A. Rethinking Historical Genres in the Twenty-First Century // Rethinking History: The Journal of Theory and Practice. 2015. Vol. 19. No. 2. P. 145, 149.

Источниковедение историографии, позиционируемое Научно-педагогической школой источниковедения⁴⁰, смотрит на произведение историка, как на объективированный результат его творческой активности, преследуя цель проведения наиболее корректной оценки информационного потенциала историографического источника. В настоящем случае акцентируется внимание на базовом принципе современного источниковедения – важности выявления видовой специфики историографического источника⁴¹. Систему видов историописания можно вполне плодотворно изучать в предметном поле источниковедения историографии. Последнее востребует метод источниковедения для изучения истории исторического знания в междисциплинарном пространстве интеллектуальной истории. Объект обозначенного этого предметного поля – система видов историографических источников (произведений историков), а предмет – порождение и функционирование историографического источника в научном познании и иных социальных практиках⁴².

Сегодня мало кто усомнится, что, изучая практику историописания того или иного историка, необходимо учитывать в произведении какой видовой принадлежности она была выражена – большой (полной) национальной истории, очерках по истории, научной статье, учебной книге по национальной истории (помимо присущих историографии XIX–XXI вв. видов: монографий, диссертаций и др.).

Каждый продукт человеческого интеллекта структурирован своей целью. Поэтому произведения авторов историй функциональны, они несут в себе обозначение своей функции в системе исторического знания, поскольку цели, которые ставили себе историописатели, приступая к написанию больших (полных) национальных историй, учебных книг по национальной истории и т.д., не могли быть одинаковыми. Рефлексия о системе видов, в которой каждый из них занимает определенное место, предоставляет нам возможность представить каждый вид как сравнительную категорию, которую плодотворнее анализировать при сравнении с иными видами.

⁴⁰ См.: Источниковедение.ru [Электронный ресурс]: страница науч.-пед. школы / редкол.: Д.А. Добровольский и др. Электрон. дан. М., сор 2010-2019. Режим доступа: <http://ivid.ucoz.ru/>, свободный.

⁴¹ См.: Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. (2-е изд.). М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2019. С. 505-559.

⁴² Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Источниковедение историографии // Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян, Л.П. Репина. М.: Аквилон, 2014. С. 203.

Историческая культура XVIII века, если использовать терминологию Ф. Артога о режимах историчности, воспринимала исторический процесс в виде временных рамок, в которых «случались» те или иные события⁴³. Князь М.М. Щербатов, зависимую от временных «рамок» модель историописания берет у Д. Юма, отмечая, что это «великая цепь событий», в которую скрупулезно вставляются случившиеся во времени явления («коснуться каждого звена оных»)⁴⁴. В режиме историчности, в котором работали историописатели XVIII века, доминирует представление о возможности получения из знания о прошлом поучительных примеров для настоящего, как писал И.П. Елагин, история – кладезь примеров, она помогает «открывать добродетель к подражанию и порок к отвращению»⁴⁵. Такой дидактичностью была пронизана вся историческая культура эпохи.

Уже в XVIII в. – в период складывания европейской классической модели исторической науки, особую роль в исторической культуре стала выполнять большая –многоотомная национальная история – *большая история* («большой нарратив») о национальном прошлом. В России она получает название – *полная [российская] история*. Именно так в начале XVIII в. ее назвал Ф.А. Куракин, а затем также В.Н. Татищев и, уже во второй половине века в «Опыте исторического словаря русских писателей», Н.И. Новиков⁴⁶.

Большие истории о национальном прошлом, например, британца У. Робертсона или кн. М.М. Щербатова, демонстрируют, что обращение авторов к национальному прошлому в немалой степени было вызвано интересом к общему (по крайней мере – европейскому), они старались рассмотреть то, как общие нормы и универсальные ценности претворяются в истории их народа или государства. Неслучайно, Уильям Робертсон, начиная многоотомную «Историю Шотландии» обратил внимание на весь «грубый и невежественный» в прошлом север Европы и описывал деятельность не только «сво-

⁴³ Артог Ф. Мировое время, история и написание истории // Крыніца-знаўства і спецыяльная гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 3 / рэдкал.: У.Н. Сідарцоў і інш. Мінск: БДУ, 2007. С. 14.

⁴⁴ Щербатов М. [М.] История российская с древнейших времен: в VII т. [15 ч.]. Т. I. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1770. Т. I. С. XV.

⁴⁵ Елагин И.[П]. Опыт повествования о России: сочинение Ивана Елагина, начатое на 65-м году от его рождения, лета от Р.Х. 1790, Двора его императорского величества обер-гофмейстера. Кн. 1. М.: Универ. тип., 1803. С. IX.

⁴⁶ См.: Архив кн. Ф.А. Куракина: в 10 кн. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1890. Кн. 1. С. 42.; Новиков Н.[И.] Опыт исторического словаря о российских писателях, с разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий. СПб.: Тип. Н. Новикова, 1772. С. 250.

их», но и континентальных монархов⁴⁷, а М.М. Щербатов в начале своего многотомного труда написал: «...Я пишу в такое время, когда Россия просвещением своим равняется со всеми другими европейскими государствами»⁴⁸. В своей «Истории» он не замыкался только в национальном прошлом, а старался, где это получалось, помещать его в европейский контекст.

В больших национальных историях актуализировались вопросы о территории (см., например, у Ф.А. Эмина⁴⁹), о периодизации (например, у И.П. Елагина⁵⁰, в «Истории» М.М. Щербатова она отчетливо выступает в общей структуре работы⁵¹), а также выстраивалась линейность исторического рассказа (перешедшая в рационалистическую историографию из христианской модели историописания), позиционируемая в качестве последовательности изложения событий прошлого. Рефлексию о линейности можно найти в «Опыте» И.П. Елагина, заметившего: «Я разделяю сочинение мое на книги, по мере цепи приключений, дабы взаимная одного времени связь деяний без окончания не прерывалась»⁵².

Национальные истории второй половины XVIII в. в Европе явно позиционировали универсальность опыта прошлого и, такой способ историописания современные исследователи иногда объясняют «космополитическим подходом к вопросам национальной истории»⁵³. Универсализм в исторической культуре этого периода был связан с верой в неизменность природы самого человека независимо от времени и культуры, в которой он жил. Например, Екатерина II в многотомных «Записках касательно российской истории», указы-

⁴⁷ См., напр: Robertson W. History of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI // The Works of William Robertson: in 10 vol. Vol. 1. L.: T. Tegg, 1826. P. 1, 76-83.

⁴⁸ Щербатов М.[М.] История российская с древнейших времен... С. XV.

⁴⁹ Ф.А. Эмин писал: «все почти европейские народы должны искать своих праотцов в землях ныне России принадлежащих», «нынешняя Российская империя величиной своей превосходит <...> древние [Дария и Александра] монархии» (см.: Эмин Ф.[А.] Российская история жизни всех древних от самого начала России государей / сочиненная Федором Эминым: в 3 т. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1767–1769. Т. I. С. XLII, 3).

⁵⁰ И.П. Елагин выявлял на протяжении четырех страниц своего труда периоды истории России, называя их «корни времени» (см.: Елагин И.[П]. Опыт повествования о России... С. XLVI–XLIX).

⁵¹ См.: Щербатов М. [М.] История российская с древнейших времен...

⁵² Елагин И.[П]. Опыт повествования о России... С. XIV.

⁵³ См., напр.: O'Brien K. Narratives of Enlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon / Karen O'Brien. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 12.

вала: «... Род человеческий везде <...> имел страсти, желания, намерения и к достижению употреблял не редко одинакие способы»⁵⁴. А в «Опыте» по истории России, И.П. Елагин писал так: «Известно мне, что сердце человеческое всегда одинако, и то же ныне, каково было от самых веков начала. Я ведаю, что теж добродетели и теж пороки и страсти присущи и ныне в Петербурге и в Москве, какие в Афинах и Риме существовали. Не изменение сердец, но больше меньше просвещения и невежества творят нравов разновидность <...>. Иоанн в Москве таков же тиран, каков Нерон был в Риме. Каков тамо возмутитель Катилина и мятежны трибуны; таков и у нас Хованской и головы стрелецкие. Как безрассудна и буйственна необузданная чернь в ветхой Италии, так равно и в Руси возмущенный народ слеп и кровожаждуш»⁵⁵.

В России во второй половине XVIII века большая история была представлена в первую очередь «Российской историей жизни всех древних от самого начала России государей» Ф.А. Эмина и «Историей российской с древнейших времен» кн. М.М. Щербатова. Только две части (с древнейших времен до 1054 г.) из задумывавшейся полной русской истории успел написать М.В. Ломоносов, а восемь из девяти частей «Опыта повествования о России» И.П. Елагина остались не изданными. Кроме того, И.П. Елагин писал не столько полную русскую историю, сколько *испытывал* свой взгляд на нее в очерковой форме «опыта». Автор [Екатерина II] «Записок касательно российской истории», используя очерковую форму подачи исторического материала, подготовил учебную книгу (книгу для чтения) для юношества (об этом виде историописания, см., ниже).

Возвращаясь к выше приведенному замечанию, о космополитическом подходе историописателей XVIII века к вопросам национальной истории, все же нужно иметь в виду, что такое замечание будет более понятным при сравнении текстов больших национальных историй этого периода с национально-государственным нарративом следующего XIX столетия.

Конечно, историописатели XVIII века никогда не теряли из вида свой народ. В.Н. Татищев даже выразился о российской истории как о «*своей собственной* [здесь и далее выделено мной – С.М.] истории»⁵⁶, а Д. Юм при случае пытался усилить величие Англии, говоря, что «позиция королевской власти стала основанием англий-

⁵⁴ [Екатерина II] Записки касательно российской истории: в 6 ч. СПб.: Имп. тип., 1787-1794. Ч.1. С. I-II.

⁵⁵ Елагин И.[П]. Опыт повествования о России... С. XXXVII-XXXVIII.

⁵⁶ [Татищев В.Н.] История Российская с древнейших времен... Кн. 1. С. V.

ской конституции и принципом свободы <...>, которым она наслаждается в большей степени, чем в других монархиях», что «можно справедливо подтвердить без всякого преувеличения, что мы на острове наслаждаемся <...> самой большой свободой <...> среди человечества», несмотря на то, что Французская Академия поддерживается королем «именно в Англии появились превосходные гении, обратившие внимание Европы» и т.д.⁵⁷ Интересно проявилось национальное чувство в рассуждении кн. М.М. Щербатова, примерившего пока еще формирующуюся стадиальную теорию развития человечества к «своей» истории. «Россия не так, как другие страны, – писал он, – которые по степеням из грубейшего невежества выходили; но можно сказать, что вдруг сделала один шаг из самой грубости, какую кочевой народ может иметь, гораздо к великому просвещению, то есть, что принявши вдруг христианский закон, общее с ним приобрел смягчение с ним своих суровых нравов и письмены, которых конечно прежде не имел»⁵⁸. Однако нужно повториться, – историописатели XVIII в. еще были далеки от практики идеализации истории «своего» народа, которая появится в XIX в.

Большая российская национальная история не являлась однородной по способу использования правил научной организации исторической наррации. Как справедливо отмечал С.Л. Пештич, «в свете научных требований нашего времени Щербатов показал себя более здравым историком, не поддавшимся на соблазнительные источники и не разрешимые в ту пору вопросы»⁵⁹, а, например, в тексте «Истории» Ф.А. Эмина можно увидеть явное желание презентировать удовлетворяющую уже не научным требованиям наррацию. В частности, Эмин возмущился мнением «Издателя лоскутка» (так он назвал небольшую учебную книгу по русской истории для детей А.Л. Шлецёра), «называющего тех сумасбродными, которые Рюрика производят от Августа». Такая мысль, продолжает Эмин, «больше дерзка, нежели критическая; оною и себя не пощадил Издатель онаго сочинения»⁶⁰.

В российской культуре во второй половине XVIII в. стали появляться произведения, которые в своем названии имели слово «записки». Среди исторических произведений это, в первую очередь, упомянутое выше издание Екатерины II «Записки касательно рос-

⁵⁷ Hume D. The History of England, From the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 1688: in 6 vol. by David Hume Esq. [Reprint Originally published: London: T. Cadell, 1778]. N.Y.: Liberty Classics, 1983. Т. 6. Р. 454, 531, 541.

⁵⁸ Щербатов М.[М.] История российская с древнейших времен... Т. 1. С. II.

⁵⁹ Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. 3. Л., 1971. Ч. 3. С. 64.

⁶⁰ Эмин Ф. [А.] Российская история жизни всех древних... Т. 1. С. XXI.

сийской истории» в шести частях, предназначенные автором для молодого читателя. С одной стороны, «Записки» Екатерины II имеют признаки большой (полной) национальной истории и учебной книги по национальной истории (книги для чтения), но, с другой стороны, присутствующее в названии слово «записки» делает это историческое произведение близким по своей форме к опытам (очеркам). Эту близость демонстрируют некоторые черты, которые были присущи запискам / заметкам.

Авторы записок / заметок часто рефлексировали выбранную форму презентации материала для читателя. Немец А.Ф. фон Нольде в своих «Notizen» сообщает о наличии определенной неполноты при раскрытии сюжетов, фрагментарности изложения материала⁶¹. Философ и будущий президент США Т. Джефферсон в «Notes on the State of Virginia» предупредил читателя об особой композиции рассматриваемых сюжетов, их несовершенстве из-за недостатка информации⁶². В интеллектуальном пространстве Российской империи близкую рефлексивную о своих «Записках» для читателя дал украинский историописатель Я.М. Маркович, заключивший: «Невозможно, кажется, и требовать, чтобы сей первый опыт трудов моих был без всяких погрешностей и недостатков»⁶³. Таким образом, исторические записки обладают соответствующими форме ограниченностью источниковой базы, композиционной дробностью (из записок), декларируемой незавершенностью проведенного исследования, изложением от первого лица. Указанные черты присущи очерковой форме историописания.

Екатерина II перед своим трудом поставила сугубо практические цели. Историческую нарративную историю она посвятила подрастающему поколению, которому следовало читать «правильные» истории, написав: «Сии записки касательно Российской Истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем Истории Российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными...». При этом, в качестве основной функции истории она указала на ее методическое значение – «она учит добро творить и от дурного остерегаться»⁶⁴.

⁶¹ Nolde A.F., von. Notizen zur Kultur – Geschichte der Geburtshilfe im dem Herzogthum Braunschweig. Erfurt: Henningschen, 1807. S. XVI.

⁶² Jefferson T. Notes on the State of Virginia. London: Burlington-House, Piccadilly, 1787. P. 3 (нумер.).

⁶³ Маркович Я.[М.] Записки о Малороссии, ее жителей и произведениях. Ч. 1. СПб.: при Губ. Правлении, 1798. С. 5-8 (нумер.).

⁶⁴ [Екатерина II] Записки касательно российской истории... Ч. 1. С. I, 1.

Своей идеей, которая легла в основу созданных «Записок», Екатерина II хотела продемонстрировать легитимный характер власти, выражающийся в согласии между властью и обществом. Екатерину II в последующем обвиняли в невнимании к простому народу⁶⁵, в том, что она подготовила «фундаментальное научное сочинение», но «полностью уйти от современности Екатерине-историку не удалось»⁶⁶. Кроме того, что эти замечания, не совсем соответствуют сконструированным Екатериной II социально-политическим практикам средневековой Руси, они еще и являются замечаниям к ней как *историку*. Однако Екатерина II была «*другим*» историком. Не надо искать в ее работе «настоящей истории», это другая, социально ориентированная история (об этом типе историописания, см., ниже). Конечно, дискурсивное поведение историописателя Екатерины II с точки зрения *историка* иррационально, но таковым оно является, когда историк смотрит с позиций идеологии сциентизма, резко отрицательно относящейся к «ненаучной» форме мышления, смотрит сквозь призму «своей» научной истории⁶⁷. Поэтому, признание иной формы историописания дает возможность лучше понять разные «истории».

Выбранная императрицей модель «разумного прошлого» в ее «Записках» заняла высшее место в иерархии правил оформления письма истории. Именно она являлась тем фактором, который способствовал выбору направленности описания российских социально-политических практик. Целью Екатерины было не желание приблизиться к истине, чего можно было достичь посредством соблюдения правил, вырабатываемых зарождающейся классической европейской моделью историографии, а «реализация» своей идеи в прошлом, трансляция посредством формы «записок» этой идеи российскому читателю для формирования в его сознании «правильного» отношения к прошлому и существующей (разумной) власти. Важно также отметить, что четвертая часть произведения императрицы имеет другое самоназвание – «*Опыт* [курсив мой – С.М.]. Знаменитые происшествия второй эпохи российской истории от 862 года по 1224»⁶⁸.

⁶⁵ Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. 2. С.262; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М.: Наука, 1985. С.161.

⁶⁶ Лосиевский И.[Я.] С пером и скипетром // Екатерина II. Российская история. Записки великой императрицы. М.: Эксмо, 2008. С. 22.

⁶⁷ См. об этом подробнее: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. «Историописатель второго плана» в истории // Слава и забвение: парадоксы биографики: сб. науч. статей / отв. ред. Л.П. Репина. СПб.: Алетейя, 2014. С. 13-26.

⁶⁸ [Екатерина II] Записки касательно российской истории... Ч. 4.

Как уже приходилось писать⁶⁹, происхождение «опыта» как вида наррации в европейской культуре следует связать с «Опытами» (“Les Essais”, 1580) М. де Монтеня и «Опытами, или Наставлениями нравственными и политическими» (“Essays, or Counsels Civil and Moral”, 1597) Ф. Бэкона. В первых «опытах» появились черты, которые станут маркирующими для авторов, пожелавших позиционировать свое знание в подобном виде произведения, и узнаваемыми читателем: наличие своей (авторской) субъективности – собственного «испытания» выбранных вопросов⁷⁰, а также краткость, популярность и недостаточность нарративной отделки⁷¹. Указанные черты в дальнейшем будут присущи эссеистике. В XIX столетии В.И. Даль в «Толковом словаре» дал «опыту» очень емкое определение: «Опытном многие писатели называли сочинения свои, не признавая их полными, оконченными»⁷².

Переводчики «Опытов» Ф. Бэкона на русский язык, как само собой разумеющееся, в качестве синонима «опытам» предложили слово «очерки»⁷³. В принципе, это уже превратилось в один из топов российской письменной культуры. Вероятно, «опыт» можно рассматривать как разновидность такого вида историописания, как «очерк»⁷⁴, но «опыты» в дальнейшем, начиная с XIX в. имели меньшее, чем собственно «очерк», распространение в историографической культуре России.

В XVIII в. вид наррации под названием «опыт» занимает важное место, в первую очередь среди исследовательской литературы: естественнонаучной, гуманитарной, философской. Например, произведение французского автора Л. Де Бособра «Essai sur le bonheur, ou réflexions philosophiques sur les biens et les maux de la vie humain» бы-

⁶⁹ См.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Монография и очерк: опыт сравнительного источниковедческого анализа историографических источников // Профессия – историк (к юбилею Л.П. Репиной) / отв. ред. О.В. Воробьева. М.: Аквилон, 2017. С. 343-344.

⁷⁰ Монтень М. Опыты: в 3 кн. / пер. с фр. А.С. Бобович. М.; Л.: АН СССР, 1954-1960. Кн. 1. С. 7.

⁷¹ Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1977-1978. Т. 2. С. 352.

⁷² См.: [Даль В.И.] Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. [2-е изд.]. СПб.; М.: Изд. М.О. Вольфа, 1880-1882. Т. II (И-О). С. 711.

⁷³ См., напр.: в переводе «Посвящения к первому изданию», читаем: «Это и вынудило меня избрать иной род – кратких очерков [выделено мной – С.М.], примечательных скорее содержанием, нежели тщательностью отделки, которые я назвал «Опытами» (см.: Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические... С. 352).

⁷⁴ См.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Монография и очерк... С. 344.

ло переведено на русский язык и издано под названием «Опыт о благополучии или философские рассуждения г. де Бособра о благе и зле человеческой жизни»⁷⁵. Но «опыт» становится и одним из видов историописания. Так, этой формой организации исторического материала воспользовался Вольтер при написании «Опыта по всеобщей истории и о нравах и духе народов от времен Карла Великого и до наших дней»⁷⁶. Выбор мыслителем такого вида историописания был не случайным. Вольтер старался представить собственное *испытание*, пересмотрев уже складывавшуюся европейскую модель всеобщей истории и сформулировав заново ее мировой характер.

Мысли, обращенные к читателю, о форме выбранной наррации, можно найти в «Опыте» (нем.: «Versuch») (о происхождении россиян от араратцев) немецкого автора И.Г. Дрюмеля. Исследователь указывал, что по разбираемому вопросу постарался противопоставить истину заблуждениям⁷⁷. В британской историко-политической литературе этот вид наррации также использовался, – здесь уместно вспомнить работу выдающегося шотландского просветителя А. Фергюсона «Опыт истории гражданского общества»⁷⁸.

Авторы XVIII века объясняли выбор такой формы организации исторического материала рядом причин. П.И. Рычков отмечал, что это первая попытка связно расположить исторический материал о выбранном для исследования объекте (Казанская земля), который «не имеет еще обстоятельной своей истории»⁷⁹. Н.И. Новиков также отметил эту черту: «трудно в первый раз издавать такого рода сочинения» и перечислил некоторые связанные с этой трудностью «погрешности». В итоге, для разбирающегося в формах наррации читателя, автор заключил: «сие то принудило меня в заглавии сея книги написать Опыт исторического словаря о российских писателях»⁸⁰.

⁷⁵ См.: Бособр Л., де. Опыт о благополучии или философские рассуждения г. де Бособра о благе и зле человеческой жизни. СПб.: Имп. Акад. наук, 1791.

⁷⁶ См.: Voltaire F.-M.A. Essay sur l'histoire générale, et sur les moeurs et l'esprit des Nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours: 8 vol. Genève: Cramer, 1761–1763.

⁷⁷ Drümel J.H. Versuch einer critisch-historischen Ausführung, wie die Russen von den Araratensern, als dem ersten Volcke nach der Sündfluth herkommen. Nürnberg, 1744. S. 5 (нумер.).

⁷⁸ Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. Edinburgh: Printed for A. Millar & T. Caddel, MDCCLXVII [1767].

⁷⁹ Рычков П.[И.]. Опыт Казанской истории древних и средних времен. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1767. С. 5-11 (нумер.).

⁸⁰ Новиков Н.[И.]. Опыт исторического словаря о российских писателях. Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий. СПб.: Тип. Акад. наук, 1772. С. 10-11 (нумер.).

Другой автор «Опыта» о происхождении г. Москвы – М.И. Ильинский, давая «предварительное сведение читателю», обратил внимание на то, что многие вопросы «остались закрыты и неизъяснены». Поэтому по примеру некоторых других русских историков «не осмелился я сие сочинение назвать иначе, как только опытом исторического описания»⁸¹. Авторы опытов указывали и на ограниченность своих возможностей при сборе материала: «предлагаю, сколько можно было собрать»⁸².

Предпринявший первую попытку (для начала 60-х гг. XVIII в.) рассмотрения истории России новейшего времени (а по сути – истории Смутного времени) Г.Ф. Миллер – прекрасно понимал, что такая история еще и (мягко говоря) не совсем подходящая для приучаемого, в первую очередь стараниями М.В. Ломоносова, к триумфальному прошлому России сознания россиян. Г.Ф. Миллер собирался продолжить русскую историю с того момента, на котором закончил «Историю» В.Н. Татищев (Миллер был хорошо знаком с его рукописью «Истории», доведенной до конца XVI в. и подготовил ее к изданию). Он начал «Опыт новейшей истории о России» осторожным объяснением, которое призвано было извинить и смягчить не столько научные трудности, сопровождавшие практику написания «Опыта», сколько возможные политические последствия, которые могут случиться в связи публикацией произведения в журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (январь, февраль, март 1761 г., на этом публикация была остановлена). Историк писал: «Вознамерившись описать новейшую Историю о России, которая начинается с правления Царя Бориса Федоровича Годунова и со внутренних безпокойств, изнуривших государство, до благополучного вступления Государя Царя Михаила Федоровича на Российский престол, охотно признаю, что *сие не такое время, которое великолечно представляется мыслям нашим, или которого память достойно бы было выхвалять потомству* [выделено мной – С.М.]»⁸³. Заклучил свое объяснение читателю Г.Ф. Миллер важной для вы-

⁸¹ Ильинский М.[И.] Опыт исторического описания о начале города Москвы, как и по каким причинам она основалась, кем и когда престол великокняжеский туда перенесен; и от чего сей город получил тогда свое возвышение. М.: Тип. А. Решетникова, 1795. С. I-II.

⁸² [Соковкин С.П.] Опыт исторического словаря всех в истинной православной греко-российской вере святою непорочною жизнью прославившихся святых мужах. М.: Тип. И. Лопухина, 1784. С. V.

⁸³ Миллер Г.Ф. Опыт новейшей истории о России // Миллер Г.Ф. Избранные труды; сост., ст., примеч. С.С. Илизаров. М.: Московские учебники и картолитография, Янус-К, 2007. С. 158.

бранной формы историописания (опыт) фразой: «Теперь я должен ожидать, какую *апробацию* [выделено мной – С.М.] иметь будут мои труды...»⁸⁴. «Апробацию» пришлось ждать не долго, вмешательство М.В. Ломоносова остановило дальнейшую публикацию «Опыта» Г.Ф. Миллера.

В.В. Крестинин, представивший историческое произведение в форме опыта воспользовался такой формой наррации, чтобы с позиций рационализма второй половины XVIII в. помочь сформировать местную архангелогородскую идентичность и испытать на примере истории своего локуса одну из важнейших функций практики историописания того времени: согражданам «открыть... недостатки, бывшие в прежние веки, наполненные грубостью и скудостью» и «сим малым трудом» показать «достохвальные к подражанию примеры, верность к престолу, любовь к отечеству и службу»⁸⁵.

Практику *опыта* выбрал для конструирования российской истории и екатерининский вельможа, масон И.П. Елагин. Первоначально, он, как и Г.Ф. Миллер (своим «Опытом новейшей истории») намеревался продолжить «Историю» Татищева (Елагин знал ее опубликованный вариант в 4 кн. до 1462 г.). Начав с 1788 г. писать «Опыт повествования о государях российских, об их царствованиях, от великого князя Иоанна Васильевича третьего всея России самодержца», он довел повествование до 1564 г.⁸⁶ Но затем решил создать новую историческую наррацию – опять в форме опыта, однако уже с древнейших времен (первоначальное название: «Опыт любомудрого и политического повествования о России»⁸⁷) до Ивана III. Таким образом, к своей кончине в 1793 г. он написал 9 частей «Опыта», а посмертно в 1803 г. была издана (его другом А.И. Мусиным-Пушкиным) только первая часть под авторским названием «Опыт повествования о России». В 1819 г. некоторые сановники (в том числе министр духовных дел и народного просвещения А.Н. Голицын) выступили с инициативой продолжить издание «Опыта» И.П. Елагина, но по сути отрицательный отзыв Н.М. Карамзина (к этому времени издавшему первые восемь томов своей «Истории государства российского») не позволил этот план реализовать⁸⁸.

⁸⁴ Миллер Г.Ф. Опыт новейшей истории о России... С. 163.

⁸⁵ Крестинин В. Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа в Севере. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1785. С. 5.

⁸⁶ См.: ОР. РНБ. Ф. IV-34/6.

⁸⁷ См.: ОР. РНБ. Ф. IV-34/1.

⁸⁸ См., об этом: Моисеева Г.Н. «Опыт повествования о России» И.П. Елагина в оценке Н.М. Карамзина // XVIII век. Л., 1989. Вып. 16. С. 104–109.

В начале своего «Опыта» в коротком «Приношении премудрости» («божественной Софии»), И.П. Елагин заметил, что если читающими будет замечено его усердие в писании, то значит можно «занять пользою праздное их время»⁸⁹. А в просторном «Преуведомлении читателю», автор пояснил, что ранее историки, восхваляя государей, составляли «жития героев наших» и вводили их «во храм незабвенной памяти». Но его история отличается от других тем, что в ней читатель может не найти геройские описания государей и небрежное описание народа («славные Государей деяния, а народа с небрежением»). Нельзя, по его мнению, изображать одними красками Владимира Первого и Ивана Грозного, нельзя одинаково осуждать «мятежного Хованского» и «поборствующего по новгородской вольности Борецкого»⁹⁰. В конце «Преуведомления» он уже в извинительной форме снова актуализирует эту мысль: «да не сочтут меня не привыкшие к такому роду сочинений язвителем бывших государей, которые по закоренелому может быть страху и предубеждению, великими Отцами отечества почитаются, а повествования справедливость инако их описует»⁹¹. Елагин решил *испытать* новую модель истории строительства России, вот почему, выбрал историческую наррацию в форме опыта. Это решение Елагин принял в конце XVIII в., когда уже приближалось время появления новой формы национальной истории – национально-государственного нарратива, призванного формировать национально-государственную идентичность. Через два года после получения звания историографа, в 1805 г. автор первого российского национально-государственного нарратива Н.М. Карамзин, в журнальной статье о некоторых «неприемлемых» положениях изданной части «Опыта» И.П. Елагина, написал, что «никто (до времен Татищева) не смел противуречить Российскому Иродоту [летописцу Нестору], никто не смел отвергать истины, принятой праотцами, утвержденной столетиями; никому не приходило на мысль сомневаться, что Волгские Болгары, Жиды от Казар, Паписты и Греки приходили к Великому Князю [Владимиру Святославиичу] с предложениями о принятии вер их, что Владимир посылал десять мужей благоразумных в разные государства для испытания религий...», пока смелая догадка (навеянная Татищевым) не посетила покойного сочинителя «Опыта повествования о России»⁹².

⁸⁹ Елагин И.П. Опыт повествования о России... С. 4 (нумер.).

⁹⁰ Там же. С. VII.

⁹¹ Там же. С. LVI.

⁹² [Карамзин Н.М.] О. Смелая догадка // Вестник Европы. 1805. Ч. 21. № 10. С. 114-115.

Учитывая, что в неопубликованной части «Опыта» И.П. Елагина присутствовали еще и масонские пацифистские рассуждения, подвергавшие, например, сомнению военный триумф российского государства, содержалась защита автором новгородцев от обвинений их со стороны историков изменниками (за нежелание входить в состав Московского государства)⁹³, нетрудно представить, что эти конструкции могли внести противоречия в формирующийся российский исторический мастер-нарратив с содержащимся в нем набором, уже в целом, непротиворечивых героев и антигероев.

Писавший через полвека после И.П. Елагина – в иной исторической культуре, с присущей ей культом государственной истории, А.В. Старчевский четко уловил те черты изданной части «Опыта», которые противоречили утвердившемуся национальному историческому мастер-нарративу. Он отметил, что Елагин «часто с явным ожесточением описывал русских князей, вельмож, духовенство, отечественных писателей и других <...>, отвергал уже многие древние повествования, как например о мщениии княгини Ольги, о приходивших ко Владимиру [Святославичу] проповедниках вер, о посылаемых от Владимира в разные страны для испытания веры и проч.»⁹⁴.

В немецкой и российской книжности XVIII в. близкой к форме опыта выступала еще одна практика изложения исследовательского и учебного материала «*очерк(и)*». Она основывалась на стремлении выделить в поле литературной деятельности форму наррации, в которой *очерчивается* нечто важное. Еще в середине XVIII века В.К. Тредиаковский связал выражение «ограничить очертаниями» с латинским словом «*figura*»⁹⁵. По мнению современных филологов И.В. Ягича и В.В. Виноградова, такая практика письма могла возникнуть в результате перевода на русский язык немецких слов «*Abriß*» и «*Umriß*» (русс. – контур, очертание, начертание, очерк), которые первоначально проникли в среду русских рисовальщиков в XVII в.⁹⁶

В российской очерковой практике историописания второй половины XVIII – 40-х гг. XIX в. в самоназвании книг присутствовало слово «*начертание*». Так, произведение известного немецкого ученого Г. Ахенваля «*Abriß* [выделено мной – С.М.] *der neuen Staats-*

⁹³ См.: ОР. РНБ. Ф. IV-34/5. С. 67, 227 и др.

⁹⁴ Старчевский А.[В.] Очерки литературы русской истории до Карамзина. СПб.: Тип. К. Жернакова, 1845. С. 193.

⁹⁵ Тредиаковский В.К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою: в 2 т. СПб.: Наука, 2009. Т. 1. С. 294.

⁹⁶ Виноградов В.В. История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет «Русский язык»; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: ИРЯ РАН, 1999. С. 434-435.

wissenschaft der vornehmen Europäischen Reiche und Republiken» (1749) в России было издано под названием «*Начертание* [выделено мной – С.М.] истории нынешних знатнейших европейских государств»⁹⁷. Несколько позднее, русский историописатель В.В. Крестинин в «Начертании истории города Холмогор» поставил задачу пересмотра некоторых несостоятельных, по его мнению, выводов о древней торговле, осуществляемой городом, и добавил, что *начертание* «служить может... дополнением Исторических моих «Начатков о Двинском народе»⁹⁸ («Исторический опыт о сельском старинном домостроительстве Двинского народа в Севере»). Авторы начертаний манифестировали такие признаки: 1) краткое (но достаточное для усвоения) собственное изложение⁹⁹, 2) ограниченность рассмотренного вопроса («служить может... дополнением») ¹⁰⁰.

В Европе довольно популярным уже в XVII в. становится такой вид исторических произведений как (*краткое историческое описание* (Beschreibung (нем.)¹⁰¹, Description (фр., англ.)¹⁰², авторы которых старались описать не только прошлое выбранного объекта, но также обращали внимание на его основные признаки: географические, культурные и др. В XVIII веке в период, когда история еще не превратилась в историческую науку (что произойдет в первой половине XIX в.) такая форма презентации неразделенного исторического и географического материала в совокупности с описанием культурных особенностей объектов была очень распространенной. В качестве примера можно привести «Краткое историческое описание Киевопечерской лавры» (1795) С.Г. Миславского¹⁰³.

В российской исторической культуре XVIII века присутствовали исторические произведения научного характера, имевшие в само-

⁹⁷ См.: Ахенваль Г. Начертание истории нынешних знатнейших европейских государств / пер. с нем. Академии Наук переводчик В. Светов. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1779.

⁹⁸ Крестинин В.[В.] Начертание истории города Холмогор. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1790. С. IV-V.

⁹⁹ См.: Ахенваль Г. Начертание истории нынешних знатнейших европейских государств... С. 2.

¹⁰⁰ См.: Крестинин В.[В.] Начертание истории города Холмогор... С. IV-V.

¹⁰¹ См.: Curicken G.R. Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung: Worinnen Von dero Ursprung, Situation, Regierungs-Art, geführten Kriegen, Religions und Kirchen-Wesen außführlich gehandelt wird. Amsterdam; Dantzig, 1687.

¹⁰² См.: Piganiol de la Force J.-A. Description historique de la ville de Paris et de ses environs: 10 т. Paris, 1765; Duncombe J. An Historical Description of the Metropolitcal Churh of Christ, Canterury. Canterbury: Simmons & Kirkby, 1783.

¹⁰³ См.: [Миславский С.Г.] Краткое историческое описание Киевопечерской лавры (2-е изд.). Киев: Тип. Акад. Киевской, 1795.

названии слово «*описание*» (напр.: Байер Г.З. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города, до возвращения оного под Российскую державу» (1734)), а также произведения, которые относятся к социально ориентированному типу исторического знания, имевшие цель конструирования той или иной идентичности. Так, в многотомном «Историческом описании российской коммерции» М.Д. Чулков, рефлексируя о социальной идентичности российского купечества, ставил цель социализировать их осознанием общего прошлого, а для этого познакомить с историей отечественной коммерции. Как он отмечал, до этого времени купечество «хотя бы и желало, но за невозможностью достаточным сведением о торговле нашей пользоваться не могло»¹⁰⁴. Другой автор, А.Г. Левшин, старался своей исторической нарративной укрепить в светских читателях русскую культурно-религиозную идентичность, поясняя, что его тема (история московского первопрестольного Успенского и возобновления других московских соборов) – частная и «легко может наскучить читателям веселых и забавных сочинений». Но, зачем им нужно знать «долготу и высоту египетских колоссов, и подробное описание перемен с ними бывших от самого их основания»? Кроме того, полезно ли тратить время на «изложителей человеческих любомудрий»? ведь намного полезнее читать «истолкователей истинного благочестия, утвердителей христианской веры и защитителей православия»¹⁰⁵.

В структуре исторического знания России в XVIII в. появляются общие для Европы формы организации исторических нарративов, в которых авторы презентировали те или иные вопросы национальной истории. Конечно, требуют исследования еще такие формы историописания, как: *известия* (исторические), *примечания*, в том числе относящиеся к материалам историографических дискуссий, и некоторые другие. Как можно было заметить, большинство историописателей рефлексируют о своей форме подачи истории, тем самым – участвуя в общей культурной коммуникации с читательской аудиторией и с другими авторами. Из рассмотренных видов историографических источников, наибольшее влияние на формирование

¹⁰⁴ Чулков М. [Д.] Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времен до настоящего: в 7 т. [21 кн.]. СПб.: Тип. Акад. наук, 1781–1788. Т. 1. Кн. 1. С. 15–16.

¹⁰⁵ Левшин А.Г. Историческое описание первопрестольного в России храма, Московского Большого Успенского собора, и о возобновлении первых трех московских соборов Успенского, Благовещенского и Архангельского. М.: Тип. Мейера, 1783. С. 9–11 (ненумер.).

национальной русской идентичности в этот период оказывали большие национальные истории и истории, выполненные в очерковой форме (об учебной книге по национальной истории, я пишу ниже), в которой было легче позиционировать свой (в том числе и групповой) взгляд на национальное прошлое, прикрываясь при этом шитом «ограниченности» / «незавершенности» выполненной наррации.

Во второй половине XVIII в. российской исторической культуре происходит активное строительство национального исторического мастер-нарратива, «притираются» и становятся в общем непротиворечивыми периоды русской истории, наборы государствообразующих событий, герои и, конечно, антигерои. В этой связи, любопытным примером процесса такой «притирки» служит практика конструирования дославянского прошлого на территории будущей России. Включение сюжетов со скифской, сарматской и историей других древних народов в национально-государственных нарративах XIX века станет само собой разумеющимся, но, в конце 60-х гг. XVIII в. кн. М.М. Щербатов еще не был уверен в правильности такого шага. Помещая этот сюжет в свою «Историю», он вынужден был объяснить этот шаг, так: «...для удовольствия читателей я за полезное рассудил [выделено мной – С.М.] начать мой труд повествованием о старобытном состоянии обладателей России, когда еще они под именем скифов, сарматов и других <...> народов знаемы были»¹⁰⁶.

Несмотря на то, что в последующем специалисты по истории русской истории больше внимания уделяли историкам XVIII века, которые позиционировали научность в своих произведениях, среди русских писателей и читателей второй половины XVIII столетия, да и последующего времени, большей популярностью пользовались истории, авторы которых ставили отнюдь не научные цели и позиционировали иной тип исторического знания.

III. Спор разных типов исторического знания в XVIII веке

В XVIII веке вместе с появлением научного подхода к истории и начала формирования классической модели европейской исторической науки начинается сосуществование как минимум двух типов истории: научного и социально ориентированного. Это объясняется тем, что вместе с развитием научного знания, удовлетворявшего потребность в строгом знании о прошлом, существовала (и существует) потребность в специальном конструировании ориентированного на удовлетворение потребностей социума исторического знания, не

¹⁰⁶ Щербатов М.[М.] История российская с древнейших времен... Т. 1. С. III.

базирующегося на исторической науке (но особым образом востребующего ее фактологию)¹⁰⁷. Так как оба типа исторического знания выполняли в европейских обществах одну задачу – конструирование национальной (а потом национально-государственной) истории и ее трансляцию в общественное сознание, то нередко возникали дискуссии и даже споры между их носителями.

Один из самых ярких споров по вопросам русской истории произошел между профессиональным историком (если такая характеристика уместна для XVIII столетия) Г.Ф. Миллером и историком-любителем М.В. Ломоносовым.

Исторические произведения М.В. Ломоносова представлены разными формами историописания, имевшими целью строительство национальной идентичности, и как виды историографических источников их можно отнести к *материалам историографических дискуссий* – «Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера “Происхождение имени и народа Российского”», к *большой (полной) национальной истории* (осталась незаконченной) – «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года» и к *учебной книге по национальной истории* (книга для чтения) – «Краткий российский летописец». Правда, указанное последним произведение Ломоносова не обязательно предназначалась для детей, по крайней мере, такую цель автор не ставил. Не увидел в этом произведении учебную книгу и современник Ломоносова Вольтер, назвав её «странной запиской»¹⁰⁸. Учебной книгой краткую национальную историю Ломоносова сделала русская культура 1760–1770-х годов.

Исторические произведения Миллера представляли собой научный тип историописания. Это такие историографические источники, как: *научное сообщение* («ученое слово»¹⁰⁹) «Происхождение народа и имени Российского», *научное исследование* (историко-этнографического и географического характера) «Описание Сибирского царства и всех произшедших в нем дел», «О народах издревле в России обитавших», *очерк* (научный) «Опыт новейшей истории о России», *научная статья* «О первом летописателе Российском преподобном Несторе,

¹⁰⁷ Подробнее об этом, см.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание: монография. Орехово-Зуево: МГОГИ, 2013.

¹⁰⁸ Прийма Ф.Я. Ломоносов и «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера // XVIII век: Сборник 3. М.; Л.: АН СССР, 1958. С. 181.

¹⁰⁹ Так назвал его автор – Г.Ф. Миллер (см.: [Миллер Г.Ф.] О народах издревле в России обитавших. СПб., 1773. С. 123.

о его летописи и о продолжателях оных», «Предложения, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве» (публицистического характера) и др.

В своей первой наррации по национальной истории «Краткий российский летописец» М.В. Ломоносов постарался презентовать читателю героическую историю предков, изобразить «Российских предков славных геройски подвиги»¹¹⁰. В это произведение автор включил исторические конструкции о славянах «с королем Пилименом бывши в Трое», о происхождении варягов-россов от (родственных славянам) роксолан, о городе Славенске (предшественнике Новгорода), построенном легендарным князем Славеном и т.д.¹¹¹ Книга Ломоносова получила довольно большое распространение, в первую очередь в практике образования.

В своих исторических работах М.В. Ломоносов использовал в основном позднесредневековые московские, украинские и польские сочинения, а Г.Ф. Миллер, в большей степени, древнерусские летописи и иностранные исторические источники. Рефлексируя о том или ином историческом источнике или историческом произведении, Ломоносов полагался не на критерий возможной «достоверности», базирующийся на практике «критики текста», которая явилась порождением классической модели рациональности, а исходил из «полезности» их сообщений для конструирования *положительного исторического образа России*. Он мог заметить об историко-ведческой процедуре, проведённой Миллером: «...Господин Миллер сию летопись (Новгородский летописец XVII в. П.Н. Крекшина¹¹² – С.М.) за бабьи басни почитает»¹¹³. Таков был его ответ на замечание Миллера об источнике, который использовал Ломоносов: «Новгородскому летописцу, в котором написано, будто Новгород построен во времена Моисеева и Израильской работы (там указан 3099 г. от сотворения мира. – С.М.), никто поверить не может...»¹¹⁴.

¹¹⁰ Ломоносов М.[В.] Краткий российский летописец с родословием. СПб., 1760. С. 3 (нумер).

¹¹¹ Там же. С. 4-6.

¹¹² См.: Лурье Я.С. История России в летописании и в восприятии Нового Времени // Лурье Я.С. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 43.

¹¹³ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа Российского» // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.: в 11 т. Т. 6. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии, 1747–1765 гг. / гл. ред. С.И. Вавилов и др.; АН СССР. М.; Л.: Акад. наук СССР, 1952. С. 27.

¹¹⁴ Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени Российского. – СПб.: Примп. Акад. наук, 1749. – С. 14, 52.

Для Ломоносова было вполне очевидным сравнение современных исторических сочинений со средневековыми хрониками и античными произведениями. Он считал, что работа Миллера не основательнее сочинений «европейских славных авторов [древних авторов]». Ломоносов не старался отличить исторические источники от исторических сочинений, о чем свидетельствуют его замечания: «Христофор Целларий примечает», «Страбон говорит», «Несторово, Стриковского и других авторов свидетельство», «Киевского Синописа автор упоминает» и так далее, а самого Миллера он противопоставил летописцу Нестору, Стрыйковскому (польский хронист XVI в.) и «Синопису» (1674 г.)¹¹⁵. Миллер же пытался провести различие между средневековыми источниками и исторической литературой, называя авторов первых или «летописателями», или «писателями средних времён», но часто и позднесредневековых хронистов, и своих современников (собратьев по цеху) именовал «историками», например: «Стриковский, славный польский историк»¹¹⁶. Исследователи, писавшие позже Миллера, тоже еще не всегда задавались вопросом о терминологическом значении типов историописательства. Так, кн. М.М. Щербатов в одном предложении мог назвать «летописателем» и позднесредневекового хрониста, и историков XVIII века. «Российские летописатели, – написал он, – последуя, что касается до хронологии, польскому летописателю Стриковскому...»¹¹⁷.

Г.Ф. Миллер применял приемы критики источников, определяя их «достоверность» не просто при помощи рациональной процедуры «возможности произошедшего», но и исходя из определения времени возникновения исторического источника, отдавая, например, предпочтение летописи Нестора перед более поздним сочинением московской поры, подчеркивая: «Новгородский летописец ошибочно называет Гостомысла Князем, так как Нестор пишет о нем как о старейшине»¹¹⁸. В целом положительно отзываясь об исследовательской практике В.Н. Татищева, который слышал списки летописей и сводил в один текст, Миллер все-же отметил: «с довольною ли осторожностью сложены разные речения списков и всегда ли справедливейшие из них выбраны»¹¹⁹. Применяемый Миллером подход к ис-

¹¹⁵ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 19-42.

¹¹⁶ Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996. С. 5, 16, 355; Его же. О народах издревле в России обитавших. СПб., 1788. С. 32-36.

¹¹⁷ Щербатов М.[М.] История российская... Т. 1. С. 116.

¹¹⁸ Миллер Г.Ф. Происхождение народа... С. 52.

¹¹⁹ Миллер Г.Ф. О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оныя // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России... С. 6.

торическим источникам вполне вписывался в практику современной ему рационалистической историографии. Например, почти в эти же годы известный французский ученый Н. Фрере советовал больше доверять тем источникам, авторы которых были более близки ко времени описываемых исследователем событий¹²⁰.

Можно заметить разницу в *документальной фазе* историографических операций и в *объяснительных* стратегиях оппонентов. Ломоносов не всегда следил за логикой своего объяснения и не сверял между собой те произвольные изменения, которым подвергал сообщения исторических источников, например, заменяя летописных «старцев градских» на «старых городских начальников»¹²¹, т.е. княжеских чиновников. Пытаясь отстоять один из элементов старой московской культуры от нападков рационалистической историографии Ломоносов упорно защищал и свою источниковую базу, заявляя: «сего древнего о Славенске предания ничем опровергнуть нельзя», и, несмотря на то, что больше никакие исторические источники этого не подтверждают, подчеркивал, что сообщение о Славенске и Русе «само собою стоять может, и самовольно опровергать его в предосуждение древности славенороссийского народа не должно»¹²². Надо заметить, что уже В.Н. Татищев вполне определенно отзывался об авторе сочинения, на которое ссылается Ломоносов: «Колико сей сказатель, или паче враль, вероятия достоин, я толковать оставляю, но довольно того, что он никакого древнего свидетельства на то не покажет»¹²³.

Напротив, Миллер требовал точности в восстановлении исторических событий, стремился избегать всего, что ни по каким историческим известиям доказано быть не может. Не создавая крупных обобщений, он обращал внимание на любое сообщение источников и подчеркивал: «Должность истории писателя требует, чтоб подлиннику своему в приведении всех <...> приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается, и

¹²⁰ См.: Fréret N. Sur l'origine & le mélange des anciennes Nations, & sur la manière d'en étudier l'histoire // Histoire de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, avec les Mémoires de Littérature tirés des Registres de cette Académie, depuis l'année MDCCXLIV jusques et compris l'année MDCCXLVI. Vol. XVIII. P., 1753. P. 51.

¹²¹ См.: Ломоносов М.[В.] Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1766. С. 113.

¹²² Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 39.

¹²³ См.: Татищев В.Н. История Российская с древнейших времен... Кн. 1. Ч. 2. С. С. 426.

здоровое рассуждение у читателя вольности не отнимает»¹²⁴. «Здоровое рассуждение» позволяло Миллеру с рационалистических позиций объяснять некоторые места исторических источников, как, например, летописное сообщение о «призвании варягов», которому он не стал полностью доверяться. Отказавшись от общепринятого взгляда, что варяжские князья были приглашены в Новгород на княжение, исследователь указал: «Но не безрассудно ли, что вольный народ недавно еще пред тем угнетение от чужой власти чувствовавший добровольно выбирает себе государя иностранца». Нет, братьев-варягов пригласили не властвовать, а для защиты от опасности¹²⁵.

У Миллера мы находим рационалистическое объяснение процесса градостроительства; древнерусские города строили не легендарные герои, а конкретные славянские племена, которым они и принадлежали: «Дреговичи построили Дорогобуж», кривичи Смоленск, «полочане – Полоцк», «главный Древлянский город был Коростень» и т.д.¹²⁶ Напротив, Ломоносов нередко ход исторических событий объяснял в обычных для общественного сознания антропоморфных категориях. Он упрекал Миллера за то, что тот «упомяновения не удостоил» первых легендарных градостроителей, добавив, что «надлежало бы ему, предложив о Славене, Русе, Болгаре, Комане, Истере <...> и купно сообщить свое мнение, а не так совсем без основания откинуть»¹²⁷. Русский ученый критиковал Миллера за то, что тот «опровергает мнение о происхождении от Мосоха [внука библейского Ноя] Москвы»¹²⁸. Через некоторое время даже А.П. Сумароков (литературный оппонент Ломоносова) в VII явлении комедии «Ядовитый», высмеет писателей, веривших в происхождение Москвы от Мосоха, написав, что они «разинув рот слушали те твои похождения, которые тебе пригрелись во сне и историю о Мосохе, рассказываемою тобою так ясно и точно, как бы у него был наперсником»¹²⁹.

Таким образом, *фаза объяснения* в историографических операциях М.В. Ломоносова и Г.Ф. Миллера была разной. То же можно

¹²⁴ См.: Миллер Г.-Ф. Описание Сибирского царства и всех произшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена. СПб., 1750. Кн. 1. С. 121.

¹²⁵ Миллер Г.Ф. О народах издревле в России обитавших... С. 91, 102.

¹²⁶ Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени Российского... С. 18.

¹²⁷ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 38-39.

¹²⁸ Там же. С. 176.

¹²⁹ Сумароков А.П. Ядовитый, комедия // Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, покойного Действительного Статского советника, Ордена Св. Анны Кавалера и Лейпцигского ученого собрания члена, Александра Петровича Сумарокова: в X ч. М.: Тип. Н. Новикова, 1787. Ч. V. С. 141-178.

сказать о *литературной фазе* историографической операции. Нарративная и риторическая обработка исторического дискурса подчинялись у них разным требованиям. У Миллера они служат объяснению исторических событий, у Ломоносова литературным, риторическим задачам. Он даже советует Миллеру «древних латинских историков необходимо читать должно, а следовательно, и штилю их навывучать»¹³⁰, и труд историка не отделяет от труда писательского.

М.В. Ломоносов уделял пристальное внимание красочности своего рассказа, торжественности стиля описания важных событий. По некоторым примерам видно, что он использовал понравившиеся ему речевые обороты из чужих текстов, незначительно их обрабатывая и подчиняя нуждам своего письма истории. Так, сравнение Вступления к «Древней российской истории» Ломоносова и Proemium (вступления) к «Методу легкого познания истории» Жана Бодена предоставляет возможность заметить такую дискурсивную операцию. Слова русского ученого «Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы...?», ни что иное как перефразированная мысль французского историописателя второй половины XVI – начала XVII в. о том, что если люди, награжденные любознательностью наслаждаются даже баснословными рассказами, то какую радость они испытают перед правдивыми фактами?¹³¹

В этой связи стоит обратить внимание на интересный вывод Г.Ч. Гусейнова о риторике М.В. Ломоносова. По замечанию ученого, тот подходил к построению текста точно так, как к строительству своей химической лаборатории или физическому эксперименту, организуя текст в соответствии с точно поставленной целью. Это была система подготовки требуемого эффекта. Гусейнов замечает, что еще в своем учебнике «Риторика» (1748 г., на который историки не обращают должного внимания) Ломоносов настаивал на единых правилах повествования и для эпических поэм и для исторического сочинения, а после них он сразу дал правила построения притчи и басни¹³².

Иной подход для выявления «риторичности» и «научности» в историческом письме XVIII в. предложили Г.В. Можяева и Н.А. Мишанкина. Проведя лингвистический анализ текстов двух историописателей – М.В. Ломоносова («Слово похвальное блаженным памяти

¹³⁰ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 24.

¹³¹ См.: Bodini Ioannis. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Genevae: Apud Iacobum Storer, M.DCX [1610]. P. 17.

¹³² Гусейнов Г.[Ч.]. Некоторые особенности риторической практики М.В. Ломоносова // Scando-Slavica. 1994. Т. 40. P. 88-112.

Государю Императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 1755 года») и И.И. Голикова («Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России»), они пришли к выводу, дополняющему мысль, высказанную Г.Ч. Гусейновым. Если текст Голикова по функционально-стилистической отнесенности принадлежит к информативно-научному стилю, то текст Ломоносова относится к публицистическому жанру, связанному с эмоциональным моделированием информации, где практически «все синтаксические единицы... носят оценочный характер»¹³³.

Возвращаясь к историческому дискурсу Ломоносова и Миллера, следует отметить, что именно в историографической операции первого ярко проявилось сочинительское его. Он превратил практику отсылки на источники, историческую литературу и их авторов в полемическую игру с оценочными высказываниями. Последнее наглядно показывает текст его известных «Замечаний» на работу Г.Ф. Миллера: «Миллер свои мнения утверждает <...> весьма неприлично», «весьма несправедливо и дерзновенно», «без всякого успеху», «весьма смешным образом», «говорит весьма предерзостно и хулительно», «равно как на показ для смеху». О Г.З. Байере русский учёный заметил, что тот «впал в превеликие и смешные погрешности», «не умнее сказал он», «сии Байеровы перевертки», «он в таком своем исступлении или полоумстве», похож на «некоторого идольского жреца, который, окулив себя беленою и дурманом, <...> дает сумнительные, темные, непонятные и совсем дикие советы» и так далее¹³⁴. В письменной полемике он демонстрировал риторическую, отличную от научной практику ведения спора. Например, замечая оппоненту, что описание Нестором древлян (которые, как известно по ПВЛ жили «звериным обычаем») имеется «только в искаженной летописи Нестора. Ведь даже иноземные писатели признают, что славяне отличались добрыми нравами»¹³⁵. Кроме отношения к полемике, замечание М.В. Ломоносова демонстрирует еще и его стиль отбора сюжетов, подлежащих забвению.

Практика отсылки на авторов исторических сочинений его оппонента Г.Ф. Миллера была для научного стиля вполне корректна.

¹³³ Можаяева Г.В., Мишанкина Н.А. Русская историография второй половины XVIII века: опыт историко-лингвистического анализа // Гуманитарная информатика. 2005. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-istoriografiya-vtoroy-poloviny-xviii-veka-opyt-istoriko-lingvisticheskogo-analiza>.

¹³⁴ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 19-42.

¹³⁵ Ломоносов М.В. Замечания на ответы Миллера // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т. 6. – С. 62.

О средневековых книжниках он замечал: «... Многие писатели употребляли вольность по своему рассуждению иное прибавить, а иное выкинуть». О сочинениях русских историописателей, историограф заключал: «...Преизрядныя сочинения покойнаго господина тайного советника Василия Никитича Татищева», или «... Искусством и прилежанием подобной господину советнику Рычкову» и т.д.¹³⁶

Таким образом, историографические операции оппонентов были разными, неодинаковой была и рефлексия об историческом письме (история положительных, воспитательных примеров – Ломоносов; история сама по себе, не зависящая от практических задач – Миллер). Оказались разными и типы внутридисциплинарной (социальной) коммуникации (слабо аргументированный дискурс с оценочными высказываниями в адрес референтов – Ломоносов; аргументированный дискурс с выявлением компетенции референтов – Миллер). В основе спора лежало разное понимание цели историописания, желание позиционировать разные типы исторического знания.

В литературе уже много писалось о том, что скорее следует отнести литературный стиль М.В. Ломоносова не к начинающему господствовать на европейском, в том числе российском культурном пространстве классицизму, а к предшествовавшему ему барокко. Еще известный советский литературовед Г.А. Гуковский отделил русского ученого от классицизма. М.В. Ломоносов был последним великим представителем европейской традиции культуры Возрождения. «Он воспринял традиции Ренессанса через немецкую литературу барокко, явившуюся в свою очередь наследницей итальянского искусства XV века и французского XVI века. Патетика ломоносовской оды, ее грандиозный размах, ее напряженно-образная, яркая метафорическая манера сближает ее именно с искусством Возрождения», писал ученый¹³⁷. Этот вывод был поддержан другими исследователями, а Г.Н. Моисеева нашла в произведениях М.В. Ломоносова черты «не свойственные рационалистической системе классицизма и сближающие с барочной усложненностью»¹³⁸.

Согласимся с тем, что в творчестве М.В. Ломоносова присутствовали черты барочной культуры. Эти черты несложно вычлени-

¹³⁶ Миллер Г.Ф. О первом летописателе Российском... С. 5; Его же. Предложения, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве // Там же. С. 16; Его же. О народах издревле в России обитавших... С. 32-36.

¹³⁷ Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: учеб. для высш. учебн. заведений. М., 1939. С. 108.

¹³⁸ См.: Моисеева Г.Н. Ломоносов // История русской литературы: в 4 т. Л.: Наука, 1980. Т. 1. С. 529-530.

и в его историописании. Можно показать привязанность М.В. Ломоносова к московскому и польско-украинскому историческим текстам XVI–XVII вв. и на этом заключить, что русский ученый и некоторые другие писатели истории XVIII века относились к практике историописания иначе, нежели было принято в рамках утверждавшейся рационалистической историографии. Но возникает вопрос: почему исторические работы М.В. Ломоносова пользовались определенной популярностью в обществе, которое уже переросло барокко и причалось к вкусу классицизма, а также рационализма?

Если в литературе М.В. Ломоносов и был последним представителем европейского Возрождения, то в историческом дискурсе его голос был не одинок. Не только русский ученый с почтением относился к античной историографии и советовал учиться у древних, но и некоторые другие европейские историописатели. Современный исследователь британской историографии XVIII в. М. Филлипс отмечает, что в середине и второй половине XVIII в. одним из известнейших защитников классической (античной) традиции в историографии был известный ученый А. Смит¹³⁹. Французский современник М.В. Ломоносова и А. Смита маркиз Д'Аргенсон указывал, что у современных историков нет достаточного уважения к правде, в их сочинениях проявился «упадок (decadence) человеческого разума», поэтому идеалом историописательства должны являться древние – Тацит, Ксенофонт, Полибий и другие¹⁴⁰. Под «упадок» французский историописатель подводил рационалистическую историографию и проникновение философских теорий в исторический дискурс. Вспомним, что почти в это самое время Вольтер связывал историческое письмо со временем и обстоятельствами его появления. Теоретизируя над историей, он указывал, что метод и стиль написания у Тита Ливия тяжел, его разумное красноречие соответствует величеству Римской республики, а «почти все, что рассказывает Геродот – баснословно (est fabuleux)»¹⁴¹.

Доверие к древнегреческим и древнеримским авторам и, напротив, критика средневековых книжников и современных авторов являлись чертой культуры Возрождения. Эта связь как нельзя лучше го-

¹³⁹ Phillips M.S. Society and Sentiment... P. 39, 64.

¹⁴⁰ Argenson de, M., Le Marquis. Reflexions sur les historiens François et sur les qualités nécessaires pour composer l'histoire // Memoires de l'Académie des Incriptions. - T. XXVIII. – P., 1761. - P. 628.

¹⁴¹ [Voltaire de] Histoire // Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de Gens de Lettres. - T. 8 (H-IT). – Neufchastel, 1765. – P. 225, 222.

ворит в пользу присутствия в историческом сознании М.В. Ломоносова барочных форм, но на его отношение к истории влияла не только культура барокко. В период начала строительства национальных государств актуализируется тип исторического знания, тесно связанный с общественным сознанием и выполнявший практические задачи конструирования национального прошлого, а также контроля над национальной памятью. Его истоки уходят в эпоху Ренессанса в Западной Европе, а на её востоке в то же самое время книжники подводят идеологический фундамент под строительство Московского государства. По мнению редакторов третьего тома «Оксфордской истории историописания», в европейском интеллектуальном пространстве Позднего Средневековья и Раннего Нового времени уже проявляются яркие не только политические, но даже и национальные черты, в первую очередь, в историописании Западной и Северной Европы, особенно в Англии, Испании, Франции и России¹⁴².

В XVII – начале XVIII в. у М.В. Ломоносова было немало предшественников в западноевропейской, а также в западнославянской и даже южнославянской и восточнославянской исторической мысли. Его европейские современники с чисто практическими целями создавали исторические нарративы. Были и последователи (намного менее знаменитые) и в российской историографии. Таким образом, практика историописания, ориентированная на политические вкусы общества в XVIII в. распространяется по всей Европе¹⁴³.

Представители этого типа исторического знания изучали историю не ради нее самой, а для объяснения настоящего и преследовали цель конструирования и/или «изобретения» национального прошлого¹⁴⁴. Делая предмет своих изысканий прошлое, они транслировали его в современную им жизнь для поучения читателя. Так, в шотландской истории, как замечает В.Ю. Апрыщенко, первая половина XVIII в. – «это период национализма и антикваризма, точнее национализма принимающего форму антикваризма»¹⁴⁵. Интересно отме-

¹⁴² См.: Rabasa J., Sato M., Tortarolo E., Woolf D. Editors' Introduction // *The Oxford History of Historical Writing... Vol.3. : 1400-1800*. P. 12.

¹⁴³ См.: Whittaker C.H. *The Autocracy Among Eighteenth-Century Russian Historians // Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / ed. by Thomas Sanders*. N.Y., 1999. P. 18.

¹⁴⁴ Verschaffel T. *The Modernization of Historiography in 18th-century Belgium // History of European Ideas*. 2005. Vol. 31. No. 2. P. 135-146.

¹⁴⁵ Апрыщенко В.Ю. *От Просвещения к романтизму: шотландская антикварная традиция и поиски национального прошлого // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / под ред. Л.П. Репиной*. М: «Кругъ», 2008. С. 555-557.

тить, что эту же тенденцию в русской культуре отмечал П.Н. Берков, подчеркнувший, что интерес к историческому прошлому России в XVIII в. был связан именно с развитием русского национализма¹⁴⁶.

В данном случае национализм как культурная форма, присущая сознанию европейцев Нового времени, не несёт в себе никакой оценочной характеристики. В России, и в первую очередь, именно у М.В. Ломоносова мы находим желание организовать определенную русскую национальную память. Он защищал и оберегал национальное прошлое от «хулительства», заявляя, что в истории «не должно быть ничего такого, что бы российским слушателям было противно»¹⁴⁷. Он конструировал прошлое при помощи блоков из древней и средневековой истории, выбирал примеры положительного образа России из московской и польско-украинской позднесредневековой литературы, чтобы «соблюсти похвальных дел должную славу». М.В. Ломоносов не мог к прошлому подходить «нейтрально», как того начинала требовать зарождающаяся историческая наука. Значит, спор с ее представителями был неминуем.

Риторичный стиль написания истории М.В. Ломоносовым – это лишь внешняя, барочная литературная обработка конструируемого им текста, а выбранная практика отношения к историческим источникам – не случайная, а вполне отрефлексированная. Она вовсе не говорит о том, что Ломоносов, как писал П.Н. Милоков, оказался «ниже» уровня, который демонстрировал В.Н. Татищев¹⁴⁸. Ведь даже имевший меньше отношения к практике занятий историей, чем М.В. Ломоносов, писатель А.П. Сумароков смог посмеяться над теми, кто уверовал в сообщения польских и украинских позднесредневековых сочинений о Мосохе и Москве.

Здесь уместно обратить внимание на ряд примеров восприятия подходов к описанию прошлого М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером некоторыми современниками, российскими просвещенными читателями – авторами, не принадлежавшими к цеху историков, но попробовавшими своё перо на ниве историописательства. Так, академик В.К. Тредиаковский (1703–1769) раскритиковал один из исторических источников, который помогал М.В. Ломоносову выстраивать «доисторическое» прошлое славян (летопись Крекшина), напи-

¹⁴⁶ Берков П.Н. Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII в. // XVIII век: Сборник статей и материалов. М.; Л., 1935. Вып. 1. С. 366–367.

¹⁴⁷ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 196–197.

¹⁴⁸ См.: Милоков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. М.: Тип. М.Н. Кушнерев и К^о, 1897. С. 102–103.

сав, что сообщение о строительстве городов славянами в 3099 г. от сотворения мира «есть не право»¹⁴⁹. Напротив, известный правовед (первый профессор права в Московском университете) Ф.Г. Дильтей (1723–1781), совершенно не русский и приглашенный в Россию хлопотами Г.Ф. Миллера, российскую древность представил так же, как М.В. Ломоносов, начав с легендарного князя Славена и со строительства славянами городов в III тыс. до н.э.¹⁵⁰ Отставной военный Ф.И. Дмитриев-Мамонов (1727–1805) свой исторический опыт (так он сам указал) писал уже на основании сюжетов, как Ломоносова, так и Дильтея (правда, рядом с их именами он поставил еще имя летописца Нестора), а поэтому древность славян он начал описывать с библейского Мосоха¹⁵¹.

Скандално известный поэт И.С. Барков (1732–1768), одно время работавший переписчиком у М.В. Ломоносова и под его влиянием полюбивший исторические штудии, на основе его же «Древней российской истории» составил «Краткую российскую историю» (она вошла в издание «Сокращенной универсальной истории» Г. Кураса), в которой не последовал за «баснословием» оригинала и начал изложение российского прошлого с последних веков первого тысячелетия н.э.¹⁵² Наконец, другой известный общественный деятель и архангелогородский историописатель (земляк Ломоносова) В.В. Крестинин (1729–1795), под влиянием рационализма описывая историю г. Холмогоры, критиковал за неточность «догадок» и Миллера, и Ломоносова¹⁵³. Таким образом, не обязательно нужно было быть русским,

¹⁴⁹ Тредиаковский В. [К.] Три разсуждения о трех главнейших древностях Российских, а именно: О первоначалии словянского языка перед тевтоническим. О первоначалии росссов. О варягах – руссах славянского звания, рода и языка. СПб., 1773. С. 119.

¹⁵⁰ Дилтей Ф.Г. Первые основания Универсальной истории с сокращенною хронологиюю в пользу обучающегося Российского дворянства: в 3 ч. М., 1763. Ч. 2. С. 317.

¹⁵¹ [Дмитриев-Мамонов Ф.И.] Хронология, переведенная тщанием сочинителя Философа дворянина, из науки, которую сочинил г. де Шевиньи, дополнил г. де Лимьер для учения придворным, военным и статским знатным особам, с прибавлением к тому Китайской хронологии, подражая Лексикону г. Морери, и Российской хронологии, подражая сокращенной Российской истории г. Ломоносова, начальным семью книгам г. Эмина и несторовой летописи: в 2 ч. М.: Н. Новиков и К^о, 1782. Ч. 2. С. 68-69.

¹⁵² [Барков И.С.] Краткая российская история // Сокращенная Универсальная история содержащая все достопамятные случаи, с приобщением краткой Российской истории. СПб., 1762. С. 357.

¹⁵³ См.: Крестинин В. [В.] Начертание истории города Холмогор. СПб.: Имп. Акад. наук, 1790. С. III-V.

чтобы принять патриотический настрой исторического письма Ломоносова и, напротив, можно было писать «срамные оды», пересыпанные русской ненормативной лексикой, любить свой край, посвящая ему все творческие силы, и при этом сделать выбор в пользу рационалистической позиции в историческом дискурсе.

О полемике Ломоносова и Миллера верно заметил А.Б. Каменский: дело «было именно в понимании научной истины и её значеня». Это был спор не только о норманнской проблеме. Это был спор о существовании и назначении истории, о роли историка и позиции двух ученых в этом вопросе были диаметрально противоположными¹⁵⁴. Не лишним будет напомнить, что еще до начала известного спора Ломоносов критиковал Миллера за некоторые места в его «Истории Сибири» (например, грабежи отрядом Ермака коренных сибирских народов¹⁵⁵), которые по отношению к героям национального прошлого «нескольким похулением написаны»¹⁵⁶. Русский ученый не мог допустить, чтобы такое прошлое помещалось в историю.

Мы подошли к проблеме *целесолагания истории*, которая, как можно догадаться, не обязательно связана с профессионализмом. Так, писателю А.П. Сумарокову импонировал тот подход к истории, который предлагала рационалистическая историография, и перед своими немногочисленными историческими опытами он ставил цель отличную от той, которую демонстрировали труды М.В. Ломоносова. Если практика изучения истории у Сумарокова несла в себе наивный рационализм, то его целесолагание близко к миллеровскому. Сумароков писал: «...во всякой Истории надлежит писать истину; дабы человеки научилися от худа отвращаться и к добру прицепляться. Историк не праведно хулы и хвалы своему соплетающий отечеству, есть враг отечества своего; и бывшее худо и бывшее добро общему наставлению и общему благоденствию служит. Не полезно вымышленное повествование, о ком бы оно ни было. И вредно ложная История тому народу, о котором она: ежели она тем народом допущена или не опровержена, к ослеплению читателей»¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Каменский А.Б. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783) // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России... С. 384.

¹⁵⁵ Интересно, но в советской историографии Г.Ф. Миллера будут критиковать за то, что он пытался скрыть «жестокие методы колонизации». – См.: Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. I. С. 54.

¹⁵⁶ См.: Протокол Исторического собрания 3 июня 1748 г. // Библиографические записки. 1861. Т. III. № 17. С. 515–517.

¹⁵⁷ Сумароков А. [П.] Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году в месяце маии. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1768. С. 48.

В конце прошлого века Ю.В. Стенник в своем исследовании исторического творчества А.П. Сумарокова привел опубликованное писателем в 1759 г. интересное замечание, словно специально заостренное против ломоносовской модели историописания: «Никто не будет оуждать сочинителя слова похвального в том, что он Героя своего всеми добродетелями, всеми дарованиями украшает, не упоминая его погрешностей. Напротив того, ежели историк, подражая сочинителю слова похвального, подобное употребит ласкательство или, последуя стихотворцу, станет рассказывать превращения, не будет ли сочинение его баснею, без стоп и без рифм составленною»¹⁵⁸.

Целеполагание М.В. Ломоносова иное. Что «соплетать», а что «не соплетать» у него подчинялось формуле «не предосудительно ли славе российского народа будет»¹⁵⁹. Свою роль историописателя он оценивает как великий труд – «велико есть дело». Он прямо говорит, что его задача не просто повествование о прошлом, а конструирование национальной идентичности посредством соединения прошлого и настоящего: «преноса минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долгою времени разделила»¹⁶⁰. У него присутствует полная уверенность, в том, что, какой он сконструирует историю своего отечества, такой она и будет.

М.В. Ломоносов, конечно, говорит об объективности: «твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то целую сил возможность», но его практическое отношение к истории ставило «истину» в зависимость от иного – «соблюсти похвальных дел должную славу»¹⁶¹. Ученый не считал приемлемым, чтобы русский читательзнакомился с периодами истории своего государства, разрушающегося под воздействием внутренних смут и, поэтому, привлекал савонников к запрету публикации такой истории¹⁶². Представляется отнюдь не случайным, что при подготовке его работы «Древняя российская история» к изданию А.Л. Шлёцер вынужден был откорректировать обращение «К читателю» и вместо слов о том, что Ломоносов собрал «всё [здесь и далее выделено мной – С.М.] к объяснению

¹⁵⁸ Стенник Ю.В. Сумароков – историк // XVIII век. /отв. ред. Н.Д. Кочеткова. СПб., 1996. Сборник 20. С. 29.

¹⁵⁹ Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера... С. 41.

¹⁶⁰ Ломоносов М.[В.] Древняя российская история...С. 3-4.

¹⁶¹ Там же. С. 3-4.

¹⁶² Речь идет о предпринятом Миллером опыте написания труда об истории Смутного времени (см.: Миллер Г.Ф. Опыт новейшей истории о России // Сочинения и переводы к пользе и увеселений служащие. 1761. Январь. С. 3-63; Февраль. С. 99-154; Март. С. 195-244), публикация которого была прекращена после жалоб М.В. Ломоносова к К.Г. Разумовскому.

онья служащее», поставил: «*что ему полезно казалось к познанию России прежде Рурика*»¹⁶³.

М.В. Ломоносов возложил на себя определенную социальную функцию и ответственность за отбор, сохранение или забвение исторических сюжетов. По сути, он реализовывал политику памяти, определяя, что достойно сохранения, а что забвения. Он пытался вселить уверенность в исторической славе, исконной исключительности в самознании формирующейся нации. Именно Ломоносов выступил с инициативой отказа в публикации («печатать непристойно») исторической статьи украинского ученого Г.А. Полетики «О начале, возобновлении и распространении учения и училищ в России и о нынешнем оных состоянии» в журнале «Ежемесячные сочинения» (потому, что по словам М.В. Ломоносова «в оной с X в. после Рождества Христова по XVIII в. ни о каких школах в России не упомянуто»¹⁶⁴). Напомним, что через несколько лет, в 1761 г. по инициативе М.В. Ломоносова будет оставлена публикация научной статьи Г.Ф. Миллера (см. в разделе II).

Для российской исторической памяти социально ориентированная практика историописания М.В. Ломоносова была не нова. Московские книжники находили славянскую «славу» еще в III тыс. до н.э., определили «сродство» императора Августа с князем Рюриком, которого вместе с варягами вывели от «своих» и т.д. В последней четверти XVII в. московская историческая конструкция приняла удары наукообразного польско-украинского исторического нарратива (с набором не менее героических сюжетов о славянах) и почти без сопротивления включила в себя ряд мифологем (происхождение названия «Москва» от библейского Мосоха и «руси» от «своих», строительство Киева в V в., династия Кия и т.д.), привнесённых многократно тиражируемым (типографским путём с 1674 г.) киевским «Синописом». Однако уже со второй четверти XVIII в. устои формирующейся русско-украинской социальной памяти с рационалистических позиций всё сильнее стали колебать Г.З. Байер, В.Н. Татищев, а затем и Г.Ф. Миллер. Они, говоря словами Ф. Ницше, стали «оскорблять некоторые национальные святыни» ради нового знания¹⁶⁵, ради научной истории, рационально добывавшейся «истины».

¹⁶³ Вознесенский А.В. Неизвестный вариант издания «Древней Российской истории» М.В. Ломоносова // XVIII век. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века / отв. ред. А.М. Панченко. Л., 1989. Сборник 16. С. 217.

¹⁶⁴ Литвинова Т.Ф. Григорий Андреевич Полетика: «Публичный интеллектуал» второй половины XVIII в. // Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. 2015. № 2 (6). С. 82-83.

¹⁶⁵ См.: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. - М.: Мысль, 1990. - Т. 1. - С. 175-176.

Для власти и значительной части российской интеллектуальной элиты нужны были примеры «похвального» исторического опыта. В новом социокультурном пространстве возникла потребность создания «нужной» для Империи идентичности и, неслучайно, в России историописание становится государственным занятием. Но, поскольку никакая идентичность «не является естественно заданной, — то она должна вырабатываться через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов»¹⁶⁶. Происходит актуализация барочных сюжетов московских, украинских и польских текстов. Эти тексты вносил в современность не только М.В. Ломоносов, но он стал последовательно проводить политику отбора уже известных и создания новых элементов прошедшего. Тем самым, его работа над прошлым была иной, нежели того требовала зарождающаяся научная практика. Именно с ней он и развернул спор, в котором пытался отстоять старые московские, украинские и польские социальные представления и сконструировать «нужную» историческую память россиян, посредством механизма нарратива. К примеру, кому из русских XVIII века, не понравилась бы подобная операция М.В. Ломоносова с прошлым: «К доказательному умножению славянского могущества не мало служат походы от Севера готов, вандалов и лангобардов. Ибо <...> немалую часть воинств их славяне составляли; и не токмо рядовые, но и главные предводители были славянской породы. И так ныне довольно явствует, коль велико было славянское племя уже в первые веки по Рождестве Христовом»¹⁶⁷?

Вместе с профессионализацией исторического знания, начиная с XVIII в., историография с одной стороны начала борьбу с социально мотивированным «ложным» истолкованием прошлого, с другой стороны, она стала (и это вполне объективный процесс) отрываться от общественного исторического сознания. Как видим, уже в середине XVIII в. у нее наметились разрывы и с групповыми ожиданиями российского общества. Историописатели-любители редко не называли имя М.В. Ломоносова, а Г.Ф. Миллера могли не упомянуть даже там, где этого требовали правила построения исторического текста. Например, М.Д. Чулков в многотомном «Историческом описании российской коммерции» неоднократно упомянул Ломоносова при описании древних новгородских порядков (хотя тот специально не занимался этой темой), но Миллера не назвал. При этом Чулков,

¹⁶⁶ Репина Л.П. Память и знание о прошлом в структуре идентичности // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 11.

¹⁶⁷ Ломоносов М.[В.] Древняя российская история... — С. 11.

описывая новгородских посадников, использовал именно мысли Миллера из статьи «Краткое известие о начале Новагорода и о происхождении российского народа» (1761)¹⁶⁸. И другой историописатель Н.С. Ильинский, изложил структуру власти в республиканском Пскове так, что не понадобится даже внимательно вчитываться, чтобы понять, – он заимствовал это из «Краткого известия о начале Новагорода» Г.Ф. Миллера, но сноски на историка не сделал¹⁶⁹.

Отношение истории (как науки) и общества к прошлому не обязательно должны совпадать. Чаще всего они разные. Власть и общество всегда ждут определенную историческую литературу, а подобный заказ дискурса выполняет социально ориентированный тип историописания.

Напрашивающийся вывод о (не)профессионализме М.В. Ломоносова в сравнении с Г.Ф. Миллером надо оставить в стороне. Ломоносов не может быть «плохим» или «хорошим» историком, он просто был «другим» историком – историком, позиционировавшим социально ориентированное историческое знание, историком, конструировавшим похвальный исторический опыт и служившим общественному сознанию. М.В. Ломоносов писал в духе времени (имеется в виду не барочная практика украшения текста, а умение выбрать «полезные» для читателя исторические сюжеты), откликнулся на требования настоящего, выполняя заказ дискурса, шедший от современной ему власти, а также значительной части общества, и в итоге, он оказался более востребованным властью и просвещенной элитой, нежели его современники-историки. Поэтому, если исторические работы М.В. Ломоносова не имели большого влияния на развитие исторической науки, то они были «любопытными» как для августейшего, так и для обычного читателя, давая возможность видеть «бесспорную» славу своих предков в древности.

¹⁶⁸ См.: Чулков М.[Д.] Историческое описание Российской коммерции... при всех портах и границах от древних времен до ныне настоящего: в 7 т., 21 кн. Т. 1. Кн. 1. С. 90-103.

¹⁶⁹ Ильинский Н.С. Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самого их основания, заключающее в себе многие достойные любопытства происходи: в 6 ч. СПб.: Тип. Б.Л. Гека, 1790–1795. Ч. 1. С. 17.

ГЛАВА 5

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАРРАТИВ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Актуализируя проблему смены режимов историчности, Ф. Артог обращает внимание на то, что, с конца XVIII в. Европа начинает воспринимать время «через идеи прогресса, идущего по пути само-накопления и истории как процесса, осознания себя во времени. Время больше не является “рамкой” для происходящего, события не “случаются” во времени, а “производятся” им самим: время превращается в действующее лицо истории»¹.

І. Трансформация национальной истории в XIX веке

В начале XIX века Н.М. Карамзин уже пробует сопротивляться (воспользуемся концептом Артога) старому режиму историчности XVIII века. В «Предисловии» к «Истории государства российского», он замечает, что сведения исторических источников историк обязан «соединить в систему», смотреть «на свойство и связь деяний», так как он не летописец, обращающий внимание только на время².

Ф. Артог отметил, что, в отличие от истории примеров XVIII века, в новом режиме историчности «доминирует именно категория будущего: к нему нужно идти, от него исходит свет, делающий интеллигибельным и настоящее, и прошлое. Время начинает пониматься как ускорение (acceleration), и “поучительные” примеры уступают место уникальным событиям»³. Названная Артогом категория «будущего», уже присутствует в историческом нарративе Н.М. Карамзина, который остро ощущает новое время – постнаполеоновской Европы – оно открыло простор для будущего, и поэтому историк написал: «Новая эпоха наступила. Будущее известно единому богу;

¹ Артог Ф. Мировое время, история и написание истории // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 3 / рэдкал.: У. Н. Сідарцоў і інш. Мінск: БДУ, 2007. С. 14.

² Карамзин Н.М. История государства российского: в 12 т. СПб.: Типогр. Н. Греча, 1818-1829. Т. 1. С. XX, XXI.

³ Артог Ф. Мировое время, история и написание истории... С. 14-15.

но мы, судя по вероятностям разума, ожидаем...»⁴. Н.М. Карамзин еще видит в истории «в некотором смысле, <...> зеркало бытия»⁵, но через полтора десятка лет в многотомной «Истории русского народа» Н.А. Полевой прямо свяжет идею истории с прогрессом, указав, что с «идеей земного совершенствования, мы перенесли свой идеал Прошедшего в Будущее», что «уроки Истории заключаются не в частных событиях <...>, но в общности, целостности Истории»⁶.

Говоря о рамках режимов историчности, которые выделил Артог, надо иметь в виду, что они являются лишь инструментом, позволяющим систематизировать восприятие времени историческими культурами XVIII и XIX веков. Этот инструмент применим к творчеству историописателей, независимо от выбранного ими объекта для проведения исторической рефлексии: государство, Европа, мир и т.д. Важно выявить черты, которые появляются в национальной истории XIX века, отличающие ее от предшествующего времени.

Анализ микроструктуры (рубрикация) трудов историков XVIII столетия и Н.М. Карамзина, дал возможность И.Е. Рудковской сделать вывод, что, например, в отличие от «Истории» М.М. Щербатова, в труде Н.М. Карамзина присутствует явное стремление к систематизации событий прошлого и «к уходу от погодного их восприятия»⁷. А выявление практики использования персонифицированного времени, в первую очередь, в произведениях по национальной истории (Д. Юма, У. Робертсона, Э. Гиббона, М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина), позволило уточнить, что к излету Просвещения, происходит «преодоление традиционной погодной записи событий» и определяется «новая парадигма презентации времени»⁸.

Предложенные Ф. Артогом черты старого и нового режимов историчности и уточнение И.Е. Рудковской о «новой парадигме презентации времени» можно соотнести со сменой типов рациональности в европейской науке, в первую очередь, с классической рациональностью, которая способствовала дисциплинаризации наук⁹ и формиро-

⁴ Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. VI-VII.

⁵ Там же. С. IX.

⁶ Полевой Н. [А.] История русского народа / сочинение Николая Полевого: в 6 т. М.: Тип. А. Семена, 1829-1833. Т.1. С. XIX.

⁷ Рудковская И.Е. Микроструктура трудов М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина как маркер традиции позднего Просвещения // Диалог со временем. 2013. Вып. 43. С. 104-111.

⁸ Рудковская И.Е. Персонифицированное время в историографической традиции позднего Просвещения // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 31, 34.

⁹ См.: Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика : критерии различия // Постнеклассика: философия, наука, культура / Отв. ред.: Л.П. Киященко,

ванию исторической науки, в ее классической европейской модели¹⁰. Представители последней видели неразрывную связь между прошлым, настоящим и будущим и конструировали историю посредством модели «однолинейного прогрессизма». Повествуя об исторических событиях, историки воспроизводили не только их хронологическую последовательность, но и структурировали исторические факты таким образом, «чтобы было ясно, как исходные исторические события преобразовались в конечные»¹¹. Таким образом, национальные истории XVIII и XIX столетий (конечно условно) разделяют разные режимы историчности, а также окончательное утверждение классической европейской рациональности (ее начало следует искать в XVIII в.), и, конечно, важным рубежом является наступление эпохи романтизма с присущими ей националистическими чертами.

Большое влияние на национальную историю XIX в. оказала немецкая философия. И.Г. Гердер в конце XVIII в. обратил внимание на национальную самобытность и равноценность разнообразных культур. Правда, его взгляд был сугубо европоцентричный – он восторженно писал о том, что нигде, помимо пространства от Атлантики до «азиатской Татарии», не могло сложиться такого союза «гэлов, кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов, славян, финнов, иллирийцев», пробудившего к жизни «общий дух Европы». Гердер актуализировал еще и новую задачу для гуманитариев – изучать национальные традиции, написав: «Исследователям обычаев народов, их языков следует поторопиться, чтобы не потерять время, пока слои [народов] еще различаются; ибо все в Европе склоняется к тому, чтобы национальные характеры постепенно стирались»¹².

С начала XIX века актуальным объектом изучения становятся не только национальные традиции, изучать которые призывал Гердер, но также прошлое народа, а также прошлое государства, которое этот народ создал. В.Т. Круг подчеркивал, что «вредно» разделять историю государства и народа, «потому что в силу теснейшей взаимосвязи [между ними] историю одного совершенно невозможно понять без истории другого»¹³.

В.С. Степин. СПб.: Мирь, 2009. С. 249-295; Его же. Теоретическое знание: Структура, историческая эволюция М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 619-636.

¹⁰ См.: Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования. М.: Социально-гуманитарные знания, 2005. С. 93-132.

¹¹ Там же. С. 100-105.

¹² Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / пер. с нем. и прим. А.В. Михайлова. М.: Наука, 1977. С. 475-476.

¹³ Цит. по: Гюнтер Х., Козеллек Р., Майер К., Энгельс О. История (Geschichte, Historie) / Х. Понтеру, Р. Козеллек, К. Майер, О Энгельс // Словарь

В первой четверти XIX века Г.В.Ф. Гегель провозгласил государство высшей формой человеческого духа, поэтому и народы, создавшие его, являются народами историческими. «Во всемирной истории, – указывал он, – может быть речь только о народах, которые образуют государство». Государство создается конкретным народом, поэтому, оно само – «есть дух народа <...>. Действительное государство одушевлено этим духом во всех своих частных делах, войнах, учреждениях и т.д.»¹⁴. По мнению Гегеля, внимания заслуживают страницы истории, которые рассказывают о строительстве государства и заслугах его героев, так как это примеры проявления «абсолютного разума», а значит и правоты, несмотря на то, что действия «героев» могли быть не идеальными (как выразился Гегель: «какими бы несовершенными они не были») ¹⁵.

Уже в конце XVIII века национальная история начинает терять универсализм, заданный Просвещением, и принимает более героизированные черты, причем героем выступает отдельный идеализированный народ. И.Е. Рудковская сделала важный вывод: если для микроструктуры труда кн. М.М. Щербатова «своеобразной визитной карточкой» были многочисленные рубрики, относящиеся к сфере международных отношений, что «вполне соответствовало приоритетам европейской традиции позднего Просвещения», то «“визитной карточкой” микроструктуры труда Н.М. Карамзина стали рубрики об отличительных свойствах отечественных героев его “Истории” ...»¹⁶.

Нельзя не отметить, что одним из первых опытов идеализации собственного народа явился многотомный исторический нарратив «История Швейцарской конфедерации», подготовленный И. Мюллером¹⁷. В начале XIX века именно на модель национальной истории И. Мюллера обратили внимание историки, приступившие к конструированию «своих» историй наций-государств. В частности, Н.М. Карамзин, кратко характеризуя опыты авторов, которые, как он заметил, «писали целую историю народов», указал лишь на двоих из них: Д. Юма и И. Мюллера¹⁸. Русский историкописатель С.Н. Глинка,

основных исторических понятий: Избранные статьи: в 2 т. / пер. с нем. М.: НЛЮ, 2014. Т. 1. С. 199.

¹⁴ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории / пер. А.М. Водена. СПб.: Наука, 1993. С. 90, 99.

¹⁵ Там же. С. 90.

¹⁶ Рудковская И.Е. Микроструктура трудов М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина... С. 104-112.

¹⁷ Müller J., von. Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft: in 5 Bde. Leipzig, 1786–1808.

¹⁸ Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. XIX-XX.

писавший многотомную «Рускую историю» в то же самое время, что и автор «Истории государства российского» (первое издание «Русской истории» Глинки в 10-ти томах приходится на 1817–1818 гг.), отметил актуальное для формирующейся новой модели национальной истории свойство «Истории Швейцарской конфедерации», выраженное И. Мюллером (в передаче Глинки) фразой: «Я ограничиваюсь одной историей швейцарцев»¹⁹. Основываясь на этом принципе, С.Н. Глинка, написал: «Ограничиваюсь историей русских, не пропустил я не только ни одного важного происшествия, но и ни одного достопамятного изречения»²⁰. Н.М. Карамзин, в целом, восхищаясь «благоразумным Юмом», пожурил его (вспомним, Щербатов смотрел на работу Юма, как на один из образцов) за то, что тот «излишне чуждался Англии»²¹ (т.е. у Юма не было присущего произведению Мюллера свойства – ограничиваться «своим»).

Замечания историописателей значимы тем, что они продемонстрировали рефлексии об одной из важнейших черт новой модели национальной истории – она должна *актуализировать «свое»*. Не случайно, рефлексия о научности истории и строгости исторического исследования побудила М.Т. Каченовского выразить протест против актуализации «своего» в «Истории государства Российского». Это «История, писанная в духе национальном и единственно для моих соотечественников», повторил Каченовский слова Карамзина из письма французским переводчикам²². Важно заметить, что в конце XX века Э.Д. Смит в ряду европейских историков, заложивших «моральный и интеллектуальный фундамент для зарождающегося национализма в своих странах», назовет И. Мюллера и Н.М. Карамзина²³. В дальнейшем, как указывает М. Баар, «История» Карамзина оказала большое влияние на практику написания национальных историй чехом Ф. Палацким, поляком И. Лелевелем, литовцем С. Даукантасом, румыном М. Когэлничану²⁴.

Актуализация внимания на «своем» превращалась в идеализацию истории своей нации и поиск критериев ее исключительности.

¹⁹ [Глинка С.Н.] Руская история, сочиненная Сергеем Глинкою: в 14 ч. М.: Университетская типогр., 1823. Ч. 1. С. 24.

²⁰ Там же. С. 24-25.

²¹ Карамзин Н.М. История государства российского... С. XX.

²² [Каченовский М.Т.] От киевского жителя к его другу (Письмо II) // Вестник Европы. 1819. Ч. 103. № 1. С. 119.

²³ Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. / пер с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002. С. 236.

²⁴ Baár M. Historians and Nationalism... P. 124-128.

Для Ф. Гизо история французской цивилизации явилась лучшим образом общественного развития вообще. «Франция – та страна, цивилизация которой является наиболее законченной, она «всех полнее, всех истиннее, всех цивилизованней»²⁵. «Ни одна история, – вторил Гизо российский историк М.П. Погодин, – не заключает в себе столько чудесного <...> как Российская», именно она «может сделаться охранительницей и блюстительницей общественного спокойствия, самого верного и надежного»²⁶. Дж.Р. Грин конструировал исключительность английской истории посредством метафоры «благородного идеала свободы», привнесенного в копилку человечества, и идеи конституционного прогресса, ставшего результатом социального развития, не имевшего аналогов в иных странах²⁷. Таким образом, выделение «своего» народа и рассказ о прошлом лишь одного коллективного героя – нации-государства – становится важнейшей чертой модели национальной истории XIX столетия, а практика ее презентации окончательно принимает форму самопрезентации.

Трансформацию «национальной истории» как вида историописания можно проследить и по словарным статьям, которые, как известно, фиксируют смысл понятия, функционировавшего в определенной культуре, и, соответственно, в системе знания конкретной эпохи. В «Словаре Академии российской» (в 6 ч., 1789–1794) статья «История» кратко объясняет, какие существуют виды историй: «История всеобщая, частная. История древняя, новейшая, история церковная, светская, история греческая, римская. История, основанная на истине, баснословии...» и т.д.²⁸ Конечно, большие национальные истории Д. Юма, У. Робертсона, М.М. Щербатова и др. согласно такому списку видов историописания относились к истории частной. В структуре данной словарной статьи она указана после истории всеобщей, и авторы не сочли необходимым пояснить, что именно относится к частной истории.

В «Справочном энциклопедическом словаре», который издавался в середине XIX в. под редакцией А.В. Старчевского, мы находим уже иное. Там сообщается, что «есть история государств, наук, рели-

²⁵ Гизо Ф. История цивилизации во Франции: в 4 т. / пер. с фр. П.Г. Виноградов. М.: Рубежи XXI, 2006. Т. 1. С. 20, 28.

²⁶ Погодин М.[П.] Историко-критические отрывки: в 2 кн. М.: Типогр. Августа Семена, 1846. Кн. 1. С. 10, 16.

²⁷ [Green J.R.] A Short History of the English People / by J.R. Green. L.: Macmillan and Co., 1874. P. VI, P. 2; Idem. A Short History of the English People: in 4 vols. [Illustrated ed.]. L.; N.Y.: Macmillan and Co., 1902–1903. Vol. 1. P. VI–VII.

²⁸ История // Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1789–1794. Ч. 3: от 3. до М. Стб. 317–318.

гий, нравов, искусства, торговли <...>, – словом различных сфер жизни, где видимо проявляется духовная и материальная деятельность. Но и это не есть еще собственное значение, какое обыкновенно дается слову – история. В тесном и исключительном смысле, под названием истории разумеется политико-гражданская история, т.е. *изложение сделанного и совершенного людьми в государственной жизни и для государственной жизни* [выделено мной – С.М.]»²⁹.

Прошло немногим более пятидесяти лет, а в смысле понятия «история» актуализированы черты, которые не были злободневными во второй половине XVIII века, – в первую очередь, актуализирована черта *этатизма*. Доминирующей практикой историописания становится практика создания государственного нарратива. Особое внимание к государству (не только в названии труда) присутствует в модели повествования о национальном прошлом Н.М. Карамзина. Так, И.Е. Рудковская заметила, что в «Истории» Карамзина, в отличие от предшественников, много внимания уделяется специфике государственного управления: «Основание Монархии», «Медленные успехи единодержавия», «Общий характер Васильева правления», «Блестящее властвование Годунова» и др.³⁰ Рассуждение о государстве как предмете исторического исследования (в котором чувствуется влияние Гегеля) мы находим у И.П. Шульгина, написавшего в 30-х гг. XIX в., что «лишь в общественном соединении, в государстве, жизнь человека, так как и жизнь народа, которого каждый человек составляет часть, достигает своего возможного развития и усовершенствования, а потому и предметом истории преимущественным могут быть только общества благоустроенные, государства»³¹.

Со второй четверти XIX в. все увереннее утверждалась идея, что государство формируется сознательной деятельностью отдельных людей, и оно само уже с самого раннего периода становится единым целым. Историки, по существу, антропоморфизируют государство, которое, в результате, предстает исторической личностью-индивидуумом высшего порядка, имеющим даже свою душу. «Первым душу и лицо [Франции] увидел я», «Я первый открыл Францию

²⁹ История // Справочный энциклопедический словарь: в 12 т. / под ред. А.[В.] Старчевского. СПб.: Изд-во К. Крайя, 1847–1855. Т. 5 [И, I, К – Кап]. С. 223.

³⁰ Рудковская И.Е. Микроструктура трудов М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина... С. 104-105.

³¹ [Шульгин И.П.] Изображение характера и содержания новой истории, Ивана Шульгина: в 2 т. СПб.: Тип. Н. Греча, 1833-1837. Т. 1: Изображение характера и содержания истории первых десяти веков по падении Римской империи (история средних веков). СПб., 1837. С. 2.

как человека», писал Ж. Мишле в многотомной «Истории Франции»³². Согласно такой идее, народу или нации присуща не просто абстрактная душа, но конкретные черты «личности-индивидуума». По мнению А.Д. Градовского, высказанному в 70-х гг. XIX века, народ есть нравственная и свободная личность, имеющая «право на самостоятельную историю, следовательно, на свое государство»³³. Нация, которая имела единое «сознание» и «душу» способна создать и свое единое государство, считал К. Лампрехт, замечая: «...нация <...> удовлетворилась сознанием духовного единства, <...> и идеал единого государства дремлет в глубоких тайниках немецкой души»³⁴. «Народ», «нация», «государство» (как личность), «народный дух» в трудах историков становятся не просто историографическими метафорами, а мистическими категориями, что, впрочем, нисколько не смущало профессиональных историков.

В прошлом народа, создававшего свое государство историзм XIX века, предлагал выявлять структуры, претерпевавшие прогрессивные изменения по мере развития самого государства, или «жизни» этого самого государственного организма. «Земля и народ – это материал, из которого государство создает себя», в середине XIX в. замечал И.Г. Дройзен в многотомной «Истории прусской политики». Жизнь государства, его безопасность, формирование новых форм управления, изменение социальных институтов, по мнению Дройзена – «это история его [государства] политики <...>, у каждого государства есть его собственная политика; она – как раз его жизнь». Заострив внимание на гегелевской идее об «исторических народах», Дройзен далее подчеркнул: «не каждому народу дана возможность сформировать государственную жизнь...»³⁵. Через два десятка лет об истории народа как изображении «его прошлой жизни» писал в своей многотомной «Истории России» Д.И. Иловайский, который также не прошел мимо идеи об «исторических народах». «Историческими являются только те народы, которые усвоили себе эту [государственную] форму. Народы же, не усвоившие ее, остались на степени дикарей. Отсюда естественная и неразрывная связь истории какого-либо народа с движением его государственного быта», указал

³² [Michelet J.] Histoire de France par Jules Michelet: 18 t. Т. 1. Paris: A. Lacroix et Compagnie, 1880. P. I, XXII.

³³ Градовский А.[Д.] Национальный вопрос в истории и литературе; предисл. А.С. Сенина; Гос. публ. ист. б-ка России. М., 2009. С. 15.

³⁴ [Лампрехт К.] История германского народа Карла Лампрехта: в 3 т. М.: Типогр. В. Рихтер, 1894-1896. Т. 1. С. 17.

³⁵ [Droysen J.G.] Geschichte der preußischen Politik / von Joh. Gust. Droysen: in 14 bd. Bd. 1: Die Gründung. Berlin: von Veit, 1855. S. 3.

Д.И. Иловайский³⁶. А в самом конце XIX в. К. Лампрехт в «Истории немецкого народа», написал: «Характерным признаком настоящего времени можно считать веру в право и в прочность результатов национальных движений. Мы склонны даже думать, что тот народ, который утратил свое национальное сознание, погибнет»³⁷.

Телеологизм, присущий историческому сознанию позволял прошедшие события соединять с актуальными для развития нации-государства чертами и действующими институтами управления. Если вновь воспользоваться понятием «режим историчности», то следует указать, что в новом режиме, история, перестав выполнять роль кладезя примеров, позволила историкам смотреть на прошлое с позиций настоящего и представлять историю народа метафорами «роста», «взросления» или движущейся вперед по пути прогресса «машины». К.Н. Бестужев-Рюмин писал в своей «Русской истории»: «одно явление, цепляясь за другое, двигает всю машину»³⁸.

Презентация «целеустремленного» возмужания тела (или души) нации-государства не могла быть ограничена точкой незавершенности такого процесса, требовалось его связать с гипотетическим, но прогрессивным будущим. Рефлексия о *господстве истории над будущим* помещалась историками в национальные нарративы. Новое состояние николаевской России, по мнению Н.Г. Устрялова, обещает «столь вожделенные плоды в будущем»³⁹. Ф. Гизо восторженно отмечал, что в будущем Франция добьется большого успеха, что ход человеческой цивилизации вообще, а «в особенности французской, поставил великую задачу, составляющую особенность нашего времени; в разрешении ее заинтересовано все будущее...»⁴⁰. А в последней четверти XIX в. американский историк Э. Чаннинг, заканчивая свою «Историю» итогами Гражданской войны (1861–1865 гг.), заключил: «...Американский народ <...> бодро смотрел вперед на те задачи, которые готовило для него будущее»⁴¹.

³⁶ [Иловайский Д.И.] История России, соч. Д. Иловайского: в 5 т. Т.1. Ч. 1: Киевский период. М.: Типогр. Грачева и К., 1876. С. V, VI.

³⁷ Лампрехт К. История германского народа: в 3 т. М.: Типогр. В. Рихтер, 1894-1896. Т. 1. С. 2.

³⁸ Бестужев-Рюмин К.[Н.] Русская история: в 2 т. СПб.: Типогр. А. Траншеля, 1872-1885. Т. 1. С. 8-9.

³⁹ Устрялов Н.[Г.] Русская история: в 5 ч. [2-е изд.] Ч. 1. СПб.: Типогр. экспедиции заготовления гос. бумаг, 1839. С. 7.

⁴⁰ Гизо Ф. История цивилизации во Франции: в 4 т. / пер. с фр. П.Г. Виноградов. М.: Рубежи XXI, 2006. Т. 1.: Лекции I-XV. С. 16, 28-29.

⁴¹ Чаннинг Э. История Соединенных Штатов Северной Америки (1765-1865 гг.) / пер. с англ. СПб.: Изд. О.Н. Поповой, 1897. С. 330.

В рамках классической европейской историографии уже с первой четверти XIX в. сначала немецкие, а потом и российские историки все чаще начинали рефлексировать не только об объективности истории, но и о ее *научности*. «История российского государства, в смысле науки», «Русская история есть наука», не уставал с 1830-х повторять Н.Г. Устрялов⁴². Объективность и научность, истории, замечает сегодня Д.Р. Келли, начали проповедоваться как раз тогда, когда историки стали обслуживать национальную идеологию»⁴³.

Профессиональные историки XIX в. не сомневались в том, что национальная история может быть научной (а значит объективной), поэтому тот же Н.Г. Устрялов в многотомной «Русской истории» отметил эти качества словом «верная», подчеркнув: «Русская история достигает своей цели *верным* [выделено мной – С.М.] изображением перемен, случившихся в состоянии Русской державы, с указанием причин тому и следствий»⁴⁴. Д.И. Иловайский в «Русской истории» также говорит о научной (правда, только «приготовительной») «стороне исторического труда»⁴⁵, а С.Ф. Платонов в лекциях по русской истории основную задачу ученых, конструирующих национальную историю (несмотря на то, что видел в такой истории и практическую функцию), сформулировал так: «...В данном случае можно выразиться, – долг, – национальной историографии... в том, чтобы показать обществу его прошлое в истинном свете... только научный труд может быть полезен общественному самосознанию»⁴⁶. Усиленное внимание профессиональных историков к национальной истории для читателей являлось гарантией «истинности» того света, которым они освещали вопросы национального прошлого.

Некоторые современные исследователи задаются вопросом, почему создавая национальные нарративы историки XIX века, по сути, проявляли лояльность к государству и своими историческими конструкциями легитимировали сложившиеся практики управления? В качестве ответа высказывается мнение, что это было связано со служебной зависимостью историков от государства, так как связь с ним оказалась настоящей ловушкой, в большей степени для евро-

⁴² См., напр.: Устрялов Н. [Г.] О системе прагматической русской истории / рассуждение, написанное на степень доктора философии. СПб.: Типогр. Л. Снегирева и К^о, 1836. С. 5; Его же. Руководство к первоначальному изучению русской истории [2-е изд.]. СПб.: Тип. Имп. Рос. Акад., 1840. С. 3.

⁴³ Kelley D.R. *Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga*. New Haven: Yale University Press, 2003. P. 132.

⁴⁴ Устрялов Н. [Г.] Русская история... Ч. 1. С. 5-6.

⁴⁵ Иловайский Д. [И.] История России... Т. 1. Ч. 1. С. V.

⁴⁶ Платонов С. [Ф.] Лекции по русской истории... Вып. I. С. 4-5.

пейских и в меньшей степени для североамериканских историков⁴⁷. Такой вопрос и ответ на него справедливы, но думаю, что эта проблема еще ждет своих исследователей. Нельзя не предположить, что у историков XIX в. были и иные причины (не только служебного или материального характера), склонявшие их к написанию больших национальных историй, в том числе – искренняя уверенность в пользе создаваемой национальной идентичности. Например, приведенный выше Д.И. Иловайский, указывал, что его «цель заключается в том, чтобы, воссоздавая в слове прошедшие века своего народа, *способствовать развитию народного самосознания* [курсив мой – С.М.]⁴⁸».

Этатизм, выражавшийся присутствием в рассказах о прошлом вопросов, связанных с высокой политикой, правящими династиями, войнами и т.д., стал стержнем интерпретационного способа проникновения в прошлое, позволявшим отбирать государствообразующие «события» и историзировать их. Как писал тот же Д.И. Иловайский, историк должен «соблюсти историческую перспективу, т.е. выдвинуть на передний план самое важное и существенное», а так как «свою жизнь и движение народ проявляет в своих представителях», то «история по преимуществу имеет дело с лицами, стоящими во главе народа»⁴⁹.

В Российской империи «государство» как предмет истории активно позиционировали всем категориям читателей, что заметно в разных видах национальных историй Н.Г. Устрялова. В «Истории России» (1 изд. 1837 г. – в 4 ч., затем – в 5 ч.) историк писал: «Русская история, в смысле науки, как основательное знание минувшей судьбы русского народа, должна объяснять постепенное развитие гражданской жизни его... указать, какое место занимает Россия в системе прочих государств»⁵⁰. Как видим, здесь историк объединил народ с его гражданским состоянием, а государство упомянул лишь потом (судя по словарю В.И. Даля, в XIX веке «гражданский» понимался как «относящийся к гражданам, к государственному или народному управлению, к подданству»⁵¹). Но в учебниках для гимназий и уездных училищ Устрялов не стал использовать понятие «гражданский», в котором прочитывалось несколько смыслов, а писал проще, – сразу

⁴⁷ См.: Middell M., Roura L. The Various Forms of Transcending the Horizon of National History Writing // Transnational Challenges to National History Writing / eds by Matthias Middell, Lluís Roura. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 21-22.

⁴⁸ Иловайский Д. [И.] История России ... Т. 1. Ч. 1. С. VI.

⁴⁹ Там же. С. V-VI.

⁵⁰ Устрялов Н.[Г.] Русская история... Ч. 1. С. 5.

⁵¹ Даль В.[И.] Гражданин – гражданский // Словарь живого великорусского языка]: в 4 т. [3-е изд. Т. 1: А – З. СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1903. Стлб. 962-963.

заменяя «народ» его «государственным состоянием»: «Русская история есть наука, объясняющая постепенное развитие государственной жизни русского народа [в учебнике для народных училищ: «нашего отечества»]...»⁵². Историческое образование оказывало большое влияние на национальное сознание европейских обществ, в нем все больше утверждалась особая форма исторического мышления – историзирующая всё и вся – историзм.

Таким образом, процедура разграничения национальной истории XVIII и XIX вв. носит инструментальный характер. При проведении историографического анализа она позволяет индивидуализировать разные модели национальной истории и устанавливать условный порог их функционирования в разных исторических культурах. Можно сделать вывод, что в первой половине XIX в. на фоне профессионализации историографии, утверждения классической модели европейской исторической науки, возникает модель национальной истории, которая своими параметрами отличалась от больших национальных историй XVIII века. Несмотря на то, что в национальной истории XIX века присутствовали черты, характерные для исторического повествования предшествующего времени, выявляются важные маркеры, демонстрирующие трансформацию практики историописания о нации-государстве:

1. В отличие от любительского интереса к прошлому страны, присущего XVIII веку, новая модель национальной истории XIX столетия все больше становилась делом профессиональных историков, и адресовали они ее не ограниченному (как в XVIII веке), а широкому кругу читателей.

2. На рубеже XVIII и XIX столетий появилось особое внимание к «своему» народу-государству, народ и его герои становятся значимыми только «в государственной жизни и для государственной жизни». Историки XIX века уже не стремились к поиску универсалий в национальной истории, а ставили целью – создание исторического нарратива национальной (коллективной) идентичности.

3. Эпоха романтизма усилила чувство этатизма, позволившее застегнуть на истории народа государственный мундир и антропоморфизировать нацию-государство, способствовала развитию в историографии идеи культурной и политической автономии своего народа, укрепила уверенность в правильности самопрезентативной формы конструирования национальной истории.

⁵² Устрялов Н.[Г.] Начертание русской истории, для средних учебных заведений [изд. 4-е]. СПб.: Типогр. Штаба военно-учебн. заведений, 1842. С. 5; Его же. Руководство к первоначальному изучению русской истории... С. 3.

4. На смену «примерам» приходят «события», отобранные как особо важные в деле национального строительства, а новый «режим историчности» соединяет их между собой в модели однолинейного прогрессизма, связывая национальное прошлое с будущим.

5. В классической европейской историографии научная история пытается обслуживать национальные и государственные интересы, в результате чего актуализируемые, кроме научной, практическая и дидактическая задачи национальной истории усиливают неоднородность способов позиционирования национального прошлого, основой которых были разные типы исторического знания.

II. Национально-государственный нарратив в системе видов национальной истории XIX – начала XX века

В классической модели европейской исторической науки XIX в. так называемая «национальная история» не представляла собой однородный монолит – один вид историописания. Л.П. Репина замечает, что важно обращать внимание не только на базовые характеристики самой этой формы исторического повествования, «но также на ее положение в пространстве историографии как академической дисциплины и сложные отношения с другими тематическими направлениями, которые в разное время формировали меняющиеся образы истории как науки»⁵³.

В конце XIX века в статье «История» для «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, Н.И. Кареев постарался сформулировать свое определение «национальной истории». Он указал, что, в отличие от всеобщей истории, такая история «называется частной, причем она получает название национальной (или отечественной), если изображение жизни народа сделано лицом к этому народу принадлежащим и ставившим своей задачей содействие национальному самосознанию своего народа»⁵⁴. В начале XXI века С. Бергер предлагает понимать национальную историю «как определенную форму презентации истории, которая стремящейся сформировать прошлое национального государства, помогающей его формированию или старающейся повлиять на уже существующие представления о нем в национальном самосознании»⁵⁵. Таким образом,

⁵³ Репина Л.П. «Национальные истории» и концепции «истории как науки»: проблема совместимости // Национальный / социальный характер: археология идей и современное наследие. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 77.

⁵⁴ Н.К. [Кареев Н.И.] История // Энциклопедический словарь [Ф.А. Брокгауза, И.А. Эфрона]. Т. XIIIа [Исторические журналы – Калайдович]. СПб.: Типогр. И.А. Эфрона, 1894. С. 502.

⁵⁵ Berger S. National Historiographies in Transnational Perspective... P. 14.

Н.И. Кареев и С. Бергер увидели основную задачу национальной истории в формировании национального (государственного) самосознания. Несмотря на то, что сами авторы национальных историй (вспомним Устрялова, Иловайского и Платонова) часто рефлексировали о своей практике историописания как о практике научной, ни Н.И. Кареев, ни С. Бергер об этой задаче данного вида историописания не упомянули.

Заслуживает внимания мысль К.Д. Кавелина, высказанная еще в 1851 г. в положительной (в целом) журнальной рецензии на вышедший из печати первый том задуманной С.М. Соловьевым многотомной «Истории России». Кавелин заметил, что там нет присущих научному исследованию признаков. Рецензент искренне ожидал их увидеть в произведении уже получившего известность своими монографиями историка («от такого ученого <...> все ожидали замечательного сочинения»). Поэтому Кавелин отнес новое произведение Соловьева к «разряду» исторических произведений неисследовательского характера, написав: «...Это сочинение исключительно прагматическое. Спрашивается: удовлетворяет ли современным требованиям науки одно прагматическое изложение <...>? Мы думаем, что нет»⁵⁶. Как можно заметить, в творчестве историка (Соловьева), изучавшего национальную историю, Кавелин увидел разные способы историописания: научный и иной – не удовлетворявший «современным требованиям науки».

С. Бергер и К. Конрад предложили рассматривать национальную историю как сложный и многоуровневый вид историописания. Говоря об инфраструктуре национальной истории, они выделили в ней три связанные между собой уровня и провели довольно условную их систематизацию: 1) чаще всего многотомные «большие работы» (гранд-нарративы), по истории национального прошлого (государства или народа), иногда отмеченные выдающимся литературным успехом (например, «История Англии» Т.Б. Маколея); 2) национальная история, написанная историком-соотечественником, который рассматривает ее как самое важное занятие для профессионального историка (отличается от местной, региональной, европейской, мировой историй выбором территориальных рамок); 3) мета-, или мастер-нарратив, т.е. совокупность согласованных между историками конструкций о тех или иных периодах, событиях, образах нацио-

⁵⁶ Кавелин К.Д. История России с древнейших времен. Соч. Сергея Соловьева. Том первый. Москва, 1851 // Кавелин К.Д. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1: Монографии по русской истории. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. С. 414-415, 419.

нальных героев или врагов, соседей и т.д., присутствующих в определенной исторической культуре⁵⁷.

Систематизация, предложенная Бергером и Конрадом, учитывает выбор историков прошлого (авторов национальных историй) лишь в одном случае – когда историк смотрит на свою практику национального историописания как на самое важное занятие. Пояснение Бергера и Конрада – важное, но напрашивается вопрос: статья по национальной истории, многотомная национальная история, монография по тому или иному вопросу национальной истории и т.д. рассматривались авторами как научные произведения, или же как работы, выполненные в ином типе историописания? Такой вопрос возникает потому, что предложенная ими многоуровневая инфраструктура национальной истории, представляет удобство для исследования роли национальной истории в строительстве идентичности европейских обществ, но не включает рефлексию о сложной структуре национального историописания, представленного: а) разными видами произведений историков, б) произведениями, принадлежавшими к разному типу историописания, а значит, в разной степени влиявших на конструирование идентичности.

По мнению Й. Рюзена, типология способов исторического повествования помогает понимать структуру истории, находить общее и особенное, сравнивать выявленные типы друг с другом, а также проводить в поле теоретической историографии процедуру их систематизации⁵⁸. Рюзен выделяет четыре типа / способа исторического повествования: «традиционное повествование», «образцовое повествование», «критическое повествование» и «генетическое повествование». Историк выражает сомнение в том, что следует выделять пятый тип исторического повествования – сугубо научный (*Wissenschaftsspezifisch*), так как научность (рационально проверяемая) может заключаться во всех четырех типах историописания, так же как во всех четырех типах может обнаружиться и «культурная ориентация» (*kulturellen Orientierung*), умаляющая в том или ином историческом произведении научность⁵⁹. Рюзен считает, что для различения практической функции в историописании (или «культурной ориентации», когда история воспринимается «пригодной для жизни») и научного исторического знания принципиальным будет вопрос о смысле исторического повествования. Тип повествования будет зависеть от того,

⁵⁷ Berger S., Conrad C. *The Past as History...* P. 1-2.

⁵⁸ Rüsen J. *Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens*. Frankfurt am Main: Fischer, 1990. S. 208.

⁵⁹ *Ibid.* S. 153-230.

какой *смысл* (*Sinn*) был задан ему автором изучаемого исторического произведения⁶⁰.

Выше уже говорилось о подходе Научно-педагогической школы источниковедения к историографическим источникам. Как можно заметить, он близок к практике систематизации способов исторического повествования, предложенной Й. Рюзенем. Их сближает принцип проводимой процедуры анализа произведений историков, учитывающий авторский замысел. Однако рефлексия о чужой одушевленности позволила Научно-педагогической школе источниковедения в качестве основы процедуры выделения видовой структуры исторических источников принять иной принцип, – это принцип *целеполагания его автора* («Другого»), а значит и классифицировать историографические источники не по цели современного исследователя и не по смыслу, заданному автором, а по *целеполаганию* изучаемого историка прошлого и культуры его времени.

«Культурная ориентация» в произведениях историков, по мнению Й. Рюзена, является оборотной или второй стороной истории (с чем нельзя не согласиться), но выделив типы исторического повествования историк не предусмотрел процедуры разделения этих сторон – он просто не ставил такой задачи. Напротив, в силу понимания того, что ширится состав субъектов, располагающих возможностью позиционирования того или иного взгляда на прошлое, Научно-педагогическая школа источниковедения сосредоточивает внимание на типах исторического знания – научном и социально ориентированном и, выявляя специфику их сосуществования, предлагает критерии, позволяющие в историографическом исследовании отличать научное исследование от социально ориентированного историописания⁶¹. Конечно, при этом надо иметь в виду, что в отдельных сюжетах исторических нарративов, могут более отчетливо проявляться элементы того или иного типа историописания.

По типу представленного в историографических источниках (произведениях историков) исторического знания источниковедение историографии разделяет их на две группы: 1) группу видов историографических источников научной истории (монографии, диссер-

⁶⁰ Rösen J. Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2013. S. 27; Item. Zeit und Sinn... S. 171.

⁶¹ Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Социально-ориентированная история в актуальном интеллектуальном пространстве: приглашение к дискуссии // Историческое познание и историографическая ситуация на рубеже XX–XXI вв. М.: ИВИ РАН, 2012. 275–282; Источниковедение историографии // Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом «Высшая школа экономики», 2019. С. 505–559.

тации, научные статьи, рецензии и отзывы, доклады и тезисы конференций, материалы историографических дискуссий, исторические очерки и др.); 2) группу видов историографических источников социально ориентированного историописания.

В исторической науке, кроме понятия «национальная история», присутствуют иные, позволяющие более корректно проводить историографический анализ практик историописания. Конечно, анализ будет бессмысленным занятием, если мы воспользуемся утвердившимся в российской историографической практике концептом «отечественная история», который распространяется на квалификационную специальность профессиональных историков, на образовательную и научную деятельность в области истории России. Но есть понятия «национально-государственная историография»⁶² и «национально-государственный нарратив»⁶³. Национально-государственный нарратив как отдельный вид историографических источников был впервые выделен Научно-педагогической школой источниковедения в системе видов историографических источников социально ориентированного историописания, наряду с учебной литературой по национальной истории и местной историей (историческим краеведением)⁶⁴. Именно они являются основными формами реализации социально ориентированного знания.

Национально-государственный нарратив как вид историописания возник в классической европейской модели историографии XIX века, получив в этом же столетии наибольшее распространение⁶⁵. Такой нарратив включает в себя всю известную историю того или иного нации-государства, или значительную часть этой истории, выстраиваемую в линейной перспективе. Хронологически организованный рассказ об истории нации-государства построен на *событийном подходе* как четкая последовательность логически выявляемых периодов, имевших в своей структуре набор княжеских, королевских, царских и других династий, войн, перемен в структуре управления государством и пр. Субъектом истории здесь выступает государство, представленное как единое целое с коллективным героем – народом (нацией). Практика создания национально-государственного narra-

⁶² См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. СПб.: Наука, 2003-2006. Т. 2: Образы прошлого. С. 563-580.

⁶³ Добровольский Д.А. Национальная история // Теория и методология исторической науки: терминологический словарь... С. 324-325.

⁶⁴ Источниковедение историографии // Источниковедение ... С. 545-550.

⁶⁵ См.: Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории долгого Деятнадцатого века // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 83-119.

тива представляет собой специальный интерпретационный способ проникновения в прошлое, с помощью которого целенаправленно подавляются или актуализируются нужные события, «герои», «национальные враги» и т.д.

Национально-государственные нарративы имели разную идеологическую перспективу (либеральную, монархическую, имперскую и др.). Они не обязательно представляли собой многотомные произведения. Цель «Русской истории» А.С. Трачевского (в 2 ч.) автором была отрефлексирована так: «...Дать сочинение, которое представило бы, в общедоступной форме, обработанный свод современных знаний о прошлом его отечества, которых ищет теперь каждый образованный русский» и «которое заняло бы место между тщедушными “руководствами” и многотомными Левиафанами»⁶⁶. Национально-государственный нарратив мог быть представлен и одной книгой, таким примером является «Ирландская национальность»⁶⁷ Э.С. Грин, жены известного британского историка Д.Р. Грина. История Ирландии еще не была разработана, поэтому первоначально Элис Грин смогла ее представить лишь небольшой книгой.

Несмотря на то, что учебникам и учебным пособиям по национальной истории присуща форма национально-государственного нарратива (здесь, конструкции национального прошлого редуцированы в нужную форму) их авторы ставят другую цель, эти исторические произведения выполняют в исторической культуре того или иного времени несколько иные функции. Поэтому учебная литература по национальной истории относится к другому виду историографических источников социально ориентированного историописания (об учебной книге по национальной истории, смотрите ниже). Но могут быть и исключения. Например, «История цивилизации во Франции» Ф. Гизо, «Лекции по русской истории» С.Ф. Платонова, «Курс русской истории» В.О. Ключевского, задумывались как лекции студентам. Анализ происхождения и содержания этих историографических источников позволяет отнести их к учебным книгам по национальной истории, но их популярность и многочисленные переиздания способствовали тому, что культура задала им иную направленность, – в исторической культуре, соответственно, Франции и России эти исторические произведения стали выполнять роль национально-государственных нарративов.

⁶⁶ Трачевский А.[С.] Русская история профессора А. Трачевского: в 2-х ч. [2-е изд.] СПб.: К.Л. Риккера, 1895. Ч. 1. С. I-II.

⁶⁷ См.: [Green A.S.] Irish Nationality / by Alice Stopford Green. N.Y; L.: H. Holt & Co, 1911.

Надо заметить, что разницу в многотомной государственной (частной) истории и исследовательской («ученой») работе увидел еще в конце XVIII века историк И.М. Стриттер. В первой части своей «Истории российского государства», которую он по заказу Комиссии об учреждении народных училищ готовил, Стриттер признал, что «рачительное критическое исследование» в таком производстве, как его, «не может иметь места», но желающему узнать больше «можно читать сочинения ученых», среди которых Стриттер упомянул Г.З. Байера, А.Л. Шлёцера, Г. Шенинга и др.⁶⁸ Мысль, высказанная историком вполне ясна – написание труда по государственной истории отличалось от «ученой» истории (исследования), написанной по вопросам истории того же самого государства.

С первой половины XIX века функцию «рачительного критического исследования», как ее назвал И.М. Стриттер, начинает выполнять *монография*, которая в иерархии видов произведений историков становится основным, отвечающим всем требованиям научности видом. Именно в монографиях с наибольшей полнотой исследовались выбранные историками темы, в том числе связанные с проблемами национальной истории.

Ш.-В. Ланглюа и Ш. Сеньобос, обратив внимание на монографию как одну из форм «исторических сочинений», отметили, что одни и те же историки, прославившие себя научными исследованиями, и монографии которых «для специалистов заслуживают всяческих похвал, оказываются способными, когда пишут для публики, на серьезные отступления от научного метода». Французские историки (по вполне понятным для французов этого времени причинам) такими авторами называли немцев: Моммзена, Дройзена, Курциуса и Лампрехта⁶⁹ (впрочем, именно так и только о немецких историках (Ранке, Моммзен, Вайц) в это же время написал и В.С. Иконников⁷⁰).

В данном случае, не столь важно, что из перечисленных историков только двое, И.Г. Дройзен и К. Лампрехт, занимались проблемами немецкой истории. Ш.-В. Ланглюа и Ш. Сеньобос указали на возможность присутствия в творчестве профессиональных историков двух разных подходов к конструированию истории: один презентуется в монографиях, второй – в исторических произведениях,

⁶⁸ Стриттер И.[М.] История российского государства: в 3 ч. СПб.: Тип. Ф. Брункова, 1800-1802. Ч. 1. С. 1.

⁶⁹ Ланглюа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / пер с фр. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2004. С. 268-277.

⁷⁰ Иконников В.С. Опыт русской историографии: в 2 т., 4 кн. Киев: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1891-1908. Т. 1. Кн. 1. С. 230.

подготовленных для широкой публики. Не случайно, в «Курсе лекций по русской истории» В.О. Ключевский минимизировал «научность» своего труда практическим интересом и «дидактической силой»⁷¹. Н.И. Кареев, давая определение национальной истории [см.: выше], пояснил, что от нее нужно отличать исторические монографии, которые изучают «какое-либо отдельное событие или явление»⁷². Таким образом, Ланглуа, Сеньбос и Кареев в конце XIX в. (в период расцвета национальных историографий) увидели в пространстве национальной истории несколько видов историописания, один из которых являлся научным.

Сегодня С. Бергер и К. Конрад замечают, что «национальное историописание <...> стоит на перекрестке исторической науки и политики в области истории»⁷³, и с этим трудно не согласиться. На две стороны истории указал и Й. Рюзен. Но стоит вернуться к рефлексиям И.М. Стриттера, Н.К. Кареева, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньбоса о неоднозначности государственного / национального историописания, и в таком случае замечание С. Бергера и К. Конрада о «политике в области истории» можно отнести не к «национальной истории» вообще, «стоящей на перекрестке», а, в первую очередь, к произведениям, авторы которых ставили цель строительства национальной и государственной идентичности. В этой связи возникает вопрос, разве можно не различать научные работы, в которых Л. фон Ранке изучал вопросы национальной истории, и его «Zwölf Bücher Preussischer Geschichte» («Двенадцать книг прусской истории» (в 5 т., 1874), где он постарался выстроить историю одного из немецких государств, прокладывавшего «верный» путь общенационального триумфа, или же – научные диссертации С.М. Соловьева (изданные в виде монографий) и его «Историю России с древнейших времен» в 29 т. (1851–1879)?

В XIX в. по национальной истории писалось много работ, относящихся к группе видов историографических источников *научной истории*: диссертации, монографии, научные статьи, исторические очерки и др., в которых изучались отдельные проблемы. Это не значит, что в таких видах историографических источников как статья и исторические очерки присутствует только научный тип историописания. Анализ содержания историографического источника позволяет выявлять представленное в нем историческое знание (его тип), его парадигмальные основания и связь с историографической культурой

⁷¹ Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. I. // Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. / под. ред. В.Л. Янина. М.: Мысль, 1987–1990. Т. 1. С. 33.

⁷² Н.К. [Кареев Н.И.] История... С. 502.

⁷³ Berger S., Conrad C. The Past as History... P. 1-2.

своего времени. В качестве примера научного исследования по национальной истории можно привести магистерскую *диссертацию* С.М. Соловьева «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (1845). Изданная отдельной книгой в 1846 г. она имеет черты такого вида историографических источников, относящихся к группе видов научной истории, как монография. Принадлежность к научной истории в ней выдает поставленная историком цель работы: «прежде всего мы должны определить», «показать», «и потом уяснить причины» и т.д.⁷⁴ Цель такого труда – получение и презентация нового научного знания.

Действительно, классификационные признаки *монографии* оказались очень близки диссертации, как магистерской, так и докторской. Поэтому диссертации, которые издавались отдельными книгами и имели в самоназвании слово «исследование» (как в случае с С.М. Соловьевым), вполне соответствовали монографической форме научного труда. Дефинирующим признаком монографии можно считать репрезентативность (в идеале, исчерпанность) источниковой базы исследования⁷⁵. В российской справочной литературе слово «монография» встречается уже во второй половине 1840-х гг. Например, *монография* – «описание одного какого-либо предмета»⁷⁶. По мнению Н.Л. Рубинштейна, одним из первых исторических произведений такого толка в русской историографии стала книга Й.Ф.Г. Эверса «Das älteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwicklung» (Древнейшее право руссов в историческом его развитии), изданная на немецком языке в 1826 г. (вышла на русском языке в 1835 г.). «Она представляет уже не общий свод сведений о Руси, – написал Н.Л. Рубинштейн, – а исследовательскую [это лишнее, разве монография может быть не исследовательской? – С.М.] монографию в нашем современном понимании, подвергающую изучению один более ранний период русской истории»⁷⁷.

Позитивизм существенно повлиял на модель исследовательской практики историков. Научное исследование ассоциировалось с добросовестным и критическим отношением к историческим источникам, полнотой источниковой базы (из которой нужно было добывать

⁷⁴ Соловьев С.[М.] Об отношениях Новгорода к великим князьям: Историческое исследование. М.: Унив. тип., 1846. С. 1.

⁷⁵ Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Монография и очерк... С. 343.

⁷⁶ Монография // Словарь церковно-славянского и русского языка / сост. Вторым Отд. Имп. А.Н. : в IV т. СПб. : Тип. Имп. Акад. наук, 1847. Т. II. С. 322.

⁷⁷ Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М.: Госполитиздат, 1941. С. 227.

исторические факты), с основанным на фактах конструированием истории. Так, П.В. Голубовский исторические источники (в отличие от исторической литературы) называл «источниками первой руки» и писал: «Мы не излагаем всех теорий, существующих по тому или иному вопросу и не разбираем их, считая это совершенно излишним балластом: *раз мы строим свои выводы на основании источников первой руки, то этим самым возражаем против тех мнений, с которыми мы не согласны* [курсив автора]»⁷⁸.

У монографической формы исследования появляются определённые формальные аспекты, которые станут дискурсивными маркерами классической модели науки: 1) изучаемый вопрос до сих пор не исследован / недостаточно исследован (П.В. Голубовский указывает, что предшествующие произведения «не охватывают истории Смоленских кривичей, в ее целом...»)⁷⁹; 2) рефлексия о привлечении новых исторических источников – еще не введенных в научный оборот (Д.И. Иловайский сетует: «Новых неизданных доселе источников мне удалось собрать очень немного»⁸⁰, В.И. Семевский этот аспект выразил так: «Труд наш составлен преимущественно на основании неизданных источников, хотя конечно, я пользовался и известными мне печатными источниками и пособиями»⁸¹); 3) монография призвана позиционировать новое научное знание, которое понималось как установление новых фактов, или приведение их в систему: «привести в известность и дать единство фактам» (Д.И. Иловайский⁸²), «изучение фактического состояния русской городской общины <...> может представлять несомненный научный интерес» (А.А. Кизеветтер)⁸³.

В XIX – начале XX в. научная история презентировалась не только в монографии, но и в *очерковой форме*, но в XIX в. этот вид исторического исследования претерпел трансформацию: во-первых, сократилось число исследований, в самоназваниях которых указывалось «опыт»⁸⁴, во-вторых, слово «начертание», которое использовалось

⁷⁸ См.: Голубовский П.В. История Смоленской земли до начала XV ст.: монография. Киев: Типогр. Имп. Университета Св. Владимира, 1895. С. I-II.

⁷⁹ См.: Там же. С. I.

⁸⁰ Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. М.: Универ. тип. 1858. С. V.

⁸¹ Семевский В.И. Крестьяне в царствование Императрицы Екатерины II: в 2 т. СПб.: Тип. Ф.С. Сушинского, 1881. Т. I. С. XXXV.

⁸² Иловайский Д.И. История Рязанского княжества... С. VI.

⁸³ Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII ст. М.: Универ. тип., 1903. С. IV.

⁸⁴ См., напр.: Готье Ю.[В.] Замосковский край в XVII веке: Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси. М.: Тип. Г. Лесснера и Д. Собко, 1906.

лось в XVIII в. постепенно вытеснялось словом «очерк(и)». Такая форма презентации истории, характеризовалась отличавшими её от видов научных исследований (монография, диссертация, научная статья) признаками, которые в сумме можно свести к авторскому «испытанию», «недостаточности» научности, краткости и популярности изложения исторического материала.

Позитивизм существенно повлиял на модель исследовательской практики историков. Здесь снова повторю, что научное исследование ассоциировалось с добросовестным и критическим отношением к историческим источникам, полнотой источниковой базы и основанным на фактах конструированием, в первую очередь, политической истории. Но в то же время, получавшая распространение в историографии Российской империи с 1860-х гг. практика изучения объекта/субъекта исторического процесса, не тождественного государству, – истории отдельной земли (части государства) – создала для историков сложность теоретического и источниковедческого характера. Д.А. Корсакову, М.В. Довнар-Запольскому, А.С. Грушевскому, Д.И. Багалею и др. оказалось сложным связать объект исследования с линейной историей государственной централизации. Обращение не только к политическим, но и к социальным, а также культурным проблемам не позволяло историкам гарантировать репрезентативность источниковой базы (один из важнейших критериев монографии). Д.А. Корсаков свой выбор исследовательской модели в виде очерка обосновал таким образом: «сознавая недостаточность наших собственных сил для всесторонней разработки истории Ростово-Суздальской земли, – мы ограничиваемся на первый раз представлением вниманию читателей “очерков из истории этой земли”»⁸⁵.

Добросовестная позитивистская рефлексия о слабой изученности темы («при таком неблагоприятном положении литературы предмета»⁸⁶) и недостаток признаков, которые позволяют считать исследование монографией, заставили В.Е. Данилевича пояснить: «многие пробелы и недостатки моей работы ясны мне самому; они были неизбежны, так как для устранения их нужно было бы иметь больше времени и средств, чем было в моем распоряжении»⁸⁷. Д.И. Багалею выбор модели «Очерков» объяснил невозможностью «избежать кое-каких пробелов». Историк исследовал не привычную

⁸⁵ Корсаков Д.[А.] Меря и Ростовское княжество: Очерки из истории Ростово-Суздальской земли. Казань: Универ. тип., 1872. С. II.

⁸⁶ Данилевич В.Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев: Универ. тип., 1896. С. VII.

⁸⁷ Там же. С. VII-VIII.

для классической модели исторической науки историю государственного строительства, а «творческую силу государства и народного начала»: изучая историю колонизации южных окраин Московского государства, он делал «наблюдения над образованием в степи гражданских обществ»⁸⁸. Приведенные примеры демонстрируют появление с 1870-х гг. довольно широкой практики использования формы презентации научных исследований, которую историки, для различения с монографической, назвали «очерковой». Однако, если монография как вид историографических источников имеет четкую парадигмальную привязку (классическая модель исторической науки), то исторический очерк свойственен разным историческим культурам (см., выше, – очерковая форма во второй половине XVIII в.), он по-разному включается в различные системы исторической культуры⁸⁹.

Обратив внимание на формы презентации научного типа исторического знания о прошлом России, возвратимся к национально-государственному нарративу. В многотомной исторической наррации С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» мы найдем сюжеты и выводы, которые историк брал из своих диссертаций (монографий), но повествовательная модель национально-государственного нарратива не ограничивалась данными, основанными на сообщениях исторических источников, принятых в то время за более или менее «достоверные». Эта модель истории строилась и на иных нарративных приемах. Так, в рассказе о событиях в Восточной Европе второй половины IX века Соловьев в качестве исторических источников использовал такие, какие не позволял себе использовать в монографиях, – так называемые «дополнения» Никоновской летописи (он называл их «преданиями», которым не доверял даже Н.М. Карамзин) и Степенная книга. Указанные исторические источники позволили Соловьеву обратить внимание на легендарного Вадима, а также на «восстание новгородцев» (под руководством Вадима) и создать конструкцию, призванную продемонстрировать в своей «Истории» сложность утверждения системы властвования⁹⁰. Назвав князя Олега «князем-нарядником Земли», Соловьев рассказал о том, как он собирал «под одно знамя» племена, после чего сделал замечание: «историки не имеют никакого права заподозрить это *предание* [курсив мой

⁸⁸ Багалея Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства: исследование. М.: Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1887. С. XV.

⁸⁹ Подробнее об этом, см.: Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. Монография и очерк... С. 337-354.

⁹⁰ Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 6 кн. [29 т.]. СПб.: Тов-во «Общественная польза», 1896. Кн. 1. Т. I-V. С. 110.

– С.М.], отвергнуть значение Олега, как собирателя племен»⁹¹. Не только выбранная автором стратегия отбора «событий» демонстрирует социально ориентированную практику историописания, но и объяснения, к которым прибегает С.М. Соловьев, призваны позиционировать идею национального строительства (собирать племена) и особенность «своей» истории в общем европейском пространстве. Так, объясняя предание о «выборе веры» князем Владимиром Святославичем (в котором сомневались историки)⁹², он написал: «Последнее обстоятельство, т.е. выбор веры, есть особенность русской истории: ни одному другому европейскому народу не предстояло необходимости выбора между религиями; но не так было на востоке Европы, на границах ее с Азией...»⁹³ и т.д.

К подобному конструированию прошлого в национально-государственном нарративе вполне подходит меткое название, данное этой практике в 1837 г. Н.И. Надеждиным – «полу-свет». В одной из своих работ Н.И. Надеждин, не отрицая важности исторической критики, роли М.Т. Каченовского и «скептической школы» в формировании научности в истории, укорял их за то, что они не смогли быть снисходительнее к «полу-свету» некоторых «фактов» русской истории⁹⁴. Свой вывод Надеждин мотивировал защитой национальных, но не научных интересов.

Как было отмечено выше, национально-государственные нарративы отличались от научных работ своим целеполаганием, предполагающим строительство национально-государственной идентичности. Именно такую задачу, ставил перед своей «Историей Франции» Ж. Мишле («сложную задачу», как он сам заметил) – «воскрешение единой жизни... в ее внутренней и глубинной организации»⁹⁵. Мы не найдем научной цели в «Истории России...» С.М. Соловьева (хотя его работа в немалой степени была исследовательской), историческое произведение начинается с рефлексии о практическом его значении: «Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной»⁹⁶. Не случайно, в третьей четверти XIX века И.Г. Дройзен (считавший подобную практику написания

⁹¹ Там же. С. 122.

⁹² См., напр.: Арцыбашев Н.С. Повествование о России: в 4 т. М.: Универ. тип., 1838. Т. 1. С. 68.

⁹³ Соловьев С.М. История России с древнейших времен ... С. 164.

⁹⁴ Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. 1837. Т. 20. № 2. С. 116-131. Отд. III. С. 116-131.

⁹⁵ [Michelet J.] Histoire de France... Т. 1. P. III.

⁹⁶ Соловьев С.М. История России с древнейших времен... С. 1.

национальных историй полезной) также отметил их сугубо практическое (а не научное) значение: «...Они – и только они – дают государству, народу, армии и т.д. образ самого себя»⁹⁷.

В отличие от исследовательских (научных) работ национально-государственный нарратив предназначался для широкой читательской аудитории. Авторы таких нарративов не часто, но рефлексировали о предназначенности своих произведений. В «Истории государства российского» Н.М. Карамзин, заметил, что не только правители, но «и простой гражданин должен читать историю»⁹⁸. Через несколько лет Ж.Ш.Л. де Сисмонди писал, что историю Франции «полезно знать всем, потому что она более универсальна чем иные»⁹⁹. На рубеже XIX–XX вв. испанский историк Р. Альтамира прямо указал на отличие «общей истории» Испании от исследований отдельных проблем национального прошлого, заметив, что первое должно охватывать все стороны человеческой деятельности (политическую, юридическую, экономическую, художественную и т.д.) и быть доступно для обычного читателя¹⁰⁰.

В этой связи интересно отметить факт популярности национально-государственных нарративов среди учащихся гимназий Российской империи. В двух проанализированных выпускных сочинениях гимназистов, написанных в 1850-х гг. по российской истории, такой вид историографических источников как учебная книга по национальной истории не использовался ни разу, научная работа (это была монография С.М. Соловьева) привлекалась лишь в одном случае, зато оба выпускника использовали национально-государственные нарративы Н.М. Карамзина, Н.Г. Устрялова, Н.А. Полевого и С.М. Соловьева¹⁰¹.

⁹⁷ Дройзен И.Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 499.

⁹⁸ Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. IX.

⁹⁹ Sismondi J.C.L.[S.] Histoire des français: dans XXXI t. T. I. Paris: Treuttel et Würtz, 1821. P. I, XVII.

¹⁰⁰ Altamira R. Historia de España y de La Civilización Española: 4 vol. [3 ed.]. Barcelona: Julian Gili, 1913. Vol.1. P. 11-15.

¹⁰¹ См.: Маловичко С.И. К проблеме перехода от традиционной темпоральности к линейной: историческое сочинение гимназиста-горца // Диалог со временем: Мировидение человека в переходные эпохи. Самара: СНЦ РАН, 2012. С. 40-59; Его же. Выпускное сочинение гимназиста середины XIX в. как феномен историописания // Историографические чтения памяти профессора В.А. Муравьева: сб. ст.: в 2 т. / сост.: Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцев; отв. ред.: Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцев; РГГУ, Науч.-пед. школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru. М.: РГГУ, 2013. Т. 2. С. 396-418.

ГЛАВА 6

ПРАКТИКИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ: УЧЕБНАЯ КНИГА И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАРРАТИВ¹

Вполне понятно, что в период становления современного общества наибольшее влияние на формирование национальной памяти начинают оказывать те виды национальной истории, которые были ориентированы на широкую читательскую аудиторию, – это учебные книги по национальной истории и рассмотренный в предыдущих главах национально-государственный нарратив. Предлагаю последовательно 1) рассмотреть вопрос о появлении группы видов учебной книги по национальной истории в России, 2) обратить внимание на черты самопрезентации, присущие национально-государственному нарративу и учебной книге по национальной истории.

1. Учебная книга по национальной истории в структуре исторического знания в России конца XVIII – начала XX века

В российском историографическом пространстве внимание к проблеме учебной книги по национальной истории XVIII – начала XX в. традиционно проявляли методисты и педагоги², но можно констатировать рост интереса к ней и специалистов в области историографии (истории истории)³.

Современные историки позиционируют несколько практик изучения учебной книги по русской истории. В.А. Володина исследовала проблему влияния исторической науки на сферу учебной ли-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.).

² См., напр.: Орловский А.Я. Школьные учебники по русской истории в России в конце XIX – начале XX в. (опыт создания и методического построения): дис... канд. пед. наук. М., 2002.

³ См., напр.: Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории как предмет историографии (середина XVIII – конец XIX вв.): автореф. дис... д-ра ист. наук. М., 2004.; Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории как историографический феномен (конец XVII в. – 1930-е гг.): автореф. дис... д-ра ист. наук. М., 2011. С. 8.

тературы и выясняла «почему так, а не иначе писалась история для юношества» с середины XVIII до конца XIX века⁴ И.С. Огоновская предложила школьные учебники по истории изучать как *исторические источники* и классифицировать их по содержанию: «официально-охранительные», «дворянско-монархические», «государственно-патриотические» и т.д.⁵ А.Н. Фукс, поставив цель определить «уровень историографической информативности» школьных учебников и учебных пособий по отечественной истории, предпринял попытку изучать их как *историографические источники*⁶. Мне представляется важным замечание А.Н. Фука о том, что одним «из приоритетных направлений в современной историографии становится изучение школьных учебников как историографических источников»⁷. Но, к сожалению, кроме манифестации приоритетности этой исследовательской практики, историк не уточнил понятие «историографический источник» и не привел признаки «школьного учебника» как историографического источника.

Историки склонны устанавливать прямую связь развивающейся с XVIII века исторической науки и текстов учебных книг по национальной истории⁸, отмечая: «Безусловным фактом является взаимосвязь <...> двух явлений: делала шаг вперед историческая наука – вслед за ней двигались и школьные учебники»⁹. Мне представляется, что важно обратить внимание не столько на зависимость учебной книги от научной истории, сколько на ее связь с историческими произведениями, позиционирующими социально ориентированный тип исторического знания (национально-государственный нарратив).

В данном разделе обратим внимание на учебную книгу как группу историографических источников, формы и содержание которых зависели от формирующегося мастер-нарратива, основанного на конструкциях, которые историки включают в национально-государственные нарративы. Как и в других разделах главы, сначала будет дана краткая характеристика функционированию понятий, в данном случае, связанных с видами учебной книги по истории России.

⁴ Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории... С. 5.

⁵ Огоновская И.С. Школьный учебник отечественной истории: Учебные издания как исторический источник // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 12. Екатеринбург, 2011. С. 279.

⁶ Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории... С. 7-9.

⁷ Фукс А.Н. Значение школьных учебников отечественной истории для идеологического обеспечения национальной безопасности // Вестник МГОУ. 2015. № 1. С. 22.

⁸ Там же.

⁹ Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории... С. 26.

В исследованиях современных историков отсутствует рефлексия о строгости употребления понятий: «учебная книга», «учебное пособие» и «учебник». Так, «Краткое изображение российской истории» А.Л. Шлёцера может быть названо «кратким учебником русской истории»¹⁰, несмотря на то, что эта маленькая книжка не была автором адресована школе. К «учебникам» отнесен труд С.Н. Глинки «Русская история в пользу семейного воспитания» (указание в самоназвании произведения «для семейного воспитания» – свидетельствует о том, что автор создавал не учебник)¹¹. «Краткое пособие по русской истории» В.О. Ключевского названо «школьным учебником истории»¹². Присутствие в самоназвании произведения слова – «пособие» (тем более, указание самого Ключевского, на то, что книга адресована слушателям его университетского курса¹³) в этом случае игнорируется, а значит проведенный историографический анализ историографического источника является некорректным.

Система упорядочивания изданий существует в библиографии. Она регулируется ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, термины и определения» системы СИБИД (стандартов по информации библиотечного и издательского дела). ГОСТ 7.60-2003 выделяет виды изданий по «целевому назначению» и по «характеру информации». По целевому назначению ГОСТ 7.60-2003 предлагает понятие группы «учебное издание», а по характеру информации в учебных изданиях выделяет среди прочих – *учебник* и *учебное пособие* и дает им определения: 1) учебник: «Учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания»; 2) учебное пособие: «Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания»¹⁴. Надо иметь в виду, что ГОСТ 7.60-2003 систематизирует именно издания, а не сами произведения как таковые. Естественно, что в своем

¹⁰ См.: Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного образования в России XVI – начала XIX в.: монография. М. МПГУ, 2011. С. 71.

¹¹ Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории... С. 33.

¹² Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории... С. 22-23; Абрамкин О.С. Проблемы отечественной истории в школьной литературе XVIII – начала XX в. // Российский гуманитарный журнал. 2015. Т. 4. №. 6. С. 499.

¹³ См.: Ключевский В.[О.] Краткое пособие по русской истории. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1908.

¹⁴ ГОСТ 7.60-2003 [Межгосударственный стандарт]. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды: термины и определения. URL : <https://www.ifap.ru/library/gost/7602003.pdf/>

исследовании историограф должен уточнять библиографическую систематизацию с учетом интенции автора учебной книги, типа историографической культуры того или иного времени и типа рациональности соответствующей модели науки (классической, неклассической и т.д.). Со своей стороны, современные книговеды предлагают типологию группы «учебное издание». Например, выделяется группа «образовательная книга» XVIII века, в которую по целевому назначению включены: учебные, научно-популярные и справочно-энциклопедические издания¹⁵. Специалисты-книговеды, признают, что «типология учебных изданий досоветского периода относится к одному из наименее разработанных вопросов типологического направления в книговедении»¹⁶. Ранее В.А. Володина предложила свое понимание терминов «учебник» и «руководство»: под «учебником» «понимается официально утвержденная и введенная в практику преподавания книга», термин «руководство» – шире, «он включает как собственно учебники, так и различные пособия, которые могли употребляться в качестве вспомогательной литературы»¹⁷. Систематизация, предложенная историком более приемлема, но, приемлема, в большей степени, для изучения специфики функционирования учебных текстов в пространстве исторического образования. Если мы ведем речь о практике историографического исследования, в котором базовым выступает понятие «историографический источник» (произведение историка), то данный подход к систематизации, не учитывающий авторскую интенцию и историческую культуру эпохи может не позволить осуществить строгий историографический анализ.

Во второй половине XVIII – первой половине XIX века виды учебной книги еще не были систематизированы культурой. Однако авторы книг, переводчики и составители словарей старались соотнести принимаемые русской книжной культурой названия изданий с западноевропейскими. Например, в «Словаре» украинского ученого Г.А. Полетики (1763) обнаруживаем: «Руководство: Manuel (фр.), Handbuch (нем.), A Manual (англ.)»¹⁸. В «Словаре Академии Россий-

¹⁵ Антипова И.А. Образовательная книга для детей в России во второй половине XVIII в.: вопросы издания и типологии: автореф. дисс... канд. филол. наук. СПб., 2002. С. 13.

¹⁶ Сенькина А.А. «Книга для чтения» как вид учебного пособия для начального обучения: вопросы типологии и истории издания (конец XVIII – первая половина XIX вв.): автореф. дисс... канд. филол. наук. СПб., 2010. С. 14.

¹⁷ Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории... С. 5-6.

¹⁸ [Полетика Г.А.] Словарь на шести языках: русском, греческом, латинском, французском, немецком и английском, изданный в пользу учащегося юношества. СПб., 1763. С. 192-193.

ской» (1789–1794), учебной книгой названа книга «касающаяся до учения»¹⁹, а «руководство» определено как «краткое начертание какой науки. [Напр.:] Руководство к геометрии»²⁰.

В первой половине XIX в. шел процесс корректировки понятий, связанных с учебной книгой. В русской культуре этого времени уже отличают книгу по истории или «отечественную историю в кратком очерке», от той, которая принята на официальном уровне «в руководство»²¹. Слово «учебник» можно найти в «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847), в котором он определяется, как «учебная книга»²².

Во второй половине XIX века «Толковый словарь» В.И. Даля пробует дифференцировать «руководство» и «учебник». Руководство – это «подручная учебная книга по какой-либо науке, знанию, искусству», а учебник – «книга, *руководство* [курсив здесь и далее мой. – С.М.], для обучения составленная»²³. В то же самое время «руководство» по истории и «учебник» по истории воспринимаются как синонимы. Например, В.Г. Белинский в рецензии на одно из «Руководств» С.Н. Смарагдова, написал, что это «почти первый учебник истории, составленный добросовестно»²⁴. Даже бывший министр народного просвещения Российской империи Д.А. Толстой в работе о городских училищах (1886), характеризуя «Краткую российскую историю, изданную в пользу народных училищ Российской империи» (1799), перевел на русский язык мысль А.Л. Шлёцера о ней: «...этот учебник – первое изданное *руководство* по русской истории»²⁵, хотя в оригинале (в «Предисловии» к немецкому изданию) Шлёцер во всех случаях использовал слово «Handbuch» (руководство)²⁶. Как

¹⁹ Словарь Академии Российской: в 6 ч. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1789-1794. Ч. 6. Стб. 468.

²⁰ Там же. Ч. 5. Стб. 206.

²¹ Обзорение книг, вышедших в России в 1835 г. // Журнал министерства народного просвещения. 1838. Ч. 19. С. 430-431.; Обзорение книг, вышедших в России в 1837 г. // там же. 1839. Ч. 23. С. 38-39.

²² Словарь церковно-славянского и русского языка: в IV т. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1847. Т. IV. С. 379.

²³ Даль В.[И.] Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. [2-е изд.]. СПб.; М.: Изд. М.О. Вольфа, 1880-1882. Т. IV: P-V. С. 113, 543.

²⁴ См.: Белинский В.Г. Руководство к познанию древней истории для средних учебных заведений, сочиненное С. Смарагдовым // Отечественные записки. 1840. Т. XI. С. 26.

²⁵ Толстой Д.А. Городские училища в царствование Императрицы Екатерины II. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1886. С. 86.

²⁶ Schlözer A.L. Vorbericht // Handbuch der Geschichte des Kaiserthums Rußland: vom Anfänge des Stats bis zum Tode Katharina der II. Göttingen, 1802. S. X-XI.

можно заметить, в культуре происходит незначительная трансформация восприятия такого вида историописания как «руководство» по истории, но в целом, виды учебной книги так и не были уточнены.

В формирующейся модели европейской исторической науки второй половины XVIII – начала XIX в. еще не выработались четкие формы презентации исторического знания. Так, по мнению М. Филлипса, в британском историописании сложилась система «связанных жанров», она была динамичной, каждый жанр (в большей или меньшей степени) мог изменяться от эпохи классицизма до романтизма. Применив понятие «классификация» по отношению к жанрам исторических произведений, Филлипс не стал выявлять четкую жанровую структуру, отмечая, что авторы XVIII – начала XIX в. редко рефлексировали о природе практик историописания²⁷. Похожая ситуация складывалась и в практике историописания в России.

Со второй половины XVIII в. активизируется практика историописания, которая выполняла вполне определенную функцию – создание учебных книг по истории для учебных заведений Российской империи и для чтения. Эта практика была представлена: 1) добавлением российской истории в уже готовые немецкие и французские труды по всеобщей истории (например, «Гилмара Кураса сокращенная универсальная история...»²⁸) или 2) написанием собственно национальной истории (например, «Краткий российский летописец» М.В. Ломоносова). В период господства рационалистических принципов во второй половине XVIII века уже не всякого читателя могли удовлетворить ломоносовские конструкции о прошлом России. Начатые правительством Екатерины II в 1782 г. реформы в области образования и создание Комиссии об учреждении училищ, потребовали создания единых учебных планов и программ преподаваемых дисциплин, подготовку учителей, а также обеспечение училищ учебной литературой.

Одной из первых учебных книг, утвержденных Комиссией об учреждении училищ, и тем самым принятой в качестве учебника, стала написанная на основе книги для чтения «Общая всемирная история для детей» («Allgemeine Weltgeschichte für Kinder»: in 4 bd.)

²⁷ Phillips M.S. *Society and Sentiment: Genres of Historical Writing in Britain, 1740–1820*. Princeton: Princeton University Press, 2000. P. 8–12, 25.

²⁸ Гилмара Кураса Сокращенная универсальная история, содержащая все достопамятные в свете случаи от сотворения мира по нынешнее время со многим пополнением вновь переведенная [Б. А. Волковым] и с приобщением Краткой российской истории вопросами и ответами в пользу учащегося юношества. СПб. При Имп. Акад. наук, 1762.

И.М. Шрека «Всемирная история, изданная для народных училищ Российской империи: в 3 ч.» (1787–1798)²⁹. В 1799 г. вышла официально одобренная Комиссией «Краткая российская история, изданная в пользу народных училищ» Ф.И. Янковича де Мириево. Следует согласиться с В.А. Володиной, что если говорить о «первом учебнике» по российской истории, то им следует признать указанное произведение, подготовленное специально для народных училищ³⁰.

Появление такого вида историографических источников как *учебник* по национальной истории происходит лишь после издания первых больших (полных) национальных историй. Отнюдь не случайно, в «Предисловии» к немецкому изданию «Краткой российской истории» А.Л. Шлёцер отметил, что руководство по национальной истории может удовлетворять всем потребностям лишь в том случае, когда уже проведена подготовительная работа, собраны, упорядочены, обработаны и «очищены материалы» (*gereinigte Materialien*) для нее³¹. Авторами больших российских историй в XVIII в., как было уже отмечено, выступили: В.Н. Татищев, Ф.А. Эмин, М.М. Щербатов, анонимный сочинитель [Екатерина II] «Записок касательно российской истории» и т.д.

Предложенная М.М. Щербатовым в «Истории российской...» модель прошлого России, не удовлетворяла власть (Екатерину II). Поэтому, Ф.И. Янкович де Мириево целенаправленно создавал учебный текст для народных училищ, используя фактический материал, собранный И.М. Стритгером (Комиссия об учреждении училищ еще в 1783 г. заказала ему учебную книгу по русской истории, которая будет издаваться в 1800–1802 гг. в 3 ч.). Многие конструкции древнерусской истории Ф.И. Янкович де Мириево старался выстраивать так, как их сконструировала в предназначенных для чтения юношества «Записках касательно российской истории» Екатерина II. Это доказывают конструкции текста Ф.И. Янковича де Мириево. Например, в произведении Екатерины II князь Олег не убивал княжившего в Киеве Аскольда (Дира не было вообще)³². Поэтому, в «Краткой российской истории» князь Олег просто «отнял» за нерадение у Асколь-

²⁹ [Янкович де Мириево Ф.И.] Всемирная история / Изданная для народных училищ Российской империи по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины Второй: в 3 ч. СПб.: Б.и., 1787–1798.

³⁰ Володина В.А. Учебники отечественной истории как предмет историографии: середина XVIII – середина XIX в. // История и историки: историогр. вестн. 2004. М.: Наука, 2005. С. 113.

³¹ Schlözer A.L. Vorbericht... S. XIII–XIV.

³² [Екатерина II] Записки касательно российской истории: в 6 ч. СПб.: Имп. тип., 1787–1794. Ч. 1. С. 43.

да Киев и южную Русь³³. Если Екатерина II сделала основателем Москвы князя Олега³⁴, то и в «Краткой российской истории» можно прочесть, что «Олег заложил город Москву»³⁵. При этом в учебной книге Ф.И. Янковича де Мириево можно заметить явное стремление автора позиционировать только положительный образ предка. Славяне (а потом русские) представлены благонравными, правдивыми, не предупредив – войн не начинали и т.д.³⁶

А.Л. Шлёцер, как известно, определил вид этой учебной книги как «руководство» и применительно к историографической культуре того времени, в качестве историографического источника она может нами рассматриваться как учебник. Его текст оказался удовлетворительным для власти, учителей и учащихся. События прошлого были искусно отобраны и сделана заявка на системность изложения материала, неслучайно книга издавалась более тридцати лет.

Трансформация модели большой национальной истории XVIII века в национально-государственный нарратив происходит в Европе на рубеже XVIII–XIX в. Уже в первой четверти XIX столетия усиливается неоднородность способов позиционирования национального прошлого, основой которых были разные типы исторического знания (научный и социально ориентированный)³⁷.

Выход в свет труда Н.М. Карамзина «История государства российского» способствовал корректировке основных конструкций русской истории, ее героев и антигероев, к которым обращались еще историописатели XVIII века. Это привело к формированию русского исторического мастер-нарратива, который укреплялся, в том числе историческими произведениями, подражавшими ставшей популярной «Истории» Карамзина. Одним из таких произведений можно назвать книгу «Сокращение Российской истории Н.М. Карамзина, в пользу юношества» А.В. Таппе. В связи с тем, что книга была составлена на трех языках: русском, немецком и французском, представляют интерес самоназвания трех блоков книги. Если во французском варианте названия присутствует «Tableau abrégé de l'histoire de russie...» (краткое (сокращенное) изображение истории России), со-

³³ [Янкович де Мириево Ф.И.] Краткая российская история, изданная в пользу народных училищ Российской империи (2-е изд.). СПб.: При Имп. Акад. наук, 1804. С. 14.

³⁴ [Екатерина II] Записки касательно российской истории... С. 42.

³⁵ [Янкович де Мириево Ф.И.] Краткая российская история... С. 14.

³⁶ Там же. С. 8, 20 и др.

³⁷ См.: Маловичко С.И. Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории долгого Девятнадцатого века // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 89-100.

ответствующее российскому названию, то в немецком варианте А.В. Таппе поставил: «Russisches historisches lesebuch, aus Karamsins Geschichte Russlands». В последнем случае присутствует целевая установка книги, маркирующая авторскую интенцию, которая не манифестируется ни в русском, ни во французском вариантах, – это слово «*lesebuch*» – книга для чтения³⁸.

Одну из книг для детского чтения по российской истории подготовила женщина – Е.Д. Кушелева. Издавая книгу для чтения по русской истории, она вступила в коммуникацию с издательством Н.И. Новикова, которое в традиции эпохи Просвещения публиковало литературу, полезную для «имеющих вкус» к просвещению. В «Карманной или памятной книге для девиц» (1784), изданной Новиковым, одно из важнейших наставлений гласило: «Знать всеобщую историю, а паче своего отечества, лучшие и приличные полу вашему российские сочинения, дабы при случае не оказать себя невеждою»³⁹. В обращении к «Благосклонному читателю» Е.Д. Кушелева, как представляется, откликаясь на это наставление написала: «Что знание истории для человека весьма нужно, в том я думаю все со мной согласятся; а что знание истории своего отечества нужнее всего человеку знать, без сомнения неоспоримо. Для сего я предпринимала в свободное время сей малый труд...»⁴⁰.

Отметим, что Е.Д. Кушелева в начале произведения в числе исторической литературы, которую она использовала, составляя свою книгу для чтения, привела работу французского историка П.-Ш. Левека (*Levesque P.-Ch. Histoire de Russie et des principales nations de l'Empire Russe* (1782)), который был непопулярен в окружении Екатерины II за пренебрежительное отношение к самодержавию. Императрица еще в 1783 г. нелюбезно отзывалась о Левеке и его ученике Н.-Г. Леклерке: «оба скоты <...>, скоты скучные и гнусные»⁴¹.

³⁸ Таппе А.В. Сокращение Российской истории Н.М. Карамзина, в пользу юношества и учащихся российскому языку, с знаками ударения, истолкованием труднейших слов и речений, на немецком и французском языках, и ссылками на грамматические правила. СПб.; Рига, 1819.

³⁹ Карманная, или памятная книжка для молодых девиц, содержащая в себе наставления прекрасному полу, с показанием, в чем должны состоять упражнения их [иждением Н. Новикова и компании]. М.: Универ. тип., 1784. С. 4.

⁴⁰ Кушелева Е.[Д.] Историческая и хронологическая поколенная роспись всех в России владеющих великих князей, царей, императоров и императриц. СПб.: Печ. у Хр. Геннинга, 1785. С. 3.

⁴¹ Курукин И.В. «Для вперения в юношество любви к отечеству»: Екатерина II и изучение истории в русской школе конца XVIII – начала XIX века // Исторический вестник. 2013. Т. 3 [150]. С. 106.

Более того, в своих «Записках касательно российской истории», первоначально публиковавшихся с 1783 г. в журнале «Собеседник любителей русского слова», императрица отмечала (намекая на французских историков): «Сии записки касательно Российской Истории сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книги под именем Истории Российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными...»⁴².

Модель построения текста «Исторической и хронологической поколенной росписи» Е.Д. Кушелевой ближе всего «Краткому российскому летописцу с родословием» М.В. Ломоносова, но это все, что их объединяет. Российский академик, давая основные сведения о представителях власти в России, не указывает супругов и детей, даже тех, которые потом наследовали власть. Он больше внимания уделяет их храбрости, победам, политическим мероприятиям, а Кушелеву перечисленные качества правления, как можно заметить по ее тексту, интересовали в меньшей степени. Она обращала внимание на черты семейного быта, даже когда в своих историографических источниках о последних ничего не находила. Например, характеристику князя Игоря Рюриковича она заканчивает словами: «Уповают, что он имел много супруг, но неизвестна ни одна, выключая Ольги»⁴³.

Внимание Е.Д. Кушелевой к семейной жизни российских правителей настолько очевидное, что во многих случаях характеристика супругов и детей по объему занимает не меньше места в тексте интересующего нас историографического источника, чем характеристика какого-либо князя. Так, в структуре текста описание Святослава Игоревича занимает три страницы, причем характеристика его супруги и наложницы (Малуши), а также перечисление сыновей заняли ровно половину этого объема⁴⁴. Таким образом, Кушелеву-историописателя – интересовали именно семейные стороны жизни венценосцев в прошлом страны. Если она и взяла на себя роль историописателя, то все равно осталась женщиной, а историю она позиционировала, в первую очередь, представительницам того пола, к которому принадлежала сама. Книга Е.Д. Кушелевой является прекрасным примером исторического «женского» дискурса, предназначенного для обучения девушек, а их (как считала автор) более всего в истории интересуют те вопросы, которые она постаралась актуализировать в своем тексте.

⁴² [Екатерина II] Записки касательно российской истории... Ч. 1. С. 1.

⁴³ Кушелева Е.[Д.] Историческая и хронологическая поколенная роспись... С. 6-7.

⁴⁴ Там же. С. 8-10.

Книгу для чтения по национальной истории (для детского возраста) следует отнести к группе видов историографических источников – учебная книга. Практика создания учебных книг оказалась интересной А.Л. Шлецеру. Кроме нескольких изданий всеобщей истории для учащихся он подготовил небольшую справочную книгу и книгу для чтения (для детского возраста) по русской истории, которые были переведены на русский язык⁴⁵. Книга для чтения «Краткое изображение российской истории» предназначалась «юным соотечественникам» и содержала элементы исторической критики, позиционируемой Шлёцером во всех видах исторических произведений. Перечисляя польско-украинские и московские позднесредневековые мифологемы, а также ломоносовские «нелепости», историк замечал, что история, предводимая здравым рассудком и озаряемая светом критики, ими пренебрегает»⁴⁶.

Книги для чтения выполняли пропедевтические задачи, но не были ориентированы для употребления в учебных учреждениях как основной источник информации по предмету. В качестве примера можно привести книгу для чтения С.И. Ушакова под названием «Российская история». Текст ее составлен параллельно на русском и французском языках и она, как указал автор, служит «для украшения сердца и памяти юношества»⁴⁷.

Многие книги для чтения по российской истории для детей, наряду с научными работами А.Л. Шлецера, И.М. Стриттера, М.Т. Каченовского, П.М. и С.М. Строевых, Н.С. Арцыбашева, Н.А. Полевого и др. составили широкую практику контр-нарратива. Эта практика противостояла утверждающемуся российскому мастер-нарративу, опирающемуся на национально-государственные истории первой половины XIX столетия.

Книги для чтения «Детская российская история» (1797) и (во втором издании) «История Российского государства от начала оного до нынешних времен» (1811) были предназначены «для пользы интересующихся и юношей» (вероятный автор – смоленский учитель Н.Г. Ефремов). Автор включил в эти книги элементы исторической критики. В первую очередь, манифестируется недоверие сообщениям

⁴⁵ См.: Шлецер А.Л. Перечень российской истории, от князя Рюрика до настоящего ныне времени. СПб.: Б.и., 1783; [Шлецер А.Л.] Краткое изображение российской истории. М.: Тип. П.Бекетова, 1805.

⁴⁶ [Шлецер А.Л.] Краткое изображение российской истории... С. 19-22.

⁴⁷ Ушаков С.[И.] Российская история от Рюрика до царствования государя императора Александра I, Павловича, служащая для украшения сердца и памяти юношества. СПб.: Тпн. Ф. Дрихслера, 1811.

Иоакимовской летописи В.Н. Татищева (который являлся основным источником для «Записок» Екатерины II)⁴⁸. В другой книге для чтения (получившей популярность среди учителей и отмеченной Министерством народного просвещения) «Краткой российской истории в пользу российского юношества», написанной молодым П.М. Строевым, присутствует сомнение в возникновении Киева в V в. н.э., «да и братья Кий, Щек и Хорив весьма сомнительны», заключил автор. П.М. Строев не обратил внимания на пользовавшуюся популярностью летописную легенду «об испытании вер» князем Владимиром Святославичем, так как, по его мнению, христианство на Руси уже и без того получило популярность⁴⁹ и т.д.

Н.А. Полевым было написано масштабное по объему историческое произведение «Русская история для первоначального чтения» (в четырех частях), которое В.А. Володина отнесла к «учебникам»⁵⁰. Действительно, это многотомное произведение стало популярным среди учителей и молодых читателей, но целеполагание автора – было иное, труд не предназначался для учебных заведений. Н.А. Полевой вполне осознанно отрефлексировал цель произведения – «для первоначального чтения». Этой цели Полевой подчинил и его структуру – каждая часть состоит из рассказов. Уже в первой части «Русской истории» автор последовательно подвергал исторической критике: легенду о призвании варягов в 862 г., существование летописных героев Кия (с братьями), Аскольда, основание Рюриком государства, сообщение летописи об «испытании вер» князем Владимиром и т.д.⁵¹ Историческая критика Полевого (как и других историков) создавала условия для недоверия ко многим историческим конструкциям национально-государственного нарратива Н.М. Карамзина «История государства российского».

Практика исторической критики становится популярной среди представителей профессионализирующейся историографии. Неоспоримо, «что критика российской истории сделала великие успехи и что теперь для нее настала счастливая эпоха», как писал в 1827 г.

⁴⁸ [Б.а.] Детская российская история, изданная в пользу обучающегося юношества. Смоленск: Тип. Приказа обществ. призрения, 1797. С. 3, 14-15; Н.Е. История Российского государства от начала оного до нынешних времен / собранная Смоленского главного народного училища учителем Н.Е. Смоленск, 1811. С. 5, 15-18.

⁴⁹ Строев П.М. Краткая российская история в пользу российского юношества. М., 1814. С. V, 9-10.

⁵⁰ Володина В.А. Учебная литература по отечественной истории... С. 34, 40.

⁵¹ Полевой Н.А. Русская история для первоначального чтения: в 4 ч. М.; СПб., 1835-1841. Ч. 1. С. 41, 42, 138-139.

А.З. Зиновьев⁵². Понимание того, что история является наукой, закрепляется в немецкой историографии, и уже в 20-х гг. XIX в. понятие «история – наука» начинает манифестироваться российскими историками. Однако, «не простое изложение событий, не затверживание годов и имен, ничего не значащих по самим себе, – по мнению И.Н. Среднего-Камышева, высказанному в 1827 г., – может возвысить Историю до степени науки»⁵³.

Укрепление научного подхода к историописанию оказывало влияние на историков и их решимость позиционировать историческое знание в учебной книге. Как отмечалось выше, уже на рубеже XVIII–XIX вв. И.М. Стриттер в «Предисловии» к своему труду «История российского государства» (был отклонен Комиссией об учреждении училищ), признался, что «рачительного критического исследования» в таком произведении, как его, «не может иметь места». Однако тому, кто хочет узнать больше – «можно читать сочинения ученых»⁵⁴, т.е. произведения историков, исследовавших отдельные вопросы русской истории. Этим высказыванием Стриттер продемонстрировал понимание разницы в практике написания государственной истории и исследовательской («ученой») работы.

Рефлексия о невозможности позиционирования научного исторического знания в таком виде исторических трудов, каким являлась учебная книга, заставила историков прибегнуть к определенному дискурсивному ходу, маркирующему специфику подачи учебного исторического материала по национальной истории. В самоназвании таких произведений мы встречаем слово «*начертание*».

В конце 1820-х гг. это слово употребил в самоназвании учебной книги И.К. Кайданов. Первое издание его произведения имеет признаки *учебника* по национальной истории (правда, отсутствует строгая системность) и *книги для чтения*. По признаю Кайданова, книга задумывалась «в виде учебной и вместе с тем так, что она могла быть не бесполезной и для людей всякого возраста»⁵⁵. В основу текста учебной книги был положен национально-государственный нарратив Н.М. Карамзина, но автор не стал в самоназвании произведения указывать привычное для такого вида историописания слово «*краткая / сокращенная*», он выбрал иное – «*начертание*».

⁵² Зиновьев А.[З.] О начале, ходе и успехах критической российской истории: рассуждение для получения ст. магистра. М.: Универ. тип., 1827. С. 65-66.

⁵³ [Средний-Камышев И.Н.] Взгляд на историю как на науку // Вестник Европы. 1827. №4. С. 249.

⁵⁴ Стриттер И.[М.] История российского государства... Ч. 1. С. 1.

⁵⁵ Кайданов И.[К.] Начертание истории Государства Российского. СПб.: Тип. Мед. Деп-та МВД, 1829. С. 5 (нумер.).

В немецкой и в российской литературной практике XVIII века присутствие в самоназвании произведения слова «Abriß» («Umriß») / «начертание» обозначало особый, краткий, авторский ракурс рассмотрения какого-либо вопроса⁵⁶. В дальнейшем смысл этого слова (преобразовавшегося в «очерк») зафиксировал В.И. Даль в своем словаре: «Очертанье и очерк <...>. Письменное краткое и легкое описание чего, в главных чертах»⁵⁷.

Рефлексируя о способе историописания в форме «начертание» истории, авторы отмечали свойственное ей «несовершенство». Например, И.К. Кайданов написал в «Предуведомлении»: «Я сам уверен в несовершенстве своего сочинения»⁵⁸. М.П. Погодин в «Предисловии» к подготовленному им учебнику «Начертание русской истории: для гимназий» замечал «недостатки, несоразмерности, излишества, недомолвки»⁵⁹. А Н.Г. Устрялов в «Начертании русской истории для учебных заведений» списал «недостаток» своего произведения на форму, а не на собственные ученые возможности, о чем и сообщил: «При тесных пределах, мне предписанных, я не мог развить происшествий в удовлетворительной полноте»⁶⁰. Причиной такой рефлексии историков являлась актуализируемая молодой профессиональной историографией модель научной («совершенной») истории, выполненной в форме исследования, от которой, конечно, сильно отличался учебный текст.

Переход из исследовательского («ученого») поля в поле учебного исторического дискурса в 1820–1830-х гг. оказывается не столь легким для профессиональных историков. Они отнеслись к практике создания исторических учебных текстов с осторожностью, чем и было вызвано присутствие в самоназвании их учебных книг слова «начертание»⁶¹. Классическая модель европейской исторической науки и критика со стороны контр-нарратива, позиционировавшего

⁵⁶ См., напр: Ахенвалль Г. Начертание истории знатнейших европейских государств / пер. с нем. В. Светов. СПб., 1779. С. 2.

⁵⁷ Даль В.[И.] Толковый словарь живого великорусского языка... Т. II (И-О). С. 804.

⁵⁸ Кайданов И.[К.] Начертание истории Государства Российского... С. 5.

⁵⁹ Погодин [М.П.] Начертание русской истории: для гимназий. М.: Универ. тип., 1837. С. VI.

⁶⁰ Устрялов Н.[Г.] Начертание русской истории, для учебных заведений. СПб., 1839. С. V (нумер.).

⁶¹ См.: Маловичко С.И., Марухин В.Ф. Учебная книга по русской истории в системе презентации национально-государственной истории российской империи конца XVIII – 40 гг. XIX века // Преподаватель XXI век. 2017. №. 4. Ч. 2. С. 298-315.

научность⁶², заставляли смотреть на выбранную практику историописания как на «несовершенную». Неслучайно после критики первого издания учебника по русской истории для гимназий М.П. Погодин решился в «Предисловии» ко второму изданию обратиться с «разговором» к двум категориям читателей: сначала к «ученым», а затем к «неученым», поясняя, что книга предназначена для последних⁶³. Н.Г. Устрялов в своем «Начертании русской истории» также реагирует на существование научного исторического знания и поясняет, что не обременяет «критическими исследованиями» учащихся, так как для этого «будет время в университете»⁶⁴.

В учебниках по русской истории конца 1820–1830-х гг. все явственнее присутствует редуцированный в учебную форму национально-государственный нарратив. Если И.К. Кайданов опирался на труд Н.М. Карамзина («При составлении сей книги, главнейше руководствовался я Историею государства российского, сочиненную Карамзиным»⁶⁵), то Н.Г. Устрялов в учебник по русской истории редуцирует собственный национально-государственный нарратив – «Русскую историю» в 4 т. (затем он будет издаваться в 5 т.), указывая, что представил «в одном томе извлечение из четырех частей изданной мною “Русской истории” <...> Многое взято из нее слово в слово, многое сжато и сокращено»⁶⁶. М.П. Погодин также использует свои предыдущие исторические произведения, стараясь приспособить их для иной – учебной практики, в чем сам и признается, например, указывая, что в описании первого периода истории «один печатный лист был извлечением из целого тома исследований»⁶⁷.

Учебники по русской истории первой половины XIX века начинают приобретать все более строгие черты, учитывающие возраст учащихся и условия, выдвигаемые Министерством народного просвещения (например, «Руководство к первоначальному изучению Русской истории» Н.Г. Устрялова⁶⁸). Текст учебников умело сориентирован на выполнение важной воспитательной функции. Так, во

⁶² См.: Скромненко С. [Строев С.М.] Окончание разбора книги профессора Погодина: Начертание русской истории для училищ // Северная пчела. 1835. № 188. 23 августа. С. 747-749.

⁶³ Погодин [М.П.] Начертание русской истории... С. IX-XIV.

⁶⁴ Устрялов Н.[Г.] Начертание русской истории... С. VI (нумер.).

⁶⁵ Кайданов И.[К.] Начертание истории Государства Российского... С. 4 (нумер.).

⁶⁶ Устрялов Н.[Г.] Начертание русской истории... С. V (нумер.).

⁶⁷ Погодин [М.П.] Начертание русской истории... С. VII.

⁶⁸ Устрялов, Н.[Г.] Руководство к первоначальному изучению Русской истории...

«Введении» к десятому изданию «Начертание русской истории для средних учебных заведений» Устрялова можно прочитать: «Изучение русской истории доставляет обильную пищу уму и сердцу. Русские справедливо могут сказать, что предки их, неоднократно застигаемые жестокими бедствиями, спасали себя не случаем, не с чужеземною помощью, а собственными силами, верою в Провидение, усердием к престолу, любовью к отечеству, что они умели выпутываться с честью и славой из самых трудных обстоятельств, что страницы их истории ознаменованы более делами доблести, нежели порока»⁶⁹.

Учебное произведение для гимназий «Учебная книга русской истории» подготовил и С.М. Соловьев, оно было более научнообразным, чем учебник для гимназий Н.Г. Устрялова, но в обоих присутствовала в целом одинаковая структура – деление русской истории на похожие хронологические периоды, разделы и т.д., а самое главное – их связывает метафора Феникса (история разрушения (монголо-татары) и возрождения, восстановления), которая посредством таких учебных изданий и книг последующих авторов утвердится в русской исторической памяти.

Конечно, в учебной книге С.М. Соловьева приоритетное внимание уделяется государству, но в отличие от Устрялова (конструировавшего государство как коллективное целое с лицом «мирного предка») Соловьев выстраивает схему могучего европейского государства, обуздывавшего «Чужого» – народы Азии – и выполнявшего цивилизаторскую миссию по отношению к Востоку. Если тема истории борьбы Европы в лице России с Азией была одной из центральных в национально-государственном нарративе, то и в учебной книге он о ней не забыл. Поэтому историк, еще не приступив к изложению русской истории, сразу отметил: «Взглянем на карту России: вот, начиная от того места, где оканчиваются Уральские горы и до Каспийского моря, находится большое ровное, степное пространство, как будто широкие ворота из Азии в Европу. На этом месте и на восток от него живут и теперь еще народы грубые, кочевые, охотники грабить, брать в плен соседей; но теперь этим народам час от часу становится труднее вести такую жизнь, потому что сильное государство Русское не допускает их разбойничать; некоторые из них даже отказались от кочевой жизни и стали заниматься земледелием»⁷⁰.

⁶⁹ Устрялов Н. [Г.] Начертание русской истории для средних учебных заведений. (10-е изд.). СПб.: Тип. Гл. Штаба Его Имп. Величества по Воен.-уч. заведениям, 1857. С. 6.

⁷⁰ Соловьев С.[М.] Учебная книга русской истории. М.: Тип. Э. Барфкнехта и К^о, 1859. С. 1.

Огромную популярность среди учителей истории начала XX века приобрела книга С.Ф. Платонова «Учебник русской истории для средней школы», которая с 1909 г. ежегодно переиздавалась. Автор постарался сделать учебник не только доступным, но и научнообразным. Как и в других подобных учебниках по национальной истории, основное внимание было уделено развитию и прогрессивной трансформации государства. Приведем отрывок из учебника С.Ф. Платонова, в котором автор формулирует задачу курса (история нации-государства) и демонстрирует свой взгляд на непрерывность русской истории, представленной последовательностью развития государственного состояния: «Главное содержание курса русской истории должно составлять повествование о том, как из <...> отдельных племен постепенно образовался единый русский народ и как он занял то громадное пространство, на котором теперь живет; как образовалось среди русских славян государство и какие перемены происходили в русском государственном и общественном быту до тех пор, пока он не принял современной нам формы Российской империи. Рассказ об этом естественно делится на три части. В первой излагается история первоначального Киевского государства, объединившего все мелкие племена вокруг одной столицы – Киева. Во второй излагается история тех государств (Новгородского, Литовско-Русского и Московского), которые образовались на Руси вслед за распадением Киевского государства. В третьей, наконец, излагается история Русской империи, объединившей в себе все земли, заселенные русскими людьми [русские, белорусы, украинцы. – С.М.] в разные времена»⁷¹.

Как можно заметить, если в 30-х годах XIX в. Н.И. Надеждин еще ставил перед национально-государственной историей цель – создание истории «русского единства», то в начале XX в., в частности, в учебнике по русской истории С.Ф. Платонова об этом говорится уже как о само собой разумеющемся.

Практика создания учебника по русской истории оказалась возможной, с одной стороны, в период утверждения научного исторического знания, с другой стороны, этой практике потребовалась мощная подпорка, которой стал национально-государственный нарратив. Со своей стороны, учебная книга по национальной истории, представленная учебниками и книгой для чтения, востребуя конструкции национально-государственного нарратива, своим существованием в образовательном пространстве исторической культуры – укрепляла русский национальный мастер-нарратив.

⁷¹ Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы [9-е изд.]. Пг.: Тип. Я. Башмаков и К°, 1917. С.1–2.

II. Самопрезентативная форма национальной истории

Национально-государственные нарративы, которые презентировали прошлое наций-государств Европы, во многом представляли собой вариации на общую тему. Вариации были связаны не только с региональными особенностями, но, в немалой степени, и с имперским характером того или иного государства⁷². Национальная история, рассказывавшая о прошлом конкретного нации-государства, создавалась историком, принадлежавшим к этому государству. В связи с этим, конструирование такой истории осуществлялось в форме самопрезентации. Испытывая особый, не только исследовательский, интерес и привязанность к родине, автор национально-государственного нарратива не мог не позиционировать особенности «своего» нации-государства. Каждая из особенностей представляла собой конструкцию, которую историки создавали при помощи специально отбираемых «событий» прошлого или посредством риторических объясняющих приемов. В данном разделе сделана попытка представить приемы и черты практик самопрезентации, присущих российским национально-государственным историям и учебным книгам, в широком европейском контексте.

Самопрезентативная форма национально-государственного нарратива демонстрировала себя в нарративных конструкциях, которыми историки старались, помимо прочего, возвеличить «свое» нацию-государство. В «Предисловии» к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин о «своем», писал: «Не надобно быть русскими! надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частью мира, открыл страны никому дотоле неизвестные, внес их в общую систему географии и истории и просветил божественной верой...»⁷³. Историк нашел участие «своего» в общем для всей Европы процессе (колонизация) и рассказал об эпопее русских в Сибири, отмечая, что Россия «приобрела новое Царство..., открыла второй новый мир для Европы», но «своего» колонизатора Сиби-

⁷² В рамках европейской национальной истории К. Лоренц предложил выделить тип истории империи, который присутствует в национальном историописании Великобритании, России, Пруссии (в пределах немецких земель), Голландии (в Нидерландской республике). – См.: Lorenz C. Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past // *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe* / eds by K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter. Amsterdam: University Press, 2010. P. 77-78.

⁷³ Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. СПб.: Типогр. Н. Греча, 1818-1829. Т. 1. С. 12.

ри (хоть и назвал именем известного испанского конкистадора) постарался представить менее жестоким: «Российский Пизарро, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества»⁷⁴.

Через несколько десятков лет Н.М. Карамзину вторил британец Т.Б. Маколей, но только уже о прошлом «своего» народа, который создал великое государство, успешно защищавшееся «от внешних и внутренних врагов». Историк постарался описать его благоденствие, «подобно которому летописи дел человеческих еще ничего не представляли <...>, как в Америке британские колонии быстро сделались гораздо могущественнее и богаче тех государств, которые Кортес и Пизарро присоединили к владениям Карла V; как в Азии британские искатели приключений основали державу, не менее блестящую и более прочную, чем монархия Александра»⁷⁵, и т.д.

Наиболее распространенным в практике конструирования национальных особенностей стал прием поиска «своей» крови в далекой древности (правда, знакомый еще средневековым книжникам). По мнению С. Бергера, культура романтизма стимулировала практику поиска в первобытности специфических национальных типов европейских этносов: кельтских, германских, романских и славянских⁷⁶. Например, де Сисмонди, написавший в первой четверти XIX в. тридцати однотомную «Историю французов», отмечал: «Никакая другая нация Европы не прожила столь длинную жизнь и не представлена такой длинной чредой воспоминаний»⁷⁷. Историки искали «свои» корни (разумеется, в границах современного им государства, правда, нередко присматриваясь и к территории соседей) в глубоких «исторических» и даже «доисторических» эпохах, тем самым «присваивая» еще не существовавшему «своему» народу или отечеству исторические пространства.

Стремление историков идентифицировать в качестве «своих» территории древних регионов Европы, а также сама проводимая ими нарративная операция, на практике превращавшаяся в сугубо риторической прием, который заслуживает особого внимания современного исследователя. В качестве примера реализации такой операции

⁷⁴ Там же. Т. 9. С. 370, 383.

⁷⁵ Маколей Т.Б. История Англии. Ч. 1 // Маколей Т.Б. Полн. собр. соч.: в 15 т. СПб; М.: Типогр. М.О. Вольфа, 1866. Т. 6. С. 1–2.

⁷⁶ Berger S. The Invention of National Traditions in European Romanticism // The Oxford History of Historical Writing: in 5 vol. Vol. 4: 1800-1945 / eds by S. Macintyre, J. Maiguashca, A. Pók. N.Y.: Oxford University Press, 2011. P. 23.

⁷⁷ Sismondi J.C.L.[S.] Histoire des français: dans XXXI t. T. I. Paris: Treuttel et Würtz, 1821. P. 2.

обратимся к национально-государственным нарративам С.М. Соловьева, Ж. Ортега Рубио, а также к «Истории Франции» (первая серия – 18, вторая – 9 томов) под редакцией Э. Лависса. Если С.М. Соловьев, рассуждая о древнейших народах (не славянах), проживавших на территории, где потом будет Россия, писал, о них как «о первых обитателях отечества нашего»⁷⁸, а испанский историк Ж. Ортега Рубио, рассказывая о крайнем западе Европы в античное время, называл его «нашей территорией»⁷⁹, то П. Видаль де ля Блаш в первом томе «Истории Франции» уже при описании доледникового периода поставил проблему «наших национальных истоков» и отмечал, что это – «наша страна»⁸⁰.

В качестве черты личности, конечно, не на последнем месте была метафора «мирного предка». Если в «Истории Российской» князь М.М. Щербатов показал славян такими же, как иные древние народы, подмечал «чинимые бесчеловечия сими варварами <...>, делающих стыд человечеству»⁸¹, то в «Русской истории» Н.Г. Устрялова уже можно прочесть иное: «Славянское племя вообще имело более склонности к мирной жизни...»⁸². В «Истории чешского королевства» В.В. Томек эту мысль усилил сравнением с «немирными немцами», написав, что у немецких народов «война и добыча были самым любимым занятием», а славяне «были народом земледельческим и, хотя были храбры, но не искали битв, а главным образом защищали свое имущество и свои поля»⁸³.

Интересным образом в текстах учебных книг по русской истории авторы презентировали образ мирного предка даже в тех сюжетах, которые были связаны с нападением «своего» народа на «чужой» народ. Если в тексте ПВЛ по изданной еще в 1767 г. так называемой Летописи по Кенигсбергскому списку о походе Ярослава Мудрого на поляков можно прочесть: «В лето 6539 (1031) Ярослав и Мстислав идоша на Ляхи, и заяста грады Червенские опять, и по-

⁷⁸ Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 6 кн. [29 т.]. СПб.: Тов-во «Общественная польза», 1896. Кн. 1. Т. I-V. С. 29.

⁷⁹ Ortega Rubio J. Historia de España: 8 t. Madrid: Bailly-Bailliere, 1908-1910. Т. 1. Р. XV.

⁸⁰ [Lavissee E.] Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution: dans 18 vol. Vol. 1 / par P. Vidal de la Blache, G. Bloch. Paris: Hachette, 1900. P. 3-4.

⁸¹ Щербатов М. [М.] История российская с древнейших времен: в VII т. [15 ч.]. Т. I. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1770. С. 132.

⁸² Устрялов Н.[Г.] Русская история: в 5 ч. [2-е изд.] Ч. 1. СПб.: Типогр. экспедиции заготовления гос. бумаг, 1839. Ч. 1. С. 41.

⁸³ Томек В. [В.] История чешского королевства, сочинение В. Томка / пер. с чешск.; под. ред. В. Яковлева. СПб.: Изд-во С.В. Звонарева, 1868. С. 11, 14.

воеваста Ляцкую землю, и многи Ляхи приведоста, и разделивше я, Ярослав посади я по Рси, идеже суть и до сего дни»⁸⁴. То в первом учебнике по русской истории Ф.И. Янковича де Мириево, этот сюжет был сконструирован немного иначе: Ярослав Мудрый «возвратил России побранные Болеславом, королем Польским, Червенские города, поселил в России много пленных поляков по реке Рси и около Чернигова»⁸⁵. То есть, автор учебного текста не стал сообщать, что древнерусские князья не только возвратили «опять» Червенские города, но еще и совершили поход на Польшу, откуда увели пленных. Такую же операцию – забвения невыгодного для положительного образа предка прошлого в учебном тексте проделал Н.Г. Устрялов. Он упомянул про поход Ярослава Мудрого на Польшу, но особым образом: Ярослав «возвратил отнятые поляками во время наших междоусобий Червенские города или Галицию»⁸⁶ и всё. В учебном «Начертании» М.П. Погодина также можно встретить намек на мирного предка россиян. Он писал, что славяне «вели исконе жизнь земледельческую, отличались тихостью нрава и семейными добродетелями, были знакомы с разными искусствами, плодами образования, и имели свою религию»⁸⁷.

В качестве другой черты, при помощи которой можно выделить «свой» народ из среды «иных» народов Европы, явились метафоры «величия», «прогрессивности» или «одаренности». Ф. Гизо признавался читателю, что «своя» французская история ему показалась наиболее «величественной»⁸⁸. О кельтах – древних обитателях Франции, Мишле писал, что это «наиболее симпатичный и наиболее способный к прогрессу род человеческий»⁸⁹, а Д.И. Иловайский о «своих», заметил, что славяне-русь «одно из наиболее даровитых и предприимчивых арийских племен»⁹⁰. Особенность «своего» народа

⁸⁴ Летопись Несторова с продолжением по Кенигсбергскому списку до 1206 года: Библиотека Российская историческая, содержащая древние летописи, в всякие записки, способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен. Ч. I. СПб.: При Имп. Акад. наук., 1767. С. 104.

⁸⁵ [Янкович де Мириево Ф.И.] Краткая российская история, изданная в пользу народных училищ... С. 26.

⁸⁶ Устрялов Н.[Г.] Руководство к первоначальному изучению... С. 11.

⁸⁷ Погодин [М.П.] Краткое начертание русской истории, сокращение гимназического курса. М.: Тип. Н. Степанова, 1838. С. 3.

⁸⁸ Гизо Ф. История цивилизации во Франции: в 4 т. / пер. с фр. П.Г. Виноградов. М.: Рубежи XXI, 2006. Т. 1.: Лекции I-XV. С. 20.

⁸⁹ Michelet J. Histoire de France par Jules Michelet: 18 t. Т. 1. Paris: A. Lacroix et Compagnie, 1880. Т. 1. Р. 2.

⁹⁰ Иловайский Д.[И.] История России, соч. Д. Иловайского: в 5 т. Т.1. Ч. 1: Киевский период. М.: Типогр. Грачева и К., 1876. С. 17-18.

А.С. Грин постаралась выстроить на противопоставлении английскому народу, так как, по ее мнению, «остров ирландцев» – географически, экономически и даже цивилизационно отличен от Англии⁹¹.

В первую очередь в учебных книгах позиционировались важные положительные воинские и гуманные качества предков. Например, в «Краткой истории государства российского» И.В. Васильева повествование начиналось со слов: «Славяне, люди воинственные и храбрые»⁹². В другой учебной книге можно прочитать: «Славяне вообще были благонравны, правдолюбивы, в словах и обещаниях своих тверды, и гостеприимны»⁹³. И.К. Кайданов молодому читателю презентировал идею о том, что среди всех народов Европы, лучшими человеческими качествами наделены лишь славяне, написав, что «лучшими украшениями свойств их [предков русских] были: призрение старцев, немощных, бедных и больных, чистосердие, радушие и гостеприимство, свойственное и ныне преимущественно народам славянского происхождения»⁹⁴.

Христианство в национально-государственных нарративах позиционировалось в качестве общеевропейской универсалии⁹⁵. Но, кроме того, христианство – в его православном, католическом и протестантском вариантах – стало одной из самых важных особенностей, определявших в текстах европейских историков национальный дух их народов⁹⁶. По замечанию С. Бергера и К. Конрада, в каждом случае, будь то католические, протестантские, православные или мультиконфессиональные страны (как Германия), религиозные черты в текстах историков не конкурировали с конструкциями, посвященными национальному и государственному строительству, – они скорее соединялись. Поэтому протестантизм стал решающим компонентом в национальных исторических нарративах Швеции и Швейцарии, католицизм конструировался чертой национальной особенности в Ис-

⁹¹ [Green A.S.] *Irish Nationality* / by Alice Stopford Green. N.Y.; L.: H. Holt & Co, 1911. P. 7-8.

⁹² См.: Васильев И.[В.] *Краткая история государства российского, для начинающих, изданная по руководству отечественных историков*. М.: Универ. тип., 1830. С. 8.

⁹³ [Б.а.] *Краткая российская история, для воспитывающихся в Морском кадетском корпусе*. СПб.: Морск. Кадет. Корпусе, 1823. С. 7.

⁹⁴ Кайданов И.[К.] *Начертание истории Государства Российского*. СПб.: Тип. Мед. Деп-та МВД, 1829. С. XIII.

⁹⁵ Liakos A. *The Canon of European History and the Conceptual Framework of National Historiographies // Transnational Challenges to National History Writing* // eds by M. Middell, L. Roura. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. P. 321.

⁹⁶ Berger S. *The Invention of National Traditions...* P. 33.

пании и Польше, а в России и Румынии православие было представлено ключевым столпом национального самосознания⁹⁷.

Обратив внимание на национально-государственный нарратив Н.Г. Устрялова, можно заметить, что историк сначала соединил христианство с особенностью всей Европы, указывая, что добродетели государственного благоустройства «были неминуемым следствием самой религии, и Русь разделила их со всей Европой, обязанною единственно христианской вере перевесом своим над прочими частями света на поприще гражданственности и образованности». После такого замечания российский историк перешел от конструирования общеевропейского к «своему» национальному мифу, начав со слов: «Вместе с тем христианство принесло нашему отечеству другие выгоды, коих не имела Западная Европа...»⁹⁸. Религиозная составляющая превращалась в один из мифов, введенных в национальные исторические нарративы не только европейскими, но и американскими историками, которые христианскую веру вместе с деловитостью переселенцев указывали в качестве фактора победы над «желтой расой» и природой⁹⁹.

Конструирование идентичности не могло обойтись без поиска тех или иных черт «исключительности» или выполняемой народом миссии. В Европе набор таких черт оказался довольно ограниченным: «защита христианства» или «щит Европы», «распространение свободы», «культурная миссия» и т.д. Так, например, испанский историк М. Лафунте, в последней четверти XIX столетия указывал, что «каждый народ, каждая нация, каждое общество выполняет специальную миссию», но, не став доискиваться для «своего» «специальной миссии», он просто написал: «Испания выполняет особую возложенную на нее миссию»¹⁰⁰. История русского народа в прошлом, сконструированном С.М. Соловьевым в «Учебной книге», была тяжелой, но Россия эту тяжесть превозмогла и выстояла, выполнив гражданскую миссию по отношению к «азиатским варварам»: «Русский народ в беспрестанной борьбе и сношениях с азиат-

⁹⁷ Berger S., Conrad C. *The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe* (Series Writing the Nation). N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. P. 367.

⁹⁸ [Устрялов Н.Г.] *Русская история...* Ч. 1. С. 103-104.

⁹⁹ См.: Bancroft G. *History of the United States of America, from the Discovery of the American Continent: in 10 vol.* [10th ed.]. Vol. 1. Boston: Ch.C. Little Brown and J. Brown, 1842. P. IV-VIII, 1-2; Channing E.D. *A History of the United States: in 6 vol.* Vol. 1. N.Y.: Macmillan, 1905. P. 1.

¹⁰⁰ Lafuente M. *Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII: en 29 t.* T. 1. Barcelona: Montaner y Simón, 1888. P. II, IV.

скими варварами, – писал историк, – успел сохранить свой Европейско-Христианский образ, трудясь тяжело и скромно при средствах самых скудных, населил громадные, необитаемые пространства восточной Европы и северной Азии, положил здесь начало Европейско-Христианской гражданственности»¹⁰¹.

Метафора «щита Европы» стала довольно распространенной в ряде национальных историографий. Позиционируя мысль об Испании – «спасительнице Западной Европы», М. Лафуенте писал, что арабы угрожали не только Западной Европе, страх распространился по всему континенту, но испанские «солдаты христианства» спасли Европу¹⁰². Другой испанский историк Ж. Ортега Рубио представил борьбу испанцев за свою родину и за европейскую культуру как продолжительное «сражение рас», «войну религий <...> оставившую на теле <...> страны и в привычках людей глубокие следы»¹⁰³. Еще более выразительно представлен «свой», защищавший Европу на самой границе с Азией в национально-государственном нарративе С.М. Соловьева. Заканчивая рассказ о походе Ивана IV на Казань, историк так объяснил его значение: «В истории Восточной Европы взятие Казани, водружение креста на берегах ее рек имеет важное значение. Преобладание азиатских орд здесь было поколеблено в XIV веке и начало никнуть пред новым, европейским, христианским государством, образовавшимся в области Верхней Волги. <...> Страшное ожесточение, с каким татары, эти жители степей и кибиток, способные к нападению, но неспособные к защите, защищали, однако, Казань, это страшное ожесточение заслуживает внимания историка: здесь Средняя Азия под знаменем Магомета билась за свой последний оплот против Европы, шедшей под христианским знаменем государя московского»¹⁰⁴.

В национально-государственных нарративах народ становился «народом-борцом» за свою «свободу», точнее свободу строящегося государства, суверенитет которого народ отстаивал от опасных для себя как европейских, так и азиатских игроков исторической драмы. Г. фон Трейчке, объясняя исключительную военную особенность немецкой истории, заметил, что ни у одного другого народа нет большей причины, чем у немцев, гордиться памятью борющихся за отечество.

¹⁰¹ Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М.: Тип. Э. Барфкнехта и К^о, 1859. С. 338.

¹⁰² Lafuente M. Historia general de España... P. XXVIII-XXX.

¹⁰³ Ortega Rubio J. Historia de España... Т. 1. P. XXI.

¹⁰⁴ Соловьев С.М. История России с древнейших времен... Кн. 2. Т. VI-X. С. 85-86.

чество отцов¹⁰⁵. Таким образом, наличие в конструкции национального прошлого «народа-борца», еще и представленного цепочкой национальных героев, служило оправданием самой национальной истории, легитимировало величие (не)совершенного государства.

В русских учебных книгах по национальной истории в методических целях презентовалась важная черта особого отношения общества к власти, тем самым, в историческом сознании целенаправленно формировалось и/или укреплялось чувство уважительного отношения к власти. Так, например, И.К. Кайданов писал: «Россияне всегда с благоговением повиновались велению своих государей, и имели беспредельную доверенность ко всем поступкам и действиям их»¹⁰⁶. В другом месте, он снова вернулся к этой особой черте: «Сами иностранные писатели, не всегда выгодно отзывавшиеся об нас, подтверждают, что нет народа в Европе, более россиян преданного своим монархам»¹⁰⁷. Ему вторил другой автор учебника по русской истории – М.П. Погодин, позиционировавший мысль о такой политике российской власти в прошлом, в которой неверных поступков не было, ее «каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества»¹⁰⁸.

Историки находили черты исключительности своей нации-государства, в том числе, в выполнении пограничной функции на месте важного географического «рубежа» (например, «Ирландия является последней заставой Европы против обширного многоводного Атлантического океана»¹⁰⁹) или в распространении форм «правильного» государственного управления и в развитии гражданственности. Так, Ж. де Сисмонди, подчеркивал, что первенство Франции среди других стран Европы заключается, во-первых, в умении создавать жизнеспособные институты власти, во-вторых, в самой длинной истории монархического правления¹¹⁰ (выделенная историком особенность кажется особенно интересной, если учесть, что прошло всего чуть более трех десятков лет после краха «старого режима» во Франции). Для Ф. Гизо история французской цивилизации явилась лучшим образцом общего развития европейской цивилизации, так как «Франция – та страна, цивилизация которой является наиболее

¹⁰⁵ [Treitschke H. von] Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert: in 5 bd. Bd. 1: Bis zum zweiten Pariser Frieden. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1879. S. VII.

¹⁰⁶ См.: Кайданов И.[К.] Начертание истории Государства Российского [4-е изд.]. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1834. С. XIII.

¹⁰⁷ Там же. С. 222.

¹⁰⁸ Погодин [М.П.] Начертание русской истории для гимназий... С. 143.

¹⁰⁹ [Green A.S.] Irish Nationality... P. 7.

¹¹⁰ [Sismondi J.C.L.S.] Histoire des français... T. I. P. I, XVII.

законченной, наиболее способной к передаче и всего сильнее поразившей воображение Европы», она «всех полнее, всех истиннее, всех цивилизованней»¹¹¹. Исключительность английской истории, конструировалась посредством метафоры «благородного идеала свободы», привнесенного в копилку человечества¹¹². Даже А. Пиренн (который после Первой мировой войны увидит зло «в духе односторонности» национальных историй (см. выше), конструируя на рубеже XIX–XX вв. бельгийскую историю, старался выстроить прошлое молодой страны, объединившей фламандцев и валлонов в «единую национальную культуру» так, чтобы она отличалась от иных стран не только определенным «видом синкретизма». Историк решился назвать населявшую территорию Бельгии «смесь» романо-германских народов «общей цивилизацией»¹¹³.

По мнению А. Лиакоса, важной чертой национальных историй в Европе XIX века становится рефлексия о «европейском каноне»¹¹⁴. Я бы добавил, что эта рефлексия покоилась на «идее Европы» и отличалась от универсализма эпохи Просвещения (актуализировавшей сравнительно-исторический метод) дискурсивной практикой, связанной с использованием риторических приемов, объясняющих проблему «общего» / «отличного». «История государства российского» Карамзина уже имеет набор особенностей, присущих «европейскому канону»: язык славянский родственен другим европейским языкам, европейцам христианство «предвестило науки и просвещение», явилось шагом к гражданственности¹¹⁵ и т.д.

А. Лиакос указывает, что рефлексия о «европейском каноне» демонстрировала себя в употребляемых в текстах историй объясняющих концептах, таких как «европеизация», «отставание», «наверстывание», «антивестернизация» и др.¹¹⁶ Взаимодействие с «каноном», как считает Лиакос, стало одним из формирующих национальные историографии элементов. Наиболее сложные отношения с «каноном» были в центре Европы (Германия), на ее западной (Испания), южной (Балканы) и восточной (Россия) перифериях, где одновременно действовали практики «европеизации», и «анти-вестернизации».

¹¹¹ Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1. С. 20, 28.

¹¹² [Green J.R.] A Short History of the English People / by J.R. Green. L.: Macmillan and Co., 1874. P. VI, P. 2; Item. A Short History of the English People: in 4 vols. [Illustrated ed.]. L.; N.Y.: Macmillan and Co., 1902-1903. Vol. 1. P. VI-VII.

¹¹³ Pirenne H. Histoire de Belgique, des origines au commencement du XIV-e siècle: dens VII t. [2-e éd.]. T. I. Bruxelles: Maurice Lamertin, 1902. P. IX-XI.

¹¹⁴ Liakos A. The Canon of European History... P. 315-342.

¹¹⁵ Карамзин Н.М. История государства российского... Т. 1. С. 123-124, 129.

¹¹⁶ Liakos A. The Canon of European History... P. 317-334.

Это формировало определенные исторические конструкции, которые базировались на идее отсутствия в «своем» прошлом тех или иных черт, присущих «канону» (например, Греция «пропустила» не только эпоху Возрождения, но и эпоху Просвещения). Основанное на такой модели историческое сознание, часто актуализировало не столько то, что «произошло в прошлом», а напротив, то, что «в прошлом не произошло»¹¹⁷. Например, у ряда российских историков, осознание того, «что не произошло» в национальной истории, по сравнению с «канонном», часто представлялось не как «утеря» или «досадный пропуск», напротив, в практике самопрезентации прошлого оно позиционировалось как «благо». По выражению Н.Г. Устрялова, – это «вредные плевелы», которые не усваивались «отличительным свойством [русского] народного характера»¹¹⁸. Но такая дискурсивная операция, не была оригинальным национальным продуктом, она была продуктом «канона», ответом и/или реакцией на этот «канон». По меткому замечанию Лиакоса, тень европейской истории всегда маячила за плечами авторов национальных историй, склонных к концепциям немецкого «особого пути» (Sonderweg) или российского славянофильства¹¹⁹.

Европейский «образец» или как его называет А. Лиакос «европейский канон» заставлял историков подстраивать под него конструируемые ими национально-государственные нарративы, объясняя расхождения не только «особостью» своей истории, но и ее определенной «задержкой». Российские историки главным виновником «отставания» страны изображали монголо-татар, что стало топосом в историческом сознании россиян. «Сень варварства, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножились <...> В сие же время Россия, терзаемая монголами, напрягала силы свои единственно для того, чтобы не исчезнуть», – писал Н.М. Карамзин¹²⁰. По мнению К.Н. Бестужева-Рюмина, из-за монголов случилась «остановка в развитии» России¹²¹. Н.А. Полевой объяснение «задержки» преподал в еще более риторической упаковке: «Пока в горниле двухвекового бедствия перегорала Русь – Европа кончила период Средних веков, и вступила в век нового бытия»¹²². А С.М. Соловьев в сво-

¹¹⁷ Ibid. P. 317-334.

¹¹⁸ [Устрялов Н.Г.] Русская история... Ч. 1. С. 21.

¹¹⁹ Liakos A. The Canon of European History... P. 334-335.

¹²⁰ Карамзин Н.М. История государства российского... Т. V. С. 569.

¹²¹ Бестужев-Рюмин К.[Н.] Русская история: в 2 т. СПб.: Тип. А. Траншеля, 1872–1885. Т. 1. С. 278.

¹²² Полевой Н.[А.] История русского народа / соч. Николая Полевого: в 6 т. М.: Тип. А. Семена, 1829-1833. Т. IV. С. 12.

ем объяснении объединил причину «задержки» с выполняемой Россией миссией – «щит Европы». Развитие Западной Европы, по его мнению, было куплено тяжелой ценой, которую заплатила Русь: «Западная Европа была спасена: но соседняя с степями Русь, европейская украина, надолго подпала влиянию татар»¹²³.

Рефлексия об «отсталости» Испании от иных западноевропейских государств рождала комплекс, который не мог не волновать испанских историков. Причину «задержки» некоторые видели в миссии по спасению Европы, от арабов, которую Испания с достоинством выполнила¹²⁴. Но виновником такой ситуации можно было «назначить» не только внутренние или внешние причины (мешавшие развитию государства), а сам исторический дискурс «недоброжелательных» зарубежных авторов, которые актуализировали неприятную для испанцев особенность их истории. Еще в первой половине XIX века Ф. Гизо, назвал испанцев «несчастливым народом», он писал: «...Этот народ жил в Европе особняком, мало получил от нее и мало дал ей <...>, цивилизация его не имеет важного значения для цивилизации европейской»¹²⁵. В адрес таких авторов испанский историк Ж. Ортега Рубио, восклицал: «Какая несправедливость! <...> Наш народ <...> как и все другие великие народы, обладая щедрым духом, принес цивилизацию в далекие страны, в полной мере жертвовал свои ценности общечеловеческой культуре и прогрессу»¹²⁶.

Итак, практика самопрезентации в национально-государственном нарративе заключалась в позиционировании совокупности особенностей своего нации-государства, что имело целью выделить «свой» народ и созданное им государство из круга «других». Однако, одновременно, национальные историки вынуждены были сверять конструкции национального прошлого с общеевропейским прошлым (в первую очередь, – с западноевропейским), пристраивая его «выгодные» особенности к «своему» прошлому и, напротив, «отсутствии» особенностей «европейского канона», представлявшиеся «неудобными», старались объяснить их несоответствием «исключительной» природе «своего» нации-государства. Следует добавить, что особенности, связанные с либеральной миссией «своего» нации-государства, актуализировались, в первую очередь, в национально-государственных нарративах Англии, Франции и США. Напротив, актуализация национальных особенностей, призванных, с одной

¹²³ Соловьев С.М. История России с древнейших времен... Кн. 1. С. 826.

¹²⁴ См.: Lafuente M. Historia general de España... Т. 1. P. II, IV.

¹²⁵ Гизо Ф. История цивилизации во Франции... Т. 1.: Лекции I-XV. С. 25.

¹²⁶ Ortega Rubio J. Historia de España... Т. 1. P. I, IX-X.

стороны, отличить «свою» историю от западной, а с другой стороны, гордиться сложившимся политическим режимом (который связывался с «национальным характером»), чаще практиковалась в российских, а нередко, и в немецких национально-государственных нарративах.

Классическая европейская модель историографии, в которой национально-государственный нарратив занял самое почетное место, выступила основным инструментом трансляции в общественное сознание англичан, немцев, испанцев, французов, русских и других народов представления об особой ценности собственного государства, прошедшего долгий и нелегкий путь своего строительства. В неклассической модели исторической науки интерес профессиональных историков к написанию национально-государственных нарративов сменился заинтересованностью в изучении истории отдельных социальных, культурных, экономических, политических процессов, а модель таких исследований уже не соответствовала линейной модели истории, характерной для национально-государственных нарративов. Поэтому в XX в. для написания трудов по национально-государственной истории стали создавать авторские коллективы, в рамках которых каждый из историков писал тот или иной раздел истории, соответствовавший его научным интересам (например, «История Франции», в 27 томах под редакцией Э. Лависса).

Кризис национально-государственного нарратива как вида национальной истории начался вместе с кризисом классической модели исторической науки. Пьер Нора замечает об этом так: «Эта модель истории больше не работает. Ни с точки зрения научной, ни с точки зрения моральной, ни как метод, который она применяет, ни как соответствующая ей философская система. Ее распад начался в эпоху между мировыми войнами...»¹²⁷.

Профессиональная историография стала избавляться от безусловной веры в единый однолинейный исторический процесс, необратимый прогресс. Неклассическая (а затем и постнеклассическая) рациональность и изменения в науке снижали веру в господство истории над будущим, постепенно смещая ее в область неактуального, что еще больше уменьшало интерес профессиональных историков к национально-государственному нарративу. В СССР были предприняты две попытки создания советского национально-государствен-

¹²⁷ Нора П. Предисловие к русскому изданию // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пуимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 8.

ного нарратива, оставшиеся незаконченными: в 1953–1958 гг. изданы девять томов «Очерков истории СССР», в которых изложение событий национально-государственной истории заканчивалось концом XVIII века, а с 1966 г. по 1980 г. были изданы одиннадцать из запланированных 12-ти томов «Истории СССР с древнейших времен до наших дней». Советский национально-государственный нарратив, конечно, по содержанию сильно отличался от российских предшественников, но его модель осталась прежней – русской. Манифестируя в названии советское понятие «история СССР», он начинался с топоса русской национальной историографии: «“Откуда есть пошла Русская земля” – именно с этого вопроса восемь с половиной веков назад начинал свой обзор отечественной истории древнерусский летописец Нестор»¹²⁸.

¹²⁸ См.: История СССР с древнейших времен до наших дней: в двух сериях; 12 т. М.: Наука, 1966–1980. Т. 1. С. XIII.

ГЛАВА 7

БРИТАНИЯ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ «Национальный проект» и «историческая революция» конца XVI – первой половины XVII века¹

Начало национальных историй просматривается в Европе задолго до «века национализма». Можно говорить об определенном протонационализме исторических текстов позднего средневековья и раннего Нового времени. Уже «История английских королей» (лат. «Gesta regum Anglorum») английского монаха XII века Уильяма Мальмсберийского дает представление о политическом и культурном единстве нации под названием Англия. Автор восхваляет англичан за то, что они стали цивилизованными под влиянием норманнов и формулирует их особую миссию по отношению к варварам-кельтам – валлийцам, шотландцам и ирландцам. Центральная тема этого сочинения – прогресс цивилизации – была подхвачена Дэвидом Юмом в XVIII веке. Юм восхищался работами Уильяма Мальмсберийского, разделял его франкофилию, а также веру в прогресс и цивилизацию – центральные темы всей историографии XVIII века в Европе. В связи с этим большой эвристический потенциал содержится в изучении «вертикальных» связей между эпохами и интертекстуальность создаваемых исторических нарративов, выявление преемственности и разрывов в традиции историописания, ее контекстуальности. Все это как раз и формирует уникальность взаимодействия исторической памяти и национальной идентичности в отдельно взятой стране².

Однако об осознанном формировании национальной идентичности можно говорить только в эпоху Возрождения. Именно ученые-гуманисты с энтузиазмом взялись за разработку темы «нация». В отличие от средневековых историков (которые чаще всего были мона-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.).

² Berger S. Proto-nationalism and pre-modern European narratives about the nation / Writing the Nation: A Global Perspective / Ed. by Stefan Berger. Basingstoke, Hants.; New York: Palgrave Macmillan, 2007. P. 30.

хами) гуманисты были той космополитичной средой, где сформировался «пул» общих воспоминаний, ценностей, символов и мифов, ориентированных на символическую сущность под названием нация (даже там, где ее существование было под вопросом, как в итальянских или немецких землях). Там, где гуманисты оказывались под прямым покровительством монархов, они демонстрировали стремление создавать свои нарративы вокруг строительства национального государства. Понятия «географии», «территории» и «истории» оказались в их восприятии связанными общей идеей государственности. Изобретение книгопечатания в конце XV века стало решающим фактором во взаимодействии национальных дискурсов друг с другом. Как альтернатива *Rex Christiana* появилась общественная сфера, в которой идеи о нации циркулировали и обсуждались в Европе.

Поскольку гуманисты часто были классиками – они склонялись к классическим текстам для определения характеристик отдельных наций. Ярким примером является повторное открытие итальянскими гуманистами текста Тацита о германских племенах. Они использовали «*De origine et situ Germanorum*» для демонстрации культурного превосходства их предков в Римской империи над варварами, которые попали под влияние высокой культуры Рима. Однако в ответ немецкие гуманисты, такие как Якоб Вимпфелинг, Конрад Цельтис и Ульрих фон Гуттен «перевернули» этот аргумент и возвели на алтарь нации добродетели своих предков – древних германцев, такие как честность, открытость, порядочность, любовь к свободе и нравственная чистота. Германцы противопоставлялись продажным, высокомерным, вырождающимся и женоподобным римлянам. В каждом отдельном случае гуманисты также были заинтересованы в поиске истоков конкретной государственности и стремлении подчеркнуть древние истоки нации. Национальные герои имели решающее значение, так как они символизировали национальное достоинство. Также уже гуманисты демонстрировали тенденцию противопоставлять собственную нацию «другим», как правило, соседним нациям. Идея врагов, таким образом, была уже хорошо проработана в национальном дискурсе XVI столетия.

Интерпретация Реформации в Европе также может быть построена на гуманистическом дискурсе о нации. Монархи и главы протестантских государств Северной, Центральной и Западной Европы использовали идею протестантской нации как антиуниверсалистский оппозиционный топос в борьбе с «папизмом». Национальный дискурс строился на «исправлении заблуждений» католической церкви вопреки Риму и против Рима. Национальные нарративы ста-

ли действенным инструментом для победы над воинствующим универсализмом контрреформации и законного создания протестантских наций. Реформация, по существу, оказалась одним из основополагающих факторов для национального строительства многих протестантских государств Европы, в том числе для Великобритании. Таким образом, многие тропы национальной идентичности, которые станут важными составляющими национальной истории, восходят к средневековью и раннему Новому времени. Однако основные изменения в этом отношении произойдут только во второй половине XVIII – начале XIX века.

Современные нации принципиально отличались от «наций» раннего Нового времени. Лояльность и поддержка широких слоев населения становится важнейшим средством легитимации национальных государств. Следовательно, гранд-нарративы «века национализма» также имеют свои отличительные признаки. Для понимания интеллектуального фона этого «перехода» воспользуемся удобной для данного случая концепцией «седлового времени» (нем. *Sattelzeit*), предложенной представителями Билефельдской школы Отто Бруннером, Рейнхардом Козеллеком и их коллегами³. На немецком материале они доказали, что под воздействием глубоких структурных изменений в германских землях в экономике, политике, общественном сознании в период между 1750 и 1850 гг. произошла трансформация ключевых терминов и понятий политического языка⁴. Согласно выводам Р. Козеллека, примерно на протяжении ста лет с середины XVIII до середины XIX века происходит «семантический сдвиг», отражающий новое восприятие времени в таких категориях как «изменение» и «движение» в отличие от предшествующей вневременной статике. Эти процессы протекали в целом по всей Европе. В результате, добавим от себя, нация стала скрепляющим обществом паттерном, заменив на этом «посту» церковь, династии и феодальный патернализм. Нация стала решающим элементом «це-

³ Термин «*Sattelzeit*» был введен в исторические исследования немецким историком Отто Бруннером для характеристики периода между 1750 и 1850 годами. См. Pim den Boer, 'The Historiography of German Begriffsgeschichte and the Dutch Project of Conceptual History', in Iain Hampsher-Monk, Karin Tilmans and Frank van Vree (eds), *History of Concepts: Comparative Perspectives* Amsterdam. 1998. p. 18.

⁴ *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Reinhart Koselleck mit Werner Conze und Otto Brunner 8 in 9 Bänden. Klett-Cotta, Stuttgart 1972–1997; Berger S. *National history writing and the arrival of modernity in Europe, 1750–1850 // Writing the Nation: A Global Perspective*. Edited by Stefan Berger. Palgrave Macmillan. 2007. P. 32.

ментирования» современного национального государства. Очевидно, что до «условного» 1750 года нация и история не играли той решающей роли.

Здесь следует отметить, что тенденции национального строительства имели прямое воздействие на развитие истории как отрасли знания. Вторая половина XVIII столетия ознаменовала собой начало понимания истории как науки в современном смысле слова⁵. Это определило ее институционализацию и профессионализацию, придало ей академический статус. Уже в XIX в. история стала основным предметом в университетах, заняла ведущее положение в академиях. Свой расцвет переживают разнообразные исторические сообщества и историческая периодика. Локус социокультурной власти был важен для развития национальных нарративов по всей Европе. Изменения в преподавании и практике исследований соединились в новом понимании того, что же такое «история». Филология и критика источников стали важнейшим инструментом поиска различий между «мифом» и «истиной»⁶. Исторический семинар стал тем местом, где профессор и студенты вместе оттачивали мастерство «ремесла историка». Леопольд фон Ранке стал символом этого нового понимания исторического письма в XIX веке. Историки со всей Европы устремились в Германию, чтобы овладеть «инструментами» этого исторического мастерства⁷. В конечном итоге, процессы институционализации и профессионализации историописания привели к более четкому различию между любителями и профессионалами, между литературой и историей, между мифом и историей. Высокий авторитет историков сделал их выдающимися выразителями национальной идеи в Европе XIX столетия.

«Историческая революция» в Англии 1580–1640 гг.

Уже более пятидесяти лет прошло с тех пор, как американский историк Ф.С. Фасснер выдвинул тезис об «исторической революции» в Англии в эпоху поздних Тюдоров – ранних Стюартов⁸. Этот

⁵ Feldner H. The New Scientificity in Historical Writing around 1800 / Writing History: Theory and Practice / Ed. by Stefan Berger, Heiko Feldner and Kevin Passmore (eds). L., 2003. P. 3–22.

⁶ Lorenz C. Drawing the Line: “Scientific” History between Myth-Making and Myth-Breaking // Narrating the Nation: the Representation of National Narratives in Different Genres / Ed. by S. Berger and L. Eriksonas. Oxford: Berghahn Books, 2007.

⁷ Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline / Ed. by Georg G. Iggers, James M. Powell. Syracuse, 1990.

⁸ Fussner F.S. The Historical Revolution: English Historical Writing and Thought, 1580–1640. L., 1962; Levine J.M. Ancients, Moderns and the Continuity of English Historical Writing in the Later Seventeenth Century // Studies in Change and

тезис его одноименной монографии заключался в том, что в период с 1580 по 1640 г. в Англии произошла «историографическая революция», которая имела решающее влияние на «те исторические взгляды и вопросы, которые мы признаем своими» сегодня⁹. Нижняя граница – 1580-е годы – автором обоснована возникновением «более подходящих условий для исследований», что нашло свое выражение в создании Антикварного общества и библиотеки сэра Роберта Коттона, а также и в том, что «антиквары стали сомневаться в своих средневековых авторитетах»¹⁰. Верхняя граница определена началом конфликта между королем и парламентом в 1640 г. «Великая смута», по мысли автора, сформирует принципиально новый контекст развития исторического письма, где господствующие позиции будут закреплены за правовой и конституционной историей.

Наиболее очевидной характеристикой этой революции исторического письма, согласно Ф.С. Фасснеру, было «распространение новых типов» исторического письма как по самой идее написания, так и по способу интерпретации прошлого¹¹. А именно, к первому «типу» он относит неоконченное сочинение сэра Уолтера Рэли – фундаментальный труд «История мира» (1614), посвященный древней Греции и Риму – и определяет его как *универсальная история*. Оставаясь еще в рамках провиденциальной доктрины, Рэли привлекает широчайший круг источников на шести языках, демонстрирует знакомство с современной ему историографией о древнем мире и особое внимание уделяет географии¹². *Локальная история* представлена получившим широкую известность сочинением Джона Стоу «Описание Лондона» (1603). Это было детальное топографическое и историческое описание города с приведением информации о его зданиях, традициях и обычаях времени правления Елизаветы Тюдор¹³. Сочинение Уильяма Кемдена «Британия» (1586) маркируется Фасснером как *территориальная история*, в которой топографическая проекция государства стала объединяющим началом Елизаветинской Англии¹⁴. Джон Селден написал «Историю церковной десятины» (1618) в надежде, как полагает Фасснер, заставить прошлое

Revolution / Ed. by Paul J. Korshin. L., 1972. P. 43–75; Preston J. Was there an Historical Revolution // Journal of the History of Ideas. 1977. № 33. P. 353–364.

⁹ Fussner F.S. The Historical Revolution ... P. XVI.

¹⁰ Ibid. P. 217.

¹¹ Ibid. P. 218.

¹² The history of the world. By Sir Walter Raleigh, Knight. 1st ed., fourth issue. At London Printed for Walter Burre, 1614.

¹³ A Survey of London. By John Stow. Ed. by C L Kingsford. L., 1603.

¹⁴ Fussner F.S. The Historical Revolution ... P. 170.

ответить на вопросы настоящего и следовал так называемой *проблемной истории*. И, наконец, последний новый «тип» исторического сочинения. Это сочинение сэра Фрэнсиса Бэкона «История правления короля Генриха VII» (1622), в котором он предпринял попытку соединить историю и философию науки, что сделало его важной фигурой в развитии британского эмпиризма – опытного научного знания. То есть, это было сочинение, где обсуждалась *идея истории* как таковой.

Надо заметить, что в последние годы наблюдается оживление интереса к этой теме. Знаковыми работами в данном контексте стали труды таких ученых как Аннабель Паттерсон¹⁵, Даниель Вулф¹⁶, Грэм Пэрри¹⁷, Кевин Шарп¹⁸ и некоторых других. Они вновь открыли дискуссию о природе так называемой *исторической революции*. И не случайно, в ситуации кризиса британской национальной идентичности на рубеже XX–XXI вв. небывалую актуальность приобрело изучение национального историописания и его роли в контексте консолидации государства и общества. Действительно период 1580–1640 гг. был временем решительной трансформации всех сторон жизни английского общества. В этом отношении привлекает внимание исследовательский проект под руководством Ричарда Хельгерсона¹⁹, в котором была поставлена задача исследовать различные формы национальной идентичности («forms of Nationhood») в елизаветинской Англии. «Формы» связываются с отдельными «отраслями» развития письменного и устного слова – поэзией, правом, антикварными исследованиями, театром, религией и т.п.²⁰ Углубляя концепцию «изобретения традиции», сформулированную в 1983 г. Э. Хобсбаумом и Т. Рейнджером²¹, Хельгерсон пришел к выводу о

¹⁵ Patterson A. Reading Holinshed's Chronicles. Chicago, 1994; Patterson A. Shakespeare and the Popular Voice. Oxford, 1989.

¹⁶ Woolf D.R. Reading History in Early Modern England. Cambridge, 2000; Idem. The Social Circulation of the Past English Historical Culture, 1500–1730, Oxford, 2003; Idem. Local Identities in Late Medieval and Early Modern England. Palgrave Macmillan, 2007; Idem. A Concise History of History. Cambridge, 2019.

¹⁷ Parry G. The Trophies of Time: English Antiquarians of the Seventeenth Century. Oxford, 1995; Graham P. Making History: Antiquaries in Britain, 1707–2007. L., 2007; Parry G. The Seventeenth Century: The Intellectual and Cultural Context of English literature 1603–1700. L., N.-Y., 2013.

¹⁸ Sharpe K. Sir Robert Cotton, 1586–1631. Oxford, 1979.

¹⁹ Early Modern Center. Режим доступа: <http://emc.english.ucsb.edu/about-us/>

²⁰ Helgerson R. Forms of Nationhood: the Elizabethan writing of England. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

²¹ Hobsbawm E. Introduction // The Invention of Tradition // Ed. by E. Hobsbawm, T.Ranger. Cambridge, 1983. P. 2–14.

том, что решающую роль в развитии новой государственности английского королевства сыграло поколение авторов²², рожденных между 1551–1564 гг. Именно они создали сложную культурную модель идентичности в ситуации глубокой трансформации английского общества и формирования нового протестантского государства. Р. Хельгерсон, вслед за Э. Хобсбаумом и Т. Рейнджером, настаивает на прямой связи между изобретением национально-культурной модели идентичности и построением современного государства на Британских островах. В отечественной историографии расцвет елизаветинской Англии в основном связывается с английским театром и именем Шекспира²³, в литературном наследии которого исторические сюжеты заняли, как известно, ключевое место²⁴. Другие «сегменты» общего процесса нациестроительства пока остаются в тени. Далее хотелось бы предложить на обсуждение некоторые идеи о роли и месте исторического письма в создании «nationhood» в Англии на рубеже XV–XVII вв.

Именно тогда в Англии происходит медленный, но верный разрыв со средневековыми формами историописания и формируется принципиально новая модель исторического письма. В его основе лежала ренессансная модель научного знания, задававшая новое уникальное представление о времени (Скалигер и рождение исторической хронологии) и пространстве (Меркатор и др.). Поиск новых форм выражения этих идей в области исторического письма не было простым и в Англии оказался связанным, в первую очередь, с антикварным движением, сплотившем лучшие умы елизаветинской эпохи, такие как У. Кемден, Г. Спелман, Р. Коттон и др. Уникальность этого движения определяется отечественными исследователями А.А. Паламарчук и С.Е. Федоровым так: «Сложившийся на рубеже XVI–XVII столетий кружок лондонских эрудитов с полным правом можно назвать явлением глубоко английским, сложившимся под влиянием всего своеобразия английского варианта Ренессанса и Реформации, а следовательно, собранием, неизменно подпитывающимся мощной англоцентричной идеей»²⁵. Определенно, этот антикварный дискурс задавался строительством нового –

²² Эдмунд Спенсер, Эдвард Кок, Уильям Кемден, Джон Спид, Майкл Дрейтон, Ричард Хаклойт, Уильям Шекспир, Ричард Хукер.

²³ Мир Шекспира (электронная энциклопедия). URL: <http://www.worldshake.ru/ru/Encyclopaedia/4146.html>

²⁴ Барг М. А. Шекспир и история. М., 1976.

²⁵ Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в раннеюартовской Англии. СПб., 2013. С. 9.

протестантского, этнополитического и имперского по своей сути – государства на Британских островах.

Ad fontes – стало девизом этой эпохи. Как хорошо известно, начало «исторической революции» в Британии ознаменовалось расцветом городских хроник и «историй» графств. В массе своей они не являлись оригинальными сочинениями, а были вольным переложением более ранних хроник на английский язык. Они были нацелены на создание кратких и читаемых текстов. Популярность сочинений Холла, Стоу, Холиншеда показала растущую потребность в исторической информации и росте интереса дворянской элиты к генеалогии и геральдике. Очень скоро «историописатели» начали осознавать, что только путем углубления знаний о конкретных институтах, обычаях и территориях можно развить новое современное представление о прошлом. Действительно оригинальные сочинения появляются только в 1570-х гг. Первой такой историей стало сочинение Уильяма Ламбарда «Прогулка по Кенту: описание, история и обычаи этого графства» (1576)²⁶. Оно было адресовано кентскому дворянству, информацией о котором изобилует текст. Знания Ламбарда о местной истории и топографии были впечатляющими. Он описывал города и рынки, порты и вольности, религиозные общины и школы, гражданские обычаи и церковную историю графства, а в дополнение обращал внимание на топографические и другие «особенности»²⁷. Это сочинение Ламбарда, назначенного Елизаветой Тюдор в 1601 г. хранителем капеллы свитков в Тауэре, вдохновило другого выдающегося антиквара Ричарда Керью начать работу «Обзор Корнуолла», которая была опубликована в 1603 г.²⁸ В 1590-х гг. картограф и антиквар Джон Норден спланировал (но не завершил) создание серии карт по графствам «Зеркало Британии»²⁹, которое снабдил топографическими и антикварными деталями, представляющими геральдический и археологический интерес. С этого времени поток топографических обзоров и локальных историй начал быстро нарастать.

²⁶ Lambarde W. *A Perambulation of Kent: Conteyning the Description, Hystorie, and Customes of that Shire.* L., 1576.

²⁷ Greenslade, M. W. (1997). Introduction: county history / Guide to English County Histories / Ed. by C.R.J. Currie, L. Christopher. Sutton, P. 10–12.

²⁸ The survey of Cornwall. and an epistle concerning the excellencies of the english tongue. By Richard Carew, of Antonie, Esq.; English Local Historians // Hoskins W.G. *Local History in England.* L., 1959.

²⁹ Norden J. *Speculum Britanniae: the First Parte: an Historicall, & Chorographically Discription of Middlesex.* 1593; *Speculi Britaniae Pars: the Description of Hartfordshire.* 1598; См. об этом: Mendyk S.G. *Speculum Britanniae: regional study, antiquarianism, and science in Britain to 1700.* Toronto, 1989.

Все эти успехи интеллектуальной революции «на местах» были результатом усилий нового социального слоя – джентри, который смог «подняться» (используя знаменитый тезис Ричарда Тоуни) на «службе» короне, занимаясь преумножением ее славы и богатства. Антиквары были его частью и писали для него. Это были за редким исключением люди дворянской крови, получившие блестящее образование, но вынужденные в силу отсутствия титула и унаследованного состояния заботиться о себе исключительно своими талантами. Не случайно большинство из них выбирало стезю юриста – наиболее прибыльную и статусную профессию в «эпоху перемен». Это в значительной степени определило такую специфическую особенность исторического письма в Англии как исследование, близкое к «расследованию» с аналогичной «системой» по сбору «улик» и «доказательств». В связи с этим следует отметить еще одну специфическую особенность развития исторического письма в Англии. Это система патронажа. Большинство антикваров «служили» государству через своих покровителей, что помогало им впоследствии получать доходные должности и обеспечить себе безбедное существование. Сегодня хорошо известно, что работа У. Кемдена «Британия» вряд ли бы была написана, если бы не поддержка всесильного елизаветинца Уильяма Сесила, 1-го барона Берли. Роберт Девере, 2-й граф Эссекс был патроном братьев Бэконов. Уильям Кавендиш, 1-й герцог Ньюкасл-апон-Тайн, опекал Томаса Гоббса и т.д.

Развивая эту мысль, можно создать «сетку» интеллектуальных связей первых лиц государства и Республики ученых в английском королевстве эпохи Елизаветы Тюдор. Показательным примером является лорд Берли, о котором известный английский историк XX в. Альберт Поллард писал: «С 1558 г. в течение сорока лет биография Сесила почти неотличима от биографии Елизаветы Тюдор и истории Англии»³⁰. Лорд Берли стал подлинным покровителем наук и искусств и был убежден в моральной и утилитарной ценности образования, полагая, что таланты, обученные соответствующим образом, должны быть поставлены на службу отечеству³¹. Он проявлял заботу о том, чтобы наследники влиятельных католических семей получали протестантское образование. Занимая ключевые посты в администрации Елизаветы Тюдор, Сесил стал покровителем «историков». Он имел прямое отношение к сохранению коллекции уникальных рукописей Джона Леланда, предтечи антикварного сообщества, соб-

³⁰ Pollard A.F. Burghley, William Cecil, Baron / Encyclopædia Britannica / Ed. C. Hugh. 11th ed. 1910-1911. Vol. 4. P. 816.

³¹ Beckingsale B.W. Burghley Tudor Statesman. N.Y., 1967. P. 245.

ранной под патронажем Генриха VIII. На разных этапах своей жизни он оказывал содействие Лоуренсу Ноуэллу, Джону Клэпхэму, Джону Стоу и др. Десятки книг позднелизаветинской эпохи украшены посвящением «его сиятельству лорду-канцлеру Берли».

Лорд Берли представлял собой новый тип «идеального» протестантского джентльмена, добродетели которого были связаны не столько с достоинствами его социального слоя, сколько с добродетелями достойного человека³². Он иллюстрировал изменение идеалов английской знати и дворянства XVI века. Для него, кажется, честь и совесть были неразрывными понятиями³³. Описание лорда Берли У. Кемденом в другом его сочинении «Анналы» раскрывает новые нормы аристократизма елизаветинской эпохи: «...он был самым превосходным человеком (не говоря уже о его почтенном возрасте, его спокойном и невозмутимом выражении лица), когда бы то ни было созданным природой, настолько преобразованным и украшенным обучением и образованием, что в проявлении честности, серьезности, сдержанности, деловитости и справедливости, он был самым совершенным человеком»³⁴. Свой долг глубоко убежденный англиканин лорд Берли, несомненно, видел в служении своему отечеству и династии Тюдоров. В новом протестантском дискурсе «семья» получала новое расширительное толкование – от Бога-Отца и Королевы-Матери («жены народа») до скромного мужа – лорда в его собственном доме. Опираясь на пример патриархов и пятую заповедь, протестанты сделали Бога-Отца религиозным лидером национальной «семьи».

Такое служение короне (государству) задавало новый патриотический дискурс наведения порядка в «собственном доме» («Nationhood»). Этим объясняется небывалое развитие топографии и картографии в периоды правления королевы Елизаветы I Тюдор и короля Якова I Стюарта. Настойчивое стремление «сконструировать» целостность пространства «общего дома» определялось новым представлением о государстве. Лорд Берли и его коллега Томас Сэкфорд поддержали Кристофера Сакстона, вдохновленного трудом фламандского картографа Авраама Ортелиа «Зрелище круга земного», в его работе по составлению первой карты графств Англии и Уэльса³⁵. Уже упомянутому выше картографу Джону Нордену лорд-

³² Greaves M. The Biazon of Honour. 1964.

³³ Beckingsale B.W. Burghley ... P. 282

³⁴ Camden W. The Historie of the most renowned and victorious princesse Elizabeth, late Queene of England. Composed by way of Annals. L., 1675. P. 557.

³⁵ Saxton's Atlas of the Counties of England and Wales. L., 1579.

канцлер помог сопроводительными письмами к мировым судьям графств. В Ирландии, где политическая необходимость в составлении карт была наиболее острой, Берли использовал таких людей как Роберт Лит (Robert Lythe) и Джон Браун (John Browne). Его протее, Хамфри Коул (Humphrey Cole), сделал первую известную английскую медную гравировку карты Британских островов³⁶. Первые лица государства остро ощущали необходимость установления четких географических границ подвластных им территорий. Несомненно, их интересы распространялись и на Европу, и за ее пределы. По роду своей службы лорд Берли оказался связан практически со всеми проектами поиска «проходов» в «сказочно богатую Индию». В открытии северо-восточного прохода в Азию он поддержал Московскую компанию, благодаря которой он вступил в контакт с такими людьми, как Энтони Дженкинсон, который отправился в Персию через Россию³⁷. Позже он поддержал Хамфри Гилберта и Мартина Фробишера в их усилиях по поиску северо-западного прохода³⁸.

Следует отдельно остановиться на «Атласе» К. Сакстона, который, будучи опубликован в 1579 г., стал топографическим стандартом на многие десятилетия вперед. Впервые можно было разом увидеть Англию и Уэльс на одном листе с цветным выделением графств. В известном смысле здесь имела и историческая информация – разнообразные символы показывали здания и поселения. Но в первую очередь карта Сакстона стала политическим инструментом. Никто так пристально не всматривался в очертания Англии на ней как лорд Берли, который, в отличие от Томаса Кромвеля, уже мог лицезреть управляемое им королевство на карте³⁹. Карты широко использовались в годы гражданской войны по обе стороны «баррикад». В последующих изданиях карты графств можно было купить отдельно. Вскоре карты Сакстона стали «обычными для всех дворян и джентльменов», достаточно часто их можно было найти на стене в гостиной в качестве предмета гордости⁴⁰. Соотношение карты всей Англии с картами отдельных графств прекрасно иллюстрирует

³⁶ Lynam E. *British Maps and Map-Makers*. 1944. L., P. 17.

³⁷ Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию 1558–1560 гг. // Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / Пер. Ю. Готье, предисловие Г. Новицкого. М., 1937.

³⁸ Peck F. *Desiderata Curiosa*. L., 1779. P. 39.

³⁹ Collinson P. *This England: race, nation, patriotism* // Collinson P. *This England. Essays on the English nation and commonwealth in the sixteenth century*. Manchester, N.Y., 2011. P. 26–27.

⁴⁰ Harley J.B. *Meaning and ambiguity in Tudor cartography* // *English Map-Making 1500–1650* / Ed. by S. Tyacke. British Library. 1983. P. 22–45.

двойной статус Англии шестнадцатого века как нации и как федерации графств⁴¹. «Атлас» Сакстона имел несомненный коммерческий успех, что побудило других картографов Джона Спида, Джона Нортона и Майкла Дрейтона развивать его работу дальше.

С «Атласом» Сакстона, англичане, цитируя Р. Хельгерсона, «впервые получили эффективное визуальное и концептуальное владение физическим царством, в котором они жили». Он обращает внимание на семантику и символику карт этого времени, которые далеко выходят за рамки их практической полезности, и резюмирует: «Сакстон заслуживает место рядом с Шекспиром как интерпретатор национального сознания, единства и гордости, которые были величайшими достижениями елизаветинской Англии»⁴². Все это показывает, что карты становились помимо всего прочего инструментом власти. Чьей власти, – вопрошает Р. Хельгерсон. Кому, согласно идеологии карт, принадлежала эта земля? На «Атласе» Сакстона, у которого нет названия как такового, Елизавета I Тюдор восседает на троне между столпами Геркулеса и аллегорическими фигурами Астрологии и Географии (см. Рис. 1). Эта земля принадлежит Королеве.

В контексте рассуждений о взаимодействии интеллектуалов-антикваров/топографов/картографов и власти в Елизаветинской Англии и «конструировании» новой «картины мира» следует обратить внимание на дискуссию 2000-х гг., заданную работой Патрика Коллинсона «Монархическая республика Елизаветы Тюдор»⁴³. Дебаты об английском республиканизме, являясь частью более широкой дискуссии о республиканизме в Европе раннего нового времени, восходят к тезису Ханса Барона⁴⁴ о том, что «социально вовлеченный, исторически ориентированный» «гражданский гуманизм», возникший в защиту Флорентийской республики в начале 1400-х гг., был основой зарождения современного государства в Европе.

⁴¹ Morgan V. The cartographic image of “the country” in early Modern England // *Transactions of the Royal Historical Society*. 5th ser. № 29. 1979. P. 22–45.

⁴² Helgerson P. *Forms of Nationhood*... P. 107.

⁴³ Collinson P. *Monarchical Republic of Queen Elizabeth I* / Collinson P. *Elizabethans*. L., 2003. P. 31–59.

⁴⁴ Baron H. *The Crisis of the Early Italian Renaissance*. Princeton, 1955. P. 461; *Renaissance Humanism: Foundations, Forms and Legacy*. Ed. Rabil. Philadelphia, 1988. vol. I. *Humanism in Italy*. P. 141–174; Scott J. *Classical Republicanism in Seventeenth-Century England and the Netherlands / Republicanism: A Shared European Heritage*. Eds. M. van Gelderen and Q. Skinner. Vol. I. *Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe*. Cambridge, 2002. P. 61–81; Skinner Q. *Classical Liberty and the Coming of the English Civil War / Republicanism: A Shared European Heritage*. Eds. M. van Gelderen and Q. Skinner. Vol. II. *The Values of Republicanism in Early Modern Europe*. P. 9–28.



Рис. 1. Фронтиспис к тому карт «Атласа графств Англии и Уэльса» Сакстона 1579 г.
https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=309760001&objectId=3050410&partId=1

Сочинение Дж. Покока «Макиавеллиевский момент» (1975) имело решающую роль в развитии этого тезиса. Он проследил траекторию развития республиканизма от итальянских «истоков» до середины XVII века – до революции и, в конце концов, создания конституции. Вывод Дж. Покока о том, что «гражданское общество» как «полис или республика» «едва ли существовало» в Англии до 1642 года⁴⁵, спровоцировал, по замечанию Кевина Шарпа⁴⁶, «дерзкий» ответ П. Коллинсона в эссе «Монархическая республика Елизаветы Тюдор» (1987). Он отвечал так же и тем, кто развивал идею о деспотизме Тюдоров. Коллинсон доказывал, что елизаветинская «De Republica Anglorum» была пропитана «антимонархическим вирусом, который был частью наследия гуманизма начала шестнадцатого века». Эти идеи П. Коллинсон развил в ряде своих последующих монографий⁴⁷. Их продуктивность характеризует коллективный «ответ» ведущих специалистов по теме в собрании эссе «Монархическая республика в Англии раннего Нового времени» (2008)⁴⁸, кодой которого стало эссе Квентина Скиннера, внесшего заметный вклад в развитие темы «свобода до либерализма»⁴⁹.

Гражданские добродетели и гражданское общество в Англии, пока в его дискретном воплощении национальной властной элиты, привело к созданию государства «монархического по форме, [но] республиканского по своему характеру»⁵⁰. Очевидно, что сознание новой протестантской элиты было пронизано национальной идеей и оказывало влияние на быстро меняющееся английское общество, как по горизонтали (территории), так и по вертикали (социальная иерархия). Однако ясно, что средостением этого нового проекта «нация-государство» как в символическом пространстве, так и в конкретно-организационном был королевский двор и сама Елизавета Тюдор⁵¹.

⁴⁵ Collinson P. *Monarchical Republic ...* P. 38; Pocock J. *England // National Consciousness, History and Political Culture in Early-Modern Europe / Ed. by O. Ranum. Baltimore, 1975, P. 98–117; Idem. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 2003, P. 354, 360.*

⁴⁶ Sharpe K. *Review on «Elizabethans» by P. Collinson // History Today. July, 1995. P. 53–54.*

⁴⁷ Collinson P. *Elizabethans. L., 2003; Idem. From Cranmer to Sancroft: Essays on English Religion in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Bloomsbury Publishing, 2007; etc.*

⁴⁸ *The Monarchical Republic of Early Modern England: Essays in Response to Patrick Collinson. Ed. John F. McDiarmid. L., 2007.*

⁴⁹ Skinner Q. *The Foundations of Modern Political Thought. 2 vols. Cambridge, 1978; Idem. Visions of Politics. 3 vols, Cambridge, 2002.*

⁵⁰ Collinson P. *Monarchical Republic ...* P. 15.

⁵¹ Дмитриева О. Елизавета Тюдор. М., 2012.

И особая атмосфера «республиканской монархии» была той благодатной почвой, где постепенно формировался миф о Великой Британии. Далее нас будет интересовать только исторический «сегмент» этого многоуровневого и сложного процесса формирования национальной идентичности. И это достаточно сложная задача, так как для ренессансной модели знания характерен синкретизм, а историографии на злобу дня в духе высокого гражданского нарратива (например, сочинение Ф. Бэкона о Генрихе VII) не были определяющей линией развития нового исторического знания в Англии на рубеже XVI–XVII вв. Хорография – вот что стало его магистральным трендом⁵².

Новый синтез пространства и времени находит свое воплощение в «жанре» исторического письма, который сегодня почти забыт, – хорография. Жанр, который имел что-то общее как с историей, так и с географией, но при этом сохранял свою самостоятельность. География была связана с картой, история – с людьми. Хорография отличалась от истории тем, что была сосредоточена не на людях, а на «местах» (городах, замках, полях сражений, природных «диких винах»), но в их историческом прошлом. А от географии – тем, что она основывалась не на «широте» и «долготе», а на искусстве наблюдения и фиксации результатов через описательные практики. Эту работу проделывали глазами и ушами, и, конечно, ногами – хорографы эпохи Елизаветы Тюдор путешествовали и должны были сами увидеть то, о чем описали. Это разительно отличало новых «историков» от их собратьев предшествующего поколения. Известно, например, что Уильям Харрисон, автор знаменитого «Описания Англии», вошедшего в «Хроники» Холиншеда, никогда не покидал родных мест⁵³.

На основании работ Сакстона, Нордена и других картографов англичане конца XVI столетия и начала XVII века открывают себя в своем прошлом пространственно – с помощью уточненных карт и изощренных описаний ландшафтов в локальных историях. В первую очередь через эти практики формировалось представ-

⁵² Хорография берет свое начало в XV в. в новаторском сочинении Флавио Бьондо «Italia Illustrata», в начале XVI столетия в Германии Конрад Целтис и другие гуманисты планировали создать иллюстрированную карту «Germania», которая так и не увидела свет, хотя это привело к публикации серии региональных хорографий. См.: Strauss G. Sixteenth-Century Germany – Its Topography and Topographers. Madison, 1959.

⁵³ Об этом см.: Parry G.J.R. A Protestant Vision: William Harrison and the Reformation of Elizabethan England. Cambridge, 1987; Idem. William Harrison and Holinshed's Chronicles // Historical Journal. 1984. № 27. P. 789–810.

ление о том, «кто мы». Если историки графств «вели» читателей-елизаветинцев по дорогам и водным путям своей страны, то собрание травелогов «Главных путешествий» Ричарда Хаклюйта 1589 года⁵⁴ (расширенное издание – 1598–1600 гг.) стало настоящей эпопеей подвигов английского народа в Великих географических открытиях, собранием рассказов о смелости и находчивости англичан в освоении новых «территорий».

Собственно, созданное У. Кемденом историческое сочинение «Британия» является вершиной развития английской хорографии и одновременно проекцией идеи создания сильного, единого и протестантского государства на Британских островах его покровителя, лорда Берли. Первое издание «Британии» (1586) появилось в виде скромной по объему книжки и претерпело впоследствии пять переизданий (1587, 1590, 1594, 1600 и 1607). Каждое из них значительно расширялось как по содержанию, так и по оформлению, по сравнению с предшествующим, и, в конце концов, состоялось превращение этого труда в богато иллюстрированный красивый фолиант. Издание 1607 г. впервые включало в себя полный набор карт графств К. Сакстона и Дж. Нордена. Первое англоязычное издание, переведенное Филимоном Холландом, увидело свет в 1610 г. и вновь было дополнено самим Кемденом (в основном сведениями по Ирландии)⁵⁵. Если же говорить о содержании «Британии» У. Кемдена, то в этом сочинении встречаются и переплетаются два дискурса: ренессансный дискурс в р е м е н и , опрокинутый в эпоху великого Рима, и антикварный дискурс п р о с т р а н с т в а -территории, основанный на идее нации-государства. В работах С.Е. Федорова и А.А. Паламарчук этот феномен пересечения двух дискурсов получил название «зеркального эффекта»⁵⁶.

Если мы сосредоточимся на «римском» дискурсе сочинений Кемдена мы столкнемся с парадоксальным явлением. Создавая «националистическое» сочинение по истории Британии, он был, прежде всего, космополитом. Его «Британия» адресована в первую очередь братьям по *Respublica literaria* континентальной Европы. «Осняя-

⁵⁴ The Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation. 1589.

⁵⁵ Camden W. The Author to the Reader // Camden W. Britain, or a Chorographically Description of the most flourishing Kingdomes, England, Scotland, and Ireland, and the Ilands adjoining, out of the depth of Antiquitie. Translated by Holland, Philemon. L., 1610.

⁵⁶ Паламарчук А.А., Федоров С.Е. Антикварный дискурс в раннеюартовской Англии. СПб., 2013. С. 144–155.

ет» его труд «Британия» ссылка на просьбу Авраама Ортелиа «восстановить древность Британии и Британию в ее древности»⁵⁷. Кемден писал на универсальном языке латыни и главным образом для ученого европейца с целью познакомить его с древностями его «великой родины».

«Древность», означала для Кемдена, прежде всего, классическую античность. Поэтому он начинает свое исследование с карт и описаний Римской Британии. Его первой задачей становится связать римские города и дороги с ландшафтом, но также – с древними бриттскими племенами. Хотя Кемден интересовался всеми видами древностей, он особенно был занят римскими «остатками»: от вала Антонина в далекой Нортумбрии, которую он посещал дважды, до монет и надписей. Идея заключалась в том, чтобы проинформировать образованную европейскую общественность о периферийном островном государстве, о котором она почти ничего не знала, но территория, которого когда-то была провинцией Римской империи и теперь может претендовать на звание значимой части ученого и цивилизованного мира⁵⁸. Нидерландский гуманист Юстус Липсиус в 1586 г. писал: «Не только ваша собственная страна в долгу перед вами, но и мы, иностранцы, которые до сих пор почти не знали о Британии» (лат. «Multum patria tibi debet, multum exteri nos, qui per Te videmus Britanniam, cur non videmus»)⁵⁹

Если же обратиться к хорографическому дискурсу создания пространственного образа «нации-государства», то здесь следует указать на то, что сама идея и значительная часть материалов была заимствована Кемденом у Джона Леланда, выдающегося филолога и гуманиста 1530–1540-х гг., которому в связи с секуляризацией Генрих VIII поставил задачу проведения инвентаризации монастырских и других библиотек. Леланд, «всцело охваченный желанием тщательно осмотреть все части этого... богатого и обширного королев-

⁵⁷ Camden W. The Author to the Reader // Camden W. Britain, or a Chorographically Description of the most flourishing Kingdomes, England, Scotland, and Ireland, and the Ilands adjoining, out of the depth of Antiquitie / Translated by Holland, Philemon. L., 1610.

⁵⁸ Piggott S. William Camden and the Britannia // Proceedings of the British Academy. № 37. 1951. P. 100–217; Levy F.J. The making of Camden's Britannia // Bulletin d'Humanisme et Renaissance. № 26. 1964. P. 70–97; Trevor-Roper H. Queen Elizabeth's First historian: William Camden // Trevor-Roper H. Renaissance Essays. L., 1985; Herendeen W.H. William Camden: A life in context. Woodbridge, 2007.

⁵⁹ Collinson P. William Camden and the anti-myth of Elizabeth: setting the mould? // Collinson P. This England. Essays on the English Nation and Commonwealth in the Sixteenth century. Manchester, N.Y., 2011. P. 170.

ства», обещал Генриху VIII подарить ему «весь Ваш мир и империю Англия» («your whole world and empire of England») на «серебряном блюде» («a quadrate tablet of silver»), «если Бог пошлет мне жизнь, чтобы завершить мои начинания»⁶⁰. Джон Леланд планировал создать «magnum opus» под названием «De Antiquitate Britannica, or Civilis Historia». Подготовительные материалы – тысячи страниц тетрадей Леланда – содержали описания мостов, замков, полей сражений, разговоров с местными жителями о «диковинках» и преданиях. Однако, когда он смог, наконец, приступить к реализации своего многотомного замысла, – разум оставил его. Елизаветинские ученики Леланда столкнулись с серьезной проблемой адаптации его огромного рукописного наследия. Все, что осталось от его великого замысла – «Itinerary» и «Collectanea», впервые были опубликованы Томасом Хирном в 1710–1715 гг.⁶¹ Интересно, что Д. Вульф, рассуждая о роли Леланда в истории исторического письма в Англии, отсылает нас к призраку Джейкоба Марли из «Рождественской песни» Ч. Диккенса⁶², а П. Коллинсон указывает, что проект Леланда и сегодня нельзя назвать завершенным⁶³.

На титульной странице «Британии» Кемдена издания 1610 года Британские острова покоятся на серебряном блюде, как и обещал Леланд Генриху VIII. И у блюда есть ручки, так что вы можете перенести Британию в огромный мир. Интересно, что вскоре в 1612 г. выходит топографическая поэма Майкла Дрейтона «Поли-Ольбион» (так у автора)⁶⁴, описывающая в стихотворной форме топографию, традиции и историю отдельных графств. Поэма была своеобразным переложением Кемдена на стихи и снабжена иллюстрированными картами каждого графства с антропоморфными элементами. Первое издание сопровождалась историко-филологическими аннотациями, написанными Джоном Селденом. В своей поэме Дрейтон стремился объединить научное знание о Британии (в основном в комментариях Селдена) и образным рядом «полиольбиона» древних бриттов, друидов и т.п. – того, что не должно быть забыто.

⁶⁰ The Itinerary of John Leyland / ed. L.T. Smith. Vol. 1. L., 1907. P. XL–XLI.

⁶¹ British Library Add. MS 38132; Collectanea, ed. Thomas Hearne. 3 vols. Oxford, 1715.

⁶² Woolf D.R. Erudition and the Idea of History in Renaissance England // Renaissance Quarterly. 1987. Vol. 40. № 1. P. 23.

⁶³ Collinson P. This England: race, nation, patriotism ... P. 25.

⁶⁴ Drayton M. Poly-Olbion: Or a chorographical description of Great Britain, digested in a poem. Ed. by J. W. Hebel. Oxford, 1933.



Рис. 2. Фронтиспис и титульный лист «Британии» У. Кемдена, издание 1607 г.⁶⁵

Если на титульном листе «Атласа» Сакстона восседает королева-мать Елизавета I (рис. 1), у Кемдена в центре – карта Британии с нимфой Британией наверху (рис. 2), то у Дрейтона это дородная фигура женщины, драпированная в карту Сакстона (рис. 3). Ее окружают агрессивные «покорители» Британии – Брут, Юлий Цезарь, Хенгист и Вильгельм Завоеватель. В своих исследованиях Р. Хельгерсон доказывает, что эта эволюция символического образа Британии в хорографиях, историях графств и картах отражает «поворот» антикваров к интересам землевладельцев. Именно за ними как основы социальной и политической иерархии этого королевства они видели будущее⁶⁶⁶⁷. Один из таких джентльменов графства Кент Томас Вуттон писал, отдавая должное «Прогулке по Кенту» Уильяма Ламбарда: «...нет ничего, что могло бы быть более полезным для нашего наставления, или для нашего разума более притягательным ..., чем изучение истории: ни то, чтобы это не было полезно другим, но для положения джентльмена особенно; и никакая другая история – как история Англии. И для этой цели я говорю вам, мои соотечествен-

⁶⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Camden#/media/File:Britannia_by_William_Camden_Title_page.jpg

⁶⁶ Helgerson P. Forms of Nationhood... P. 105–146.

⁶⁷ Collinson P. This England: race, nation, patriotism ... P. 26.

ники, джентльмены этого графства (части нашего Королевства), особенно, и всем джентльменам этого Королевства, вообще»⁶⁸.



Рис. 3. Титульная страница «Полиольбиона» М. Драйтона, издание 1612 г.⁶⁹

⁶⁸ Цит. по: Collinson P. This England: race, nation, patriotism ... P. 28.

⁶⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Poly-Olbion#/media/File:Michael-Drayton-Poly-Olbion.jpg>

Обращает на себя внимание также патриотический пафос этого историко-топографического дискурса. Он связывает неуловимо тонкой «красной» нитью различные «жанры» этого дискурса. Джон Бейль, друг Джона Леланда, надеялся, что его работа «учить и любить свою нацию» («such as is learned and loving to his nation») будет продолжена⁷⁰. Хроники Холиншеда завершаются похвалой «содружеству Англии, уголка мира, который ты, Господи, отвел для приумножения твоего величия» («the commonwealth of England, a corner of the world, O Lord, which thou hast singled out for the magnifying of thy majesty»). У. Кемден во введении к своей «Британии» обосновывает мотивы ее написания: «Слава моей страны вдохновила меня на это», а также «взаимная любовь нашей общей матери и родной страны, древняя честь имени британцев» («the glory of my country encouraged me to undertake it', 'the common love of our common mother and native country, the ancient honour of the British name»).

Интересным наблюдением является тот факт, что главные герои этой «исторической революции» (прежде всего, Леланд) находились в оппозиции к Полидору Вергилию, поставившему в своем многотомном сочинении «История Англии» под сомнение некоторые «знаменательные факты» из истории королевства. В первую очередь это относится к легенде о происхождении Британии от Брута Троянского⁷¹. Все европейские нации нуждались в своих собственных мифах о происхождении, и Англия не была исключением. «Родословная» о Бруте Троянском восходила к XII в. и была представлена уважаемым средневековым автором Гальфридом Монмутским, который утверждал, что, переводя одну древнюю книгу, «*vestusissimus liber*», прочел в ней, что имя островов и народа, их населявшего, восходит к Бруту, внуку или правнуку Энея Троянского, поселившегося здесь со своим войском и основавшего Лондон как «Новую Троию». К тексту Гальфрида также восходит другая легенда – легенда о короле Артуре. Это еще одно «место памяти» в национальной культуре Британии, формирующее «конфликт» между наследниками бриттов (валлийцев и других гэльских народов) и потомками саксов⁷².

⁷⁰ Bale J. Preface / Bale J. The Laboryouse Journey, and Serche of John Leylande for Englandes Antiquitees. L., 1549.

⁷¹ Polydore V. English History / Ed. by Sir H. Ellis. Camden Society. London, 1846. P. 26–33, 121–122; см. об этом: Ferguson A.B. John Twyne: a Tudor humanist and the problem of England // Journal of British Studies. 1969. № 9. P. 24–44.

⁷² Geoffrey of Monmouth. The History of the Kings of Britain / tr. L. Thorpe. L., 1966.

Интересно, что У. Кемден, величайший антиквар эпохи, воспроизводит легенду Гальфрида и заключает: «пусть Брута принимают за отца и основателя британской нации» («For mine owne part, let Brutus be taken for the father and founder of the British nation»), он возражать не будет⁷³. Надо заметить, что это показательно для его стратегии, когда дело доходит до сомнительных исторических свидетельств. Уклончивость Кемдена по такому деликатному вопросу как троянское происхождение Британии лучше всего видна в его латинском тексте: «Sin autem Britannii nostri, velit, nolit veritas, origine Troiani esse velint, me sane repugnantem non habebunt». Перевод Филимона Холланда теряет иронию слов «Velit, Nolit Veritas»⁷⁴. Кемден не заинтересован в торжестве «истины», он лишь высказывает предположения и суждения. Как считал авторитетный историк Морис Поуик, критические суждения Кемдена определялись в первую очередь партийными предпочтениями, а потом уж заботами ученого мужа⁷⁵. Эта характеристика ренессансного исторического письма достаточно хорошо исследована в исторической литературе⁷⁶. И в этом контексте, стоит привести суждение П. Коллинсона: «Латынь Кемдена – единственный текст, где можно услышать авторский голос. В переводе многое теряется...»⁷⁷.

Другой важный вопрос национальной памяти британцев – вопрос влияния германских племен на развитие Британских островов.

Уже в ходе Реформации наблюдался небольшой, но значительный англосаксонский ренессанс⁷⁸, стимулировавший изучение англосаксонского языка и саксонских законов. В собрании рукописей архиепископа Кентерберийского Мэттью Паркера оказались сосредоточены такие манускрипты англосаксонского прошлого как Евангелие Августина Кентерберийского VI в.⁷⁹, одна из лучших редакций «Англосаксонской хроники» IX века (сегодня известная как «Хро-

⁷³ Camden W. *Britannia with English translation by Philemon Holland*. L., 1607. Ch. «Britaine». P. 15. <http://www.philological.bham.ac.uk/cambrit/briteng.html>

⁷⁴ Цит. по: Collinson P. *William Camden and the anti-myth of Elizabeth...* P. 250.

⁷⁵ Powicke M. *William Camden // Essays and Studies*. New series, 1948. № I. P. 78.

⁷⁶ Grafton A. *Invention of traditions and traditions of invention in Renaissance Europe: the strange case of Annius of Viterbo / The Transmission of Culture in Early Modern Europe/* Eds. A. Grafton and A. Blair. Philadelphia, 1990; Grafton A. *Forgers and Critics: Creativity and duplicity in Western scholarship*. L., 1990.

⁷⁷ Collinson P. *William Camden and the anti-myth of Elizabeth ...* C. 256.

⁷⁸ Collinson P. *This England: race, nation, patriotism ...* 23–24.

⁷⁹ «Евангелие» Блаженного Августина/St Augustine Gospels первого архиепископа Кентерберийского, рукопись изготовлена в Италии, датируется VI в., находится в библиотеке Корпус-Кристи колледж в Кембридже (Lib. MS. 286).

ника Паркера»)⁸⁰, а также латинский текст «Жизнь Альфреда Великого» епископа Ассера⁸¹ (опубликован Кемденом в 1605 г.). Под покровительством Паркера другой выдающийся деятель Реформации Лоуренс Ноуэлл работал над расшифровкой англосаксонских рукописей и составил первый рукописный англосаксонский словарь «*Vocabularium Saxonicum*»⁸². Он стал обладателем единственной сохранившейся рукописи текста древнеанглийского эпоса «Беовульф», получившей название «Кодекс Ноуэлла»⁸³. Он изучал «Эксетерскую книгу и делал к ней маргиналии (*англ.* Exeter Book), антологии англосаксонской поэзии X века. Без сомнения, Паркер и Ноуэлл, как и многие другие движимые интересом к истории в XVI в., в первую очередь «исккали» прототип реформированной Генрихом VIII церкви в примитивном церковном государственном устройстве англосаксов. Здесь высказывалось полемическое суждение о том, что английская нация не зависела от Рима в своем христианстве и имела Писание на своем языке за столетия до Реформации.

Но древнеанглийский язык будет расшифрован только к концу XVII века. Усилия нескольких поколений антикваров увенчаются успехом в «Англосаксонской грамматике» Джорджа Хикса (1689)⁸⁴. А в начале XVII в. У. Кемден опубликовал сборник эссе, скромно названный «остатками от его великой работы “Британия”», которые автор именует «грубыми обломками и отвратительным мусором»⁸⁵. Германские предки предстают здесь «воинственным, победоносным,

⁸⁰ «Англосаксонские хроники», рукопись «А», так называемая «Хроника Паркера», находится в Колледж Корпус-Кристи в Кембридж (Lib. MS. 173). Практически полностью уничтожена пожаром 1731 года. См. подробнее: Англосаксонская хроника / Пер. с др.-англ. З. Ю. Метлицкой. СПб.: Евразия, 2010.

⁸¹ См.: Ассер. Жизнь Альфреда Великого // Стасюлевич М.М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. II. Пг., 1915. С. 306–336; Spelman J. Aelfredi Magni, Anglorum regis invictissimi, vita tribus libris comprehensa a clarissimo dno Johanne Spelman / [ed. by O. Walker]. Oxon., 1678; Spelman J. The life of Alfred the Great / Ed. by T. Hearne. Oxford, 1709. Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. СПб.: Евразия, 2007; и др.

⁸² Marckwardt A.H. The Sources of Laurence Nowell's «*Vocabularium Saxonicum*» // *Studies in Philology*. Vol. 45, № 1. January, 1948. P. 21–36. Publ. by University of North Carolina Press. Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4172828>

⁸³ Кодекс Ноуэла/Nowell Codex. Рукопись находится в Британской библиотеке с остальной частью Коттоновской коллекции (Cotton Vitellius A. Xv).

⁸⁴ Hicckes G. *Institutiones Grammaticae Anglo-Saxonicae et Moeso-Gothicae*. Oxford: at the Sheldonian Theatre, 1689.

⁸⁵ Camden W. *Remaines of a Greater Worke, Concerning Britaine, the inhabitants thereof, their languages, names, surnames, empresses, wise speeches, poesies and epitaphes* / Ed. by R.D. Dunn. Toronto, 1984.

жестким, крепким и энергичным народом». Английская нация, как показывает Кемден, обладает «самой славной из всех ныне существующих [наций] в Европе моральной и боевой силой» – источником английской свободы. Он указывает, что нигде немецкий язык не совершил такого абсолютного лингвистического завоевания как в бывшей провинции Римской империи на Британских островах. Хотя троянская легенда о Бруте была для него «легким» решением полиэтничного единения жителей Британских островов, но слово «Британия» для него наполнено, прежде всего, смыслом текстов его авторитетов – римских писателей.

В этом отношении можно сказать, что Юлий Цезарь в «Записках о Галлии» сотворил «Британию», как Корнелий Тацит – Германию в сочинении «De origine et situ Germanorum». Тот факт, что Цезарь и другие классические латинские писатели ничего не знали об историях, рассказанных Гальфридом Монмутским, был решающим аргументом для Полидора Вергилия. Итак, между древними бриттами и англосаксами пролегла пропасть «оккупации» Римской империи.

Несмотря на то, что Кемден, Дрейтон и др. активно формировали идею Великой Британии, отчетливо просматривается стремление «кембро-бригтов», «скоттов» и других народов защитить свое прошлое. Валлиец сэр Джон Прайс (Sir John Price) в сочинении «Historiae Brytannicae Defensio», опубликованном в 1573 г., писал, что его народ «сохранял свою страну и язык... более 2000 лет и без какого-либо смешения с другой нацией»⁸⁶. Сложнее ситуация обстояла с древними скоттами. Шотландия сохраняла в XVI в. политическую независимость, и ее интеллектуалы демонстрировали стремление создать собственную историю Британии. Они сконструировали идею «древней конституции» Шотландии, восходящей в своей истории к двухтысячелетнему полумифическому королевству Дал Риادا и его первому королю Фергюсу I. Среди «авторов» этой идеи – Джордж Бьюкенен, наставник юного короля Якова VI Стюарта с 1570 г., в будущем короля Англии Якова I. В трудах Бьюкенена – «De Jure Regni apud Scotos» (1579), «Rerum Scoticarum Historia» (1582) – ярко представлен патриотический национальный дискурс шотландского историописания⁸⁷. Гуманисты Гектор Бойс, сэр Томас Крейг, Адам Блеквуд и др. развивали эти идеи в шотландской интеллектуальной

⁸⁶ Historiae Brytannicae Defensio. Ioanne Priseo Equestris Ordinis Brytanno Authore. L., 1573.

⁸⁷ См.: George Buchanan: the political poetry / Ed. by P.J. McGinnis, A.H. Williamson. Edinburgh, 1995.

культуре XVI–XVII вв.⁸⁸ И мудрое решение Елизаветы Тюдор в вопросе престолонаследия логично вписывается в контекст этого национального и одновременно имперского дискурса. Так же понятно, что сама по себе идея Великой Британии для шотландцев и англичан была одна, а вот наполнение ее было разным.

Подводя итог поисков ответа на вопрос «как, кем и каким образом» формировалась национальная идентичность на Британских островах в раннее Новое время можно сказать следующее. Национальная идентичность формировалась десятками модусов – от церкви до театра – и задана была, прежде всего, дискурсом формирования нового протестантского государства. Она имела символическую сущность, сосредотачивалась в разнообразных социальных институтах и видах деятельности, многие из которых обладали собственным прошлым. «Нация» притягивала к себе мифы и символы, обладающие потенциалом общего прошлого. Они становились «цементирующим» нацию фундаментом. Конечно, те, кто рисовал и использовал новые карты, писал и читал хорографии, как выразился современный исследователь П. Коллинсон, были «крошечной элитой»⁸⁹. Но это была властная элита, определяющая будущее Английского королевства. И, кроме того, труды хорографов и антикваров вскоре станут настольными книгами в кругу чтения английского джентльмена. Конечно, У. Кемден и его коллеги по «исторической революции» 1580–1640 гг. не стали первыми профессиональными историками. Однако через жанр хорографии, где пространство и время соединялись особым образом – они стремились отражать картину очевидности. И в этом их значение в развитии исторического письма. Но главная их заслуга заключается в другом – они создали ясный и убедительный образ Великой Британии. Эта идея стала движущей силой «республиканской монархии» Елизаветы Тюдор, основанной на идеалах ренессансного гуманизма. И даже, если самое выдающееся сочинение этой эпохи – «Британия» Уильяма Кемдена – было создано с целью ознакомить европейскую «общественность» с «Терра Incognita» Британских островов и доказать их respectable римское прошлое, это несколько не умаляет его роль в консолидации национального мифа о Великой Британии. Эта книга впервые дает ясное представление о народах Британских островов и их истории. Кемден конструирует в р е м е н н у ю и

⁸⁸ См.: Williamson A.H. *Scottish National Consciousness in the Age of James VI: the apocalypse, the Union, and the shaping of Scotland's public culture*. Edinburgh: John Donald, 1979.

⁸⁹ Collinson P. *This England: race, nation, patriotism ...* С. 19.

пространственную целостность английского королевства, «достигшего своего расцвета» в царствование Елизаветы Тюдор. И не случайно впоследствии именно Уильям Кемден получит статус отца-основателя британской историографии.

Парадокс наследия Уильяма Кемдена заключается в том, что «проект Кемдена», несмотря на интенсивную работу последующих поколений антикваров по его расширению и дополнению, не станет магистральной линией развития национальной историографии XVII–XVIII вв. Методы его работы (то, что мы сегодня бы назвали историко-сравнительным методом, а также историко-филологической критикой исторических источников) войдут в стандарт исторического письма значительно позже. Фредерик Уильям Мейтленд и его последователи вновь вернуться к позициям У. Кемдена, чтобы снова начать развивать высокий уровень мастерства и эрудиции, а также стремление к объективности, которые были заложены в антикварном дискурсе⁹⁰. Что же касается пространства, то только сегодня в междисциплинарном поле гуманитарного знания исследователи оказались готовы продолжить хорографический проект антикваров конца XVI столетия – начала XVII века.

⁹⁰ Bentley M. *Modernizing England's Past. English Historiography in the Age of Modernism, 1870–1970*, 2005. P. 94-96.

ГЛАВА 8

КОНФЛИКТУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОШЛОГО В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА¹

Национальный «проект», созданный в исторических сочинениях позднетюдоровской и раннестюартовской Англии – «Британия» У. Кемдена, «Поли-Ольбион» М. Дрейтона, «Исторические хроники» У. Шекспира, вскоре пережил испытание на прочность в горниле гражданской войны середины XVII века. Собственно, революция сама по себе указывает на неудачу попыток первых Стюартов создать на основе британской идентичности сильное, хорошо управляемое государство в составе Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса – то, что впоследствии получит название композитарной монархии. Как хорошо известно, «великий мятеж» начался с англо-шотландского конфликта – «войны епископов» 1639–1640 гг. И то, что бесспорным авторитетом в ситуации конфликта стала Библия, говорит о том, что «пространство» и «время» в ренессансном измерении не стали преобладающими тропами мышления в Англии середины XVII века. Именно «Библия... стала разделяющим мечом или скорее арсеналом, из которого все партии выбирали себе оружие, отвечавшее их нуждам»². Ренессансный «проект» «De Republica Anglogum» рассыпался на глазах, едва начавшись.

В стремительно меняющейся «ситуации» в Англии в конце XVI – начале XVII в., заданной процессами «огораживаний», успехами торговых компаний и подъемом новых «классов», наблюдался расцвет пуританизма. Однако в «пуританской революции» не было победителей. Прежде всего, ее несомненным результатом стала «прививка от революции»³. Во-вторых, как заметил Рой Портер, развитие

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.).

² Хилл К. Английская Библия и революция XVII в. М., 1998. С. 3–4.

³ Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. акад. Е.А. Косминского и Я.А. Левицкого. М., 1954. Т. II. С. 221.

английского общества теперь будет пронизывать тенденция рационализации религии⁴. После 1688 г. сложится то, что Джонатан Кларк назвал «англиканской конституцией церкви и государства». Убеждение в божественности королевской власти будет оставаться преобладающим для большинства людей. Лозунг «церковь и корона» будет обладать непоколебимой святостью⁵. «Церковь», по существу, означала в данном контексте религию социальной и политической элиты, моральное обоснование ее привилегированного положения в обществе. Как напишет в 1790 г. Э. Берк: «Мы знаем, более того, мы чувствуем душой, что религия – основа гражданского общества, источник добра и утешения; мы в Англии в этом настолько убеждены, что можем утверждать, что у нас девяносто девять человек из ста выступают против безбожия... Из всех религий мы выбрали протестантизм и исповедуем его не равнодушно, но с рвением»⁶. Этот феномен Дж. Кларк называет «длинной тенью религиозной войны».

Революция станет «моментом» рождения политической философии в Англии, где идея сильного светского государства займет центральное положение. Томас Гоббс в своем сочинении «Левиафан» (1651) даст обоснование этой идеи как единственного средства предотвращения распада общественного порядка. Работа «Патриарх» Роберта Филмера, главного критика Гоббса, защищавшего божественное право королей, была опубликована лишь в 1680 г. посмертно. Именно она стала предметом острой критики со стороны Джона Локка в первой части «Двух трактатов о правлении», Олджернона Сидни в «Беседах о правительстве» («Discourses Concerning Government», 1680) и Джеймса Тиррела в «Патриарх - не монарх» («Patriarcha non monarcha», 1681). Исследования политических дискуссий конца XVII – начала XVIII века. показывают, однако, что не Гоббс, Локк или Сидни, а Филмер был самым влиятельным политическим мыслителем того времени⁷. Для нас в данном контексте неважно идет ли речь, выражаясь языком политологии, о деспотической или олигархической форме правления (в последней представлении о божественном происхождении королевской власти будет бесповоротно отброшено). Важно, что речь шла о некоем

⁴ Porter R. The Creation of the Modern World: The Untold Story of the British Enlightenment. L., 2000. P. 96-130.

⁵ Clark J. C. D. English Society, 1688–1832: Ideology, Social Structure, and Political Practice during the Ancien Regime. (Cambridge Studies in the History and Theory of Politics.) New York: Cambridge University Press. 1985. P. 43–70.

⁶ Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс. 1991. № 6. С. 116.

⁷ Kenyon J. Revolution Principles. The Politics of Party. 1689–1720. Cambridge, 1977. P. 63.

устойчивом «порядке правления», который вскоре получит обоснование в конституции.

Самостоятельным модусом формирования нового политического порядка стала история. Изобретение мифа древней конституции Англии оказалось напрямую связано с политической борьбой на протяжении всего XVII века, отголоски которой «слышны» на страницах уже упомянутых сочинений. Именно здесь надо искать истоки дискуссии о «нормандском иге» – магистральной теме в процессе становления парламентской монархии в Англии⁸. Поразительно, но факт – проблема нормандского завоевания Британии будет оставаться в центре острейшей полемики в период между 1600 и 1900 гг. Де-политизация темы нормандского завоевания начнется только Гербертом Баттерфилдом в его работе «Вигская интерпретации истории» (1931). Именно он – в качестве научного руководителя Джона Покока – настаивает на изучении антинорманизма XVII века на примере Роберта Бреди и его единомышленников⁹. Результатом стало фундаментальное сочинение Покока «Древняя конституция и феодальное право. Изучение английской исторической мысли в XVII веке» (1957), в котором он прямо увязал понятия «древняя конституция» и «нормандское иго» как взаимосвязанные смысловые оппозиции, сформировавшиеся во второй половине XVII столетия.

Дж. Покок показал, что только в XVII в. формируется «мышление общего права» (*англ.* The Common-law Mind). В ситуации становления национальных государств, замечает он, общим местом было «удревнение» законов и обычаев королевств под давлением политических условий современности. Знатоки права не находили, как правило, аналогий римскому праву в собственном национальном прошлом, особенно в вопросах, связанных с законом, правом и суверенитетом. Юристы, примыкавшие к антикварному дискурсу, довольно рано осознали, что национальные формы права кардинально отличаются от Кодекса Юстиниана по своему характеру и основным идеям. Для них само собой разумеющимся было предположить существование «древней конституции» с незапамятных времен в виде

⁸ Тема становления парламентской монархии в Англии имеет устойчивую традицию изучения в отечественной историографии. См.: Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (Из истории английского общества и государства XIII века). М., 1960. С. 3–43; Гутнова Е.В. Историография истории средних веков: 2-е изд. М., 1985. С. 216–217; Горелов М.М. Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке. СПб., 2007. С. 10–43.

⁹ Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law: a study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with a Retrospect. 1987. Cambridge, P. VIII, XIV.

обычаев и их производных, юридически имеющих обязательную силу на данный момент времени. «Древнее» обладало высшим авторитетом, потому что древние законы не требовали дополнительной легитимации. Как показал Покок, в ситуации борьбы короля и парламента первых лет правления Карла I Стюарта самый влиятельный юрист начала XVII века Эдмунд Кок сумел выстроить убедительную систему доказательств в пользу удревнения английской конституции, став таким образом «авторитетом» англосаксонского права.

Глава Суда Королевской скамьи в 1613–1616 гг. Э. Кок, оказавшись в оппозиции короне, систематизировал принципы англосаксонского права, создав стройную концепцию общего права в знаменитом сочинении «Институты законов Англии» (1628–1644)¹⁰, где он показал, что суды, парламент и право появились в Английском королевстве с незапамятных времен и существовали задолго до Вильгельма Завоевателя, который, между прочим, поклялся соблюдать древние законы Эдуарда Исповедника и даже настаивал на их соблюдении и сохранении. В своем анализе Кок опирался на публикацию раннесредневековых «правд» (*англ.* dooms), опубликованных У. Ламбардом в его «Archaionomia» (1568). Кок увязал феодальные институты с эпохой, предшествовавшей нормандскому завоеванию, на основании текстов «Законов Исповедника» (*лат.* «Leges Confessoris») и «законов Вильгельма» (*лат.* «Leges Willielmi»). На самом деле Кок характеризовал как существовавшие с «незапамятных времен» те учреждения, которые были введены нормандцами только в XI веке¹¹. Миф-концепция подтверждения древности английских законов у Эдмунда Кока достигает своего пика в его оценке Великой хартии вольностей 1215 года (впоследствии нарушенной Тюдорами), содержание которой было положено в основу «Петиции о праве» 1628 года. При этом юрист сам как бы не замечает, что имеет дело с правовым документом XIII века.

Понятно, что социальные трансформации XVI–XVII вв. в Английском королевстве неизбежно вели к изменениям политико-правового характера. Джон Покок замечает, что «когда парламенты Елизаветы I начали заявлять свои права, которые были фактически новыми, на самом деле они создавали прецеденты... Они формировали свои требования как того желали, но со ссылкой на уже существующие законы – содержание английского права было неопреде-

¹⁰ См.: Coke E. The First Part of the Institutes of the Lawes of England. Or, a Commentarie upon Littleton, Not the Name of a Lawyer Onely, but of the Law it selfe, London: Printed [by Adam Islip] for the Societe of Stationers, 1628.

¹¹ Pocock J. G. A. The Ancient Constitution... P. 43.

ленным и неписаным¹² – и можно было всегда заявить (что мы и видим на самом деле), что все в существующем законодательстве было испокон веков... Поиск прецедентов завершается расширением корпуса предполагаемых прав и привилегий, которые должны были быть древними сами по себе, и это – в сочетании с общим и твердым убеждением, что Англия управляется законом, который сам по себе существовал с незапамятных времен – привело, в свою очередь, к оформлению того наиболее важного и неуловимого понятия семнадцатого века как основной закон¹³. И сегодня ясно, что «древний» (*англ. ancient*) и «основной» (*англ. fundamental*) закон в XVII в. были синонимичными понятиями¹⁴.

Выше представленные тенденции хорошо известны из политической истории Англии XVII века, но наш главный вопрос заключается в другом: каким образом эта ситуация влияла на развитие знания о прошлом и формирование концепции национальной истории. Не удивительно, что парламентарии и законники-юристы следовали концепции «древней конституции». Но одновременно складывалась и другая, альтернативная точка зрения по этому вопросу. Суть ее заключалась в том, что свободы Западной Европы, в т.ч. английское право и парламент, были по происхождению «готскими», то есть древнегерманскими. Покок одним из первых поставил вопрос о двух различных линиях историко-правового развития в XVII в. – «кокианской», или «общеправовой», и «готской». Конечно, первая также апеллировала ко времени короля Альфреда, но без акцента на его древнегерманском происхождении: он представлял лишь одним из древних британских королей. Англосаксонское право для Кока и его последователей имело исключительно островной характер, и смешивать миф о древности английского закона с готской свободой означало для них смешать себя с примитивными варварами германского леса Тацита¹⁵. Вторая «линия» была связана со стремлением исторически осмыслить вопрос нормандского влияния через понятие «феодализм», пришедшее с континента, как с точки зрения исторических событий XI века, так и с точки зрения развития историографии XVI–XVII вв.¹⁶ Этот вопрос упирался в изучение традиции письменной систематизации правовых отношений господина и вассала. Таким

¹² Кондратьев С.В. Юристы общего права в елизаветинской и раннестюартовой Англии / Англий XVII века. СПб., 1997. С. 88–89.

¹³ Pocock J.G.A. The Ancient Constitution... P. 47–48.

¹⁴ Gough J.W. Fundamental Law in English Constitutional History. Oxford, 1955.

¹⁵ Pocock J.G.A. The Ancient Constitution... P. 57.

¹⁶ Pocock J.G.A. Ch. III. The Discovery of Feudalism: French and Scottish Historians / Pocock J.G.A. The Ancient Constitution... P. 70-91.

примером может служить «*Libri Feudorum*» – запись «обычаев лангобардов» в XII в., позже ставшая основой «civil law». Открытие места Англии в правовой истории Европы принадлежало не юристам, а сплоченной группе антикваров эпохи правления Якова I Стюарта – Кемдену, Коттону, Ашеру, Селдену, Спелмену.

Решающую роль в формировании альтернативной точки зрения на нормандское вторжение и влияние сыграл великий антиквар сэра Генри Спелмена (1562–1641). Практически все его сочинения увидели свет после смерти автора. В 1626 г. была опубликована только первая часть «*Archaeologus*» – глоссария архаизмов и древнеанглийских слов в церковной и правовой лексике. Вторая часть этого сочинения пролежала в рукописи еще более двадцати лет после кончины Спелмена, и только У. Дагдейл сумел опубликовать всю работу целиком в 1664 г. Другим важным сочинением Спелмена, ярко демонстрирующим его историческое мышление, является «История и судьба святотатства», написанная в 1632 г. и опубликованная лишь в 1698 г.¹⁷ Самостоятельную группу его трудов составляют рукописи трактатов Спелмена на антикварные и правовые темы, которые были опубликованы Эдмундом Гибсоном в «*Reliquiae Spelmanniana*» в 1698 г. Сочинение – «*Codex Legum Veterum*» – вышло только 1721 г., когда Дэвид Уилкинс предпринял свою публикацию «Англо-саксонских законов».

Не будучи ни юристом, ни богословом, Спелмен как ученый-антиквар смог сосредоточиться в последние тридцать лет своей жизни на изучении истории общего права и истории церкви. Собирая средневековые рукописи, он очень скоро осознал главную трудность в изучении двух этих направлений национальной истории – установление смыслов устаревших и варварских слов. Так возникла идея создания глоссария как предварительного этапа к дальнейшей работе. Именно составление «*Archaeologus*» и заставляет Спелмена серьезно познакомиться с существующей системой общего права. Однако, в отличие от Кока, для которого история закона состояла из прецедентов и обоснования прав и действий на их основании в современности, для Спелмена это был вопрос понимания этимологии слов, вышедших из употребления, и интерпретации их смыслов.

С самого начала отношение Спелмена к текстам общего права было критическим. Он выбирал для изучения наименования обычаев, служб, званий, обрядов, правил в средневековых церкви и праве. Не ограничиваясь выяснением смысла слова на основании английских исторических источников, Спелмен выявлял аналогии в других языках – готском, древнесаксонском и пр. Он действовал так пото-

¹⁷ Spelman H. The history and fate of sacrilege. L., 1698.

му, что разделял убеждение своих современников-антикваров Ноуэлла и Кемдена о принадлежности древнеанглийского языка к германской группе языков. Интенсивная переписка с французскими, голландскими и немецкими учеными помогла ему приобрести обширные знания о европейских законах, обычаях, картуляриях, указах, хрониках и документах различного рода, а, следовательно, правовых и духовных аспектах жизни средневекового общества Запада. И в данном случае, не так важен диапазон его впечатляющей эрудиции, как его сравнительный подход, который позволил ему критически подойти к изучению английского прошлого.

Исходя из своих филологических штудий Спелмен предполагал, что английское общее право своим происхождением в значительной степени обязано древнегерманскому влиянию. Он понимал, что древнегерманский обычай не мог сохраниться в своем первоизданном виде и знал, что законы «варваров» претерпевали существенную историческую эволюцию. Крайне важный процесс, считал он, протекал в изменении структуры варварских законов, а именно, ключевым моментом было складывание феода (*лат.* «*feudum*») и его трансформация от неустойчивых форм держания к наследованным и «вечным». Под заголовком «*Feudum*» в «*Archaeologus*»¹⁸ Спелмен дает собственную оценку процесса феодализации. Феод, по его мнению, имел германское происхождение и в реальности представлял собой группу, состоящую из господина и его вассалов, образованную на определенных принципах держания земли. Он создавался изначально для военных целей, а впоследствии складывается феодальный суд. Феод развивался медленно. С увеличением населения германских народов он принял свою завершённую форму в средневековой Европе¹⁹.

В доказательство своего утверждения, что рыцарские держания складываются в Англии в эпоху не ранее Вильгельма Завоевателя²⁰, Спелмен пишет в 1639 г. специальный «Трактат о феодах и землевладениях на рыцарской службе в Англии» (*англ.* «*Treatise of Feuds and Tenures by Knight-service in England*»), который был опубликован только в 1698 г. Феодальное землевладение является продуктом эволюции всех германских народов, полагает Спелмен, в т.ч. англов и саксов, но на континенте его эволюция в сторону наследственности

¹⁸ Spelman H. *Archaeologusy*. 1626. P. 255–262.

¹⁹ Spelman H. *Reliquiae Spelmannianae: The Posthumous Works of Sir Henry Spelman Kt. Relating to the Laws and Antiquities of England*. Publish'd from the original manuscripts. With the Life of the Author. Oxford: Printed at the Theater for Awncsham and John Churchill, L.: for A. & J. Churchill, 1698. P. 4.

²⁰ Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law...* P. 100.

была уже хорошо выражена в законодательстве Гуго Капета 988 г. и Конрада II 1026 г. Нормандцы достигли окончательной стадии правового оформления феода незадолго до завоевания Британии. Ни одного слова «*feudum*» в английских документах до 1066 года, описывающих сходные процессы, не найдено, в то время как все соответствующие слова и привычные характеристики *feudum* встречаются во множестве документов нормандского периода. Таким образом, Спелмен доказывает, что зрелые формы феода были импортированы в Англию нормандцами и стали играть здесь после этого важную роль. И это был кульминационный момент в предшествующей вековой эволюции феода к наследственным формам владения на Британских островах. Каждый кусок земли в Англии фактически, констатирует Спелмен, должен был признать верховного владельца, именуемого королем, после чего владение на основаниях общего права естественным образом становилось феодом. Вся земля Англии превращалась в феодальное владение в полном смысле этого слова. Поэтому Вильгельм Завоеватель должен был – о чем сообщают летописцы того времени – разделить всю страну между своими сторонниками и последователями для того, чтобы иметь вассалов как это уже было в самой Нормандии и Ломбардии («*Libri Feudorum*» XII в.).

Разработанная Спелменом концепция «феода» оказала существенное влияние на его интерпретацию англонормандского периода в истории Британии, а именно, рассмотрении парламентской истории в свете эволюции феодализма. В незавершенном трактате «*Of Parliaments*» Спелмен пишет, что парламенты возникли позднее института королевской власти. Они представляли собой результат деятельности самих королей, которые первоначально предоставляли своим вассалам землю в обмен на обязанность служить и быть верными королю, а не были порождены положениями общего права²¹. Спелмен создает целостный портрет феодального общества. В этом обществе только слуги короля могут быть допущены давать ему совет. Всех остальных король допускает в Парламент только на том основании, что он их верховный господин и его «служилые» имеют много других разнообразных обременительных служб. Палата общин появляется сравнительно поздно, и класс, который она представляет (фактически – это фригольдеры), не может существовать в строго феодальном обществе²².

Ход мысли Спелмена ясен, хотя его незавершенный трактат «*Of Parliaments*» обрывается на правлении Генриха II, т.е. в конце

²¹ Spelman H. Reliquiae Spelmannianae...P. 57.

²² Ibid. P. 62.

XII в. Палата общин была представлена «libere tenent» «freeholders», которые позже объединились с мелкими держателями земли, чтобы выбирать рыцарей графств в палату общин от нового класса фригольдеров. Таким образом, король, в силу своего положения, как феодальный сюзерен состоял со всем обществом в сеньориальных отношениях, которые реализовывались в практике оммажа и лояльности к королю держателей земли каждого участка королевства.

Появление палаты общин Спелмен связывает с началом постепенного распада феодальных отношений. «После приема общин в парламент все влияние магнатов постепенно снижается, и потому, что их власть над их подопечными (поземельно зависимыми – *B.V.*) становится ограниченной, и потому, что «службы», которые они должны исполнять, утратили прежнее значение. ...начинает возвышаться новый Левиафан...»²³. Кто именно были представители этого «нового Левиафана», способствовавшие ослаблению феодальной власти, но еще не ставшие серьезной опасностью для упорядоченного феодального общества? Ответ Спелмена – фригольдеры. Кем бы они ни были, они могли угрожать короне, если вставали на сторону магнатов. Для предотвращения подобных ситуаций король в парламенте принимал меры, чтобы поддержать фригольдеров, но при этомвольно или невольно создавал новый центр власти, который уже не мог полностью контролировать. В работе «История святотатства» (*англ.* «History of Sacrilege») Спелмен обращается к анализу процесса упадка дворянства, описывая многие персональные трагедии современников Генриха VIII. «Теперь я работаю над сбором сведений в стремлении понять очевидную потерю институтом баронства былого блеска древности, привлекательности и уважения... Сказать, что я здесь наблюдаю, так это то, что дарованные нобилитету Господом почести, превратили его в ленивых и пошлых людей; и то, что Господь взял эти древние почести и передал людям низкого происхождения – продавцам, тавернщикам, шляпникам, торговцам, горожанам, пивоварам и скотоводам...»²⁴. Однако Спелмен вовсе не изображает джентри как однородный класс богатых и неуправляемых людей. Именно они чаще всего становились собственниками проданных церковных и коронных земель²⁵. Но Спелмен подчеркивает тот факт, что покупатели получали новый земельный объект на условиях сохранения целостности владения («*in capite*»). Это обстоятельство накладывало на

²³ Spelman H. Glossarium (1664), P. 452. Pocock J.G.A. The Ancient Constitution... P.115.

²⁴ Spelman H. Hist. Sacr. P. 224–225.

²⁵ Ibid. P. 225–227.

них нежеланную для многих из них ответственность патронажа²⁶. Новые дворяне – джентри – не были освобождены от феодальных обязанностей, но стремились избавиться от них с целью увеличить свое благосостояние другими способами. Условия покупки земли вынуждали их к возврату в лоно феодальных отношений, которые, по мнению Спелмена, уже вымерли, за исключением владений некоторых пэров и нескольких крупных поместий²⁷.

Дж. Покок дает высокую оценку идеям и системе доказательств Генри Спелмена: «Это было начало подлинно исторического изучения английских учреждений и единственно возможной альтернативой псевдоисторической мысли Кока и юристов общего права»²⁸. Антиквар начала XVII в. демонстрировал новую технику исследования, основанную на высокой степени абстракции и априорного знания. «Следуйте за нами и увидите, – описывал Спелмен свой исторический метод, – что практика изучения древних веков подобна теореме»²⁹. Рассматривая работу Спелмена в целом, можно сказать, что он опередил своих современников в осмыслении англонормандского периода в истории Британии. Следует также помнить, что его литературное наследие было опубликовано значительно позже, а истинный смысл его произведений стал понятен спустя несколько десятилетий. Переосмысление конституционной истории на основании концепции феода по Спелмену стало возможным лишь после завершения Гражданской войны – в эпоху Реставрации. Парадокс Кромвелевской республики заключался в создании «по завету» Кока усеченного однопалатного парламента без четких полномочий и под лозунгом «древней конституции».

Важным вкладом антикваров первой кемденовской «волны» в английскую историографию стала концепция феодализма. Спелмен был не единственным, но, несомненно, главным ее «архитектором». Стало возможным новое деление английской истории на три периода – дофеодальный, феодальный и постфеодальный. Нормандское завоевание трансформирует англосаксонское общество путем систематического внедрения континентальных форм феодальных землевладений. Отношения баронов и короны с XI по XIII век следует понимать с точки зрения вассальной зависимости и обязательств, с нею связанных. Появление землевладельцев в парламенте, которые избавлялись от обязанности посещать свои поместья, может

²⁶ Spelman H. Hist. Sacr. P. 229–235.

²⁷ Spelman H. Hist. Sacr. P. 235.

²⁸ Pocock J. G. A. The Ancient Constitution ... P. 102.

²⁹ Spelman H. Reliquiae Spelmannianae... P. 61.

произойти только в обществе, где феодальные отношения начали терять свою исключительную важность. Еще раз следует подчеркнуть, что «английский (нормандский) феодализм», в интерпретации Спелмена, не означал какого-либо попирания общего права (кокианская интерпретация) или какого-то частного договора/соглашения между господином и вассалами. Он означал, прежде всего, что вся земля была распределена королем между его подданными на условиях принесения оммажа и «службы». В памфлетной войне середины XVII века идеи Спелмена были на руку роялистски ориентированным консервативным авторам (таким как Р. Филмер) для отрицания идеи «социального контракта» и утверждения о позднем возникновении Палаты общин.

В 1675 г. сэръ Уильям Дагдейл, наиболее выдающийся медиевист своего времени, опубликовал первый том своего труда «Бароны Англии», где в предисловии дал обзор парламентской истории на основе идей Г. Спелмена. Но Дагдейл, как считает Дж. Покок, уступает своему предшественнику Спелмену в раскрытии вопроса о происхождении палаты общин, связывая первое появление представителей общин в лице рыцарей, присоединившихся к Симону де Монфору во время гражданских войн баронов конца 40-х – 60-х гг. XIII в. В то время как Спелмен связывает происхождение палаты общин с процессом перехода класса держателей небольших владений «*in capite*» в класс «*freeholders*», которые больше не ограничиваются держанием «*in capite*» и вовлечены в механизм управления графств и со временем становятся «представителями» палаты общин³⁰. Однако даже точка зрения Дагдейла о возникновении палаты общин в середине XIII века встретила всеобщее неприятие. Самым громким оказался голос вигского интерпретатора «древней конституции» и предтечи Джона Локка – Уильяма Пети / Petyt (1641–1707). Его сочинение «Древнее право коммонеров» (1680) изначально было задумано как ответ Дагдейлу³¹.

Первым кто всецело воспринял концепцию Спелмена и, более того, развил ее, был д-р Роберт Бреди (1627–1700). Выпускник Каюс колледжа в Кембридже, он был доктором медицины и профессором физики. Роялист из графства Норфолк, Бреди подвергся гонениям в период Республики Кромвеля (его брат Эдмунд Бреди был повешен в Норидже после неудачного роялистского заговора 1650 года). Он, никогда не писавший исторических сочинений, решил в 1675 г.

³⁰ Pocock J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law...* P. 185–186.

³¹ Petyt W. *The Antient Right of the Commons of England Asserted.* 1680.

создать историю Англии, которая будет «учить людей лояльности и послушанию, дабы предотвратить замыслы мятежников»³². В эпоху Реставрации его, как практикующего врача, часто приглашали ко двору как Карла II, так и Якова II. В этом качестве он присутствовал при дворе в момент рождения наследного принца в 1688 г.³³ Патроном Бреди с конца 1670-х гг. стал архиепископ Кентерберийский с 1677 по 1690 гг. Уильям Санкрофт, ключевая фигура эпохи Славной революции, возглавивший впоследствии неприсягнувших священников. Бреди был сторонником идей трактата Роберта Филмера «Патриарх» и, кроме того, по рекомендации Санкрофта сблизился с Дайгдейлом. Работа Уильяма Пети «Древнее право коммонеров» свергла Бреди в круговорот нарастающей дискуссии первых вигских парламентов 1679–1681 г. В 1681 г. он опубликовал «Полный и ясный ответ на книгу Уильяма Пети, эсквайра»³⁴.

Сочинение Бреди имеет остро полемический характер и направлено на осмеяние своих врагов. Для У. Пети и сторонников «древней конституции» Вильгельм не был завоевателем, а на протяжении XIII в. имело место лишь посприятие древней английской конституции. Именно сюда был направлен главный удар Бреди. Это было завоевание, пишет он, а также привнесение нового вида права и принципиальное изменение отношений в англосаксонском обществе, и все это произошло по праву завоевания. Бреди заключает: «Большинство наших законов, в том числе главные, были доставлены сюда из Нормандии ЗАВОЕВАТЕЛЕМ. Оттуда мы получили наши ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ и способ владения нашим имуществом во всех отношениях, и оттуда мы также получили ОБЫЧАИ, соответствующие этим *владениям*. Их качество было в основе своей *феодалным*, ими пользовались при условии выполнения определенных ВОЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ и СЛУЖБ, и, как необходимое следствие, мы должны были получить законы, также соответствующие этим ВЛАДЕНИЯМИ и ОБЫЧАЯМ, пригодные для их регулирования, в соответствии с которым каждый человек имел право на такое владение, которое было бы защищено в соответствии с их природой»³⁵.

Всю оставшуюся жизнь Бреди посвятил обоснованию своего вывода. В 1684 г. была опубликована его работа «Введение в древнюю английскую историю», в 1685 г. – «Полная история Англии»,

³² Pocock J. G. A. Robert Brady, 1627-1700. A Cambridge Historian of the Restoration // Cambridge Historical Journal, vol. x, no. 2 (1951), pp. 186-204.

³³ Douglas D.C. English scholars... P. 156.

³⁴ Brady R. A Full and Clear Answer to a Book Written by William Petit, Esq. 1681.

³⁵ Brady R. Introduction to the Old English History...1684. P. 14, 203.

в 1690 г. – «Исторический трактат о городах и бургах»³⁶. Центральным вопросом в последующей дискуссии с Пети стал вопрос о происхождении палаты общин. У. Пети и его единомышленники доказывали, что фригольдеры никогда не служили ни королю, ни какому другому лорду. Фригольдеры и их права были древними по происхождению и благополучно пережили эпоху Завоевателя. Бреди на основе анализа рукописи «Книги Страшного суда» (1086), которая находилась в то время в Вестминстерском аббатстве, доказывал, что уже во время этой переписи не было ни одного куска земли, принадлежащего англичанину, который бы не состоял на службе короля Вильгельма. Свободные люди королевства («freemen of the kingdom»), упоминаемые в законах Вильгельма I, «должны были нести военную службу, будучи экипированными и с лошадьёю в поводу, согласно уплачиваемым налогам и размеру землевладения. Поэтому они были землевладельцами («tenents») на военной службе (которая в те времена распространялась только на свободных людей и не оплачивалась), что предполагало закрепление в законе. И это совсем не то, что фригольдеры в наши дни...». «Эти [tenents], по всей вероятности, и были теми людьми, которые впервые стали избирать двух Рыцарей в каждом Графстве, из своего числа, и только они стали Избирателями, когда впервые их интересы были представлены таким образом»³⁷.

Р. Бреди доказывал, что до Эдуарда I понятие «король в совете» соответствовало, в первую очередь, простому собранию крупных держателей земли в ситуации разрешения королем трудных вопросов по принципу: «то, что касается всех, должно быть одобрено всеми». Бреди, служивший «хранителем свитков» в Тауэре с 1670 г. по 1689 г.³⁸ (потом должность перешла к Уильяму Пети³⁹), изучил сохранившиеся записи подобных собраний XI–XIII вв. и пришел к выводу, что обычно они состояли из епископов, графов и баронов, которые были крупными держателями земли, во главе с королем. Присутствие других категорий землевладельцев на таких собраниях не фиксируется. Мелкие владельцы приглашаются на такие собрания в виде исключения, и в этом случае, пишет Бреди, такие собрания носят название «Communitas Regni». Он первым в британской

³⁶ Brady R. An Introduction to the Old English History. L., 1684; Brady R. A Complete History of England. L., 1685; Brady R. An Historical Treatise of Cities and Burghs. L., 1690.

³⁷ Brady R. Introduction to the Old English History... P. 18.

³⁸ Douglas D.C. English scholars ... P. 156.

³⁹ Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law ... P. 227.

историографии обратил внимание на этот термин и поставил на обсуждение его содержание. У. Пети, в соответствии с его провигской концепцией, даже не сомневается, что «*Communitas Regni*» – это и есть «*commonalty of the realm*» или «*House of Commons*», «палата общин». Бреди, верный основным принципам работы Спелмена, доказывает, что в XIII в. этот термин следует понимать, прежде всего, в феодальном смысле – как «*Communitas militum*», т.е. собрание, включающее как крупных, так и мелких держателей земли, во главе с королем, когда речь шла о военных вопросах⁴⁰. Также Бреди подмечает, что в XIV–XV вв. происходит снижение статуса военной службы в качестве определяющего права и обязанности землевладельцев. И завершается этот процесс в правление Генриха VI законодательным оформлением замены «службы» уплатой сорокашиллингового ежегодного налога в королевскую казну⁴¹. Речь идет о «*Forty shilling freeholders*», получивших по Акту 1430 года парламентскую привилегию освобождения от «службы» на основании ежегодной выплаты не менее сорока шиллингов.

Очевидно, что концепция Спелмена стала грозным оружием в руках Бреди в споре о «древней английской конституции» в преддверии Славной революции. Она позволила ему подвергнуть аргументированной критике понятие «древней конституции», базирующейся на «древнем законе» и «древнем парламенте» на том простом основании, что институты феодальных отношений уже давно исчезли из английской жизни. Этот вывод Бреди был, по своей сути, пионерским и завершал формирование концепции Спелмена о феодальных отношениях на Британских островах. И, как пишет Джон Покок, «не было другой альтернативы феодализму в понимании англонормандского общества... как и не было другого метода преодоления недугов, от которых пострадала английская историческая мысль в XVII веке. Открытие этого метода Спелменом и его возрождение Бреди в совокупности должны быть признаны одним из самых важных достижений в истории нашей историографии»⁴².

Однако парадокс историографической ситуации заключался в том, что эти революционные идеи Спелмена и Бреди впоследствии оказались маргинальными и оставались таковыми вплоть до конца XIX в. В основном это произошло потому, что политическая позиция Бреди была консервативной и базировалась на представлении о суверенной власти монарха, а политическая конъюнктура была та-

⁴⁰ Brady R. Introduction to the Old English History. P. 73–76, 80–81, 84ff.

⁴¹ Brady R. Introduction. P. 19–20.

⁴² Pocock J. G. A. The Ancient Constitution... P. 198.

ковой, что победу в перспективе одержали виги и локкианская идея разделения властей. В этой ситуации большинство консервативно ориентированных полемистов (например, лорд Кларендон) приняли доктрину «древней конституции» и на этом основании отстаивали идею прерогатив королевской власти. Последующая историография эпохи Просвещения последовала курсом, заданным Коком и Пети. История англонормандской Англии интерпретировалась в духе неизменного абстрактного древнего «общего права». Дж. Локк, который не питал интереса к истории, а мыслил как политический философ, в своих сочинениях оформил понятие «английской конституции» как социального контракта на основе таких документов как Великая хартия вольностей, Петиция о праве и Билль о правах⁴³. У лорда Болингброка мы уже находим «древнюю конституцию», восстановленную Революцией 1688/1689 г.⁴⁴. Эдмунд Берк – самый сильный политический мыслитель завершающей фазы эпохи Просвещения – констатирует, что общественные институты являются продуктом истории; что история – это процесс передачи из поколения в поколение мудрости людей; существующие институты являются плодами этого процесса и «отшлифованы» стремлением людей охранять порядок и следовать естественным законам природы⁴⁵.

Справедливости ради надо сказать несколько слов о «третьей линии» в интерпретациях событий «1066 года» в историографии XVII – первой половины XVIII в. Речь идет о «левой» традиции, именуемой в британской историографии «радикальной». В своих сочинениях Джон Мильтон, Джон Лильберн, Джерард Уинстенли придерживались представления о насильственном завоевании, следствием которого было установление тиранического нелегитимного правления Вильгельма – «нормандского ига». Их «историзм» определялся радикальной критикой существующего порядка. Дж. Покок называет ее «поставленной с ног на голову концепцией общего права»⁴⁶. Представители и той, и другой «линии» – кокианской и радикальной – опирались в своих концептуальных построениях на прошлое и делали упор на права англичан в древности. Но юристы общего права выводили линию непрерывной преемственности между прошлым и настоящим для обоснования «основного закона» в современности; в то время как радикалы говорили о «золотом веке» и «потерянном рае», где англичане были свободны, и необходи-

⁴³ Locke J. Two Treatises of Government / Ed. by Peter Laslett. Cambridge, 1988.

⁴⁴ Dissertation on Parties, 7th ed. L., 1749. P. 124-125; 132-133.

⁴⁵ Берк Э. Размышления о революции во Франции // Социс. 1991. № 6. С. 117.

⁴⁶ Pocock J.G.A. The Ancient Constitution... P. 126.

мости его восстановления. И в отличие от юристов радикалы апеллировали не к законам, а к «естественному праву» и «разуму»⁴⁷. Эта позиция получила развитие в XVIII в. Томас Пейн в своих сочинениях призывал вернуться к «золотому веку» англосаксов как обществу, где все люди были равны⁴⁸. Британский историк-марксист Кристофер Хилл доводил эту «линию» интеллектуального развития до чартистского движения в XIX в. и далее рабочего движения XX века⁴⁹.

Дж. Покок дает прямую оценку изучению англо-нормандского периода истории Англии в XVIII в. – «кажется, что оно зашло в тупик» – и отсылает к работам Дэвида Юма и Уильяма Робертсона⁵⁰, которые не используют понятие «феодализм». При этом Д. Дуглас указывает, что Д. Юм привлекал сочинения Бреди, хотя ни разу не сослался на него⁵¹. В этой связи следует сказать о том, что исследования Спелмена и Бреди актуализировали необходимость подготовки критического издания «Книги Страшного суда» (*англ.* «Domesday Book»). Восстановленное в 1707 г. Антикварное общество Лондона провозгласило это в качестве своей приоритетной задачи. Однако только в 1767 г., при финансовой поддержке правительства, была начата работа по подготовке к публикации этого важнейшего исторического источника⁵². В 1783 г. вышло в свет первое печатное издание «Книги Страшного суда», подготовленное А. Фарли⁵³. Судьба «Великой Хартии Вольностей» («Magna Carta Libertatum») 1215 г. – основного «источника свобод и вольностей» подданных королевства – также не была простой. Уже в XVII в. насчитывалось около десяти ее редакций и несколько сотен копий, скрепленных печатью королевской канцелярии⁵⁴. Каноническое издание Хартии было подготовлено в 1759 г. известным юристом общего права сэром Уильямом Блекстоном, в котором он предложил систему внутренней нумерации статей⁵⁵, используемую до сегодняшнего дня. Интересно, что

⁴⁷ Hill C. The Norman Yoke / Democracy and the Labour Movement. Lawrence and Wishart, 1954. P. 54

⁴⁸ Brownlie S. Memory and Myths of the Norman Conquest. Windmill, 2013.

⁴⁹ О «третьей линии» интеллектуального развития в XVII в. см.: Hill C. The Norman Yoke // Hill C. Democracy and the Labour Movement. L., 1954. P. 44–50.

⁵⁰ Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law ... P. 244; См.: Hume D. History of England. 1762. vol. 1. P. 263.

⁵¹ Douglas D.C. English scholars... P. 157.

⁵² Hallam E. Domesday Book through Nine Centuries. London: Thames and Hudson Ltd., 1986. P. 134.

⁵³ Condon M.M., Hallam E. Government Printing of the Public Records in the Eighteenth Century // Journal of the Society of Archivists. 1984. № 7. P. 348–388.

⁵⁴ Breay C. Magna Carta: Manuscripts and Myths. London, 2010. P. 34–36.

⁵⁵ Turner R. Magna Carta: Through the Ages. Routledge. L., 2003. P. 67–68.

Джон Уилкс, арестованный в 1763 г. за скандальную статью в «Северном британце», в борьбе со своими противниками и в ходе судебного разбирательства постоянно использует положения «Великой хартии вольностей»⁵⁶. Эта ситуация указывает на спекулятивное использование исторической памяти, а соответственно и конфликт интерпретаций национального прошлого.

Таким образом, мы видим, что миф о «древней конституции» утверждался в ожесточенной борьбе идей второй половины XVII – начала XVIII в. Рассматривая образ Английской революции в культурной памяти британцев XVII–XX вв. Н.С. Креленко прямо соотносит этот исторический дискурс с культурным кодом эпохи барокко. «В споре о месте и роли нормандского завоевания в истории Англии отразилась вся противоречивость эпохи... В целом и общем барокко – это стиль мышления и поведения людей «растерявшейся эпохи», *р а з у в е р и в ш е й с я* во всем унаследованном и вместе с тем еще не нашедшей почвы для нового символа веры»⁵⁷. Французский историк идей и литературы Поль Азар (1878–1944), автор фундаментальных работ по эпохе Просвещения, в том числе трехтомного труда «Кризис европейского сознания 1680–1715 гг.» приходит к выводу о том, что новый «критический импульс» «более отважных духом» мыслителей XVII в. обнаруживает «тот же отказ... субординировать человеческое и божественное»⁵⁸. Этот поиск отчетливо виден в сочинении И. Ньютона «Начала натуральной философии» (1687) – хартии мира Нового времени, по меткому замечанию Пьера Шоню. Если для рационализма последователей Декарта теологическое пространство было помехой, то для набожного Ньютона в эвклидовой геометрии появляется пространство, которое теряет свою соразмерность с материей – «Sensorium Dei» («чувствилище Бога»), в котором «одна единственная формула принимает в расчет все феномены: пропорциональность массе, обратная пропорциональности квадрату расстояния. Закон всемирного тяготения будет объяснять буквально все на протяжении следующих двух столетий»⁵⁹.

Прелюдия Просвещения базируется на идеях трех «конструкторов» нововременного мира – Декарта, Лейбница и Ньютона, которые

⁵⁶ Fryde N. Why Magna Carta? Angevin England Revisited. Munster, 2001.

⁵⁷ Креленко Н.С. Образ Английской революции в общественной памяти Великобритании XVII–XX веков. Саратов, 2012. С. 34–35.

⁵⁸ La Crise de la conscience européenne, 1680–1715, 3 vol. P., 1935; Hazard P. The crisis of the european mind: Translated from the French by J. L. May, Introduction by A. Grafton. L., 1962. P.

⁵⁹ Шоню П. Цивилизация классической Европы / Пер. и послесл. В. Бабинцева. Екатеринбург, 2005. С. 519.

совершили «полный перенос... онтологических характеристик христианского Бога на природу, этот старый... античный миф...»⁶⁰. Теперь миф о природе позволял думать о социальном и человеческом порядке вне христианских матриц. Так возникла идея естественного права. Рассуждая о XVIII веке как «барочном и классическом», Шоню одновременно замечает: «классицизм – всего лишь миг на фоне долгого барокко...»⁶¹. На смену «растерявшейся эпохе» грядет «эпоха просветительского рационализма». Грядет «век императора Августа» – век расцвета английской литературы XVIII века, выросшей на античных образцах⁶².

В английском историописании этот переход от «долгого» барокко к «короткой» классике хорошо просматривается на примере знаменитой «битвы книг», или споре «древних» и «новых» на рубеже XVII–XVIII вв. Эта дискуссия имела общеевропейский контекст и за Ла-Маншем была еще острее⁶³, в Англии же ее начало было положено публикацией в 1690 г. небольшого эссе «О знаниях древних и новых» сэра Уильяма Темпла (1628–1699)⁶⁴, выдающегося дипломата и политического деятеля своего времени. В ответ хлынул поток малых и больших сочинений. Почва для дискуссии уже давно зрела в среде антикваров, где сформировался вопрос: были ли греки и римляне в культурном отношении выше последовавших за ними народов? Или же людям рубежа XVII–XVIII вв. в той или иной степени удалось достичь их уровня, и может быть даже в чем-то его превзойти? Вынесенный на обсуждение вопрос был поставлен таким образом, будто от его решения зависела судьба всей западной цивилизации: пойдет ли она вперед к чему-то новому и лучшему, развивая классические образцы, или же будет продолжать сожалеть о прошедшем «золотом веке» и сетовать на упадок современного мира. С практической точки зрения нужно было определиться: следовать ли строго правилам и примерам классической жизни и литера-

⁶⁰ Шоню П. Цивилизация классической Европы... P. 534.

⁶¹ Шоню П. Цивилизация классической Европы... P. 448.

⁶² Levine M. J. *The Battle of the Books: History and Literature in the Augustan Age*. Cornell, 1994.

⁶³ Спор о древних и новых: антология. М., 1985; Lecoq A.-M. *La Querelle des Anciens et des Modernes: XVIIe -XVIIIe siècle. Précédé d'un essai de Marc Fumaroli, suivi d'une postface de Jean Robert Armogathe*. Paris, 2001; Boruchoff D.A. *The Three Greatest Inventions of Modern Times: An Idea and Its Public // Entangled Knowledge: Scientific Discourses and Cultural Difference / Ed. by Klaus Hock and Gesa Mac-kenthun*. Münster and N.Y., 2012. P. 133–163.

⁶⁴ Sir William Temple's essays on ancient and modern learning, and on poetry / Ed. by J.E. Spingarn. 1909.

туры, которые вступали в конфликт с современным миром или позволить себе некоторую долю свободы в размышлениях и действиях. В течение нескольких десятилетий внимание к этому вопросу не ослабевало, почти каждый образованный англичанин имел свое мнение на этот счет и готов был его отстаивать.

Сэр Уильям, которого сегодня чаще всего вспоминают как патрона Джонатана Свифта, не был ученым и его интерес к «старому» и «новому» определялся практическими целями. Однако ко времени написания эссе его сочинение «Наблюдения в отношении Республики Соединенных Провинций» (1673)⁶⁵ уже выдержало несколько изданий. Его позиция – позиция моралиста и скептика, заключалась в убеждении о неизменности человеческой природы. Она базировалась на представлении о том, что все человеку было дано уже при сотворении мира. На страницах эссе Темпл использовал две красноречивые метафоры, которые прочно вошли в интеллектуальное поле последующей дискуссии. Первая – он сравнил «нового» человека с карликом, стоящим на плечах «гигантов», имея в виду, что современный человек видит дальше, потому что он «стоит» на опыте «древних». Вторая – «древние» уже обладали ясным представлением о природе, и современный человек только уточняет/отражает видение «древних». Эти две метафоры «карлик/гигант» и «отражающий/источающий» свет стали ключевыми в последующей полемике.

Обратим внимание на то, что 1690-е гг. в Англии были эпохой Исаака Ньютона и Роберта Бойла – эпохой бурных естественнонаучных открытий. И конечно, многим хотелось дать ответ «ретрограду» Темплу, но его авторитет и почтенная старость были серьезными препятствиями. Однако два молодых академика Лондонской королевской академии пошли в атаку – филолог-классик, и как сегодня считают, один из основателей исторической филологии и научной школы эллинизма в Британии, Ричард Бентли (1662–1742) и Уильям Уоттон (1666–1727), впоследствии архиепископ Кентерберийский. Первым в спор вступил У. Уоттон, когда в 1694 г. (и снова в 1697 г.) издал «Размышления о знаниях древних и новых»⁶⁶. Надо заметить, что за Уоттоном к этому времени уже закрепилась слава «молодого гения», вундеркинда, который в шестилетнем возрасте читал Библию на английском, латинском, греческом и древнееврейском языках, впоследствии выучил арабский, сирийский, халдейский. В отличие от старика Темпла, который забыл греческий язык и с

⁶⁵ Temple W. Observations upon the United Provinces of the Netherlands. L., 1673.

⁶⁶ Wotton W. Reflections upon Ancient and Modern Learning. L., 1694. Режим доступа: <https://archive.org/details/reflectionsupon00wottgoog>.

большим трудом читал на нем, Уоттон был выдающимся лингвистом своего времени. В 20 лет он уже был избран членом Лондонской королевской Академии. В отличие от короткого эссе Темпла, «Размышления» Уоттона были полновесной книгой. Надо заметить, что пиетет перед античными авторами «нового» классициста был так же высок, как и у Темпла. Уоттон полагал, что уже древние сформировали основы знаний в области морали и политики – однако считал, что к их трудам также можно отнести критически. То, что никто не пытался этого сделать, еще не означает, что это не может быть сделано вообще. В целом оппоненты были единодушны в оценках античного наследия и оценок человеческой природы. Различия касались их взглядов на будущее. И здесь Уоттон был более оптимистичен, чем его оппонент. Темпл сравнивает работы новых историков Иоганна Слейдена, Энрико Давила, Фамиануса Страда с сочинениями Геродота, Тита Ливия и Цезаря. Его симпатии целиком на стороне последних. Уоттон соглашался с этим, но с оговорками. Да, он признал красноречие и высокий стиль древних авторов, но для него история и риторика не одно и то же⁶⁷.

Но решающий удар по позициям «древних» нанес Ричард Бентли, который написал серьезную академическую работу под названием «Диссертация по поводу Эпистол Фалариса»⁶⁸. Бентли, хоть и был лишен блеска, свойственного Уоттону, имел солидную подготовку, как в области гуманистической филологии, так и в том, что можно называть «новой» наукой толкования древних текстов. Он много работал в Бодлианской библиотеке в Оксфорде и был знатком собрания ее редких манускриптов. В «Диссертации» «метод» работы Бентли был продемонстрирован со всем блеском и убедительностью. В достижении поставленной цели – доказать ложность тезиса об авторстве Эпистол Фалариса – он использовал не столько филологические, сколько исторические аргументы. Восхищаясь литературными достоинствами Эпистол, Бентли стремился показать, что каждое сочинение классиков написано в определенных обстоятельствах и требует, прежде всего, исторического объяснения. Новым было и то, что он апеллировал в своей аргументации к нелитературным памятникам – монетам, надписям, монументам эпохи античности. И это был момент «разрыва» истории и филологии.

Сам Темпл был вынужден уклониться от открытого ответа и Уоттону, и Бентли. При этом он зорко следил за текущей дискуссией

⁶⁷ Wotton W. Reflections... 1694, P. 23, 44, 318.

⁶⁸ Bently R. A. Dissertation Upon the Epistles of Phalaris: With an Answer to the Objections of the Hon. C. Boyly. 1697.

и, несомненно, был в курсе дела, поскольку приобретал каждую новую книгу в ходе этого спора. В частной же переписке Темпл хоть и был согласен с важностью работ по переводу, комментированию и изданию древних авторов, но при этом замечал, что «новые» должны быть «волшебниками», чтобы в «своих комментариях, глоссариях, аннотациях быть более учеными, чем сами древние»⁶⁹. Современная ученость, полагал он, была в значительной степени занудна и, в общем, необязательна. Эта точка зрения в открытой полемике еще имела прочные позиции, но была обречена в исторической перспективе.

Только после смерти Темпла в 1699 г. первый в ряду его сторонников, Джонатан Свифт, дал ответ за своего патрона. В 1696 г. он написал и в 1704 г. издал сатирическое сочинение «Битва книг» в качестве пролога к «Сказке бочки» под названием «Полное и правдивое известие о разразившейся в прошлую пятницу битве древних и новых книг в Сент-Джеймской библиотеке». Хотя сразу следует оговориться, что, по большому счету, Свифт не являлся участником спора «древних» и «новых». Здесь мы имеем дело, скорее, с литературной «картинкой» спора, изображением его в аллегорических образах. Тем не менее, это сатирическое сочинение стало кульминацией защиты «древних» в споре с «новыми».

Дадим слово автору предисловия «Полного и правдивого известия» к читателю: «Следующее ниже рассуждение... было написано примерно... в 1697 году, когда бушевала известная распря по поводу древней и новой учености... Раздору не было конца, и тогда, повествует наш автор, КНИГИ в Сент-Джеймской библиотеке... включились в спор и завязалась решительная битва. Однако рукопись, пострадавшая от непогоды или какой иной случайности, повреждена в некоторых местах, и мы так и не можем узнать, которая же из сторон одержала победу»⁷⁰. Две гениальные аллегории создает Свифт на страницах «Битвы книг». Первая. Гора Парнас имеет две вершины и поделена между двумя народами. Суть конфликта между ними заключается в том, что «древние» сидят на более высокой вершине и заслоняют вид на восток «новым». Последние предлагают либо поменяться местами, либо сравнять лопатами вершину «древних» до удобного «новым» уровня. Ответ «древних» прост – лопаты здесь не помогут, так как их вершина – сплошная скала, а вот нарастить свою

⁶⁹ Temple W. *Miscellanea. The Third Part.* L., 1701. P. 256.

⁷⁰ Swift J. *A Full and true account of the battle fought last Friday between the ancient and the modern books in Saint James's library. The Works of Jonathan Swift, D.D., Dean of St. Patrick's, Dublin: Including the Whole of His Posthumous Pieces, Letters, V. 1.* L., 1784. P. 391–433.

вершину – это их совет «новым». Другой аллегорией у Свифта является конфликт паука и пчелы. Паук, самонадеянный, злой и грубый, свил себе гнездо в углу библиотеки. Беспечная пчела, черпающая свою силу в природе, чуть не разрушила его жилище. Возник спор. Да, паук силен в математике и архитектуре, но искусства и пользы пчелы ему никогда не достичь. «Какое существо благороднее, то ли, которое в ленивом созерцании четырех дюймов в окружности, преисполненное спеси и целиком поглощенное собою, превращает все в испражнения и отраву, не производя ничего, кроме мушиного яда и паутины, или же то, которое, скитаясь по необозримым просторам, благодаря неутомимым поискам, изрядному прилежанию, здравому смыслу и умению распознавать суть вещей, приносит в дом мед и воск?»⁷¹. Свифт устами Эзопа дает оценку «новым»: «Каковы бы ни были претензии новых, никакого своего искусства, насколько помню, они не создали, если только не считать их большой способности к сатире и сваре, весьма близких по своей природе и сути к паучьему яду; и как бы они не уверяли, будто извлекают ядовитую слюну исключительно из самих себя, в действительности они пополняют свой яд, пожирая паразитов и гадов нынешнего века»⁷².

«Битва книг» и «Сказка бочки» дали Уоттону шанс переиздать свои «Рассуждения» в 1705 г. с новым введением, где он высмеял ортодоксальность Свифта⁷³. Свифт ответил новым изданием «Сказки бочки» в 1710 г. с соответствующими комментариями, но аргументы сторон были явно исчерпаны. В «битве книг» наступило затишье. Новая волна в дискуссии «древних» и «новых» поднялась через несколько лет и была связана с активностью молодого поэта Александра Поупа (1688–1744), который замыслил перевести величайшую поэму античности – «Илиаду» Гомера. Страстное желание Поупа перевести «Илиаду» на английский язык было связано с его стремлением продемонстрировать свою точку зрения на «стандарт» перевода «великих древних», а также появлением в 1709 г. «Илиады» на французском языке. В 1713 г. Поуп объявил о своем проекте, и издал шесть томов «Илиады» на протяжении 1715–1720 гг. Конечно, это

⁷¹ Цит. по: Пучков П.А. Спор «древних» и «новых» на исходе XVII века // Преподавание истории в школе. 2006. № 11. С. 24–28. Свифт Дж. Полное и правдивое известие о разразившейся в прошлую пятницу битве древних и новых книг в Сент-джеймской библиотеке / Пер. с англ. Ю. Левина. Режим доступа: <http://www.pergam-club.ru/book/4961>

⁷² Цит. по: Пучков П.А. Спор «древних» и «новых»... С. 24–28; Swift J. A Full and true account... P. 391–433.

⁷³ Wotton W. Reflections upon Ancient and Modern Learning. With Observations upon the Tale of a Tab, 3th ed. L., 1705.

был великий поэтический перевод. Череда последующих переводчиков «Илиады» на английский язык обширна, но версия Поупа имела самую широкую популярность и пользуется ей до сих пор.

Как «новые» реагировали на ошеломляющий успех «Илиады» Александра Поупа? Ричарду Бентли приписывают фразу: «это очень милая поэма, но я должен сказать, что это не Гомер»⁷⁴. Однако успех «древних» у публики был несомненен, они продемонстрировали свое превосходство над педантами-лексикографами.

А что национальная история, как складывалась ее судьба в Августинианскую эпоху Британии? «Новым» предстояла долгая и кропотливая работа. Как писал анонимный автор в 1742 г., «мы имеем Локка, Ньютона и Драйдена, но мы не можем похвастаться Ливием, Фукидидом или Тацитом»⁷⁵. История медленно, но верно формировала свой собственный «модус вивенди». «Точкой роста» здесь стало наследие Уильяма Кемдена, основателя кафедры истории в Оксфорде в 1622 г. Его ученик и наследник на этом посту Дегори Уир опубликовал в октябре 1623 г. на латинском языке работу «О природе и способе чтения истории»⁷⁶, ставшую его инаугурационной речью. Книга была выдержала несколько изданий. Англоязычная версия под названием «Метод и Причина для чтения гражданской и церковной историй» была опубликована в 1685 г. Эдмундом Боуном⁷⁷. В момент, когда в 1694 г. были опубликованы «Размышления» Уоттона, перевод Боуна переживал свое второе издание. Предисловие к нему написал один из преемников Уира на посту главы кафедры древней истории в Оксфорде Генри Додуэл. Работу Уира можно считать началом разработки метода в британской традиции историописания. Конечно, это была еще антикварная традиция, но усиливался призыв к новому стандарту точности и критицизма. И что было очевидным – «новым» предстояла долгая и кропотливая работа.

Показательно, что именно на волне спора «древних» и «новых» возникает проект переиздания главного сочинения Уильяма Кемдена «Британия». И если гражданскую историю Англии нельзя было пока представить как хорошо организованный нарратив – то лучшим примером этого пока была «Британия» Кемдена. Она была прекрасным

⁷⁴ Цит. по: Levine J. The Battle of Books...P. 222.

⁷⁵ Collection of State Papers of the First Earl of Orrery. 1642. Thomson M. A. Some Developments in English Historiography during Eighteenth Century, University College Inaugural Lecture. L., 1957.

⁷⁶ Whear D. De ratione et methodo legendi historias. Режим доступа: <http://www.philological.bham.ac.uk/whear/text.html>

⁷⁷ Whear D. The Method and Order for Reading both Civil and Ecclesiastical Histories. L., 1685.

примером антикварной эрудиции и знакомства с последними и лучшими примерами европейской учености. Проект первой половины 1690-х гг. возглавил Эдмунд Гибсон (1669–1748), будущий епископ Лондона, который приобрел известность подготовкой публикации «Англо-саксонской хроники» в 1692 г. Гибсон развернул обширную деятельность по составлению комментариев к «Британии» Кэмдена и собрал сильную команду. От Шотландии – знатока естественной истории Британии сэра Роберта Сибалда из Эдинбургского университета, от Уэльса – знатока кельтских языков Эдварда Ллуйда, служителя Ашмолеанского музея в Оксфорде, составителя трехтомной «Английской исторической библиотеки» Уильяма Николсона⁷⁸. Ивлин Джон, друг Уоттона и Бентли, который работал над собственной «Нумизматикой»⁷⁹. Новое издание Кемдена получилось блестящим воплощением современного совместного продвижения в изучении прошлого⁸⁰. Хотя новому изданию еще было далеко до совершенства – Рим строился не один день, но Кемден, подобно античным авторам, занял место в «пантеоне богов» и получил новый перевод и комментарии. Дж. Локк считал, что в библиотеке каждого джентльмена должна появиться новая «Британия»⁸¹.

Наилучшей попыткой соединить два модуса в развитии истории в разгар «битвы книг» были работы вышеупомянутого епископа Уильяма Николсона. В 1696 г. он выпустил первую часть своей «Английской исторической библиотеки»⁸² – это был обзор истории Британии с критическими комментариями нарративов и других исторических источников. Как он верно полагал, все еще не была написана простая и понятная общая история королевства. Он также понимал, что эта задача по плечу только «...мастерам в наших древних, так и современных языках; сведущих в письменах бриттов, римлян, саксов, данов и других древних, знакомых с историками начиная с эпохи Вильгельма Завоевателя»⁸³. Лексикография как отрасль знания

⁷⁸ Nicolson W. Of the English Medals and Coins from the Conquest // Nicolson W. The English Historical Library (EHL). Part. 3. L., 1699.

⁷⁹ Evelyn J. Numismata: A Discourse of Medals. L., 1697.

⁸⁰ Camden W. Britannia. Newly Translated into English: with Large Additions and Improvements, Ed. Edward Gibson. L., 1695.

⁸¹ Locke J. Some Thoughts Concerning Reading and Study // Locke J. Works. In 10 vol. L., 1824. V. 10, P. 449.

⁸² Nicolson W. The English Historical Library (EHL); or Short View and Character of most of the Writers now extant either in Print or Manuscript which be Serviceable to Undertaking of General History of this Kingdom. L., 1696. (English, 1696–1699; Scottish, 1702; Irish, 1724; complete later editions, 1732 and 1776).

⁸³ EHL. Sig. A. A3v.

получила в результате спора «древних» и «новых» невиданное ранее развитие. Например, Уоттон в «Защите размышлений» (1705) отмечает работу Джорджа Хикса «Тезаурус северных языков»⁸⁴, который еще в 1689 г. издал англо-саксонскую грамматику на латинском языке (второе расширенное издание – в 1705 г.). Уоттону был близок метод Хикса, он, как и Бентли, использовал написание букв и значений слов в соответствии с датировкой документа. Другим крупным специалистом англо-саксонского языка был соратник Хикса по Оксфорду Эдвард Туэйтс. Все это показывало, что англо-саксонское наследие становится «новым» объектом осмысления, как с точки зрения учебных целей, так и в значительной степени в политическом и конфессиональном контексте. Казалось бы, реализация проекта средневековой английской истории достигала своего апогея, но вскоре Туэйтс умер молодым, Хикс – изношенным от старости, кто-то посвятил себя священническим обязанностям, как Гибсон. Казалось, «новые» проиграли «битву книг».

Показательна оценка антикваров лордом Болингброком в «Письмах об изучении и пользе истории» (написаны в начале 1730-х, опубликованы в 1752) как компиляторов, «которые редко имеют возможность узнать закулисную сторону дела, от которой зависят все официальные документы, и столь же редко наделены умением и талантами, необходимыми, чтобы должным образом собрать воедино то, что они действительно знают: они не в состоянии видеть работу рудника, но их усердие собирает то, что выбрасывается наружу». Они, с точки зрения Болингброка, не историки, задачей которых «является – или должно являться – отделение чистой руды от породы, чеканка из нее монеты и обогащение, а не обременение человечества». Он не видит таковых среди современных ему англичан: «У нас есть лишь два исторических сочинения, во всех отношениях сравнимые с античными, – это история царствования Генриха Седьмого лорда Бэкона и история наших гражданских войн в прошлом столетии... лорда-канцлера Кларендона ...у нас отсутствует общая история... равным образом нет у нас, о чем я сожалею гораздо больше, ни частных исторических исследований, за исключением тех двух, о которых я упомянул, ни создателей мемуаров, ни собирателей документов и анекдотов... кем могут похвастать другие нации...»⁸⁵. Эта оценка национального историописания свидетельствует о явной приверженности лорда Болинг-

⁸⁴ Hickes G. *Linguarum veterum septentrionalium thesaurus grammatico-criticus et archæologicus*. L., 1703–1705.

⁸⁵ Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М.: «Наука», 1977. С. 56, 61, 79.

брока к лагерю «древних» и недооценке, непониманию нового критицизма и нового метода историописания.

Неоримский стандарт исторического письма достигнет своего максимального раскрытия в середине XVIII в. в сочинении Дэвида Юма «История Англии». Здесь в стремлении написать современную, основанную на скептическом отношении к предшествующей традиции, историю Англии, Юм станет пионером, соединив интеллектуальную традицию «древних» с идеей национальной истории. Показательно то, что первоначально он задумывал писать «Историю Британии», но вскоре понял невыполнимость замысла без дополнительных изысканий⁸⁶. Юм опирался на материал, собранный другими, прежде всего антикварами, и облёк его в новую форму гражданского нарратива. Оригинальность сочинения была в доверительном ясном рассказе. Именно у Тацита он перенял манеру описания различных типов людей в переломные моменты истории⁸⁷. Юм полагал, что поможет разумному человеку не ставить под сомнение очевидные ценности и руководствоваться ими как в повседневной, так и политической жизни⁸⁸. Его «История» стала «местом» адаптации и популяризации его собственной философии. И несмотря на то, что он пишет, казалось бы, национальную историю Англии, его фокус – на универсальной природе человека.

«История» Юма имела беспрецедентный успех⁸⁹. Ему удалось добиться признания в широких слоях британского общества, прежде всего среднего класса, определявшего конъюнктуру политического и культурного развития Великобритании в середине XVIII в. И если Кемден создает образ Великой Британии, то именно Юм задал англоцентризм национальной истории Британских островов.

Обратим внимание на четыре приложения-вставки в его «Истории». В первом томе первого посмертного издания 1778 г. это – «Англосаксонское правление и манеры» (*The Anglo-Saxon Government and Manners*) и «Феодальное и англо-нормандское правление и манеры» (*The Feudal and Anglo-Norman Government and Manners*). В четвертом томе – «Елизавета», в пятом томе «Приложение к Правлению

⁸⁶ Kidd C. *Subverting Scotland's Past. Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-British Identity, 1689 – c. 1830.* Cambridge. 1993. P. 148.

⁸⁷ *The Letters of David Hume...* 1932. Vol. 1. P. 170.

⁸⁸ Высокова В.В. Дэвид Юм как историк // Электронный научно-образовательный журнал «История» 2014. № 10 (33). С. 23.

⁸⁹ Его труд выдержал семь полных изданий при его жизни, и еще 175 – в течение ста лет после его смерти. См.: *David Hume: Philosophical Historian* / Ed. by D.F. Norton and R.H. Popkin. Indianapolis, 1965. P. 109, 413–417.

Якова I». В этих четырех «вставках» Юм дает обзор конституционного строя, нравов, торговли и искусства соответственно – англосаксонского периода, англонормандского, эпохи Елизаветы Тюдор и Якова Стюарта. Как таковые они описывают четыре важных момента английской истории: англосаксонское «варварство», феодальное общество Вильгельма Завоевателя, Елизаветинский абсолютизм, и, наконец, прогресс конституции, искусств и манер, которым отмечено правление первого представителя династии Стюартов. Материал представлен в статичном виде, он не носит повествовательного характера, не имеет событийного ряда и приподнимается над политическим нарративом, чтобы создать своего рода эскиз к истории цивилизации в Англии. Национальная история Англии мыслится здесь Юмом в таких универсальных категориях как прогресс и свобода.

Расцвет национальных историй в первой половине XIX в. станет ответом на просветительский универсализм⁹⁰. Тем ни менее не следует прямо противопоставлять историю, приверженную универсализму Просвещения, – истории, заданной последующим романтическим национализмом. В конце концов, Вольтер, Монтескье и Юм проявляли живой интерес к вопросам национального характера и различиям между народами⁹¹. Французская революция 1789 г. символизирует наивысшую точку устремлений построить новое общество на универсальных ценностях и идее естественных и неотъемлемых прав. Идея Иоганна Готфрида Гердера о «народном духе» распространится по всей Европе как лесной пожар⁹².

В конце XVII – первой половине XVIII в. идеи естественного права и нового «социального и человеческого порядка вне христианских матриц» переживают кризис. Классицизм стал той «раковиной», в которой можно было на время укрыться и чувствовать себя великим римлянином. Парадокс Юма заключается в том, что, будучи шотландцем по происхождению и скептиком, образованным во французской интеллектуальной культуре, он создаст «Историю Англии» как коммерчески выгодный проект. Лишь «критика чистого разума» сформирует новые основания XIX века – века национализма.

⁹⁰ См.: Israel, Jonathan. *Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752*. Oxford, 2006.

⁹¹ Leersen J. *The Rhetoric of National Character: a Programmatic Survey // Poetics Today*. 2000. Vol. 21. No. 2. P. 267–92.

⁹² Gay P. *The Enlightenment: the Science of Freedom*. N.Y., 1996. P. 368–95.

ГЛАВА 9

BRITISHNESS, ENGLISHNESS И «ВИГСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ»¹

Вот уже более трех десятилетий британская национальная идентичность является предметом интенсивных общественных и академических дискуссий². За это время определился контур основных дискуссионных проблем. В свете современных центробежных тенденций особое внимание уделяется комплексу проблем, связанных с вопросами национальной и этнической идентичности в истории королевства³. Другой дискуссионной проблемой являются хронологические рамки «бытования» феномена национализма на Британских островах. Если большинство исследователей склонно связывать «начало» формирования британской национальной идентичности с Ганноверской эпохой, то при этом остается открытым вопрос о ее истоках в эпоху Реформации⁴. Что же касается «конца», который чаще всего формулируется как «кризис национальной идентичности» – то попытки первых лиц государства от Маргарет Тэтчер и далее озвучивать патриотическую версию британской исключительности, натолкнулись на твердую оппозицию историков. Об этом

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: Интеллектуалы и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.).

² The Invention of Tradition / Ed. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983; Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986; Colley L. Britons: Forging the Nation 1707–1837. L., 1992; Elton G. The English. Cambridge, 1992; Greenfield L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press, 1992; Myths of the English / Ed. by R. Porter. Oxford and Cambridge: Polity Press, 1992; etc.

³ См.: Kidd C. Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the Creation of an Anglo-British Identity, 1689–1830. Cambridge, 1993; Kidd C. North Britishness and the nature of eighteenth century British patriotisms // The Historical Journal. 1996. Vol. 39. No. 2; Leersen J. Remembrance and Imagination: Patterns in the Historical and Literary Representation of Ireland in the Nineteenth Century. Cork University Press, 1996.

⁴ Newman G. Nationalism Revisited. Review // Journal of British Studies. 1996. Vol. 35. No. 1. P. 118-127.

свидетельствуют дебаты недавнего времени о природе и целях истории в Национальной учебной программе. Как сказал президент Королевского исторического общества Питер Мандлер «...все основные профессиональные группы историков объединились в критике этого проекта»⁵.

При всей многогранности и интенсивности дискуссий в академической среде за эти годы сложился *modus vivendi* по ряду вопросов. Во-первых, сегодня нет сомнения в том, что британская национальная идентичность базировалась на идее исключительности и превосходства британской культуры, основанной на богоизбранности английского народа, уникальности его конституции и империи, которая была «не более чем результатом естественного развития» британской нации⁶. Во-вторых, общим местом в историографии является положение о том, что определяющим фактором формирования британской национальной идентичности – в контексте активной внешней политики Британии и образовательных практик гранд-туров в эпоху Просвещения – стал образ «другого», как правило, образ «врага»⁷. В качестве третьего элемента формирования национальной идентичности непременно присутствует процесс складывания основ гражданского общества – то, что Ю. Хабермас назвал «формированием публичной сферы»⁸ или подъемом средних «классов».

Однако самым сложным в контексте общественных дискуссий миллениума является вопрос о соотношении *Britishness* и *Englishness* как в текущей ситуации, так и в исторической ретроспективе. В академической среде за эти годы сформировался определенный и аргументированный ответ на этот счет, хотя имеют место различные подходы и исследовательские модусы. Доказано, что представители титульной нации, сами зачастую того не осознавая, пренебрегали культурным наследием потомков древних кельтов и других народов, оказавшихся в составе Британской империи: под «шкурою овцы» («*Britishness*») «таился лев» («*Englishness*»). Одним из первых, кто

⁵ Mandler P. Presidential Letter. Royal historical society. Newsletter. New series. 11.05.2013. URL: <https://files.royalhistsoc.org/wp-content/uploads/2014/09/17210811/RHSNewsletterMay2013.pdf>

⁶ Bentley M. *Modernizing England's Past, English Historiography in the Age of Modernism, 1870–1970*. Cambridge, 2005. P. 5.

⁷ Colley L. *Britishness and Otherness: an Argument* // *Journal of British Studies*. 1992. № 31. P. 309–329.

⁸ Хабермас Ю. Политические функции публичной сферы // Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества. М., 2016. С. 112–137; Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества. М., 2016.

обратил на это внимание в середине 1970-х гг. был Джон Покок. Он указал на англоцентризм национальной истории Британских островов⁹. Вслед за этим последовала серия работ «new look»¹⁰. Джеральд Ньюмен одним из первых начал разработку этих идей применительно к Британии. В своей работе «Возникновение английского национализма» он показал, что Англия, вероятно, была первой современной страной, которая вступила в полосу национализма, и проиллюстрировал его проявление в английской культурной, социальной, литературной и политической жизни в период с 1740 по 1830 гг.¹¹ Даже Линда Коллей, сторонница «гибридной нации», вынуждена была через десять лет небывалого успеха ее книги «Британцы: формирование нации 1707–1837», сделать оговорки на этот счет¹².

И уж совсем не остается сомнений в гегемонии английского начала, когда мы вступаем в область историописания и рефлексии английских интеллектуалов о своем прошлом в эпоху расцвета романтизма на Британских островах. Сразу оговоримся, что *Scottishness*, *Welshness*, *Irishness* также переживают свой расцвет в конце XVIII – первой половине XIX века и имеют свою собственную историю развития, оставшуюся за рамками данного текста. Здесь только отметим факт «присвоения» кельтских «артефактов» в английском культурном пространстве. Примером может служить образ полумифического бриттского короля Артура¹³, впервые появившегося в латинском тексте IX в. «История бриттов»¹⁴, авторство которого, как предполагают, принадлежит валлийскому монаху Неннию¹⁵. В XII в. уже упоминавшийся в связи с легендой о Бруте Троянском влиятельный автор Гальфрид Монмутский сделал талантливое переложение Гильды, Беда, Ненния и легенд о Мерлине из валлийского эпоса

⁹ Pocock J.G.A. *British History: A plea for a new subject* // *The Journal of Modern History*. Vol. 47. 1975. № 4. P. 601–621.

¹⁰ Gellner E. *Nations and Nationalism*, Basil Blackwell Publisher, 1983; Smith A. D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, 1986; Nairn T. *The Break-up of Britain*. L., 1977; Hechter M. *Internal Colonialism*. Berkeley: University of California Press, 1975; *New Nationalisms of the Developed West*. Ed. E. A. Tiryakian, R. Rogowski. Boston: Allen and Unwin, 1985.

¹¹ Newman G. *The Rise of English Nationalism: A Cultural History 1740–1830*. N. Y.: St. Martin's Press. 1987.

¹² Colley L. *Britons: Forging the Nation 1707—1837*. L., 2002. P. XII–XV.

¹³ Эрлихман В.В. *Король Артур*. М.: Молодая гвардия, 2009.

¹⁴ Nennius. *British history and The Welsh Annals* / Ed. and transl. by J. Morris. L., 1980; *Historia Brittonum cum additamentis Nennii* // MGH AA T. XII. *Chronica minora saec. IV. V. VI. VII*. Vol. 3/ Ed. T. Mommsen. Berolini, 1891. P. 111–222.

¹⁵ Ненний. *История бриттов* / Пер. А.С. Бобовича // Гальфрид Монмутский. *История бриттов. Жизнь Мерлина*. М., 1984. С. 171–193.

в своей «Истории королей Британии»¹⁶. Оттуда король Артур перекочевал в средневековый рыцарский роман, затем в «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола» Томаса Мэлори, автора XV в., и далее – в аллегорическую поэму «Королева Фей» Эдмунда Спенсера, посвященную Елизавете Тюдор. Подлинное возрождение артурианы начнется в середине XIX в., когда леди Шарлотта Гест сделает перевод валлийского эпоса «Мабиногион» на английский язык в 1838–1845 гг.¹⁷ Обратим внимание, что, прежде всего, свое развитие артуриана получила в английской художественной литературе и изобразительном искусстве. Этот сюжет стал основой произведений Альфреда Теннисона («Леди Шаллотт» и др.), Мэтью Арнольда, Суинберна, живописных полотен прерафаэлитов и т.п.

В модусе развития английского исторического письма в эпоху романтизма легенда о короле Артуре была отвергнута как недостоверная. У англичан было свое «великое» готское прошлое. Р. Смит, специально занимавшийся изучением адаптации «готского наследия» выявил складывание самостоятельной «готской теории» в период с 1688 по 1832 г. Из концепции Спелмена-Бреди, ее сторонники восприняли только институт «народного собрания» древних германцев, «изъяв» вывод о возникновении английского парламента в связи с разложением феодальных отношений в XIV–XV вв. Одним из ее основателей называют сэра Джона Хейворда (1564–1627), антиквара «первой волны». Позже концепция «ограниченной монархии» развивалась в сочинениях неприягнувших священников, таких как Джереми Коллиер, Джордж Харбин. Будучи по существу якобитами, они настаивали на наследственном праве монархов и прерогативах парламента освящать его (принесение присяги с обеих сторон и т.п.).

Интересно, что сэр Уильям Темпл, патрон Дж. Свифта, в сочинении «Введение в английскую историю» 1695 г. писал, что древнеанглийская (готская) конституция усилилась с появлением норманнцев, также готов по своему древнему происхождению. Корона Вильгельма была «завоевана» по воле провидения, а парламента вынудил «завоевателя» ограничивать свой «фанатизм и клерикальную двуличность». Таким образом, в «готской теории» снималась проблема «завоевания», а главным «пунктом» становилась наследственная монархия (ограниченная прерогативами парламента) в лице Вильгельма Оранского. В книге «Готское наследие» Р. Смит пишет: «Темпл был убежденным сторонником готской теории, но он блестяще и

¹⁶ Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.

¹⁷ См. об этом: Эрлихман В.В. Король Артур. М., 2009; Morris J. The Age of Arthur. L., 1973.

ловко дистанцируется от затруднений исторической полемики семнадцатого века; его стиль и авторитет обеспечили его работе долгую жизнь в восемнадцатом веке». Авторитетный историк Дэвид Дуглас называет «Введение в английскую историю» Темпла «фантастически блестящим литературным произведением» (*fantastic lucubration*), но с точки зрения исторического исследования оценивает его как бесплодное, основанное на ложных аналогиях¹⁸. Р. Смит полагает, что после 1714 г. «готская теория» фактически соединяется с вигской идеей ограниченной монархии.

«Возрождение готики» начнется на завершающей фазе эпохи Просвещения как реакция на «век разума». Именно средневековое готское прошлое станет «вместилищем» дум и романтических умонастроений англичан конца XVIII – начала XIX века. Суть этого явления раскрывается в творчестве Хораса Уолпола. Будучи богатым наследником некогда всесильного премьера Р. Уолпола, он потратил значительную часть своего состояния на создание «маленького готического замка» под Лондоном в 1750–1760-х гг. Напомним, что Уолпол был самым тесным образом связан с Лондонским антикварным обществом, которое так и не приняло его в свои ряды, и в частности, с Джорджем Вертью, главным художником первой серии публикаций общества «*Vetusta monumenta*» (антиквары XVIII века активно занимались зарисовкой, атрибуцией и восстановлением сохранившихся развалин готических монастырей и соборов, некогда выстроенных именно Вильгельмом и его наследниками и разоренных в годы Реформации)¹⁹. Знаковым произведением эпохи стал готический роман Х. Уолпола «Отранто», опубликованный в 1764 г. На рубеже веков готический роман займет ведущие позиции в литературном наследии таких авторов как Клара Рив, Анна Радклиф, Мэтью Грегори Льюис и др. Это было настоящее «возрождение готики», которое получило в историографии на-именование «первого готского возрождения»²⁰. Второе готское возрождение, или неоготика придет в Англию во второй половине XIX века, и «вигская интерпретация» национального прошлого именно тогда переживет свой расцвет как один из ее модусов национализма.

¹⁸ См.: Douglas D.C. *English scholars, 1660–1730*. Oxford: Alden Press, 1939. P. 154–155.

¹⁹ Sweet R. *Antiquaries: the Discovery of the Past in Eighteenth Century Britain*. L.: Hambledon and London. 2004. P. XIV.

²⁰ Smith R.J. *The Gothic Bequest: Medieval Institutions in British Thought, 1688–1863*. N.Y.: Cambridge University Press. 1987. P. 20–21.

Эпоха романтизма стала ответом на рационализм эпохи Просвещения. С одной стороны, возникновение английского национализма, как считает Дж. Ньюмен, стало ответом английских интеллектуалов на культурную гегемонию Франции в Европе. С другой, он показал, как английская правящая элита XVIII века, космополитичная по своему образованию и вкусам, оказалась в конфликте с английскими интеллектуалами – писателями, художниками, священнослужителями. Последние отстаивали уникальность «родной» культуры и выражали интересы окрепшего на протяжении Ганноверской эпохи среднего класса. Интеллектуалы стали строителями того, что сегодня мы подразумеваем под «британской национальной идентичностью». Таким образом, и здесь следует согласиться с Ньюменом, национальное движение было направлено как против внешних культурных влияний, так и против правящей элиты (земельной аристократии) внутри государства. Эту мысль подхватывает Стефен Бергер: «В наиболее развитых промышленных странах, в частности в Великобритании, конструирование нации определялось преимущественно интересами среднего класса и создание национальных нарративов задавалось обстоятельствами продолжающегося промышленного, политического и культурного прогресса»²¹. Для Англии эпоха национализма задавалась глубокой трансформацией всех сторон жизни общества – модернизацией экономики, подъемом средних «классов» и формированием гражданского общества. Сегодня нет сомнений в том, что именно национальная идея увязала воедино эти процессы и обеспечила взлет национального могущества страны.

В рамках этого национального возрождения, что было естественно, шла разработка новой исторической перспективы, в которой идея неписаной «древней конституции» стала краеугольным камнем английской политической системы, гражданско-правового дискурса и национального сознания англичан. Как считает Ньюмен, «создание английского национализма закончилось» в основном к 1789 г. – на смену шла эра «знаменосцев национального движения»²². Продолжим мысль Ньюмена – открылась эпоха формирования вигского метанарратива и его великих «апостолов» – Генри Галлама, Томаса Бабингтона Маколея, Эдварда Августа Фримена и других. Потом Г. Баттерфилд в своей работе 1931 года назовет это «вигской интерпретацией истории». Причудливым образом конку-

²¹ Berger S. The Power of National Pasts: Writing National History in Nineteenth- and Twentieth-Century Europe / Writing the Nation: A Global Perspective / Ed. by S. Berger. 2007. P. 44.

²² Newman G. The Rise of English Nationalism... P. 227.

рирующие дискурсы предшествующего периода в интерпретации национального прошлого, а именно: *антикварный* (концепция Спелмена-Бреди), *готский* и *кокианский* (обоснование юристом общего права Эд. Коком происхождения института парламентской монархии в донорманской Англии) – соединились в вигском метанарративе, который стал «библией» расцветающей нации.

Авторы исследования «Британские историки и национальная идентичность: от Юма до Черчилля» Энтони Брандейж и Ричард Косгроув достаточно убедительно реконструируют генеалогию вигского нарратива. Отметим, что они предпочитают говорить об английской национальной идентичности и обосновывают свой выбор персоналий историков следующими обстоятельствами: это были создатели многотомных трудов по истории Англии; их «истории» завоевали широкую читательскую аудиторию – «именно в девятнадцатом веке образованная общественность сделала историю жизненно важным компонентом викторианской культуры»; они создали социально значимые сочинения, оказавшие влияние на образовательные практики и журнальную периодику. Брандейж и Косгроув указывают на то, что сами историки, создававшие «вигский нарратив», прямо не ощущали своего единства. «Наши испытуемые редко соглашались друг с другом, и это так, потому что каждый из них подчеркивал разные аспекты, которые имели решающее значение для разработки национальной идентичности... каждый историк породил или усилил особую черту, которая сформулировала более широкую теорию английской исключительности»²³.

Для начала остановимся на общих для них чертах. Г. Галлама²⁴, Т.Б. Маколей²⁵, Дж.Э. Фруда, Э.А. Фримена, У. Стаббса, Дж.Р. Грина, С. Гардинера – всех их роднило стремление «переписать» «Историю Англии» Дэвида Юма – самую читаемую и популярную историю вплоть до середины XIX века. Они считали ее консервативной и основанной на политических принципах партии тори. В этом есть определенная ирония, так как сам Юм считал себя умеренным вигом и стремился написать надпартийную беспристрастную историю. Его критикам больше всего не нравилось сочувствие Юма Карлу I и презрение к «фанатичным» пуританам, которые, как считал он, превра-

²³ Brundage A., Cosgrove R. *British Historians and National Identity: From Hume to Churchill*. L.: Routledge. 2014. P. 2–3.

²⁴ Hallam H. *The Constitutional History of England, from the Accession of Henry VII to the Death of George II*. Ву. In 2 vols. L., 1827.

²⁵ Маколей Т.Б. *История Англии*. Часть 1–8 / Маколей Т.Б. Полное собрание сочинений. Т. 6–13. СПб.-М.: тип. П.А. Кулиша, изд-во М.О. Вольфа, 1863–1868.

тили многообещающее движение обновления в кровопролитную гражданскую войну и военную диктатуру. Как хорошо известно, Юм был агностиком и скептиком и не разделял идеи божественного происхождения королевской власти, пассивного послушания правящему режиму и другие принципы традиционного торизма. Он считал, что сильная монархия обеспечивала государственный порядок, служила основой для коммерческого роста и создания сильного среднего класса, который и был, по мысли Д. Юма, действительной основой представительного правления. Маколей, к примеру, пишет в эссе «Галлам» (1828): «Юм и многие другие писатели слишком торопливо решили, будто в XV столетии английский парламент был совершенно раболопен, на том основании, что он признавал без сопротивления всякого похитителя престола, имевшего успех»²⁶.

Отметим, что их объединял политический реформизм и вигская идея «свобод и вольностей» английской конституции, они руководствовались в своих исторических сочинениях политическими представлениями, принадлежащими именно этой партии. Причем можно говорить об определенной динамике в развитии вигского нарратива на протяжении Викторианской эпохи. «Исторические “виги”, – пишет М. Бенгли, – сформировались как связанная династия авторов, начиная от Генри Галлама и Томаса Б. Маколея и кончая Уильямом Стаббсом, Дж.Р. Грином и Е.А. Фрименом. Вначале, с 1820-х по 1850-е, эта тенденция отражала наследие XVIII века – чествование Славной революции, в которой Вильгельм III Оранский справился (почти бескровно) с презренным католицизмом и тиранией Якова II, открыл через своих наследников новую эру протестантской стабильности и процветания конституции, которая обеспечила баланс между узкими групповыми интересами и демократическим энтузиазмом. К концу XIX в. картина не остается столь однозначной. Простые умозаключения ранних «вигов» беспокоили поздних, которые хотели совместить вигский настрой с обеспокоенностью научным знанием... В руках тори Уильяма Стаббса, епископа Оксфорда, в отношении периода средневековья, и С. Гардинера и Ч.Г. Фирта²⁷, в отношении XVII века, исторический “вигизм” приобрел интеллектуальную родословную, которой “предки” не имели и не хотели»²⁸.

²⁶ Маколей Т.Б. Галлам // Полное собрание сочинений. Т. I. Критические и исторические опыты. 2-е испр. изд. / Под общ. ред. Н. Тиблена и Г. Думшина. СПб., 1865. URL: http://az.lib.ru/m/makolej_t_b/text_1828_hallam_olderfo.shtml

²⁷ См. о нем: Soffer R. Nation, duty, character and confidence: history at Oxford, 1850–1914 // Historical Journal. 1987. № 30 (1). P. 77–104.

²⁸ Bentley M. Modernizing England's Past... P. 6–7.

В результате, краеугольным камнем исторической памяти англичан стала древняя «неписаная» конституция. Если в конце XVII в. и далее – в XVIII столетии дискуссия на ее счет разворачивалась в плоскости гражданско-политического дискурса, то в сочинении Генри Галлама «Конституционная история Англии» (1827) она обрела в общественном сознании убедительную и прочную глорификацию. Несмотря на то, что эту книгу сегодня практически не читают, в свое время она имела огромный успех. С 1827 по 1908 гг. она выдержала 84 переиздания, и через сто лет после ее первой публикации авторитетный английский историк Дж. Гуч назвал ее «первой работой по новой истории Англии национального и международного значения»²⁹.

Несколько слов об авторе. Генри Галлам (1777–1859) получил блестящее образование (Итон, колледж Крайст-Черч в Оксфорде), он был хорошо знаком с влиятельными вигами своего времени, хотя прямого участия в политике не принимал. Галлам имел соответствующую подготовку для занятий юридической практикой, но, получив в 1812 г. наследство, отдался изучению истории. Замысел и реализация его «конституционной истории» объясняется контекстом острой и продолжительной дискуссии вокруг Билля о Реформе, которая с особой силой разразилась в конце 20-х гг. XIX в. Чувства и аргументы ее участников фиксировались на таких местах памяти как «жюри 12-ти присяжных», «Magna Carta», «Habeas Corpus Act», «Петиция о праве», «Билль о правах». В этом смысле работа Галлама отражала уже сложившуюся традицию освещения конституционной истории Англии и соответствовала текущим дискуссиям рубежа 1820–1830-х гг. В то же время она была пронизана стремлением обосновать конституционные основы традиционного английского «порядка». Т.Б. Маколей, вдохновленный этой книгой Г. Галлама, написал в 1828 г.: «Его книга написана в высшей степени по-судейски. Она вся проникнута духом суда, но не духом адвокатуры. Он перебирает обстоятельства дела со спокойным, непоколебимым беспристрастием, не склоняясь ни направо, ни налево, не говоря ни о чем вскользь и ничего не преувеличивая, в то время как адвокаты обеих сторон попеременно кусают себе губы, слыша как выставляются наружу их сбивчивые, ложные показания и софизмы. Вообще мы можем смело сказать, что “Конституционная История Англии” – самая беспристрастная книга, какую мы когда-либо читали»³⁰.

²⁹ Gooch G. History and Historians in the Nineteenth Century. Boston: Beacon, 1959. P. 74.

³⁰ Маколей Т.Б. Галлам...

Принципиально новым было то, что впервые в центре исторического нарратива оказалась сама конституция и ее история. Начав с 1485 года, с «восшествия на престол Генриха VII», Галлам как «независимый комментатор» построил свою реконструкцию на предположении (которое он никак не объясняет и не доказывает), что ко времени восшествия Тюдоров на престол конституция уже существовала, и что традиция ограничивать королевский авторитаризм независимым парламентом восходит к XIII веку. После 1485 г., когда бы парламент и корона не вступали в противоречия, именно конституция была тем «секретным механизмом», который в конечном счете обеспечивал фундаментальный баланс между исполнительной и законодательной властями. И только Славная революция обеспечила «королевское правление на основе соблюдения “свободы и справедливости”». Билль о правах 1689 года, Трехгодичный акт 1694 года и Акт о престолонаследии 1701 года – вот столпы английской конституции. Правление Вильгельма Оранского Галлам признает наивысшим этапом «нашей конституционной истории». Результатом Славной революции и ее последствий стало развитие гражданского общества. Теперь Англия неизменно следовала конституции свободы. В XVIII веке она стала образцом для европейских стран, находившихся на пике развития абсолютизма.

Г. Галлам внес исключительный вклад в формирование английской национальной идентичности. Теперь национальное самоопределение на основании «убедительных» выводов Галлама базировалось на идее об англичанах как конституционном народе. Доказательством этого утверждения в его сочинении становилась некая абстрактная идея, неуловимо присутствующая где-то между внешними формами (акты, законы) и внутренним духом народа, что нашло свое выражение в слове «конституция». Это было, несомненно, новое ее прочтение, основанное на идее уникальности английской системы правления, уходящей своими корнями к XIII в. и достигшей своего триумфа в Славной революции. Его исследование убедительно продемонстрировало такую характеристику английской исключительности как гений конституционализма, обеспеченный системой права и парламентским суверенитетом. Именно эта идея, как семена, будет развеяна по всему свету «сынами» Британской империи. Если имя Галлама вскоре забылось, его идеи еще долго оказывали влияние на развитие английского общества.

Томас Бабингтон Маколей, первым высоко оценивший потенциал «Конституционной истории Англии» Галлама, в своем эссе «Галлам» в пафосно-патриотическом ключе подхватывает и разви-

вает его идеи. Говоря о Реформации и Революции XVII века, он пишет: «Произошла великая битва за наше церковное и гражданское управление – и была выиграна. Раны были залечены. Победители и побежденные ликовали вместе... Это был отблеск золотого века единства и славы, короткий промежуток покоя, которому предшествовали и за которым должны были следовать целые столетия волнений... Счастлива будет Англия, если в такой кризис интересы ее будут вверены людям, которым история не напрасно повествовала о длинном ряде человеческих преступлений и глупостей»³¹. В этом новом контексте конституция, как заметил П. Мандлер, «в первую очередь означала способность к индивидуальной свободе»³².

Томас Бабингтон Маколей (1800–1859) был шотландцем по отцовской линии (что явствует из его фамилии – MacAmhlaoiabh), однако его мать была англичанкой и ученицей Ханны Мор, известной писательницы, автора религиозно-назидательных текстов³³. Т. Маколей получил образование в Тринити-колледж, в Кембридже, где дидактические практики отточили остроту его риторического слова. Он был прекрасно образован и на протяжении всей жизни сохранял страстный интерес к классической литературе и гордился своими знаниями древнегреческих текстов, особенно «Энеиды» Вергилия.

Во второй половине 1820-х – начале 1830-х гг. Маколей опубликовал ряд заметных и ярких эссе – «Мильтон» (1925), «Макиавелли» (1827), «Джон Гампден» (1831) и др., в которых уже ясно предстает его историческая концепция. «История – по крайней мере, в ее идеально-совершенном виде, состоит из поэзии и философии. Она запечатлевает в уме общие истины посредством живого изображения частных характеров и событий. Но на деле никогда не случалось, чтобы два враждебные элемента, составляющие ее, образовали совершенную амальгаму... Хорошей истории, в настоящем смысле

³¹ Маколей Т.Б. Галлам...

³² Mandler P. The English National Character: The History of an Idea from Edmund Burke to Tony Blair. Yale University Press, 2006.

³³ Родители Маколей примыкали к Клэпэмской секте (Clapham Sect), группе социальных реформаторов, которая состояла в основном из богатых евангелистов, разделявших общие взгляды на освобождение рабов и реформы пенитенциарной системы. На протяжении многих лет они усердно работали над достижением этих целей, мотивированные христианской верой и заботой о социальной справедливости для всех. Томас, по общему признанию, вундеркинд в детстве, рано освободился от шор своего сурового религиозного воспитания. Назидания отца вряд ли могли укротить страсть сына к чтению романов и другой литературы. См. подробнее: Clive J. L. Thomas Babington Macaulay: The Shaping of the Historian. N.Y., 1973.

этого слова, мы не имеем... Сделать прошедшее настоящим; приблизить отдаленное... – все эти обязанности, лежащие собственно на историке, присвоили себе сочинители исторических романов»³⁴. Созданию этой «совершенной амальгамы» живого изображения Маколей, собственно, и посвятит свои эпистолярные опыты.

Его аболиционистское эссе 1827 г. в «Edinburgh Review» с критикой парламентского отчета о состоянии дел в Вест-Индии³⁵ определило его судьбу как политического деятеля. В 1830 г. 3-й маркиз Лэнсдаун, один из лидеров вигов, ответственный за проведение Акта об эмансипации католиков 1829 г., пригласил Маколея представлять интересы партии в палате общин от одного из «карманных» местечек. Его первая парламентская речь была посвящена вопросу о снятии ограничений гражданских прав евреев в Великобритании³⁶. Серией блестящих выступлений в поддержку «Великой реформы», обеспечившей безоговорочную победу вигов, он сделал себе имя. Однако стесненные обстоятельства его семьи вынудили его сделать выбор в 1834 г. в пользу доходной должности члена Верховного Совета по делам Индии. Находясь в Индии до 1838 г. под руководством генерал-губернатора лорда Уильяма Бентинка, Маколей развернул активную деятельность по «англизации» местного образования и уголовного права. Вернувшись в конце 1830-х гг. в Англию, он получил должность военного министра в кабинете лорда Мельбурна. Это была вершина его политической карьеры.

На фоне кризиса 1841 г. и ожесточенной борьбы за фритред Маколей начинает работать над самым своим знаменитым сочинением «История Англии со времени вступления Якова II на престол». Первые два тома были опубликованы в 1848 г. Изначально Маколей, как и Галлам, планировал довести свою историю до восшествия на престол Георга III. Уже после публикации первых двух томов он надеялся завершить работу 1714 годом³⁷. Опубликованные в 1855 г. третий и четвертый тома, имевшие триумфальный успех, заканчивались хронологически заключением Рисвикского договора 1697 г. Пятый том, завершающийся смертью Вильгельма Оранского, был сведен в единое целое сестрой Маколей, леди Тревельян, уже после смерти автора

³⁴ Маколей Т.Б. Галлам...

³⁵ Rupprecht A. (September). Slave Trade Abolition, Indentured Africans and a Royal Commission // *Slavery & Abolition*. 2012. № 33 (3). P. 435–455.

³⁶ Маколей Т.Б. Гражданская неспособность евреев // Полное собрание сочинений. Т. I. URL: http://az.lib.ru/m/makolej_t_b/text_1831_grazhdanskaya_npravosposobnost_evreev-oldorfo.shtml

³⁷ Macaulay 1848, Vol. V, title page and prefatory "Memoir of Lord Macaulay".

в 1859 г. В книге Роберта Салливана, приуроченной к 150-летию со дня рождения Маколея, историк предстает двуликим Янусом: аболиционист и строитель Британской империи, решительный поборник реформ и реалист в духе Макиавелли, христианин и скептик. Исследователь считает, что стремление во власть, практика империи и желание оказать идейное влияние на своих современников сделало его жизнь трагедией.

С этим можно согласиться, но нет другого такого английского историка XIX века, который бы мог сравниться с Т.Б. Маколеем по степени влияния на общественное мнение и количеству распроданных тиражей его «Истории». Только ему удалось низвергнуть Дэвида Юма, доминировавшего в английской историографии вплоть до середины XIX века, с недосыгаемой высоты, Хью Тревор-Ропер во введении к изданию «Истории Англии» Маколея 1979 г. заметил: «своей историей он сразу же добился успеха, она стала новой ортодоксией»³⁸. В чем залог беспрецедентного успеха? Прежде всего, в оптимистической идее человеческого прогресса. Устойчивое развитие цивилизации, свидетелем которого был Маколей, определило его персональную веру в прогресс, и, как отмечает один из его авторитетных биографов Джон Клайв, у Маколея были на то веские причины. Оглядываясь вокруг, он видел мир, который в отношении морали, общественного сознания, религиозного рвения был заметно лучше, чем предшествующий ему век. Человек, который нашел Хрустальный дворец зрелищем «за пределами воображения арабских сказок»³⁹, не просто приветствовал материальные успехи промышленной революции, но обнаружил в них «источник чего-то похожего на то, что романтики находили в природе»⁴⁰. Это в значительной степени определило эмоциональную оценку истории Маколеем. Исследовательница исторического письма Викторианской эпохи Р. Янн, сравнивая Маколея с Карлейлем, пишет: «Для Карлейля настоящее освящается постоянством традиции. Маколей же смотрит на это с другой стороны, он почитает те традиции, которые определили нынешний успех и сделали его возможным»⁴¹. Его модель прогресса,

³⁸ Trevor-Roper H. Introduction // Lord Macaulay's History of England. Penguin Classics, 1979. P. 25–26.

³⁹ The Letters of Thomas Babington Macaulay // ed. Thomas Pinney. N.Y.: Cambridge University Press, 1977. Vol. 2. P. 226.

⁴⁰ Clive J. Introduction / Macaulay B. Selected Writings / Ed. by J. Clive and T. Pinney. Chicago: University of Chicago Press, 1972., P. XI–XII; Clive J. Macaulay: The Shaping of the Historian. 1987. P. 184.

⁴¹ Jann R. The art and science of victorian history. Ohio State University Press. 1985. P. 74.

таким образом, ощутимо близка к модели шотландских просветителей в духе А. Фергюсона.

Интерпретация английской истории Т.Б. Маколеем в ситуации социальной нестабильности, реформирования экономики и превращения Британии в «мастерскую мира» получила свою неизменную привлекательность. Джон Клайв указывает на то, что в годы, предшествовавшие Великой реформе 1832 г., политические позиции часто были настолько пересекающимися и аморфными, что история стала «горючим материалом, осветившим камни преткновения и противостояния»⁴². Для Маколея история Англии конца XVII – начала XVIII века стала демонстрацией того, как монархия, народное представительство и древние традиции обеспечили парадигму перемен, которые он хотел бы видеть в свое время. Он поднял гражданские войны до уровня «великого конфликта» между «свободой и деспотизмом, разумом и предрассудками», в котором «судьбы человечества были поставлены в один ряд со свободой английского народа»⁴³, и получил дополнительные риторические рычаги воздействия на свою аудиторию. Он взывал к патриотической гордости, подчеркивая параллели между XIX и XVII веками: «Скоро снова будет необходимо реформировать то, что мы можем использовать, чтобы сохранить основополагающие принципы Конституции путем внесения изменений в соподчиненные части. Тогда будет возможно, как это было возможно двести лет назад, защищать свои законные права, защищать каждое полезное учреждение, каждое учреждение, порожденное древностью и благородными объединениями, и в то же время вносить в систему усовершенствования, согласующиеся с общим планом. Еще неизвестно, сделали ли двести лет нас мудрее»⁴⁴.

Итак, англичане представляли под пером Т.Б. Маколея прогрессивным цивилизованным (и в этом отношении уникальным и великим) народом, способным осуществить реформу, равную революции, «силой разума и сложившихся законов», так как их «умеренность и гуманность» сами по себе были «плодами» столетней истории развития свободы⁴⁵. Таким образом, революция оказывалась у Маколея преисполнена благородной традиции. То, что могло представлять угрозу стабильности и процветанию нации, превращалось в движение духа и материальный прогресс на протяже-

⁴² Clive J. Macaulay... P. 95.

⁴³ Macaulay T.B. The Works / Ed. Hannah Trevelyan. London: Longmans, 1866. Vol. 5. P. 23; Jann R. The art and science of victorian history... P. 79.

⁴⁴ Ibid. P. 237.

⁴⁵ Ibid. P. 624–625; Jann R. The art and science of Victorian history... P. 79-80.

нии последних двухсот лет. Несмотря на то, что на момент смерти автора в 1859 г., его «История» едва ли охватывала четверть первоначального замысла (и на самом деле четырнадцать лет из истории английского королевства), она была блистательным памятником его риторического гения, «манифестом» великой нации и, как заметила Янн, «его самодовольного видения викторианского успеха»⁴⁶.

Очевидно влияние романтизма в сочинениях Т.Б. Маколей. Он хотел проиллюстрировать историю людей и «вызвать наших предков со всеми особенностями их языка, нравов и одежды; провести нас по их жилищам, посадить с ними за стол, обшарить их старомодные гардеробы, объяснить нам употребление их тяжеловесной домашней утвари...»⁴⁷. Ранние историки, замечает Маколей, «опасались ссылаться на вульгарные проблемы частной жизни... замечать» обстоятельства, которые глубоко влияют на счастье народов»⁴⁸. Обстоятельства, которые больше всего повлияли на это счастье английского народа – «изменение нравов... переход... от бедности к богатству, от невежества к знанию, от жестокости к человечности», он определил как «бесшумную революцию» («noiseless revolution»), что соответствовало в его исторической концепции «прогрессу»⁴⁹. Маколей ставит перед собой задачу: «Я буду стараться излагать историю народа, а также историю правительства, отслеживать прогресс в полезных и искусных ремеслах, описывать рост религиозных сект и изменения литературного вкуса, изображать улучшение нравов от поколения к поколению, и даже не пренебрегать революциями, которые произошли в одежде, мебели, трапезах и публичных развлечениях. Я с легкостью восприму упрек в том, что опустился ниже человеческого достоинства, если мне удастся представить англичанам девятнадцатого века истинную картину жизни их предков»⁵⁰.

Если Галлам писал для думающего читателя, каковым являлся Маколей, то последний отдал жизненную силу и красоту своего слова всем прогрессивным людям своей страны, дабы осветить им дорогу вперед. Автор «введения» к изданию работ Маколей 1901 года Н. Соджвик пишет, что «есть что-то маршевое в музыке его прозы»⁵¹. По словам Эрнста Брайзаха, «его стиль покорила публику, рав-

⁴⁶ Jann R. The art and science of Victorian history... P. 79.

⁴⁷ Маколей Т.Б. Галлам...

⁴⁸ Macaulay T.B. The Works... Vol. 2. P. 56.

⁴⁹ Macaulay T.B. The Works... Vol. 5. P. 156.

⁵⁰ Macaulay T.B. The Works... Vol. 1. P. 2-3.

⁵¹ Sodjwick N.D. Introduction // Thomas Babington Macaulay Baron Macaulay. History of England. In 5 vols. Boston; N.Y., 1901. Vol. 1. P. XLVI.

но как и его хорошее чувство прошлого и твердые убеждения вигов»⁵². Маколею удалось соединить англосаксонское/готское прошлое, традиционализм и идею конституции (как квинтэссенцию английских свобод) с убедительной концепцией социального прогресса в едином послании всем людям Викторианской Англии. Триумфальное шествие «Истории Англии» Т.Б. Маколея ознаменовало победу либерализма в «отдельно взятой стране». Он создал желанную им самим и необходимую для обоснования политического курса вигов концепцию победы и прогресса Англии. Его история «означала» для расчетливого, приземленного и негероического английского среднего класса сохранение своего благополучия навсегда.

Однако уже «вскоре после 1862 г., когда в Англии утвердился либерализм как господствующая доктрина, «История» Маколея утратила свою убедительную силу»⁵³. Она, как шагреновая кожа, начала сжиматься под натиском политических и социальных реалий. «Потрясающий нарратив, созданный Т.Б. Маколеем, возможно наиболее распространенная и читаемая «История Англии» в XIX веке, – пишет М. Бентли, – теперь вызывала не только приподнятые брови, но также улыбку у тех, кто верил, что они продвигаются вперед... вигизм начал тускнеть и встретил свое Ватерлоо на Сомме»⁵⁴. Показательно, что Баттерфилд не упоминает сочинения Маколея в книге 1931 г., по-видимому, считая это особым сортом литературы, но – не истории. Окончательный приговор «уроку» Маколея был вынесен в уже упомянутой работе Р. Салливана 2009 г. Возвышенный «облик» этого выдающегося викторианца, в значительной степени созданный представителями его семьи и, в частности, его внучатым племянником Джорджем Маколеем Тревельяном, трансформируется в ней в образ человека, жизнь которого определялась борьбой за власть, расчетом, двуличием и полным забвением морали⁵⁵. Исследовательница Р. Янн вторит этому тезису: «Маколей рано простился с христианской ортодоксией и отбросил любую опору на моральную истину, возвышающуюся над пространством и временем – ту опору, которая определяла историческое сознание Карлейля...»⁵⁶. Сочинения Маколея из ретроспективы войн XX века предстают сегодня наполненными настой-

⁵² Breisach E. *Historiography: Ancient, Medieval, and Modern*. Third Ed. University of Chicago Press, 2008. P. 251.

⁵³ Breisach E. *Historiography...* P. 251.

⁵⁴ Bentley M. *Modernizing England's Past...* P. 6–7.

⁵⁵ Sullivan R. *Macaulay: The Tragedy of Power*. Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 2009.

⁵⁶ Jann R. *The art and science of victorian history...* P. 79.

чивой риторикой о величии и культурной гегемонии Англии, «раздутой» до размеров «британской нации»⁵⁷.

После Маколея, в последующие тридцать лет будет наблюдаться расцвет английской нарративной истории и интенсивная проработка трех «великих кризисов» в истории английской нации – Нормандское завоевание 1066 года, Реформация XVI века и Славная революция 1688 года, прежде всего в многотомных историях, соответственно – Э.А. Фримена, Дж.Э. Фруда и У. Стаббса. Именно их выделяет как самых влиятельных историков XIX века Дж. Барроу в своей ставшей уже классической работе «Либеральное происхождение: викторианские историки и английское прошлое» (книга получила престижную премию Вольфсона 1981 г.⁵⁸). Расцвет вигского нарратива он связывает с победой либерализма в Англии и показывает, что избранные авторы не имели опыта государственных дел (за исключением небольшого периода для Маколея); не были профессиональными историками и были вовлечены в написание своих историй в результате страсти к антикварному прошлому; их объединяло романтическое идеализированное представление о нем и патриотическое побуждение идентифицировать нацию и ее институты как коллективный субъект английской истории.

На протяжении 1856–1870 гг. Джеймс Энтони Фруд (1818–1894) публиковал свою двенадцатитомную «Историю Англии от падения Уолси до поражения Испанской Армады»⁵⁹. Его работа представляла английскую Реформацию XVI в. как «стержень» всей национальной истории. Он сосредоточился на таких ключевых фигурах Реформации в Англии как Генрих VIII и Елизавета I. Фруд стремился показать благотворное влияние реформации на духовную культуру англичан, он прямо выразил свою антипатию к Риму и убеждение в том, что церковь должна быть подчинена государству. Несмотря на то, что первые тома «Истории» вызвали гнев и либералов, полагавших, что Фруд обелил деспотизм Генриха VIII, и церковников, недовольных сниженной оценкой роли церкви, она была популярной, благодаря «драматическому» изложению событий в духе Карлейля, другом и душеприказчиком которого он был. После смерти Маколея

⁵⁷ Sullivan R. *Macaulay: The Tragedy of Power*. Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press. 2009. P. 1.

⁵⁸ Burrow J.W. *A Liberal Descent: Victorian Historians and the English Past*. Cambridge; London; N.Y.; etc.: Cambridge University Press, 1981. Wolfson history prize: <https://www.wolfsonhistoryprize.org.uk/>

⁵⁹ Froude J. A. *History of England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the Spanish Armada*. In 12 vols, 1856–1870.

Фруд стал самым известным историком в Англии⁶⁰. Его младший современник Эдвард Август Фримен (1823–1892), в свою очередь, в шеститомной «Истории нормандского завоевания Англии»⁶¹, задуманной к приближавшемуся 800-летию юбилею этого события и издававшейся в 1867–1879 гг., с энтузиазмом писал о тевтонской природе политических и социальных институтов английского народа и его героях – Альфреде Великом, Годвине, Гарольде Годвинсоне. Даже о Вильгельме Нормандском он пишет с симпатией, так как тот сохранил древнеанглийские институты. Таким образом, Фримен «доказывал» наличие демократического начала в истории английского народа до завоевания 1066 года.

Если Фримен отвел центральное место в национальной истории Англии нормандскому завоеванию, Фруд – Реформации, а Маколей – свержению Стюартов и «Славной революции», то еще один авторитетный историк Уильям Стаббс (1825–1901) в трехтомной работе «Конституционная история Англии»⁶² (1873–1878) завершил формирование вигского мифа об исключительности английского конституционного строя⁶³. В конце века этот труд стал самым влиятельным сочинением по национальной истории. Ирония заключается в том, что Стаббс являлся англиканским священником (епископом!) и по политическим предпочтениям, темпераменту – полной противоположностью выше перечисленным его старшим современникам. Причем, в отличие от них, он был прекрасным палеографом, преуспел в критике исторических источников и других техниках исследования, пришедших в английскую историографию из Германии в последней четверти XIX века. Однако Дж. У. Барроу в посвященной ему главе «Тори: Стаббс и древняя конституция» показывает, что представления историка также были обусловлены романтической страстью к прошлому и определялись национальным патриотизмом в стремлении создать новую историографию раннего английского средневековья. По сути его «Конституционная история Англии» стала продолжением, наполнением и демократизацией старого вигского мифа о преемственности в национальной истории⁶⁴.

⁶⁰ Burrow J.W. The Imperialist, Froude's Protestant island / Idem. A Liberal Descent... P. 231–302; Brady C. James Anthony Froude: An Intellectual Biography of a Victorian Prophet, Oxford: Oxford University Press. 2013.

⁶¹ Freeman E.A. History of the Norman conquest of England, its causes and its results. L., 1867–1879.

⁶² Stubbs W. The constitutional History of England. In 3 vols, 5th ed. Oxford, 1891–1898.

⁶³ Burrow J.W. A Liberal Descent... P. 2.

⁶⁴ Ibid. P. 227–228.

«Идея вигской интерпретации истории Англии проста в общих чертах, сложна в деталях», – заметил Дж. Барроу⁶⁵. В своей книге «Либеральное происхождение: викторианские историки и английское прошлое» он разбирает, как проявились в интеллектуальном наследии четырех историков XIX века – Маколея, Стаббса, Фримена и Фруда – основные «элементы» вигского нарратива. Он шел вслед за Баттерфилдом, который выделил четыре компонента: 1. концепция древней тевтонской конституции; 2. Magna Carta; 3. древность палаты общин; 4. идеализация «конституционных экспериментов» XIV и XV столетий⁶⁶. Барроу рассматривает эти компоненты в контексте творчества наших героев и замечает, что первые три компонента мало что значили, например, для Галлама или Маколея. Великая хартия вольностей вообще практически не привлекала их внимание⁶⁷. И кроме того, после «сокрушительной работы Роберта Брэди конца XVII века вера в древность палаты общин не могла продолжаться вечно»⁶⁸. «История» Фруда подверглась жестким нападкам, особенно со стороны Фримена. «История» Маколея была очень популярна, чего, например, не скажешь об «Истории» Фримена. Фруд хорошо продавался, но, кажется, произвел гораздо меньшее впечатление»⁶⁹. Фруд и Фримен стали профессорами в последние годы жизни, но, по сути, они были такими же частными авторами как Галлам и Маколей. О началах профессионализации и научности можно говорить только в отношении У. Стаббса.

Уже упомянутые авторы Э. Брандейж и Р. Косгроув «продлевают» «жизнь» вигского нарратива в XX в. от «Истории Англии и английского народа» Джона Ричарда Грина, опубликованной в 1874 г., к труду Сэмюэла Гардинера «История Пуританской революции», последние тома которой увидели свет в 1904–1908 гг. В этой работе показано, как произошло «инкорпорирование» диссентеров в национальную историю Англии. «Стражем» вигского нарратива в первой половине XX в. стал Дж.М. Тревельян (1876–1962). Он, видевший войну за рулем машины скорой помощи на передовой, уже не был так настойчив в идее прогрессивности и исключительности английского народа. Однако его сочинение «Английская социальная история: обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории», уви-

⁶⁵ Burrow J. W. A Liberal Descent... P. 2.

⁶⁶ Butterfield H. The Englishman and His History. Cambridge U.P., P. 69.

⁶⁷ Pallister A. Magna Carta. The Heritage of Liberty. Oxford U.P., 1971.

⁶⁸ Pocock J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. Cambridge U.P., 1957. P. 197.

⁶⁹ Burrow J. W. A Liberal Descent... P. 5.

девшее свет в 1926 г., стало повторением «старых добрых» идей вигского нарратива – парламентское правление, верховенство закона и религиозная терпимость. Дэвид Кеннадин, посвятивший биографии этого историка целое исследование пишет: «В первой половине двадцатого века Тревелиян был самым известным, самым почитаемым, самым влиятельным и самым читаемым историком своего поколения. Он был потомком величайшей исторической династии, когда-либо созданной в Великобритании. Он знал и переписывался со многими величайшими личностями своего времени <...> В течение пятидесяти лет Тревелиян действовал как общественный моралист, наставник государственных деятелей и общественный благотворитель, обладая бесспорным культурным авторитетом среди правящих и образованных классов своего времени»⁷⁰. Однако его репутация едва ли пережила его самого. «Венцом» и последним, довольно жалким аккордом вигского метанарратива стала «История англоговорящих народов» Уинстона Черчилля, опубликованная в 1956–1958 гг. Во всех этих сочинениях конца XIX – первой половины XX века англичане продолжали шагать победным маршем по планете. Хоть вигский нарратив, как выразился Майкл Бентли, и пережил свое Ватерлоо на Сомме, он сохранял жизненные силы вплоть до рубежа 60-70-х годов XX в., оставаясь фасадом британской национальной историографии.

Представленный при осмыслении проблем взаимосвязи вигского метанарратива и национальной идентичности в Британии историографический материал позволяет выстроить генеалогию «вигского мифа» и непростую историю его преодоления. Можно со всей определенностью говорить о двух противоборствующих «тенденциях» этого дискурса. Первая восходит к выдающемуся английскому историку Джону Гарольду Пламу (1911–2001), который защитил диссертацию в 1936 г. в Christ's College в Кембридже под руководством Дж.М. Тревелияна. В свою очередь Плам, как специалист по истории XVIII века, стал наставником целого поколения «новых» социальных историков, получивших известность в 1990-е гг.: Рой Портер, Саймон Шама, Линда Коллей, Дэвид Кеннадин и др. Д. Кеннадин стал автором в целом апологетической биографии⁷¹ Тревелияна. «Наследники» Плама склонны видеть Британию композитарной монархией и предпочитают говорить о «Britishness». М. Бентли прямо пишет: «некоторых из его [Плама] учеников, особенно Саймона Шаму, Дэвида Кеннедина и Линду Коллей безусловно никто не мог

⁷⁰ Cannadine D. G.M. Trevelyan: A Life in History. L., 1992. P. 271.

⁷¹ Ibid. P. 208.

бы охарактеризовать как вигов, но никто не мог бы успешно охарактеризовать их за пределами генеалогии вигов, восходящей к учителю Плама – Тревельяну, к Эдвардианской Англии»⁷².

Другой плодовитый ученик Джон Барроу (1935–2009). во введении к своему труду 1981 г. пишет: «Дж.Г. Плам пополнил список моих обязательств стимулом, который я получил от его книги “Смерть Прошлого”». Действительно эта книга Плама (1969) начинается лаконичным посвящением «для Джона Барроу». В этом сочинении собственно и объясняется, что само по себе преодоление вигского метанарратива означает, что «история» вскоре перестанет быть столь значимым «элементом» культурного пространства послевоенной Европы. Идеализированное прошлое, говорит он, перестает играть роль «идентификатора» социальных сообществ. В этой книге, заметил Плам: «...я впервые звоню в колокол по умирающему Прошлому»⁷³. И далее, «нужно только посмотреть на судьбу вигской интерпретации истории в Англии, упадок которой обусловлен не только атаками, которым он подвергся с точки зрения техник исторического письма, но и тем, что она больше не удовлетворяет социальные потребности олигархии, власть которой убывает... у но-вых ученых и технологов, людей, которые управляют атомными электростанциями или компьютерными службами, в их обществе это так называемое прошлое в лучшем случае может вызывать ностальгические чувства. Оно не может иметь никакой социальной значимости; оно не может дать им чувство цели. Оно не может предоставить оснований их власти или оправдания ее, как это было не только для Маколея в Индии, но и для множества мелких гражданских служащих. Для таких людей их прошлое было столь же значимым, как и их религия»⁷⁴.

Кроме того, во введении Барроу благодарит Дункана Форбса и Джона Покока, у которых он «научился многому... без этого книга была бы совсем другой и значительно беднее»⁷⁵. Таким образом он признает значение другой тенденции преодоления «вигского мифа». В ее основу легла уже не раз упомянутая работа Герберта Баттерфилда (1900–1979) «Вигская интерпретация истории» (1931). Эта небольшая по объему книга взывала к соблюдению простых морально-этических принципов в профессиональной деятельности историка. Баттерфилд полагал, что невозможно заниматься историей профес-

⁷² Bentley M. *Modernizing England's Past...* P. 116.

⁷³ Plumb J. H. *The Death of the Past*. L.: Macmillan, 1969. P. 40.

⁷⁴ Plumb J.H. *The Death of the Past*. Second ed. With Forward (S. Schama) and Introduction (N. Ferguson). Palgrave Macmillan, 2004. P. 41–42.

⁷⁵ Burrow J.W. *A Liberal Descent...* P. IX.

сионально, если интерпретация прошлого задается текущей политической конъюнктурой и рассматривается исходя из потребностей настоящего. Последний раздел книги прямо называется «Нравственные суждения в истории». Будучи набожным методистом, он призывал следовать принципам морали в ремесле историка. В этом Баттерфилд противостоял своему коллеге по Кембриджу – Дж.Г. Пламу. Майкл Бентли прямо называет их «врагами»⁷⁶.

В 1930–1940-х гг. «Вигская интерпретация истории» Баттерфилда имела маргинальный статус в британской историографии и в глазах большинства историков Герберт Баттерфилд представлял таким набожным ретроградом. И позже его книга подвергалась критике учениками Плама как «легковесная, запутанная, повторяющаяся и поверхностная»⁷⁷. Дэвид Кеннедин пишет: «Это был яростный, пристрастный и справедливый суд, деливший людей прошлого на хороших и плохих. И сделано это на основе явного предпочтения либеральных и прогрессивных ценностей, а не консервативных и реакционных... Короче говоря, история была чрезвычайно предвзятым взглядом на прошлое: он [Баттерфилд] стремился раздавать моральные суждения и был привержен телеологии, анахронизму и современности»⁷⁸. В данном контексте обращает на себя внимание коллективный труд под редакцией Роя Портера «Мифы об англичанах»⁷⁹, а также работа Д. Кеннедина «Неделимое прошлое: человеческая природа за пределами наших различий»⁸⁰.

Успех книги Баттерфилда стал очевиден уже после его смерти. Он не увидел мощного прорыва историографии «new look» 80-х гг. XX в., связанной с «изобретением традиции». Однако полагаю, что еще при жизни он испытал глубокое удовлетворение защитой диссертации своего ученика Джона Покока и изданной на ее основе книги «Древняя конституция и феодальное право. Изучение английской исторической мысли в XVII веке» (1957). Фундированная и убедительная аргументация Покока в пользу концепции Спелмана-Бреди была решающим прорывом в борьбе за преодоление «вигского прошлого». Статья Покока «Британская история: призыв к новой теме» (1973)⁸¹ и само ее название указывают на стремление найти

⁷⁶ Bentley M. *Modernizing England's Past...* P. 116.

⁷⁷ Cannadine D. *G.M. Trevelyan...* P. 208.

⁷⁸ *Ibid.* P. 197.

⁷⁹ *Myths of the English* / Ed. Roy Porter. Cambridge: Polity Press, 1992.

⁸⁰ Cannadine D. *The Undivided Past: Humanity Beyond Our Differences*. N.Y.: Alfred A. Knopf, 2013.

⁸¹ Pocock J.G.A. *British History: A plea for a new subject...* P. 601–621.

иное (антивигское) обоснование национальной истории Британских островов. Поколение историков, которое сегодня получило название на самом деле никогда не существовавшей Кембрижской школы интеллектуальной истории, направило свои усилия на изучение истории идей и предложило переопределение вигской интерпретации национального прошлого. Примером может служить Квентин Скиннер, который в первом томе ставшей культовой книги «Основания современной политической мысли» выражает особую благодарность Джону Барроу, руководителю его «работы по политической теории, когда я был еще бакалавром в Каюс-колледже Кембриджа и продолжает руководить этим (да еще много чем) по сию пору»⁸². В лице этих выдающихся «кембриджцев» история по-прежнему стремится к переопределению и самоидентификации современной Британии.

А что касается вигского нарратива, то он явился одним из модулов утверждения либеральной доктрины победившего среднего класса в Англии. Нация стала той абстрактной консолидирующей идеей, на основе которой произросло величие Британской империи. Зримым памятником этой идеи стала Национальная портретная галерея, официально открытая 2 декабря 1856 года⁸³. Маколей был среди ее опекунов-учредителей и удостоен увековечения в одном из трех бюстов на главном входе в музей⁸⁴. Не менее впечатляющим «артефактом» расцвета национальной идентичности в Британии стал новый Вестминстерский дворец, выстроенный в неоготическом стиле по проектам выдающихся архитекторов своего времени Чарлза Берри и Огастеса Пьюджина в 1834–1860 гг. XIX в. Последнему принадлежит проект знаменитой Дворцовой башни с часами, более известной как Биг Бен. Облик нового здания британского парламента на набережной Темзы, Тауэрский мост и другие общественные здания, ратуши и вокзалы в неоготическом стиле свидетельствовали о «втором готском возрождении» и формировании архитектурного стиля «британский ампир» – стиля, отражавшего национальное величие Британии⁸⁵.

⁸² Skinner Q. *The Foundations of Modern Political Thought: Volume I*. P. XVII; Скиннер К. *Истоки современной политической мысли: в 2 т. Эпоха Ренессанса и Реформации* / пер. с англ. А.А. Олейникова. М., 2018.

⁸³ Face to Face. National Portrait Gallery. 2013. URL: https://www.npg.org.uk/assets/migrated_assets/docs/support/individual/face2face16.pdf

⁸⁴ Cannadine D. *National Portrait Gallery: a Brief History*. National Portrait Gallery, 2007; Geddes A. Poole. *Stewards of the Nation's Art: Contested Cultural Authority, 1890–1939*. University of Toronto Press, 2010; National Portrait Gallery. Режим доступа: <https://www.npg.org.uk/collections/>

⁸⁵ Watkin D. *English Architecture. A Concise History*. London, 1979. P. 154-169.

Отметим, как сама королева Виктория, символ нации, вписывала себя в этот контекст. Дж. Барроу выбирает для обложки своей книги «Либеральное происхождение» скульптуру королевы Виктории и принца Альберта в саксонском платье, выполненную Уильямом Тидом в 1863–1867 гг. для королевского мавзолея во Фрогморе⁸⁶. Двойной портрет королевы Виктории и принца Альберта, копия которого выставлена также в Национальной портретной галерее, известен под названием «Расставание»⁸⁷. Он символизирует связь между немецким и английским народами в далеком англо-саксонском прошлом.



⁸⁶ Theed W. Queen Victoria and Prince Albert. Royal Collection Trust. Inventory no. 60778. URL: <https://www.rct.uk/collection/60778/queen-victoria-and-prince-albert>

⁸⁷ На цоколе оригинала во Фрогморе выбита строка (без указания авторства) из поэтической анти-идиллии Оливера Голдсмита «Покинутая деревня» 1770 г.: «Allured to brighter worlds, and led the way».

ГЛАВА 10

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ И/С НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ историческое воображение в многосоставных обществах

Политический триумф национализма в XIX в., его последующий прогресс в XX столетии, экспансия националистических идеологий из западного мира в страны Азии, Африки и Востока превратил этот продукт новой истории Запада и результат политических, социальных и культурных модернизаций европейских стран в фактически мировое явление, сделав его одним из влиятельных акторов всемирной истории наряду с другими конкурирующими идеологиями, включая традиционные религиозные формы идентичности и их секулярные альтернативы. Если история национализма начинается с эпохи Великой Французской революции и насчитывает более двух столетий, то историография национализма не имеет столь длительной традиции функционирования и воспроизводства научного знания о своем объекте изучения. Современная историография национализма, которая возникла в 1980-е гг., более чем молода по сравнению с историографиями других политических идеологий и движений.

На протяжении десятилетий, которые прошли после появления классических текстов первой половины 1980-х гг., современная междисциплинарная историография национализма пережила несколько теоретических поворотов, хотя большинство исследователей национализма предпочитают работать в рамках модернистской или конструктивистской парадигмы, описывая и анализируя нации как воображаемые / воображенные сообщества, политические институты, коммеморативные церемонии, символически важные и значимые акции и действия как изобретенные / изобретаемые традиции в контекстах разнообразных активностей, практик и стратегий интеллектуалов, которые признаются и позиционируются в качестве того культурного слоя, который несет ответственность за прогресс национализма и нации или их слабость и невидимость в тех или иных регионах, в разных исторических ситуациях и обстоятельствах.

Универсальными героями большинства исследований о национализме, начиная с 1980-х гг., были национализмы тех групп, которые динамично менялись, модернизировались и превращались в на-

ции в условиях отсутствия собственной независимой государственности, хотя попытки представителей «новой имперской истории», пытавшихся анализировать империи и имперские идентичности, внесли определенные коррективы в тематику исследований, но их вклад оказался незначительным, поэтому данное междисциплинарное направление в современной историографии национализма мутировало в направлении анализа и изучения механизмов генезиса современных наций в имперских сообществах. Новые тенденции в изучении национализма формально «больших» и не угнетаемых групп наметились в 2000–2010-е гг., но и они нередко носили не академический, а политический характер, что было связано с активизацией национализма представителей большинства в многосоставных обществах. С другой стороны, эти попытки имели, как правило, позитивистский характер и сводились к стремлению написать историю того или иного национализма как линейную и преимущественно событийную политическую историю.

Рост национализмов формально «больших» наций на протяжении 2000–2010-х гг. придает актуальность их анализу, но направления исследований и расстановка возможных акцентов нуждаются в уточнении и корректировке. В этой историографической ситуации представляется необходимым и перспективным обратиться одновременно к тому потенциалу, который междисциплинарные исследования национализма, с одной стороны, получили в результате изучения национализмов формально «малых» и угнетенных групп и сообществ. С другой стороны, теоретические и методологические наработки и достижения других междисциплинарных полей современной историографии, включая интеллектуальную историю и историю идей, также могут оказаться перспективными для изучения националистического опыта «больших» сообществ – в том случае, если история их национализмов не будет описываться как линейная, но будет воображаться, конструироваться, изобретаться и даже деконструироваться как история конкурирующих памятей, вытеснения и забывания, воображения нации как сообщества и изобретения ее идентичностей и различных тактик, практик и стратегий работы с прошлым как ресурсом актуализации идентичности.

Принимая во внимание сложившуюся историографическую ситуацию, представляется целесообразным проанализировать националистические тактики и стратегии актуализации и воображения национальной памяти двух формально «больших» наций современной Европы, сфокусировав внимание на анализе идеологий, на тех идеологов и политических активистов, которые их проповедовали. Дан-

ный подход продиктован несколькими факторами. Рассматриваемые идеологии воспринимаются как производные от соответствующих национализмов. Согласно модернистской методологии в изучении национализмов, национализм первичен, а нация – вторична. Соответственно националистические идеологии есть такие же производные от национализма, как нации. Кроме этого, такой подход позволяет отойти от излишней субъектности, которой в ряде случаев отягощена современная российская историография, склонная искать акторов исторического процесса как его субъектов, и желательно – одушевленных, т.е. представленных реальными историческими персонажами. Поэтому, с одной стороны, речь здесь пойдет об английской и русской исторической памяти как форме воображения нации, ее изобретения как гражданского сообщества и наделения необходимыми политическими традициями и ритуалами. С другой стороны, этот текст не о формировании исторической памяти, а о трансформациях и метаморфозах исторических памятней в постнациональных обществах глобализирующегося мира. Именно в таком ракурсе будет сделана попытка проанализировать ряд проблем, связанных с историческими манипуляциями в националистическом воображении.

Проблемы линейности и большого нарратива, английская история до 1066 года и региональные измерения исторического процесса в истории России – только несколько спорных и дискуссионных моментов, которые анализировались российскими и английскими интеллектуалами, отражая их попытки соотнести свои национальные / националистические предпочтения с идеологическими требованиями и канонами, а также с нормами больших нарративов, которые определяли основные векторы и траектории российского и английского историописания. Современная историографическая ситуация стремительно и радикально меняется. Болгарский историк Албена Вачева полагает, что «современность – это время, когда в ранее неизвестном масштабе (гео)политическая история, этнография и социология обрисовывают / перерисовывают контуры этих карт в соответствии с постоянно меняющимся доминированием идеологических конструкций. Более того, современность – это время, когда ему дается возможность реализовать различные национальные проекты отдельных стран и их попытки заставить остальных, если не принять, то, по крайней мере, признать свою систему ценностей»¹.

¹ Вачева А. Менталните карти на културата (Модерният дебат за “родно” и “чуждо” през 20-те и 30-те години на XX век) // Модерната география на културата. Родно и чуждо / съст. Албена Вачева. Варна: LiterNet, 2006. URL: <https://litenet.bg/publish4/avacheva/mentalnite.htm>

В современном мире историографии стали национальными проектами и формами актуализации националистических ценностей, предлагая как миру, так и свои группам различные идентичности. На протяжении длительного времени англичане и русские, с одной стороны, несмотря на то, что формально были политическими нациями, принадлежали фактически к числу невидимых и маргинальных сообществ, оказываясь в тени британского и российского политических проектов как «больших» проектов строительства империи с ее особыми формами и стратегиями воображения идентичности и проявления лояльности. С другой стороны, в силу различных идеологических или методологических обстоятельств английская и русская идентичность, воображенные и изобретенные соответствующими национализмами, оказывались менее привлекательными для историков, чем национальные проекты тех групп, которые стали жертвами роста и прогресса английской и русской государственных.

Национальное и наднациональное как имперское в историографиях

Примерно с начала XIX века в написаниях историй Англии и России доминировали большие нарративы, а сама история была формой развития и функционирования националистического дискурса. Роль историков, профессионалов и любителей, в развитии национализма не вызывает сомнений в современной научной литературе. Национализмы стали первичными стимулами для трансформации традиционных групп в политические сообщества, наделив их идентичностями, которые включали и представление о национальной истории. Именно поэтому, «актуализация исторического прошлого, наряду с языком, религией, становлением единой системы образования, демократизацией и либерализацией общества, является важнейшим фактором формирования наций и национального самосознания»². Историки, по мнению Э. Смита, «играют выдающуюся роль среди создателей и приверженцев национализма... историки внесли весомый вклад в развитие национализма... заложили моральный и интеллектуальный фундамент для национализма в своих странах <...> историки, наряду с филологами, самыми разными способами подготовили рациональные основания и хартии наций своей мечты»³. В этой культурной и интеллектуальной ситуациях, несмотря на ради-

² Измайлов И. Дилемма национальной истории в федеративной стране: государственность и этничность. URL: <http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n2/stat7/18/>

³ Смит Э.Д. Национализм и историки // Нации и национализм. М., 2002. С. 236, 253, 260.

кальные отличия в экономике, политике и культуре, русские и английские интеллектуалы использовали поразительно схожие языки и тактики написания, воображения и изобретения истории, которая воспринималась почти исключительно как событийная политическая и государственная история, что делало ее неизбежными героями монархов и предопределяло линейные схемы и версии каталогизации и систематизации фактов прошлого в их последовательном изложении.

Связь исторических штудий с политическим усилением и прогрессом национализма, который стимулировал генезис и развитие новых идентичностей, в различных регионах проявлялась далеко не самым одинаковым образом. В континентальной Европе «национальное освобождение и история как один из его инструментов были лозунгами движения национального либерализма и либеральной демократии в XIX – начале XX века. Это движение началось как движение национального пробуждения и, оглядываясь назад на национальное прошлое и открывая национальную историю, оно пробовало найти оправдание существованию нации в будущем. Нация начала обновляться со своего прошлого»⁴. Между тем, для некоторых формально значительных групп, точнее для их элит, историческое изображение было менее значимо в процессах национальной консолидации и политического строительства империи. Написание истории как государственной неизбежно редуцировало ее и до истории права, государственных институтов, размывая региональные и, тем более, локальные особенности исторического процесса.

Локальное и региональное в больших нарративах русской и английской историографий XIX века фактически было маргинализировано и проявлялось эпизодически только в тех случаях, когда речь шла о территориальной экспансии государственного организма, который воспринимался как основной актор истории. Несмотря на маргинализацию локальности и региональности, тем не менее, имели место исследования по «областной» истории⁵, которые фактически не актуализировали региональные идентичности как политические конструкты, сводя их к частным случаям центрального политического процесса, или же, будучи, с другой стороны, социальными и культурными прародинами новых национальных историографий (напри-

⁴ Schieder, Theodor. *The Role of Historical Consciousness in Political Action // History and Theory*. 1978. Vol. XVII. No. 4. P. 1-18.

⁵ Корсаков Д.А. Меря и Ростовское княжество: очерки из истории Ростово-Суздальской земли. Казань, 1872; Багалеи Д.И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887; Данилевич В.Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев, 1896; Довнар-Запольский М.В. Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII ст. Киев, 1891.

мер, белорусской, в текстах М.В. Довнар-Запольского), которые возникнут несколько позднее. Несмотря на то, что многие историки вполне справедливо полагали, что «в эпоху национальных государств история обречена быть националистической»⁶, некоторые формально большие историографии предпочли эту особенность исторического воображения и конструирования прошлого проигнорировать.

История, по мнению ряда авторов, с одной стороны, «конструкция в значительной степени мифическая в том смысле, что она являет собой представление о прошлом, связанное с утверждением идентичности в настоящем»⁷. С другой стороны, «мифы – это не только компонент исторического сознания. Мифы, как и сама историческая наука, в равной степени формируют историческое сознание и национальную традицию»⁸. Поэтому, русская история в этой ситуации была воображена как москвоцентричная⁹, а английская история постепенно социально и культурно мутировала в британскую, растворяя собственно английское в имперском политическом и государственном проектах. Большие исторические нарративы, доминировавшие в британской и российской историографии¹⁰, редуцировали историю до истории государства и права, которая писалась в жесткой хронологической и линейной системе координат. История, как считает Дж. Фридмэн, «является представлением о прошлом, тесно связанным с выработкой идентичности в настоящий момент»¹¹, но в истории исторического воображения России и Англии эта связь уловима далеко не всегда.

В XX столетии классическая позитивистская схема была подвергнута некоторой ревизии, но эти изменения были незначительны и не могли радикально изменить направления, векторы и траектории развития исторического воображения. Советские большие историче-

⁶ Thomson D. Must History Stay Nationalistic? The Prison of Closed Intellectuals *Frontiers // Encounter*. 1968. Vol. 30. No 6. P. 27.

⁷ Friedman J. History, Political Identity and Myth. P. 43.

⁸ Маркава А. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі ў чэшскай гістарыяграфіі // Беларускі Гістарычны Агляд. 2012. Т. 19. Сш. 1–2 (36–37). С. 179–212.

⁹ См.: Карамзин Н.М. История государства Российского: в 4 кн. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995; Ключевский В.О. Русская история: в 3 кн. М.: "Академия", 1997; Устрялов Н.Г. Русская история. СПб., 1837.

¹⁰ История британской и российской историографий обеспечивает ее историков значительным корпусом текстов, в котором доминируют большие нарративы государственной истории. См. напр.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 29 тт. М.: Полярис, 1998.

¹¹ Friedman J. Myth, History, and Political Identity / J. Friedman // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. VII. P. 195.

ские нарративы¹² фактически оказались несколько модифицированными дореволюционными версиями синтетической истории, которые были подвергнуты идеологизации.

История в больших официальных нарративах стала более идеологизированной, и эта идеологизация степени затронула как советскую, так и британскую историографию, хотя формы идеологизации исторического знания были различны. Советская версия идеологизации радикально изменила большой нарратив, приручив его, подчинив требованиям идеологического канона и редуцировав историю до государственной предыстории советского эксперимента, последовательно маргинализируя периферийные национальные истории, вымывая из них концепты государственности и независимости. Британская версия идеологизации историографии была более мягкой и свелась к прогрессу междисциплинарных направлений в исторических исследованиях – типа народной, социальной¹³ и позднее новой социальной истории, интеллектуальной истории и истории идей, что обеспечило интеллектуалов, например, Кристофера Хилла¹⁴, возможностью актуализировать английскую идентичность, конструируя образ Английской революции середины XVII века как национальной и воображая протестантизм как фактор, содействовавший национализации традиционных до-модерных культур и идентичностей.

Историческая наука может «существовать в условиях конфликта между интересами исследования и требованиями текущей политики»¹⁵, и в этой ситуации нет ничего странного в том, что британские историки не избежали увлечения идеологически мотивированными и политически маркированными большими нарративами, типа истории социальных групп и классов, например, рабочего класса¹⁶, но английская версия идеологизации истории была менее глубокой и последо-

¹² Мавродин В.В. История СССР. Ч. 1-2. Л.: ЛГУ, 1938. Очерки по истории СССР / под ред. проф. А.В. Шестакова. Ч. 1. Древнейшая история СССР. Ташкент: Учпедгиз УзССР, 1939; Ч. 2. Феодално-крепостнический период истории СССР. Ташкент, 1941; История СССР / под ред. В.И. Пичета, М.Н. Тихомирова и А.В. Шестакова. М.: Госполитиздат, 1941.

¹³ Trevelyan G.M. Illustrated English Social History. L.: Longman, 1949. 308 p.; Trevelyan G.M. English Social History. A Survey of Six Centuries: Chaucer to Queen Victoria. L.: Longman, 1944. 628 p.

¹⁴ Hill Ch. God's Englishman: Oliver Cromwell and the English Revolution. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1970; Hill Ch. The world turned upside down: Radical ideas during the English revolution. L.: Temple Smith, 1972; Hill Ch. Some intellectual consequences of the English Revolution. L.: Weidenfeld and Nicolson, 1980.

¹⁵ Lindner R. New Directions in Belarusian Studies besieged past: national and court historians in Lukashenka's Belarus // Nationalities Papers. 1999. Vol. 27. No. 4. P. 631.

¹⁶ Thompson E.P. The Making of the English Working Class. L., 1963.

вательной, чем аналогичные процессы в советской историографии. Политически мотивированные российские и / или советские версии больших нарративов или британские попытки конструирования государственной, правовой и / или социальной истории, несмотря на все формальные различия и значительные присущие им особенности в стиле, изложении материала, классификации и систематизации фактов, соотношении предпочтений и выводов историка с официальным идеологическим канонем, фактически имели много общего, так как оказались изобретёнными традициями, попытками актуализировать политические и социальные идентичности в силу того, что национальное в больших исторических нарративах воспринималось как почти маргинальная и неакадемическая категория. «Высокая степень политизации историографии», по мнению ряда авторов, «объясняется незавершенностью процесса политического строительства»¹⁷.

В этой ситуации региональное фактически стало синонимом маргинального, а попытки серьезного академического исследования локальных уровней нерусского и неанглийского или немосковского и небританского политических и исторических проектов практически не имели места, или же были крайне редки, несмотря на генезис альтернативных локальных идентичностей, которые спустя несколько десятилетий трансформируются в новые современные нации и станут альтернативами имперскому проекту.

Национализация прошлого в России и Англии

Попытки ревизии больших нарративов имели место, но носили ограниченный характер в силу того, что ни британская, ни российская и позднее советская (и потом снова российская) историографии не были заинтересованы в актуализации национального измерения в историческом процессе. Тем не менее, в британской историографии английская национальная компонента начала проявляться в исследованиях, сфокусированных на истории англо-саксонской Англии, «факторе 1066 года» в английской истории и роли Английской революции XVII века¹⁸. Эти темы стали фактически попытками национализации исторического нарратива, но эффект от подобных интеллектуальных практик и стратегий остается незначительным в силу того, что история Англии в большой мере остается интегрированной в британский исторический и политический контексты.

Следует, несомненно, признать, что «историк всегда находится в силовом поле политики и власти. Одни историки сознательно об-

¹⁷ Куско А., Таки В. «Кто мы?» Исторический выбор: румынская нация или молдавская государственность // *An Imperio*. 2003. № 1. С. 494.

¹⁸ Подробно об этом см. выше: главы 7-9.

служивают потребности власти, как официальные историографы правителей, династий, стран, даже выступают архитекторами новых государств. Другие не демонстрируют открыто свои политические предпочтения и взгляды. Некоторые сознательно отстраняются от власти и государственных институтов, ведь настоящий интеллеktуал всегда находится в оппозиции к власти и существующему режиму»¹⁹. Проблемы древней или иной хронологической отдаленной от современности истории всегда были благоприятной почвой одновременно для политизации и идеологизации прошлого, для его использования в политических целях с целью утверждения легитимности отдельных правителей и целых режимов, а также преемственности и непрерывности между различными формами государственности, которые исторически и географически существовали на одной территории, но были вообразены более поздними интеллеktуалами как составные звенья единого политического процесса. Крупные исторические события могут быстро забываться, в то время как другие, кажущиеся незначительными, продолжают сохраняться в памяти²⁰. В этой ситуации интеллеktуальный или политический, но фактически идеологически мотивированный выбор в пользу тех или иных событий и их изобретения как центральных моментов в больших исторических нарративах, является не более чем случайностью, обусловленной культурными и социальными ситуациями.

Особую роль в актуализации национальной компоненты и восприятии истории Англии как национальной играет комплекс нарративов, связанных с описанием, воображением и изобретением англосаксонской Англии. Англосаксонские мотивы в историческом и политическом воображении Англии возникли в период Нового времени²¹ и были связаны с попытками глорификации англосаксов как предков современных англичан, но романтические генеалогии были подчинены прикладным политическим целям, не имея академического характера. Тем не менее эти первые неакадемические штудии стимулировали и вдохновили английских интеллеktуалов последующих поколений на дальнейшее развитие англосаксонизма как одной из версий национального исторического и политического ми-

¹⁹ Колесник І. Український історик і влада: від примусу до партнерства // Ейдос. 2017. Вип. 9. С. 9.

²⁰ Подробнее о событии в истории, исторической памяти и историографии см.: Событие в истории, памяти и нарративах идентичности / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2017; Событие и время в европейской исторической культуре XVI – начала XX в. / Под общ. ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2018.

²¹ The Recovery of Old English Anglo-Saxon Studies in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / Ed. by Timothy Graham. Kalamazoo, 2000.

фа²². Первые попытки национализации английской истории до 1066 года имели место уже в XIX в., когда английские интеллектуалы под вероятным немецким влиянием (через возможность читать как оригинальные²³, так и переводные тексты²⁴ германских историков, не чуждых немецкого национализма) предприняли шаги к актуализации германскости как основы английской идентичности, но тематика исследований, сфокусированных на истории англо-саксов и одновременно претендовавших на то, чтобы продвигать национальные ценности в историописании, была весьма ограниченной.

XIX век в истории Европы стал столетием национализма, но «в эпоху национализма главными субъектами истории становятся нации, а так как примордиалистский подход наделяет их чрезвычайно устойчивыми культурными характеристиками, то нации вольно или невольно начинают отождествляться с этническими группами, корни которых теряются в незапамятной древности»²⁵. Именно англо-саксы в историческом воображении английских интеллектуалов претендовали на статус этой группы. Преобладание «национальной парадигмы» в трудах первых английских профессиональных историков, которые занимались проблемами англо-саксов, «можно сравнить только с господством позитивистской парадигмы извода Леопольда Ранке»²⁶ в историографии XIX века в целом. Тем не менее, современные исследователи, вовлеченные в *Anglo-Saxon Studies*, признают, что, несмотря на появление переводов работ немецких историков, их влияние на современников в Англии было крайне ограниченным²⁷, хотя

²² Frantzen A., Niles J. Introduction: Anglo-Saxonism and Medievalism // *Anglo-Saxonism and the Construction of Social Identity*. Un-ty Press of Florida, 1997. P. 1–16; Hilton G.A. *Anglo-Saxon Attitudes: A Short Introduction to Anglo-Saxonism*. Hockwold, 2006; Williams H. *Anglo-Saxonism and Victorian archaeology: William Wylie's Fairford Graves* // *Early Medieval Europe*. 2006. Vol. 16. N. 1. P. 49–88; Idem. *Heathen Graves and Victorian Anglo-Saxonism: Assessing the Archaeology of John Mitchell Kemble* // *Anglo-Saxon Studies in Archaeology & History*. 2005. Vol. 13. P. 1–18.

²³ Liebermann F. *Die Gesetze der Angelsachsen*. Halle: M. Niemeyer, 1903.

²⁴ Grimm J. *Teutonic Mythology* / trans. from the German by J. Stallybrass. L., 1883; Lappenberg J.M. *A History of England under the Anglo-Saxon Kings* / trans. from German by B. Thorpe. L., 1845; Rydberg V. *Teutonic Mythology – Gods and Goddesses* / trans. from Swedish by R. Anderson. L., 1906.

²⁵ Шнирельман В.А. *Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье*. М., 2003. С. 15.

²⁶ Грицак Я. *Украинская историография. 1991–2001. Десятилетие перемен* // *Ab Imperio*. 2003. N 2. С. 444.

²⁷ Shippey T. Response to three papers on "Philology: Whence and Whither?" given by Drs Utz, Macgillivray, and Zolkowski, at Kalamazoo, 4th May 2002 // *The Heroic Age. A Journal of Early Medieval Northwestern Europe*. 2008. May. Issue 11. URL: <https://www.heroicage.org/issues/11/foruma.php>

некоторые английские интеллектуалы патетически вопрошали: «who is the Mother Country to Anglo-Saxon historians? Some reply “Germany”, but others of us prefer to answer “England”»²⁸. Влияние немецкой историографии было осознано спустя несколько десятилетий, в отложенной хронологической перспективе. Английских интеллектуалов, включая К. Смита, Т. Райта, Х. Адамса, Ф. Аттенборо, У. Холдсворта, Р. Гордона, Ф. Стентона, Т. Шора, Дж. Акермена²⁹), формировавших местные версии большого историографического нарратива, интересовали преимущественно материальные свидетельства истории англо-саксов³⁰, поэтому первые академические публикации, которые позднее институционализировали англо-саксонский миф в историографии, имели преимущественно археологический характер³¹.

Английские интеллектуалы (как и представители некоторых других интеллектуальных сообществ континентальной Европы и неевропейских регионов), погруженные «в процесс “припоминания себя”, “восстановления в памяти”», были сосредоточены «не столько на конструировании нового мифо-исторического объекта, сколько на том, чтобы “вспомнить” себя как можно полнее, не упустив ни одной детали»³². В современном мире, где история мутировала в часть рынка и системы потребления, стало фактически неизбежным и то, что профессиональная историография все меньше влияет на историо-

²⁸ Trevelyan G.M. *Clio, a Muse and other essays literary and pedestrian*. L.: Longmans, Green and Co., 1913. P. 4.

²⁹ Smith C.R. *Warwickshire Antiquities // Collectanea Antiqua*. 1848. N 1. P. 35–45; Wright T.M. *On Recent Discoveries of Anglo-Saxon Antiquities // Journal of the British Archaeological Association*. 1847. No 2. P. 50–59; Adams H. *Essays in Anglo-Saxon Law*. Boston, 1905; Attenborough F.L. *The laws of the earliest English kings*. Cambridge, 1922; Holdsworth W. *A History of English Law*. 12 vols. L., 1909–1952; Gordon R. *Anglo-Saxon Poetry*. L., 1922; Bright J.W. *An outline of Anglo-Saxon grammar*. L., 1921; Stenton F.M. *Anglo-Saxon England*. Oxford, 1943; Shore T.W. *Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People*. L. 1906; Akerman J. *Remains of pagan Saxondom*. L., 1852.

³⁰ Levine P. *The Amateur and the Professional: Antiquarians, Historians and Archaeologists in Victorian England 1838–1886*. Cambridge: C.U.P., 1986.

³¹ Smith C.R. *Warwickshire Antiquities // Collectanea Antiqua*. 1848. No 1. P. 35–45; Smith C.R. *Anglo-Saxon Remains found in Kent, Suffolk, and Leicestershire // Collectanea Antiqua*. 1852. No 2. P. 155–170; Wright T.M. *On Recent Discoveries of Anglo-Saxon Antiquities // Journal of the British Archaeological Association*. 1847. No 2. P. 50–59; Wright T.M. *The Celt, the Roman, and the Saxon: A History of the Early Inhabitants of Britain down to the Anglo-Saxon Conversion to Christianity*. L., 1852.

³² Шукуров Р. *Таджикистан: муки воспоминания // Национальные истории в советском и постсоветских государствах / ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов; предисл. Ф. Бомсдорфа*. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX, 2003. С. 244.

ческое сознание общества. Английские интеллектуалы, не имея возможности и средств для политических и тем более институциональных проявлений английской идентичности, были вынуждены постепенно мигрировать в формально не политические, но идеологически и символически значимые для английского национализма темы – историю, язык и литературу.

Англо-саксонский опыт оказался важен для развития английского националистического исторического воображения в силу того, что он, как и в случаях с другими европейскими национализмами, «служил в качестве свидетелей традиции национальной государственности, отчасти – территориальной целостности и политической легитимации власти»³³, противопоставляя ее событиям 1066 года как завоеванию и уничтожению формально легитимной английской национальной государственности. Различные спекуляции и манипуляции с событиями 1066 года в исторической и политической памяти, за пределами академических сообществ, стали формой «терапевтической коррекции» общества с «травмированным сознанием»³⁴. Но если в странах континентальной Европы перед политическими элитами и интеллектуальными сообществами в такой ситуации неизбежно «вставала задача прощания с наследием и преодоления негативного опыта, исправления собственной траектории развития»³⁵, то английский национализм и академическая английская историография не превратили 1066 год в основную историческую травму.

Будучи органической частью позитивистской историографии и одновременно популяризируя историю английских монархов до 1066 года, историю права³⁶, культуру и язык англо-саксов³⁷, все эти рабо-

³³ Мачюлис Д. Коллективная память как оружие: история ВКЛ в советской пропаганде во время советско-германской войны // Палітычная сфера. 2016. № 24 (2). С. 21.

³⁴ Кръстев Д. Канон и/или агон. Литературноисторическите (ре)конструкции // Култура и критика. Варна: LiterNet, 2003. Т. 3. Краят на модерността? / съст. А. Вачева, Г. Чобанов. С. 416 – 449.

³⁵ Ластоўскі А. Прапрацоўка камуністычнага мінулага ў Славакіі: асноўныя фактары і дынаміка / А. Ластоўскі // Палітычная сфера. 2016. № 24 (1). С. 37.

³⁶ Seebohm F. Tribal Custom in Anglo-Saxon Law. L., 1902; Adams H. Essays in Anglo-Saxon Law. Boston, 1905; Attenborough F.L. The laws of the earliest English kings. Cambridge, 1922; etc.

³⁷ Brown G.B. The arts in early England. L., 1903; Clarke D. Culture in early Anglo-Saxon England. Baltimore, 1947; Earle J. The Deeds of Beowulf. Oxford, 1892; Gordon R. Anglo-Saxon Poetry. L., 1922; Hall L. Beowulf. An Anglo-Saxon Epic Poem. L.; N.Y., 1892; Kendrick T. Anglo-Saxon Art to A.D. 900. L., 1938; Kennedy Ch.W. The Caedmon poems. L., 1916; Kershaw N. Anglo-Saxon and Norse Poems. Cambridge, 1922; Bright J.W. An outline of Anglo-Saxon grammar. L., 1921; etc.

ты в целом содействовали идеализации прошлого и политической канонизации отдельных королей, хотя роль национальной парадигмы в текстах по истории Англии³⁸ с пространными размышлениями и рефлексиями относительно англо-саксонской расы³⁹, Saxondom как ранней формы идентичности предков англичан и происхождения английской нации⁴⁰, продолжала оставаться незначительной.

Anglo-Saxon Studies как институциональный компромисс

Вот почему академическая институционализация англо-саксонского мифа в британской историографии произошла несколько позднее, в 1960–1970-е гг., и проявилась в замещении классических романтических или позитивистских текстов новыми классическими исследованиями, сфокусированными на истории англо-саксонской Англии, когда ее изучение стало признанным течением и самостоятельной школой в историографии. В 1960-е и особенно в 1970–1980-е годы в западной историографии история начинает рассматриваться снизу, с позиций угнетенных классов, тех, о ком традиционная история умалчивала. Среди этих угнетенных групп оказались и англо-саксы, которые, с одной стороны, стали жертвами завоевания 1066 года, а, с другой, были вообразены и изобретены в историографии как классические жертвы.

Anglo-Saxon Studies стали формой и попыткой институциональной легализации интереса к английской истории и английской идентичности в ее собственно английской версии, что однако произошло относительно поздно по сравнению с более успешными попытками шотландских и валлийских националистов использовать факты прошлого в политических целях и для поддержки национальной идентичности. Рост и развитие Anglo-Saxon Studies частично стали следствием того, что «дискурс национальности из сферы политики переместился в дискурс культуры»⁴¹, так как Англия в британском политическом проекте оказалась явным аутсайдером в сравнении с другими национальными регионами, которые смогли обрести не только свои национальные истории, но и политические институты.

³⁸ Stenton F.M. Anglo-Saxon England. Oxford: Clarendon Press, 1943.

³⁹ Shore T.W. Origin of the Anglo-Saxon Race: A Study of the Settlement of England and the Tribal Origin of the Old English People. L.: Elliott Stock, 1906.

⁴⁰ Chadwick H. The Origin of the English Nation. Cambridge: C.U.P., 1907.

⁴¹ Варнавский П. Границы советской бурятской нации: национально-культурное строительство в 1926–1929 гг. в проектах национальной интеллигенции и национал-большевиков // Ab Imperio. 2003. No 1. С. 157.

В период 1950–1990-е гг. в британской историографии были созданы тексты, которые сформировали канон *Anglo-Saxon Studies*⁴², что проявилось в публикации исследований, которые позднее стали классическими, определив основные векторы и направления изучения власти, истории, политики, культуры и языка англо-саксонской эпохи⁴³. Англо-саксонская Англия, наряду с кельтской и римской Британией, вошла в большие нарративы истории Великобритании, став частью линейной синтетической версии истории, будучи освобожденной от излишнего романтизма и этноцентричного подхода, проявлявшегося в расовой риторике более ранней историографии. Динамичное развитие и прогресс *Anglo-Saxon Studies* не только в английских, но и в американских университетах стали проявлением английского культурного национализма, поставив немало неудобных вопросов перед английскими интеллектуалами, вынужденно существующими в фактически британском дискурсе как форме империи.

Действительно, есть ли у англичан своя национальная история? Не в смысле существования особого исторического и политического пути развития, но в контексте автономии или даже независимости от истории Великобритании как имперской истории? Программы *Anglo-Saxon Studies* действуют в многочисленных университетах Соединенного Королевства, предоставляя возможность националистически мыслящим интеллектуалам продвигать идеи английской идентичности, содействуя тем самым национализации студентов как представителей другого поколения. Университетские издательства активно публикуют историческую и филологическую литературу по англо-саксонскому периоду⁴⁴. Английские интеллектуалы получили и свой

⁴² Binchy D.A. *Celtic and Anglo-Saxon Kingship*. Oxford, 1970; Blair P.H. *Anglo-Saxon England: An Introduction*. N.Y., 1996; *The Anglo-Saxons* / ed. J. Campbell. Harmondsworth, 1991; Hodgkin R.H. *A History of the Anglo-Saxons*. Vol. I–II. L., 1952; Laing L. *Anglo-Saxon England*. L., 1979; Drout M.D.C. *Anglo-Saxon Studies: The State of the Field? // The Heroic Age. A Journal of Early Medieval Northwestern Europe*. 2008. 11. URL: <https://www.heroicage.org/issues/11/forumc.php>; etc.

⁴³ Библиография *Anglo-Saxon Studies* очень обширна. См. подробнее специализированный 280-страничный он-лайн указатель: *Anglo-Saxon England. A bibliographical handbook for students of Anglo-Saxon history*. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.asnc.cam.ac.uk/resources/ASHistBib06.pdf>

⁴⁴ Arthur C. 'Charms', Liturgies, and Secret Rites in Early Medieval England. L.: Boydell & Brewer, 2018; Baker P. Honour, Exchange and Violence in Beowulf / L.: Boydell & Brewer, 2013; Clarke C. Writing Power in Anglo-Saxon England. Texts, Hierarchies, Economies. L.: Boydell & Brewer, 2012; Hall A. *Elves in Anglo-Saxon England. Matters of Belief, Health, Gender and Identity*. L.: Boydell & Brewer, 2007; Harbus A. *Cognitive Approaches to Old English Poetry*. L.: Boydell & Brewer, 2012; Home M. *The Peterborough Version of the Anglo-Saxon Chronicle. Rewriting Post-Conquest History*. L.: Boydell & Brewer, 2015; Hooke D. *Trees in Anglo-Saxon*

специализированный академический журнал “Anglo-Saxon England”⁴⁵, посвященный истории, языку, экономике, политике и культуре англо-саксов. Издаются также “Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History” и “Old English Newsletter”, связанные с актуализацией англосаксонского периода в истории Англии⁴⁶. Академические активности в этой интеллектуальной ситуации, с одной стороны, фактически стали попытками картировать и локализовать на ментальных картах англо-саксонский период как часть истории и предложить политические и культурные генеалогии, которые доказывали бы преемственность и континуитет между современными англичанами и их средневековыми англо-саксонскими предками. С другой стороны, Anglo-Saxon Studies, несмотря на несомненную связь с английским национализмом, смогли избежать излишней романтизации и идеологизации, не став частью националистического дискурса.

Проблемное поле Anglo-Saxon Studies характеризуется академической стабильностью, не зная политических и идеологических крайностей, характерных для изучения ранних периодов национальной истории в странах континентальной Европы, ставших сферами доминирования националистического воображения⁴⁷. Anglo-Saxon Studies постепенно от романтического национализма и пространных размышлений об английской расе мигрировали в направлении тотальной истории, социальной истории, культурной и интеллектуальной истории, став удобным пространством для междисциплинарного синтеза. В этой интеллектуальной ситуации историография, сфокусированная на изучении истории англо-саксов, фактически стала одним из компенсаторных механизмов, которые английский политический класс и интеллектуальные сообщества используют для акту-

England. Literature, Lore and Landscape. L.: Boydell & Brewer, 2011; Karkov C.E. The Ruler Portraits of Anglo-Saxon England. L.: Boydell & Brewer, 2004; Lee Ch. Feasting the Dead. Food and Drink in Anglo-Saxon Burial Rituals. L.: Boydell & Brewer, 2007; Louviot E. Direct Speech in Beowulf and Other Old English Narrative Poems. L.: Boydell & Brewer, 2016; Pestell T. Landscapes of Monastic Foundation. The Establishment of Religious Houses in East Anglia, c. 650–1200. L.: Boydell & Brewer, 2004; Snook B. The Anglo-Saxon Chancery. The History, Language and Production of Anglo-Saxon Charters from Alfred to Edgar. L.: Boydell & Brewer, 2015; Williamson T. Environment, Society and Landscape in Early Medieval England. Time and Topography. L.: Boydell & Brewer, 2012; etc.

⁴⁵ Anglo-Saxon England. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/anglo-saxon-england/>

⁴⁶ Anglo-Saxon Studies in Archaeology & History. URL: <http://www.arch.ox.ac.uk/assah.html>; Old English Newsletter. URL: <http://www.oenewsletter.org/OEN/index.php>

⁴⁷ Nokes R.S. Valuing Anglo-Saxon Studies // The Heroic Age. A Journal of Early Medieval Northwestern Europe. 2008. May. Issue 11.

ализации и поддержки английской культурной, языковой и этнической идентичности в силу того, что институты, которые могли подчеркнуть и сделать видимым существование англичан как политической нации, фактически в Великобритании отсутствуют.

Российские контексты: доминирование государственной истории и отсутствие национальной

На протяжении длительной части истории русские как политическая нация и сообщество были невидимы. Поэтому, этническое и национальное самосознание русских было локализовано не в истории, а в этнографии, лингвистике и языкознании. Если попытки актуализации английской компоненты в истории Великобритании начались в XIX веке и выработали свою историографическую традицию, то в России попытки историков актуализировать русское измерение в истории России и пересмотреть неопозитивистские версии линейной политической событийной истории были предприняты гораздо позднее и могут быть датированы только второй половиной 1990-х годов. Эти историографические эксперименты с самого начала были обречены на неудачу, так как неосоветское наследие продолжало пребывать среди факторов, определявших основные векторы и траектории развития исторических исследований, оставляя большие нарративы линейной истории практически без изменений.

В России попытки оспорить москвоцентричные версии написания истории были предприняты украинскими историками в процессе трансформации доимперской украинской идентичности в идентичность современной политической нации. В советское время была создана, как полагает украинский историк И. Колесник, «вертикальная, строго иерархическая модель отношений историка и власти. Она имела тоталитарный характер и отражала особенности тоталитарной политической системы. В рамках этой модели существовал целый класс “директивных историков” (историков партии), которые занимали привилегированное положение в научной корпорации и владели монополией на теоретические исследования и методологические выводы, четко соотносимые с постановлениями и документами партийных органов и государственных учреждений. Тоталитарная модель взаимодействия историка и власти как аналитическая структура воспроизводит механизмы подчинения интеллектуальной истории политической. Важным признаком данной модели являлась абсолютная политическая лояльность к режиму, вера в истинность идей марксизма, авторитет власти, харизму вождей и их идей»⁴⁸.

⁴⁸ Колесник І. Український історик і влада... С. 10.

Попытки найти национальные нарративы в современной российской историографии, которые ограничивали бы историю России исключительно территориями, входящими в состав современной РФ или ее славянскими регионами, будут крайне проблематичны и практически безрезультатны в силу того, что такие интеллектуальные практики в современной российской историографии фактически отсутствуют, хотя некоторые историки (например, И.Н. Данилевский) стремятся пересмотреть политически и идеологически мотивированные каноны написания российской истории, ставя под сомнение доминирующий примордиальный миф и сомневаясь в существовании древнерусской народности⁴⁹, ограничиваясь полунамеками на то, что анализ летописных текстов позволяет предположить, что ни Новгород, ни Псков, ни Полоцк и некоторые другие города в состав «русской земли», по версии автора летописи, не входили. Тем не менее, этот ревизионистский концепт не получает своего развития, и последующая история России пишется как почти исключительно государственная и политическая, где роль регионального исторического процесса была минимальна. Что касается И. Данилевского, то его крайне сложно локализовать среди российских историков, развивающих государственный нарратив. Он, скорее, наоборот, деконструирует государственность как актора, понижая Древнюю Русь до многосоставного вожества, что дает возможность реализовать региональные и этнические компоненты исторического процесса. Такая тенденция, однако, не получила развития в современной российской историографии.

Эта ситуация фактически институционализовала «концептуальные изъяны историографии»: «провозглашенная денационализация истории, целенаправленное создание истории классов и классово-вой борьбы, жесткий идеологический пресс, тотальный контроль, отрицание историографического наследия прошлого – все это делало априорно невозможным дальнейшее развитие исторической науки в направлении создания национальной истории»⁵⁰. Системные особенности советской модели историографии лишают ее региональных и, тем более, локальных форм и уровней, низводя, в зависимости от контекста, до предыстории возвышения Москвы или собственно истории Московского государства. История России имперского периода исключает региональные измерения, что стало продолжением традиции игнорирования немосковских политических акторов и конку-

⁴⁹ Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М.: Аспект Пресс, 1998.

⁵⁰ Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллектуальные дебаты на рубеже веков // *Ab Imperio*. 2003. No 3. С. 337, 340.

рентов Москвы, включая Тверское и другие княжества. Несмотря на значительную роль Твери и других альтернативных политических центров в истории России, остались маргинальными и не получили развития попытки «смотреть на историческую науку с национальной перспективы»⁵¹. Поэтому, в российской историографии фактически не сложились междисциплинарные направления, связанные с изучением истории этих княжеств как государств, и анализ их истории стал уделом полумаргинального краеведения, несмотря на попытки некоторых советских историков описать историю Древней Руси как историю территорий, где основные акторы – города-государства⁵², хотя в этих попытках доминировал именно государство-центричный и социально-экономический подход.

В российской дореволюционной⁵³ и западной историографии⁵⁴ существует по одной изданной монографии, посвященной истории Тверского княжества несмотря на то, что оно было конкурентом Москвы в процессе объединения российских земель. В подобной историографической ситуации исторический процесс секвестрируется и подменяется историей государства и государственных институтов. Попытки актуализировать тверские исторические нарративы крайне редки, но, вместе с тем, идеологизированы и мифологизированы. Некоторые российские интеллектуалы пытаются развивать комплекс нарративов, сводимых к мифологизированной идее-лозунгу «Тверь – несостоявшаяся столица государства Российского» или «Город великой свободы»⁵⁵, актуализируя прозападные симпатии тверских политических элит⁵⁶, но эти идеи не в состоянии «поколебать силу официального дискурса»⁵⁷, несмотря на то, что на историческое сознание

⁵¹ Сагановіч Г. Чаму ў БССР не было гістарычнага часопіса // Беларускі Гістарычны Агляд. 2017. Т. 24. Сш. 1–2. URL: <http://www.belhistory.eu/genadz-saganovich-chamu-u-bssr-ne-bylo-gistarychnaga-chasopisa/>

⁵² Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988.

⁵³ Борзаковский В.С. История Тверского княжества. СПб.: Издание книгопродавца И.Г. Мартынова – Тип. В Безобразова и Комп., 1876.

⁵⁴ Klug E. Das Fürstentum Tver (1247–1485). Aufstieg, Selbstbehauptung und Niedergang. Wiesbaden: Harrassowitz, 1985; Клюг Э. Княжество Тверское (1247–1485 гг.) / пер. с нем. А.В. Чернышова; общ. ред. П.Д. Малыгина и П.Г. Гайдукова. Тверь: РИФ ЛТД, 1994.

⁵⁵ Комиссаров В. Город великой свободы // Россия 4D. 2015. № 3–4. URL: <http://russia4d.ru/magazine/0304-2015/gorod-velikoi-svobody.html>

⁵⁶ Смолин Е. Тверское Великое княжество: Прерванный путь в Европу // Россия 4D. 2015. № 3–4. URL: <http://russia4d.ru/magazine/0304-2015/tverskoe-velikoe-knyazhestvo-prervannyi-put-v-evropu.html>

⁵⁷ Цвиклински С. Татаризм vs булгаризм: «первый спор» в татарской историографии / С. Цвиклински // Ab Imperio. 2003. N 2. С. 364.

всегда в значительной степени влияют национальные, социальные и политические группы, в среде которых оно формируется.

Историографическая судьба Твери и других региональных форм государственности, которые в прошлом существовали на территории России, представляет собой яркий пример забывания и вытеснения из исторической памяти моментов, не вписывающихся в официальный дискурс, они маргинализируются и вытесняются из больших нарративов государственной истории. В отличие от британской историографии, где в XIX и XX вв. сложилось несколько школ изучения истории Англии как национальной, что стало фактически формой существования, проявления и поддержки английской идентичности, в российской историографии национальный нарратив не получил развития и по-прежнему не может конкурировать с большими нарративами государственной истории. Несмотря на то, что национальные периферийные регионы были жертвами военной и территориальной экспансии центров, местные интеллектуальные сообщества оказались более активны, адаптивны к тактикам политической и идеологической унификации, что позволило им сохранить свои идентичности и сформировать эффективные стратегии изобретения собственных историй, которые, в отличие от истории доминирующих групп, имеют больше общего с концептом «национальная история», чем с формально нейтральными, но фактически архаичными позитивистскими моделями написания событийных государственных историй.

Национальные истории как привилегия периферий

Татарский историк И. Измайлов в одной из своих работ формулирует вопрос: «Что мы должны подразумевать под термином “национальная история” в многонациональной стране: историю государства или историю наций, из которых оно складывается?»⁵⁸. И в Великобритании, и в России «множественность идентичностей осложнялась присутствием сильных региональных традиций»⁵⁹, причем национальные историографии этнически выделенных регионов оказались более восприимчивы к национализации истории, воображению ее как национальной («национальная история является прошлым, которое особым образом организовано»⁶⁰) и национально маркирован-

⁵⁸ Измайлов И. Дилемма национальной истории в федеративной стране: государственность и этничность. URL: <http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n2/stat7/18/>

⁵⁹ Семенов А. От редакции: дилеммы написания истории империи и нации: украинская перспектива // *Ab Imperio*. 2003. N 2. С. 378.

⁶⁰ Измайлов И.Л. Историческое прошлое как фактор национальной мобилизации. URL: <https://www.tataroved.ru/publication/metod/2/>

ной проработке прошлого. Хотя «сама природа плюралистических обществ предполагает формирование в них различных и даже противоречащих друг другу толкований прошлого»⁶¹, эти тенденции в различной степени проявляются в российском и британском историографическом контекстах.

Одновременное сосуществование и софункционирование нескольких национальных историй и историографий сближает и одновременно отдаляет друг от друга британские и российские историографические пространства в силу того, что нецентральные историографии стали формами развития национализма, но формы проявления националистических предпочтений интеллектуалов в российском и британском контекстах различны. Если формально центральная английская историография в Великобритании соседствует с двумя национальными историографическими традициями – валлийской и шотландской, то в силу одновременного существования в Российской Федерации этнических республик российская историография, которая так и не смогла избавиться от неосоветской инерции и не стала национальной, сосуществует и порой конкурирует, как минимум, с двадцатью двумя национальными историографиями, но, принимая во внимание гетерогенную этническую структуру ряда субъектов федерации, число этих национализирующихся историографий может быть и более значительным. Национальные историографии и историографии России и Англии имеют многочисленные взаимные претензии и противоречия, что превратило факты прошлого в инструменты этнической консолидации и политической мобилизации.

Национальные историографии в России и Великобритании развиваются в соответствии со своими местными и региональными закономерностями, включая «линейность и абсолютизацию непрерывности собственной нации. В более радикальном варианте предполагается, что нация существовала всегда, по крайней мере, в рамках обозримой и описываемой истории. В более мягком – она существует с перерывами... важная черта канона – это этноцентричность, культурная и этническая эксклюзивность. В такой стандартной схеме главным актором является своя нация. Все остальные либо отсутствуют, либо игнорируются. Иногда, когда необходимо присутствие другой нации, она служит либо фоном, либо антитезой своей нации, которая мешает своей нации реализовать свою сущность»⁶². Однако

⁶¹ Шерпер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. Май – август. С. 90.

⁶² Касьянов Г. Национализация истории в Украине. URL: <http://www.polit.ru/lectures/2009/01/06/ukraine.html>

стремительный отказ от исторического материализма и быстрое переключение на национализм как универсальный код и язык политического и исторического воображения не означали автоматического отказа от политических, исторических и идеологических мифов, унаследованных от более ранней историографии.

Ни российская историография в целом, ни национальные историографии, не пережили процессов демификации и демифологизации. Белорусский историк Алёна Маркава полагает, что необходимо «различать понятия демификация и демифологизация. Демификация означает, прежде всего, деконструкции мифов, которые являются неисторическими событиями и имеют какое-то символическое значение... Демифологизация представляет собой ревизию предыдущей идеологически обработанной интерпретации определенного исторического события, которая часто занимает символическое место в национальной истории... Деконструкция мифов или исторической традиции означает деконструкцию возможности коллективной идентификации с определенными историческими событиями в более широком горизонте идентичности»⁶³. Г. Саганович, комментируя присутствие политического мифа в историческом сознании современного общества, полагает, что его значение «сравнимо с весом мифа в древнем обществе: не имея статуса сакрального, он обладает авторитетом истины для своей группы... Политический миф тесно связан с ритуалами – символически инсценированными социальными действиями, которые периодически повторяются. Ритуал называют невербальным парафразом мифа, который конкретизирует и “осовременивает” его; сам миф не мог бы долго жить без своей литургии. Подобные церемонии по способам проведения и силе воздействия могут не отличаться от религиозных ритуалов»⁶⁴.

В этой ситуации историографические постсоветские практики, особенно в национальных или национализирующихся группах, тесно связаны с актуализацией как мифа, так и сервилитета историописания перед лицом политической власти. Постсоветские историографии не смогли избежать мифов – «широко распространенных вымышленных событий, которые принимают форму квазиисторического факта или интерпретации реального исторического события, что явно противоречит истине, в течение их постоянного или долгосрочного воздействия на историческое и национальное сознание относительно боль-

⁶³ Маркава А. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі ў чэшскай гістарыяграфіі // Беларускі Гістарычны Агляд. 2012. Т. 19. Сш. 1–2 (36–37). С. 193.

⁶⁴ Сагановіч Г. Палітычны миф у гістарычнай памяці і гісторыяпісанні // Беларускі Гістарычны Агляд. 2012. Т. 19. Сш. 1–2 (36–37). С. 213–238.

шой части населения»⁶⁵. Британская ситуация отличалась от российской в ее постсоветской версии, и поэтому английские интеллектуалы смогли ограничиться деконструкцией старых или устаревших больших нарративов, фактически заменив их новыми конструктами, которые претендовали на статус изобретенных традиций.

Основные противоречия между историографиями формально доминирующих групп лежат в плоскости отношений между Англией и Уэльсом, Англией и Шотландией, Россией и национальными регионами в контекстах вхождения этих территорий в состав Великобритании или России и их пребывания в составе имперских государственныхностей. Представители национальных интеллектуальных сообществ, в т.ч. историки, были вынуждены соотносить свои националистические предпочтения с чужими политическими идеологическими дискурсами – имперским или советским, но, с другой стороны, национальные историографии оказались более успешными в попытках национализировать прошлое и вообразить истории как национальные. История перестала быть частью исключительно академического дискурса, став частью гетерогенных культур массового потребления, «широкий спектр реакций на прошлое, начиная с элементарных символов, неосознанных фрагментов информации о прошлом, представлений о причинных взаимосвязях и заканчивая историческими доктринами и схемами, ежедневно входит в сознание людей»⁶⁶.

Если степень национализации и причастности к формированию, продвижению и поддержке национальной идентичности английской историографии вполне сравнима и сопоставима с аналогичными процессами и явлениями шотландской и валлийской историографий, то российская историография русской истории продолжает пребывать в плену устаревших клише социально-экономической и государственной истории, не развиваясь как национальная и избежав периода переписывания и национализации прошлого, что было характерно для национальных историографий республик и других европейских регионов, которые на протяжении 1990–2000-х гг. пережили процесс националистического возрождения, который охватил и историческое воображение, затронул тактики и стратегии историописания и определил основные векторы национализации прошлого, его политически и идеологически мотивированных проработок. Если английская ис-

⁶⁵ Рыхлік Я. Фармаванне “нацыянальнай гісторыі” як сутнасці нацыянальнай ідэі і нацыянальнай ідэалогіі // Беларускі Гістарычны Агляд. 2006. Т. 13. Сш. 2. URL: <http://www.belhistory.eu/yan-ryxlik-farmavanne-nacyyanalnaj-gistoryi-yak-sutnasci-nacyuanalnaj-idei-i-nacyuanalnaj-idealologii-na-prykladze-chexa>

⁶⁶ Маркава А. Гістарычная свядомасць... С. 179–212.

ториография и ее шотландские и валлийские конкуренты достигли определенного компромисса в стремлении разделить прошлое и национализировать «свои истории», то российская историография не может достичь компромисса с национальными историографиями, потому что прошлое не консолидирует российское общество, а, наоборот, актуализирует взаимные претензии.

Существует ряд причин для напряженных отношений между формально русской и национальными историографиями. Несоветская инерция продолжала доминировать на протяжении длительного времени уже в силу того, что «однозначная постановка вопроса о существовании в послевоенный период национальных историографических школ в СССР исходит, по существу, из допущения, что историки-“нацмены” находились в скрытой оппозиции московским правителям и воспринимали насаждаемую “сверху” модель историографии как антиисторическую и чуждую их национальной культуре. Однако реальная картина значительно сложнее. Стремление к этнокультурной идентификации вполне уживается с коммунистическими взглядами»⁶⁷. Действовали и другие факторы. Во-первых, проблемы вхождения национальных регионов в состав Русского государства и позднее Российской Империи разделяют историографию собственно русской истории и национальные историографии.

Если советские и российские историки стремились и стремятся легитимизировать расширение государства, вообразив вхождение в его состав новых территорий как неизбежный процесс и преувеличивая позитивные последствия от вхождения национальных регионов в состав Русского государства, то национальные историографии, наоборот, воображают эти моменты в своей истории как трагедии, связанные с утратой собственной государственной традиции. Советская историография прививала комплекс неполноценности представителям национальных историографий, что фактически продолжает делать и российская историография, минимизируя значение альтернативных и параллельных форм государственности, которые существовали на территории национальных регионов. Идея «своей истории» являлась «маргинальным дискурсом советской исторической науки. Она была связана как со старыми этноцентризмами, опирающимися на государственные традиции, так и вновь возникшими этноцентризмами, вследствие создания в СССР множества эфемер-

⁶⁷ Бордюгов Г., Бухарев В. Национальная историческая мысль в условиях советского времени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах / ред. К. Аймермахер, Г. Бордюгов; предисл. Ф. Бомсдорфа. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XX, 2003. С. 25.

ных национальностей»⁶⁸. В Великобритании эти альтернативные нации не были эфемерными, но факт существования исторических государственных линий, отличных от магистральной линии, далеко не во всех случаях вписывался в большие историографические нарративы.

Во-вторых, пребывание национальных регионов в составе России и СССР актуализирует многочисленные противоречия и взаимные претензии между русской и национальной историографиями. Местная интеллектуальная элита, как полагают российские историки, «находилась в непрестом положении. Ей было крайне сложно разобраться в том, насколько изменения политического и идеологического климата допускали (и допускали ли вообще) публичный пересмотр сложившихся представлений о мире и о себе»⁶⁹, хотя аналогичные процессы региональных историографий на Западе протекали более динамично, актуализируя гетерогенность как системную характеристику историографии. Если советская и российская историография описывали пребывание нерусских групп в составе России почти исключительно положительно, преувеличивая прогрессивное русское влияние, то национальные историографии, наоборот, актуализировали негативные последствия пребывания в России, включая русификацию, разрушение национальных культур и ослабление языков.

В-третьих, вопросы наличия собственной политической традиции и государственности также содействуют фрагментации историографического пространства. Официальная политическая доктрина и в советский период не могла игнорировать государственный опыт отдельных групп, и поэтому «в советскую эпоху расцвела и молчаливо поощрялась местными партийными властями практика создания “оригинальных” версий прошлого своего народа – с непременным возвеличиванием его роли – за счёт соседних этносов»⁷⁰.

Русская дореволюционная историография и советская историография предпочитали воображать и изобретать историю России как историю именно русской государственности: если русские историки игнорировали или демонизировали русские альтернативные государственности (Новгородская республика, Тверское княжество, Вятка), существенно принижая и занижая их роль и значение в пользу Москвы, то нерусские государственности маргинализировались в историческом воображении еще более активно, настойчиво и последо-

⁶⁸ Там же. С. 62.

⁶⁹ Гузенкова Т. Этнонациональные проблемы в учебниках по истории (на примере Украины, Беларуси и некоторых республик Российской Федерации // Национальные истории в советском и постсоветских государствах... С. 118.

⁷⁰ Гагагова Л. Северный Кавказ: метаморфозы исторического сознания // Национальные истории в советском и постсоветских государствах... С. 263.

вательно. Эти три особенности существенно влияют на современные отношения между формально русской и национальными историографиями, которые, начиная со второй половины 1980-х годов, стали не готовы играть роль «младших братьев», а распад СССР и временная федерализация России позволили национальным интеллектуальным сообществам открыто выражать свое несогласие с русской историографией и продвигать свои собственные версии национального прошлого, развивая национальные исторические нарративы.

Трансформация исторических нарративов в национальные и частично националистические в России и Великобритании протекала различно. В Англии жертвой национализации стала позитивистская историография и поэтому эти процессы вполне могут быть определены как методологическая революция. В России, полагают некоторые татарские историки⁷¹, «этап написания национальных историй начался... с освобождения от марксистско-ленинских догм и пресловутого классового подхода», то есть постсоветские историографии избежали методологических перемен, став жертвой политической мутации в угоду сложившейся идеологической конъюнктуре: смена акцентов с идеологических на национальные не вдохновила на радикальный пересмотр теоретического инструментария историков.

Россия и Великобритания в этой интеллектуальной ситуации одновременного сосуществования нескольких национальных исторических традиций являются странами конфликтующих историографий с той лишь разницей, что конфликт между, например, английской и шотландской историографиями является латентным, имея преимущественно академический характер в силу того, что прошлое пребывает в центре историографических дебатов и дискуссий, не став предметом сознательных проработок истории в форме исторической политики и идеологизированных манипуляций с историей в политических целях. Историографические конфликты и войны в Российской Федерации находятся на качественно другой стадии, что отличает российскую ситуацию от британской: формально российские и национальные историки в 1990–2010-е гг. получили значительный опыт политически и идеологически мотивированного использования истории. Не менее важную роль в политизации историографии играет также неосоветская инерция: советский период научил историков адаптироваться к колебаниям идеологического канона, что предопределило готовность их постсоветских наследников улавливать и реализовы-

⁷¹ Исхаков С. История народов Поволжья и Урала: проблемы и перспективы «национализации» // Национальные истории в советском и постсоветских государствах... С. 277.

вать пожелания и рекомендации политических элит как на российском, так и на национальных уровнях.

На протяжении длительного времени при написании историй России и Англии доминировали позитивистские версии исторического воображения, что предопределило их восприятие как линейных и преимущественно политических историй. В этой интеллектуальной ситуации ни английская, ни русская история не воспринимались как национальные в силу того, что нация была маргинальным героем в историографическом воображении, так как английские и российские историки предпочитали писать историю как государственную. В данном контексте мы сталкиваемся с проблемой понимания такого многоуровневого концепта как «национальная история». С одной стороны, под «национальной историей» можно понимать историю империй, что укоренилось в некоторых европейских историографиях⁷², где концепты «империя» и «нация» воспринимались как синонимы. С другой стороны, национальная история может восприниматься, наоборот, как антипод империи и порождение эпохи модерна, когда национализмы активно воображают нации, изобретая и конструируя для них национальные государства, местные политические элиты которых усиленно вытесняли и маргинализировали имперское прошлое в своих исторических и политических памятниках. Поэтому государство стало основным героем исторического нарратива в русском и английском историографическом воображении, что предопределило смену героев большого нарратива в XX в., однако эти изменения не имели радикального характера, они были, по преимуществу, небольшими коррективами позитивистской версии написания истории. В этой ситуации история воображалась как политическая, но ее основными акторами могли восприниматься социальные классы, а классовая и политическая борьба объявлялась основным лейтмотивом исторического процесса.

К концу XX столетия методологический инструментарий историков претерпел радикальные изменения и обновление, что нашло свое отражение в попытках воображения истории России и Англии как культурных, интеллектуальных историй, историй идей и сферы приложения микроисторического анализа. По сравнению с перечисленными выше подходами методы, предложенные в междисциплинарных штудиях национализма, нашли значительно меньше применения в изучении «истории Англии» и «истории России», которые

⁷² Lorenz C. Unstuck in time... P. 77-78.

в силу историографической инерции воспринимаются как почти исключительно событийные и пишутся в неопозитивистских контекстах больших пролонгированных хронологий – от условной воображаемой древности до не менее условной изобретаемой современности. Интеллектуальная история и история идей российской и английской историографий обеспечивает их историков несколькими примерами, когда интеллектуалы пытались актуализировать и применить национальную парадигму исторического воображения.

Националистические спекуляции, воображения и изобретения 1066 года или предшествующей ему англо-саксонской Англии, попытки выделения английского исторического процесса из британского, или же стремление регионализировать историю Руси, актуализировать особенности исторического и политического развития Новгорода или Твери, выделение истории этих пространств из тени истории Москвы – все эти интеллектуальные практики, тактики и стратегии написания истории, которые успели стать частью истории английского или русского национализма и исторического воображения, нуждаются в дальнейшем анализе и изучении, что позволит ответить на вопросы как сосуществовали и софункционировали различные формы и версии исторической памяти и как национальные или националистические предпочтения интеллектуалов соотносились с нормами и требованиями официального доминирующего политического и идеологического канона или предписаниями академической этики сообщества профессиональных историков.

История России и Англии, написанная в рамках национальной парадигмы, воображенная или изобретенная как национальная история, в настоящее время является маргинальной. Национальный проект не может эффективно конкурировать с другими методологическими формами и языками исторического воображения. Поэтому попытки написания, воображения, изобретения историй России и Англии носят эпизодический характер, но исследовательская программа изучения исторического воображения и различных версий памяти, а также работа историков с фактами прошлого, их проработка, стремление к интеграции исторического националистического воображения с более широкими культурными, социальными и идеологическими канонами, с требованиями идеологической лояльности и политической цензуры – все эти формально частные случаи в истории исторического воображения английского и русского национализмов, которые формируют и воображают различные версии идентичности, нуждаются в дальнейшем изучении и анализе в рамках междисциплинарных исследований.

ГЛАВА 11

БОРЬБА С “РИМОМ” – I. “ГЕРМАНСКИЙ МИФ” КАК ИНСТРУМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ НЕМЕЦКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Понятия исторической памяти и идентичности неотделимы друг от друга: между ними существуют отношения тесной взаимозависимости. Когда в 20-х гг. XX в. Морис Хальбфакс вводил в научный оборот понятие «историческая память», он обосновал тезис о существовании феномена коллективной памяти как средства самоидентификации различных сообществ людей¹. Особое значение коллективное прошлое и память о нем имеют для «воображения наций». Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают возможность формирующемуся национальному сообществу представить свою общую историю – происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет ему ощутить собственную целостность и уникальность как социальной группы, «узнавая себя в череде столетий»². При этом сам образ прошлого, как таковой, обычно является интеллектуальной «конструкцией», создаваемой в настоящем и имеющей мало отношения к фактическому ходу исторических событий.

Как остроумно выразился известный российский историк Алексей Миллер, «нация – это группа людей, объединенная общими ошибками в представлениях о своем прошлом»³. Разнообразные передаваемые из поколения в поколение нарративы, описывая «общую судьбу» определенной социальной группы, как правило, неизбежно упрощают и искажают картину прошлого. Прославляя зачастую вымышленные достижения нации и намеренно умалчивая о позорных страницах ее истории, нарративы дают ей объединяющие символы и мифы. При этом они всегда служили и продолжают служить лишь «сырьем» для целенаправленного конструирования интеллектуальной элитой так называемой «подлинной» истории нации, формирования «образа древности» и «уникальности», столь важных для лю-

¹ Хальбфакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.

² Halbwachs M. The Collective Memory. N.Y., 1980. P. 86.

³ Миллер А.И. Дебаты об истории и немецкая идентичность // Политическая наука. 2005. № 3. С. 66.

бого национального самосознания. По сути, национальная память является «коллективным культурным произведением», развивающимся под влиянием семьи, религии, национально ориентированной системы образования, различных форм коммуникаций, повседневных практик и общественно-политических институтов. При этом неизбежно происходящая мифологизация истории, как правило, напрямую зависит от властных отношений в обществе, превращаясь в инструмент манипуляций общественным сознанием со стороны политических сил, имеющих своей целью достижение тех или иных результатов в настоящем и будущем.

Тем не менее, каждая нация нуждается в сказаниях и мифах о своем происхождении, о «золотом веке», национальных героях, общих победах, несчастьях и поражениях. Как уже отмечалось, они играют важнейшую роль в ее сплочении, в формировании национальной идентичности. И то, что многие из якобы древних сказаний о великих сражениях и победоносных героях были сконструированы представителями интеллектуальной элиты в эпоху Возрождения, получив каноническое литературное, визуальное и обрядовое оформление только в XIX в.⁴, ничего не меняет. «Что является тем структурирующим элементом, вокруг которого формируется нация? – спросил когда-то в статье «Места памяти по-немецки: как писать их историю?» французский германист Этьен Франсуа. И сам дал ответ: «Это вера в мифы... воспринимаемая как подлинная история нации»⁵. Мифы зафиксированы в коллективной памяти, они создают торжественную ауру и укрепляют у нации чувство единства, собственной уникальности и значимости, уверенности в себе.

Этот спасительный якорь в форме национальных мифов вплоть до сегодняшнего дня, по мнению европейских историков и публицистов, отсутствует у немцев, имеющих весьма проблемные отношения с собственным прошлым. Как справедливо отмечал немецкий историк Вернер Конце еще более полувека назад, после 1945 г. германское общество пережило фундаментальный разрыв государственного, национально-политического и культурного континуитета⁶. Немецкая нация радикально дистанцировалась наряду с национал-социализмом и от масштабного комплекса предвоенной идентично-

⁴ Об «изобретенных традициях» см.: *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbaum and T. Ranger. Cambridge University Press, 1983. P. 1-14.

⁵ Франсуа Э. «Места памяти» по-немецки: как писать их историю? // *Ab Imperio*. 2004. № 1. С. 31.

⁶ Conze W. *Die deutsche Nation. Ergebnis der Geschichte. (Die Deutsche Frage in Der Welt)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1963. S. 121.

сти, от многих традиционных институтов и ценностных ориентаций, которые складывались столетиями. После обнародования фактов о миллионах жертв во Второй мировой войне германские национальные мифы были полностью дискредитированы и «выброшены на свалку истории»⁷. Чувство «национальной вины» вытеснило национальную идентичность. Послевоенная правящая элита ФРГ осознанно дистанцировалась от политики консолидации немцев вокруг национальных ценностей. Более того, можно утверждать, что ни одна нация в мире, включая потерпевших поражение во второй мировой войне Японию и Италию, не знала в Новом и Новейшем времени столь резкого разрыва континуитета, отказа от прежних констант исторической памяти и параллельного демонтажа национальной идентичности, как Германия. По сравнению со всеми другими европейскими государствами Германия, по мнению берлинского политолога Герфрида Мюнклера, автора нашумевшей работы «Немцы и их мифы», с полным основанием может быть названа сегодня «зоной, абсолютно свободной от мифов»⁸. Хотя на протяжении всей предыдущей истории именно национальные мифы определяли историческую память немцев и их самоидентификацию. Еще в начале XIX в. Германия была «Эльдорадо политической мифологии», так как до создания единого немецкого государства в 1871 г. мифы и символы были единственными формами общественно-политического самовыражения «опоздавшей нации». «То, чего на протяжении столетий не происходило в политическом пространстве, практической деятельности, было с тем большей интенсивностью перенесено за горизонты ожидания, и нашло свое выражение в мифах»⁹.

В исследовании коллективных образов истории и коллективных идентичностей анализ исторических мифов¹⁰ как существенной части обобщенного представления нации о своем прошлом играет важную роль. Такого рода нарративы воспринимаются большинством нации как реальный исторический факт, способствуют активизации патриотических чувств и имеют в основном консолидирующий характер. Эти мифы, которые в научной литературе рассматриваются комплексно: и как исторические, и как национальные, живут в сознании многих народов и этнических общностей нашего времени, не-

⁷ Gaisreiter S. Die Entzauberung der Geschichtspolitik // Literaturkritik. 18.05.2009.

⁸ Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin, 2009. S.11.

⁹ Ebenda, S.12.

¹⁰ См.: Nora P. Les lieux de memoire. Paris, 1984–1994; Schulze H., Francois E. (Hg.) Deutsche Erinnerungsorte. Bd. 1. München, 2001; Flacke M. (Hg.) Mythen und Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin, 1998.

смотря на нередко полное их несоответствие исторической истине. Но, внедрившись в массовое сознание благодаря «национально» ориентированному изложению отечественной истории в учебниках для средней школы и средствам массовой информации, они становятся составной частью исторической памяти для многих поколений. Структурируя прошлое, общегерманские мифы с их разветвленной символикой веками служили немцам одним из немногих доступных инструментов для формирования актуальных национальных и политических смыслов. Основополагающим для немецкой идентичности национальным нарративом, определявшим символические константы исторической памяти народа до 1945 года, был «германский миф», конструируемый немецкими интеллектуалами на протяжении всего Нового времени на основе случайно обнаруженных в XV – начале XVI в. античных источников.

В условиях политической раздробленности немецкий национальный дискурс формировался поэтапно и децентрализованно, и в основном на уровне патриотически настроенного круга интеллектуалов неаристократического происхождения, опасавшихся культурной ассимиляции другими, более развитыми народами, прежде всего, Францией. Не удивительно, что при отсутствии единого политического пространства на первое место вышло пространство языковое и культурное. Главными компонентами формирования немецкого национального сознания стала общность языка, истории и культуры. Исходным моментом для этого процесса послужило новое открытие в 1425 г. малого произведения древнеримского историка Публия Корнелия Тацита (сер. 50–177) «Германия» (полное название – «О происхождении и местах обитания германцев»), написанного около 98 г. н.э. и посвященного описанию жизни и быта древних германцев. Впоследствии это небольшое сочинение стало главным документальным обоснованием идеи о восходящей к древним германцам общей для всех немцев этнической, языковой и культурно-цивилизационной принадлежности. Благодаря Тациту немцы обрели свою историю происхождения, а немецкие гуманисты, ведя на заре Реформации нескончаемые дискуссии с представителями папской курии, получили полное право утверждать, что их предки являлись исконными поселенцами германских территорий, всегда были свободными, храбрыми и отличались высокими нравственными качествами, которые унаследовали современные немцы¹¹.

¹¹ См. подробнее в статье: Заиченко О.В. “Германский миф”: немецкие интеллектуалы в поисках «общего прошлого» и национальной идентичности // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 305–335.

Второе судьбоносное событие для формирования национальной идентичности немцев произошло, когда так же случайно были обнаружены еще несколько латинских манускриптов: в 1509 г. найден текст «Анналов» Тацита, а в 1515 г. – текст «Римской истории» Веллея Патеркула с описанием состоявшейся в 9 г. н.э. битвы в Тевтобургском лесу между германцами во главе с вождем племени херусков Арминием и римскими легионами под предводительством наместника Германии Публия Квентилия Вара, в результате которой легионы были разбиты, а римская экспансия на левый берег Рейна навсегда остановлена. Так нарождающаяся нация получила своего Героя и ключевое событие, запустившее механизм немецкой истории. В скором времени Тевтобургская битва и Арминий превратились в национальные символы «освободительной войны», противостояния с Римом в борьбе за национальную идентичность.

Так на основе римско-латинского материала к началу XIX века, благодаря усилиям немецких гуманистов и просветителей, сформировался национальный нарратив со множеством тем и вариаций, и еще большим числом их трактовок. В нем можно выделить несколько неизменно повторяющихся сюжетных линий: основополагающий для всех народов миф о «славных предках», непобедимых древних германцах и их добродетелях; миф о превосходстве немецкого языка, на котором «говорили боги и герои древней Трои»¹², над романской языковой группой; миф о великом Герое Арминии и легендарной «победе над Римом» в Тевтобургском лесу. Именно на германском мифе долгое время держалась убежденность немцев в древности и автохтонности их этноса и языка, о своем культурном, а затем и расовом превосходстве над другими народами, о расовой чистоте и фенотипе «истинного арийца», о добродетелях немецкой женщины-матери и т.п. Отсюда же проистекала вера в необходимость отстаивать свою национальную самобытность против «латино-романской экспансии», под которой понимались сначала итальянцы, потом испанцы и, наконец, французы. В итоге, помимо позитивного образа себя как нации, германский миф стал основой для конструирования контрмифа об исконной борьбе германцев с имперским «Римом», где стилизованный образ условного «Рима» на разных этапах истории воспринимался как внешний «заклятый враг» всего «немецкого» и также служил мощным стимулятором консолидации и политической эффективности «опоздавшей нации».

¹² Münkler H., Grünberger H., Mayer K. Nationenbildung: Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer Intellektueller: Italien und Deutschland. Berlin, 1998. S. 163ff.

Образ «Другого» имел очень большое значение для немецкой идентичности, формировавшейся во многом за счет отставания языковой и культурной самобытности через разграничение с внешним миром. Так как создание собственной национальной общности было затруднено, а коллективный исторический опыт часто носил негативный характер, что долгое время лишало немцев повода для гордости, то именно в столкновении и противопоставлении себя соседним народам немцы пытались побороть фрустрацию и утвердить собственную идентичность как уникальную и самоценную.

Действительно, процесс формирования немецкого национального самосознания был осложнен рядом факторов: вековая раздробленность на экономически не зависимые друг от друга княжества, отсутствие естественных границ и несовпадение границ немецкого языкового пространства с государственными границами, длительное отсутствие единой столицы, конфессиональное разделение немецких земель на преимущественно католический юг и протестантский север¹³. Даже само слово «Германия» казалось абстракцией, не имевшей конкретного наполнения¹⁴. Страны с таким названием не существовало, а географическое понятие «Германия» имело слишком нечеткие границы. Священная Римская империя также не могла придать Германии более определенных очертаний, несмотря на полученное в начале XVI в. многообещающее добавление «немецкой нации». Империя была не в состоянии дать немцам ощущение единства уже потому, что ее границы были еще менее определенными, чем границы Германии географической. Имперские князья владели землями вне Империи (Венгрия, польские земли), а иностранные государи, например, короли Дании и Швеции, располагали территориями внутри нее. Кроме того, из-за своего географического расположения немецкий этнос все время находился в центре военных конфликтов и международно-политических кризисов, что обуславливало сознательное торможение соседними великими державами процесса образования немецкого государства-нации. Окончательным приговором для него стал Вестфальский мир 1648 года, в результате которого политическая раздробленность германских земель закреплялась в виде нормы как внутреннего, так и международного права.

¹³ См.: Schilling H. Nationale Identität und Konfession in der europäischen Neuzeit // Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Frankfurt a.M., 1991.

¹⁴ Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. In 8. Bde. Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 1972–1997. Bd. 7, 1992. S. 485ff.

Прогрессирующее политическое и культурное отставание немцев от своих более успешных соседей, ставшее вполне наглядным уже в начале XVI в., наряду с ощущением угрозы культурного «поглощения» порождало в интеллектуальной среде Германии комплекс «европейского неудачника», «опоздавшей нации». С XVI в. национальной персонификацией Германии стала фигура «немецкого Михеля» в ночном колпаке – ленивого, глуповатого простофили, терпеливо переносящего невзгоды, издевательства и насмешки соседей. Для такого самовосприятия существовали не только внутренние, но и внешние причины. С XV века вокруг слабой и аморфной Священной Римской империи формируются успешно конкурирующие с ней центры силы и международного влияния: религиозный – в католическом Риме во главе с понтификом, культурно-политический – во Франции с его Парижским университетом, исторический – в Италии, стране «прямых потомков римлян». Когда итальянцы монополизировали высокую античность, папская курия – христианство, а французы – европейскую культуру, немецкие интеллектуалы остро ощутили себя «варварами», которым не оставалось ничего другого, как искать собственные истоки и национальные традиции. Не выдерживая конкуренции, они постепенно отказываются от претензий на наследие Древнего Рима. С XVI в., после того, как были обнаружены неизвестные ранее сочинения Тацита и других латинских авторов, содержавшие сведения о германских племенах, обитавших на левом берегу Рейна, немецкий исторический дискурс начинает формироваться вокруг дегероизации античного Рима и прославления германских «варваров», противопоставления «собственных германских традиций» «римско-латинской» цивилизации, вплоть до полного отказа от «романских» ценностей и затяжного конфликта с папской курией, закончившегося немецкой Реформацией. Осознав себя потомками древних германцев, немцы Нового времени таким образом преодолевали комплекс цивилизационной неполноценности. Патриотически настроенная интеллектуальная элита использовала вновь обретенные после «темного» Средневековья произведения классической античности в качестве основы и инструмента для конструирования собственной национальной древности и утверждения собственного национального литературного языка через полное отрицание ценности «латино-романского» мира, как «чуждого», враждебного, и через провозглашение «борьбы с Римом».

Так как развитие немецкой идентичности с самого начала было затруднено, с одной стороны, политической слабостью, раздробленностью и отсутствием религиозного консенсуса внутри страны, а

с другой стороны во многом определялось угрозой культурной, экономической, а зачастую и военной экспансии извне, мы можем говорить о ее изначально оборонительной модели и реактивном характере формирования. Немецкое национальное сознание как минимум с XVI века определялось комплексом “опоздавшей нации” и “европейского парии” на фоне более “успешных” Италии и Франции. Германский исторический миф был реакцией на культурное и политическое давление со стороны соседей. Отсюда проистекают постоянная фрустрация и вечное стремление к реваншу, и, наконец, “мессианская идея” и концепт “особого пути”, который так дорого обошелся немецкой истории. Отсюда же конструирование национальной идентичности в вечном противопоставлении себя «романскому началу» – условному “Риму”, как антиподу всему германскому. Кульминацией этого процесса стали наполеоновские войны, которые впоследствии были названы «эпохой пробуждения Германии». За 10 лет с небольшим немецкий национальный дискурс окончательно конституировался как антифранцузский и антизападный, с выраженной претензией на «этническую эксклюзивность»¹⁵. В этом контексте, взяв за исходную точку исследования концепт «борьбы с Римом», представляется интересным на основе анализа сочинений немецких авторов XVI – первой четверти XIX в. художественного и публицистического характера, относящихся к национальному дискурсу, рассмотреть, как образ немецкого “прошлого”, аккумулированный в “германском мифе”, рефлексировался на различных этапах немецкой истории, что, в конечном итоге, привело к краху национальной идеи 1945 г., а также оценить влияние этой рефлексии на становление и развитие немецкой идентичности.

«Борьба с Римом» и специфика генезиса немецкой самоидентификации в XVI – XIX вв.

Генезис национальной самоидентификации – сложный, занимающий столетия многоэтапный процесс осознания национальной общностью собственной уникальности, с присущими ей интересами, потребностями, особенностями языка, культуры и истории, отличающими ее от других народов. Если говорить о немецкой самоидентификации как о системном процессе, то он обладает уникальной спецификой. Как мы уже отмечали, в условиях длительного отсутствия национального государства, вовлеченности во все крупные военно-политические конфликты Нового времени часто с самыми негативными последствиями для Германии, масштабных миграций

¹⁵ Гринфельд Л. Национализм. Пять путей у современности. М., 2008. С. 365.

немецкоязычного населения, конфессионального и социокультурного раскола немецкое общество практически не имело шансов на полноценный процесс «позитивной» национальной самоидентификации. По оценке политолога Михаэля Мертеса: «Вопрос немецкой идентичности относится к феноменам кризиса. Он возникает тогда, когда национальное сообщество теряет ориентацию, переживает чувство глубокой неуверенности или даже потерянности»¹⁶.

Справедливость этого высказывания подтверждает ретроспективный анализ генезиса немецкой самоидентификации на условном временном отрезке между совпавшим с Реформацией началом формирования национального дискурса в XVI в. и внятной артикуляцией целостной этнокультурной модели немецкой идентичности во время наполеоновских войн в первой четверти XIX в. При ближайшем рассмотрении этот процесс распадается, как минимум, на две большие фазы развития, тесно связанные с крупнейшими социально-политическими кризисами европейской истории. Первая фаза представляет довольно длительный период с кульминационными моментами, связанными с Реформацией, Тридцатилетней войной (1618–1648), по праву названной современниками «Немецкой», Семилетней войной (1756–1763) и завершается Французской революцией конца XVIII века. Она охватывает почти три столетия – с XVI по XVIII в., когда национальная идентичность, развивавшаяся как ответ на внешний вызов, существовала преимущественно в кругах ренессансных и просвещенческих интеллектуалов, тогда как для основной массы населения были характерны конфессиональная и территориальная самоидентификация. Даже накануне Французской революции, в 1783 г., южногерманский публицист Иоганн Каспер Рисбек (1754–1786) был вынужден с прискорбием констатировать: «У немцев нет ничего от национальной гордости и любви к отечеству... Их гордость и чувство отечества относятся только к той части Германии, где они родились. К другим своим соотечественникам они чужды точно так же, как к любому иностранцу»¹⁷. На массовом уровне вопрос о национальной идентичности в мирное время практически не вставал, и только кризисные ситуации, например, войны, требовавшие национальной мобилизации, стимулировали поиск ответа на вопрос «кто такие немцы?».

В качестве реакции на Реформацию и длительный социально-политический кризис, вызванный разорившими Германию европей-

¹⁶ Мертес М. Немецкие вопросы – европейские ответы. М., 2001. С. 34.

¹⁷ Riesbeck J.K. Der deutsche ist der Mann für die Welt // Schulze H. Der Weg zum Nationalstaat. München, 1997. S. 129.

скими войнами с XVI по XVIII век, немногочисленным слоем просвещенной элиты создается главный немецкий исторический миф – миф о древних германцах как непосредственных предках современных немцев, который стал решающим для формирования национальной идентичности и дал, наконец, разобщенному народу с довольно туманным и аморфным прошлым отчетливое представление о собственной уникальности, непрерывности немецко-германской истории и сущностном единстве. Различные формы переработки и дальнейшей письменной фиксации германского мифа, а также создание новых мифов, опирающихся на древние традиции, составляют обширное наследие немецких литераторов и публицистов на протяжении трех столетий. В кризисные моменты они прибегали к подобным легендам и сказаниям о «прошлом величии» в тех случаях, когда стремились вызвать у немцев ощущение преемственности поколений, противопоставляя «былую мощь» современному плачевному состоянию немецких земель.

В качестве второй фазы развития национальной идеи можно выделить период, когда произошел стремительный скачок в развитии национальной мифологии, последовавший за Французской революцией. Он также был связан с общественно-политическими потрясениями, вызванными наполеоновскими войнами (ноябрь 1799–июнь 1815). Это была эпоха массовых национальных и революционных движений, когда национальная идея, наконец, покинула кабинеты интеллектуалов и стала частью политических процессов, когда сконструированная с помощью исторических мифов воображаемая национальная идентичность распространилась на идеологическое и политическое пространство.

Сложившаяся в Европе кризисная ситуация во многом способствовала революционному скачку в немецком сознании. Она потребовала нового прочтения немецкой истории, ее систематизации и стала толчком для бурного развития национальной идентичности. Немецкие философы и литераторы были вынуждены реагировать на самый серьезный за всю историю взаимоотношений идейно-политический вызов со стороны своих «заклятых врагов». После революции 1789 года французы, вечные антагонисты и противники немцев, обрели свой главный политический миф, в котором штурм Бастилии, казнь короля были представлены в виде акта революционного самоочищения нации. Революционный миф легитимировал французскую экспансию в Европе, превратив Наполеона на начальном этапе войны в глазах либерально настроенных немцев из захватчика германских земель в носителя прогресса и свободы. В этих условиях поли-

тического раскола, повлекшего за собой острый кризис национальной идентичности, немецким интеллектуалам было необходимо мобилизовать и противопоставить французам свой собственный национальный миф. И они вновь обратились к нарративам о древних германцах и имперском Средневековье, не только романтизируя прошлое, но и германизируя его, старательно удаляя все «латино-романские» элементы и наслоения из заново конструируемой истории. Как писал в своей «Краткой истории Германии» профессор Берлинского свободного университета Хаген Шульце, в начале XIX в. «немцы, как и прежде, формировали свою идентичность в борьбе, на этот раз в борьбе против “корсиканского чудовища”, против Франции, а значит, опять против Запада»¹⁸. Причем в это время идеологическая «борьба с Западом», имевшая целью полное отделение «германского» начала от «романского» мира, вышла на новый уровень, приняв почти эсхатологические черты. В постоянно развивающемся патриотическом дискурсе речь шла уже не столько о военном конфликте немцев и французов, двух соседних народов, а о противостоянии двух принципиально различных и враждебных друг другу экзистенциальных сущностей: близкая к природе и Богу германская культура сопротивлялась натиску безбожной искусственной западной цивилизации; немецкий духовный идеализм сражался против расчетливого западного рационализма, самобытная народная общность германцев противостояла бюрократическим институтам и механической унификации западных государств. Мифологизированная символика, бывшая долгое время уделом узкого круга литераторов, стала важнейшей частью формирующейся массовой политической идеологии национального сопротивления.

Как уже отмечалось, в кризисные моменты истории германский миф служил для немцев не только средством самоидентификации, сплочения и поднятия коллективной самооценки, но и основой для создания контрмифа о «Других», который также укреплял идентичность, но другим способом. Он подчеркивал несхожесть, враждебность «Других», резко проводя черту между «Мы» и «Они», поднимая собственную самооценку путем обесценивания противника. В этом противопоставлении между «немецким» началом и всем тем, что на данный момент должно было символизировать западную цивилизацию, колыбелью которой считался античный Рим, проявлялся функциональный императив контрмифа об «исконной борьбе гер-

¹⁸ Schulze H. Kleine deutsche Geschichte. Mit Bildern aus dem Deutschen Historischen Museum. München, Verlag C.H. Beck, 1996. S. 234.

манцев с Римом». В ходе освободительной войны с Наполеоном главный немецкий контрмиф получил свое окончательное оформление.

Противопоставляя «германский мир» Западу, воплощением которого был имперский «Рим», немецкие интеллектуалы, конечно же, имели в виду не столицу только что созданного Итальянского королевства, а мифический символ, который на протяжении двух тысяч лет олицетворял собой унифицированный глобальный «Европейский порядок», условную «романскую империю» как воплощение универсальной политической власти в Европе. В начале XIX века на политическую монополию на континенте претендовала Франция во главе с Наполеоном. Но точно так же в XVI в. в призывах к «борьбе с Римом», в гневных инвективах деятелей немецкой Реформации в адрес католической церкви речь шла об итальянском католическом Риме как резиденции понтифика, претендовавшего на универсальную духовную власть в Европе. Так в разные эпохи условный «Рим», стилизованный в виде итальянской или французской «угрозы», использовался как антагонистический образ, противостоящий духовной и политической независимости свободолюбивых «добрых немцев». Следовательно, все, что рассматривалось как изначально присущее немцам, в рамках созданного контрмифа воспринималось в качестве антитезы тому, что на данном этапе включало в себя понятие «Рим».

На протяжении большей части XIX века образ Рима, соединенный с Францией, оставался в Германии олицетворением всего враждебного и угрожающе опасного. В рамках мифической дихотомии – «германское» начало против «романского» – в немецкой литературе конструировались различные антагонистические пары героев. Так, вполне традиционным было противопоставление императора французов Наполеона в образе римского наместника Публия Квентилия Вара и вождя германского племени херусков Арминия /Германа. Эта пара, разыгрывая вновь воображаемые картины давнего прошлого, должна была воплощать символический контраст между имперскими притязаниями французов и немецким сопротивлением натиску «Рима». Куда более экзотичным было противопоставление в рамках контрмифа о «Борьбе с Римом» Наполеона и внезапно умершей совсем молодой королевы Пруссии Луизы¹⁹, еще при жизни ставшей

¹⁹ Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская (Luise Auguste Wilhelmine Amalie zu Mecklenburg; 1776–1810), супруга Фридриха Вильгельма III, королева-консорт Пруссии. Жизнь Луизы казалась современникам неразрывно связанной с борьбой Германии против Наполеона. После ранней смерти королевы Луиза стала объектом почти культового почитания, символом нового подъема Пруссии и становления Германской империи.

воплощением мифа о германских добродетелях и, прежде всего, немецкой «женщине-матери». Эта пара, опираясь на несвойственную «германскому мифу» христианскую эсхатологию, символизировала неизбежность победы германских добродетелей над пороками Рима, используя при этом оппозицию образа прусской святой мученицы, принявшей смерть за родину, и французского антихриста. В итоге в немецкой литературе сложилась система контрмифов с использованием конкурирующих образов и символов, связанных с Германией и Францией. Например, отстаивая древность и естественную самобытность немецкой культуры, было принято противопоставлять искусственно-симметричным паркам роскошного Версаля скромную природную красоту берегов Рейна с развалинами старинных замков²⁰. А в споре с французами за первенство в изобретении «истинной» готики немцы традиционно противопоставляли друг другу Страсбургский собор²¹ и фигуру Бамбергского всадника²².

Столетие спустя концепт «борьбы с Римом» и его символика не потеряли свою актуальность для немцев, продолжавших участвовать во всех мировых войнах XX века. В 1923 г. один из самых ярких знатоков права и политической теории Веймарской республики Карл Шмитт (1888–1985) даст ему определение, назвав систему контрмифов, связанных с «образом врага», «антиримским аффектом»²³. Поводом говорить о немецком «антиримском аффекте» стал тяжелейший национальный кризис, вызванный последствиями первой мировой войны, которую французская пропаганда сразу же обозначила как «наступление западной цивилизации на германских варваров»²⁴. Не удивительно, что даже писатель Томас Манн (1885 – 1955), находясь так же, как и многие его современники, под влиянием «антиримского аффекта», увидел в начавшейся в 1914 г. войне, охватившей всю Европу, лишь «новую вспышку (...) древней борьбы Римского мира против своенравной Германии»²⁵.

²⁰ Münkler H., Grünberger H., Mayer K. *Nationenbildung...* S. 200.

²¹ Страсбургский собор (Straßburger Münster) – католический кафедральный собор в Страсбурге, заложенный в XI в., объединяет в себе немецкие и французские культурные влияния.

²² Бамбергский всадник (Bamberger Reiter) – статуя рыцаря на одном из столбов у входа в Бамбергский кафедральный собор в Баварии (создан в первой половине XIII в. неизвестным скульптором).

²³ Schmitt C. *Römischer Katholizismus und Politische Form*. Hellerau: Theater-Verlag, 1925. S. 5.

²⁴ Krapf L. *Germanenmythos und Reichsideologie: Frühhumanistische Rezeptionsweisen der taciteischen "Germania"*. Tübingen 1979. S. 43ff.

²⁵ Mann T. *Betrachtungen eines Unpolitischen*. Berlin: S. Fischer, 1918. S. 47.

В немецком «антиримском аффекте» на протяжении столетий различались разные формы и мотивы. Сначала это был страх гуманистов перед романизацией немецкой культуры. Затем – сопротивление немецкого протестантизма давлению римско-католической церкви. В XVII в. специально созданные «языковые общества», развивавшие миф о превосходстве и чистоте немецкого языка, вели борьбу с его «порчей» – языковыми и культурными заимствованиями из латыни, французского, итальянского и других романских языков, а также модой на все «французское», охватившей немецкую аристократию. С XVIII в. возникает национальная литература, опера и театр, а политические институты, поэзия, музыка и право начинают рассматриваться как своего рода эманации глубинной сути потомков древних германцев. В результате «Борьба с Римом» или немецкий «антиримский аффект» как стремление отказаться от любых иностранных заимствований, включая моду, личные имена и латинские названия месяцев в календарях, получает дальнейшее распространение. Например, в середине XIX в. в правоведении все большую силу набирали так называемые «германисты» во главе с юристом Карлом Георгом Безелером (1809–1888), которые противостояли «романистам» и утверждали, что национальному духу больше соответствует не рациональное римское право, чуждое немецким представлениям о справедливости, а исконно германское «народное право». Еще одним проявлением «антиримского аффекта» можно считать развернувшееся во второй половине XIX в. движение против промышленной индустриализации. Оно вылилось в пропаганду сельского образа жизни в качестве исходной основы германо-немецкой морали и нравственности, которому противостоит имперская столица разврата Рим как мировой Вавилон, как символ зла и порока. Кульминацией «Борьбы с Римом» стал 1871 год – год основания новой империи Гогенцоллернов, когда выдающийся немецкий историк Вильгельм фон Гизебрехт (1814–1889) объявил нации об одержанной потомками древних германцев победе: «Империя, в которую мы входим – новое творение. В ней нет ничего римского. Отныне все будет устроено только по-немецки! Открывается новая глава мировой истории. Это означает, что новый германский рейх должен навсегда отречься от всех римских традиций!»²⁶.

Этой победе над «Римом» предшествовал почти столетний период формирования не только негативного образа «Другого», тем более, что негатива в жизни немцев было более, чем достаточно, но

²⁶ Giesebrecht W. Deutsche Reden. Leipzig, 1871. S. 37.

и позитивной репрезентации себя как нации. Это было более трудной задачей, так как печальное настоящее давало немцам мало поводов для коллективной гордости и национального самоутверждения. В самый тяжелый период кризиса национальной идентичности на рубеже XVIII–XIX вв., на фоне общественно-политических потрясений после Французской революции и накануне военной «французской угрозы» немецкие интеллектуалы обратились к историческим мифам, чтобы с помощью «славного прошлого» нации перекинуть «мост надежды» в ее безрадостное настоящее. Исходя из тезиса о бескорыстии и моральной чистоте как части национального своеобразия древних германцев, они старались объяснить причины нынешних неудач и создать образ «великого будущего», закономерно вытекающий из особенностей «славного прошлого». В итоге в их рассуждениях на первый план выходили идеи исторической преемственности, уникальности «народного духа», самобытности развития немецкой нации, а также присущего ей особого благочестия, что давало немцам право на ощущение собственной исключительности.

Пытаясь оправдать долгий процесс образования национального государства, университетская гуманитарная профессура Германии объясняла немецкое «отставание» от других народов существованием особого пути развития или исторической миссии немцев. Провозглашая исключительность своего народа, интеллектуальная элита приписывала немцам особое предназначение, включавшее миссию распространения европейской культуры и защиты свободы и христианских ценностей, как это делал просветитель Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), или же всемирно-историческую задачу нравственного совершенствования человечества, как утверждал в лекциях «К германской нации» (1808) философ Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814). Именно в этот кризисный период, несмотря на давнюю предисторию развития исторических мифов и контрмифов, идея национальной исключительности как политический и мировоззренческий феномен в германских землях приобрела четко выраженные формы.

На фоне ускоренного поиска новых форм немецкой идентичности шел процесс национальной консолидации. Помимо немецкой школы юриспруденции в Германии начинает формироваться национальная педагогика, теоретики которой утверждали, что каждая нация представляет собой замкнутое в себе самой целое, поэтому немецкая педагогика может быть только специфически-германской²⁷, основанной на самобытности «народного духа». Подобных взглядов

²⁷ Кёниг Г. Национальное воспитание и освободительная война // Освободительная война 1813 года против наполеоновского господства. М., 1973. С. 307–325.

придерживались и экономисты, наиболее яркий представитель которых Фридрих Лист (1789–1846) сделал одной из центральных категорий своего исследования именно германскую нацию, определяемую общим языком и происхождением, а потому являющуюся оригинальным и самодостаточным «экономическим организмом».

Процесс формирования собственного позитивного образа в начале XIX в. был отмечен в Германии также ростом интереса к национальной старине, новым поиском национальных мифов и национальных героев. Были изучены и переработаны все подходящие нарративы: от латинских сочинений, основанных на исторических событиях (прежде всего «Германии» Тацита), до германских средневековых сказаний: например, легенды о втором пришествии спящего под горой Кифхойзер императора Барбароссы или вновь обнаруженной мифической Песни о Нибелунгах. На роль национальных героев предлагались реальные и сказочные персонажи, обладавшие достаточной харизмой: от упоминавшихся в хрониках военачальников – князя херусков Арминия /Германа и императора Фридриха I Гогенштауфена, до сказочного персонажа Зигфрида, победителя дракона. Средневековые сказания и античные хроники, исторические личности и события были «протестированы на пригодность» для использования в формировании национальной идентичности. В итоге, немецкие романтики сконструировали, наконец, национальную историю, которую больше не надо было делить с французами.

В первые десятилетия XIX столетия на основе германского мифа в немецкой литературе быстро формируется разветвленная национальная мифология с множеством героев и сюжетов. Причем в этом процессе проявилось еще одно своеобразие генезиса немецкой национальной идентичности, так как в нем почти не принимали участия государственные структуры, аристократия и правящая элита, как это было у других народов. Переживая перманентный кризис национальной идентичности, немецкое общество получило уникальный исторический шанс для формирования особых социально-психологических механизмов консолидации, в меньшей степени зависящих от прямого воздействия государства и иных властных институтов. Основные исторические мифы Германии, которые до начала XIX в. оставались уделом просвещенного меньшинства, на протяжении нескольких веков формировались в кругах интеллектуалов, не принадлежавших к дворянству и оттесненных им от политической активности, однако претендовавших на деятельное участие в национально-культурной жизни. Литературное творчество как инструмент формирования исторического мифа, в форму которого облачалась нацио-

нальная идея, постепенно становилось для образованного слоя немцев своего рода сублимацией политической активности, не находившей применения в реальной жизни общества.

Не имея выхода в политическое пространство, на протяжении веков немцы, в отличие от других народов, рассматривали себя как «культурную нацию», связанную единством языка, литературы и истории. Находясь в состоянии политической, экономической и конфессиональной разобщенности, к началу XIX в. Германия смогла создать лишь один не подлежащий сомнению интегрирующий элемент – общий немецкий литературный язык. Тогда же благодаря массовому распространению грамотности и развитию средств массовой информации, а главное – «надрегиональному характеру» немецкой литературы, ставшей главным инструментом коммуникации образованных слоев и трансляции национальных идей, возникла общегерманская культурная общность, состоявшая из немецкоязычных писателей и их читателей.

В результате главным носителем и популяризатором национальной истории стал довольно широкий слой образованной буржуазии Германии, которая прекрасно ориентировалась в исторических сюжетах и переплетении мифической символики благодаря знанию немецкого фольклора, литературы и искусства. Буржуазия фактически присвоила себе национальную мифологию, используя ее для собственной репрезентации. Достоинства древних германцев окончательно составили кодекс буржуазных добродетелей, которые противопоставлялись безнравственности и космополитизму аристократии, находящейся под влиянием французского языка, «романской» литературы и моды. В итоге скромный трудолюбивый бюргер, а не представитель правящей элиты стал «истинным немцем», воплощением нации. Востребованные во время наполеоновских войн исторические мифы, приобрели, наконец, массовый характер и легли в основу формирования будущей националистической идеологии, не потеряв своей актуальности и в период объединения Германии, а затем во времена кайзеровской Германии и особенно Третьего Рейха.

Кто «Мы» и кто «Они»?

Классификация немецких исторических мифов

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению особенностей влияния национальных мифов, как одной из форм коллективной памяти, на формирование немецкой идентичности, попробуем взглянуть на немецкий исторический нарратив как на две группы источников, тесно связанных между собой происхождением и содержанием, находящихся в отношении соподчинения, но обладаю-

щие разными идейно-психологическими механизмами воздействия на общественное сознание. В современной историографии неоднократно делались попытки как-то структурировать германскую историческую мифологию. Все они вполне логичны и имеют право на существование²⁸. Но нам в этом исследовании представляется целесообразным предложить еще одну классификацию и выделить из общей массы текстов основные составляющие, так называемого конституирующего «мифа о происхождении» и производные от него, чаще подверженные изменению и переосмыслению мифы о «Героях» и связанные с ними контрмифы о «Других».

Первая группа, составляющая главный национальный миф о древних германцах, дает развернутый ответ на вопрос: кто такие немцы? Она составляет основу положительной национальной самоидентификации, так как определяет важнейшие содержательные компоненты немецкой национальной идеи: общее происхождение, знаковые места исконного расселения, воображаемые константы немецкого национального характера и внешнего облика «истинного немца», обосновывает самобытность народа и его непохожесть на другие нации, а часто его превосходство над другими и богоизбранность. Как правило, это – «истории на века», которые практически не меняются с течением времени, дольше других остаются актуальными и в разные эпохи легко встраиваются в новые идеологические конструкции. К таким основополагающим мифам, следует отнести, прежде всего, миф об общем происхождении немцев, а также связанные с ним представления о превосходстве и уникальности немецкого языка и развивающий дальше во времени основные идеи мифа о древних германцах, так называемый имперский миф. Базовым в этом нарративе, безусловно, являлся германский миф о происхождении, который опирался на «Германию» Корнелия Тацита и обосновывал претензии немцев не только на древнее происхождение, но и на целый комплекс моральных качеств, которыми интеллектуалы наделили своих соотечественников. Задачей этого мифа, как верно отмечает исследователь Дитер Лангевитше, было «уничтожить историческое время, чтобы перенести начала собственной нации в мифическую даль»²⁹.

²⁸ См., напр.: Mythen und Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin, 1998; Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik Der Hermann-Mythos: Zur Entstehung des Nationalbewusstseins der Deutschen. Hamburg, 1996; Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen... и др.

²⁹ Langewiesche D. Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa. München, 2000. S. 26.

Во вторую группу выделим так называемые мифы о «Героях» и их победах над «исконными врагами» нации. Эти нарративы являются производными от первой группы основополагающих мифов: германского эпоса о предках и имперского мифа. Как правило, это – призывы к действию, мифы борьбы, и очень часто, предательства, которые формировали не только положительный образ «своих», но и негативный образ «чужого», образ «врага». Они сильно активизировались в период войн и кризисов, и в зависимости от обстоятельств, наиболее часто наделялись новыми смыслами: борьба с античным или католическим Римом, борьба с итальянцами и французами, борьба протестантов с папской курией, борьба с иностранным влиянием и за национальную и культурную самобытность, борьба за государственное единство, политическая борьба с внутренними врагами за конституционные реформы и врагами внешними за политическое преобладание в Европе. В случае поражения к мотиву борьбы присоединялся мотив предательства, «удара в спину», объяснявший причины военных и политических неудач. По сути немецкие мифы о «Героях» были тесно связаны с контрмифами, которые Карл Шмитт обозначил как «антиримский аффект», а мы назовем «исконной борьбой германцев с Римом». Наиболее значимым общегерманским мифом о «Герое», поддерживавшим немцев во время войн и кризисов, является миф о вожде германского племени херусков Арминии / Германе, победившем римлян в 9 г. н.э. в Тевтобургском лесу. Этот нарратив, основанный на документальных свидетельствах о первом национальном герое Германии и главном событии немецкой истории, дал начало не менее значимому для немецкой идентичности контрмифу о вечной «борьбе с Римом». Возникнув как литературный образ, как художественная проекция, концепт «борьбы с Римом» быстро превратился в политическую идеологию, инструмент пропаганды, который активировался каждый раз, когда было необходимо обозначить внешнего или внутреннего врага нации.

«Борьба» с католическим Римом и зарождение немецкого национального мифа

Многие важнейшие содержательные основы немецкой национальной идеи – германский и имперский мифы с ярко выраженной антироманской коннотацией, концепция превосходства немецкого языка – были заложены еще в эпоху гуманизма и барокко. На рубеже XV–XVI вв. Германия уже была «беременна» Реформацией. Задолго до публикации Мартином Лютером 31 октября 1517 г. в Виттенберге своих 95 тезисов, в немецкой гуманистической среде были распро-

странены антикатолические настроения. Питательной почвой для них были вековые претензии папства не только на духовную, но и на светскую власть в германских землях на фоне открытой нравственной деградации представителей римской курии. Память об унижении для немцев «Хождении в Каноссу»³⁰ на фоне роста денежных поборов в пользу римско-католической церкви побуждала немецких гуманистов уже в XV в. вести постоянную борьбу с католическим Римом. Она проявлялась в основном в двух формах. Одна из них – участие в антиримском движении «Gravamina» (Гравамина), которое оказало значительное влияние на формирование положительной самооценки у немцев. Речь идет о документе под названием «Gravamina Germanicae Nationis» или «Исковые претензии немецкого народа» к римской курии, который стал первой многолетней формой коллективного выступления «германской нации» против злоупотреблений католического Рима. Периодически обновляясь, текст, состоявший из десятков статей с претензиями имперских сословий к папе, начиная с 1456 г. служил постоянным предметом обсуждения на заседаниях рейхстага. Германские князья, высшее духовенство, свободные города и прочие представители «natio germanica» периодически выражали недовольство условиями подписанного в 1448 г. между папой Николаем V и императором Фридрихом I Венского конкордата, который в обход Базельского собора 1431 года «навсегда» зафиксировал новый государственно-правовой статус и структуру институтов католической церкви на территории Германии³¹. В результате у местных архиепископов были отобраны последние свободы и даже видимость самостоятельности. С тех пор в рейхстаге регулярной критике подвергался рост влияния папы и римской курии на распределение церковных доходов и должностей в Германии, взимание разнообразных платежей за исполнение религиозных обрядов и,

³⁰ Хождение в Каноссу, или каносское унижение (Gang nach Canossa) – датированный 1077 годом эпизод из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной Римской империи. Император Салической династии Генрих IV, чтобы снять наложенное на него понтификом отлучение от церкви, совершил пешее паломничество в Каноссу, где покаялся перед папой, стоя на коленях. Этот эпизод ознаменовал победу папы Григория VII над императором Германии. Во время Реформации XVI в. немцы превозносили Генриха IV как защитника прав германцев и борца с папской курией. Многие лютеране считали его «первым протестантом» и использовали его пример в борьбе против тиранического давления со стороны католического Рима, а затем и любой «внешней угрозы».

³¹ Wolgast E. Gravamina nationis germanicae // Theologische Realenzyklopädie. Bd.14 Berlin, New York, 1985 S. 105 – 151.

в том числе за продажу индульгенций. Помимо финансовых претензий в «Gravamina» рассматривались вопросы религии и политики. В частности, в ней содержался призыв к фундаментальной реформе церкви, «развращенной властью пап»³², и возвращению к истокам раннего христианства, а также всячески подчеркивалась враждебность «деспотического» Рима «немецкой свободе»³³. В первые десятилетия XVI века активное участие в составлении «Gravamina» принимали немецкие гуманисты Якоб Вимпфелинг и Ульрих фон Гуттен. В 1521 г. в работе над отдельными статьями для «Gravamina» участвовал Мартин Лютер. А за год до этого в 1520 г. он опубликовал одно из самых значительных своих произведений – «Христианскому дворянству немецкой нации об улучшении состояния христианства», в котором пытался объяснить немцам «почему в давние времена знаменитые государи Фридрих I, Фридрих II и многие другие германские императоры, перед которыми трепетал мир, потеряли все свое величие и были попораны ногами пап»³⁴.

Из контекста сочинения Лютера нетрудно догадаться, что вторым поприщем «борьбы с Римом» стала литературная полемика с итальянскими публицистами, также связанная с противостоянием экономическому и культурному давлению со стороны римской курии. Конрад Цельтис (1459–1508), Якоб Вимпфелинг (1450–1528), Ульрих фон Гуттен (1488–1523) и другие гуманисты Германии в своих сочинениях в противовес церковному преобладанию итальянцев стремились доказать равноправие, если не превосходство немцев. Будучи не в силах оспаривать очевидное преобладание итальянской культуры в настоящем, они искали компенсации в областях не столь очевидных: в истории и моральных качествах немцев.

Как раз в это время была найдена знаменитая «Германия» Тацита, представлявшая собой краткое этнографическое описание «варварских» народов к северу от Альп, которые были обозначены римским историком под общим названием «германцы». Это событие позволило предвестникам немецкой нации говорить применительно к «аморфному в прошлом, постоянно видоизменяющемуся полити-

³² Schindling A. Reichskirche und deutsche Nation in der frühen Neuzeit. //Heinz-Gerhard Haupt (Hrsg.). Nation und Religion in der deutschen Geschichte. Frankfurt, 2001 S.71f.

³³ Gebhardt B. Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation. Breslau, 1895. S. 24.

³⁴ Лютер М. Христианскому дворянству немецкой нации об улучшении христианского состояния // Источники по истории Реформации. М., 1906. Вып. 1. С. 6.

ческому миру между Северным и Балтийским морями, Рейном, Дунаем и Вислой как об исторически цельном – земле немцев»³⁵.

Сочинение римского историка было найдено в 1425 г., когда известный итальянский гуманист, писатель, собиратель античных рукописей и по совместительству секретарь папской курии Поджо Браччолини (1380–1459) получил от монаха из Герсфельдского аббатства инвентарную опись ряда рукописей, в числе которых находилась рукопись малых произведений Тацита³⁶. Копия этого текста в середине XV в. была привезена в Италию, где она попала в руки другого знаменитого итальянского гуманиста, знатока античной литературы и бывшего личного секретаря германского императора Фридриха III Энеа Сильвио Пикколомини (1405–1464). В 1458 г. Пикколомини был избран папой под именем Пия II. В том же 1458 г. германский рейхстаг направляет папе очередные 32 статьи «*Gravamina nationis germanicae*», и Пий II, вспомнив о недавно найденном манускрипте Тацита, решает использовать его в собственных политических целях при написании официального опровержения претензий имперских сословий к Риму. Приводя обширные цитаты из Тацита, где тот описывал варварство германских племен, Пий II, будучи одним из самых просвещенных людей своего времени, сравнивает древних германцев с современными немцами, чтобы наглядно продемонстрировать цивилизационные достижения последних. При этом он всячески подчеркивает, что нынешний культурный уровень был достигнут немцами благодаря римлянам и, особенно, благотворному влиянию католической церкви, которое веками оказывалось папским престолом на германцев/немцев. Тем самым он официально отверг претензии «*Gravamina nationis germanicae*» с жалобами на римскую курию, составленными Мартином Майером, канцлером архиепископа Майнца, и оправдывал поборы в пользу католической церкви как компенсацию за усилия по цивилизации народов Германии со стороны Рима³⁷. Главный вывод, к которому приходит Пий II: благодаря целенаправленным усилиям римлян варварство древних германцев было успешно преодолено, сделав современных немцев уважаемыми членами европейской семьи народов³⁸.

Реакция немецких гуманистов не заставила себя долго ждать. Быстро развернулись бурные дебаты, в основе которых первое время

³⁵ Доронин А. Историк и его миф. М., 2007. С. 238.

³⁶ См. Тронский И.М. Корнелий Тацит // Тацит К. *Анналы*. Малые произведения / Пер. А.С. Бобовича. М.: Наука, 1993. В 2-х т. Т. 1. С. 596.

³⁷ Krapf L. *Germanenmythus und Reichsideologie...* S. 43ff.

³⁸ Borchardt F.L. *German Antiquity in Renaissance Myth*. L., 1971. S. 98ff.

находился все тот же финансово-юридический вопрос о полномочиях римско-католической церкви в германских землях. При этом с обеих сторон подразумевалось, как само собой разумеющееся, то, что сначала следовало бы доказать, а именно, что современные немцы были прямыми потомками древних германцев. Особенно ожесточенно спорили о том, действительно ли Римская империя, а затем и римская церковь цивилизовали Германию, или же их влияние заключалось в том, что они просто извратили мораль и испортили нравы ее жителей. Таким образом, отвергая финансовые притязания Рима, немецкие гуманисты разработали антиимперскую и антипапскую историко-культурную концепцию, согласно которой германский оригинал в своей нетронутой природной чистоте был намного нравственнее и лучше нынешнего «цивилизованного немца»³⁹. Немецкие гуманисты утверждали, что только через контакт с Римом к германцам проникли зародыши разложения, так как о проявлениях порочности среди германских племен античные летописцы практически не упоминают. Отсюда напрашивался вывод о том, что немцы должны противостоять любым формам давления со стороны католической церкви, как носительницы «римского разложения и упадничества»⁴⁰.

Главными проявлениями «римского разложения», угрожавшими «германской нравственности» в телесной и духовной сферах, были объявлены «римская похоть, разрушавшая немецкое целомудрие», и «римская политика, основанная на лжи, корысти и лицемерии, подрывающая германскую порядочность»⁴¹. Контраст между германским целомудрием и римской распущенностью, возникающий при сопоставлении этих противоположных качеств, уже с середины XV в. стал одной из основ для формирования немецкой идентичности.

Идея особой нравственной чистоты германо-немецких женщин была подчеркнута из свидетельств Тацита о том, что «целомудрие женщин строго охраняется и потому остается не развращенным никакими соблазнительными зрелищами, никакими возбуждающими пиршествами»⁴². Рассуждения о «тевтонской нравственности» и угрозе ей со стороны «римской похоти», встречаются уже в «Застольных беседах» Мартина Лютера. Ссылаясь на Тацита, Лютер не раз подчеркивал, что еще во времена противостояния античному Риму, германские женщины предпочитали сохранить непорочность ценой жизни,

³⁹ Münkler H., Grünberger H., Mayer K. *Nationenbildung...* S. 210f

⁴⁰ Blickle P. *Die Reformation im Reich*. Stuttgart, 1992. S. 84.

⁴¹ *Ibid.* S. 86.

⁴² Тацит. *Германия // Древние германцы. Антология / Сост. В. Петров. М.: Изд-во Ломоносов, 2015. С. 60.*

чем пережить «позор римского плена»⁴³. Причем на роль условных «римлян» прекрасно подходили все «латиняне»: итальянцы, испанцы и французы. По словам Лютера, распространяемая испанцами по миру «порча» заключается не только в моральном разложении, но и в болезнях, которыми испанцы заражают своих соседей через «разврат и другие порочные наклонности»⁴⁴. Что же касалось «французской похоти», то Лютер полагал, что «мужчины и женщины совокупляются друг с другом неестественным способом»⁴⁵. В другом месте, обвиняя в разврате итальянцев, он говорил, что они не верят в целомудрие своих женщин, заставляя их носить «пояса верности», в то время как немцы «свое тело, жену и детей всегда доверяют друг другу»⁴⁶. В заключение Лютер дает читателю классификацию «латинян» по степени их порочности. Если французов и итальянцев он обвиняет в куртуазности и сладострастии, то испанцы, по его мнению, «народ совершенно дикий и неистовый настолько, что превзошел в извращениях и похоти итальянцев и французов. Ни одна нация их не выносит»⁴⁷.

Это представление об особенной нравственной чистоте германцев, особенно женщин, так глубоко засело в головах, что продолжало формировать самооценку немцев до XX в. Так, например, во второй строфе знаменитой «Песни немцев»⁴⁸, ставшей в 1922 г. национальным гимном сначала Веймарской республики, а затем Третьего рейха говорится: «Жёны немцев, верность немцев, / Песни и вино страны / Пусть для мира сберегают / Дух немецкой старины, / Нас к деяньям благородным / Вдохновлять всю жизнь должны / Жёны немцев, верность немцев, / Песни и вино страны!»⁴⁹.

Ссылаясь на Тацита, уже гуманисты напрямую связывали целомудрие и нравственность немецких женщин с этнической чистотой германцев. Большой популярностью пользовалась приписываемая античному историку цитата: «Я склоняюсь к тому, – утверждал Тацит, – что германцы являются исконными обитателями этой земли, а смешение с другими народами или взаимодействие с другими

⁴³ Bornkamm H. Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte. Göttingen, 1970. S. 113ff.

⁴⁴ Luther im Gespräch / Hg. von Reinhard Buchwald. Frankfurt/M., 1983. S.144.

⁴⁵ Luther M. Tischreden, 5 Bde. Weimar, 1914 – 1919. Bd. 4. S. 8 (N 3917).

⁴⁶ Ibid. Bd. 4. S. 101 (N 4049).

⁴⁷ Luther im Gespräch...S. 151.

⁴⁸ «Песнь немцев» (Das Lied der Deutschen) – песня, написанная профессором германистики Бреславльского университета Августом Генрихом Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна в августе 1841 года.

⁴⁹ Das Lied der Deutschen. Mit einem Essay von H.L. Arnold. Göttingen: Wallstein Verlag, 2001. S. 15.

племенами оказало на них ничтожное влияние... Поэтому физический облик их... повсюду одинаков: неистовые голубые глаза, рыжеватые волосы и огромные сильные тела»⁵⁰.

Однако исследования давно показали, что в ходе так называемого этногенеза, сформировавшего современных немцев, помимо германских племен участвовали различные этнические группы⁵¹. Но рассуждения Тацита об изначальной природной чистоте германцев имели глубокое воздействие. Они были использованы в расовых теориях XIX–XX вв. о «чистоте крови» и стали политическим проклятием, от последствий которого Германия страдает и по сей день. В XIX в. исследования «германистов», основываясь на физических характеристиках, которые Тацит приписал древним германцам, развили фенотип германо-нордического человека⁵². Даже в таком авторитетном издании как немецкая многотомная универсальная энциклопедия Брокгауза в статье «Германцы» за 1834 год говорилось, что они являются «народом с упрямым выражением голубых глаз, длинными золотистыми волосами, мускулистым телосложением и гигантским ростом. Они легко переносят холод и голод, но страдают от жары и жажды. Германцы обладают воинственным духом, являются людьми честными, верными, дружелюбными и доверчивыми в отношении своих друзей, и одновременно хитрыми и коварными по отношению к врагам. Это народ, который, бросая вызов всем ограничениям, считает независимость своим самым ценным достоянием и скорее готов отказаться от жизни, чем от своей свободы»⁵³.

В начале 1920-х годов немецкий поэт и писатель Эрнст Бертрам (1884–1957), получивший известность как автор нашумевшего исследования «Ницше. Опыт мифологии», используя те же клише, прославлял германские племена как «людей-великанов с пшеничными волосами»⁵⁴. С 1922 г. он работает над своей «Книгой норн»⁵⁵, посвященной обоснованию расовой теории и превосходству германской

⁵⁰ Тацит. О происхождении германцев // Тацит. *Анналы*. Малые произведения / Пер. А.С. Бобовича. Т. 1. С. 334.

⁵¹ Wolfram H. *Das Reich und die Germanen. Zwischen Antike und Mittelalter*. Berlin: Siedler Verlag, 1990.

⁵² See K. «Der Arier-Mythos» // Nikolaus Buschmann, Dieter Langewiesche (Hgg.). *Der Krieg in den Gründungsmythen europäischer Nationen und der USA*. Frankfurt, Baltimore und New York, 2003, S. 56–59.

⁵³ «Die Germanen». *Allgemeine Deutsche Real-Enzyklopädie für die gebildeten Stände*. 8-te original Auflage. In 12 Bde. Leipzig, 1833–1837. 3. Bd., 1834. S. 381–383.

⁵⁴ Bertram E. *Das Nornenbuch*. Leipzig, Insel, 1925. S. 19ff.

⁵⁵ Норны – в германо-скандинавской мифологии три волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбы мира, людей и даже богов.

расы над народами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, погубившими традиции «высокой античности». Утверждая преемственность между античной культурой и германцами, Бертрам призывал сохранить чистоту «тевтонской расы» и не допустить тех последствий, что принесла с собой «позднеантичная левантийская культура, а именно смешения народов и всемирного порабощения со стороны образованных классов»⁵⁶.

Идеолог национал-социализма Альфред Розенберг (1893–1946) выразился еще более резко, говоря об угрожающем всемирном хаосе, который возникнет «по причине бесконтрольного смешения рас», «распространения нездоровых идей и верований на фоне преувеличенного иступления похоти». По его мнению, немецкий народ должен принять решение: «Либо мы возносимся к очищающему возрождению, обеспечив чистоту и новую жизнь древней германской крови в сочетании с усиленной волей к борьбе, либо последние германо-западные ценности нравственности и государственной дисциплины утонут в грязных человеческих потоках, проистекающих из мирового Вавилона [...]»⁵⁷. Воплощением нового Вавилона, гигантского города, расадника космополитизма опять был условный «Рим», и Нюрнбергские расовые законы⁵⁸ должны были защищать «германскую чистоту» от опасности «смешения крови», которая из него исходит⁵⁹.

Вторая серьезная угроза германо-немецкой идентичности, осознанная немецкими гуманистами в ходе дискуссии с папской курией после ознакомления с отрывками из Тацита, – политическое коварство «Рима»: «римские предательство и лицемерие готовы уничтожить главные германо-немецкие добродетели – верность и искренность»⁶⁰. По Тациту: «Этот народ все еще без хитрости и обмана, в непринужденной манере раскрывает тайны своего сердца; потому все их помысли открыты; они всегда просят совета, если не знают, как поступить; но всегда действуют решительно, если уверены в своей правоте»⁶¹.

⁵⁶ Bertram E. Das Nornenbuch... S. 41.

⁵⁷ Rosenberg A. Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, München 1935. S. 309.

⁵⁸ Нюрнбергские расовые законы – «Закон о гражданстве Рейха» и «Закон о защите германской крови и германской чести», провозглашенные по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 г. на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге и единогласно принятые сессией рейхстага, специально созданной в Нюрнберге по случаю съезда партии.

⁵⁹ Werner M. «Die Germania» // Francois E., Schulze H.. Deutsche Erinnerungsorte III. München: C.H. Beck Verlag, 2001. Bd. 3. S. 569–586.

⁶⁰ Krapf L. Germanenmythos und Reichsideologie... S. 60.

⁶¹ Тацит П.К. Германия// Древние германцы... С. 64.

Гуманисты приняли на веру утверждение Тацита, что обман и предательство всегда были чужды германцам и такими они должны оставаться и впредь. Немцы ощутили себя последним оплотом морали в то время, как весь остальной мир погрузился в мрак греха и порока.

С конца XVI в. главную угрозу немецкой нравственности гуманисты увидели в учении Никколо Макиавелли (1469–1527), основы которого он изложил в прославившем его сочинении «Государь». В 1580 г. немецкий протестантский богослов Георг Нигринус (1530–1602) подал в суд на «иноземного флорентийского политического писателя и связанную с ним зловредную секту», которые хотели «извратить, отравить и осквернить древние праведные традиции, законы и обычаи германцев». Однако он, Нигринус, все же надеялся, что «яд тирании, который скрыт под лицемерным учением Макиавелли», не сможет распространиться среди немцев, и что «пример соседей», а именно массовые убийства гугенотов в ночь святого Варфоломея в Париже, «дает нам своевременное предостережение»⁶².

Спустя семьдесят лет имперский юрист и государственный деятель Дитрих Райнкинг (1590–1664) в своем сочинении «Библейская политика» (1653)⁶³ с удовлетворением отмечал: «наши предки, добрые древние германцы», «испытывают отвращение ко всему тому, что у римлян называлось государственной выгодой», и потому «из-за своей врожденной искренности и порядочности они не нашли в немецком языке подходящего слова для обозначения этой мерзости»⁶⁴.

В Риме на папском престоле менялись понтифики, а полемика, начатая Пием II, продолжалась, переместив свой фокус с экономических вопросов в область политики, философии и нравственности. Через сто лет в немецкой литературе полностью возобладала точка зрения о пагубном влиянии западной цивилизации не только на древних германцев, но и на современных немцев. На первый план выдвинулась идея возрождения старых «тевтонских добродетелей» для защиты потомков древних германцев от нравственного растрепания с помощью «манипулятивных политических учений», распространяемых в Европе под прикрытием «римского макиавеллизма»⁶⁵.

⁶² Stolleis M. *Arcana imperii und Ratio status. Bemerkungen zur politischen Theorie des 19. Jahrhunderts.* Hamburg 1980. S. 11.

⁶³ Историческое название – «Bibliche Policey». – «Полицейская наука» была с первой трети 18-го века до середины 19-го века учением о внутреннем устройстве общества. Сегодня концепция полицейской науки появляется в совершенно новом контексте как научная дисциплина о полицейской системе.

⁶⁴ Münkler H. *Im Namen des Staates. Die Begründung der Staatsraison in der Frühen Neuzeit,* Frankfurt am Main 1987. S. 165.

⁶⁵ *Ibid.* S. 261ff.

Еще через сто лет немцы начали отходить от комплекса «жертвы» и перешли в идеологическое наступление в борьбе с «Римским абсолютизмом», противопоставив универсальному европейскому государству Нового времени политическое устройство идеального общества древних германцев. В немецкой литературе с конца XVII в. рационально-бюрократическая система государственности, построенная на системе подавления со стороны власти и слепом подчинении большинства, где «царили предательство и ложь в обмен на наживу»⁶⁶, отождествлялась с римско-романской моделью правления. Этой модели противопоставлялась утопия «немецкой свободы», которая рассматривалась как идейный базис для установления справедливого общественного порядка, опирающегося на осознанный выбор человека, где главной ценностью были бы не материальные богатства, а личные качества и достоинства людей. Именно такова была картина общественно-правовой жизни древних германцев, нарисованная в «Истории Оснабрюка»⁶⁷ юристом и историком Юстусом Мёзером, вступившемся «в защиту германской чести» после окончания Семилетней войны. В итоге «латино-германское» идейное противостояние, которое регулярно дополнялось военными столкновениями, перешло на новый уровень, когда уже нельзя было не согласиться с выводом выдающегося германиста-медиевиста Густава Рёте (1859–1926), сделанном в разгар очередного кризиса, а именно Первой мировой войны: «Одним из первых выражений национального пробуждения явилось то, что немец противопоставил немецкую честь и немецкую верность романской лжи и предательству»⁶⁸.

Возникшая в эпоху Возрождения в качестве реакции на давление римско-католической церкви концепция о пагубности влияния западной цивилизации на германские ценности оставалась актуальной вплоть до конца Второй мировой войны. Ее отголоском можно считать неоднократные усилия, предпринятые рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером в 1936 и 1943 гг., чтобы отыскать в архивах Ватикана самое первое издание «Германии»⁶⁹, давно уже имевшее для нации даже большее сакральное значение, чем Библия, переведенная Мартином Лютером на немецкий язык. Почти 600-летняя история уникального воздействия этого небольшого латинского сочинения на немецкую идентичность дала возможность одному из выдающихся знатоков античной литературы, профессору Манфреду

⁶⁶ Ibid. S. 266.

⁶⁷ Möser J. Osnabrückische Geschichte". Тl. 1-2. Osnabrück, 1768.

⁶⁸ Roethe G. Von deutscher Art und Kultur. Berlin, 1915. S. 34.

⁶⁹ Werner M. «Die «Germania»»... S. 569f.

Фурманну, наконец, резюмировать последствия дискуссии, начатой Пиетом II в середине XV в. по вполне практическому поводу: «Ни один другой документ не оказал такого сильного влияния на формирование немецкого национального чувства и германского национализма, как «Германия» Тацита»⁷⁰. Кроме того, эта публицистическая полемика между немцами и итальянцами, в основе которой изначально лежала тема финансовых привилегий католической церкви, дает нам один из тех удивительных примеров, когда вполне обыденный, бытовой спор, задев живой нерв интеллектуального сообщества, постепенно обрастает новыми значениями и сакральными смыслами и, наконец, превращается в часть национальной символики.

Кто мы? – «Миф о происхождении» немцев как основа позитивного самовосприятия нации

В 1470 г. малые произведения Тацита, в том числе и «Германия», были опубликованы в Венеции. Немецким гуманистам, с характерным для них преклонением перед античностью, это сочинение внушило убеждение в том, что их предки являлись исконными поселенцами германской территории, всегда были свободны, храбры и отличались высокими нравственными качествами.

В период Реформации на фоне противостояния с католическим Римом можно говорить о зарождении первой волны немецкого национального самосознания, выразившейся в поисках узким кругом интеллектуалов единого языка и общей истории. Публикация в 1534 г. полного текста Библии, переведенной Мартином Лютером на немецкий язык, стала основой для унификации языка. В этот же период в трудах гуманиста Конрада Цельтиса и его единомышленников начинают выкристаллизоваться основные понятия, которые впоследствии составят фундамент представлений о германской нации. В числе наиболее важных из них следует упомянуть такие сочинения, как «Германия к Страсбургской республике» (1501) Якоба Вимпфелинга, его же «Хвала городу Страсбургу и Рейну Якоба Вимпфелинга из Шлеттштадта» (1501) и «Краткое изложение деяний германцев» (1505); «Хвала Германии» (1501) Генриха Бебеля, «Саксония» (1505) Альберта Крантца, «Краткое описание Германии» (1512) Иоганна Лохтеля, «12 книг бесед о Германии» (1518) Франциска Иреника, «Баварская хроника» (1533) Иоганна Авентина и др. В результате на рубеже XVI–XVII вв. в трудах немецких гуманистов создает-

⁷⁰ Fuhrmann M. Die Germania des Tacitus und das deutsche Nationalbewusstsein // Brechungen. Wirkungsgeschichtliche Studien zur antik-europäischen Bildungstradition. Stuttgart, 1982, S. 113 – 128.

ся важнейшая конструкция коллективной памяти нации на основе ее происхождения с исходным пунктом в виде «Германии» Тацита и идеи восходящей к древним германцам общей этнической, языковой и культурно-цивилизационной принадлежности. В малом произведении римского историка «О происхождении и местах обитания германцев», которое впоследствии сократили до вполне понятного «Германия была описана общественная жизнь, быт, нравы и верования древних германцев. Наибольшее значение для формирования немецкой идентичности имел следующий пассаж из рассуждений Тацита: «Что до меня, я склонен считать, что германские народы никогда не сочетались браками с другими народами и поэтому являются особой нацией, чистой и уникальной в своем роде... Они храбры и добродетельны, но особенно отличаются там, где требуется исключительная физическая сила»⁷¹.

При этом слова «германцы» и «варвары» для Тацита – синонимы. Оставаясь римским гражданином, при написании «Германии» он не выступал в образе бесстрастного летописца, а преследовал собственные политические цели. Используя изображение суровой, простой жизни варварских племен как метафору, Тацит, по всей видимости, пытался напомнить «изнеженным» римлянам о забытых обычаях и кодексе чести предков, о республиканской эпохе, когда приоритет гражданских добродетелей сделал Рим великим. Поэтому несмотря на то, что германцы бедны и склонны к пьянству, а их религия унижает человеческую личность, в целом, при сравнении с разложившимся Римом, эти варвары выигрывают. Даже бедность германцев порождает не только дикость, но и нравственную чистоту, которой лишены соотечественники римского историка.

Но ни гуманисты раннего Нового времени, ни «германисты» XIX – XX вв. не интересовались политическими мотивами и композиционной идеей античного автора. Текст Тацита с самого начала воспринимался буквально, как беспристрастное свидетельство очевидца. Составившее композиционную основу изложения нарочитое противопоставление искусственности и вырождения римской цивилизации природной естественности, жизненной силе и наивности германского варварства способствовало лишь дальнейшей идеализации древних германцев. А их природное «варварство» для самозванных потомков очень скоро стало символом самобытности и свободы от римского влияния, борьбы с культурным и физическим порабощением со стороны Рима.

⁷¹ Тацит. О происхождении германцев ... Т. 1. С. 334.

Дальнейшее развитие национальной идеи и связанных с нею основополагающих мифов произошло в эпоху Тридцатилетней войны, получившей у современников название «Немецкой» не только потому, что в ней основным театром военных действий стали именно немецкие княжества. Эта война, являясь, по сути, многоуровневым европейским конфликтом, стала огромным «потрясением для всего немецкого народа»⁷². Если французская оккупация и освободительные войны первой четверти XIX в. были временем основного оформления национальной идеи, то «Немецкая» война (1618–1648) и вызванное ею ощущение общегерманской катастрофы, дали самый мощный толчок к появлению ростков национального самосознания и складыванию представлений о единой Германии.

Главными носителями второй волны нарождающегося общегерманского патриотизма были интеллектуалы XVII века, лидеры и идеологи движения за развитие и популяризацию немецкого языка, известные литераторы и публицисты, такие как Мартин Опиц (1597–1639), Георг Филипп Гарсдёрфер (1607–1658), Андреас Грифиус (1616–1664), автор популярного романа «Приключения Симплицисима» Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен (1625–1676), главный идеолог общегерманского движения языковых обществ писатель и филолог Юстус Георг Шоттель (1612–1676) и другие⁷³. Практически все они составляли то военное поколение, на которое Тридцатилетняя война произвела неизгладимое впечатление. Получив хорошее университетское образование и реализовав себя на государственной службе, главной темой своих произведений они сделали судьбу Германии и ее народа. Печальное настоящее заставляло их более пристально вглядываться в прошлое. Неудивительно, что в основу конструирования нового национального мифа они положили вновь обретенную «Германию» Тацита.

Для образованных немцев эпохи Тридцатилетней войны сочинение Тацита стало той исходной точкой, из которой они выводили, во-первых, древность происхождения немцев, а во-вторых, комплекс нравственных качеств и достоинств, которыми Тацит наделил германцев⁷⁴. Впоследствии весь разработанный ими набор «немецких преимуществ» вошел в состав идеологических конструкций их последователей вплоть до XX века. Термины «немцы» (*die Teutschen*) и «германцы» (*die Germaner*) в их трудах получают знак тождествен-

⁷² Schmidt G. *Der Dreißigjährige Krieg*. München, 2002. S. 150.

⁷³ См.: Лазарева А.М. Национальная мысль в Германии в эпоху Тридцатилетней войны. Автореф. дисс. М., 2008.

⁷⁴ Langewiesche D. *Op. cit.* S. 45.

ного равенства⁷⁵. У Тацита нет конкретных данных о времени заселения германцами их территорий, но он писал о «древности происхождения» германцев⁷⁶. Исходя из этого, немецкие литераторы начали развивать свои собственные идеи о том, когда же предки немцев заселили территории «между реками Рейном и Дунаем». В частности, они ссылались на то, что даже римляне перенимали обычаи германцев⁷⁷, соглашаясь с их более древним происхождением. Древность рода обуславливала, по общему мнению, превосходство немцев над другими европейскими «нациями». Подчеркнутое принижение римлян, которые в некоторых работах уже изображались предками романской группы европейских народов, способствовало созданию впечатления о явном превосходстве немцев над итальянцами, испанцами и французами, которые не могли похвастаться такой древностью своих корней. Постулат о немецком превосходстве укреплял поэтов в борьбе за культурную независимость: «Немцы – самая древняя из всех наций на земле»⁷⁸, поэтому «не стоит искать мудрости у иностранцев»⁷⁹.

Опираясь на традицию, заложенную Тацитом, литераторы создавали миф о своих предках как о людях высоких моральных качеств: чистых, благородных, отважных, не испорченных порочными нравами римлян. Этот комплекс положительных нравственных качеств превращал германцев в идеал для современных немцев. Интерпретируя труд Тацита, немецкие интеллектуалы делали основной упор на силу, смелость и сплоченность древних германцев, которые неизменно вели их предков к победам.

Важной составляющей формирующегося германского мифа, также взятой на вооружение последующими поколениями немецких интеллектуалов, стала тема автохтонности и природной «чистоты» языка и расы. Мотив расовой чистоты германцев активно использовался публицистами, которые считали, что именно «чистота наших славных предков» давала им силы⁸⁰. Древним германцам приписыва-

⁷⁵ Opitz M. Buch von der deutschen Poeterey // Ausgewählte Dichtungen / Hrsg. Östeley C. // Deutsche Nationalliteratur. Bd. XXVII. Stuttgart, 1888. S. 38.

⁷⁶ Тацит К. О происхождении германцев... С. 338.

⁷⁷ См., напр.: Borinski K. Poetik der Renaissance und die Anfänge der literarischen Kritik in Deutschland. Berlin, 1886. S. 17.

⁷⁸ Grimmshausen H.J.Ch. Der Teutsche Michel // Grimmshausen H.J.Ch. Werke in vier Bänden / Bibliothek deutscher Klassiker. Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1972. Bd. 3. S. 220.

⁷⁹ Ibid. S. 211.

⁸⁰ Klaj J. Lobrede der Teutschen Poeterey // Klaj J. Redeoratorien. Tübingen, 1965. S. 379.

вались и другие качества, которые авторы хотели бы видеть в современном им обществе. Одним из них было свободолюбие, особенно востребованное в годы борьбы с иностранными завоевателями. По общему мнению немецких литераторов, наиболее четко выраженному поэтом Иоганном Клайем Младшим (1616–1656), во времена древних германцев «Германия была свободна от иноземной власти... как об этом уже писал благородный римлянин Тацит более 1500 лет назад»⁸¹. Рассказывая о жизни древних германцев, поэты оперировали уже современными им категориями, говоря об «Отечестве» германцев. Выдвигался также тезис о территориальном единстве немцев в древности: «Не городились заборы, не существовало пограничных камней»⁸². Основная идея, высказанная Тацитом и ратифицированная литераторами эпохи Тридцатилетней войны – германцы «искони составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ»⁸³. Тема необходимости возвращения и культивирования исконно немецких качеств была лейтмотивом там, где речь шла о «германском мифе». В целом, этот миф служил средством поднятия самооценки: желание немцев принадлежать к «такой древней», всеми «уважаемой нации» возрасало.

Мифы, активно использовавшиеся публицистами и поэтами в своих сочинениях, способствовали созданию не только картины героического исторического прошлого, но и образа самих немцев. В первую очередь речь идет о немецком национальном характере. Представления о себе резко контрастировали с представлениями о других: безнравственных и испорченных наследниках римлян – итальянцах, испанцах, а затем и французах. Нередко в сочинениях нескольких поколений немецких интеллектуалов звучали обвинения в адрес французов как народа, утратившего свои традиции, не имеющего ни собственного языка, ни даже имен, чуждого добродетелям, несостоятельного в своих претензиях на главенство в христианской империи. Еще Авентин представлял французов «злом из ящика Пандоры», явившего миру «все несчастья, от коих произошли самые разнообразные эпидемии и болезни, лихорадка, чума, язва», но французы превзошли все⁸⁴. Здесь срабатывал так называемый «фактор зеркальной противоположности», представление, что все негативные качества, которые есть у «врагов», абсолютно чужды самим себе. Поэтому в сочинениях поэтов, писателей, публицистов сло-

⁸¹ Klaj J. Op. cit. S. 380.

⁸² Ibid. S. 371.

⁸³ Тацит. Указ. соч. С. 339.

⁸⁴ Доронин А. Указ. соч. С. 249.

жился идеализированный образ немца, приводивший, в свою очередь, к идеализации всей немецкой нации. Позитивный образ немцев достигался с помощью ссылок на «седую древность». Исходной точкой для такого портрета опять послужил мифологизированный образ древних германцев. Германцы обладали «верностью, смелостью, воинственностью», т.е. теми качествами, которые «способны украсить нацию», как выразился Юстус Георг Шоттель⁸⁵. Обозначенный интеллектуалами комплекс характерных черт являлся, по сути, концентрацией того, что они называли в своих сочинениях «древними немецкими добродетелями», к которым постоянно апеллировали⁸⁶. Немецкую добродетель поэты подчеркивали во всем – от быта («не забывайте добродетель, когда принимаете пищу», – советовал Георг Филипп Гарсдёрфер⁸⁷) до поля боя («Марс не покинет добродетельных», – был убежден страсбургский поэт Исайя Ромплер фон Лёвенгальт⁸⁸). Под немецкими добродетелями они подразумевали очень широкий круг положительных качеств. «Усердье, преданность, честь немца» дополняли и скромность, и честность, и великодушие, и отвага, и мужество, и стойкость, и многое другое. Именно немецкая добродетель давала немцам право, по мнению Ганса Якоба Гриммельсгаузена, называть себя «самой смелой, самой благородной и самой древней нацией под солнцем»⁸⁹. Древность и благородство в представлениях писателей и публицистов эпохи Тридцатилетней войны были неотъемлемой составляющей немецкой идеи нации. Немецкой древностью гордились. Часто поэты называли своих соотечественников «благородными», рассказывая об их достоинствах. «Национальные» черты носили в основном декларативный характер, их упоминали для создания портрета «истинного немца».

Кто «Они»? Миф о Герое и контрмиф о борьбе с «Римом»

Если «миф о происхождении» был наиболее эффективен в мирные периоды формирования позитивной идентичности нации, то мифы о Герое-победителе, как и контрмифы о «Других», изначально были связаны с кризисными ситуациями в жизни нарождающихся народов, требующими национальной мобилизации. В самые пере-

⁸⁵ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit von der Teutschen Hauptsprache (1663) / Hrsg. W. Hecht. 2 Bd. Tübingen, 1967. Bd. 2. S. 189.

⁸⁶ См.: Grimmelshausen H.J.Ch. Der Teutsche Michel... S. 73.

⁸⁷ Harsdörfer G.Ph. Nathan und Jothan. (1659) / Hrsg. Braungart G. Stuttgart, 1998. S. 75.

⁸⁸ Rompler von Löwenhalt J. Des Jesaias Romplers... erstes Gebüsch seiner Reimgedichte. Tübingen, 1988. S. 12.

⁸⁹ Grimmelshausen H.J. Der teutsche Michel... S. 26.

ломные моменты истории мифические нарративы о «непобедимых героях», «великих сражениях» и других «судьбоносных свершениях» на фоне «кольца врагов» приобретали огромное значение. Они вызывали образы прошлого, чтобы гарантировать успешное будущее. Они должны были устранить коллективный страх перед неопределенностью будущего, связанными с ним случайностями и непредвиденными обстоятельствами. Постоянно развивающиеся с учетом новых социальных и политических вызовов мифы о Героях и поверженных ими врагах становятся наглядным подтверждением того, что все стоящие перед нацией задачи могут быть решены потому, что ей это уже удавалось прежде. Великий германский вождь Арминий вновь разобьет «римлян» в новой Тевтобургской битве, легендарный император Барбаросса вернется и возродит империю во всей ее силе и славе, неуязвимый герой Зигфрид опять совершит свои блистательные подвиги. Мифы о Героях, противостоящих врагам, мобилизуют нацию и создают в массовом сознании ориентацию на успех, становясь очередным когнитивно-эмоциональным ресурсом современного политического манипулирования.

Создавая свой главный исторический миф, нарождающаяся германская нация нуждалась в символах, героях, знаковых фигурах, с которыми она могла бы идентифицировать себя, персонифицируя те положительные качества, которые сама себе приписывала. В эпоху Возрождения такими фигурами становятся, как правило, противостоящие Риму эпические вожди с харизматической аурой. По всей Европе возникают новые мифы о героях: в Германии – об Арминии, одержавшем победу над легионами Вара; во Франции – о Верцингеториксе, объединившем для борьбы с Цезарем галльские племена; в Англии – о Боадиге, противостоявшей легионам Нерона; в Голландии – о Цивилисе, возглавившем восстание ботавов, и т. п. Миф об Арминии составлял важную часть германского мифа, так как в нем воплотилось то, что гуманисты называли «духом немецкой нации».

Как уже было отмечено выше, первые упоминания об Арминии, вожде германского племени херусков, были связаны с обнаружением в 1509 г. манускрипта с «Анналами» Тацита и в 1515 г. – «Римской истории» Гая Веллея Патеркула. В них речь шла о так называемой «битве в Тевтобургском лесу»: в 9 г.н.э. (предположительно в последней декаде сентября) восставшие германские племена уничтожили три римских легиона, которыми командовал наместник Галлии и Германии Публий Квинтилий Вар. «Варово побоище» (*clades Variana*), как называли этот разгром римляне, стало поворотным пунктом в истории Европы: уже завоеванная территория между Рейном и Эль-

бой оказалась утраченной, потеряны были плоды двадцатилетних военных усилий Рима, а все позднейшие попытки восстановить *status quo* оказались безрезультатными.

Коалицией германских племен руководил вождь херусков Арминий, который прежде находился на римской службе и даже был причислен к сословию всадников. Судьба молодого вождя, который не только разгромил одну из сильнейших римских армий, но и сумел отразить мощное римское контрнаступление в 14-16 гг., оказалась трагической. Тацит отдает должное масштабу его личности: «Притязая после ухода римлян... на царский престол, Арминий столкнулся со свободолюбивым соплеменником; подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и пал от коварства своих приближенных. Это был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражения, но не был побежден в войне. Тридцать семь лет он прожил, двенадцать держал в своих руках власть; у варварских племен его воспевают и по сей день; греческие анналы его не знают, так как их восхищает только свое, римские – уделяют ему меньше внимания, чем он заслуживает, ибо, превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому»⁹⁰. Итак, основные слагаемые мифа налицо: исполинская фигура героя, свершившего великий подвиг – освобождение своей страны от иноземных поработителей, его предательское убийство приближенными; наконец, его вечная жизнь в народных сказаниях.

Если первый толчок к развитию «германского мифа» дали немецкие гуманисты, то и начало созданию героического мифа об Арминии положил один из них, Ульрих фон Гуттен (1488–1523). Уже в «Послании к Фридриху Саксонскому» Гуттен обращается к истории древних германцев, восхищаясь племенами херусков и хавков, которые во время войны с Римом явили образец величайшего мужества. Именно они дали Германии Арминия, самого доблестного из полководцев всех времен и народов, что признавали даже враги. «Не только свой родной край, но и всю Германию вырвал он из лап римлян, которые находились тогда на вершине славы и могущества»⁹¹. В подражание «Разговорам в царстве мёртвых» древнегреческого по-

⁹⁰ Тацит, Корнелий. Анналы. Малые произведения / Пер. А.С. Бобовича // Соч. М., 1993. С. 34–35.

⁹¹ Hutten U. v. Freiheit der Deutschen Nation / Hrsg. Gottmann E. / Jena, 1943. S. 47-48; Гуттен, Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. М.: АН СССР, 1959. С. 385.

эта Лукиана Гуттен в 1519 г. написал на латыни небольшое сочинение под названием «Арминий или Диалог, в коем любимейший сын отечества возносит отечеству хвалу» (опубликовано в 1529 г., спустя шесть лет после смерти автора). В нем Гуттен задается вопросом: «Какие же чувства испытывает теперь в царстве мертвых наш избавитель, видя, что мы по-рабски служим трусливым попам и изнеженным епископам, меж тем как он сам не потерпел владычества доблестных римлян, хозяев и господ мира? Разве не стыдно ему за свое потомство?»⁹². Для Гуттена римское владычество продолжается, выродившись в притязания римско-католической церкви. В вожде германского племени херусков он видит пример для современных немцев в их борьбе против основного врага – римского престола.

По сюжету «Диалога» полководцы древности – Александр Македонский, Сципион Африканский, Ганнибал и другие – обсуждают в царстве мертвых: кто же из них является величайшим героем. В этот момент у Гуттена появляется забытый всеми Арминий и заявляет о своих правах на первенство, которые подтверждают Тацит и античные боги. Тацит свидетельствовал о том, что, преодолев предательство отца жены и братьев, оплакав пленение беременной Туснельды, в нищете, покинутый всеми, Арминий продолжал свой путь, чтобы вернуть германцам свободу, прекрасно понимая, что «безопасность отечества зависела только от него одного»⁹³. Кульминацией повествования стал монолог Арминия, в котором он поведал собравшимся полководцам о своей борьбе с римлянами и о ее мотивах. «Об этом могут засвидетельствовать в царстве мертвых, как яростно я сражался против предателей отечества и его врагов. В короткий срок мне удалось прогнать римлян из Германии и по сей день они больше ничего не могут сделать. Я осуществил объединение Германии и, наконец, начал наслаждаться достигнутой свободой. Мною двигало не стремление к славе и корысти, а стремление к добродетели. Я разбил римлян не для того, чтобы мне поставили памятник. Я боролся не ради богатства и славы. Моя единственная цель – вернуть отечеству насильно отнятую свободу»⁹⁴.

Вложив в уста Арминия гуманистический манифест сторонников Реформации и ненавистников Рима, Гуттен заложил основы будущего героического образа Арминия: борца с условным «Римом» за свободу, в том числе религиозную, и единство нации. Не удивитель-

⁹² Hutten U. v. Arminius//Die Schule des Tyrannen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. S. 191.

⁹³ Hutten U. v. Op. cit. S. 194.

⁹⁴ Ibid. S. 197.

но, что почитание вождя херусков стало частью протестантской культуры. В дальнейшем, освободитель Германии будет эффективным идеологическим орудием на все случаи жизни, которое всегда можно мобилизовать в кризисные моменты, чем-то вроде спасителя немцев, и не только их, как от внешнего, так и от внутреннего угнетения. Как писал в предисловии к своей монографии «Немцы и их мифы» берлинский политолог Герффрид Мюнклер: «Как только разгорались споры об интересах немецкой нации, о свободе и единстве немецкого народа – сразу всплывал Арминий. Политикам он был нужен, когда появлялись “враги”: либо внешние, такие как Рим, Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние – евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Арминия никогда не был самостоятельным, он блекнет без неприятеля, антагониста. Даже в ГДР он был первым “революционером”, борцом за классовую справедливость, противником “римского империализма”»⁹⁵.

Таким образом, объединение германских племен против Рима и сенсационная победа над римлянами на протяжении веков с легкостью переносилась авторами многочисленных сочинений об Арминии на современную им ситуацию и собственных врагов. В XVI в. таким врагом в глазах многих немецких патриотов и реформаторов была римская церковь, испанские наемники Карла V, выступившего в ее поддержку против сторонников Реформации, а также Франция, которая находилась в продолжительном конфликте с германскими императорами. Далее популярность Арминия шла по нарастающей. В последующих сочинениях он провозглашается символом свободы и победы немцев над засильем римских пап, как например, в «Баварской хронике» (1533) Иоганна Авентина. Или как в книжке коротких стихов Буркхарда Вальдиса (1490–1566) «Происхождение и обычаи двенадцати первых королей и князей немецкой нации», в которой Арминий был зачислен в ряды мифических немецких королей и родоначальников правящих династий⁹⁶.

Однако имя «Арминий» мало подходило для немецкого героя, как и имя его брата Флава, потому что имело не германское, а римское происхождение. Неудивительно, что латинские и греческие источники называли вождя восставших германцев именно этим именем, но в германских сказаниях его не могли именовать так же, как ненавистные враги, какими для германцев стали римляне со времени

⁹⁵ Münkler H. Die Deutschen und ihre Mythen... S. 9.

⁹⁶ Kösters K. Mythos Arminius. Die Vorausschlacht und ihre Folgen. Münster: Aschendorff, 2009. 408 S. S. 108.

гибели легионов Вара. Возможным германским именем, передававшим то же самое значение «воин», «боец», что и латинское *Arminius*, стала форма Герман (*Hermann*). Онемечивание Арминия и превращение его в Германа происходит, как известно, в период Реформации. В печатном виде имя Герман вместо Арминия впервые появляется у Мартина Лютера в его «Застольных речах», а именно, в 1530 г. при истолковании 82-го псалма⁹⁷. Это онемечивание в сочетании с развивающимся национальным самосознанием в ходе освободительных войн в начале XIX в. привело к тому, что в литературе, публицистике, изобразительном и музыкальном искусстве немецкий «Герман» все больше вытеснял латинское имя «Арминий». Также и «*clades Variana*» (Варово побоище) со временем утратило свое латинское звучание, сначала превратившись просто в «битву в Тевтобургском лесу», а с XVII в., в связи с развитием культа «победоносного немецкого героя», – в «битву Германа», и уже в таком виде вошло в современную память немцев. К этому же времени окончательно сформировалась антитеза «Германия / Герман – Рим / Вар», которую первыми использовали гуманисты, а своего высшего развития она достигла у Лютера, с его лозунгом «Прочь от Рима!». Именно в ходе начатой Лютером борьбы против римско-католической церкви последняя стала отождествляться с алчным Римом древности, стремившимся поработить свободолюбивых германцев⁹⁸. В связи с формированием концепта «борьбы с Римом» культ немецкого Германа, победителя Рима, получает новое звучание в немецком национально-историческом дискурсе.

К середине XVII в. Арминий / Герман твердо обосновался в пантеоне немецких героев, став частью литературно-драматургического эпоса о борьбе за «немецкую свободу». Особенно росту интереса к нему и к истории противостояния древних германцев римской экспансии способствовала Тридцатилетняя война. Как и сто лет назад борьба с условным «Римом» остается главной темой немецкой истории, только меняется внешняя проекция «врага»: папа, итальянцы и испанцы уступают место французам. Одна из самых монументальных литературных обработок этого героического сюжета в данный период принадлежит популярному драматургу и поэту немецкого барокко Даниэлю Касперу фон Лоэнштейну (1635–1683), которого

⁹⁷ Wiegels R. „Varausschlacht“ und „Hermann“-Mythos. *Historie und Historisierung eines römisch-germanischen Kampfes im Gedächtnis der Zeiten // Beihefte der Francia*. Bd. 66. 200. S. 29.

⁹⁸ Wiegels R. *Arminius und die Varausschlacht. Geschichte – Mythos – Literatur*. Paderborn: Schöningh, 2003. 472 S. S. 223–240.

уже при жизни называли «немецким Сенекой». Полное название его исторического романа «Арминий и Туснельда», опубликованного уже посмертно в 1689/90 гг., звучало чрезвычайно выпендрено: «Великодушный полководец, Арминий, или Герман: смелый покровитель немецкой свободы, вместе с ее Светлостью Туснельдой, в глубокомысленной героической истории о государстве, любви и подвиге, представлен отечеству – с любовью, немецкому дворянству – с почтением»⁹⁹. Несмотря на все необходимые атрибуты барочной литературы роман о «великодушном полководце Арминии» превратился в хвалебную песнь немецкой смелости и добродетели, которая превзошла все, что было написано до сих пор. По Лоэнштейну, ни одна битва античности не была выиграна без помощи храбрых немцев¹⁰⁰. Несмотря на любовную фабулу, лейтмотивом романа стало прославление подвига вождя херусков, освободившего Германию от римского ига. Суровые нравы древних германцев, объединившихся под руководством Арминия и поднявшихся на защиту «золотой свободы», Лоэнштейн, следуя за Тацитом, противопоставляет нравственной испорченности римской знати. При этом зрители, помимо патриотического воодушевления, остро чувствовали и политическую подоплеку романа, направленного против французской экспансии на Рейне.

В итоге к началу XVIII столетия миф об Арминии для немцев, тяжело переживших разруху и хаос Тридцатилетней войны, отбросившей Германию чуть ли не к временам варварства, и остро ощущавших национальное унижение, имел огромное значение: «Лучшие умы в историческом споре с соседями пытались найти контраргументы в далеком прошлом, и Арминий, разгромивший римлян, был самым убедительным из них. Выросшая на этом энтузиазме литература XVIII в. трансформировала исторический факт в миф: Арминий, предводитель германцев превратился в народного немецкого героя, основателя нации Германа»¹⁰¹.

⁹⁹ См.: Willems G. Geschichte der deutschen Literatur. Band 1. Barock. Böhlau Köln: UTB Verlag, 2013. 402 S.

¹⁰⁰ Borgstedt T. Nationaler Roman als universale Topik: Hermannsschlacht Daniel Caspers von Lohenstein // Hermans Schlachten. Zur Literaturgeschichte eines nationalen Mythos / Hrsg. M. Wagner-Egelhaaf. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. S. 163-165.

¹⁰¹ Межеричкий Я.Ю. Римская экспансия в Правобережной Германии и гибель легионов Вара в 9 г. н. э. // Норция. Вып. 6. Воронеж, 2009. С. 81.

ГЛАВА 12

БОРЬБА С “РИМОМ” – II. “ИМПЕРСКИЙ МИФ” И ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Древнегерманский миф, основанный на произведениях Тацита и других латинских авторов, несмотря на далеко идущие параллели, был ограничен во времени античностью. Следовавший за ней имперский период немецкой истории также нуждался в своем мифе. Причем «имперский миф» должен был сохранить преемственность с предшествовавшей эпохой римского владычества и начинался там, где предыдущий миф заканчивался – с падения Рима и захвата его германскими племенами.

Миф о «великой немецкой Империи»

Миф о «великой немецкой Империи», как часть общего исторического нарратива, оказал большое влияние на формирование немецкой идентичности, хотя и не получил такого всеобъемлющего распространения, как миф о древних германцах. Первыми свой вклад в становление легенды об имперском величии немцев внесли гуманисты, доказывая прямую преемственность Священной Римской империи от Древнего Рима и империи Карла Великого и заявляя об особых качествах немецкой нации как носителя имперской идеи. Конрад Целтис одной из программных задач основанного им кружка гуманистов считал «изображение блестящих подвигов нации и ее имперского достоинства как наследницы Рима». Уже в 1492 г. при вступлении в должность профессора Ингольштадтского университета, Целтис утверждал, что немцы от природы наделены добродетелями, дающими им моральное право считать себя наследниками Римской империи, которыми они стали на деле благодаря *translatio imperii* (переносу империи) на империю Карла Великого¹. В свою очередь, Якоб Вимпфелинг оспаривал у французов «права» на Карла Великого, утверждая, что тот был немцем. Престиж и превосходство немецкой нации над другими, основанные, прежде всего, на куль-

¹ Celtis C. Oratio Ingelstadio publice recitata//Ed. H. Rupprich. Leipzig, 1932.

турных достижениях и обладании Империей, также играли большую роль для Ульриха фон Гуттена².

Созданию образа самой могущественной мировой державы – немецкой Империи – способствовала библейская легенда о четырех последовательно сменяющих друг друга империях. «Учение о четырех великих царствах», было взято на вооружение еще немецкими гуманистами³. Традиционная трактовка мировой истории рассматривалась как последовательность четырех царств – Ассирийского, Мидийско-Персидского, Греческого и Римского. Первое из них было царством Навуходоносора, а четвертое должно было разрушить все остальные и само остаться навеки. Священная Римская империя провозглашалась наследницей древнего Рима⁴ и последней земной империей. И тут вставал главный вопрос о том, кто – итальянцы, французы или немцы – наследует славе, власти и культуре Рима и принимает на себя бремя забот о будущем христианства. Патриоты единой Германии противопоставляли политическим амбициям французского королевства и папского престола исторический континуитет: акт переноса империи и культуры на германскую нацию через Каролингов расценивался ими как законное основание для притязаний на особую миссию в рамках христианской ойкумены, правление Карла Великого объявлялось началом возрождения Римской империи. Неудивительно, что именно он стал ключевой фигурой в споре французов и немцев за корону императора Священной Римской империи, национальным символом для тех и других и одним из объектов мифологизации. Именно поэтому Якоб Вимпфелинг проявил такое остроумие, доказывая, что Карл Великий был немцем, и никак не мог быть французом, хотя в VIII в., веке племенных образований еще не существовало ни немцев, ни французов в их современном понимании⁵.

Стоит подчеркнуть два вывода, сделанных на основе создаваемого в этот период «имперского мифа»: политический – претензии на универсальное господство, обладание монархией принципиально иного калибра; метафизический – на немцах заканчивалась земная история, они – финал, дальше уже грядет Пятое царство – царство

² См.: Hardwig W. Ulrich von Hutten. Zum Verhältnis von Individuum, Stand und Nation in Reformationszeit // Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500–1914. Göttingen, 1994. S. 15–30.

³ Lübke-Wolf G. Die Bedeutung der Lehre von den vier Weltreichen für das Staatsrecht des römisch-deutschen Reiches // Der Staat. 1984. N 23. S. 369–389.

⁴ Lübke-Wolf G. Op. cit. S. 370.

⁵ См. Wimpfeling J. Germania//Der deutsche Staatsgedanke von seinen Anfängen bis auf Leibniz und Friedrich den Großen. Dokumente und Entwicklung. Zusammenge stellt und eingeleitet von Joachimsen P. Darmstadt, 1967. S. 25 - 27.

Божие. Это, бесспорно, укрепляло национальную гордость. Отождествляя себя с древними германцами, немецкие литераторы писали о немецком завоевании Рима, что, по их мнению, привело к перерождению и оздоровлению погрязшей в пороках империи. Таким образом они пытались доказать, что немцы выступили не только как наследники, но и как спасители и обновители Римской империи. Они избавили ее от пороков, приведших Рим к гибели, «наполнив римскую форму немецким содержанием». «Как мякину с гумна разносит летний ветер, / так немцы атаковали и завоевали Рим / Только имя оставили себе / победители от побежденных», – писал Клай⁶. В исполнении Божьей кары – разрушении погрязшего в пороках Рима и создании четвертой и последней, согласно пророчеству Даниила, империи на Земле – Священной Римской империи германской нации, немецкие интеллектуалы нескольких поколений видели высшее предназначение и божественную награду немцам за их благочестие.

Санкцией Бога в рамках христианского мировоззрения должны были подкрепляться претензии того или иного народа на лидерство. Поэтому благочестие становится неотъемлемой характеристикой немцев и, как следствие, принципиальным аргументом в политической полемике. Вые уже отмечалось, что в описании Тацитом высоких моральных качеств германцев, которое должно было служить для критики разлагающейся современной ему римской морали, и не более того, немецкие интеллектуалы увидели подтверждение и знак богоизбранности собственной нации, что позволило ей занять особое место в христианском мире. Как писал еще Х. Бебель в своей «Похвале Германии»: «Именно наши немецкие властители, будучи образцами нравственности, приняли на себя все заботы, все тревоги, всю ратную работу во имя служения Господу и вере, а также благоденствия и роста христианской империи»⁷. В этом контексте порочность и пренебрежение добродетелями неизбежно влекли за собой божественную кару – разрушение империи и ее перенос. Спор о том, какая нация более нравственна, а потому достойна наследовать Риму, приобретал важное политическое значение, создавая благодатную почву для национальных мифов.

«Имперский миф», кроме доказательства превосходства немцев над французами и итальянцами, содержал еще один важный мотив, а именно – мотив внутреннего единства. Заменяв «Римскую» империю на «Немецкую», идеализируя прошлое, поэты писали о будто бы существовавшей некогда единой стране «Германии»: «Пока немецкие

⁶ Klaj J. Geburtstag des Friedens // *Klaj J. Redeoratorien*. Tübingen, 1965. S. 301.

⁷ Bebel H. Lob Deutschlands//*Der deutsche Staatsgedanke* S. 34.

земли / были вместе и не существовало пограничных камней, / Германия была величайшим государством в мире»⁸.

Миф о «превосходстве» немецкого языка как основа для национальной исключительности

Еще одна из составляющих германского мифа – идея о превосходстве немецкого языка, распространение которой связано с Реформацией. Унифицирующее воздействие распространения перевода Библии с латыни на немецкий язык, сделанного Лютером, положило начало немецкому литературному языку. Бытовало мнение, что перевод Библии придал немецкому языку святости, «потому что древнееврейский и греческий являются священными языками, поскольку на них составлены Ветхий и Новый Заветы. Каждый язык, который с помощью перевода доносит слово Божье, освящается таким образом»⁹. Язык соединил немцев, «сделав слово Божье понятным каждому», став «главной опорой немцев»¹⁰.

В XVII в. возникло учение о немецком как «главном языке», «языке героев», противопоставляемом современному упадку Германии как «голос из героического прошлого»¹¹. Участники так называемых «языковых обществ», которые повсеместно возникали в университетских городах, разрабатывали иерархию европейских языков и утверждали, что немецкий – древнейший и самый богатый. На этом основании «языковые патриоты» всерьез спорили о таких вещах, как участие германцев в осаде Трои или возведении Вавилонской башни. Немецкий язык подразумевал, во-первых, прирожденную «немецкость», т.е. комплекс положительных, изначально заложенных в каждом немце качеств. Во-вторых, немецкий язык воспринимался литераторами как «совершенный», не такой, как остальные. В-третьих, он был «чистым», освобожденным от иноязычных примесей и пороков древнего Рима, присущих латыни и романским языкам. В-четвертых, немецкий язык отражал немецкий национальный дух. Именно в языке поэты, писатели, публицисты видели отражение «немецкой сути».

В целом этот путь развития национального языка – от обоснования равенства с другими европейскими языками до открытых доказательств его превосходства – напоминает основные пункты процесса утверждения «национальных мифов». В качестве непреложного доказательства равенства немецкого языка с латынью немецкие фило-

⁸ Klaj J. Geburtstag des Friedens ... S. 302.

⁹ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit von der Teutschen Hauptsprache... Bd. 2. S. 489.

¹⁰ Ibid. S. 490.

¹¹ Ibid. S. 488.

логи обращали внимание в первую очередь на древность родного языка. Древность в данном случае была непререкаемой отправной точкой, связывавшей немцев с их идеалом – германцами. Немецкий язык, по мнению литераторов, был самым природным, самым естественным из всех европейских языков. Само звучание немецких слов наибольшим образом соответствовало тем звукам, которые существуют в природе. Родной язык, как писал Гарсдёрфер, «рычит как лев, ревет как вол, бурчит как медведь, блеет как овца, хрюкает как свинья, лает как собака, шипит как змея, ...мяукает как кошка, гогочет как гусь, ...журчит и шумит с водой, шепчет с ручьями, жужжит с пчелами, грохочет с громом, сгибается и потрескивает как горящее полено, лязгает как железо – и воспроизводит все звуки, какие только можно услышать»¹². В утверждении «природности» немецкого языка латентно содержалась заявка на его превосходство над другими – они автоматически должны были мыслиться как более «искусственные».

Связь немецкого языка с природой свидетельствовала о его «чистоте», потому что природа изначально не несла на себе отпечатка человеческих пороков. Французский, испанский, итальянский языки происходили от римской латыни и были отмечены печатью слабости и разложения позднего этапа римской истории, в то время как «благородные предки немцев» «еще в те далекие времена всячески избегали порока». Таким образом, немецкий был по сути единственным в мире языком, лишенным отпечатка «порочности римлян»¹³. В целом, мотив чистоты древних германцев, а соответственно всех немцев и их языка поэты выводили, опять же основываясь на «Германии» Тацита. Идея близости родного языка к природе и мотив «чистоты» приводили интеллектуалов к выводу, что именно немецкий может считаться «языком Бога». Бог заключает в себе силу природы, значит, божественным может быть лишь тот язык, который наиболее адекватно передает природные звуки. Ни один из других европейских языков не может сравниться в этом с немецким: «Другие европейские языки пытались воспроизвести то, что под силу было лишь немецкому языку, но не смогли и признали его главенствующее положение». Юстус Георг Шоттель развил мысль о том, что превосходство немцев над другими было заложено изначально: их происхождение имело божественный характер, соответственно и язык является более совершенным по сравнению с другими¹⁴. Такое мнение разделялось

¹² Ahlzweig C. Muttersprache – Vaterland. Die deutsche Nation und ihre Sprache. Opladen, 1994. S.53.

¹³ Ahlzweig C. Op. cit. S. 21-22.

¹⁴ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit... S. 96-98.

многими немецкими литераторами и учеными. Апелляция к Божьей воле, сотворившей немцев и их язык, была одним из главных козырей в защите национальной самобытности.

С точки зрения последующего развития национальной идеи важно не только утверждение о древности, чистоте и превосходстве немецкого языка, но и увязывание с этими качествами самих немцев, их политического положения и нравственного превосходства. Так, например, философ и языковед Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) связывал особые качества немцев именно со свойствами их языка – единственного, который остался несмешанным¹⁵. Своего рода квинтэссенцией сложившегося к началу XVIII в. немецкого национального мифа можно считать цитированное выше произведение писателя и поэта Юстуса Георга Шоттеля «Подробная работа о главном языке немцев», где сказано: «Немцы – древнейший народ; они обладают последней мировой империей; их отличают особые добродетели – верность, мужество, а также количество героев; немцы говорят на главном языке – богатом и чистом; они располагают выдающимися культурными достижениями, именно они изобрели книгопечатание, порох и пушку; ни один народ не выдерживает сравнения с немцами»¹⁶. Все эти аргументы, включая изобретение пороха, будут воспроизводиться немецкими националистами вплоть до XX века.

«Германский миф» между фрустрацией и комплексом национального превосходства

Тридцатилетняя война оставила политически раздробленную, экономически ослабленную, культурно деградировавшую Германию, которая – по сравнению с развитием ее соседей – оставалась в состоянии глубокого кризиса и стагнации. Начало XVIII в. немецкие интеллектуалы встретили в состоянии фрустрации, которую пытались компенсировать поиском новых формул и образов национальной идентичности. Одним из главных побудительных мотивов для них стала «защита германской чести», то есть реакция на все то же ощущение угрозы культурной экспансии со стороны более сильных «римлян» при осознании собственной «культурно-политической неполноценности». На этот раз в роли «Рима» выступила превосходящая немцев во всех отношениях Франция, которая даже не скрывала своей «надменности» по отношению к «германским варварам»¹⁷.

¹⁵ Richter D. Nation als Form. Opladen, 1996. S. 188.

¹⁶ Schottel J.G. Ausführliche Arbeit... S. 120.

¹⁷ Blumenberg H. Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotential des Mythos // Terror und Spiel. Probleme der Mythenrezeption / Hg. Manfred Fuhrmann, München, 1997. S. 11 – 66.

Ощущение себя «европейскими париями» усиливалось несовпадением новых национальных амбиций немцев, опиравшихся на исторические мифы о «великом прошлом», и тяжелой кризисной ситуации культурного, экономического и политического послевоенного упадка, который царил в настоящем. С одной стороны, в германских университетах продолжало разрабатываться учение о чистоте языка немцев как главном языке, «языке героев», а с другой стороны, на рубеже XVII–XVIII вв. происходит стремительная «порча» этого языка, под которой имелось в виду фактическое «трехязычие» немецкого, французского и латыни, установившееся в германских землях за годы войны. «Германия бедна... О, горестных удел! Немецкий наш язык настолько оскудел, Что у французского он занимает ныне...», – восклицал один из так называемых “языковых патриотов” поэт Фридрих фон Логау¹⁸, сделавший тему утраты немцами национальной гордости, что выразилось в их стремлении во всём подражать французам, главным сюжетом своих довольно едких эпиграмм¹⁹. Кроме того, «борьба» за чистоту немецкого языка была осложнена обилием областных диалектов, мешавших их носителям понимать друг друга.

Ускорившееся после Тридцатилетней войны засорение немецкого языка всевозможными варваризмами и многочисленными заимствованиями из латыни и французского мешали созданию немецкой литературы в ее общенациональном значении. В этой связи на рубеже XVII и XVIII веков в образованной дворянско-буржуазной среде начинают создаваться многочисленные «немецкие общества», возникавшие, как правило, в университетских городах. Своей главной целью их члены считали культивирование немецкого языка и воспитание патриотизма²⁰. Причем они выступали не только против французского языка, но и против такого культурного феномена, как массовое бездумное копирование французского стиля жизни немецкой аристократией²¹. В числе лидеров нового движения оказался поэт и драматург Иоганн Кристоф Готтшед (1700–1766), теоретик раннего Просвещения и с 1730 г. профессор поэзии в университете Лейпцига. Несмотря на неоднозначные оценки его деятельности современниками, Готтшед, будучи автором программного сочинения «Мате-

¹⁸ Логау Ф. Немецкая речь // Европейская поэзия XVII века. М., 1977. С. 198.

¹⁹ Palme A. „Bücher haben auch ihr Glück“. Die Sinngedichte Friedrich von Logau und ihre Rezeptionsgeschichte. (Erlanger Studien; Bd. 118). Erlangen, 1998.

²⁰ См.: Медяков А.С. Национальная идея и национальное сознание немцев // Национальная идея в Западной Европе / Под ред. В.С. Бондарчука. М., 2005.

²¹ Лазарева А.М. Национальная мысль в Германии ... С. 18–19; Rollecke G. Herrschaft und Nation. Zur Entstehung des Nationalismus in Deutschland. // Nation, Nationalstaat, Nationalismus. Frankfurt a.M., 1994. S. 19 ff 23.

риалы для критической истории немецкого языка, поэзии и красноречия» (1730), а также нескольких вариантов немецкой грамматики (1748, 1761), очень много сделал для унификации немецкого языка²² и создания национального театра.

Следующим шагом по преодолению чувства «национального унижения» вслед за популяризацией немецкого языка стало создание единого национального исторического нарратива. Одним из первых эту миссию взял на себя немецкий юрист, историк и публицист Юстус Мёзер (1723–1798). На фоне «всеобщего признания превосходства французской культуры и ущербности собственной культурной традиции», царящего в германских землях, он вновь обращается к поиску «золотого века немецкой нации», чтобы «наполнить немецкие сердца гордостью»²³. Прожив всю жизнь в небольшом церковном княжестве Оснабрюк в Нижней Саксонии, Мёзер там же в 1768 г. издает свой знаменитый фундаментальный труд под названием «Оснабрюкская история». Это была первая попытка в немецкой историографии продемонстрировать и доказать, сопоставляя латинские и немецкие источники, преемственность исторического развития «германской нации» от античных времен до 1192 г. на материках локальной истории родного княжества.

В своей «защите чести древних германцев от французской надменности» Мёзер пошел тем же путем, что и «языковые патриоты», когда они создавали миф о немецком языке как «языке героев». Вступив в полемику с французскими публицистами, он начал с опровержения тезиса о варварстве германцев, стараясь приравнять их по уровню цивилизованности к римлянам. В 1749 г. в своем предисловии к драме «Арминий» он объяснял: «Я не думаю, что наши предки были такими неотесанными дикарями, какими их обычно воображали себе французы или итальянцы при первом взгляде на сочинение Тацита», и далее утверждал, что германцы быстро переняли римскую культуру благодаря своей способности к подражанию²⁴. Позднее, отталкиваясь от идеи о самобытности германцев, он уже отстаивает тезис об их превосходстве над римлянами. Так, например, в «Оснабрюкской истории» он больше не пишет о том, что германцы были

²² Waniek G. Gottsched und die deutsche Literatur seiner Zeit. Leipzig, 1897. S. 83–99.

²³ Rupprecht L. Justus Möser's soziale und volkswirtschaftliche Anschauungen in ihrem Verhältnis zur Theorie und Praxis seines Zeitalters. Stuttgart, 1892. S. 115.

²⁴ Essen G. Hermannsschlachten des 18. Jahrhunderts und die Debatte um ein deutsches Nationalepos // Hermanns Schlachten. Zur Literaturgeschichte eines nationalen Mythos / Hg. v. Martina Wagner-Egelhaaf. Bielefeld 2008, S. 27.

способными подражателями римской культуры. Напротив, он утверждал, что древнее германское общество – это «золотой век» немецкой истории, который превзошел не только имперский Рим, но даже древнегреческий аналог. Основой старогерманского общественного устройства было, по его мнению, идеальное соотношение форм собственности и личных свобод. Рассуждая о первоначальных формах поселения древних германцев, Мёзер выдвинул точку зрения, что германцы с самого начала селились индивидуальными дворами и были полными собственниками своих индивидуальных наделов. Сочетание частной и общественной собственности (на леса и пастбища), в свою очередь, являлось гарантом «исконной германской свободы». Их конституция – это «шедевр, в котором свобода, честь, собственность и национальный интерес были переплетены идеальным образом»²⁵.

Помимо идеального хозяйственно-правового устройства, общество древних германцев, по мнению Мёзера, предоставляло исследователю также массу свидетельств развитой национальной культуры. Начиная открытую полемику с основоположником современных представлений об античном искусстве немецким искусствоведом Иоганном Иоахимом Винкельманом (1717–1768), Мёзер выступил с критикой нарастающего во второй половине XVIII века увлечения Древней Грецией. Популяризируя древнегерманские мифы, он попытался вытеснить из немецкой литературы героев античной мифологии. Высокой культуре античности он противопоставляет самобытную культуру германцев и, тем самым в оппозицию космополитному греческому мифу Винкельмана Мёзер ставит национальный «германский миф».

Наконец, одной из важнейших попыток вернуть немцам «чувство национальной гордости», предпринятой на фоне последствий Семилетней войны, стало художественное воплощение героического мифа об Армии /Германе в творчестве поэта Фридриха Готтлиба Клопштока (1724–1803). Лучшая часть его наследия – три драмы, написанные на материале из жизни древних германцев, которые автор называл «бардитами» (от *Barditus*), то есть произведениями барда. Бардом в знак уважения к старой литературной традиции любил именовать себя сам Клопшток. «Бардиты» состояли из трех пьес: «Битва Германа» («*Hermanns Schlacht*» 1769), «Герман и князья» («*Hermann und die Fürsten*» 1784) и «Смерть Германа» («*Hermanns Tod*» 1787). Наибольшими художественными достоинствами отлича-

²⁵ Ibid. S. 31.

ется первая часть трилогии. Герман изображен Клопштоком как объединитель германских земель. В трилогии осуждается племенная знать, из-за корыстных побуждений предавшая Германию и вступившая в сговор с римлянами²⁶. Актуальность «бардита» для Германии XVIII века была очевидна. Клопшток уходит в прошлое ради того, чтобы извлечь из него уроки для современности, чтобы осудить сепаратистскую политику немецких князей.

Как и Юстус Мёзер, Клопшток своим творчеством пытался реабилитировать немецкую культуру, раскрывая для современников ее огромное историческое значение, и воссоздать дух древнегерманской поэзии, интерес к которой, по его мнению, должен был вытеснить склонность отечественных писателей к традициям античного и французского классицизма. Чрезвычайная популярность Клопштока в период деятельности просветительского направления «Бури и натиска» в большой степени основывалась на его культе национальной старины, который импонировал передовым представителям немецкого бюргерства, по мере своего подъема все более интересовавшегося культурно-исторической генеалогией Германии. Кроме того, в драматургии и мизансценах пьес Клопштока были зашифрованы «знаки» политической демонстрации, которые хорошо считывались немецкими читателями и зрителями. Неслучайно в «бардитах» римская государственность символизировалась топорами палачей, римляне названы рабами тирана, германцы же противопоставлены им в качестве свободного, не знающего гнета тирании племени, а их вождь Арминий показан тираноборцем, главным врагом императорского самодержавия²⁷. Таким образом, накануне Французской революции образ Арминия приобретает выраженный политический характер, направленный не только против внешнего, но и против внутреннего врага. Не случайно в «Битве Германа» впервые прозвучал ставший впоследствии крылатым революционный лозунг: «Кровь тиранов за святую свободу!», имевший такой шумный успех в среде молодых членов «Бури и натиска».

В последние десятилетия XVIII в. немецкие национальные мифы получают новый импульс для развития. Это было связано как с политическими (Семилетняя война), так и с экономическими (кризис 1770 года) потрясениями, опять заставлявшими немцев задуматься о своем месте в Европе и о том, что является их отечеством. Конец века ознаменовался распадом первой антинаполеоновской

²⁶ Wöslер W. Das Römerbild in deutschen Hermann-Dramen // Hermans Schlachten... S. 50.

²⁷ Ibid. S. 202–204.

коалиции и Базельским миром 1795 года, по которому левый берег Рейна, а затем и целые регионы Германии на четверть века попадают под оккупацию французской армии.

С началом Семилетней войны (1756–1763) в просвещенных кругах вновь создаются «патриотические общества» для обсуждения проблем, связанных с трактовкой понятий «нация», «патриотизм» и «общественное благо». В их уставах уже говорится об общем благе «немецкого Отечества», об обновлении и чистоте, о необходимости «сохранять и распространять немецкую добродетель и обычаи»²⁸. Символические конструкции, созданные на основе «Германии» Тацита, и пущенные в ход в XVI–XVII вв., в XVIII в. становятся общепринятыми клише в среде немецких просветителей. В этот период также вновь встает вопрос о немецком патриотизме, который немецкий просветитель Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) сравнивал с голубем Ноя, кружащим над водой в поисках твердой почвы²⁹. Патриотизм мог относиться к местности, городу, отдельному государству, Империи. Этот плюрализм отечеств был важной проблемой для немцев XVIII века. С другой стороны, патриотизм мог пониматься как нравственная добродетель, как служение общему благу и борьба с моральным упадком в своем отечестве. Под моральным упадком понимались сепаратизм и засилье французского языка и французской культуры, в первую очередь, при дворах князей и курфюрстов. Как и их предшественники, немецкие просветители видели причину современного им упадка немецких земель в отказе от собственного лица, собственной культуры, собственной истории.

Постепенно идея патриотизма приобретает отчетливую политическую окраску. С 1769 по 1775 г. в Геттингене действует поэтическое содружество «Союз Роши», в которое входили примерно двадцать известных поэтов и литераторов, ставших родоначальниками немецкой национально-патриотической лирики, расцвет которой придется на первую половину XIX столетия. Критический настрой этой поэзии, адресованной «среднему сословию», с которым ассоциировались «исконно немецкие» ценности, был направлен против германских дворов, объявленных центрами предательского сепаратизма, разврата и засилья чужеземного влияния. Добрый немецкий бюргер, представленный как истинный «сын Отечества», противопоставляется аристократу так же, как старые немецкие добродетели противостоят французской безнравственности. Причем со «старыми» не-

²⁸ Медяков А.С. Национальная идея... С. 362.

²⁹ Hardtwig W. Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland 1500–1914. Göttingen, 1994. S. 11.

мецкими добродетелями тесно связан современный каталог буржуазно-протестантских представлений о ценностях: немец честен, благороден, добр, придерживается «добродетельных строгих обычаев», «откровенен и прям», «скромен и неприхотлив, не нуждается в роскоши»³⁰. Еще Юстус Мёзер в «Оснабрюкской истории» утверждал, что все добродетели германцев наилучшим образом сохранились в современном ему нижнесаксонском крестьянине³¹. Буржуазные добродетели, берущие свое начало от германцев Тацита, также тесно связаны с религиозностью и близостью немцев к Богу, что делает последних априори праведнее и лучше других европейцев. Этот тезис, например, отстаивал в своей «Немецкой песне» (1772) один из членов «Союза Роши», Иоганн Мартин Миллер (1750–1814), когда восклицал в конце: «То, что я – немец, / вселяет радость в мое сердце и помыслы! / Так как истинный немец / всегда самый лучший христианин!»³². Для сознания немецких поэтов XVIII века, которые не могли представить себе картину мира без религии, апелляция к Богу и связанному с ним учению Христа была, возможно, главным оправданием политических и иных притязаний в периоды раздробленности и упадка Германии, так как других достижений, кроме мифов о происхождении, империи, национальных добродетелях и языке, немцы предъявить миру в этот момент не могли.

Вековая травма, нанесенная национальному самолюбию открытым пренебрежением со стороны более сильных соседей, особенно Франции, время от времени давала о себе знать. На фоне болезненно переживаемого несоответствия сформированных мифами представлений о «великой древней истории», о «немецком превосходстве» и связанных с ними завышенных ожиданий печальному современному состоянию германских земель, с одной стороны, происходит политизация патриотизма, с другой – растет осознание немцами собственной «национальной ущербности».

Выше мы привели полную оптимизма и гордости выдержку из сочинения Юстуса Георга Шоттеля «Подробная работа о главном языке немцев», отражавшую внутреннее самоощущение немцев в конце XVII в., сформированное в большой степени на основе национальных мифов. Прошло сто лет и писатель и политик Фридрих

³⁰ Der Göttinger Hain. Textversammlung / Hrsg. A. Kelletat. Stuttgart, 1967. S. 14ff.

³¹ Dann O. Herder und die deutsche Bewegung // Johann Gottfried Herder 1744–1803 / Hrsg. Sauder G. Hamburg; 1987. S. 314.

³² Miller J.M. Das deutsche Lied // Der Göttinger Hainbund / Hrsg. A. Sauer. Stuttgart, 1988. S. 180.

Карл фон Мозер (1723–1798), в прошлом один из членов поэтического геттингенского «Союза Роши», в работе с характерным названием «О немецком национальном духе» (1794) рисует, в этот раз, полную пессимизма картину самовосприятия немцев, отражающую тот психологический кризис, в котором оказалось национальное самосознание в конце XVIII в. Наряду с перечислением всё тех же немецких достоинств он не может не констатировать печального настоящего немцев, потомков германцев и обладателей Империи: «Мы – единый народ, объединенный общим именем, общим языком, общим великим прошлым и общим верховным властителем; единообразным устройством и законами, определяющими наши права и обязанности; с общим великим влечением к свободе. Мы объединены нашим более чем столетним национальным собранием для великой цели под сенью внутренней мощи и силы первой Империи в Европе, короны которой сияют на головах немецких властителей. – И что же? – Мы такие, каковы есть, мы уже на протяжении столетий отмечены в истории мира загадками политической конституции, грабежом со стороны соседей, давно стали предметом их насмешек. Мы не в ладу сами с собой, ослаблены нашей разобщенностью, но достаточно сильны для того, чтобы вредить самим себе. Мы бессильны, чтобы спасти себя, безразличны к чести нашего имени, равнодушны к достоинству наших законов, завидуем роскоши наших властителей, не доверяем друг другу, не связаны общими принципами, жестоки в их насаждении. Мы – великий и при этом презираемый, обладающий всеми возможностями для счастья, но, в действительности достойный горького сожаления народ»³³.

Приведенный отрывок свидетельствует, на наш взгляд, не только о духовном и национальном кризисе, охватившем часть немецких интеллектуалов в конце XVIII в., но и о нелинейности, скачкообразности развития национального самосознания, переживающего свои подъемы в моменты, требующие всеобщей мобилизации, и спады во времена застоя, когда интенсивность прямого воздействия мифов на сознание падает. Но они продолжают оказывать косвенное влияние, прежде всего, на литературу и живопись, которое выражается в желании части литераторов и художников уйти от печальной действительности в мифическое прошлое, и уже оттуда апеллировать к настоящему. Частично отсюда – увлечение народными «сказаниями седой старины о былом величии немцев», фольклором, подражанием средневековым вагантам и миннезингерам. В качестве такой реак-

³³ Moser F.C. v. Von dem deutschen Nationalgeist / Dann O. Herder und die deutsche Bewegung... S. 326.

ции на настроения, царящие в образованной среде, можно рассматривать призыв Иоганна Генриха Фосса (1751–1826) в его стихотворении с характерным названием «К немецкой твердости»: «Удар сильнее по струнам своей лиры, / Ты – о, сын Отечества! / И пой вопреки упрямству бритта и насмешкам галла»³⁴. Использование архаической лексики, стилизация под старину, апелляция к древнему противостоянию германцев и галлов должны были создать иллюзию «голоса», обращённого к нынешним немцам из «славного прошлого», которое еще помнит о давних победах, а, следовательно, гарантирует им новые победы в будущем.

Свой вклад в развитие национальной идеи внесло и Просвещение, которое, по выражению немецкого историка Вольфганга Хардтвига, «в Германии... было немецким, оно знало это и хотело таким быть»³⁵. Если во Франции основной задачей Просвещения была эмансипация «третьего сословия», то в Германии на повестке дня стояла историческая задача национального объединения, уже выполненная Францией. Поэтому освободительные тенденции немецкого Просвещения тесно переплетаются с идеей национального самосознания. В центре просветительского направления в литературе, как уже было сказано, стояло движение «Буря и натиск», выступавшее против застывших форм и рамок классицизма за природную простоту и естественность в искусстве. Его программным документом стал небольшой сборник «О немецком характере и искусстве» (1773), куда наряду со статьей Вольфганга Гете «О немецком зодчестве», посвященной готическому стилю как специфически немецкому, были включены две работы Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803): «Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов» и «Шекспир». Все три работы были посвящены не только общим вопросам истории литературы и архитектуры, но и осмыслению немецкого прошлого и национального своеобразия немецкой культуры. В частности, оба автора, излагая свои исторические и искусствоведческие концепции, противопоставляют «живость», «естественность» и «самобытность» исконно немецкого народного искусства – готики и фольклора – искусственным застывшим формам французского и итальянского классицизма³⁶.

Первоначальное противопоставление языков – «естественного» немецкого и «искусственных» романских языков, как выражения сущности народа, распространенное в XVII веке, перешло на проти-

³⁴ Voß J.G. An Teuthart / Der Göttinger Hainbund... S. 205.

³⁵ Hardwig W. Nationalismus und Bürgerkultur... S. 44.

³⁶ Dann O. Herder und deutsche Bewegung... S. 320–324.

вопоставления в сфере искусства, тоже как одной их форм проявления национальной сущности.

Следом за сборником «О немецком характере...», последовали другие работы Гердера, в частности «Еще одна философия истории» (1774), а с 1784 г. начинается публикация главного труда немецкого философа «Идеи к философии истории человечества», оказавшего, по словам Гете, «невероятно большое влияние на национальное воспитание немецкой нации»³⁷. Если «Германия» Тацита заложила основы германского мифа, а литературная деятельность гуманистов XV–XVII вв. способствовала его оформлению и распространению среди образованной части немецкого населения, то встраивание Гердером старого мифа в свою философскую концепцию истории стало его общеевропейским триумфом. Миф о происхождении и генетической связи между древними германцами и современными немцами, как представителями одного народа, получил международную научную легитимацию. В своем описании древних германцев Гердер почти всегда называет «немцами», в крайнем случае – «немецкими народами»: «В древности немцы росли как дубы, медленно, прочно, несокрушимо – не было соблазнов на немецкой земле, а весь привычный жизненный уклад, вся жизненная нужда воспитывали и в мужчинах, и в женщинах стремление к добродетели... Таковы они и теперь – благородные немецкие мужчины и женщины»³⁸. Полумифическая история древних германских племен, завоевавших когда-то могущественную Римскую империю, официально стала частью национальной истории немцев.

В чащах леса, начинает свой сказочный рассказ Гердер, жили немцы, а рядом с немцами – «этими людьми-героями, жили лось и тур, давно истребленные немецкие звери-герои»³⁹. В своем описании облика, нравов и добродетелей германцев Гердер во многом опирается на Тацита: высокий рост, сильное тело, красота и стройность, «наводящие ужас голубые глаза, и все это одухотворено верностью и воздержанностью»⁴⁰. И дальше, не нарушая общепринятого канона, идеальным германцам он традиционно противопоставляет «развратных, выродившихся» римлян. Но затем Гердер отходит от первоисточника и начинает на базе Тацита, опираясь на труды своих предшественников, на основные положения имперского мифа, суммируя и обобщая все созданные до него идеологические конструк-

³⁷ Эккерман И.П. Разговоры с Гете. М., 1934. С. 248.

³⁸ Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 466.

³⁹ Там же. С. 468.

⁴⁰ Там же. С. 466.

ции, создавать свой миф о немцах – главной нации Европы. Во-первых, немцам Европа обязана своим политико-государственным устройством: «Начиная с Черного моря и по всей Европе немцы наводили ужас... Они основали все царства, которые существуют в Европе поныне, они учредили существующие сословия, утвердили их законы. Не раз брали они Рим..., они основали христианскую империю в Иерусалиме. Еще и теперь управляют они всеми четырьмя частями света – или царят в них государи, которых они посадили на престолы Европы, или сами троны учреждены были ими»⁴¹. Во-вторых, немцы – главные защитники Европы от варваров: «Немцы не только завоевали, возделали и переустроили по своему образцу большую часть Европы, но и охраняли и защищали ее от полчищ варваров. Иначе в Европе не могло бы взрасти и то, что пошло в ней в рост»⁴². В-третьих, немцы – главные учителя народов Европы. Обладая большой мобильностью, они мигрировали на Север, Восток и Запад, повсюду развивая науки и искусства. В-четвертых, немцы всегда были «крепкой стеной» для защиты христианства от язычников. И, наконец, Гердер приходит к выводу: немцы, благодаря своим добродетелям, воинственности и племенному характеру – это «столпы Европы, на которых утверждены культура, свобода и независимость Европы»⁴³.

Гердер обобщил все достоинства и заслуги перед Европой, приписанные немецкими литераторами за два века своим соотечественникам, и, отталкиваясь от небольшого сочинения Тацита, перекинул воображаемый мост от античности, через всю европейскую историю в современную ему действительность. Именно тем, что немцы-германцы на протяжении всей своей истории были заняты войнами, то – с Римом, то – с варварами, то сражались в крестовых походах во славу Христа, устройством и защитой Европы, развитием наук и искусств у других народов, словом радели за все европейское человечество, но не занимались собственными делами, объясняется сегодняшнее плачевное состояние германских земель. Немцы – особая нация, призванная Богом за свои добродетели для осуществления особой миссии: заботе о судьбах Европы и христианства.

Таким образом, Гердер дает ответ Мозеру и многим другим пребывающим во фрустрации образованным немцам конца XVIII столетия, почему такой великий народ, сегодня слаб, разобщен и занимает более чем скромное место среди своих европейских сосе-

⁴¹ Там же.

⁴² Там же. С. 469.

⁴³ Там же. С. 470.

дей. Но главное, сконструированный Гердером новый миф давал немцам надежду: опираясь на свое героическое прошлое создать не менее великое будущее.

Политизация «Германского мифа» и поиск критериев национально-государственной идентичности

Говоря о простиравшейся до рубежа XVIII–XIX вв. предыстории формирования национальной идентичности у немцев, мы не раз отмечали, что это был не поступательно развивавшийся процесс, а скорее скачкообразная синусоида с точками взлета в моменты политических кризисов. При этом вплоть до XIX в. национальный дискурс являлся частью литературно-исторических изысканий просвещенной элиты и был ограничен в своем распространении рабочими кабинетами, литературными салонами, университетскими библиотеками. Имея во многом отвлеченно-теоретический характер, немецкий вариант национальной идеи, сосредоточенный на собственных рефлексиях, вплоть до начала наполеоновских войн в целом оставался индифферентным к актуальным политическим процессам. Отсутствие государственно-политического континуитета заставляло немецких идеологов нации концентрировать свое внимание на общности языка, культуры, истории и происхождения. Лишь эпоха революционных потрясений начала XIX века, отмеченная переплетением политического и идентификационного кризисов, впервые в немецкой истории сформулировала запрос на политизацию национального мифа. Заново пересматривая его элементы и символику, немцы пытались найти определяющие критерии собственной идентичности, на которые могли бы опереться в будущем во время национального и государственного строительства. Впервые абстрактные рассуждения на тему «Кто такие немцы?» вынужденно получили четкую структуру и артикуляцию. Французская революция и последовавшие за ней завоевательные войны Наполеона положили начало первому этапу развития немецкого национализма, сформированного под влиянием «антифранцузского аффекта». Вместе с тем, реакция на революцию и вторжение французов в германские земли не была бы столь бурной, если бы к этому времени не существовал целый ряд структурных предпосылок в социальной и политической сферах.

Первоначально Французская революция нашла у образованных немцев скорее благожелательный отклик. Однако в 1800 г. французы вторглись в германские земли и подошли к Вене. После ряда поражений в 1801 г. император был вынужден подписать Люневильский мир, по которому Франции окончательно отходили ранее оккупированные ею германские земли на левом берегу Рейна – те самые зем-

ли, которые когда-то отстояли древние германцы от экспансии античного Рима. Контраст вновь продемонстрированной – уже под национальными лозунгами – французской мощи и собственного политического ничтожества резко усилил интерес к национальной проблематике. Поначалу немцы, как и прежде, пытались скрыться от печальной реальности, вспоминая о «борьбе с Римом» и «высотах морального и культурного превосходства «германского духа»»⁴⁴. Возвращаясь к теоретизированию, они выстраивали символические конструкции по мотивам национального мифа словно шит, не желая признавать ответственность за реальную военно-политическую катастрофу Священной Римской империи. Так, например, поступил Фридрих Шиллер, писавший в 1801 г., что «отказываясь от политики, немец обосновывает для себя свою собственную ценность; и если даже Империя погибнет, то древнее немецкое достоинство останется в неприкосновенности. Нравственное величие немцев обитает в культуре и характере нации, а потому не зависит от ее политических судеб»⁴⁵.

Начало войны третьей антинаполеоновской коалиции в 1805 г. ознаменовало собой эпоху “национального пробуждения” в Германии, принудив немцев обратиться к политике. С одной стороны, экономическая эксплуатация германских государств, прямо задевавшая интересы широких слоев немецкого населения, вызывала чувство протеста против чужеземного господства. С другой стороны, за короткий период (1803–1806) в германских землях произошли стремительные политические изменения, когда в течение трех лет исчезло более тысячи суверенных владений, а на их месте были созданы новые крупные государства. В итоге в 1806 г. рухнула девятисотлетняя Священная Римская империя, а вместе с ней большая часть ставших архаичными общественных отношений. Все эти процессы разрушали прежние формы самоидентификации, разрывая множество устоявшихся связей социального, политического, психологического характера, и потенциально высвобождали место для формирования новых отношений и новой идентичности – национальной и общегосударственной. Вместе с тем ситуация была неоднозначной, поскольку обстановка интеграционного и идентификационного кризиса на фоне чужеземного господства укрепляла также и местный патриотизм.

Именно в условиях политической и психологической неопределенности усилия выдвинувшихся на передний план пропагандистов национальной идеи сыграли одну из решающих ролей. В эту кризисную эпоху их круг чрезвычайно расширился, и они впервые обраща-

⁴⁴ Медяков А.С. Национальная идея... С.368.

⁴⁵ Цит. по: Nipperdey Th. Deutsche Geschichte 1800–1866. München, 1983. S. 11.

лись не только к себе подобным, а к широким массам, к немецкому обывателю, по прежнему разделенному династической верностью и местным патриотизмом, но уже объединенному общей ненавистью к французским оккупантам.

В моменты, когда ненависть к «Другому» становится главным консолидирующим фактором, на первый план выдвигаются мифы о героях, одержавших великие победы, и контрмифы о врагах. Неслучайно, что в первой четверти XIX в. идет ускоренное развитие и одновременная политизация нарративов о «битве Германа» и «борьбе с Римом». Первое время Арминий /Герман привычно остается персонажем литературно-драматического жанра, но даже при сохранении художественной формы образ вождя херусков получает сильную антифранцузскую коннотацию. Уже в 1787 г. юный поэт Эрнст Мориц Арндт, движимый патриотическими чувствами, написал свою знаменитую «Победную песнь Германа». В 1809 г. появляется другое великое произведение на эту тему – драма Генриха фон Клейста «Битва Германа», написанная под впечатлением от тирольского восстания против баварско-французского господства и антинаполеоновской партизанской войны в Испании⁴⁶. Для зрителей драмы Клейста аналогии между римско-германским противостоянием и современным положением немецких земель были более чем очевидны. Регулярные армии германских монархов проигрывали Наполеону одно сражение за другим, и ожидать от них каких-либо активных действий уже не имело смысла. Тактика партизанской войны, использованная древними германскими племенами в «борьбе с Римом», представлялась в этой ситуации единственно возможной, что предполагало организацию массового антифранцузского сопротивления. Тем более, что перед глазами немцев был пример Испании. Как полагал сам Клейст, не оставалось ничего другого, как «звать народ на сцену, чтобы вызвать его гнев и снабдить ее идейным оружием против иностранной оккупации»⁴⁷.

Через несколько лет с началом освободительных войн, когда возникла необходимость «прямого общения с народом», Арминий / Герман из художественного образа превратился в инструмент политической агитации. Наиболее активно героический нарратив использовался в листовках и пропагандистских сочинениях. Одним из самых ярких примеров такого использования можно считать знаменитую листовку «Призыв к немцам», получившую широкое распро-

⁴⁶ См.: Samuel R. Kleists „Hermannsschlacht“ und der Freiherr von Stein // Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft. 5. Jg., 1961. S. 64–101.

⁴⁷ Ibid. S. 81.

странение накануне битвы под Лейпцигом, где германские князья воевали с обеих сторон. Ее анонимный автор, подобно Ульриху фон Гуттену, обратился к поиску национального лидера, способного объединить немцев и возглавить освободительную борьбу: «Европа вопрошает в этот момент: Существует ли Герман? – Где новый Герман, который обратит в бегство новых римских орлов? Немцы, вставайте! Вы должны найти своего Германа!»⁴⁸.

1813 год стал пиком актуализации героического мифа. Победа над Наполеоном в Лейпцигской Битве народов, которая в умах немцев сразу же соединилась с битвой в Тевтобургском лесу, была воспринята многими в Германии как возрождение «германской военной доблести» и забытого «германского величия». «Битва Германа» превратилась в сакральный учредительный акт немецкой нации. В 1813 г. Арндт писал по этому поводу во втором томе своего знаменитого историко-философского труда «Дух времени»: «В битве в Тевтобургском лесу решилась судьба мира, поэтому Герман стал именем нарицательным для всех; он для нас – не только нечто поэтическое, не только нечто священное благодаря седой древности и миражам будущего, нет, он – нечто вечное и настоящее, так как мы все еще существуем благодаря ему, так как без него, вероятно, уже 1600 лет никто больше не говорил бы по-немецки»⁴⁹.

Наряду с героическими нарративами о Германе и «борьбе с Римом», способствовавшими национальной интеграции и восстановлению собственного позитивного образа, в первой четверти XIX в. происходит оформление и политизация «германского мифа» в целом. Во-первых, помимо традиционной основы для национальной идентичности «миф о предках» становится политическим лозунгом борьбы за независимость Германии. Во-вторых, с помощью новой интерпретации истории нации «германский миф» должен был определить и структурировать основы ее дальнейшего политического развития. Из-за дискредитации идей французского Просвещения, в первое десятилетие XIX в. процесс конструирования немецкой национальной идентичности перешел в руки романтиков: великого немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814), знаменитого поэта, политика и публициста Эрнста Морица Арндта (1769–1860), выдающегося публициста и педагога-практика Фридриха Людвига Яна (1778–1852), известного историка Генриха Лудена (1780–1847) и других.

⁴⁸ Цит. по: Wells P.S. Die Schlacht im Teutoburger Wald. Düsseldorf, Zürich, 2005. S. 33.

⁴⁹ Arndt E.M. Geist der Zeit. 4 Bde. Leipzig, 1807–1817. Bd. 2, S. 223

1806 год стал роковым для судьбы Германии. 20 ноября 1805 г. в битве под Аустерлицем Австрия потерпела сокрушительное поражение, что привело к упразднению Священной Римской империи и созданию Рейнского союза под протекцией Франции. Затем настала очередь Пруссии, которая была разгромлена французами под Йеной и Ауэрштедтом. В октябре 1806 года французские войска вошли в Берлин, оставленный королевским семейством, бежавшим в Мемель. С 1806 г. Пруссия и Австрия, занимавшие в Германии центральное место, превратились в ее восточную окраину, что ознаменовало собой в сознании большинства немцев низшую точку «национального позора». В этот тяжелый момент философ Иоганн Фихте оказывается в числе тех немногих интеллектуалов, кто был готов предложить немцам новый позитивный взгляд на себя и на собственное будущее, напомнив о «самобытности», «духовном и языковом превосходстве», а также всемирной миссии, о которой писал Гердер.

Зимой 1807/08 гг. в оккупированной французами столице Пруссии по воскресеньям в переполненном Купольном зале Берлинской Академии наук Иоганн Фихте читает 14 лекций, объединенных под общим названием «Речи к немецкой нации»⁵⁰. В своих выступлениях он каждое воскресенье обращался к «немцам» – не к подданным короля Пруссии, не к бывшим подданным только что прекратившей свое существование Священной Римской империи германской нации, но к новой общности, той, что должна была возникнуть в том числе и под воздействием его «речей»: «Я говорю просто для немцев, просто о немцах, не признавая, но откладывая в сторону и отбрасывая все разделяющие различия, которые были созданы для единой нации злосчастными событиями в течение столетий»⁵¹.

Несмотря на академический характер, темы и структуру лекций во многом диктовала политическая ситуация в Германии. Из 14 лекций почти половина была посвящена доказательству различных смысловых конструкций об уникальности, превосходстве и всемирной миссии немецкой нации на основе «германского мифа», встроенного в философскую теорию Фихте. Перед Фихте стояла та же задача, что и перед его предшественником Иоганном Готфридом Гердером 23 года назад: дать нации позитивный образ себя в момент фрустрации, вызванной очередным кризисом идентичности, и надежду на светлое будущее. Если для Гердера исходным моментом его философской концепции был «миф о предках» и тезис о преемственности

⁵⁰ Fichte J.G. Reden an die deutsche Nation. Berlin: Realschulbuchhandlung, 1808.

⁵¹ Fichte J.G. Reden an die deutsche Nation. Berlin, 1912. S. 19.

немецкой истории от древних германцев до современных немцев и признании заслуг Германии перед Европой, то Фихте взял за основу контрмиф о «борьбе с Римом». Он построил свои рассуждения вокруг тезиса о существовании коренных различий на основе языка между представителями германской нации и романских народов – различий, которые, в конечном итоге, должны обеспечить немецкое превосходство в мире. Таким образом, сделав главной детерминантой нации язык, Фихте, являвшийся для немецкой национальной мысли непререкаемым авторитетом, вплоть до военного краха Третьего Рейха определил этнокультурную модель немецкой идентичности, не ограниченную никакими территориальными границами.

В основе его философии истории лежала идея нации, основанная на уникальности языка и проистекающего из него «народного духа», а также концепция ее совершенствования с помощью «нравственного воспитания». Согласно Фихте, история определяется развитием человеческого разума и коллективных норм нравственности. При этом особую роль он отводил воспитанию, которое, в традициях немецкого идеализма, воспринималось как, прежде всего, воспитание нравственное и вместе с тем национальное.

С концепции воспитания Фихте и начинается свои «Речи к немецкой нации». Просвещение, утверждал он, обращало внимание лишь на индивидуальные интересы, занималось лишь поверхностным развитием разума, оставляя в стороне более глубокие нравственные побуждения человека, делая упор на эгоистических мотивах поведения⁵². Фихте полагал, что только когда в людях будет воспитана настоящая потребность в нравственности и стремление к общему благу по внутреннему побуждению, станет возможной и победа над эгоизмом как «духовным продуктом» французского Просвещения. Именно немцам принадлежит основная роль в выполнении этой великой задачи. В воспитании немцев в национальном духе Фихте видел главное средство сохранения нации в эпоху потрясений.

Начиная с четвертой лекции, Фихте сосредотачивается на перечислении особых качеств немецкой нации, которые позволяют ей выполнить всемирно-историческую миссию нравственного совершенствования. При этом, с одной стороны, он опирается на «учение о превосходстве немецкого языка», а с другой – впервые внятно объясняет суть и причины коренного различия между «германскими» и «романскими» народами, подводя теоретико-философскую базу под концепт «борьбы с Римом», что было очень актуально в момент политического противостояния немцев с французами.

⁵² Ibid. S. 20–23.

Фихте, как и его предшественники, видит уникальность немцев и основу их превосходства над «романскими» народами в языке и производной от него субстанции – «национальном духе». В ход идут старые клише о том, что немецкий язык является изначальным, естественно-природным и единственным чистым из современных языков. Однако у Фихте эти качества приобретают совершенно особое значение, поскольку язык для него – не просто средство общения. По его мнению, он является сублимацией “человеческой природы”, формируя нрав и характер народов. Фихте вводит разделение всех народов на говорящих на «собственном» и на «чужом», заимствованном языке. Первые в эпоху великого переселения остались жить в первоначальных местах, заселенных «коренным» народом, последние же переселились. Первые сохранили и развили изначальный язык предков, последние приняли чужой язык и культуру, постепенно ассимилировавшись⁵³. Далее это теоретическое противопоставление Фихте накладывает на немецкий и романские народы, в результате чего немцы предсказуемым образом оказываются обладателями «изначального» языка, в отличие от «латинян», подвергшихся смешению языковому, культурному и расовому.

Именно язык, по мнению Фихте, определяет главное отличие германцев от «романских» народов. «Прочие народы, – пишет Фихте, – особенно “новолатинские”, отказались от своего природного языка, в результате чего произошло отчуждение благоприобретенного образования и философского мышления от изначальной жизни»⁵⁴. Подобен языку и «национальный дух» таких народов – с точки зрения формы он может выглядеть почти совершенным, но обречен ограничиваться лишь восприятием «мира явлений». Сохранивший же свою чистоту язык германцев способен проникать за оболочку явлений, передавать «сверхчувственное» и таким образом влиять на душу, нравственность и дух народа. Не случайно главной иллюстрацией, подтверждавшей правоту концепции Фихте о «превосходстве германского духа», опять являлось традиционное противопоставление немцев и романских народов, так много значившее для немецкой национальной идеи на всех этапах ее развития. Романский «дух» у Фихте слаб и «приземлен», а немецкий – могуч и «возвышен». Романский «дух» Фихте поэтично сравнивает с Сильфидой, которая «легко порхает невысоко над землей и садится на понравившиеся цветы, не склоняя их», немецкий же – это орел, который «мощью

⁵³ Ibid. S. 110.

⁵⁴ Ibid. S. 111 – 112.

своего тяжелого тела взмывает ввысь и сильным натруженным крылом рассекает воздух, чтобы ближе подняться к солнцу, созерцание которого его заораживает»⁵⁵.

Уникальность немецкого языка и духа обеспечивает, по мнению Фихте, своеобразие и неповторимость немцев как нации. Немцам как бы передаются качества их языка. Они тоже «изначальный народ», что подтверждают «характерные черты немцев как изначального народа, в противоположность другим отколовшимся от него племенам [...]: все творческое, живущее, стремящееся к свободе и совершенствованию – это изначальный народ, немцы»⁵⁶. И хотя сами немцы пока еще не вполне соответствуют высокому идеалу “немецкого” в понимании Фихте, национальное воспитание должно поднять их к более высоким нравственным стандартам, совокупность которых Фихте называет «германским характером»⁵⁷. Духовные и нравственные преимущества «немецкого характера» должны обеспечить нравственное обновление нации, в котором она так нуждается. Об этом говорит и принципиальное увязывание способности к обновлению с немецким языком, и прямое отождествление метафизических немцев с теми, кто внимал философу в Купольном зале Берлинской Академии наук: «...среди всех новых народов именно вы – те, в ком заложено зерно человеческого совершенствования... Если вы исчезнете, то с вами исчезнет все человечество, без надежды когда-либо возродиться»⁵⁸.

Через призму языкового и духовного превосходства немцев Фихте в своих лекциях дает краткий анализ актуальных политических проблем германских земель. Прежде всего это касалось борьбы с чужеземным господством и перспектив создания единого государства. Читая лекции в оккупированном французами Берлине, он был стеснен в возможностях прямо высказывать свои мысли, однако ему оставались исторические параллели, главной из которых была все та же «борьба с Римом». Ей в концепции Фихте отводилась практически сакральная роль, связанная с развитием уникального духа нации. Согласно идее Фихте, именно благодаря вечному противостоянию германцев и их потомков римской экспансии, продолжавшейся в различных завуалированных формах до настоящего времени, мир был спасен от полной ассимиляции и поглощения развращающей римской цивилизацией. В «борьбе с Римом» был сформирован ха-

⁵⁵ Ibid. S. 126.

⁵⁶ Ibid. S. 126 – 127.

⁵⁷ Ibid. S. 200.

⁵⁸ Ibid. S. 268.

рактик немецкой нации, а также сохранено ее главное богатство – язык, полностью свободный от чужеродных примесей.

Говоря о «латинской» угрозе для германской самобытности, исходящей от условного «Рима», Фихте почти не отходит от канона, сложившегося в эпоху Реформации. Идеи Лютера о «римской порочности», «латинской порче» и «безнравственности римской политики» Фихте переформулировал в соответствии с политическим запросом своего времени в «римское стремление к мировому господству» и «искушения развращенной римской цивилизации», делая параллель с французами еще более очевидной. Не призывая прямо к свержению чужеземного гнета, Фихте утверждал, что в силу всемирно-исторической миссии немецкого народа его подчинение другим народам «не позволительно и невозможно»⁵⁹.

Далее, оттолкнувшись опять от «германского мифа», Фихте переходит от настоящего к рассмотрению политического будущего Германии. Поскольку у той немецкой общности, которой надлежит возникнуть, нет государственной границы, нет правовой реальности, то ее основание должно будет определяться через «внеполитические» факторы. Таким «внеполитическим» фактором, способным объединить всех немцев в раздробленной Германии должен стать немецкий язык⁶⁰. Следовательно, вопрос о языке у Фихте превращается в вопрос о границах «политического тела» нации. В заключительных положениях своих публичных чтений Фихте так формулирует ключевой тезис: «Говорящие на одном языке уже самою природою соединены множеством невидимых связей; они понимают друг друга и способны все яснее понимать себя; они должны состоять вместе и составлять единое и нераздельное целое. Такой союз не может воспринять и смешать с собою народность иного происхождения и языка, не нарушая насильственным образом равномерный ход своего развития. Из этой внутренней, самою духовною природою человека положенной границы вытекает уже внешнее ограничение места жительства, как последствие первой»⁶¹. Фихте использовал «германский миф», а именно его составляющую о «превосходстве немецкого языка», для построения собственной концепции нации, положив в ее основу язык и этнос в качестве главных критериев немецкой идентичности, а следовательно, и государственности. Такой подход в конечном итоге предполагал в недалеком будущем насильственную перекройку карты Европы, чтобы объединить в гра-

⁵⁹ Ibid. S. 143.

⁶⁰ Ibid. S. 145.

⁶¹ Ibid. S. 268.

ницах единого немецкого государства всех предполагаемых потомков германских племен. Сформулированная Фихте во многом утопическая идея определения государственных границ по языковому принципу очень быстро получила широкую популярность среди немецких патриотов и впоследствии легла в основу германского имперского экспансионизма.

Об актуальности и востребованности идей на национальную тематику свидетельствовал не только оглушительный успех «Речей к немецкой нации». Спустя несколько месяцев его повторил известный историк Генрих Луден, предложивший свой вариант аргументации в пользу национального величия немцев. В 1808 г. он, подобно Фихте, прочел в Йенском университете курс публичных лекций «Об изучении отечественной истории»⁶². Интерес к этим лекциям был настолько велик, что слушатели стояли в коридоре, на лестницах и даже во дворе, внимая лектору через открытые окна и двери. Луден отдал должное философским традициям немецкой национальной идеи. В преамбуле он подтвердил, что «человечество необходимо подразделяется на народы, и каждый из них своим путем стремится к человечности», «но истинная человечность состоит в том, чтобы жить для Отечества»⁶³. Таким образом, используя патриотическую риторику, Луден уже во введении к первой лекции сформулировал еще один важный критерий немецкой идентичности, а именно приоритет этнической солидарности над правами отдельной личности, отказавшись от основополагающего принципа современной нации.

Не оставив в стороне «германский миф», Луден, следуя за своими предшественниками, также уделил должное внимание темам превосходства немецкого языка и германских «добродетелей»⁶⁴. Вместе с тем главный акцент в обосновании особого положения немцев он сделал на анализе событий национальной истории. По его мнению, язык и национальный характер отвечают за то, что народы имеют «различную судьбу». У многих народов, которые считают себя выше немцев, прошлое – это рабство, предательство, деспотизм или анархия. Такова, например, французская история. Ничего похожего не было в немецкой истории, и даже пороки германцев, описанные Тацитом, по-своему благородны. Причиной тому – изначальное чувство свободы, унаследованное немцами от германских предков. Немцы защитили свою свободу от «римлян», под которыми Лу-

⁶² Luden H. Über das Studium des vaterländischen Geschichte. Gotha, 1828.

⁶³ Ibid. S. 27.

⁶⁴ Ibid. S. 33 - 36.

ден, помимо античных легионов Вара, подразумевал папскую курию и испанских наемников Карла V, заполонивших Германию в борьбе с Реформацией в XVI в., и французских оккупантов начала XIX в. Следуя во многом за Гердером, Луден подчеркивал преемственность между «германским» и «имперским» периодами немецкой истории. Не сомневаясь в германском происхождении Карла Великого и созданной им империи, Луден поведал своим слушателям о том, как немцы стали господами мира, принесли ему справедливые законы, защитили христианство и достигли наивысшего уровня государственности в двух империях, но в конце концов сами пали жертвой собственного свободолюбия, обратив его внутрь страны. В результате этого ослабла власть императора, и Германия пала жертвой соседей, прежде всего Франции, сила которой была основана на «тирании господ и покорности подданных»⁶⁵.

Перекинув мост из прошлого в настоящее и будущее, в заключении Луден остановился на будущем национальном строительстве. В частности, он подчеркнул, что в отличие от Фихте ему не чуждо понимание нации и «в ее гражданском отношении», а не только “через язык и нравы, суть и характер»⁶⁶, но при этом он еще раз подчеркнул, что права нации значат для него больше, чем права индивида. Как полагал Луден, «предназначение человека в том, чтобы свободно реализовать заложенное в нем; но все, что в нем заложено, определяется исключительно своеобразием нации и может развиваться только в этом своеобразии, поэтому его стремления должны совпадать с устремлениями народа, частью которого он является»⁶⁷. Таким образом Луден еще раз сформулировал реакционную по своей сути идею о необходимости отказа от универсального принципа прав человека в пользу интересов этнической общности, как одну их главных «немецких добродетелей».

Как мы можем наблюдать, с началом эпохи наполеоновских войн прежнее культурное понимание нации постепенно политизируется, сближаясь в этом смысле с патриотизмом, часто воспринимаемым как преданность собственному этносу, наделенному уникальными качествами. В это время на германские государства обрушился поток литературы, главными темами которой была борьба с Францией, а в качестве позитивной цели фигурировали такие понятия, как «свобода», «единство», «Германия». За ними, как правило, не скрывалось сколько-нибудь определенных политических программ. Ско-

⁶⁵ Ibid. S. 36, 44 - 59.

⁶⁶ Ibid. S. 11 - 12.

⁶⁷ Ibid. S. 66.

рее речь шла о смутных и весьма разнородных представлениях, в которых преобладало влияние идей Гердера и Фихте об «изначальном» языке и «изначальном» народе. Среди последователей «языкового патриотизма» находился также один из самых эффективных пропагандистов своего времени Фридрих Людвиг Ян, получивший признание как основатель немецкого «гимнастического движения», а впоследствии и как активный член Франкфуртского собрания. В 1810 г. Ян публикует одно из главных своих произведений – «Немецкая народность»⁶⁸, которое представляло собой, по сути, «пошаговую инструкцию» национального возрождения.

Начиная свое сочинение с традиционного заявления, что человечество состоит из «народностей, вносящих свой неповторимый вклад в дело человечности», Ян далее задается вопросом: «Какая народность стоит выше всех, ближе всех продвинулась к человечности?»⁶⁹. И сам дает ответ: только древние греки и современные немцы, «священные народы человечества». Опираясь на нарратив о древних германцах, Ян обосновывает права немцев на особую роль в мировой истории наличием у них «германских добродетелей», «изначального языка» и «чистоты крови»⁷⁰. Сформулированный Яном принцип «чистоты крови» органично дополнил тезис Фихте о «чистоте языка». В результате этническая эксклюзивность, быстро переросшая сначала в антисемитизм, а позднее – в расовую теорию национал-социализма, стала еще одним критерием немецкой идентичности. Именно артикулированная расовая составляющая при внешней схожести отличала концепцию нации Яна от Фихте и Лудена. Отталкиваясь от более ранних теорий, Ян пошел гораздо дальше своих предшественников. Так, в отличие от Фихте, у Яна «изначальный язык» является не только выражением сущности народа, но и необходимым условием германского гражданства. Противопоставляя немцев как «изначальный народ» «новым народам», он имеет в виду не только языковую и духовную общность, не только органическое единство сословий, но также и кровную связь, а под «чистотой» немцев – в том числе и чистоту крови: «Помеси животных не обладают настоящей силой размножения, и также мало смешанные народы имеют шанс на продолжение своей народной жизни... В незабудке восхищают небесный и огненный цвета в их прекрасном согласии; смешай... их художник, он получит грязное ничто... Испанская поговорка: “Не верь ни мулу, ни мулату” очень точна, и немецкая фраза

⁶⁸ Jahn F.L. Deutsches Volkstum. Leipzig, 1810.

⁶⁹ Jahn F.L. Deutsches Volkstum. Leipzig, 1940. S. 34.

⁷⁰ Ibid. S. 38.

“Ни рыба, ни мясо” также обладает предостерегающим смыслом. Чем чище народ, тем лучше, чем больше в нем примесей, тем более похож на банду разбойников...»⁷¹.

Противопоставив «великое прошлое германцев» их печальному настоящему, Ян переходит к теме «борьбы с Римом» и говорит об «исконной вражде» немцев и французов, которая носит фундаментальный характер. В своем сочинении он вслед за Фихте отводил ей определенную «национализирующую» роль, утверждая, что Германия нуждается во вражде с французами, чтобы «раскрыться во всей полноте своей народности». Но пока удача находится на стороне французов. Вспомнив о начале своей политической деятельности в качестве «языкового патриота», Ян с гневом пишет о том, что «французы победили Пруссию задолго до формального триумфа на полях сражений»⁷². На самом деле это произошло тогда, когда язык Мольера и Дидро стал обиходным языком прусского общества, принеся в нагрузку еще и французские привычки и стиль жизни. Поэтому мало мечтать о военном реванше, надо для начала избавиться от французского культурного влияния. Причем с присущей ему экстравагантностью, Ян в своем отвержении всего французского заходил так далеко, что предлагал создать вдоль границ с Францией непроходимую лесную чащу, полную диких зверей⁷³. Таким образом он пытался воссоздать описанную Тацитом мизансцену противостояния римлян и древних германцев, обитавших в диких лесах и в Тевтобургском лесу разбивших легионы Вара.

Единственным средством спасения Германии от культурного и политического поглощения Ян, вслед за Фихте, считал воспитание молодежи в «национальном духе» и возврат к немецкому языку и «традициям предков». Для решения этой задачи он прилагал обширнейший план мероприятий: изучение родного языка и ввод ограничений в отношении иностранных языков, прежде всего, французского (с иностранцами можно общаться на греческом и латыни); написание специальных «немецких» книг, «немецкой» истории, создание «немецкого» искусства. Ян призывал отказаться от французской моды в одежде в пользу «старонемецкого платья», от использования иностранных имен и календарных названий месяцев и дней недели⁷⁴.

После изложения мер по спасению немецкой духовности Ян переходит к формулировке политических предложений, касающихся

⁷¹ Ibid. S. 40-41.

⁷² Ibid. S. 41-43.

⁷³ Ibid. S. 119-120.

⁷⁴ Ibid. S. 128-140.

будущей немецкой государственности. Если у Фихте рассуждения об этноязыковом принципе государственного объединения немцев носят теоретический характер, то Ян подошел к этому вопросу практически. Он предлагает объединить немецкие земли по «малогерманскому» принципу «вокруг короны Гогенцоллернов», причем с включением в ее состав Швейцарии, Дании и Голландии, признавая их жителей потомками древних германских племен. Столицей Великой Германии, по мнению Яна, должен стать не Берлин либо какой-то другой из существующих немецких городов, а новый город, построенный в Тюрингии и носящий условное имя Тевтония, где должны были сойтись транспортные магистрали из разных концов империи: Дюнкерка, Женевы, Копенгагена, Мемеля, Сандомира и Фиуме⁷⁵.

Судя по изложенным предложениям, политические идеалы Яна во многом совпадали с распространенными среди немецких национальных идеологов этой эпохи, прежде всего, Эрнста Морица Арндта. Оба публициста считали, что “народность” предполагает государство как свою внешнюю оболочку, а не наоборот. Оба представляли себе будущую Германию как централизованное государство: проблему центра Ян предполагал решить основанием новой столицы под названием Тевтония. Понимая народ двояко – как совокупность немецко-говорящих индивидов и как некую сверхличность, как организм, оба выступали за “органическое” сословное государство и сословное представительство в будущей империи⁷⁶.

Поэт и публицист Эрнст Мориц Арндт, наряду с Фихте и Яном, был одной из ярчайших фигур, настоящим пророком немецкого национализма. Национальной теме он посвятил множество публикаций – книг, стихов, статей, причем на его примере особенно заметен перелом в общественных запросах и тематике, который произошел в эпоху наполеоновских войн. В этот период, опираясь на мифы прошлого, главными темами своего творчества Арндт сделал насущные вопросы настоящего и будущего: ненависть к врагу и создание единого немецкого государства.

Даже на фоне колоссального взрыва ярости и уничижительной риторики, разразившегося в Германии в ходе освободительных войн, когда, например, уже упомянутый нами Генрих фон Клейст призывал «выбелить французскими костями» все улицы и площади⁷⁷, а выдающийся философ Фридрих Шлегель требовал войны до полно-

⁷⁵ Ibid. S. 21–224.

⁷⁶ Ibid. S. 48–51.

⁷⁷ Willems G. Geschichte der deutschen Literatur. In 5 Bde. Köln: Böhlau Vlg., 2012–2015. Band 3: Goethezeit. 2012. S. 301

го уничтожения “испорченной нации”⁷⁸, ненависть Арндта поражает своей одержимостью: «Я ненавижу всех французов без исключения во имя Бога и моего народа... Я буду всю свою жизнь работать над тем, чтобы ненависть и презрение к этому народу пустили глубочайшие корни в немецком сердце»⁷⁹. Ненависть к «Другому», как интеграционный фактор, была у Арндта одним из главных элементов его философских взглядов и национальной теории. Мир, по Арндту, представлял собой некий дуализм любви и ненависти. Поэтому он осознанно одним из первых начал пропагандировать ненависть к французам как основу объединения немцев. Арндт утверждал, что ненависть к другому народу абсолютно естественна, так как все, что живет, должно иметь свою противоположность. Следовательно, любовь к себе немыслима без ненависти к «Другому»⁸⁰.

Стремясь сделать идеал общегерманского отечества как можно более привлекательным, Арндт задействовал весь идеологический арсенал, традиционно связанный с концептом «борьбы с Римом» (германцы, немецкий язык, Арминий/Герман, «римская порча» и др.). Он сознательно использовал нарратив о древних германцах для оказания мобилизующего воздействия на общественное мнение. Как полагал Арндт, вождя херусков и «битву Германа» было необходимо вернуть из мира поэзии и изобразительного искусства, превратив в нравственный императив для активных политических действий. Освободительную войну против Наполеона Арндт назвал «новой битвой Германа». В «Песне Родины» (1812), которая начиналась известными стихами «Бог дал нам железо, / которое не терпит холопов» говорилось: «Плуту и холопу – привет! / Тому, кто кормит ворон! / Итак, мы выдвигаемся на Битву Германа. / И жаждем мести»⁸¹. Причем под «плутами и холопами» имелись в виду вовсе не французы, а соотечественники – «предатели Отечества», которых было довольно много среди образованных немцев, сотрудничавших с французской администрацией. Фронт «борьбы с Римом» расширился: к объявлению внешней войны против Наполеона, как и в период Реформации, добавлялся призыв к уничтожению внутренних врагов.

После 1810 г. в своих пропагандистских сочинениях Арндт пошел еще дальше, когда помимо Арминия/Германа решил поставить на службу немецкой нации Бога. Выйдя за рамки «германского ми-

⁷⁸ Ibid. S. 299.

⁷⁹ Arndt E.M. *Ausgewählte Gedichte und Schriften*. Berlin, 1969. S. 66–68.

⁸⁰ Arndt E.M. *Germanien und Europa*. Stuttgart/Berlin, 1940. S. 91–100.

⁸¹ Arndt E.M. *Gedichte*. Hildesheim, 1992. Faksimile-Druck der Ausgabe. Leipzig, 1850. S. 13.

фа», в традициях христианской эсхатологии Арндт одним из первых объявил франко-германское противостояние битвой «ангелов света», под которыми подразумевались немцы, с силами антихриста-Наполеона⁸². При этом победа Бога над дьяволом ни у кого не вызывала сомнений. Усилия Арндта не прошли даром, и воспетый им «анти-французский аффект», то утихая, то разгораясь снова, почти до середины XX в. был тесно связан с немецкой идентичностью.

Помимо темы «борьбы с Римом» в ее самых разнообразных модификациях Арндта волновала проблема границ будущего национального государства, которую он начал разрабатывать еще в 1803 г. в книге «Германия и Европа», в целом опираясь на идеи Гердера. Но при этом он был гораздо более конкретен и политизирован. Положив в основу рассуждений принцип естественных границ расселения этноса и языка, Арндт, задолго до «Речей» Фихте, пришел к выводу, что Германии должен принадлежать весь Рейн, «северный угол Адриатики», почти вся Швейцария; «Голландия является наиболее кричащим нарушением естественных границ Германии, которые должны были бы простираться до моря батавских и французских Нидерландов»⁸³. Так разрозненные замечания Гердера о желательности совпадения языковых и государственных границ превращались в политический принцип с потенциально экспансионистскими чертами.

После вторжения Наполеона тема границ прозвучала и в самом известном стихотворении Арндта «Отечество немца». Можно сказать, что эти десять строф сделали для распространения национальной идеи больше, чем иные трактаты и патриотические кружки. Будучи положенным на музыку, стихотворение «Отечество немца» стало, по сути, первым национальным гимном. Строки из него, особенно знаменитый вопрос «Что есть отечество немца?», как и ответ на него – «Везде, где звучит немецкая речь, там должно быть германское отечество» – знал каждый немец⁸⁴. Таким образом, лекции, философские трактаты, публицистические эссе, песни, театральные пьесы и проповеди в период наполеоновских войн формировали немецкую идентичность как часть массовой национальной идеологии, разрабатывая ее основные критерии, мифы и символы, наряду с германской историей и «антиримским аффектом» как главным интеграционным принципом.

⁸² Schafer K.H. Ernst Moritz Arndt als politischer Publizist. Bonn, 1974. S. 181–182.

⁸³ Arndt E.M. Germanien und Europa ... S. 248–249.

⁸⁴ Arndt. E.M. Des Deutschen Vaterland (1813)// Arndt E.M. Gedichte... S. 26–27.

Ввиду отсутствия общих границ, политического и правового континуитета, исторического, экономического и религиозного единства у немцев веками отсутствовала национальная идентичность, ее заменяли династическая преданность и региональный патриотизм. Не зря Юстус Мёзер пытался доказать преемственность развития немецкой истории от древних германцев до Великой Римской империи германской нации на региональном материале родного для него княжества Оснабрюк. Немецкий национальный дискурс веками конструировался сверху, но не политическими, а интеллектуальными элитами как часть общегерманского литературного процесса. Формирование немецкой идентичности долгое время развивалось в форме литературно-исторической полемики, и единственным объединяющим фактором, который существовал у немцев к началу XIX в., был немецкий литературный язык. В ходе полемики, сначала между немецкими и итальянскими гуманистами, затем – между деятелями Реформации и римской папской курией и, как часть этой полемики, с XV в. начал формироваться, с одной стороны, исторический «германский миф», с другой – политический концепт «борьбы с Римом». В результате в основу коллективной исторической памяти немцев лег сконструированный интеллектуалами нарратив, состоявший из разветвленного мифа о «великих предках» и контрмифа о борьбе с «исконным врагом». К XIX в. этот нарратив дал немцам национальную историю, связав разобщенных между собой обывателей наличием общих предков и древности происхождения и великих героев, а также «изначальным языком», чувством собственной уникальности и превосходства, а также общей ненавистью к условному «Риму».

В результате, в отличие от французов, с самого начала немцы воспринимали себя как культурную нацию (*Kulturnation*), а не как нацию политическую (*Staatsnation*). Сформировавшийся в XIX в. немецкий национализм был отмечен не политическими, а народно-этническими установками. В понимании его идеологов нацию составляли не граждане государства, наделенные общими правами и обязанностями, а абстрактный народ как целостная этническая общность (*Volkstum*). Основными критериями немецкой национальной идентичности также были объявлены полумифические конструкции: уникальность и «изначальность» языка, древность происхождения и преемственность истории, то есть принадлежность к потомкам мифических германских племен, что максимально расширяло возможные границы для экспансии будущего единого государства. Важнейшим критерием считалась кровная связь или «чистота крови» – этническая эксклюзивность, предполагавшая приоритет «германской

автохтонности», трактуемой в широких рамках: от национальной самобытности до национального превосходства. В число сугубо немецких «добродетелей» также входил национальный патриотизм, понимаемый как преданность индивидуума этнической общности в ущерб его гражданским правам. И, наконец, определяющей частью немецкой идентичности на протяжении веков оставался «антиримский аффект» или противопоставление себя «Другому», производная от комплекса «опоздавшей нации».

В итоге политическое понятие нации у немцев подменялось этническим. Укоренившееся в немецком сознании в XIX в. понятие «народная общность» (*Volksgemeinschaft*), в дальнейшем способствовало его радикализации. Национальное мышление также постепенно подменялось народно-этническим. Уже в сочинениях Гердера и Фихте нация в первую очередь представлялась как общность единого языкового и этнического происхождения, на котором основывалось политическое единство общества. Далее вплоть до краха Веймарской республики не общая государственность, а принадлежность к этнической общности рассматривалась философской и исторической мыслью Германии как основа нации.

Акцент на этническом начале таил в себе множество опасностей. Со времени образования Германского рейха в 1871 г. у немецкой нации, наконец, появились политические границы, причем для создания единого государства был выбран «малогерманский» вариант решения. Империя Гогенцоллернов строилась вокруг Пруссии. Австрия, Швейцария, Нидерланды, которые рассматривались теоретиками немецкого национализма как неотъемлемая часть будущей Германии, не вошли в ее состав. Однако этническое мышление с самого начала было ориентировано на немецкую народность, не ограниченную пределами Германского государства. Это народно-этническое мышление получило пангерманскую, «всенемецкую» окраску, которая оправдывала любое проявление экспансии. Кульминацией народно-этнического мышления в итоге стал национал-социализм.

ГЛАВА 13

САРМАТИЗМ В НАРРАТИВАХ ПОЛЬСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ на перекрестках интерпретаций

Польская национальная идентичность и соответствующие ей формы культурной памяти формировались в условиях утраты государственности. «Польские историки, – писал Н. Дэвис, – были заняты в первую очередь историей разделов. Падение старой Польши, его причины и последствия, остаются и до сегодняшнего дня главной страстью польской историографии»¹. Вне зависимости от проблематики и периода, разделы Польши составляли для польских историков своеобразную общую перспективу смыслообразования. «По всей польской национальной историографии XIX в. можно проследить влияние, какое оказали взгляды относительно причин гибели польского государства, на различные построения всей польской истории»², – писал Н.И. Кареев. Однако понимание причин трагического исхода накладывало отпечаток и на видение того, с чего «все началось». Формирование национальной идентичности требовало создания целостного нарратива, соединявшего «начало» и «конец» определенной логической связью.

Ответ на вопрос, откуда мы произошли, «откуда есть пошла...» относится к числу важнейших и наиболее чувствительных для коллективной памяти. Особый интерес к «истокам» и «корням» как к фактору, определяющему характер группы и её современное положение, не имеет, конечно, строго научных оснований. Тем не менее, принципиально важным для организации коллективной памяти остаётся принцип генетизма, коренящийся в мифологическом мышлении и утверждающий, что происхождение определяет сущность. Поэтому обычно вокруг концепций «начала истории» той или иной общности разворачиваются ожесточённые бои. Идея общего проис-

¹ Davies N. Heart of Europe. The Past in Poland's Present. Oxford; N.Y.: OUP, 2001. P. 176.

² Кареев Н. «Падение Польши в исторической литературе. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1888. С. 1.

хождения, единых предков играет здесь большую роль. В случае больших социальных групп, где о реальном родстве говорить невозможно, общее происхождение создаётся генеалогическими мифами. Они конструируют «искусственное родство» членов социальной общности. М. Вебер считал веру в общее происхождение важнейшим условием существования этнической группы. В зависимости от конкретных современных обстоятельств, делающих необходимым сформировать чувство общности у того или иного набора социальных групп, «наши истоки и предки» могут меняться.

«Оптимистическая» версия польской истории, воплощенная в романтическом направлении польской историографии, отказывалась признать закономерность разделов, концентрировалась на образах величия Речи Посполитой и представляла распад государства как результат насильственного внешнего вмешательства и внутренней измены. Согласно этой романтической версии, идеал свободы, воплощение которого составляло смысл польской истории, был заложен изначально и получил наивысшее развитие в триумфальном периоде формирования «шляхецкой республики» XVI–XVII вв. и расцвета «золотой вольности» благородного сословия³. В рамках романтического нарратива именно на «начало» и на миф происхождения падает большая смысловая нагрузка. Ниже речь пойдет о роли «сарматского мифа» в формировании шляхетской и польской национальной идентичности.

«Сарматизм» – пожалуй, наиболее эмблематичное понятие для польской истории и польской идентичности. Авто- и гетеростереотипы поляка обычно строятся на использовании элементов сарматизма. Визуализация «польскости», как правило, не обходится без «сарматских» черт. Сарматизм является главной характерной чертой, придающей польской истории специфичность на фоне окружающих европейских стран. Дискуссии о польской национальной идентичности и смысле польской истории, исторической миссии Польши также вращаются в пространстве «сарматских» образов и концептов.

³ В «пессимистическом» нарративе основной акцент был сделан не на «начало», а напротив, на «конец», гибель государства как закономерный итог отклонения от «нормального» хода развития, а вовсе не случайность, вызванную несчастливим стечением внешних обстоятельств и внутренних проблем. Подробнее об этом см.: Васильев А.Г. Мемориализация травмы в культурной памяти: “Падение Польши” в польской историографии XIX века // Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под общ. ред. Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 813-843.

В основании всего этого лежит созданная на основании античных, библейских и западноевропейских источников теория польских историков эпохи Ренессанса, заключающаяся в том, что в начале нашей эры племена сарматов переселились с территории между Доном и нижней Волгой на земли от Днепра до Вислы, покорив при этом местное население. Первым правителем сарматского государства был происходивший от Ноя царь Асармот. Сарматский миф утверждал, что поляки, шляхта, в некоторых версиях и другие народы Речи Посполитой, славяне вообще происходят от древних сарматов.

Сарматская концепция послужила для интеграции шляхетского сословия, обоснования его привилегированного статуса и противопоставления шляхты всему остальному населению Республики. На протяжении XVII в. сформировались специфические, «сарматские» формы жизни, этика, стиль искусства, тип религиозности, представления о правильном социально-политическом строе страны и ее миссии в истории. Поскольку шляхетская культура сыграла решающую роль в формировании польской национальной культуры, то сарматизм оказался источником представлений о том, что является «истинно польским», национальным. Это в свою очередь сделало сарматизм актуальным предметом дебатов о польской культуре и польской идентичности вплоть до сегодняшнего дня. «Сарматизм, – пишет современный польский историк, – <...> явился важным этапом в формировании польской национальной идентичности... Невозможно понять историю Речи Посполитой без понимания сущности сарматизма»⁴. И с этим трудно не согласиться.

Теория сарматского происхождения поляков: траектория историографической концепции

Для эпохи Ренессанса и раннего Модерна характерно появление исторических концепций происхождения народов от древних предков, далеко выходящих за пределы библейской и античной истории.

Исследователь раннемодерных форм национальной историографии А.В. Доронин пишет: «Когда Петрарка и его последователи, “прямые потомки римлян”, монополизировали высокую античную традицию, остальным “варварам” <...> не оставалось ничего иного, как искать и находить собственные традиции. От иерархического моноцентризма наблюдается переход к полицентризму равновеликих субъектов истории через дегероизацию Рима и противопоставление (!) “соб-

⁴ Markiewicz M. Historia Polski. 1492–1795. Kraków. Wydawnictwo Literackie, 2004. S.142.

ственных традиций” римско-латинской и всем другим, чужим (!), что преодолело комплекс цивилизационной неполноценности»⁵.

Для народов начали выстраиваться новые исторические линии преемственности, конструироваться нарративы памяти. Они решали различные политические задачи: формирование общей идентичности для внутренне разнородных сообществ, обоснование сословных привилегий (при этом господствующее сословие обычно и считало себя «народом»), оправдание внешней экспансии, защита от внешних притязаний и обоснование собственных внешнеполитических амбиций и т.д. Примеров подобных этногенетических мифов для той эпохи (XV–XVII вв.) можно привести много. Это и «франкогаллизм», обосновывающий «двойное происхождение» французов – дворянства от завоевателей-франков и третьего сословия – от галло-римлян, и шведский «готицизм», и голландские ссылки на происхождение от древних батавов, и немецкие апелляции к вандалам и саксам, и венгерские воспоминания о гуннах, и поиски знатью Великого княжества литовского своих римских предков, и др. Все они строились на материале, предоставляемом историографией, которая в то время начала осваивать критический подход к источникам, проблематизацию излагаемого материала, и постепенно приобретала (прото)национальный характер. К числу таких концепций относится и сарматизм. Мы будем говорить прежде всего об историографической траектории его «польской версии», хотя существуют и менее изученные венгерский, чешский и «московский» варианты этой концепции.

Использование применительно к Польше сарматской номенклатуры имело долгую историю. «Сарматская терминология» для поляков и славян, а также теория их сарматского происхождения, были, как отмечал классик исследований сарматизма, краковский историк Тадеуш Улевич (1917–2012), заимствованы из западных, преимущественно романских, источников. Он писал, что «термины *Сарматия* и *Сарматы*, а вместе с ними и вся “сарматская проблема” не выскочили внезапно из книг гуманистов XV и XVI столетий как Минерва из головы Зевса. Не выросли они также, как грибы после дождя, из сочинения Птолемея (которому они, тем не менее, были очень обязаны!) <...> Уже до этого они были известны и использовались хронистами и историками Средневековья...»⁶.

⁵ Доронин А.В. Миф нации: приглашение к дискуссии // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2011. Вып. 3. С. 147.

⁶ Ulewicz T. Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. Kraków, 1950. S. 25.

Польские историки ориентировались на европейскую историческую мысль, которая, продолжая следовать античной традиции, последовательно отождествляла славян с сарматами, а их земли – с Сарматией античных географов и историков. Уже, по крайней мере, с X века в европейской историографии, с опорой на античные источники, Польша называлась Сарматией, а ее жители сарматами. В польской исторической литературе это название впервые появляется в XII в. в «Хронике» Галла Анонима. Однако почти до конца XV столетия в польской литературе понятие «сарматы» применительно к населению не использовалось. Его заменяли такие этнонимы, как «поляки» и «славяне».

Принципиально важное значение для принятия польским историческим сознанием сарматской терминологии имела деятельность историка Яна Длугоша (1415–1480), хорошо знакомого как с античными историко-географическими сочинениями⁷, так и с ренессансно-гуманистической литературой. В его историческом труде «*Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae*» (1455–1480) поляки впервые были однозначно названы сарматами («*Sarmatae sive Poloni*», «*Poloniae sive Sarmatiae Europicae*»). Кроме того, у Длугоша мы находим Сарматское (Балтийское) море, Сарматские (Карпатские) горы, страну Сарматии. Однако, наряду с сарматской, у Длугоша на равных выступает и вандалская концепция происхождения поляков, которых хронист называет не только сарматами, но и вандалами. «В совокупности, – отмечает Войчех Пашыньски, – Длугош называет своих предков четырьмя названиями (Лехиты-Сарматы-Вандалы-Поляне)»⁸. Однако влияние труда Длугоша подготовило почву для создания в будущем концепции сарматского происхождения поляков.

Произведение Длугоша, как отмечал Улевич, было исходным пунктом для «сарматской» польской историографии вплоть до времен Нарушевича. В 1517 г. была опубликована книга Мачея Меховиты (Maciej Miechowita) «*Tractatus de duabis Sarmatiis, Asiana et Europaea*». Это было первое в Новое время географо-этнографическое описание Восточной Европы. На основе работ античных географов, и прежде всего Птолемея, автор определяет границы Сарматии от Вислы на западе до Каспийского моря на востоке. Дон в этой географической картине мира отделял Европейскую Сарматию от Азиатской.

⁷ Распространению «сарматской терминологии» в европейской литературе способствовало новое открытие и распространение среди интеллектуалов «Географии» Птолемея в XV в.

⁸ Paszyński W. *Sarmaci i uczeni : spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej*. Kraków.. Księgarnia Akademicka, 2016. S. 77.

«Азиатская Сарматия» Птолемея отождествляется со Скифией («Татарией»). Славянское население Московского государства рассматривалось в качестве потомков скифов, а Московия – как часть Азиатской Сарматии. Эта концепция оказалась очень влиятельной в последующей польской историографии и сыграла важную роль в формировании концепции сарматизма, хотя само сочинение Мачея Меховиты как таковой сарматской теории не содержало. Автор выводил славян от вандалов. Сарматия у него рассматривается, прежде всего, как географическое понятие, причем Европейская Сарматия обозначала не Польское королевство, а всю Северо-Восточную Европу.

На рубеже XV–XVI вв. как в польской, так и в западноевропейской литературе обозначение Польского государства как «Сарматии» стало общепринятым. В польской ренессансной историографии первой половины XVI века сарматы стали отождествляться со славянами вообще. Сарматская концепция была окончательно разработана и оформлена в польской историографии в трудах Марцина Кромера (Marcin Kromer) и Марцина Бельского (Marcin Bielski) в середине – второй половине XVI века.

Марцин Кромер в 1555 г. опубликовал сочинение «De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX», а в 1597 г. сын Марцина Бельского⁹ – Иоахим Бельский – выпустил «Польскую хронику» Марцина Бельского. В «Польской хронике» говорилось весьма категорично: «...мы и есть сарматы и всё, что написано о них, следует понимать, как написанное о наших предках». Наличие персонального дейксиса («мы|наши») очень характерно для нарративов идентичности.

Произведение Кромера постепенно набирало популярность и влияние, а с последней четверти XVI века пользовалось уже безусловным авторитетом и, по словам современного исследователя, «...наложило отпечаток на всю польскую историографию вплоть до времен Просвещения»¹⁰. Кромер отверг библейские концепции происхождения славян, а также отказался от популярной в то время вандалской и готской (германской) теории. Отделение славянской истории от германских корней оказалось востребованным и популярным не только в Польше, но и в Чехии в ситуации растущей германизации. Таким образом, в форме спора о происхождении возникла дискуссия об авто- или же аллохтонизме славян. Сарматская версия Кромера делала славян аллохтонами, прибывшими с терри-

⁹Марцин Бельский был также автором весьма популярной в шляхетской среде первой польскоязычной всемирной истории – «Всемирной хроники» («Хроника всего света») (1550).

¹⁰Paszyński W. Op. cit. S. 100.

торий более восточных, чем территория Польского королевства. Марцин Бельский и его сын Иоахим, отстаивавшие компромиссную германо-сарматскую концепцию происхождения поляков, в этом вопросе были оппонентами Кромера. Но несмотря на расхождения во взглядах, «...обе их концепции истории 1550-1570-х гг. создали исторический канон вплоть до разделов»¹¹. Именно, Марцин Кромер оказался в итоге автором окончательной формулировки концепции сарматского происхождения поляков. В 1580 г. он получил официальную благодарность Сейма за свое сочинение. Т. Улевич подчеркивает: «*последние годы правления Сигизмунда Августа и дата Люблинской унии (1569) означают, что гуманистическо-ренессансный процесс развития названия и понятия можно... считать законченным* и, что важнее всего, *обоснованным научно и исторически* настолько, насколько это только было возможно при тогдашнем состоянии науки и историографической теории»¹².

К концу «золотого» XVI века версия сарматского происхождения поляков стала уже общим местом историографии. Термин «сармат», отмечал Я. Мачейевский, означал «своего рода «национальную» принадлежность», в которой объединились польский, литовский и русский этнические элементы¹³. Ранний сарматизм имел характер историко-патриотической концепции ренессансных интеллектуалов, старавшихся вписать Польское королевство и польскую историю в европейский культурный канон. Один из ранних исследователей сарматизма Тадеуш Маньковски пишет об этом так: «теория сарматского происхождения польского народа и государства в таком свете это не миф <...> а выражение поисков своего «я» более просвещенным слоем народа, поиск исторических традиций народом, который почувствовал свои силы и хочет что-то значить, поиск своего места среди других народов с долгим прошлым»¹⁴.

В это время были опубликованы ещё три исторических произведения, в которых теория сарматского происхождения шляхетского сословия и польской государственности была окончательно сформулирована и передана в таком виде последующей «эпохе сарматизма» – XVII столетию.

В 1578 г. вышла работа итальянского офицера из Вероны на польской службе Александра Гваньини (итал. Alessandro Guagnini,

¹¹ Bömelburg H.-J. Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa (1500–1700). Kraków: Universitas. 2011. S. 210.

¹² Ulewicz T. Op. cit. S. 102-103.

¹³ Maciejewski J. Sarmatyzm jako formacja kulturowa // Teksty. 1974 № 4. S. 16.

¹⁴ Mańkowski T. Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946. S. 31.

польск. Aleksander Gwagnin;) «Sarmatiae Europaeae descriptio». Его сочинение было посвящено королю Стефану Баторию. Сарматская теория была им изложена в разделе под названием «Происхождение и начало древнего мужественного сарматского народа, от которого поляки и все славяне ведут свое начало и свой род».

«Польская, литовская, жмудская и всяя Руси хроника, которая до сих пор никогда не видела света» поэта, военного разведчика Мачея Стрыйковского (Maciej Strykowski) увидела свет в 1582 г. Его сочинение было очень популярно вплоть до времен Адама Мицкевича, который использовал его в своем творчестве. Сарматская концепция в изложении Стрыйковского, была очень близка к версии Гваньини¹⁵. Оба они отвергали родство германцев и славян, а вандальской концепции происхождения славян противопоставляли идею о том, что вандалы – это просто другое название для сарматов, которые жили на реке Висла /Вандал (от имени королевы Ванды).

В 1587 г. появилось произведение Станислава Сарницкого «Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituatorum libri octo». Более половины этого сочинения было посвящено предыстории Польши, периоду до Мешко I. «Независимо от расхождений, разделявших эти три произведения, – пишет исследователь польской литературы эпохи барокко Ч. Хернас, – <...> вырисовывались и некоторые общие убеждения: что понятие сарматского народа ограничивается собственно шляхетским сословием, что этот народ сарматско-шляхетский происходит от древних родов <...> что ценность человека определяется прежде всего древностью того рода, из которого он происходит, потому что именно в родах наследуются и сохраняются старые культурные модели. Отсюда возник культ наследия и связанный с ним традиционализм. ... Изыскания на тему Сарматии и сарматов приводили к утверждению социального традиционализма, хотя исходным пунктом этих исследований было пробуждение национального сознания, а значит – творческий элемент в процессах трансформации польской культуры»¹⁶.

Понятие Сарматии в Польше постепенно приобретает этническое и сословное значение и начинает относиться к жителям государства. Храбрые сарматские наездники во времена поздних Ягеллонов казались все более привлекательными в роли «славных предков» для польской шляхты, которая приобретала все возрастающее

¹⁵ Стрыйковский даже обвинял Гваньини в плагиате.

¹⁶ Hernas Cz. Barok. Warszawa. PWN. 2002 S. 12-13.

политическое значение в государстве. Происхождение от воинов-всадников, сыгравших важную роль (наряду с гуннами и германцами) в падении Римской империи, импонировало шляхте. Шляхецкой идеологией сарматизм начал становиться с конца XVI в. и дошел до наивысшего расцвета в этом качестве на протяжении XVII столетия.

Именно представителей дворянского сословия стали отождествлять с сарматами. Сложился центральный пункт идеологии сарматизма – версия об особом этническом происхождении шляхты (например, решительно этот тезис выражен в «Политии польского королевства» (1566) Станислава Оржеховского (Stanisław Orzechowski)). Общесословная сарматская идеология объединяла шляхту разного этнического происхождения и противопоставляла её другим сословиям как «народ шляхетский (сарматский)», сформировала у дворянства чувство сословной исключительности и превосходства, убеждённости в совершенстве основанного на «шляхетской демократии» политического строя страны. При этом все шляхтичи, включая короля, независимо от знатности того или иного рода, формально считались равными, «братьями» («панибратство»). Низшие сословия (горожане и крестьяне) стали пониматься как потомки покорённого автохтонного населения, не имеющего отношения к сарматской славе. Крестьян и казаков называли хамами, гетами или гепидами. Никто, кроме шляхты, пишет С. Оржеховский, «...по чести жить не может». Купец, ремесленник, крестьянин – не дети, а слуги Польского королевства. Только шляхетская жизнь основана на правде и вере, поэтому всякие «городские» занятия шляхте запрещаются.

Хотя отождествление сарматов со шляхтой и не было принято абсолютно всеми интеллектуалами, писавшими об этом, а двое из трех авторов-основоположников концепции – Меховит и Кромер – даже не были шляхтичами (только Бельский имел дворянское происхождение), к моменту полной утраты политического существования в 1795 г. Речь Посполитая подошла в ситуации, когда представителями «польского народа» ощущали себя только высшие слои населения. Слово «поляк» фактически стало означать «сармат-шляхтич».

Эпоха Барокко не внесла ничего принципиально нового в концепцию сарматизма. Она превратилась в догматично повторяемую идеологему, обрастая все новыми деталями, прославляющими «шляхетский народ». В их числе было, например, представление о том, что первые люди в раю говорили по-польски, а все языки мира – искаженные варианты польского языка. Для того, чтобы теория сарматского происхождения имела корни в как можно более древней польской исторической литературе, фальсификатор исторических

источников Пшыбыслав Дыяментовский (*Przybysław Dyjamentowski*) (1694–1774) создал подложную «Хронику Прокоша», якобы X века, в которой говорилось о сарматском происхождении поляков.

Сарматская легенда со времен своего формирования в конце XV века и до времени расцвета в XVII в. приобретала разные формы и выполняла разные функции. Идея «сарматского происхождения» использовалась для обоснования славянской, польской, польской шляхетской и польско-шляхетско-католической идентичностей. Как показывают современные исследования, «сарматская парадигма» по-разному интерпретировалась и в разных частях Речи Посполитой (Малопольский регион, Великопольский регион, Мазовия, Прусы, Литва, Русь)¹⁷. На протяжении этого времени, менялась социальная структура польского общества и его политическая система, менялась также и внешнеполитическая ситуация страны. Возвышение шляхты сменило доминирование магнатов, сформировалась система выборов королей и их ответственности перед Сеймом, на смену длительному периоду мощи и имперских амбиций пришел «Потоп», катастрофы XVII века, поставившие государство на грань гибели.

«Сарматская легенда» укрепляла авторитет государства среди других европейских держав наличием вполне древних и «престижных» корней. Кроме того, поскольку сарматское происхождение приписывалось изначально не только полякам, легенда позволяла сформулировать идею единства полиэтничного населения (или, как минимум, шляхетского сословия) Ягеллоновской Речи Посполитой. Идеология сарматизма, дававшая основания представлениям об этно-историческом единстве разнородной шляхты, хорошо соответствовала духу польско-литовской Люблинской унии 1569 года¹⁸. Она также оправдывала политику восточной экспансии, в частности права Речи Посполитой на Московские земли¹⁹. В этом случае Московское государство объявлялось частью Европейской Сарматии, которой москвиты владеют не по праву, так как они были «пасынками сарматов».

¹⁷ Bömelburg H.-J. Op. cit. S. 566-577.

¹⁸ «Сарматская идеология объединяла всех членов шляхетского сословия в один сплоченный, солидарный, убежденный в единстве своего происхождения народ. Вместе с полонизацией русской и литовской шляхты – принятием языка, обычаев и веры – сарматское происхождение оказалось распространено на всю шляхту» (Pasyński W. Op. cit. S. 156).

¹⁹ Хроника Марцина Кромера была написана по заказу короля Сигизмунда Августа. Ее политической целью было оправдание экспансии на восток, на территорию Московского государства, представление этого продвижения как *bellum justum*, возвращение восточной части Европейской Сарматии, по историческому праву принадлежащей Польской короне.

Вообще «Сарматия» оказалась весьма гибким, подвижным и вмести- тельным «мнемоническим означающим», которое в зависимости от контекста, среды и потребностей могло соединять в себе самые раз- ные «мнемонические означаемые»²⁰. Концепция сарматизма на про- тяжении столетий участвовал в игре различных социальных интере- сов и политических проектов. При этом она трансформировалась, приспособлялась к текущей ситуации, а прибегавшие к ней силы вынуждены были считаться с «сарматизмом» как с определённым сформировавшимся и достаточно устойчивым «местом памяти», за которым стоял авторитетный историографический канон.

На протяжении всего XVIII в. сарматская теория была обще- принятой в польской науке. Ее придерживались и епископ Адам Нарушевич (1733–1796) – историограф короля Станислава Августа, и выдающийся польский просветитель Гуго Коллонтай (1750–1812). Лишь в начале XIX в. бурно развивавшаяся и профессионализирую- щаяся историческая наука подвергла критике достоверность сармат- ской версии польского этногенеза.

Основную роль в разрушении основ сарматской концепции сыграли работы Иоахима Лелевеля (1786–1861), хотя и он не сразу отошел от сарматской версии происхождения. Поворотной точкой стало сочинение Лелевеля «Взгляд на древность литовских наро- дов»²¹. Окончательно «антисарматская» концепция Лелевеля сложи- лась в работе «О народах, населявших Европу до X века», опублико- ванной в 1814 г.²² На место сарматской теории польский историк предлагает известную еще в средние века балканскую теорию про- исхождения славян, только вместо вандалов и готов, о которых го- ворили средневековые концепции, Лелевель утверждает происхож- дение славян от гетов и даков. Существенную роль в дискредитации сарматской теории сыграла также научная деятельность просветите- ля, слависта и историка Вавржыньца Суrowецкого (1769–1827) и его доклад «Наблюдение истоков славянских народов» (1824)²³. Посте- пенно, на протяжении XIX века, особенно во второй его половине,

²⁰ Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimçev R., *Entangled Memory. Toward a Third Wave in Memory Studies History and Theory* 53 (2014), Issue 1, P. 31.

²¹ Lelewel I. *Rzut oka na dawność litewskich narodów i związki ich z Herula- mi: dołączony opisu północney Europy w księdze XXII. 8. Ammiana Marcellina wykład przeciw Naruszewiczowi*. Wilno, 1808.

²² Lelewel I. *O Narodach do Xgo wieku w Europie będących*. Pisma pomniejsze geograficzno-historyczne, nakł. wł., Warszawa 1814.

²³ Surowiecki W. *Sledzenie początku narodów słowiańskich: Rozprawa czytana na publ. posiedzenin Królewsko-Warszawskiego towarzystwa przyjaciół nauku* dnied 24 Stycznia R. 1824. Warszawa.

сарматская теория была вытеснена другими концепциями, в частности популярной венетской.

Однако сарматская теория сохранилась в польской науке до сегодняшнего дня. Этой концепции придерживался, например, известный польский археолог, оставшийся на Западе после окончания Второй мировой войны, Тадеуш Сулимирский (1898–1983). Он отмечал сильное влияние ираноязычных сарматов на язык славян и на славянскую, прежде всего – польскую, культуру. По его мнению, сарматы могли быть ассимилированы славянами²⁴. Самой современной попыткой возрождения сарматской теории в польской историографии стала работа историка Петра Макухи²⁵. Он ищет преемственность польской и сарматской (индоиранской) культур прежде всего в области фольклора (легенд и преданий).

Поэтому можно констатировать, что сарматизм как концепция коллективной (славянской, шляхетской, польской национальной) идентичности, культура «шляхетского народа Речи Посполитой», и сарматская теория происхождения поляков и славян вообще – явления разного порядка с разной исторической траекторией, хотя и взаимосвязанные в том смысле, что историографические теории служили материалом для конструирования культурных идентичностей.

Сарматизм как культура «шляхетского народа»: основные черты

Рассмотренные выше историографические построения послужили основой для формирования коллективной идентичности шляхетского сословия, «народа», Республики (Речи Посполитой). Это была идеология, система представлений, образов, идей, норм и ценностей, мифологем, которая приобрела наиболее законченные и выразительные формы в XVII в.

В XVI в. власть в государстве перешла к шляхте. XVI столетие стало «золотым веком» польского дворянства. Длительный мир, экономическое процветание, вызванное подъёмом барщинного хозяйства, стимулированного спросом на сельхозпродукцию со стороны западноевропейских стран, идущих по пути капитализма, всё это привело к укреплению политических позиций шляхты, которой удалось утвердить своё исключительное положение в социально-политической структуре общества. Принципом работы Сейма стало положение об обязательном единогласии при принятии решений, *liberum*

²⁴ Sulimirski T. Sarmaaci. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. (англоязычное издание 1970 г.)

²⁵ Makuch P. Od Ariów do Sarmatów. Nieznane 2500 lat historii Polaków. Kraków: Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2013.

veto. В 1573 г. состоялись первые выборы короля, в которых участвовала только шляхта. Сейм избрал Генриха Валуа королём Польши. В Париже Генрих подписал условия занятия им престола, сформулированные Сеймом («Генриховы артикулы»), а также *pacta conventa* – особое соглашение выборщиков с претендентом. В 1592 г. Сигизмунд III был подвергнут суду Сейма после того как были раскрыты его планы передать польскую корону Габсбургам.

В результате сложилась концепция «сарматской (шляхетской) золотой вольности». Любые попытки реформ с целью усиления центральной власти стали восприниматься шляхтой как покушение на свободу, результат внешнего влияния иностранных тиранических режимов. Строй шляхетской республики политическими теоретиками стал восприниматься как идеальный и соответствующий классическим древнеримским образцам, требующим сбалансированности элементов трёх форм правления – монархии (король), аристократии (сенат) и демократии («шляхетский народ»). Такое государственное устройство не имело аналогов в тогдашней Европе. Отсюда и идея исключительности Польши и её особой миссии.

Речь Посполитая в итоге стала восприниматься как замкнутый самодостаточный «лучший из миров», постоянно находящийся под внешней угрозой. Это могло быть визуализировано в образах сарматского корабля-ковчега, борющегося с бурными волнами истории и дающего спасение находящимся на нём избранным, а также в образе твердыни, оплота, щита, передового рубежа обороны (*przedmurze, antemurale christianitatis*) истинной веры от ересей, цивилизации от варварства. Военно-политические события XVI и XVII вв. (многочисленные войны с Османской империей, Крымским ханством, Швецией, Московским государством, казачеством) давали этой идее реальные основания. Своеобразным апофеозом этой концепции стала победа польской армии под командованием Яна III Собеского над османской армией под Веной в 1683 г.

«Термин *przedmurze*, – пишет Я. Тазбир, – принадлежит к числу понятий, которые сыграли существенную роль в развитии польского исторического сознания. В XVI и XVII столетиях он соответствовал конкретной действительности... Хотя в последующие века он и перешёл в категорию мифов, термин этот, однако, не утратил своего значения. Напротив, *przedmurze* сделало карьеру в период, когда государство, некогда одарённое этим наименованием, на долгие годы (1795–1918) исчезло с карты Европы», «в Польше в результате разделов, которые по многим пунктам изменили взгляд на прошлое, *antemurale* обогатило арсенал национальных мифов, став одновре-

менно и одним из орудий борьбы за обретение независимости»²⁶. Образ страны-миссии, страны-крепости стал, таким образом, одной из устойчивых мифологем национального самосознания. Идеи религиозного избранничества и миссии здесь тесно сплетаются с национально-сословной идентичностью «истинного сармата», образуя комплекс «поляк-шляхтич-католик».

Из вышеупомянутых характеристик шляхетской культуры вытекал и сарматский консерватизм. Устройство Речи Посполитой представлялось совершенным и уникальным, а потому ей невозможно и крайне вредно что-либо у кого-либо заимствовать. Образцом для Речи Посполитой могли быть только Римская республика, или же самый ранний период польской истории. Реформы могли восприниматься позитивно только, если они провозглашали возвращение к принципам «золотого века». Отсюда возникало и специфическое отношение к внешнему миру. Сарматизм характеризуется замкнутостью и ксенофобией, с одной стороны, а также синкретизмом, причудливым соединением элементов собственно польской культуры с течениями, идущими с Востока и Запада, с другой. Влияние Востока прослеживается в декоративно-прикладном искусстве, костюме, оружии, внешнем облике (пришедшие с Востока «польские (сарматские)» усы и т.д.). К концу XVII столетия польский шляхетский костюм оказался настолько ориентализированным, что под Венной в 1683 г. король Ян Собеский приказал своим воинам обвязаться соломенными жгутами, чтобы они не путали друг друга с противником. В числе причин такой достаточно лёгкой адаптации восточных элементов на польской почве следует также назвать и идею восточного (сарматского) происхождения шляхты. Запад влиял преимущественно на развитие науки, литературы и архитектуры. В политическом же отношении идеологи сарматизма опасались влияния габсбургского и французского абсолютистских режимов.

Шляхтич-гражданин, «истинный сын» Речи Посполитой, во-первых, должен был быть политическим деятелем, сеймовым оратором, способным и с оружием в руках выступить против проявляющегося тиранические тенденции короля. Во-вторых, это воин, защитник страны и веры. В-третьих, это землевладелец-помещик, образцом для которого должны быть библейские патриархи и римский герой Цинциннат, менявший при необходимости плуг на меч, способный принять на себя ответственность за судьбу Отечества, и ис-

²⁶ Tazbir J. *Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna*. Warszawa, 1987. S. 5, 142.

полнив гражданский долг, скромно удалиться в деревню. Таким образом, перед нами классическое сочетание характеристик идеального античного гражданина.

Результаты эпохи сарматизма для формирования польского национального самосознания оказались далеко не однозначными. Возникла дворянская «гражданско-политическая («горизонтальная», в терминологии Э. Смита) нация», членство в которой не было связано с этноязыковой принадлежностью. Вместе с тем, идеология сарматизма создала барьер между шляхтой и всеми остальными сословиями страны. Ещё на рубеже XIX и XX вв. польские крестьяне называли «поляками» только шляхтичей. Однако сарматизм создал столь притягательную для непривилегированных слоев населения культурную модель, что во второй половине XIX – первой половине XX века современная бессловесная польская национальная культура стала формироваться на основе шляхетских (сарматских) образов и образцов. Шляхтичи из романов Г. Сенкевича стали образцом для польских горожан, крестьян и рабочих.

Сарматизм: публицистический образ – теоретический концепт – модель национальной идентичности

Историографическая конструкция сарматского происхождения польского народа эпохи Ренессанса и специфические черты шляхетской культуры XVII–XVIII вв. создали в результате концепт «сарматизма», оказавшийся чрезвычайно значимым в дискуссиях о модели польской национальной идентичности вплоть до сегодняшнего дня. Судьба этого понятия в чем-то напоминает судьбу концепта феодализма. Понятие феодализма, как и сарматизма, возникло в публицистике и литературе эпохи Просвещения с однозначно негативным оттенком и обозначало образ того неразумного, нетерпимого и неприемлемого более Старого порядка, от которого следует отказаться во имя Разума и Прогресса. Позднее оба концепта были переформатированы в научные термины с многочисленными подходами к пониманию их сущности и вариантами определения. Относительно обоих в последнее время стали высказываться сомнения по поводу наличия в них какого-либо реального исторического содержания.

Термин «сарматизм» сложился в 1760-х гг. в просветительских кругах, связанных с основанным выдающимся деятелем польского Просвещения, энциклопедистом, поэтом и прозаиком, епископом Игнацием Красицким (1735–1801) совместно с Франтишком Богомольцем и при поддержке короля, журнала «Монитор» (1765–1785). Другим центром формирования дискурса о сарматизме стал первый польский литературный журнал «Полезные и приятные развлечения»,

выходивший в 1770–1777 гг. Его редакторами были крупные деятели Просвещения Адам Нарушевич и Ян Альбертранди. Журнал также поддерживал король Станислав Август. Ян Красицкий в 1774–1775 гг. написал сочинение «Похождения Миколая Досьвядчиньского»²⁷. Отец героя – добрый шляхтич, который верно служил Речи Посполитой и считал, что хорошо принять гостя означает напоить его так, чтобы он свалился под стол. Сам Миколай в итоге вырос в обстановке невежества и предрассудков. В 1795 г. была поставлена комедия поэта и драматурга Франтишка Заблоцкого (1752–1821) «Сарматизм». В комедии представлена жизнь шляхетских семей, погруженных в земельные споры и в выяснение того, кому на какой лавке в костеле подобает сидеть.

В 1765 г. «Монитор» писал: «... останется в веках и будет поистине заслуженной вечная признательность тем, кто, скинув ярмо предвзятости и отвратительного невежества, осмелится посягнуть на этих... сарматские балванов, которые вот уже на протяжении двухсот лет делают наш Народ посмешищем для образованных людей»²⁸.

В период оживления политической жизни после Первого раздела Речи Посполитой во время работы Четырёхлетнего (Великого) сейма (1788–1792) возник образ «просвещенного сармата»²⁹, образованного и прогрессивно мыслящего патриота своей родины. Этот образ был создан в пьесе «Возвращение депутата» («Powrót posła»), написанной писателем, поэтом, драматургом и историком Юлианом Урсыном Немцевичем (1758–1841) осенью 1790 г. во время перерыва в работе Сейма и поставленной в 1791 г. В пьесе представлен образ непросвещенного старосветского «сармата» Пана Гадульского (Pan Gadulski)³⁰. Пан Гадульский – консерватор-традиционалист,

²⁷ «Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki», то есть «Похождения Миколая Многоопытного».

²⁸ «Monitor Warszawski». 1765, nr. 30. S. 234-235. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. URL: www.dbc.wroc.pl

²⁹ О дискуссии, связанной с понятием «просвещенного сарматизма» в современной польской литературе см.: Stuchlik-Surowiak B. Sarmatyzm : dzieje jednego pojęcia // Perspektywy Kultury: pismo Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. 2012, nr. 1. S. 24-25. Одной из проблем этой дискуссии является необходимость проведения различия между «просвещенным сарматом» („sarmata oświecony”) и «сарматом эпохи Просвещения» („sarmata oświeceniowy”), то есть, прежде всего – «эпохи Великого сейма». Первый образ относился к XVII в. и до определенной степени приобретал внеисторические черты образованного и широко мыслящего патриота, поляка-европейца, преданного национальной культурной традиции. Второй же характеризовал сторонника реформ эпохи Просвещения в Речи Посполитой.

³⁰ Т. е. «Пан Болтун»

который отстаивает старые шляхетские вольности, *liberum veto*, противник просвещения, повторяющий, что «Польша держится беспорядком» («Polska nierządem stoi»). Ему противопоставлены «просвещенные сарматы», Пан подкоморий³¹ и его жена. Таким образом, эпоха Просвещения, которая непосредственно предшествовала разделам, сформировала концепт и художественный образ «сарматизма» для польской культуры.

Эпоха романтизма, совпавшая с первыми годами периода разделов, реабилитировала сарматизм. «Первый раз в истории современной польской культуры к сарматизму стали относиться как к обычаю и стилю *sui generis*, понятному и последовательному на фоне собственно системы ценностей», – пишет современный польский исследователь³². На протяжении «долгого польского XIX века» наибольшее влияние на формирование образа героического «сарматского рыцаря», благородного шляхтича, оказали Адам Мицкевич («Пан Тадеуш») и Генрик Сенкевич («Трилогия» – «Потоп», «Пан Володыевский», «Огнём и мечом»). Созданная ими галерея литературных персонажей стала важнейшей частью национального имажинариума. Вместе с тем, во второй половине XIX века сложилась и достигла высокого уровня научного и политического (прежде всего в австрийской Галиции) влияния «краковская школа» польской историографии. Ее основной идеей была историческая вина шляхты за распад государства. Путь «шляхетской демократии» краковские историки (В. Калинка, М. Шуйский, М. Бобржиньский и др.) считали «отклонением от норм», «патологией» на общеевропейском фоне.

Понятие сарматизма постепенно все больше удалялось от конкретно-исторических реалий раннего Нового времени и превращалось в своеобразный символ шляхетской культуры, а в силу важности роли шляхты в формировании национальной культурной традиции – и польской нации. В эпоху разделов образ «исторической Польши» был по своей социальной сути шляхетским. Шляхта осознавала себя единым «польским народом» на всей территории бывшей Речи Посполитой. Она создавала образ польской политической нации как «исторического народа», объединенного древней традицией государственности, общими социально-политическими ценностями, сознанием своей миссии в истории, «высокой культурой» и вырабатываемыми ею системами образов, идей и мифологем. Одна-

³¹ Подкоморий (*podkomorzy*) – судья по земельным спорам в Короне и в Великом княжестве Литовском.

³² Waško A. *Romantyczny sarmatyzm: Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863*. Kraków. Arkana. 1995. S. 14.

ко к концу XIX в. стало формироваться самосознание недворянского населения регионов бывшей Речи Посполитой. В связи с этим образ Польши стал меняться. Исследователи начали обращать внимание на этническую принадлежность населения «исторической Польши». Критериями этнической польской принадлежности выступали обычно язык и религия.

К началу XX столетия возникает своеобразное «культурно-антропологическое» понимание сарматизма как «стиля (образа) жизни» (З. Глогер³³ и др.). Как совокупность принципов и вкусов, опирающихся на определённую картину мира, «стиль бытия», определил сарматизм известный польский историк искусства Т. Хжановский³⁴. Здесь сарматизм – совокупность нравов, обычаев, представлений польского дворянства «старопольского» периода истории (конец XVI – первая половина XVIII в.). Трактовка сарматизма как шляхетской идеологии, сословного мировоззрения, субкультуры польского дворянства периода его экономического процветания, социально-политического и культурного доминирования представлена главным образом в работах польских историков (Ст. Цынарского³⁵, Я. Мацисhevского³⁶, Ф. Зайончковского³⁷). Особое место среди них занимают многочисленные труды Я. Тазбира³⁸. В 1938 г. была опубликована статья историка Ст. Кота, обратившего внимание на формирование в эпоху сарматизма политической концепции польской «шляхетской нации», к которой могли себя причислять люди разного этнического происхождения. Эти идеи нашли свое продолжение в работах известного историка А. Валицкого³⁹.

³³ Gloger Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. 4. Warszawa, 1903.

³⁴ Chrzanowski T. Sarmatyzm – mity dawne i współczesne // Chrzanowski T. Wędrowki po Sarmacji Europejskiej. Kraków, 1988.

³⁵ Cynarski S. Sarmatyzm – ideologia i styl życia // Polska XVII wieku. Państwo-społeczeństwo-kultura / Pod red. J. Tazbira. Warszawa, 1974; Cynarski S. The Shape of Sarmatian Ideology in Poland // Acta Poloniae Historica. Vol. XIX. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1968.

³⁶ Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa, 1969.

³⁷ Zajączkowski A. Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce. Wrocław, 1961.

³⁸ Tazbir J. Rzeczpospolita szlachecka. Warszawa, 1973; Idem. Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit-Upadek-Relikty. Warszawa, 1979; Idem. Polish National Consciousness in the 16th-18th centuries // Acta Poloniae Historica 46, 1982; Idem. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa, 1987.

³⁹ А. Валицкий называет шляхетский национализм эпохи романтизма хорошим примером того, как народ может быть сконструирован элитой, управляющей общественным мнением при помощи формирования сферы воображения (Walicki A. Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Prace wybrane. T. 1. Kraków: Universits,

Продолжением рассмотрения сарматизма как «стиля жизни» стал его анализ в русле «исторической антропологии» («истории повседневности»). При этом сарматизм постепенно все менее чётко ограничивался хронологически, превращаясь в некоторое «польское всегда». В дискуссиях 1990-х гг. его границы доходили до Ноябрьского восстания 1830 года. Появилось также понятие «романтического сарматизма», охватывающее период между Ноябрьским и Январским восстаниями (то есть 1831–1863 гг.)⁴⁰. Возникла тенденция к изучению «фаз», «реликтов» и «волн» сарматизма (докатывавшихся уже и до второй половины XIX века)⁴¹. Сарматизм не ограничивается и социально, поскольку его проявления обнаруживаются исследователями в различных сословиях и этно-конфессиональных группах вне сословных границ польской шляхты. Представителями этого направления можно считать таких авторов, как А. Брюкнер, Е. Быстронь, Вл. Лозинский, Зб. Кухович и др.⁴² К концу XX столетия в историографии стали появляться такие термины, как «квази-сарматизм», сарматизм «большой длительности» и т.п.

Волна интереса к сарматизму возникла в польской гуманитаристике в 1970-х гг. В 1974 г. вышел специальный номер журнала «Тексты», посвященный сарматизму. Януш Мачейевский предложил тогда понимание сарматизма как «культурной формации», т.е. «целостности, слагающейся из способов поведения отдельных людей и результатов этого поведения в пределах определенного общества в определенный период его исторического развития»⁴³

Сарматизм тогда же начал выводиться за польские рамки и рассматриваться как региональное явление, вызванное к жизни сход-

2009. S. 230). Практически речь здесь идет о конструктивистской модели нациестроительства – задолго до того, как она получит свое имя в дискуссиях второй половины XX в.

⁴⁰ См.: Waśko A. Op. cit.

⁴¹ Stuchlik-Surowiak B. Sarmatyzm: dzieje jednego pojęcia // *Perspektywy Kultury: pismo Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum"* w Krakowie. 2012, nr. 1. S. 28-30.

⁴² Brückner A. *Dzieje kultury polskiej*. T. I–IV. Kraków, 1930–1932; Bystron J. *Dzieje obyczajów w dawnej Polsce (XVI–XVIII)*. T. I–II. Warszawa, 1933; Lozinski W. *Zycie polskie w dawnich wiekach*. Lwów, 1907; Kuchowicz Zb. *Z dziejów obyczajów polskich*. Łódź, 1957.

⁴³ Maciejewski J. *Sarmatyzm jako formacja kulturowa // Teksty*. 1974 № 4. S. 19. Эта традиция понимания сарматизма как термина того же порядка, что Ренессанс или Просвещение, означающего польский вариант общеевропейской культурной формации более-менее соответствующей XVII веку, существует и сегодня. См.: *Słownik literatury polskiego oświecenia*, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002, s. 548, 551.

ными внутривосточными и внешнеполитическими условиями в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы в период позднего Средневековья – раннего Нового времени. Так, венгерский славист А. Андьял⁴⁴ утверждал, что сарматизм – не уникальное польское явление. В XVI–XVIII вв., отмечал он, в Центральной и Восточной (Юго-Восточной) Европе сложилась особая межнациональная культурная общность, формирование которой было обусловлено сходством социально-политических и экономических процессов в регионе (усиление позиций дворянства, развитие барщинного хозяйства и крепостничества, постоянная внешняя, турецкая угроза). Это был, по определению Андьяла, «мир пограничных крепостей». Сарматизм же – польский вариант этой культурной формации.

Я. Мачейевский⁴⁵ также отмечает типологическое сходство путей социально-политического развития Польши в направлении ослабления центральной власти и усиления позиций тех или иных сословий (дворянства, горожан) с путями развития Чехии, Венгрии, Пруссии, а также – Новгорода и Пскова. Он подчёркивает, что в более широкой временной перспективе строй шляхетской демократии эпохи сарматизма в Речи Посполитой вовсе не выглядит таким уникальным, каким он кажется в хронологических рамках XVII–XVIII вв.

Вывести сарматизм за рамки исключительно польского контекста можно было и иначе. Сущность сарматизма старались раскрыть в контексте общеевропейской культуры Барокко. Разработка этой темы в XX веке началась с книги Тадеуша Маньковского, где сарматизм трактовался как польская разновидность Барокко⁴⁶. Оживлённая дискуссия о соотношении Барокко и сарматизма протекала и в 1990-х гг. Так, литературовед Я. Пельц⁴⁷, определил сарматизм как «низовое барокко». Однако несколько позднее тот же автор высказался в том смысле, что объём понятий «сарматизм» и «барокко»

⁴⁴ Angyal E. Świat słowiańskiego baroku. Warszawa, 1972.

⁴⁵ Maciejewski J. Op. cit. S. 22-23.

⁴⁶ Mańkowski T. Genealogia sarmatyzmu. Warszawa, 1946.

⁴⁷ Pelc J. Barok – epoka przeciwieństw. Warszawa, 1993. В советской и российской науке сарматизм также изучался прежде всего в контексте культуры Барокко. См.: Рогов А.И. Проблемы славянского барокко // Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979; Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979; Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. М., 1981; Софронова Л.А., Липатов А.В. Барокко и проблемы истории славянских литератур и искусств // Барокко в славянских культурах. М., 1982; Липатов А.В. Литература в кругу шляхетской демократии. М., 1993; Софронова Л.А. Старинный украинский театр. М., 1996; Она же. Культура сквозь призму поэтики. М., 2006.

может и не совпадать, а «барокко сарматов не обязательно должно было быть сарматским барокко»⁴⁸.

Таким образом, можно сказать, что основной тенденцией развития историографического образа культуры сарматизма в XX веке было постепенное расширение хронологических, сословных и национально-географических рамок этого явления.

Сарматизм сегодня

В результате, ко времени политической трансформации рубежа 1980–1990-х годов польская культура подошла с двумя нарративами о сарматизме – апологетическим и критическим, и каждый из них имел долгую и достаточно извилистую историю.

Апологетическая традиция поминания сарматизма была создана прежде всего в культуре романтизма и прошла через весь период разделов Польши, через «долгий XIX век», то актуализируясь, то отходя в тень в период господства «краковской школы», или под влиянием «позитивизма». Своеобразным преломлением сарматизма можно считать концепцию «прометеизма» Ю. Пилсудского, а затем новым его воплощением стало движение «Солидарность» периода «народной Польши». Так или иначе, в разных исторических обстоятельствах, комплекс сарматских идей питал оптимистическую версию польской национальной идентичности, создавал образ Польши как бастиона европейской цивилизации и носительницы идеи Свободы.

С другой стороны, критическое восприятие сарматизма уходит своими корнями в эпоху Просвещения, во второй половине XIX века критика сарматизма получает детальную разработку в рамках «краковской школы» историографии, представлявшей шляхетскую сарматскую Речь Посполитую как патологическое отклонение от «нормы» развития европейского государства, приведшее страну к катастрофе разделов. В социалистический период польской истории комплекс критических идей в отношении сарматизма также оказался идеологически весьма актуален для властей «народной Польши». Это и критика шляхты с ее склонностью к анархии, и апология сильной централизованной власти, и акцент на пястовском, «самодержавном» периоде польской истории, когда границы государства к тому же были максимально похожи на границы Польской народной республики.

После политических перемен конца XX столетия и конца коммунистического режима отношение к сарматизму стало маркером размежевания, либеральных и левых политических сил, с одной сто-

⁴⁸ Pelc J. Dylematy staropolskiego sarmatyzmu // Sarmackie teatrum. Tom 1. Wartości i słowa. Katowice, 2001. S. 20.

роны, а с другой – правоконсервативных и националистических⁴⁹.левой и либеральной повестке оказалась созвучна критическая версия отношения к сарматскому наследию, которое в этом случае отождествлялось с национальной мегаломанией, ксенофобией, провинциальностью. Этому комплексу идей противопоставляется образ «нормальной европейской Польши», без комплекса национальной исключительности, «особого пути» и миссии, способной догонять упущенное за время «строительства социализма» и учиться у «старой Европы». Их политические оппоненты, напротив, видят в сарматизме ценное наследие⁵⁰, определяющее значимость и место Польши в Европе и в мире, показывающее, что Польша отнюдь не является «молодой/младшей» Европой, будучи носительницей европейских ценностей и принципов, начиная еще со времен позднего Средневековья.

Образ сарматизма оказался в начале нынешнего века важным ресурсом символической борьбы либеральных и консервативных политических сил, представляемых партиями «Гражданская платформа» и правящей ныне «Право и справедливость» соответственно⁵¹. 3 ноября 2005 г. публицист Ян Ракита в либеральной «Газете Выборчей» писал: «В сущности речь всегда шла об одном и том же. Одни хотели солидарности, идентичности и народного католицизма. Другие – современности, реформ публичных институтов, преодоления национальных пороков». Консерваторы же упрекают своих ли-

⁴⁹ Свою статью о категории сарматизма в дискурсе оппозиционной в настоящее время лево-либеральной «Газеты Выборчей» торуньский филолог Павел Богушевич начинает с такой констатации: «В течение 25-ти лет своего существования «Газета Выборча» была столь же информационным медиа, сколь и актором, проводящим достаточно последовательную политику идентичности» (Bohuszewicz P. *Kategoria sarmatyzmu w dyskursie „Gazety Wyborczej”*// *Teksty Drugie*. 2015. № 1. S. 63).

⁵⁰ См., напр.: Krzysztof Koehler: *Dziedzictwo sarmackie to polski kapitał* // *Teologia Polityczna*. 01.08.2017. URL: <https://teologiapolityczna.pl/krzysztof-koehler-dziedzictwo-sarmackie-to-polski-kapital-rozmowa>

⁵¹ Познаньский историк Томаш Наконечный пишет: «Позитивное отношение к сарматизму обычно связано с целым набором других элементов идентичности: привязанность к консервативным установкам и ценностям, отрицательное отношение к мультикультурализму в его современном понимании, в сфере политических симпатий – поддержка правых сил и т.д. В свою очередь, негативное отношение к Сарматии, ее идеологии и социальным практикам чаще всего связано с левой социальной чувствительностью и поддержкой интеллектуально-моральных проектов (таких как постколониализм или постструктурализм), ориентированных на те социальные группы, которые сарматизмом и сарматами подвергались социальному исключению, маргинализации или стигматизации (крестьяне, горожане, этнические меньшинства)». – Nakoneczny T. *Sarmatyzm – projekt niedokończony?* S. 106. URL: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/p/article/view/13964/13658>

беральных оппонентов в стигматизации национального прошлого и насаждении через университетскую и школьную системы в массовом историческом сознании поляков представлений о сарматизме коммунистических времен⁵².

Современные интерпретации сарматизма в перспективе конструктивизма, постструктурализма, феминизма (гендерной теории), постколониальных исследований (теории зависимого развития), психоаналитических подходов и т.д. так или иначе оказываются включенными в политическую борьбу за культурную гегемонию в поле символической борьбы за доминирующую модель польской национальной идентичности. Одним из наиболее важных событий последних лет, вызвавших оживленную общественную дискуссию, была публикация книги краковского исследователя Яна Сова⁵³, который на основе (пост)современных методологических подходов вновь актуализировал многие постулаты «краковской школы» критики сарматизма. С той только разницей, что в свое время «краковская школа» носила правый и консервативный политический характер, а теперь следование ее перспективы выглядит уже леволиберальным политическим предприятием. Ян Сова утверждает, что никакой особой модели развития государства Речь Посполитая миру не предложила и не могла предложить, поскольку просто ее не имела. Предложить она могла только урок того, что может случиться с обществом при отсутствии государства. По мнению автора, Речь Посполитая после конца династии Ягеллонов в 1572 г. была «фантомным телом», государство фактически перестало существовать уже тогда, а не в эпоху разделов. Сарматизм же был невротическим «фантазмом», который до поры маскировал реальный образ распадающегося полукolonиального пространства европейской периферии и позволял шляхте наслаждаться иллюзией величия и избранности Речи Посполитой. Так сарматизм переместился в сферу социальных представлений, «коллективного воображаемого».

Однако затем вопрос был поставлен даже более радикально и звучал он так: а существовал ли сарматизм вообще? Соответствует ли этому понятию какая-либо реальность XVI–XVIII вв., или же это «изобретенная традиция» XIX столетия. Якуб Недзведзь, исследователь из Ягеллонского университета в Кракове, применяет известный подход Э. Хобсбаума и говорит о том, что он хотел бы перенести

⁵² См.: Sarmacja – współczesne rewizje i rekonstrukcje. Dyskusja redakcyj-na // Perspektyw Kultury. № 6 (1). 2012. Sarmacja: rewizje i rekonstrukcje. S. 9 et al.

⁵³ Sowa J. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków. Universitas. 2011.

акцент в обсуждении сарматизма с онтологического на эпистемологический аспект проблемы. Характерным для исследований сарматизма в XX столетии автор считает презумпцию того, что он реально существовал в польской культуре XVII–XVIII вв., оставил следы в источниках и может быть там обнаружен исследователем. Он же задается не вопросом о том, существовал ли сарматизм в реальности XVII–XVIII вв., а о том, как и зачем он был создан и как существует в текстах XIX и XX веков. «Таким образом понимаемый сарматизм я трактую как характерный для XIX и XX столетий способ представлять себе то, что мы называем шляхетской культурой XVI–XVIII вв. Я вижу его не как культурную формацию польской шляхты XVI–XVIII вв, а как современный способ придания смысла событиям и реальности того времени»⁵⁴, – отмечает автор. В целом краковский исследователь трактует сарматизм как дискурс идентичности, созданный в эпоху разделов и основывающийся на полоноцентризме, гомогенизации и исключении разнообразных «Других» из конструируемой общности.

Можно предположить, что фактически такая деконструкция сарматизма в определенной степени была подготовлена исследованиями второй половины XX века, которые показали, что сарматский миф был не единственным вариантом построения идентичностей народами Речи Посполитой, что элементы сарматизма проявлялись за пределами польской шляхетской культуры и т.д. Все это и позволило впоследствии рассматривать «сарматский дискурс» польской идентичности как гегемонистский и эксклюзивный.

Одним из наиболее влиятельных акторов польского академического поля, противодействующих «деконструкции сарматизма» и продвигающих проект переутверждения сарматизма в качестве позитивного и перспективного проекта польской национальной идентичности, является американская исследовательница польского происхождения, выпускница Варшавского университета и главный редактор журнала «Sarmatian Review», Эва Томпсон (Маевска)⁵⁵. Сарматизм, в ее терминологии, «предколониальная формация» польской культуры, для которой характерно здоровое отношение к себе и к окружа-

⁵⁴ Niedźwiedz J. Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona // *Teksty Drugie*. 2015. № 1. S.54.

⁵⁵ Thompson E.M. Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze polskich resentymentów. URL: <https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/193060,sarmatyzm-i-postkolonializm.html>; Thompson, Ewa. „Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny”. URL: <http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/206239,polski-nacjonalizm-jest-niezwykle-lagodny.html>

ющему миру. Этот проект имел польские корни, и никогда – ни до, ни после – польская культура не говорила в такой степени «своим голосом», не чувствовала себя так уверенно, не достигала такой степени самобытности и оригинальности, как в эпоху сарматизма. Последующие периоды истории – разделы и период зависимости от СССР – были окрашены рессентиментом и ощущением себя жертвой истории. Будучи плодотворны с точки зрения художественной культуры, они вместе с тем были патологичны, с точки зрения самоощущения и идентичности.

Таким образом, развитие «дискурса сарматизма» в польской культуре на протяжении последних столетий может быть схематично представлено так: будучи концептуализировано в конце XVIII в., это понятие имело прежде всего политико-публицистический смысл и служило для обозначения политической ориентации; на протяжении «долгого XIX века» оформились две историософско-историографические модели сарматизма, романтико-оптимистическая и пессимистическая; в XX веке разрабатывались прежде всего научные модели сарматизма в гуманитарных науках (истории, литературоведении, искусствознании и др.); в начале текущего столетия сарматизм оказался в контексте новых интеллектуальных течений, различных «поворотов», особое место среди которых занимают постколониальный и постструктуралистский «повороты». Поскольку все эти интерпретации отмечены определенно «левой чувствительностью», сарматизм стал своеобразным эпицентром дискуссий либералов и консерваторов о модели польской национальной идентичности для XXI века. Для первых сарматизм – культурный конструкт, относительно происхождения и ценности которого можно и нужно спорить, который следует подвергать анализу, критической рефлексии и деконструкции. Для вторых – «эссенция польскости», бесценное национальное наследие, которое следует бережно хранить и на котором строить национальное будущее.

ГЛАВА 14

ИНДЕАНИЗМ В ПОИСКЕ ФОРМУЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БОЛИВИИ

Проблематика национальной идентичности лежит в области историко-политического конструкта, формирующего национальное самосознание граждан¹. Она также принадлежит социокультурной сфере, в том числе в области формирования исторической памяти народа². В сложных современных обществах, особенно в таких как мультиэтническая Боливия, сосуществуют разные «поля идентичности» – расовая, этническая, культурная, групповая.

В отношении индейского населения Америки, многие годы оставшегося париями общественной жизни, в формировании идентичности важнейшую роль играли социокультурные и исторические факторы длительной протяженности³. В последнее столетие на самосознание индейских народов, на их идентичность стали оказывать большое влияние общественно-политические и идеологические движения, и в частности, индеанизм. Эти «поля» порой пересекаются друг с другом, но не сливаются в единое целое. Важнейшим элементом боливийского общества является индейское население различных этносов, в основном сельские жители. Их культура, их самосознание и идентичность отличается от городских, креольских и метисных групп населения.

Боливийская идентичность является конструктом, берущим начало в период после завоевания независимости в начале XIX века и продолжающим меняться вплоть до сегодняшнего дня. В таком сложном по своему составу с расовой и этнической точки зрения обществе как боливийское на протяжении истории независимого боливийского государства отмечается последовательная смена фор-

¹ Gellner E. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza, 2001.

² Smith A. Myth and Memories of the Nation. Oxford: O.U.P., 1999.

³ «Социокультурные факторы длительной временной протяженности и краткосрочные исторические ситуации образуют подвижный контекст, в котором социальное конструирование идентичности выступает как сложный процесс, подверженный воздействию разнонаправленных сил и многочисленных случайностей». – Репина Л.П. Историческая память и национальная идентичность. Подходы и методы исследования // Диалог со временем. 2016. № 54. С. 11.

мул идентичности и исторического метанарратива, её обосновывающего. Креольская идентичность оставалась преобладающей в течение первых ста лет независимости. С кризисом узко-кастового креольского государства в 1830-е гг., укреплением и ростом нового среднего класса сложились новые контрэлиты, пришедшие к власти после Национальной революции 1952 года, предложившие новую формулу национальной идентичности, которая опиралась на метизацию и метисно-креольский национализм, переформулировавший доминирующий нарратив. Креольский, затем метисно-креольский национализм, опиравшийся на социал-дарвинизм и позитивизм, сменились на новый дискурс с опорой на индеанистские концепции национальной идентичности на рубеже нынешнего века, с началом так называемой «культурной и демократической революции», предложившей формулу мультикультурализма и сосуществования различных нарративов памяти при государственном доминировании индеанистского дискурса.

Предшественники индеанизма

Индеанизм возник в начале XX в. как литературно-философское течение в тех латиноамериканских странах, где проживали значительные этнические меньшинства, различные индейские народы. Его появление было реакцией на провал политики ассимиляции и формирования единой национальной идентичности этих стран – в первую очередь речь идет о Гватемале, Перу, Боливии и Эквадоре. Боливия занимает в их ряду особое место, ибо только в этой стране индеанизм, в конце концов, пришел к политической власти и смог провести деконструкцию старой идентичности, превратился в доминирующее идейно-политическое течение.

Возникновение индеанизма как идеологии и как политического движения было ответом общественной мысли на кризис либерализма и позитивизма, оказавшихся неспособными построить убедительную и приемлемую для большинства населения идею национальной идентичности. Основателями литературного и историографического индеанизма были выдающиеся боливийские мыслители, писатели, историки, философы, журналисты – Альсидес Аргедас, Франц Тамайо, Хайме Мендоса, Умберто Пальса, Карлос Мединасели, а также индейские просветители, учителя-энтузиасты, такие как основатель школы-айлью (школы-общины) в Варисате Элисардо Перес. Рубен Дарио писал о них: «Я имел возможность познакомиться со столь значительными боливийцами как... Франц Тамайо, чья мужественная молодость была полна мудрости, как Аргедас, шествовавший по

пути триумфов, как доктор Хайме Мендоса, которого вскоре на нашем континенте, возможно, назовут новым Горьким»⁴.

Хайме Мендоса (1874–1939), создатель философского направления так называемой «мистики земли», в начале века обратился к теме индейца и окружающего его жизненного пространства. Хотя, как и позитивисты, он подчёркивал влияние среды обитания на человеческую жизнедеятельность, в отличие от господствовавшего тогда преклонения перед Европой и западной цивилизацией он воспевал индейца и природу Альтиплано. Он был мистическим пессимистом; созерцая жизнь своей страны, восторгался и печалился одновременно. Суть его взгляда на родную страну запечатлелась в словах: «Эта печаль ставшая землей»⁵. Используя поэтические образы, он писал о вечности и жизненной силе народа аймара: люди на Альтиплано сделаны словно из камня, и как камень не умирает, они превращаются в терпение и время⁶. В его книге «На землях Потоси» главные персонажи – ветер, горы, пампа. Порождение этой земли – индеец, и только с ним связано грядущее величие Боливии⁷. Мендоса осуждал тех, кто объявлял Боливию «географическим» казусом, заявлял о своей вере в страну и ее жителей, подтверждая это примерами величия истории и культуры древних народов кечуа и аймара. Мендоса одним из первых решительно отвернулся от креольской идентичности боливийской нации, предложив искать ей замену в индейских цивилизациях прошлого и в расовой силе индейских народов, прежде всего аймара – в них он видел часть природы Анд, сила которых питала жизненную стойкость боливийского народа.

Индеец, как главное действующее лицо национальной действительности, был в центре внимания Альсидеса Аргедаса (1879–1946), одного из немногих писателей и историков, признанных за пределами Боливии. Аргедас дебютировал на литературном поприще рассказами «Вата-Вата» и «Писагуа», в которых сразу проявился его интерес к самобытной культуре и истории индейских народов. В 1909 г. вышла наделавшая много шума его книга «Больной народ». Известный уругвайский мыслитель Хосе Энрике Родо писал автору после прочтения этой книги: «То зло, которое так открыто и честно Вы описываете, свойственно не только Боливии, оно прису-

⁴ Condarco Morales R. Franz Tamayo. El Pensador. La Paz, 1989. P. 75.

⁵ Mendoza J. El macizo boliviano. La Paz, 1978. P.7.

⁶ Marof T. Ensayos y critica. Revoluciones bolivianas, guerras internacionales y escritos. La Paz, 1961. P.168-169.

⁷ Francovich G. El pensamiento boliviano en el siglo XX. La Paz: Amigos del libro, 1985. P. 98.

ще в большей или меньшей степени всей Испаноамерике... Вы называете свою книгу “Больной народ”, а я бы назвал ее “Народ-ребенок”⁸. Родо отмечал, что этот народ, как ребёнок, не осознал свою идентичность, что повлекло за собой утрату территорий и массовый социальный пессимизм.

Проблематика национальной идентичности лежит в области историко-политического конструкта, формирующего национальное самосознание граждан⁹. Она также принадлежит социокультурной сфере, в том числе в области формирования исторической памяти народа¹⁰. В сложных современных обществах, особенно в таких как мультиэтническая Боливия, сосуществуют разные «поля идентичности» – расовая, этническая, культурная, групповая.

В своем эссе Аргедас рассматривал три основные темы: психология расы, национальная идентичность и историческая судьба Боливии. Он подчёркивал, что Боливия – это прежде всего индейская страна. Аргедас описывал чудовищную нищету и отсталость боливиийской деревни, бесчеловечно эксплуатируемой высшими классами и государством. Однако жалость, сострадание и протест против жестокости общества в отношении индейца сочетались с признанием лишь негативной роли индейских народов в истории страны. В его описании индеец предстаёт пассивным, жалким существом, в котором нет ни желаний, ни страстей¹¹. Впрочем, метис был для него во сто крат хуже индейца. Метис, чоло¹² – активный участник политической жизни, которую Аргедас ненавидит и презирует. Для него метисы – это воплощение лени, варварства, алкоголизма и прочих пороков, они объединяют худшие черты обеих рас.

Левый социолог и писатель К. Мединасели так характеризовал взгляды Аргедаса: «Как “Больной народ”, так и его другие книги по истории сверх меры переполнены расовыми и кастовыми предрассудками»¹³. «И его “Больной народ”, и его исторические книги, – писал исследователь его творчества Р. Саламанка, – бичуют, ранят, обижают. Аргедас хотел изыскать лекарства, которые бы вылечили болезни, обнаруженные им у своей страны, и в этом он потерпел самое большое поражение... Его книги разделили страну. До сего

⁸ Arguedas A. Pueblo enfermo. La Paz: Amigos del libro, 1992. P. V.

⁹ Gellner E. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza, 2001.

¹⁰ Smith A. Myth and Memories of the Nation. Oxford: O.U.P., 1999.

¹¹ Arguedas A. Pueblo enfermo. P. 39-43.

¹² Чоло в Боливии называют городских индейцев и тех метисов, кто на социальной лестнице стоял ближе к индейцам.

¹³ Marof T. Ensayos y critica. P. 71.

дня его книги борются, сражаются и ссорят боливийцев: они нас разделили на тех, кто с Аргедасом, и кто против него»¹⁴. Страстные, протестующие против эксплуатации и варварства страницы «Большого народа» были наполнены пессимизмом. Аргедас не видел никакой исторической перспективы для своей страны, если она не избавится от «индейского атавизма», что невозможно, ибо это часть её самой, её идентичности. Аргедас полностью следовал доминирующему тогда негативному мнению относительно жизнеспособности индейских народов. С поэтической нежностью и печалью он описывал свою родину: «Пампа зимою похожа на море, но это мертвое море, без волн, без волнения, отталкивающее, враждебное... Здесь чувствуется покинутость, одиночество, здесь нет места мечте и свободе. Поэтому здесь нет поэтов»¹⁵. Аргедас стремился показать, что того прогресса, о котором говорят позитивисты, в Боливии нет, скорее есть патологическая обречённость расы и страны. Он был креольским расистом, но признавал силу индейской расы и её способность к выживанию. Но для него Боливия была обречена, так как именно индейцы являются солью этой земли.

Для креольского либерализма не только индейцы и другие цветные, но и низшие классы креольского происхождения были лишены исторической субъектности и не были причастны к формированию национального государства. Они были исключены из самого понятия боливийской идентичности. Вся история конкисты, колонизации, эвангелизации, а затем войны за независимость, создания национального государства принадлежала только креолам¹⁶. Нация создавалась креолами и для креолов, была исключительно их делом. О месте других этносов задумывались лишь как о природных препятствиях на этом пути, преодолеть которые можно лишь через их «оцивилизывание» и ассимиляцию. Аргедас считал, что это утопия. Он показал обществу, что только индеец был тем субъектом, который мог претендовать на звание основы нации, её истории, её идентичности.

Если сочинения Аргедаса вызвали негодование и протест «образованной» публики, то вышедший в свет в 1910 г. сборник статей Франца Тамайо (1878–1956) под названием «Создание национальной педагогики», был едва замечен и удостоился лишь нескольких равнодушных рецензий. Тамайо не был понят, его читатель еще не по-

¹⁴ Salamanca L.R. Vigencia del Arguedismo en Bolivia // Kollasuyo. No.64, 1947. La Paz, 1947. P. 44.

¹⁵ Arguedas A. Pueblo enfermo. P. 16-17.

¹⁶ Щелчков А.А. Война за независимость в формировании боливийской идентичности // Диалог со временем. 2016. № 54. С.351-360.

явился. Однако уже через десять лет его идеи повсеместно завладели умами молодёжи, стали главной темой дискуссий в философских и политических кружках и клубах. Повсюду появлялись последователи его идей, развивавшие их в неожиданном и нежелательном для самого Тамайо политическом направлении. А еще через 20 лет эту книгу стали называть «Евангелием» боливийского индеанизма¹⁷.

Тамайо родился 20 февраля 1879 г. в аристократической семье, ведшей свое генеалогическое древо от перуанских касиков, признанных дворянами в XVI в. при Карле V. Родители назвали его Франсиско, но затем он принял немецкое звучание своего имени, Франц. Это было не случайно. Его преклонение перед немецкой философией и культурой нашло отражение не только в изменении собственного имени на тевтонский лад, но и в самом его литературном творчестве. В молодости он посвятил себя поэзии, примкнул к модернистам и перенял их стиль и манеру письма.

В книге «Создание национальной педагогики» Тамайо поставил ряд вопросов национальной жизни, казавшихся в тот момент чисто риторическими. В центре его внимания были проблемы формирования национальной идентичности, национального характера, морали, образования и воспитания, а через них нового базиса национального самосознания. Через школу, через образование, как это было сделано Бисмарком в Германии, следовало, по мнению Тамайо, создать нового боливийца, гражданина, который разделял бы со всеми согражданами общие ценности, исторические предания и национальные символы. Оставалось определиться с какими именно.

В формировании индивида и народа, согласно Тамайо, наибольшее значение имели историческое прошлое и окружающая среда: «Земля формирует человека, и в этом смысле земля является не только пылью человеческих следов, но и воздухом, которым дышат, и физическим окружением человека... В земле надо искать высшую причину человеческих мыслей, дел, морали»¹⁸. Землю своей родины он описывал в жестких, скупых, но сильных красках. Одиночество – вот главная характеристика ландшафта у Тамайо, который тем самым как бы одухотворял природу. Альтиплано не создано для жизни, враждебно человеку и животным. В этой картине жестокой природы является особенный человек – индеец-аймара: «Уникальная земля

¹⁷ В 1944 г. «Создание национальной педагогики» Тамайо было переиздано военно-националистическим правительством Г. Вильярроэля, объявившим автора книги основоположником идей «революционного национализма».

¹⁸ Tamayo F. Creación de la pedagogía nacional. La Paz, 1991. P. 147-148.

дала уникальную расу»¹⁹. Индеец для Тамайо – главное богатство Боливии. Он обладает главным – энергией. Вслед за Фихте Тамайо утверждал, что главное в понимании судьбы страны – это человек, взятый как совокупность энергии и воли. Индеец – это огромная концентрация внутренней энергии. «По своей жизнестойкости, по своему непревзойдённому энергетическому безусловному превосходству, по своей крови, индейская раса, кажется, предназначена к тому, чтобы выжить и остаться в истории»²⁰.

Тамайо заявлял: «Индеец для государства, для общества означает все. Надо признать, индеец является источником 90 процентов национальной энергии».²¹ Белый (потомок европейцев), пользуясь своим техническим и историческим превосходством, завоевал Америку и индейца. Однако у него нет жизненных сил, обуславливающих историческое и социальное творчество. Единственный выход для белого – это метизация, слияние с индейцем, чтобы получить от него энергию и силу. Только через метизацию креольское меньшинство сможет обрести собственную боливийскую идентичность, отличную от креольской соседних стран или испанцев, преодолев «проклятие» колониализма и зависимости. Через индейскую кровь боливийцы смогут приобщиться к истории индейских народов, к славе их древних цивилизаций, к тому, что сделает их наследниками культуры Анд, а не простыми переселенцами. Тамайо возводил индейца в ранг высшей расы, которая должна стать биологической основой формирования боливийской нации.

Тамайо указывал и путь формирования идентичности, или как он чаще писал, национального характера. Речь шла об образовании, не о простом просветительстве, а о создании собственной национальной педагогики, в основе которой лежало бы осознание нацией своей идентичности, особой судьбы и своей миссии в мире. Тамайо противопоставлял науке интуицию, разуму – энергию и жертву. Он писал: «Нужно создать новые общественные и экономические критерии для перестройки нации, которая таковой еще и не является, нужно создать, как говорил Ницше, шкалу новых ценностей, более гуманных, более рациональных, более понятных, более эгоистических с точки зрения нации»²². Тамайо выступал против либерального демократизма, интеллектуализма и позитивистского универсализма, размывавших суть национальной идентичности, особенности национального

¹⁹ Tamayo F. Creación de la pedagogía nacional. P. 160.

²⁰ Ibid. P. 91

²¹ Ibid. P. 58.

²² Reinaga F. Franz Tamayo y la revolución boliviana. La Paz, 1957. P. 134.

характера и самосознания в некоей универсальной сущности цивилизованного западного общества. Индеанизм в работах Тамайо опирался на романтизм, на ту его разновидность, что иногда называют «медиевизмом», на идеализацию доиспанской Америки²³. Этот индеанизм противостоял западному неоклассицизму, рационализму и идеям Просвещения, либерализму и социал-дарвинизму.

Господствовавшим в то время принципам либерализма и позитивизма были противопоставлены волонтаризм и радикальный индеанизм. Тамайо провозглашал индейскую расу основой возрождения Боливии и всего остального мира. Его абстрактная мессианская проповедь была всего лишь перевернутой социал-дарвинистской, позитивистской схемой: на место белого он просто поставил индейца.²⁴ Франц Тамайо был одним из создателей идейных основ боливийского национализма и индеанизма.

Индеанизм – самостоятельное общественно-политическое движение

Хотя индейцы (аймара, кечуа и др. этносы) в течение всего исторического периода, начавшегося с колониальной эпохи, оставались крестьянскими народами, индеанизм, заявлявший о представительстве интересов и чаяний индейского населения, являлся идеологией городских метисов. Трудно спорить с Э. Геллнером, что в аграрных обществах прошлого, домодерной эпохи существует фрагментарная, фольклорная культура, а национализм и формирование национальной идентичности являются результатом «социальной инженерии»²⁵. Национальная или иная групповая идентичность формируется государством или общественными структурами. В случае с индейскими народами действовал механизм от противного: идентичность народа формулировалась контрэлитами и воспринималась как противостоящая формально насаждаемой государством.

Индейская идентичность строилась на этно-расовом и историческом противостоянии «подлинной», сельской, индейской и привнесённой, «колониалистской» городской, креольско-метисной Боливии. Интеллектуальным выражением этого противостояния и этой дихотомии в андских странах, их разделения на индейское и креольско-метисное общество стал индеанизм, самостоятельное идеологическое и политическое течение креольской интеллектуальной контрэлиты, рассматривавшей индейца как сильную, основополагающую

²³ Smith A. La identidad nacional. Madrid: Trama eds., 1997. P. 82.

²⁴ Zavaleta Mercado R. Lo nacional-popular en Bolivia. México, 1986. P. 212-214.

²⁵ Gellner E. Naciones y nacionalismo. P. 86-88.

часть метисной нации, что предполагало пересмотр ассимиляционных планов правящих кругов.

В поисках национальной самобытной идентичности эта контр-элита находила созвучие своим идеям во взглядах Шпенглера и Кайзерлинга. Последний восторгался пейзажами Альтиплано, говорил об особом предназначении Боливии. Выступая в Ла-Пасе в 1929 г., Кайзерлинг заявлял: «Боливия, возможно, самая древняя часть человечества; нет лучшего ощущения будущего, чем отдаленное прошлое, ибо во времени нет конца».²⁶ Для обретения боливийцами особым национальным самосознанием Кайзерлинг призывал обратиться к тайным силам земли. Поклонники Кайзерлинга вновь открывали для себя идеи Тамайо и Мендосы, видевших в земле, окружающей среде и индейском прошлом решающий фактор формирования боливийской нации и её уникального самосознания.

На этой идейной основе в 1930-е гг. в Боливии возникла влиятельная философско-литературная школа: телуризм, являвшаяся самым элитарным в интеллектуальном плане течением индеанизма. Идеи Шпенглера, боливийских индеанистов Тамайо, Мендосы были развиты телуристами: в философии Роберто Пруденсио и Умберто Пальсой, в историографии Ф. Авиллой, в литературе и поэзии К. Мединасели, Ф. Диес де Мединой и Примо Кастрилью, в живописи и скульптуре С. Гусманом де Рохасом и Мариной Нуньес дель Прадо, в музыке Эдуардо Кабой. Это мощное интеллектуальное движение, с одной стороны, сделало индеанизм признанным идейно-политическим течением, но с другой, отвлекло его от конкретных целей индейского освобождения, превратив в элитарное явление. «Практические» (политические) индеанисты оставили дискуссии о расе, прошлом и своей идентичности, перейдя на позиции метисного национализма, найдя в нем решение своих практических социальных задач. Возвращение индеанизма к своим истокам произойдет только в 1960-е гг.

В 1930-е годы один из основателей индеанизма Хайме Мендоса в своих последних работах сформулировал основы телуризма или, как он называл свою теорию, «мистики земли». Его работы, наряду с трудами Тамайо, стали философско-методологической базой всех исканий индеанистского и националистического направлений общественной мысли Боливии в первой половине XX века. Мендоса видел в земле, в среде обитания основу самобытности страны, условие бессмертия боливийской нации. Как отмечал Энтони Смит, идентичность в условиях этнического конфликта или противостояния куль-

²⁶ Francovich G. El pensamiento boliviano en el siglo XX. P. 112.

тур всегда нуждается в мифе о «святой земле», об особенной, несравнимой ценности родной земли, территории²⁷. У индеанистов Анды, земля Альтиплано, поруганная в конкисту, занимают центральное место. Предшественник индеанизма, мыслитель XIX века Вильямиль Рада поместил в Боливию Эдем, объявил индейский язык аймара протоязыком человечества, находил в нем общие черты с древнееврейским и другими древними языками. Боливия, Анды, согласно его концепции, были прародиной человечества, местом обретения Адама²⁸. Эти идеи поднимали на щит индеанисты XX века.

Мендоса придавал земле Боливии мистическую силу, которая сформировала нацию и ее самосознание. Идентичность боливийца больше зависела от телурических сил, чем от сложных поворотов истории страны. Мендоса писал: «Среда создает человека, или, иными словами, человек – не что иное, как природа, запечатленная в личности. Вода, которую мы пьем, воздух, которым дышим, свет, который нам светит, продукты питания, поддерживающие нас, – все они ежедневно воспроизводятся в наших мыслях, эмоциях, воле, действии. Мы считаем, что действуем по своей инициативе, а на самом деле лишь подчиняемся императиву нашей среды обитания. Среда определяет ритм, а горы, леса диктуют нормы нашей жизни. Ни далекая звезда на небе, ни скромная травинка на земле не остаются безучастными к определению нашего жизненного динамизма... Среда – кузница расы, демиург наций; она формирует связи, объединяющие разрозненные человеческие группы, она дает им родной воздух, создает традиции, вершит историю»²⁹. Мендоса развивал идею молодости боливийской нации: она состоит из разных рас, и ее формирование ещё далеко от своего завершения³⁰. Задача состояла в том, чтобы завершить строительство нации, сформулировать основы идентичности и сделать их непосредственными чувствами каждого согражданина. Эта цель декларируется всеми политическими течениями в Боливии с 1930-х гг. и до сегодняшнего дня.

В 1928 г. другой представитель телуризма Роберто Пруденсио опубликовал «Новую концепцию жизни», своего рода антилиберальный, антирационалистический манифест. Размышляя над судьбой своей страны, он пришел к убеждению, что «чувство» земли, геогра-

²⁷ Smith A. *Myth and Memories of the Nation*. Oxford: O.U.P., 1999. P. 156.

²⁸ См. подробнее: Щелчков А.А. Боливийская общественная и историческая мысль в XIX в. // *История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI–XIX вв.* М.: Наука, 2010. С. 340–377.

²⁹ *Revista del Instituto de sociología boliviana*. No.1. 1941. La Paz, 1941. P. 14–15.

³⁰ Mendoza J. *Op.cit.*, P.167.

фия, пейзаж формируют боливийца, государство и общество. Культура и идентичность для него – лишь формальное выражение иррационального, телуристического. Он видел в индейце биологическую силу, волю, способную создать прочное национальное самосознание и новый культурный цикл, которые выведет Боливию к величию.

В середине 1930-х гг. крупным теоретиком телуризма становится также Умберто Пальса. Главная идея Пальсы состояла в абсолютизации «духа земли» как носителя географического императива, воздействующего на индивида и общество, а также обуславливающего его самоидентификацию. Вслед за Тамайо, Мендосой и Кайзерлингом он видел в земле и индейце «космическую энергию», без которой нация не способна познать свой мир и душу, причем история страны и нации здесь вторична³¹. Для Пальсы культура – это переход от хаоса и беспорядка к особенному, индивидуальному (самобытному) и гармоничному (с окружающей средой), а единственный пример этому дают индейские народы. Для Пальсы нет универсальной культуры, как нет и универсального гуманизма или универсального человека. Индоамериканский человек по-своему чувствует и думает, он немислим вне его связи с землей, с Андами. Следовательно, для обретения собственного «я» боливийцы должны обратиться к духу Анд и к «космической энергии» индейской расы³². Пальса был поклонником национал-социализма Гитлера, только считая индейцев высшей расой. Даже после краха третьего рейха он продолжал верить в звезду Гитлера и в его миссию в немецкой истории³³.

Другие последователи телуризма (например, левый индеанист Карлос Мединасели) отошли от примитивных рассуждений Кайзерлинга, приблизившись по своим взглядам к экзистенциализму и феноменологизму³⁴. Они проповедовали создание вселенской культуры на основе метизации и мистического переживания «космического духа земли», а у себя на родине – индеанизации всех сторон жизни страны, но так как вся история страны противоречила этому тезису, то предстояло начать ее с нуля. Эти идеи были в 1960-е гг. взяты на вооружение расистским направлением в индеанизме, так называемым «реставрационизмом», который призывал вернуться к доиспанскому прошлому, без чего боливийская идентичность всегда будет ущербна и зависима от внутреннего культурного колониализма.

³¹ Albarracin Millan J. Sociologia indigenal y antropologia telurista. La Paz, 1982. Vol. IV. P. 87-91.

³² Francovich G. Op.cit. P.126-129.

³³ Kollasuyo. No.64. 1946. La Paz, 1946. P. 302.

³⁴ Albarracin Millan J. Op.cit. P. 22-23.

Индеанизм появился как реакция на модернизм, он был поиском художественной искренности и простоты, стремлением приблизиться к реалиям национальной жизни. Индеанисты видели в кечуа и аймара биологическую основу нации, призывали к изучению индейской культуры. Помимо философско-литературного и политического направлений в индеанизме было еще третье – просветительское, движение индейских школ-общин, во главе которого стояли учителя-энтузиасты Элисардо Перес, Торибио Клауре, супруги Кастро Лейге.

2 августа 1931 г. Элисардо Перес создал первую школу-айлью (общину) в Варисате (недалеко от Ла-Паса)³⁵. Идеалом Переса был инкский коллективизм. Он стремился «создать школу с боливийской душой, основанную на инкских социальных принципах», проповедующую индейское самосознание, индейскую идентичность Боливии³⁶. Свою теорию он назвал «педагогикой освобождения», способной создать основы новой национальной идентичности. В письме директору департамента по индейским делам Мексики Грасиано Санчесу в феврале 1938 г. Перес писал: «Наша доктрина и философия, с одной стороны, опирается на до-испанскую культуру, а с другой, ориентируется на организацию современных, основанных на коллективизме автономных ячеек, на восстановлении инкского землеустройства с опорой на общину-айлью»³⁷. Он считал, что только община и школа-айлью могут привести к возрождению величия индейских цивилизаций древности. Индеанизм Переса был утопическо-консервативным. Он противопоставлял мир европейской капиталистической цивилизации города общинному индейскому укладу жизни как единственной альтернативе. Больше всего он боялся смешения этих двух противоположностей и разрушения индейской цивилизации. Ее консервация была возможна лишь при определённом изоляционизме, а школа-айлью была формой воспроизводства общинной жизни и защиты индейской идентичности от влияний внешнего, креольского мира, сохранения в ней того зерна, из которого вырастет новая нация и новое национальное самосознание.

В 1920–1930-е гг. не только в Боливии, но также в большинстве стран мира, как отмечает Алейда Ассман³⁸, присутствовал дискурс, «наделявший нации и культуры индивидуальной душой, субъектно-

³⁵ Позднее 2 августа был объявлен общенациональным "днем индейца"

³⁶ Pérez E. Warisata. La Paz (s.d.). P. 478.

³⁷ Secretaría de Relaciones Exteriores. Archivo histórico Genaro Estrada. México. 30-3-16.

³⁸ Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 26.

стью» и, соответственно, коллективной памятью. Индеанизм обращался к особенной духовной сущности Андских народов, противостоящей рационализму и материализму европейской, креольской культуры. Индеанизм призывал включить в коллективную память боливийцев до-испанское прошлое, сделать частью национальной идентичности ценности индейских культур, прежде всего Инкской, основанной на коллективизме и уравнительности.

Эти идеи нашли отражение в интересе историков и археологов к доколумбовой древности, предлагавших пересмотреть доминирующий нарратив, включив в него до-испанские цивилизации, прежде всего Тиауанако. В первой половине века большой толчок развитию индеанистских идей дали исторические и антропологические работы поселившегося в Боливии австрийского инженера, увлечённого археологией, Артуро Поснански (1873–1946). Поснански утверждал, что Тиауанако, которое он противопоставлял Мачу Пикчу, открытому в 1911 г., а инков-кечуа – индейцам аймара, является свидетельством великого прошлого аймара. Он подчёркивал, что жители Тиауанако были высшей расой, и аймара сохранили генокод этой расы, а посему их ожидало великое будущее³⁹. Поснански сделал немало, чтобы превратить Тиауанако в символ индейской идентичности, противостоящей бело-метисной Боливии.

Как отмечал Э. Смит, идентичность утверждается посредством ритуала, коммеморации, коллективной памяти, которую следовало сформировать⁴⁰. Индеанизм поставил своей целью создать пантеон мест памяти, связанных с прошлым индейских народов, связать эти места с реальной исторической памятью народов аймара и кечуа. Тиауанако заняло центральное место в этом пантеоне, и именно индеанисты сделали из него национальный символ. Индеанисты посвятили свою деятельность деконструкции и конструкции национальной идентичности, созданию новой исторической памяти, не связанной с креольско-метисной культурой, обращаясь к истории индейских народов до и после конкисты, к истории индейской цивилизации и сопротивлению колонизаторам и внутреннему колониализму, представленному метисно-креольской культурой и коллективной памятью.

Индеанисты развивали некие утопии возвращения Инков, торжества справедливости в отношении индейских народов в будущем. Правда, такие идеи были в основном популярны среди перуанских писателей (Альберто Флорес Галиндо), что объясняется историче-

³⁹ Stefanoni P. “Qué hacer con los indios...” y otros traumas irresueltos de la colonialidad. La Paz: Plural, 2010. P. 83-85.

⁴⁰ Smith A. La identidad nacional. P. 81.

ской традицией и географией современных государств, так как центр Инкской империи находится в Перу, да и в исторической памяти именно перуанцев Инки занимают важное место. Для Боливии или Эквадора Инки были враждебным индейским империализмом, угнетавшем народы Альтиплано, прежде всего, аймара.

В Боливии инкская утопия была популярна среди креольских интеллигентов, левых индеанистов, таких как Тристан Мароф (Густаво Наварро), усматривавших в строе Инков социалистические и коммунистические черты. Первой книгой Марофа, имевшей обще-континентальный резонанс, была «Справедливость Инки», изданная в Брюсселе в 1926 г. Мароф писал: «Американский континент – это континент, созданный для социализма, который даст на его почве самый плодотворный результат»⁴¹. И больше всех подходит для социализма Боливия, потому что основная масса населения – индейцы, сохраняющие в своей исторической памяти и в общинной организации основы инкского коммунизма. Следуя логике восстановления инкского наследия и признавая деспотический характер инкского правления, Мароф был готов пожертвовать демократией и свободами, являющимися для него ничем иным как пустым звуком и спекулятивной демагогией правящих креольских классов⁴².

Мароф считал индейца основой национальной жизни Боливии, идеализировал инкский «коммунистический строй», видел в нем будущую модель боливийского общества. Отсюда прошедшая сквозь все его ранние произведения испанофобия и идеализация индейской самобытности⁴³. Марофа считают одним из основоположников левого индеанизма, искавшего точки соприкосновения и синтеза с марксизмом. В 1935 г. он издал в Буэнос-Айресе имевшую большую популярность в Боливии и других странах континента книгу «Трагедия Альтиплано», в которой вновь поставил в центр своего социально-политического анализа индейский вопрос. Мароф считал, что индеец является коллективистом и социалистом, по своей природе, и поэтому станет основой построения новой Боливии⁴⁴.

Во второй половине XX века индеанизм становится все более неоднородным течением. В его рамках формировалось два противостоящих направления: консервативно-расистское и революционное.

⁴¹ Marof T. *La justicia del Inca*. Bruselas, 1926. P. 14.

⁴² *Ibid.* P. 21-26.

⁴³ Позднее он говорил, что его обращение к инкам было лишь поэтическим образом, а не их идеализацией. – Abadie-Aicardi R.F. *Economía y sociedad de Bolivia en el siglo XX. El antiguo régimen*. Montevideo, 1966. P. 94.

⁴⁴ Marof T. *La tragedia del Altiplano*, P. 46-53.

Среди революционных индеанистов, помимо Марофа, выделялся К. Мединасели, журналист и литературовед, автор многочисленных работ по социокультурной проблематике. В отличие от своих пессимистических и иррационалистских предшественников Мединасели видел в индеанизме революционную идеологию формирования нового человека⁴⁵. Мединасели идеализировал инкский строй, проповедовал борьбу за нового индейца, за новую национальную идентичность. Он писал: «Проблемы индейца – это скорее, проблема отношения боливийцев к индейцу. И от того, как мы ее решим, зависит наше будущее существование»⁴⁶.

Индеанизм после Национальной революции 1952 года

В середине века индеанизм был включён в идеологию боливийского национализма, которая стала доминирующей в Боливии после Национальной революции 1952 г., сформировала новый исторический нарратив и образ «национальной идентичности», основанной на метизации индейского и креольского культурного и этнического элементов. Как утверждал известный социолог-аграрист Р. Ставенхаген, в эти годы индеанизм был включен в государственную идеологию национализма, суть которой сводилась к прежней политике ассимиляции и метизации с включением в свод общенациональных черт идентичности индейского элемента, но не как равного, а по-прежнему, в качестве подчиненного. Новый дискурс был продолжением колониализма, при громогласном его осуждении⁴⁷. Подобные процессы происходили, хотя более успешно, в Мексике, где индеанизм был полностью интегрирован в национал-реформистскую идеологию режима «мексиканской революции», который существовал там в течение почти всего XX века.

В Мексике символическое поглощение индеанизма национализмом и утверждение метисной идентичности произошло на Индеанистском конгрессе в Патцкуэро в 1940 г. Этот конгресс стал образцом для других стран региона, и в частности для Боливии, где нечто подобное было реализовано в 1945 г. Тогда в 1940 г. открывая конгресс в Патцкуэро президент Мексики Ласаро Карденас подчеркнул, что речь идет не об индеанизации всего мексиканского, а о

⁴⁵ Его учителями были перуанцы Х.К. Мариатеги и Х. Уриэль Гарсия. – Medinacelli C. Estudios críticos, La Paz, 1969. P. 122.

⁴⁶ Medinacelli C. Estudios críticos. P. 140.

⁴⁷ Canales Tapia P. Identidad étnica y Estados nacionales en América Latina, 1930–1990 // Los claroscuro del debate: Pueblos Indígenas, Colonialismo y Subalternidad en América del Sur. Siglos XX y XXI / Pedro Canales Tapia, Mariana Moreno Castilho. Santiago: Ariadna, 2016. P. 349.

мексиканизации всего индейского⁴⁸. Став частью доминирующей идеологии в Мексике, индеанизм в значительной мере утратил свою автономию как идейно-политическое движение. В Андских странах, несмотря на схожесть режимов ПРИ в Мексике и МНР в Боливии, этого не произошло, и индеанизм радикализировался, противопоставив себя ассимиляционной политике метисного национализма.

В отличие от Мексики, в Боливии мы не находим противопоставления «мёртвых» и «живых индейцев», то есть великого исторического прошлого доколумбового времени и вынужденного положения настоящего, оставляющего лишь один путь – ассимиляцию, хотя и с включением исторического прошлого индейских народов в историческую память и официальный нарратив нации⁴⁹. В Боливии индейское прошлое в работах индеанистов, литераторов и историков, было представлено как формирующее сегодняшнюю индейскую идентичность. Это прошлое изменялось, но не прерывалось, народ и история не делились на «мёртвых» и «живых». Для самих индейских народов конкиста и исчезновение индейских цивилизаций не являлось завершённым фактом, а было лишь временным разрывом последовательности, поворотом в космическом порядке, но в рамках цикличного понимания истории индейский космос неизбежно вернётся с воскресением Инки.

Коллективная память индейских народов Анд, на которую претендовали оказывать влияние индеанисты, включала не только признаваемые индейцами исторические мифы и символы, но и новые образы, события, которые вносились в индейскую среду индеанистским движением. Примером этого служит превращение археологического памятника, руин Тиауанако в некий индейский Иерусалим. До середины XX века Тиауанако не был предметом поклонения индейцев, частью их сакральной истории, он не входил в пантеон их символов⁵⁰. Затем эти символы, привнесённые индеанизмом, были присвоены метисно-креольским проектом боливийского национализма, как часть общей боливийской идентичности.

Вместе с тем, индеанизм в середине XX века продолжал быть частью ассимиляционного проекта, где теперь индейцу отводилась более почётная символическая роль. Национальная революция, уравнявшая права индейского и креольско-метисного населения, создала

⁴⁸ Canales Tapia P. *Identidad étnica y Estados nacionales en América Latina*. P. 353.

⁴⁹ Gutiérrez Chong N. *Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado mexicano*. México: UNAM, 2012. P. 17.

⁵⁰ Более того, камни из построек Тиауанако расхищались местными жителями для строительства и хозяйственных нужд.

предпосылки для формирования единой национальной идентичности, что предполагало осознание единых прав и обязанностей граждан⁵¹. Эта предпосылка должна была обеспечить интеграцию индеанизма в идеологию «революционного национализма», которая являлась официальной доктриной однопартийного режима «Национальной революции» (1952–1964). Однако реальность сложилась иначе, индейцы не были интегрированы в новую систему, сохранились почти непреодолимые этнические, культурные, расовые барьеры. Сами индейцы бережно сохраняли «стену», отделявшую их от остальной страны, в чем они видели защиту от ассимиляции, гарантию своего выживания как отдельного самобытного народа. Хотя в 1950–1960-е годы из официального оборота исчезло само понятие индейцев или коренных народов, а их представители превратились в крестьян, в 1970-е годы происходит возрождение идеологии индеанизма и индейского этнического национализма.

Проблема этнической идентичности индейских народов в 1960–1970-е годы вновь становится ключевой в отношениях государства и городского сообщества с этими этническими группами. Несмотря на то, что в 1960-е годы индеанизм стал составной частью официальной идеологии военных режимов, так называемой боливианидад (боливийской сущности), несмотря на проведение радикальных политических и социальных реформ в 1950-е годы, в том числе аграрной, индейцы оставались исключенным из политической и культурной системы страны элементом, изолированным, озлобленным и принципиально отвергающим все «дары» цивилизации, которые им предлагали государство и бело-метисный город⁵². Эти настроения привели к повороту индеанизма к ресентименту, к утверждению расового и культурного изоляционизма.

Индеанисты, появившиеся к этому времени индейские контр-элиты предлагали новое прочтение идентичности на основе культуры, традиций и мифов квазирелигиозного содержания. Речь шла о смене Алакспачи (мирового порядка в Андах), приходе индейской Алакспачи, об изначальной вере индейцев в пришествие нового Инки в рамках очередности циклов космического порядка. Новые индеанисты стали формировать новые исторические мифы и формулы противостояния с метисной культурой, создавая фундамент новой индейской идентичности. Они утверждали, что настал период Пачакути

⁵¹ Herranz J.K., Basabe N. Identidad nacional, ideología política y memoria colectiva // *Psicología política*. No.18. 1999. P. 32.

⁵² Raíces de América: el mundo aymara. Comp. Xavier Albó. Madrid: Ed. Alianza, 1988. P. 439-443.

(перехода), что очень скоро не будет ни империализма, ни социализма, а настанет новая эпоха⁵³. Они обращались к традиционным представлениям индейцев о времени, опираясь в своих выводах на природные циклические процессы, как например, подъем или снижение уровня озера Титикака каждые 50 лет, на регулярно происходящий климатический феномен «эль ниньо». Так и история после прихода Пачакути (перемены времен) сама приведет индейцев к власти.

Исайя Берлин отмечал большую роль в таких группах, подобранных индеанистам и их сторонникам, так называемой «особой идентичности», которой приписывался народный характер. Такая идентичность опиралась на солидарность и братство внутри этой группы, возводя границы и барьеры в отношениях с другими группами, составляющими нацию⁵⁴. Индеанизм утверждал особый дух индейских народов, испокон века живших в условиях общинности, солидарности и равенства, противопоставляя этот образ жизни либеральным свободам и рыночной экономике.

В конце 1970-х – 1980-е гг. в индеанизме возникает массовое социальное движение – катаризм⁵⁵. Именно в эти годы внутренняя миграция привела к появлению в боливийских городах значительной части населения, идентифицировавшего себя с «коренными народами» аймара и кечуа. Уже с конца 1960-х происходит возрождение индеанизма, получившего большую популярность среди студенчества. Отчасти это идейное течение стало формой всемирного движения мятежного студенчества 1968 г. В Ла-Пасе студенты аймара создали Движение 15 ноября⁵⁶, а в 1969 г., вместе с городскими аймара и интеллектуалами-индеанистами сформировали пропагандистскую группу «Университетское движение Хулиана Апаса» (МУХА–МУЖА)⁵⁷.

⁵³ Katarismo-Indeanismo ante la izquierda y la derecha // Willka. Revista anual. No. 5. El Alto, 2011. P. 188.

⁵⁴ Берлин И. История Свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 7-31; Berlin I. Vico and Herder. London: Hogarth Press, 1976.

⁵⁵ Катаризм – от имени Тупак Катари, вождя крупнейшего индейского восстания XVIII в. Возникло в 1960-е гг. в среде интеллектуалов-индеанистов: «Движение 15 ноября», «Центр крестьянской пропаганды и координации – МИНКА» (минка – форма общинной взаимопомощи у аймара), а в 1971 г. был образован Крестьянский центр Тупак Катари. В 1973 г. эти организации выпустили «Манифест Тиуанаку», в котором впервые ставились задачи национально-экономического освобождения индейцев в союзе с рабочим классом и беднейшими средними слоями. – См.: Щелчков А.А. Идейная борьба в современном крестьянском движении Боливии // Латинская Америка: вопросы идеологии и политической мысли. М.: ИЛА АН СССР, 1991. С. 49-58.

⁵⁶ Дата казни Тупак Катари.

⁵⁷ Испанское имя Тупак Катари

Своей задачей они ставили пропаганду индеанизма, индейской истории и возрождения через специально созданную ими газету и радиовещания на аймара. Ориентация этих групп на аймара-говорящих сильно ограничивала эффект их пропагандистского воздействия.

К концу 1970-х гг. в рамках единого крестьянского движения выделилось два течения: одно, с культурно-этнологическим подходом, сформировавшее Индейское движение Тупак Катари (МИТКА), которое возглавили Констинтино Лима, Лусиано Тапия, и другое – революционно-демократическое, представленное Революционным движением Тупак Катари (МРТК) во главе с Хенаро Флоресом, Макабео Чилой и Виктором Уго Карденасом.

Крайние индеанисты, такие как Фаусто Рейнага⁵⁸ и его Индейская партия, считали, что освобождение индейцев должно быть достигнуто движением самих индейцев, отрицали возможность союзов с так называемыми *q'aras* (презрительное название всех неиндейцев, белых и метисов). Для Рейнаги «индейская революция» состояла в завоевании власти индейцами и в восстановлении древнего индейского социализма⁵⁹. Лозунгом нового поколения индеанистов была духовная и материальная деколонизация в духе Ф. Фанона. Рейнага так сформулировал максиму индеанизма: «Боливия будет индейской, это вопрос быть или не быть». С середины века индеанизм стремился к собственной интернационализации, что противоречило изоляционистской сути этого течения. Фаусто Рейнага, создавая Индейскую партию, предложил объединить индеанистов и индейские движения соседних стран вокруг идеи Инки, духовной культуры, противостоящей западной, бело-креольской, вокруг возрождения принципов инканата: *ama llulla, ama sua, ama khella* (не солги, не укради, не ленись), то есть общества всеобщего равенства⁶⁰. Рейнага и его последователи вплоть до сегодняшнего дня обращаются к мифу о социалистическом или коммунистическом характере общинного строя времен инков. Защищая идеи особого общинного социализма, присущего индейским народам, они отвергают любой левый дискурс на основе западного типа развития. Ни с левыми, ни с пра-

⁵⁸ За Ф. Рейнагой закрепилась противоречивая репутация: он побывал в разных политических лагерях, от троцкистов до крайне правых при военных диктатурах. Его индеанистские идеи увлекали многих, прежде всего политиков индейского происхождения, таких как Лусиано Тапия. – Тапия Л. *Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida)*. Autobiografía de un aymara. La Paz: Hisbol, 1994. P. 350-351.

⁵⁹ Pacheco D. *El indianismo y los indios contemporáneos en Bolivia*. La Paz: Hisbol, 1992. P. 37.

⁶⁰ *Identidad, ciudadanía y participación popular desde Colonia al siglo XX.* / Josefa Salmon y Guillermo delgado ed. La Paz: Plural, 2007. P. 155-156.

выми – вот их лозунг: против социализма, проповедуемого левыми партиями, за возврат к национальным общинным устоям⁶¹.

Радикальный индеанизм, представленный Ф. Рейнагой, Л. Тапией и другими политиками, публицистами и историками, исходил из невозможности ассимиляции, диалога, преодоления негативной идентичности парий-индейцев перед лицом доминирующего креольского нарратива. В отличие от индеанистов Ф. Рейнаги, катаристы рассматривали себя как часть общенационального движения за социальное освобождение, за включенность индейского населения в новое мультикультурное общество Боливии. «Твердые» индеанисты обвиняли катаристов во «внутреннем колониализме» и отказе от истинных индейских целей возвращения земли Кольясуйо её исконным жителям⁶². Это направление в индеанизме называлось «реставрационистским», т.е. ставившим цель восстановления индейского, по сути и по форме, государства, уничтоженного испанской конкистой⁶³.

Активная пропаганда индеанистов, опиравшихся на новое мощное крестьянское движение, на «катаристов», привела к конфронтации с большинством городского сообщества креолов и метисов, как слева, так и справа. На знамени индейского движения фигурировал Тупак Катари, к исторической славе и жертвенности которого постоянно обращались идеологи индеанизма. Любопытно, что инициаторы движения катаризма, студенты аймара в Ла-Пасе происходили из той самой провинции Арома, откуда был родом Катари. Один из их первых лидеров Раймундо Тамбо вовсе был родом из той же общины аймара, что и Тупак Катари⁶⁴. Неудивительно, что именно они наделили движение историческим образом именно Тупак Катари, а не какого-либо другого вождя индейского сопротивления прошлого, тесно увязав само движение с лидерством одного этноса – аймара, большая часть которого проживала именно в Боливии, в отличие от кечуа, доминировавших в Перу и Эквадоре.

История Тупак Катари, которая отнюдь не сохранялась в коллективной памяти индейского населения, в отличие от легенды об Инке, слишком плакатно распространялась среди индейского насе-

⁶¹ Katarismo-Indeanismo ante la izquierda y la derecha/Willka. Revista anual. No. 5. El Alto, 2011. P. 180.

⁶² Ibid. P. 46-47. Кольясуйо (на кечуа – «страна колья») называлась часть Инкской державы на территории современной Боливии.

⁶³ Ibid. P. 192.

⁶⁴ Albó X. De MNRistas a kataristas a Katari // Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII al XX. / Steve J. Stern compil. Lima: IEP, 1990. P. 368.

ления, которое воспринимало лишь рассказ о катастрофической для белых осаде Ла-Пасе и о жестокой казни испанцами Тупак Катари после подавления восстания⁶⁵. «Память о событии должна быть востребована»⁶⁶. Именно индеанисты возродили историю Тупак Катари, даже особо не вдаваясь в её подробности. Только в конце XX в. были проведены научные изыскания этой страницы боливийской истории⁶⁷, но к этому времени уже существовал созданный индеанистами примитивный миф о Тупак Катари, важнейшей составляющей которого была антикреольская направленность восстания и его этническая принадлежность аймара.

Самое радикальное крыло индеанистов в конце XX и начале XXI в., такие влиятельные фигуры как Фелипе Киспе, отвергали всякие европейские по происхождению концепции революции и общественного развития только потому, что они были «колониалистскими», осуждая своих коллег-интеллектуалов, например, Феликса Патци, за то, что тот в своих изысканиях обращался к П. Бурдые, А. Грамши, М. Фуко и др. Эти индеанисты-фундаменталисты пытались создать свой аймара-ориентированный круг приемлемой политической литературы. Так стали появляться некие письма Катари, отрывки его посланий, которые якобы сохранились и чудесным образом стали сегодня достоянием индеанистов. Эти апокрифы составили часть «писания», почти священных текстов, дополняя собой все обновляющийся миф о Катари, в котором являются миру новые невероятные истории и подробности его «жития»⁶⁸. Стоит ли говорить, что не было никакой научной и литературной критики так называемых документов.

Примечательно, что в произведениях выдающихся художников-муралистов, находившихся под влиянием идей индеанизма и телуризма, как например у Вальтера Солона Ромеро, до 1980-х годов мы не найдем образа Тупака Катари, хотя индейские символы обильно

⁶⁵ Rivera Cusicanqui S. «Oprimidos pero no vencidos». Luchas del campesinado aymara y q'hechwa, 1900-1980. La Paz: Hisbol, 1986. P. 162-163.

⁶⁶ Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. М., 2011. С. 430.

⁶⁷ Самым значительным исследованием, показавшим противоречивость движения индейцев XVIII века, является работа С. Серульникова, многие выводы которого вряд ли устроили бы создателей мифа о Тупак Катари. – Serulnikov S. Conflictos sociales e insurgencia en el mundo colonial andino. El norte de Potosí, siglo XVIII. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006; Серульников С. Восстания в Андах и колониальная юстиция. Восстание в Чайянте (1777–1780) // Латиноамериканский исторический альманах. 2016. № 16. С. 7-37.

⁶⁸ Katarismo-Indeanismo ante la izquierda y la derecha//Willka. Revista anual. No. 5. El Alto, 2011. P. 187.

представлены: восставшие индейцы, руины Тиуанако, крестьяне и шахтеры-индейцы противопоставлялись корысти и тщеславию господствующих классов. Нет его и в муральях, в которых представлены предшественники и отцы независимости, основатели Боливии. Его фигура появилась в общественном поле лишь начиная с 1980-х годов. Тогда же и Солон Ромеро написал свою знаменитую, замечательную работу «Казнь Тупак Катари».

Большую работу по поляризации альтернативной индейской истории, противопоставляемой официальному нарративу, провел созданный иезуитами CIPCA (Centro de Información y promoción del campesinado – Центр информации и развития крестьянства). Именно этот Центр развернул в 1970–1980-е гг. активную работу среди индейского населения города и деревни по популяризации как забытых, так и новых мифологизированных страниц истории индейских народов. В центре этой работы была фигура Тупак Катари, ставшего общепризнанной фигурой индейского сопротивления именно благодаря этой деятельности индеанистов.

CIPCA, учитывая особенности распространения информации среди малограмотного и очень бедного населения, сделала упор на радиотрансляции, которые слушали по всей стране. Радионовеллы о Тупак Катари стали очень популярными среди индейцев. Именно благодаря этим псевдоисторическим передачам фигура Тупак Катари была возведена на Олимп борцов за освобождение коренных народов⁶⁹. Были открыты (довольно примитивные по художественному исполнению, почти лубочные) памятники Тупак Катари и его жене, писались пропагандистские муралы. Созданная индеанистами типография Quelco массово печатала плакаты, на которых неизменно фигурировали образы Тупака Катари и его жены Бартолины Сисы.

Публикации в газетах и брошюры практически не читали те, для кого они издавались, а вот радиопередачи на языке аймара пользовались огромной популярностью среди индейцев Альтиплано. Индейские активисты сначала, а затем и индейские-крестьянские массы, на своих собраниях и общественных мероприятиях стали исполнять вместо национального гимна, индейский, написанный на мотив традиционной танцевальной мелодии «уаньо». В нем говорилось о подвиге и мученической смерти Тупак Катари⁷⁰.

В Оруро действовала индеанистская радиостанция «Bolivia», а в Ла-Пасе «Radio Méndez». Эти радиостанции работали в основном на Альтиплано и ориентировались на аймара. О значении радио и

⁶⁹ Rivera Cusicanqui S. «Oprimidos pero no vencidos». P. 142.

⁷⁰ Tapia L. Ukhamawa Jakawisaxa. P. 368-369.

его влияния на индейцев города и деревни свидетельствовал тот факт, что, когда у радио «Méndez» встал вопрос об отсутствии финансовых средств для деятельности, в очень короткий срок абсолютно нищие крестьяне-индейцы собрали взносами самых ничтожных сумм, не превышавших нескольких центов (самый большой индивидуальный взнос составил 0,8 доллара), 20.000 долларов для работы радио, став его самыми массовыми акционерами⁷¹. Через радиопередачи образ Тупака Катари быстро был воспринят как главная фигура индейского сопротивления, а являвшиеся его последние (согласно легенде) слова перед казнью стали лозунгом катаристского движения: «Я умираю, но завтра вернусь в тысячах тысяч».

150-тилетний юбилей провозглашения независимости страны в 1975 г. отличался от предыдущих круглых дат тем, что среди главных героев появился Тупак Катари, что описывало новую перспективу понимания борьбы за независимость и роль индейского населения в этом. Ведь Катари восстал в XVIII в. не только против испанской короны, а против всех белых, однако новый нарратив опускал эти детали, и Катари представал предтечей независимости Боливии.

В 1970–1980-е гг. новаторские исторические работы Рене Арсе отвергали традиционную версию Войны за независимость, выделяли в освободительном движении индейское течение как имевшее свой собственный общественно-исторический проект в этой борьбе⁷². Работы историков изменили официальный нарратив, способствовали коррекции университетской и школьных программ истории. Восстание Тупака Катари в XVIII в. стало частью борьбы за независимость, что вступало в противоречие с народной памятью об осаде Ла-Паса его же войсками, как самой жестокой странице в истории города.

Катари стал яблоком раздора, так как его именем назывались современные крестьянские движения и профсоюзы, народные университеты индеанистов, в то время как для креольского населения, особенно в Ла-Пасе, он оставался символом расовой ненависти индейцев к креольскому городу. Между тем, официальный нарратив уделял значительное место не столько самому восстанию Тупака Катари и провозглашаемым им целям (независимость плюс полное уничтожение всех белых и метисов), сколько мученической смерти его самого, а также его подруги и сподвижницы Бертолины Сисы.

В 1984 г. в рамках Национальной кампании по ликвидации неграмотности были изданы огромным тиражом брошюры с рисунка-

⁷¹ Albó X. De MNRistas a kataristas a Katari. P. 371-372.

⁷² Arze Aguirre R. Participación popular en la independencia de Bolivia. La Paz, 1979.

ми, рассказывающими о восстании Катари⁷³. Они были предназначены в основном для сельских районов, где преобладало индейское население. Это делали не индеанисты-энтузиасты, а то самое креольско-метисное государство, против которого те вели борьбу. Государство хотело присвоить себе образ Катари, вводя его в сонм героев борьбы за национальную независимость, но в результате добились иного, сделав его образ символом борьбы с креолами, со всем наследием колониализма.

Позднее эта тема нашла своё развитие в работах историков-индеанистов, самым крупным из которых был Роберто Чоке. Последний полностью отказался от принятого, как левыми, так и правыми, рассмотрения Войны за независимость как борьбы против испанского колониализма и абсолютизма, как прогрессивного акта, давшего жизнь боливийскому государству. Он задался вопросом: а что собственно этот процесс создания национального государства принес индейцам. Чоке противопоставлял креольско-метисное движение индейскому, а Войну за независимость – восстанию Тупак Катари, так как независимое боливийское государство оказалось враждебным индейским народам и ничего им не дало⁷⁴.

Однако пропагандистская кампания индеанистов, направленная на завоевание симпатий среди крестьян-индейцев, имела противоречивые последствия среди городского в основном метисного населения. Индейцы стали прибегать к «традиционным», восходящим к легенде о Тупак Катари, методам борьбы, таким как блокады дорог и доступа к Ла-Пасу, замкнутому в долине с ограниченным количеством дорог, связывавших миллионный город с внешним миром. Эти блокады возродили реальный страх горожан перед осадой враждебным индейским населением, о чем было известно до сего времени только по урокам истории. Среди индеанистов были популярны слова Катари: «Всех европейцев я отправлю в те земли, откуда они пришли»⁷⁵. Эта опасность и паранойя расовой резни привели к возрождению двух противоположных «горизонтов памяти»: агрессивно-наступательного – со стороны индейского движения и панически-катастрофического – со стороны метисно-креольского⁷⁶. Причем первый был менее агрессивным и связанным с непосредственными требова-

⁷³ Raíces de América: el mundo aymara. P. 504.

⁷⁴ Choque Canqui R. Situación social y económica de los revolucionarios del 16 de julio de 1809 en La Paz. La Paz: Consejo Municipal de La Paz, 2008.

⁷⁵ Soruco X. Apuntes para un Estado plurinacional. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2011. P. 98.

⁷⁶ Rivera Cusicanqui S. «Oprimidos pero no vencidos». P. 159.

ниями крестьян к властям, а второй – питался, помимо реальных неудобств и проблем транспорта, истерией в прессе с обширными очерками исторических свидетельств XVIII века.

В то время как катаристы во главе с В.У. Карденасом в 1980-е годы сотрудничали с либеральными партиями, часть радикальных индеанистов во главе с Фелипе Киспе «Эль Мальку»⁷⁷ с 1984 г. сделала ставку на вооружённую борьбу. Было создано подпольное движение «Красных айлью», преобразованное в 1989 г. в Партизанскую армию Тупак Катари (ЕХТК – ЕГТК)⁷⁸. В 1986 г. индеанисты встретили нового союзника среди левой городской интеллигенции, марксистскую группу будущего вице-президента страны Альваро Гарсии Линеры, которая после поражений рабочего движения в эти годы искала нового субъекта революции в лице индейского крестьянства. Совместными усилиями они готовили вооружённую борьбу⁷⁹. В ноябре 2000 г. Киспе создал свою политическую партию Индейское движение Пачакути (МИП), которое провозгласило своей целью разрушение креольского государства и строительство нового, на основе индейской общинности⁸⁰.

Эти радикалы-индеанисты создали политическую организацию «Ассамблею суверенитета народов» (АСП), принявшую мирные методы борьбы. Идейное основание создания собственной индейской партии опиралось на «исторический опыт» и убеждение в предательской сущности метисов и креолов. Попытки вступить в союз с метисами и креолами во время великих восстаний Тупак Катари в XVIII в. и Сарате Вильки на рубеже XIX и XX вв., неизменно заканчивавшиеся предательством интересов индейцев и репрессиями, были аргументом не искать союза с левыми метисно-креольскими, «классовыми» партиями, а создать собственный политический инструмент для завоевания власти в данном государстве во имя его полной трансформации⁸¹. Сначала им удалось провести успешные местные избирательные компании в Кочабамбе, а в 1997 г. они завоевали четыре мандата в Конгрессе от союза «Единые левые – АСП», основу которого составляли коммунисты. Все эти депутаты были крестьянами. Одним из них был лидер профсоюза производителей коки Эво Мора-

⁷⁷ Мальку – вождь, глава нескольких общинных объединений, индейских протогосударств.

⁷⁸ García Linera A. *Biografía política e intelectual*. La Paz: Archipiélago ediciones, 2009. P. 7.

⁷⁹ Stefanoni P. “Qué hacer con los indios...” P. 112.

⁸⁰ Лозунг МИП “индеанизировать белых” означал “индеанизацию” общенациональной боливийской идентичности.

⁸¹ Soruco X. *Apuntes para un Estado plurinacional*. P. 109-110.

лес Айма, вскоре ставший ведущим политиком страны. Индейцы и Эво Моралес тяготились зависимостью от левых политических партий и ставили своей задачей создание собственной⁸².

В конце 1990-х интеллектуалы-индеанисты совместно с левыми радикалами во главе с Раулем Тапия и А. Гарсия Линера предприняли инициативы по созданию индеанистской интеллигенции. В 1996 г. ими был основан Индейский университет Тауантинсуйо (так называлась империя Инков), который по сути стал агитационным клубом. Тем не менее, в нем был факультет истории, предложивший интерпретацию аймара национального прошлого. Они издавали работы на исторические темы, отличавшиеся радикализмом и полным отсутствием профессионализма. Скорее это были памфлеты и пропагандистские листки, нежели исторические труды. Индеанисты призывали всех индейцев, обучавшихся в официальных университетах параллельно проходить курсы в этом общественном «университете». Надо отдать должное этой инициативе: университет пережил все годы перемен и существует по сегодняшний день, а его дипломы теперь признаются государством. Важной чертой того же периода был рост различных Неправительственных организаций (НПО – ONG), которые полностью заменили собой левые партии в профсоюзах и народных движениях. Из НПО выделялся своим влиянием проект «Огонь» Давида Чокеуанки, будущего министра иностранных дел и идеолога нового течения в индеанизме – «пачамамизма».

Городские индейцы, точнее их интеллектуальные представители, осознавая положение индейцев как «парий» в креольском обществе, искали выход в обособлении, в радикальном отказе от инкорпорации в общество, сориентированное на ценности западной цивилизации. Это явление ресентимента, расово-этнического изоляционизма было характерно для радикального индеанизма конца XX в. В 1990-е годы доминирующим течением в индеанизме становится экологический и этно-исторический изоляционистский миф о крестьянских народах Америки, пачамамизм⁸³. Это направление в индеанизме гармонично налагалось на представления индейцев о справедливости, ввиду исполнения «заклученного» ещё во время конкисы так называемого «пакта взаимности». Этот термин ввел в науч-

⁸² Моралес Айма Э. Моя жизнь. С. 233-236.

⁸³ Заметим схожесть рассуждений Ханны Арендт в отношении европейского еврейства, не сумевшего на путях ассимиляции избавиться от положения «парий», но искавшего выход в богеме, культуре, уходящего во «всеобъемлющую область природы» (Арендт Х. Скрытая традиция. М.: Текст, 2008. С. 81). Именно в область культуры и экологического радикализма вводили индеанизм новые идеологи пачамамизма, поддержанные многочисленными западными НПО.

ный оборот признанный знаток истории индейских народов, шотландский исследователь Тристан Платт. Он обозначил им те специфические отношения, которые сложились между испанскими колониальными, а затем и креольскими республиканскими властями и индейскими общинами, которые в обмен на уплату подушной подати и выполнение других повинностей сохраняли полную внутреннюю автономию общин⁸⁴. Разрыв некоторых индеанистов с этой традицией, лозунги «индеанизировать» всю страну не нашли массовой поддержки среди индейского населения, обрекая эту группу индеанистов на маргинализацию в политике и ограничение влияния в среде городской индейской интеллигенции, и наоборот, расово-этнический изоляционизм пользовался большой популярностью именно среди индейских масс, в основном крестьян. Вариантом такого расово-этнического изоляционизма стало популярное течение пачамамизм.

Пачамамизм или теория *suma j qataña*⁸⁵ декларировала защиту окружающей среды, Матери Земли (Пачамамы), антиконсьюмеристский образ жизни и традиционные ценности. После прихода к власти индеанистов во главе с Эво Моралесом в 2006 г. этот принцип был сформулирован в 8-й статье Конституции. Лидер пачамамистов Д. Чокеуанка объяснял свою теорию: «В 90-е годы мы, аймара, собираясь, говорили, что хотим вновь стать тем, чем перестали быть. Мы снова хотим стать *самiris*. На аймара это означает человека, который живёт хорошо. На языке аймара нет слов богатый и бедный. Кечуа говорят: мы хотим вновь стать карас, что означает человека, который хорошо живёт.... Мы стремимся к гармоничной жизни не только для человека, но и для природы, ведь когда говорим только об обществе и о человеке, то это исключаящий других существ подход, не учитывающий все остальное... Для нас самым важным является жизнь, а для социализма главное – удовлетворение материальных и духовных потребностей человека. При капитализме самое главное – это получение прибыли, дохода, капитала. Мы не согласны ни с тем, ни с другим. Более того, человек для нас находится на самом последнем месте. На первом же – птицы, бабочки, муравьи, горы, реки, звезды на небе, – все, среди чего человек лишь малая часть мира. Мы ищем гармоничную жизнь человека в природе»⁸⁶. 21 апреля 2010 г., фор-

⁸⁴ Raíces de América: el mundo aymara. P. 369; Platt T. Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí. Lima: IEP, 1982.

⁸⁵ На аймара – «жить хорошо». Стала частью официальной идеологии режима радикальных индеанистов после 2006 года.

⁸⁶ Svampa M., Stefanoni P., Fornillo B. *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización*. Buenos Aires: Taurus, 2010. P. 266–267.

мулируя основы пачамамизма Д. Чокеуанка заявлял: «Для нас, для индейцев, самым важным является жизнь на земле вообще, и человек занимает последнее место среди наших приоритетов»⁸⁷. Это самая чёткая формула экологического, антиконсьюмеристского фундаментализма. Сами же пачамамисты называют свои взгляды «биоцентристским эгалитаризмом», предпочитая говорить не о правах человека, а о правах Матери-Земли (Пачамамы)⁸⁸. Это крайнее крыло индеанистов обладало самым большим влиянием среди индейских низовых организаций, контролировало большинство НПО, которые вели пропаганду в крестьянских индейских культурных и социальных центрах, формируя новую индейскую идентичность как противостоящую потребительской западной цивилизации.

Биполярность национальной идентичности, расколотой на индейский и креольско-метисный миры, опиралась не только на взгляды индеанистов, предлагавших деколонизацию жизни, истории, государства, но и на традицию разделения страны и общества на две республики, на республику индейцев и республику испанцев, берущую начало в колониальные времена. Это разделение обеспечивало сохранность, автономию и взаимное признание мира индейцев и мира креолов; в этой системе имели место и расовая сегрегация, и бесправие индейцев, но также гарантия выживания индейцев как особых крестьянских народов. Боливийский социолог Химена Соруко отмечала: «Метизация в смысле идентичности в культуре не может быть отделена от полярности индеец–креол, так как основывается на ней; метизация – это утверждение целой амальгамы индейско-креольских элементов и, следовательно, она стремится к преодолению обеих противоположностей. Это спекулятивная категория, хотя основывается на смешивании (а не чистоте) культур и рас. Метисная идентичность исходит из той же концепции общественных отношений, хотя общественные отношения в боливийском обществе складываются между людьми различными в биологическом и культурном плане, между индейцами и креолами, метизация – амальгама этих различных групп в одной новой расе... Лабиринт метизации – лабиринт идентичностей и межрасовых отношений, и он воспроизводится калейдоскопически (чоло, бирлочас, митис, камбас и т.д.)»⁸⁹.

⁸⁷ Le Monde diplomatique. El Diplo. Edición boliviana. No. 27. Junio-julio, 2010. P. 4–5. Гарсия Линера в ответ на эти идеи призвал сторонников новой власти не быть «простыми лесниками, только охраняющими лес», а сочетать эти принципы с техническим и социальным прогрессом, с борьбой с бедностью.

⁸⁸ La Razón, La Paz, 31 de enero, 2010. URL: <http://www.la-razon.com/ediciones-antteriores/>

⁸⁹ Soruco X. Apuntes para un Estado plurinacional. P. 57-58.

Поляризация идентичностей, охраняемая короной в колониальный период, с наступлением эпохи модерности подверглась испытанию ассимиляционной политикой республиканских правительств, руководствующихся либеральными принципами гражданского равенства. Индейская, а затем и индеанистская, концепция идентичности искала защиты, или как выражались сами индейцы, «стены, которая защитит индейцев» (слова индейского лидера Марко Сантоса Тулы в начале XX в.). Построить эту невидимую стену для индейцев всегда было возможно только благодаря насилию, противостоящему насилию колонизаторов. Именно насилие превратилось в функцию, формирующую индейскую идентичность.

Энтони Смит отмечал, что этническое насилие среди многочисленных причин имеет важный аспект реакции на неравенство своей «этноистории», противоречивой исторической памяти в отношениях с другими этносами⁹⁰. В 1990-е гг. происходит фольклорное возрождение индейской культуры, элементы которой были включены в систему образов общей боливийской национальной идентичности. У коренных народов Анд в отсутствие письменности с древности сложились строгие правила образов, сочетаний цветов, расположения сюжетов на ткани, в которых рассказывалось о представлениях индейцев о сотворении мира и истории Инков⁹¹. Хотя в разных регионах эти правила видоизменялись, сложилась мифология изображений на ткани, с удовольствием воспринятая креоло-метисными горожанами именно в фольклорно-мистическом смысле. Тем не менее, в сохраняемом всеми индейскими народами едином историческом мифе, выраженном в их культуре ткачества, история Тупак Катари отразиться никак не могла и должна была быть привнесена извне индеанистами, политиками и интеллектуалами.

Индеанисты обращались к индейским восстаниям прошлого (прежде всего к восстанию Тупак Катари в XVIII в.), превращая их в своих идейных предшественников, в основу формирования индейской национальной идентичности, что, безусловно, являлось неоправданной модернизацией, анахронизмом в смысле несоответствия исторической действительности XVIII века. Но как конструкт, как историческая память эти события реально составляли основу индейского сопротивления как части идентичности⁹². Цели насилия, сопротивление «цивилизаторским» потугам колониальной и республиканской

⁹⁰ Smith A. La identidad nacional. P. 149.

⁹¹ Raíces de América: el mundo aymara. P. 219.

⁹² Gomes D. Estado, nacionalismo y exclusión ciudadana: apuntes históricos desde el caso // Cuadernos de Historia Moderna. Madrid. 2012. No. 11. P. 214.

властей подвергались мифологизации. Как считал Р. Козеллек, «историография с точки зрения побеждённых может порождать глубокую самокритичную рефлексию, а мемориальные стратегии с точки зрения побеждённых направлены скорее на мифологизацию»⁹³. Главным объектом подобной мифологизации стала история Тупак Катари и его соратников.

Для радикальных индеанистов насильственное уничтожение западной цивилизации в Андских странах было бы первым шагом к возвращению к мифологизированному образу древних индейских цивилизаций, превратившихся в концепциях идеологов индеанизма в идеальные общества равенства и солидарности. Для таких мыслителей, как Ф. Рейнага, революция означала не совершенствование существующего общества, социальное освобождение угнетенных индейских народов. «Нет, – отвечал Рейнага. – Всё наоборот, индейская революция будет означать конец Запада»⁹⁴.

Радикальные индеанисты, «реставрационисты», обращались к историческим событиям «Великого андского восстания» XVIII в. и позиции Тупака Катари, чтобы обосновать свой отказ от каких-либо союзов и компромиссов с креольско-метисными политиками как справа, так и слева. Их главным аргументом является якобы имманентно присущая метисам, союзникам креолов, природа предательства дела индейцев и внутренний колониализм. В качестве безусловного доказательства этого тезиса всегда приводится восстание в Оруро в 1781 г. во время «Великого андского восстания», когда там сложился союз местных креолов, метисов и индейцев против испанских колониальных властей⁹⁵. Но затем креольско-метисная верхушка отказалась от союза с индейцами, испугавшись их расистского настроя на уничтожение всех белых. По версии индеанистов, Катари, ввиду этого предательства, пошел на радикализацию движения и на войну расы против расы. При этом индеанистов не смущали явные натяжки в интерпретации тех событий, умалчивание противоречий, существовавших между кечуа и аймара на разных фазах восстания. «Урок Оруро» представлялся как главный исторический аргумент против союза, предлагаемого левыми не-индейцами⁹⁶.

Индеанизм формулировал особую идентичность, оправдывая и призывая к насилию. Этому способствовала логика и форма, которые

⁹³ Цит. по Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 72.

⁹⁴ Reinaga F. Manifiesto del partido indio de Bolivia. La Paz, 1970. P. 67.

⁹⁵ Soruco X. Apuntes para un Estado plurinacional. P. 98.

⁹⁶ Katarismo-Indeanismo ante la izquierda y la derecha//Willka. Revista anual. No. 5. El Alto, 2011. P. 196.

были свойственны индейскому сопротивлению в течение XVIII–XX вв. Индейцы региона Анд прибегали к различным формам восстания мифов и исторической памяти доколумбовой эпохи, чтобы объяснять легитимность своего протеста, восстаний и даже крестьянских войн с расовой антикреольской направленностью. Особенности сохранения исторической памяти и символов индейского населения в Андах сделала ущербными и недолговечными не-индейские типы национальной идентичности и официальной памяти в регионе⁹⁷. Эта особенность именно андского региона, не свойственная другим индейским странам (как, например, в МезоАмерике), оказала огромное влияние на формирование местных националистических теорий, сделала индеанизм теорией социально-политического освобождения.

Индейские народы в рамках этой концепции заняли место рабочего класса и крестьянства в борьбе за социальное освобождение; они стали идеальными представителями угнетённого большинства⁹⁸. Индеец становился борцом за всеобщее освобождение и одновременно жертвой дискриминации и эксклюзивного общества, отказывавшего ему (индейцу) в равноправии. Индеанизм был декларацией отказа от доминирования западных ценностей и западной культуры.

Индеанисты у власти

После прихода к власти в Боливии радикальных левых индеанистов в 2005 г. в обстановке глубокого морально-политического кризиса, вопрос о национальной идентичности стал одной из фундаментальных проблем, которые предстояло решить новым властям и обществу. Вступлению в должность президента Моралеса предшествовала неформальная, но очень символическая церемония, проведенная им 21 января 2006 г. на руинах Тиуанаку – символа индейского сопротивления и величия до-испанской андской цивилизации. Эво Моралес получил жезл традиционных вождей аймара мальку, и перед руинами храма Каласасая объявил о начале реального освобождения индейцев и созидания новой страны⁹⁹.

Помимо социально-экономических целей освобождения угнетенных меньшинств, левые индеанисты придавали огромное значение проблемам деколонизации культуры, преодоления бинарности

⁹⁷ Gutiérrez N. Memoria indígena en el nacionalismo precursor de México y Perú // Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. Tel Aviv University. Vol. 1. No.2. URL: <http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1302/1328>

⁹⁸ Gomes D. El factor indígena y los marcos de la acción colectiva en Bolivia (2000–2005). No pienses en un indio // Cahier des Amériques Latines. 2010. No. 63-64. P. 180.

⁹⁹ La Razón. La Paz. 22 de enero, 2006. URL: www.la-razon.com

идентичности в обществе, разделенном на стигматизированных индейцев, или коренные народы, и креольско-метисное большинство, считавшее себя частью западного мира и цивилизованной частью страны. Однако поставленные задачи в ходе предвыборной агитации были затем извращены, и вместо консолидации и формирования единой нации власти предпочли разделение и навязывание одной формы культуры и идентичности. Одной из задач была «внутренняя деколонизация» культуры и исторической памяти.

Как справедливо утверждал П. Ламберт, именно в периоды кризиса и роста политизации общества, мифы исторической памяти приобретали особое значение, и чаще всего - связанные с насилием¹⁰⁰. В этот период особенно актуализировались все прежние этно-расовые и исторические мифы индеанизма: борьба индейских народов с культурно-политической гегемонией креольского общества, крестьянские, индейские войны и восстания, вооружённое сопротивление уничтожению основы этноса – общины.

Именно в период кризиса, особенно если он имеет морально-политическое содержание, общество пытается найти выход из него в изменении своих представлений о себе самом, обращаясь к мифу, к культурно-историческим символам, к маркерам идентичности. Порой это выглядит как откат к воспроизводству ментальных образов предыдущей эпохи. Как утверждал Э. Смит, национальная идентичность может переинтерпретироваться, обращаясь к до-модерновым формам коллективной этнической идентичности, к древним символам и мифам¹⁰¹. Так, в Боливии в начале XXI века стал насаждаться идеализированный образ общины, миф о гармоничном обществе равенства и справедливости до-испанских времён (империя Инков), что было в целом принято и городским сообществом, далёким не только от принципов общинной жизни, но и этнически мало связанным с этими мифами и символами¹⁰². Этот процесс сопровождался образованием городских псевдо-общин и других социальных институтов гражданского общества, имитирующих индейские формы взаимопомощи и солидарности.

¹⁰⁰ Political Violence and the Construction of National Identity in Latin América./ ed. Will Fowler and Peter Lambert. NY: Palgrave, 2006. P. 26.

¹⁰¹ Smith A. Myth and Memories of the Nation. P. 57-58.

¹⁰² Тот же Э. Смит отмечал подобные процессы в начале XX в. в Мексике на фоне нового формулирования национальной идентичности в ходе мексиканской революции. – Smith A. Nacionalismo e indigenismo: la búsqueda de un pasado autentico.// Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe. Tel Aviv University. Vol. 1. No.2. URL: <http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1297/1323>

Наряду с канонизацией героев индейского сопротивления (Тупак Катари, Серрате Уильки, Бертолины Сисы и др.) в официальное обращение вводились новые символы, связанные с индейской идентичностью – радужный флаг *whipala*, Тиауанаку как своего рода индейский Иерусалим; был учреждён новый праздник – индейский новый год 21 июня. Катари, Бертолина Сиса, Серрате Уилька наряду с Че Геварой возводились в ранг предшественников подлинной независимости. Именно об этом говорил президент Моралес на праздновании Дня независимости 6 августа в 2008 г., очертив круг новых национальных героев, в который наряду с «креольскими освободителями» Боливаром и Сукре вошли индейские вожди сопротивления креольскому «внутреннему колониализму»¹⁰³.

Индеанизация нарратива осуществлялась в таких ставших влиятельными среди историков, предпочитавших альтернативный официальному креольскому новый нарратив, институтах, как СІРСА и созданная индеанистами в 1983 г. «Группа устной андской истории» (*Taller de Historia Oral Andina*, ТНОА). Направляемая сверху государством индеанизация идентичности приветствовалась большинством населения. Особую активность проявляли такие низовые индейские пропагандистские группы как «Красные пончо», проводившие кампании по распространению нового взгляда на историю¹⁰⁴.

Как отмечал вице-президент Боливии А. Гарсия Линера, в индейском движении Альтиплано, в основном аймара, «существует постоянное идеализированное воспоминание общинами своей истории, лидеров восстания Тупак Катари, составляя коллективное воображаемое нации, которая существовала ещё до появления боливийской нации»¹⁰⁵. Отказ от принципов ассимиляции вел к формулированию особых черт индейской идентичности как идентичности особых крестьянских народов, более всего связанных с экологией, природным окружением. Общинность, антиконсьюмеризм и экологический экстремизм («Человек для нас находится на самом последнем месте. На первом же – птицы, бабочки, муравьи, горы, реки, звезды на небе, – все, среди чего человек лишь малая часть мира. Мы ищем гармоничную жизнь человека в природе»¹⁰⁶, – Давид Чокеуанка) создавали идеи исключительности коренных (индейских) народов, противостоящих другим расовым и этническим группам страны.

¹⁰³ Fiesta cívica. Construcción de lo cívico y políticas festivas./Bridikhina E. coord. La Paz: IEB-UMSA, 2009. P. 191.

¹⁰⁴ Fiesta cívica. P. 206.

¹⁰⁵ García Linera A. Biografía política e intelectual. P. 56.

¹⁰⁶ Svampa M., Stefanoni P., Fornillo B. *Debatir Bolivia*. P. 266-267.

Преобладающей идеей стал мультикультурализм, отсутствие единой идентичности, «богатства в разнообразии», а в оценке национальной истории предлагалось сосуществование различных исторических нарративов для различных сообществ. Объяснялось это, как формулировал А. Гарсия Линера, необходимостью преодолеть «символическое насилие» со стороны старых господствующих классов и идей. Надо заметить, что исторический индеанизм не поддерживал этот тренд своих политических соратников из правительства, его целью была полная индеанизация всей общественной жизни страны. Следует признать, что мультикультурализм соответствовал представлениям коренных народов о справедливости и об уже упоминавшемся «пакте взаимности», то есть взаимном невмешательстве креолов и метисов в дела индейцев и наоборот, что обеспечивало, в их представлении, некую гармонию.

Доминирующий современный индеанистский дискурс, обращаясь к корням и вычёркивая содержание креольской исторической памяти, попадает в ловушку противоречий между универсальностью декларируемой инклюзивности идентичности (креолы, метисы, коренные-туземные народы) и партикуляризмом, претензиями на особенность идентичностей отдельных этно-расовых и социальных групп – крестьянско-индейской нации. Причем индеанистский нарратив противостоит общенациональному, порождая ряд этноцентристских мифов, как-то: миф о солидарности как основе экономического уклада, миф об андском капитализме, противостоящем в ценностно-историческом плане европейскому (мировому) капитализму, этно-экологический миф (*Suma qamaña*), которые разрывают ткань национального нарратива и исключают формирование единой идентичности. Отсюда новая форма государственности – Мультинациональное государство, то есть сосуществование различных и порой противостоящих идентичностей в одном социальном и физическом поле. Подобное положение потенциально содержит и угрозу разрыва, и ведёт к поддержанию равновесия, однако наполняет противоречиями официальный исторический нарратив, который, несмотря на всю его противоречивость, настойчиво создают власти.

«Деколонизация» истории со стороны индеанизма привела к пересмотру большинства национальных исторических мифов, формировавших национальную идентичность. Враждебность креольско-метисному обществу со стороны индейских народов не сводилась к преодолению «символического насилия», о чем говорили политики и идеологи индеанизма, а выражалась в нарастании насилия со стороны индейских групп в отношении городского, чуждого им креольского общества, что превратилось в часть индейской идентичности.

Крайние группы индеанистов, как, например, Индейская партия кечуа и аймара – ПАИК во главе с Константино Лимой, отказывались считать себя боливийцами, латиноамериканцами, которых называли результатом колонизации и самого факта открытия Америки европейцами. Для них нет никакой Боливии, а есть Кольясуйю, которое следует воссоздать, подчинив прочие этносы и группы правам коренного населения Америки¹⁰⁷. Следовательно, нет и не может быть никакой общенациональной идентичности, а единственный выход – это мультикультурализм, но при преобладающем праве на эту землю коренного населения, индейцев.

Для боливийского случая, где главным является отказ от достижения единой идентичности, что было целью доминирующих групп в течение всего периода XIX–XX вв., подходит определение, данное для этого явления рядом социологов (Давид Сноу, Скотт Хант, Роберт Бенфорд) – как «поля идентичности». «Поля идентичности» включают в себя различные этнические и социальные, в том числе и промежуточные, группы, на которые они воздействуют, а также противостоящие им группы, что придаёт динамику процессу осознания общей идентичности, способствует мобилизации людей вокруг защищаемых постулатов¹⁰⁸. «Поля» имеют свои границы, но частично пересекаются и накладываются друг на друга.

Новый тип пост-национализма, возникшего в Боливии в начале XXI в., стал, по определению социолога Давида Гомеса, своего рода «идентичностью-убежищем», укрывшим на своей территории на условиях равного положения различные идентичности¹⁰⁹. В боливийском случае социальные группы пришли к согласию о сосуществовании разных идентичностей в рамках единого политического сообщества, забыв прежние споры и опыт насилия по самоутверждению. Как справедливо отмечала Алейда Ассман: «Национальные скрепы коллективной идентичности во многих местах переживают кризис, поэтому ныне конструирование новых коллективных идентичностей происходит либо ниже уровня нации, либо выше... Наглядным примером являются США, где национальные мифы и проекты утратили свою привлекательность и убедительность, а их место занимают этнические идентичности»¹¹⁰. В Боливии провал предыдущих истори-

¹⁰⁷ Katarismo-Indeanismo ante la izquierda y la derecha // Willka. Revista anual. No. 5. El Alto, 2011. P. 145.

¹⁰⁸ Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Laraña E., Gusfield J. (eds.). Madrid: CIS, 1994. P. 231-249.

¹⁰⁹ Gomes D. Estado, nacionalismo y exclusión ciudadana: apuntes históricos desde el caso // Cuadernos de Historia Moderna. Madrid. 2012. No. 11. P. 216.

¹¹⁰ Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 273.

ческих попыток создать единую метисно-креольскую идентичность был отправной точкой этого согласия и оправданием такой необычной для унитарного современного государства модели.

В официальном нарративе, который возникает в последние годы, главное содержание боливийской истории сводилось к борьбе с «внутренним колониализмом», противостоящим подлинной независимости и свободе коренных народов¹¹¹. Для борьбы с этим «внутренним колониализмом» в сфере культуры и гражданского сознания сразу после прихода индеанистов к власти было даже создано вице-министерство по деколонизации. В заявлении о задачах деятельности этого специфического органа власти заявлено: «Деколонизация – это не романтический возврат к прошлому. Скорее речь идет о научном воссоздании всего наилучшего в нашем прошлом, которое надо соединить с современностью, но не с любой современностью, а только с чистой и здоровой»¹¹². В телеологическом понимании национальной истории все события до «культурной и демократической революции», начавшейся с приходом к власти Эво Моралеса в 2006 г., рассматриваются как эпизоды борьбы с этим колониализмом, остающимся непреодоленным, а с приходом индеанистов к власти наступил решительный момент для «внутренней деколонизации».

Понятие колониализма в интерпретации индеанистов только отчасти касалось социально-экономических вопросов, а в первую очередь затрагивались проблемы культуры и идентичности. «Внутренний колониализм» вел к отчуждению подлинной национальной идентичности через навязывание чуждой социальной памяти народа, ложного исторического нарратива – через доминирование в культуре и образовании. Соответственно, деколонизация, обретение подлинной национальной идентичности, должны пролегать через сферу культуры и просвещения.

Проводимая властями политика «внутренней деколонизации», в том числе в отношении исторической памяти, вызвала сложные чувства многих социальных групп, сообществ в отношении существования и истории той страны, которую они всегда считали своей. Креольско-метисное городское население опасалось разрушения всех основ идентичности и нарастания конфликта по линии подлинных боливийцев и «колонизаторов и их приспешников».

¹¹¹ Stefanoni P. “Qué hacer con el indio...” Y otros traumas irresueltos de la colonialidad. La Paz: Plural, 2010. P. 10.

¹¹² Цит. по: Feierstein D. Identidades múltiples e identidades por exclusión: el riesgo de un racismo indigenista // *Claroscuro. Revista del Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural*. 2014. №13. P. 23.

Война за независимость начала XIX века трактовалась индеанистами исключительно как борьба враждебных индейцам расово-культурных групп в рамках непрекращавшегося культурно-этнического колониализма. Креольские историки вписывали индейское освободительное движение в рамки общей для всех рас и этносов борьбы за независимость, что категорически отвергалось индеанистскими историками и публицистами. Придя к власти, индеанисты во главе с Моралесом были вынуждены предпринимать меры по поиску согласия в символическом поле национальных символов с креольской частью населения. Коммеморация представлялась новым властям поводом для своего рода общественной педагогики, направленной на городские не-индейские слои населения. Официальные праздники, сопровождаемые парадами военных и граждан, созданием гражданских алтарей героям, украшение улиц национальными символами и портретами «отцов отечества» имеют большой размах не только в городах, но также в общинах и посёлках. Главным организатором праздников вместо общины стала школа, не только в смысле распространения смысла и содержания мероприятий, воспоминания героев, но и с организационной точки зрения. В общинах создаются Комитеты национального празднования в составе директора школы, представителя родительского комитета, одного учителя и представителя общинных властей¹¹³. В общинах аймара переход от чествования Боливара, Суcre и других креольских вождей к Тупак Катари и Серате Вильки был естественным и быстрым. В городах на традиционных празднествах Дня независимости 6 августа был сохранен в основном старый ритуал. Однако появились новые яркие черты: главным действующим лицом гражданских шествий стали индейцы, прибывавшие из сельской местности в столицу. Даже военный парад теперь открывали индейцы в традиционных одеждах и с традиционным оружием. Наряду с полицией поддерживали общественный порядок и осуществляли оцепление «бойцы» так называемой «общинной гвардии», что особенно вызывало протесты горожан-креолов¹¹⁴.

Деколонизация истории была предпринята небольшой, но очень активной группой историков и публицистов, повлиявших на формирование официального нарратива после прихода к власти радикальных левых индеанистов во главе с Эво Моралесом. Пьер Нора назвал этот процесс «демократизацией» истории, которая связана с возникновением новых типов памяти меньшинств, в частности, речь идет о деколонизации памяти, характерной для освободившихся стран тре-

¹¹³ Fiesta cívica. P. 208.

¹¹⁴ Fiesta cívica. P. 193-195.

тьего мира, а также посткоммунистических стран¹¹⁵. Боливия сегодня – это яркий пример деколонизации исторической памяти, обращения к традиционной памяти, до этого искажённой или разрушенной внутренним колониализмом¹¹⁶. В официальном нарративе главным содержанием боливийской истории стала борьба с внутренним колониализмом, противостоящим подлинной независимости¹¹⁷.

Деколонизация, о которой говорили индеанисты, предполагала, что в стране существует несколько наций. Индейцы аймара, кечуа и другие были «коренными народами», которые имели свою идентичность и не желали идти по пути ассимиляции и создания единой нации. Следовательно, единственным выходом был мультикультурализм и максимальное признание автономии рас и этносов. Это нашло отражение в новой конституции 2009 г., по которой страна перестала быть республикой и стала именоваться Многонациональным государством Боливия. Конституция признавала суверенитет всех тридцати шести индейских, коренных народов страны, их права на язык, культуру и территорию, но в ней ни одним словом не оговаривались права креольско-метисного населения, составляющего большинство боливийцев. При этом индеанисты автоматически зачисляли всех метисов в потомки коренных народов, утверждая право крови и расы. Конституция провозглашала права индейских народов «на автономию, самоуправление, собственную культуру, на свои институты, на территорию». Признавались не только индивидуальные, но и коллективные права индейских народов. В новой Конституции Многонационального государства Боливия с первых строк преамбулы декларировался индейский подход к определению корней и природы коренного населения: «В незапамятные времена возникли горы, реки и озера. Наша Амазонка, наше Чако, наше Альтиплано и наши долины и равнины покрылись растительностью и цветами. Мы люди с разными лицами заселили Мать-землю. Тогда уже мы научились принимать множественность всех вещей, всей людей и культур. Так, возникли наши народы, которые никогда не понимали, что такое расизм, пока не пришли печальные времена колонии»¹¹⁸.

Новая конституция по идее индеанистов создавала юридические основы созидания новой национальной сущности, мультикульту-

¹¹⁵ Нора, Пьер. Всемирное торжество памяти. URL: magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html

¹¹⁶ García Linera A. La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia. La Paz: CLACSO, 2010. P. 199-214.

¹¹⁷ Stefanoni P. “Qué hacer con el indio...” P. 10.

¹¹⁸ Сальмон Х. Индейцы в новой конституции Боливии // Латиноамериканский исторический альманах. 2015. № 14. С. 212-213.

турализма, гарантирующего выживание и свободное развитие этнических меньшинств, индейских народов. Лусила Чоке Уарин, оценивая достижения режима, писала в радикальном индеанистском теоретическом журнале «Уилька»: «Чувство принадлежности к той или иной общности позволяет людям организоваться не только в формальном плане, то есть они могут юридически иметь своё представительство не в смысле западной представительной демократии, а посредством мифа, своей самости, общинной демократии, что позволяет им взглянуть в рамках собственной идентичности, связанной с понятием Пачакути (циклического времени), на перспективу *Suma Qamaña* (Хорошо жить), то есть попытаться вырваться из обреченности и тисков внутреннего колониализма и глобального дикого капитализма, все ещё подчиняющих себе большинство населения, которое эксплуатируется и угнетается, вырваться из-под господства вечных элит, контролирующих нашу страну Боливию»¹¹⁹.

«Внутренняя деколонизация» вызвала сложные чувства многих социальных групп, сообществ в отношении оправданности существования и истории той страны, которую они всегда называли Боливией и считали своей собственной. Эти процессы сомнения и переоценки своей идентичности привели к разрушению национального чувства, оправдывавшего все эксцессы истории, репрессии и дискриминация коренного населения. Если левые и индеанисты опасались, что государство, сменив идеологическое обоснование независимости и поменяв исторический нарратив, не сможет измениться по сути и останется колониальным, так как весь период после провозглашения независимости в 1825 г. характеризовался как «внутренний колониализм», то креольско-метисное меньшинство, правые, центр и традиционные левые опасались разрушения всех основ идентичности и нарастания конфликта по линии подлинных боливийцев и «колонизаторов и их союзников»¹²⁰. Все 2000-е годы прошли в атмосфере растерянности, а иногда и агрессии доминирующих в недавнем прошлом групп, которые не желали принимать новую идею истории и памяти, а стали уже как меньшинства выделять собственную память из общенационального нарратива.

Новая идентичность индейцев, то есть полноправных и «главных», «коренных народов», возглавляющих процесс деколонизации и национального освобождения, могла осуществиться только в этом процессе на пути к пост-капиталистическому (не антикапита-

¹¹⁹ Choque Huarin L. Mirando desde adentro al gobierno del MAS // Willka. Revista anual. No. 6. El Alto, 2013. P. 14.

¹²⁰ Svampa M., Stefanoni P., Fornillo B. Debatir Bolivia. P. 69.

листическому) обществу, когда будет воплощена идея «андского капитализма», главным идеологом которой был А. Гарсия Линера: индейские предприниматели накапливают богатства, чтобы перераспределять их через традиционные механизмы общинной солидарности и якобы не ставят своей целью накопление капитала и расширенное производство¹²¹.

Индеанизация общественно-политической жизни страны вызвала неоднозначную реакцию со стороны большинства боливийцев. Если при переписи 2001 года большинство жителей причисляло себя к потомкам индейских народов, то в 2012 г. неожиданно их число снизилось с 62% до 42%. Как указывал Энтони Смит, существует различие между чувством этничности и этнической идентичности¹²². Большинство боливийцев ощущали себя частью общего этноса с индейскими корнями. Когда же радикальная индеанистская власть стала подспудно насаждать как основополагающие для всего государства характеристики и особенности индейской культуры, городское население поменяло свою позицию в признании себя частью этой культуры, этнической идентичности.

Особенность индеанизма состоит в том, что его лидеры и идеологи, действуя как контрэлиты, так же как и коммунисты, революционные синдикалисты, чегеваристы и прочие политические группировки и партии, формируя свою партийную идентичность, опирались не на классы или ограниченные социальные группы, а на целые этносы, индейские народы Боливии. Придя к власти, они не сумели и не захотели придать групповой и, по существу, партийной идентичности общенациональный характер, укрывшись за ширмой мультикультурализма, что привело к серьёзным противоречиям и ментально-психологическим разрывам в отношениях с другими группами населения, к тому же представлявших большинство граждан. В результате индеанистский проект остался узкопартийным, почти сектантской проекцией новой власти на проблемы общенационального самосознания, что привело к возврату большинства населения к старой креольско-метисной модели идентичности, заставляя и самих индеанистов скорректировать свою стратегию, приспособляясь к доминирующим в обществе настроениям на метизацию.

¹²¹ Как показала практика, эти идеи были иллюзией и утопией, оторванной от действительности, о чем свидетельствует появление при поддержке государства крупной аймара и кечуа буржуазии в годы, последовавшие после прихода индеанистов к власти.

¹²² Smith A. *Myth and Memories of the Nation*. P. 126.

SUMMARY

The constant search for “new ways” in history is due to the equally constant change in the questions that we ask the past from our present. The historian interprets historical texts on the basis of modern prerequisites, and his historical conception acts as a force field organizing chaotic fragmented material. Issues related to the historical epistemology, with an understanding of the specifics of the historiographic procedures, have firmly taken a central place in the discussions of historians, which also include philosophers, sociologists and representatives of other social sciences and the humanities. These discussions are focused on changes in the everyday and professional historical consciousness, in the conditions of their interaction, in the assessment of cognitive abilities and the social status of historical science.

In connection with the emergence of new research approaches, subject areas and the rapid development of interdisciplinary areas, the development of basic analytical categories represents one of the most pressing problems of current historical science. Among them, the central place is occupied by the inseparably connected categories “event” and “time”, which in the context of updating historical science at the turn of the 20th – 21st centuries and the deployment of the memorial paradigm gained a high epistemological status. It is not by chance that this time is characterized by the appeal of historians to collective (or social) historical memory and the beginning of the systematic development of conceptual aspects of “historical politics” (or “memory politics”), various aspects of the “use of the past”(including technologies of political manipulation), competing memorial practices and ways of presenting ideas about the past, as well as “rhetoric of memory”(both rhetoric of “progress and modernization” and rhetoric of “decadence and nostalgia”).

The current historiographical situation has created the conditions for the emergence of a research field related to the history of historical culture. In the study of the phenomenon of historical culture, the authors of this book adhere to a comprehensive approach based on the synthesis of socio-cultural and intellectual history, and this, in turn, suggests an analysis of the phenomena of intellectual sphere in a wide context of social experience and historical mentality and general processes of intellectual life of a society, including both theoretical, ideological, and ordinary consciousness. In this perspective, mental stereotypes, historical myths and various processes of

transformation of ordinary historical consciousness, mechanisms of production and reproduction of ideas about the past, formation, transformation and transfer of the historical memory of generations are considered – the totality of the usual perceptions, ideas, judgments and opinions about events, prominent personalities and phenomena of the historical past, as well as ways to explain, rationalize and understand the latter in “scholars’ culture”.

“Historical culture” is defined as that part of culture that is associated with time as an essential element of human life. The study of historical culture involves the analysis of the methods of social production of historical experience and the forms of its manifestation in the life of communities. The study of historical culture assumes attention to different practices of referring to the past and the forms of representation and use of the past, both to those who coexist in the general sociocultural space and to successive ones in the “long time” mode.

When outlining the study of the phenomenon of historical culture for the first time, the famous French historian Bernard Genée wrote: “A social group, a political society, a civilization are determined primarily by their memory, that is, by their history, however not by the history that they actually had, but that which the historians created for them...”. Having set the task “to offer the most accurate picture of the historical culture of the medieval West”, Bernard Gene was not limited to considering its general fund, but sought to clarify “in what form, at what time and in what place the historical culture of historians and the historical culture of the rest of the people”, thus delimiting the “history of the historians” and the “other history”, or the “history of other people”, can be detected. Meanwhile, such a distinction does not always justify itself. In the concept of historical culture by M.A. Barg, which was formed in close connection with the development of a category of historical consciousness, the latter acts as one of its most important and essential characteristics and accordingly determines the type of historical writing inherent in it and the type of organization of historical experience in their inseparable unity.

In another conceptualization, historical culture acts as an articulation of the historical consciousness of society, indicating that it correlates not only with consciousness, but also includes “other forms of historical memory”, everything related to “past times”, all cases of the “presence” of the Past in all-day life. Historical culture is contextual, it “belongs” to the current present and, expressing the cultural memory of modern society, provides its members with the possibility of temporal orientation and collective self-identification. According to J. Rüsen, the concrete ratio of the three interacting, but irreducible aspects of historical culture — aesthetic, political, and cognitive — forms the basis for a typological analysis.

In sum, historical culture gives rise to and nourishes the official historical history of the epoch and, ultimately, is exposed to its reverse effect, but it also manifests itself in other respects. Historical culture consists of the usual ways of thinking, languages and means of communication, narrative and non-narrative types of discourse, and in forms of behavior with past reference. Characteristic features of historical culture are determined by material and social conditions, as well as by random circumstances, which, like the traditionally studied intellectual influences, determine the manner of thinking, reading, writing and talking about the past.

Extensive and heterogeneous material of historical writings, journalistic and fiction literature, documents of a private and public nature, which in some way reflects the social existence of ideas about the past in the elite and folk culture and their role in public life and political orientation of individuals and groups, is the source base for the study of historical culture, including the dynamics of the interaction of ideas about the past, recorded in the collective memory of various ethnic and social groups, on the one hand, and historical thought of this or that epoch – on the other, despite the fact that scientific knowledge influences the formation of collective ideas about the past and, in turn, is influenced by mass stereotypes.

Historical culture reflects and unites the past and the present, memory and history, “ancient”, “average” and the most recent. However, today questions about the dynamics of interrelations, factors of formation and ways of interpenetration of everyday ideas about the past and scholarly knowledge, about the interaction of the elite historical consciousness and the collective memory of generations, ethnic, confessional and local communities, social classes and groups are still not a well-studied area of research. Undoubtedly, the task remains the study of changing (in the Big historical time) ideas about the past, as well as historical concepts as the content basis of historical culture and the basic elements of social, political, ethnic and religious identity. Special attention should also be given to the place that has been continue to be occupied by historical ideas and concepts in the ideological debate and political practice, the interaction of social memory and historical thought in crucial periods of national and world history.

Comprehensive research of these problems is still a task for the future. In this book, two of their aspects have been considered: firstly, the analysis of categories and the development of theoretical foundations, and, secondly, a number of case studies has been produced.

ОБ АВТОРАХ

ВАСИЛЬЕВ Алексей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, профессор Факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – *глава 13*

ВЫСОКОВА Вероника Витальевна, доктор исторических наук, доцент, Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – *главы 7-9*

ЗАИЧЕНКО Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *главы 11-12*

ИОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *главы 2-3*

КИРЧАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор исторических наук, доцент Воронежского государственного университета – *глава 10*

МАЛОВИЧКО Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор Государственного гуманитарно-технологического университета, профессор кафедры Теории и истории гуманитарного знания, Институт филологии и истории РГГУ – *главы 4-6*

РЕПИНА Лорина Петровна, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; профессор Института филологии и истории РГГУ – *Введение, глава 1*

ЩЕЛЧКОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *глава 14*

CONTENTS

INTRODUCTION.....	5
CHAPTER 1. Historical memory and national narratives of identity: “the practice of history in the service of memory”.....	9
CHAPTER 2. Imperial, civilizational and formational images of Russia in the XIX–XXI centuries: Memory and identity in imperial Russia	37
CHAPTER 3. Imperial, civilizational and formational images of Russia in the XIX–XXI centuries: Memory and identity in Soviet and post-Soviet Russia.....	72
CHAPTER 4. National History in the Structure of Historical Knowledge in Russia of the second half of the XVIII century.....	115
CHAPTER 5. Transformation of national history and national-state narrative in the XIX – early XX century.....	158
CHAPTER 6. Self-presentation practices of national history: textbook and national-state narrative.....	184
CHAPTER 7. Britain in search of identity: “National project” and “historical revolution” of the late XVI – first half of the XVII century	214
CHAPTER 8. Conflicting concepts of the past in British historical culture of the second half of the XVII – the middle of the XVIII century....	240
CHAPTER 9. Britishness, Englishness and the “Whig Interpretation of History”.....	267
CHAPTER 10. State history vs national stories: historical imagination in multi-constituent societies.....	291
CHAPTER 11. The fight against “Rome” – I. “The German myth” as a tool for constructing German identity.....	318
CHAPTER 12. The fight against “Rome” – II. “Imperial myth” and the problem of continuity of national history.....	358
CHAPTER 13. Sarmatism in narratives of Polish identity: at the crossroads of interpretations.....	392
CHAPTER 14. Indeanism in the search for a formula of Bolivian national identity.....	417
SUMMARY.....	457
ABOUT AUTHORS.....	460

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. Историческая память и нарративы национальной идентичности: «практика истории на службе памяти».....	9
ГЛАВА 2. Имперские, цивилизационные и формационные образы России XIX–XXI вв.: память и идентичность в имперской России	37
ГЛАВА 3. Имперские, цивилизационные и формационные образы России XIX–XXI вв.: память и идентичность в советской и постсоветской России.....	72
ГЛАВА 4. Национальная история в структуре исторического знания России второй половины XVIII века.....	115
ГЛАВА 5. Трансформация национальной истории и национально-государственный нарратив в XIX – начале XX века	158
ГЛАВА 6. Практики самопрезентации национальной истории: учебная книга и национально-государственный нарратив.....	184
ГЛАВА 7. Британия в поисках идентичности: “национальный проект” и “историческая революция” конца XVI – первой половины XVII века.....	214
ГЛАВА 8. Конфликтующие концепции прошлого в британской исторической культуре второй половины XVII – середины XVIII века.....	240
ГЛАВА 9. Britishness, Englishness и “вигская интерпретации истории”	267
ГЛАВА 10. Государственная история vs национальные истории: историческое воображение в многосоставных обществах.....	291
ГЛАВА 11. Борьба с “Римом” – I. “Германский миф” как инструмент конструирования немецкой идентичности.....	318
ГЛАВА 12. Борьба с “Римом” – II. “Имперский миф” и проблема преемственности национальной истории.....	358
ГЛАВА 13. Сарматизм в нарративах польской идентичности: на перекрестках интерпретаций.....	392
ГЛАВА 14. Индеанизм в поиске формулы национальной идентичности Боливии.....	417
SUMMARY.....	457
ОБ АВТОРАХ.....	460
CONTENTS.....	461

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРОШЛОЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО

ИСТОРИЯ-ПАМЯТЬ И НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Коллективная монография



Под общей редакцией
Л.П. Репиной

Утверждено к печати Ученым советом
Института всеобщей истории РАН

Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Корректор *М.М. Горелов*

Подписано к печати 30. 06. 2020
Формат 60 x 90/16

Гарнитура Times. Печать цифровая
Усл. печ. л. 34. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон»
Тел.: +7 (968) 924–97–30
Электронная почта: aquilopress@gmail.com
Сайт: aquilopress.com

Отпечатано в типографии
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА
Тел. +7 (495) 545–37–10
Электронная почта: info@onebook.ru
Сайт: www.onebook.ru

На обложке: Огюст Роден. Скульптурная группа. Изображение находится
в открытом доступе и доступно на основании: GNU Free Documentation
License; Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unport. —
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/BB:Calais_statue_bourgeois.jpg (июнь, 2020)

ISBN 978–5–906578–63–1



9 785906 578631